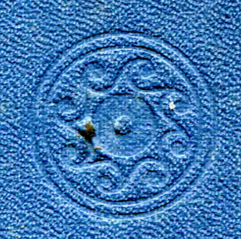
Инал Кануков



В ОСЕТИНСКОМ АУЛЕ





В ОСЕТИНСКОМ АУЛЕ

Рассказы, очерки, публицистика

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИР» * ОРДЖОНИКИДЗЕ * 1985

Подготовка текста, примечания и предисловие
З. Н. Суменовой

К19

Кануков И. Д.
В осетинском ауле: Рассказы, очерки, публицистика.—Орджоникидзе: Ир, 1985.—475.

В пер.: 2 р. 90 к.

Творчество Инала Канукова, просветителя, публициста, поэта, проникнуто идеями демократизма и гуманизма. В 70—80-е годы 19-го века он выступил в защиту угнетенных. Пламенный патриот, Кануков мечтал о развитии производительных сил, о разумном использовании природных богатств России.

Большинство произведений, вошедших в книгу, печатаются впервые.

К $\frac{4702470000-72}{М131(03)-85}$ 26—85

84Осет

И. Д. КАНУКОВ
(1850—1898)

Инал Дударович Кануков, писатель и этнограф, известный осетинский просветитель второй половины XIX столетия, пришел в литературу в самом начале 70-х годов. Будучи выразителем передовых общественных идеалов пореформенной Осетии, одним из зачинателей ее художественной и публицистической мысли, он впервые поднял в своих произведениях проблемы, которые нашли дальнейшее развитие в творчестве К. Хетагурова, А. Ардасенова, Г. Цаголова, Ц. Гадиева и других осетинских писателей.

В 80—90-е годы И. Д. Кануков выступил как прогрессивный журналист и поэт в Сибири и на Дальнем Востоке. Его общественная деятельность и творчество этих лет оставили след в жизни отдаленного края царской России.

Писатель родился в 1850 году в семье тагаурского феодала Дудара Канукова. «Отец мой, хотя не служил в регулярных войсках, но тем не менее участвовал в разных кампаниях против враждебных России горцев и за это дошел до подпоручичьего чина, считаясь по армейской кавалерии и управляя аулом нашей же фамилии, Кануковским»,— писал впоследствии И. Кануков.*

Ранние детские годы писателя прошли в ауле, расположенном на левом берегу р. Фиагдон, близ Гизели.

Дудар дал сыну домашнее воспитание, типичное для детей привилегированного сословия: оно состояло главным образом в прислуживании многочисленным гостям отца в кунацкой и уходе за их конями. В результате «из него воспитывался хороший наездник», знаток горского этикета и народных обычаев.

Когда Иналу исполнилось семь лет, отец определил его в Ставропольскую губернскую гимназию и находившийся при ней интернат для детей «почетных горцев». Однако через два года Дудар Кануков забрал сына из гимназии, так как, поддавшись агитации феодалов-мусульман, решил переселиться с семьей в Турцию.

---

* Дату рождения приводим на основании недавно обнаруженного послужного списка И. Д. Канукова: ЦГВИА СССР, ф. 400, оп. 9, д. 22698, л. 4.

Девятилетний Инал стал свидетелем и участником полных драматизма событий. Путь в Турцию оказался сопряжен с невероятными страданиями переселенцев: смертью близких, потерей имущества, физическими и нравственными муками. На чужбине их ждало полное разочарование: они не обрели там «обетованной» земли, которую искали. Дудар Кануков, не прожив в Турции и двух недель, вернулся на родину.

Переселение потрясло малолетнего Инала Канукова. Все пережитое им в продолжение нескольких месяцев пути в Турцию и обратно оставило неизгладимое впечатление в его душе и впоследствии послужило темой нескольких его произведений.

По возвращении на родину Инал возобновил занятия в гимназии. Роль Ставропольской гимназии в судьбе будущего писателя трудно переоценить. Она стала для него не только школой русского языка, русской культуры в широком смысле, но и школой нравственного воспитания. Годы учения в гимназии были временем формирования общественно-политических взглядов будущего писателя, созревания его демократического мировоззрения. Именно в эту пору утвердились в его характере любовь к родине и народу, ненависть к гнету и насилию над человеческой личностью.

Старейшее на Северном Кавказе и одно из лучших учебных заведений России, Ставропольская гимназия в 60-е годы отличалась славными демократическими традициями, ее директором был видный русский педагог Я. М. Неверов. В учащихся воспитывались высокие гражданские чувства, стремление к справедливости, правде и добру, любовь и уважение к своим и чужим народам, к их духовной культуре. Молодых горцев учили бескорыстно и самоотверженно служить родине, готовили из них просветителей родного народа.

В гимназии всячески поощрялось литературное творчество, занятия фольклором и этнографией горских племен. Лучшие литературные опыты учащихся зачитывали на традиционных литературных конкурсах, помещали в рукописном гимназическом журнале. Поэтому нет ничего удивительного в том, что И. Кануков начал пробовать творческие силы в стенах гимназии и свой первый очерк « В осетинском ауле» написал еще будучи гимназистом, в 1870 году.

Получив в 1872 году аттестат зрелости, Кануков уехал в Москву и поступил в 3-е Александровское военное училище.

Это было типичное закрытое военное учебное заведение того времени, обучение в котором рассчитано на два года. Кроме специальных военных дисциплин, в училище преподавались языки (русский, французский, немецкий), математика, химия, стати-

стика и история. Многие преподаватели училища состояли профессорами или доцентами Московского университета. Среди них, например, такие известные русские историки, как С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, историк литературы Н. С. Тихонравов**.*

*Хотя день в училище был плотно заполнен занятиями, однако юнкера имели свободное время вечерами, после отбоя; в воскресные же и праздничные дни,— а те, кто отличался примерным поведением, и несколько раз в течение недели,— пользовались отпуском. Им предоставлялось также право посещать разные библиотеки города. И в самом училище была библиотека, которая, кроме книг по военному искусству, точным наукам, истории и психологии, располагала обширным собранием русской и зарубежной классики. Получала библиотека и журналы на русском и иностранных языках, в частности «Отечественные записки», «Вестник Европы», «Русское слово» и др.****

Все сказанное давало возможность И. Канукову не только расширять свой кругозор, много читать, но и заниматься литературным творчеством. Во время пребывания в Александровском училище им был написан очерк «Заметки горца» (1873) — о переселении осетин в Турцию в 1861 году.

В августе 1874 года И. Кануков был выпущен прапорщиком в Кавказскую артиллерийскую бригаду. Начался новый этап его жизни — армейская служба. Вскоре молодого офицера переводят в 38-ю артиллерийскую бригаду, стоявшую в Терской области, и он в течение двух лет живет в станице Лысогорской близ Пятигорска. Несмотря на службу, Инал находит время для занятий литературой, очень активно работает и много печатается.

В эти годы были опубликованы его очерки «В осетинском ауле» и «Горцы-переселенцы», статьи этнографического характера: «Кровный стол», «Характерные обычаи у осетин, кабардинцев и чеченцев», «Танцы и мода у кавказских горцев», очерк о раскольниках «Шалопуты в кавказской епархии». Тогда же им была написана большая статья «Положение женщины у северных осетин» и рассказ «Воровство-месть». Публикация рассказа оборвалась на середине, так как в апреле 1877 года началась война России с Турцией, и Кануков отправился в действующую армию. В сос-

---

* Александровское военное училище за XXV лет. 1863—1898. М., 1900, с. 14.

** Александровский сиротский кадетский корпус с 1851 по 1863 год и Александровское военное училище с 1863 по 1901 год. М., 1901, с. 47.

*** Каталог библиотеки Алсксандорвского военного училища. Сост. подп. В. Кедрин. М., 1901.

таве своей артиллерийской бригады писатель воевал на азиатском фронте и впоследствии был награжден темно-бронзовой медалью в память Турецкой войны 1877—78 гг.

Его военные впечатления нашли отражение в путевых очерках «От Александрополя до Эрзерума» (1878), а также в статье «Антимилитаризм» (1896) и в ряде стихотворений 90-х годов: «На батарее», «Кровь и слезы», «Апофеоз войны» и др.

После окончания войны Кануков служил еще некоторое время на территории, отошедшей после Сан-Стефанского мирного договора к России, а затем — в Тифлисе. В тифлисской газете «Кавказ» были напечатаны его рассказ «Две смерти» и статья «К вопросу об уничтожении вредных обычаев среди кавказских горцев» (1879) — последние произведения кавказского периода.

Первое десятилетие творчества И. Канукова было временем формирования идейно-эстетических принципов писателя, но уже в эти годы обнаружилось ценнейшее качество его творческой личности — умение увидеть в окружающей действительности ведущие тенденции общественного развития. Внимание Канукова привлекают наиболее острые, актуальные проблемы, связанные с судьбами родного народа, движением горцев Северного Кавказа по пути исторического прогресса.

В кавказский период творчества Кануков выступает как один из передовых горских просветителей своего времени: глубоко осознавая роль России в судьбе своего народа, он пропагандировал сближение его с русской культурой; патриот и демократ, он отстаивал интересы трудового народа, поднимая на щит его трудолюбие, одаренность, оптимизм, жажду знаний, и осуждал паразитизм и никчемность господствующего сословия; гуманист, он выступал в защиту угнетенной горской женщины, мечтал о ее свободе.

Главным фактором, определившим судьбы горских народов и, в частности осетин, Кануков считал присоединение к России, которое положило начало их движению по пути цивилизации и прогресса. При этом он прекрасно понимал, что социально-экономические сдвиги в Северной Осетии были непосредственным результатом крестьянской реформы.

Широкая панорама пореформенной осетинской действительности открывается в очерках Канукова «В осетинском ауле» и «Горцы-переселенцы». Писатель убедительно показывает разительные перемены в быту, укладе жизни, мировосприятии и психологии осетин, приветствует формирование нового типа делового человека — представителя нарождающейся буржуазии. Он радуется тому, что цивилизация забросила свой луч на древнюю землю Кавказа, что «там, где скакал лишь горец вольный», теперь раз-

дается пыхтение и свист локомотива, призванного в ближайшем будущем коренным образом изменить судьбу его народа.

В кавказских очерках и рассказах И. Канукова действуют люди разных сословий, но в центре внимания автора—трудовой народ Осетии, который нарисован с неизменной симпатией и любовью.

Показывая бедственное социально-экономическое положение осетинского крестьянина, его нищету, бесправие перед власть имущими, темноту и невежество, порожденные существующим порядком вещей, писатель в то же время раскрывает богатый духовный мир представителей народа. любуется их оптимизмом, удивляется их вере в лучшую долю и торжество социальной справедливости. Таковы его герои: Данел, Мосе, Хатахцико и др.

В очерках Канукова 70-х годов читатель найдет богатый фольклорный и этнографический материал — неоценимый источник при изучении прошлого осетинского народа. При этом хочется подчеркнуть, что материал этот подан не назойливо — он растворен в художественно убедительных реалистических картинах и образах.

Кануков мастерски лепит характеры, умеет несколькими мазками обрисовать внутренний мир человека, как, например, он это делает в рассказе «Две смерти», создавая образы Данела и Махамата.

Писатель индивидуализирует речь каждого действующего лица соответственно его социальному положению, возрасту, характеру. Речь осетинских крестьян он уснащает меткими пословицами, благопожеланиями, приветствиями, проклятиями. Очень часто в повествование вводятся осетинские слова и целые выражения, к которым, как правило, писатель дает подстрочные примечания или поясняет их тут же, в тексте. Все это придает повествованию своеобразие и национальный колорит.

Выразительности реалистического письма И. Канукова способствует пейзаж, оттеняющий настроение людей, в частности, подчеркивающий контраст между красотой природы и неустроенностью человеческой жизни.

Инал Кануков явился одним из активных борцов с вредными, разоряющими народ вековыми адатами горцев: кровной местью, калымом, поминками. В своих статьях и отрывке «Из осетинской жизни» писатель доказывал необходимость просвещения, которое, по его мысли, не только победит все предрассудки, но и избавит народ от многих социальных бед, будет способствовать его историческому развитию.

Трагические события переселения в Турцию Кануков, как уже говорилось, нарисовал в очерке «Заметки горца» и его втором варианте — «Горцы-переселенцы». Писатель показал переселение

горцев как величайшее бедствие многих тысяч обманутых людей, которые в большинстве своем не хотели покидать родину. Картины переселения, нарисованные Кануковым, нельзя читать без волнения, настолько они убедительны и ярки. Очерк «Горцы-переселенцы» имеет непреходящее значение как исторический и человеческий документ эпохи.

В начале 1879 года судьба И. Канукова неожиданно и резко переменилась: его перевели в Восточно-Сибирскую артиллерийскую бригаду. С мая 1881 года писатель служит на Дальнем Востоке. Через три года с небольшим он вышел в отставку в чине штабс-капитана и поселился во Владивостоке. Началась новая полоса в его жизни. Служба в государственных учреждениях, педагогическая и газетная работа — вот те сферы деятельности, которые пришлось осваивать Канукову на Дальнем Востоке, где он прожил более пятнадцати лет.

Инал был первым учителем первого Владивостокского городского училища и около года исполнял обязанности его заведующего (1886), а позже работал учителем в Портовой школе; с начала 90-х годов он служил секретарем Владивостокской городской управы, затем чиновником в Портовой конторе, а в последние годы — в управлении Уссурийской железной дороги. Педагогическая деятельность и государственная служба приносили писателю весьма скромные средства к существованию, но они давали ему знание многих сторон владивостокской жизни, которое ему было необходимо в его журналистской работе.

Главным делом, которому писатель отдавал весь свой досуг и душу, стала журналистика. Работа в газете в 80-е годы была чуть ли не единственной в провинции возможностью общественного действия, но требовала она, особенно в условиях полнейшего бесправия и жесточайшего произвола власть и силу имущих, большого мужества. И деятельность Канукова-публициста была часто сопряжена с поистине героическими усилиями. В одной из своих корреспонденций он писал:

«Почин — великое дело. Он-то и есть могущественный двигатель общественной жизни человека; частный почин одного человека может сделать целый переворот в жизни общества, если только почин ведется умеючи... Поэтому-то дельные инициаторы не дают обществу впадать в апатию, засыпать, постоянно побуждая их силой своей единичной энергии, силой своего ума к новому шагу вперед, раскрывая обществу глаза, пробуждая в нем уверенность в своих силах, которые иначе бы угасли, потухли среди мертвящей бездеятельности».*

---

* Сибирский вестник, № 110, от 20 сент. 1887 г.

Эти слова в полной мере можно отнести к самому Иналу. Это был человек кипучей энергии, страстная, деятельная натура. Понимая, какую великую роль может сыграть печать в отдаленном крае России, Кануков вместе со своими единомышленниками, такими же энтузиастами, как он сам, организует первый на Дальнем Востоке печатный орган — газету «Владивосток». И со дня ее основания (1883) в течение десяти лет является одним из видных ее сотрудников. За эти годы он напечатал в газете «Владивосток» десятки статей, рассказов, фельетонов, библиографических и театральных обзоров, стихотворений. Как свидетельствовала редакция газеты, были номера, которые почти целиком составлены И. Кануковым. Много лет спустя, высоко оценивая титанический труд писателя в газете, редакция писала в его некрологе: «Он отзывался на все вопросы дня, всякое горе и страдание находили в нем сочувственный отклик, всякая неправда и зло вызывали у него всегда горячее и искреннее негодование. Его рассказы проникнуты состраданием к обиженным и угнетенным, во всех статьях своих он борется с различными несовершенствами жизни».*

Работая в газете «Владивосток», в 80-е годы Кануков регулярно писал корреспонденции и в Томскую газету «Сибирский вестник», а также сотрудничал в Иркутской газете «Восточное обозрение». С 1892 года писатель переходит во вновь организованную газету «Дальний Восток» и до конца своего пребывания во Владивостоке печатается в ней.

В 80—90-е годы И. Кануков, как и прежде, обращается к самым злободневным вопросам своего времени, однако взгляды его на окружающее стали более зрелыми, усилилось его критическое отношение к действительности.

Расширяется тематический горизонт творчества писателя. Его волнуют проблемы исторических судеб России, ее социально-экономического развития, взаимоотношения с иностранными державами и т. д. Важное место в публицистике Канукова этого периода заняла проблема развития капитализма в России — одна из центральных в русской общественной жизни пореформенной поры.

За время жизни в Сибири писатель успел полюбить этот своеобразный край и выступал в своих произведениях его горячим патриотом. Он живо интересовался историческим прошлым Сибири и Дальнего Востока, с восхищением писал о богатстве сибирской земли, о несметных сокровищах ее недр, мечтал о том времени, когда начнется их разумное использование.

---

* Владивосток, 1898, № 24, янв.

Считая Сибирь неотъемлемой, органической частью России, писатель ставил вопрос о развитии края в общероссийском масштабе.

Говоря о природных богатствах Сибири, Кануков неустанно доказывал необходимость развития ее производительных сил и единственно возможным путем, по которому должна идти Сибирь в своем экономическом развитии, считал путь капиталистической, крупной товарной промышленности («Краткий очерк экономического состояния Забайкальского края в связи с проведением через него железной дороги», «Торгово-промышленный вопрос восточных окраин Сибири» и др.). При этом одним из непременных условий развития Сибири Кануков полагал проведение железной дороги через сибирскую тайгу («Несколько слов о Сибирской железной дороге», «О современных факторах сибирской жизни»).

Величайшая заслуга писателя в том, что, понимая прогрессивную роль капитализма в промышленном развитии Сибири, он видел в то же время его негативную сторону, вскрывал хищническую природу капитала, который нес страдание, разорение и гибель трудовому народу.

Талантливый обличитель социальной несправедливости, Кануков бичует в своих статьях и очерках капиталистических дельцов всех рангов, крупных и мелких царских чиновников, разоблачает административный произвол и злоупотребления, мошенничество и спекуляцию. Наиболее выразительные и резкие характеристики дает он в своих сатирических очерках: «Незевай», «Муки Тантала», «Il faut donner» и др. Будучи на государственной службе, Кануков хорошо изучил нравы чиновников городского самоуправления и в целом ряде сатирических очерков высмеивал их «деятельность» («Из летописей города Ориенвилля»).

Своим острым пером вскрывает писатель моральное разложение буржуазного общества. «Карты, вино, женщины... а главное, деньги — все это было атрибутами современного прогресса», — писал он.

Резко критикуя бездарную внешнюю политику царизма на Дальнем Востоке, И. Кануков в своих статьях и корреспонденциях разоблачал также хищничество американских капиталистов, безнаказанно и нагло грабивших в последней трети XIX века русские территориальные воды. Очень важно подчеркнуть при этом, что он вскрывал хищническую природу капитала независимо от его национальной принадлежности. Его утверждение о близости приемов «всех просвещенных кулаков всех наций» несет в себе глубокое обобщение и актуальный смысл («Торгово-промышленный вопрос восточных окраин Сибири»). Суждения И. Канукова

о капитализме во многом перекликаются с мыслями выдающихся русских писателей и публицистов: Г. Успенского, В. Короленко, А. Серафимовича, М. Горького.

В 80-90-е годы писатель, как и в предыдущий период, выступает в защиту людей труда, их человеческих прав. Горестную судьбу русских крестьян-переселенцев Кануков отразил в статьях «К вопросу о колонизации Южно-Уссурийского края», «Есть ли у нас голод или нет, и если есть, то в каких размерах?» и др.

Переселенческое движение в России писатель рассматривал как проблему большой государственной важности, связывая ее, с одной стороны, с развитием Сибири, нуждавшейся в заселении, а с другой — с бедственным состоянием русского крестьянства.

И. Кануков рисует крестьян-переселенцев, их тяжелое социально-экономическое положение, пытается осмыслить причины хронического голода русского крестьянства. И в то же время, в отличие от писателей-народников, он не идеализирует крестьянство, он видел и показал расслоение в среде переселенцев, формирование кулачества, раскрыл двойственность и противоречивость натуры крестьянина.

Публицистика Канукова 80—90-х годов отразила и такую актуальную для своего времени тему, как тема рабочего класса. Изучив жизнь и условия труда строителей Уссурийской железной дороги, Кануков нарисовал безотрадную картину жизни русского рабочего на Дальнем Востоке. Непосильный труд, бесконечные штрафы и поборы со стороны администрации, чрезвычайно тяжелые жилищные и бытовые условия — вот на чем останавливает внимание читателя И. Кануков («Несколько слов о положении русского рабочего на Дальнем Востоке»). И при этом важно заметить, что писатель в 90-е годы XIX века увидел не только эксплуатацию русского рабочего на Дальнем Востоке, но и начало его борьбы за свои права («От Владивостока до Никольского по железной дороге»).

С гуманистических, демократических позиций подошел Кануков и к решению национальной темы. С большим сочувствием, с болью он писал об аборигенах Сибири, жестоко эксплуатируемых и истребляемых капиталистическими хищниками. «Ах, если бы написать сколько-нибудь правдивую летопись их деяний среди несчастных инородцев, то какая бы ужасающая картина грабежа, убийств, произвола, насилия, истязания раскрылась бы перед читателями. Инородцы стонут под гнетом этих зверопромышленников и торговцев,— они в тяжелой кабале у них, кабале, которая тянется из поколения в поколение, и не предвидится ей конца»,— писал Кануков в 1890 году.

Писатель отвергает реакционные буржуазные теории расовой

и биологической неполноценности народов Сибири, бросает гневное обвинение буржуазному обществу в гибели целых народов. («Инородцы в Сибири», «К вопросу о колонизации Южно-Уссурийского края»).

К лучшим страницам канyковской публицистики относятся статьи и очерки о корейцах русского Дальнего Востока, самых забитых и бесправных существах среди угнетенного трудового люда этого края. Рассказ «Ирбо» и зарисовка «Кореец-носильщик и лошадь» звучат страстным протестом против угнетения человеческой личности, против бесчеловечности и жестокости капиталистического мира.

Вопрос об аборигенах Сибири, как и другие актуальные проблемы своего времени, Кануков решал как просветитель, считая главным путем борьбы за жизнь трудящихся «свет просвещения». В этом проявилась историческая ограниченность и политическая незрелость писателя. Однако само обращение к национальной проблеме, искреннее, сочувственное отношение к угнетенным народам России очень ценны в творчестве Канукова. Кроме того, нужно отметить, что логика высказываний Канукова в адрес существующего порядка вещей, т. е. в адрес русского самодержавия, неизбежно подводила читателей к выводу о необходимости изменения, коренного переустройства современного общества.

Кануков, как уже говорилось, придавал большое значение печати и просвещению. Он много писал о роли и задачах прессы, о нелегком труде журналиста в буржуазном обществе, о взаимоотношениях газетного корреспондента и читателя. Газета для Канукова — «самая верная мерка просвещения, цивилизации», «светоч познания правды и добра», а журналист — борец в «царстве тьмы», где он призван клеймить произвол, бороться со злом, рассеивать вековой мрак. Деятельность провинциального корреспондента в изображении Канукова — это ни на минуту не утихающий поединок с темными силами общества, с «хозяевами жизни» и их прислужниками. Однако с середины 90-х годов сама жизнь рождает в писателе сомнение в том, что можно одержать победу в этом неравном поединке. Он видит тщетность не только личных попыток сделать что-либо для облегчения жизни народа, но и бесплодность усилий печати и просвещения вообще. Не вина Канукова, что в 90-е годы XIX века он еще не смог увидеть на Дальнем Востоке силы, способной изменить существующую жизнь: эта сила заявила о себе несколькими годами позже — в годы первой русской революции, до которой писатель не дожил.

Большой интерес для характеристики мировоззрения Канукова в 90-е годы представляют его библиографические заметки и журнальные обзоры «Эхо журналов», где он откликался на самые

злободневные вопросы своего времени. Особенно актуально звучат сегодня его выступления в защиту мира. Участник русско-турецкой войны, познавший на личном опыте весь ужас кровавых столкновений между народами, Кануков выступает на стороне противников человеконенавистнических страстей, против «вооруженного мира», против развязывания войн, несущих гибель миллионам ни в чем не повинных людей. Кануков развенчивает идеологов милитаризма, он называет войну «позорным явлением для цивилизованного человека», считает, что «война пагубна, что она фактор деморализации и пауперизма, что она порождает всемирную взаимную ненависть, разжигая в людях самые порочные страсти, подавляя лучшие стремления». И хотя взгляды Канукова на войну носят оттенок пацифизма, тем не менее, антимилитаристский пафос его высказываний близок и дорог современному читателю. «Пусть же человечество шире и глубже сознает позорный «грех» войны и отстранится от него! Пусть это новое сознание окрепнет и вырастет в людях в одну общую идею и исцелит своею живительною силою язвы прошлого и настоящего!» — писал он в статье «Антимилитаризм».

В 80-90-е годы мастерство Канукова-публициста поднимается на новую ступень. Он использует в своей работе разные публицистические жанры. Это, прежде всего, статья, посвященная большим вопросам социально-экономического характера («О современных факторах сибирской жизни», «Торгово-промышленный вопрос восточных окраин Сибири», «К вопросу о колонизации Южно-Уссурийского края» и др.). Она отличается точностью и достоверностью привлекаемого материала, содержит большое количество фактов, цифровых, статистических данных. Излагая тот или иной вопрос, писатель приводит различные точки зрения, привлекает специальные исследования, которые использует либо для доказательства своей мысли, либо в полемических целях. Рассматривая интересующий его вопрос со всех сторон, писатель подводит читателя именно к тому выводу, к которому пришел сам.

Для статей Канукова характерно не только глубокое проникновение в суть излагаемого предмета, но и стремление осмыслить причины явления, проследить его развитие, предугадать его перспективы. Эти качества присущи, в частности, всем статьям писателя, которые посвящены проблемам развития Сибири, эксплуатации ее природных богатств, строительству железной дороги, международным торговым отношениям России и т. д.

Охотно использует публицист исторические экскурсы и аналогии как прием, помогающий убедить читателя в правильности своей мысли.

В статьях рассматриваемого типа язык деловой, сухой, без

каких-либо стилистических украшений. Композиционный стержень этих статей составляет логика авторской мысли.

Иной характер носят корреспонденции и фельетоны писателя. Так, корреспонденции Канукова в «Сибирском вестнике» чрезвычайно разнообразны по тематике: от сообщений о погоде и любительских спектаклях до положения «инородца» и махинаций сибирских Колупаевых и Разуваевых. По форме это отдельные более или менее связанные между собою картинки провинциальной жизни. У них свободная композиция, автор легко переходит от одной темы к другой. Объединяющим началом является личность автора. Сквозь призму его восприятия проходят и получают определенную окраску все большие и мелкие факты владивостокской жизни. При этом на первом плане у писателя всегда интересы трудового люда, он непримирим ко всему, что уродует и калечит человека.

К корреспонденциям Канукова близки по структуре его фельетоны — «рефлексы» («Рефлексы тротуара», «Рефлексы лета» и др.). В них та же свободная композиция, использован диалог, пейзаж, обращения к читателю. Автор широко пользуется литературными образами и цитатами из русской и зарубежной классики, употребляет пословицы и поговорки, крылатые выражения, латинские фразы.

Одним из излюбленных жанров Канукова по-прежнему остается очерк. По проблематике и способу художественного отражения действительности у него можно выделить путевой очерк («На шхуне «Алеут» до Тюленьего острова и обратно», «От Владивостока до Никольского по железной дороге» и др.) и бытовой, или очерк «истории нравов» («Незевай», «Дуэлисты», «Стряпчий», «Продулся!», «Рождественский подарок», «Кореец-носильщик и лошадь», «Неудачные поиски», «Захолустье» и др.).

Очерки Канукова разнообразны по форме. Тут мы найдем и «уличные картинки», и «странички из дневника», и «наброски с натуры», и «эпизод». Характерная особенность этих очерков — художественные зарисовки, портрет, диалог. Наличие сюжета во многих из них делает их часто очерковыми рассказами.

Особую группу составляют сатирические очерки: циклы «Из летописей города Ориенвилля», «Из летописи города Приморска», «Из дневника мистера NN»; очерки «Муки Тантала», «Баттенберг в Сибири» и др. И. Кануков вводит в эти очерки элемент фантастики, широко используя в качестве сатирического приема сновидения персонажей («Муки Тантала», «Страшный сон» и др.). Он прибегает к гиперболе и к гротеску, стремясь подчеркнуть, до каких уродливых и нелепых форм может дойти человеческая алчность, аморальность и т. д.

Нередко И. Кануков применяет в качестве сатирического приема такую форму повествования, когда о настоящем рассказывается как о давно ушедшем в область истории. Таковы очерки «Из летописи города Ориенвилля» и «Из летописи города Приморска», которые, несомненно, идут от традиций Салтыкова-Щедрина.

Один из распространенных приемов сатирической характеристики образа в очерках Канукова — использование имен, заключающих в себе сатирический оттенок. Писатель не только широко использует имена и прозвища известных литературных типов Гоголя и Щедрина, таких, как Держиморда, Сквозник-Дмухановский, Дерунов, Колупаев, Недреманное Око, ташкентцы, помпадуры и т. д., но и сам создает имена по типу щедринских, в которых подчеркивает идейно-нравственную ограниченность, хищничество, аморальность своих персонажей: Незевай, Скуловорот, Незевалов-Загребастый, Запивалов, Закатилов, Синебрюхов, Фендриков, Анпош и др.

В 80—90-е годы Инал Кануков выступил не только как публицист, но и как поэт. Поэзия представляет существенную грань его творческого облика. По тематике, образам, мыслям и чувствам поэзия Канукова чрезвычайно близка его публицистике, в стихах много точек соприкосновения с его очерками и статьями.

Основные темы лирики Канукова — это народ, буржуазное общество с его растленной моралью, тема поэта и поэзии. Особое место в его поэтической летописи занимает Кавказ.

Стихи Канукова отмечены духом борьбы с окружающим злом. В стихотворении «Диалог» он писал:

Я не могу здесь равнодушно
Вокруг себя все созерцать:
Когда я вижу зло — мне душно,
Возможно ль зло не порицать?
Так безучастным быть позорно,
И в общем деле не молчу;
Пред злом не гну главу покорно
И лицемерить не хочу...

Наибольший интерес представляют стихи, в которых поэт рисует тяжелую жизнь крестьянства («Желтый флаг», «В страдную пору»), бичует современное буржуазное общество, обличает «сытых» («Возможно ль жить?», «Вышел я в дорогу...», «На лоне покоя», «Скорбящая муза», «Кровь и слезы» и др.). По своим идеям и образам, интонациям, ритмам, лексике и фразеологии поэзия Канукова близка русской демократической гражданской поэ-

зии 80-х годов, в них много общего с русской лирикой Коста Хетагурова.

Газета «Владивосток» писала о стихах И. Канукова: «Стихотворения И. Д. Канукова, напечатанные во «Владивостоке»... подкупают искренностью тона, честною мыслью и неподдельным чувством. Они очень нравились читателям, особенно молодежи».

Стихи Канукова были известны и в Северной Осетии, среди горской интеллигенции.

Прожив вдали от родины более восемнадцати лет, больной, томимый одиночеством, И. Кануков решил вернуться на родину.

23 января 1897 года он на пароходе Добровольного флота покинул Владивосток. Путь его лежал через Нагасаки, Сингапур, Коломбо, Порт-Саид, Константинополь, Одессу.

Дорогой писатель вел путевой дневник, куда заносил свои впечатления о людях, природе, климате, достопримечательностях увиденных им стран. Его внимание привлекала архитектура городов, порядки на улицах, виды городского транспорта, торговля и т. д. Сведения, которые он дает о людях Востока, их одежде, образе жизни, нравах, представляют определенный познавательный интерес, а с другой стороны, характеризуют самого писателя как зоркого и тонкого наблюдателя.

В конце марта — начале апреля 1897 года Кануков прибыл в Тифлис. У него было намерение устроиться постоянным сотрудником в газету «Кавказ», где он печатался два десятилетия назад. Писатель начал вести переговоры с редактором газеты и послал ему для публикации несколько стихотворений и рассказ из жизни ссыльных горцев в Сибири — «Амирхан». Он писал редактору: «Я мог бы знакомить читателей Ваших вообще с жизнью Уссурийского края и, в частности, с городом Владивостоком в связи с жизнью тамошних инородцев — китайцев, японцев и корейцев, которые составляют довольно заметный контингент местного населения. Мог бы давать сведения в отдельности об Японии по личным наблюдениям. Я готовлю две вещи для печати: «Владивосток — столица Уссурийского края» и «По портам Азии» — они вчерне написаны...»

Однако надежды на литературный заработок в Тифлисе не оправдались, и Кануков уехал в Осетию.

Свидание с родной землей тоже не принесло радости. Почти никого из близких родных он не застал в живых. И хотя родственники в Бруте устроили пышный пир в честь его возвращения на родину, горечь утрат была очень острой. Единственной отрадой явилась встреча с родственником по матери Т. Дударовым и друзьями юности, товарищами по Ставропольской гимназии:

чеченским просветителем Чахом Ахриевым, адвокатом Джантемиром Шанаевым, лесничим Ибрагимом Шанаевым, Яковом Поповым, братом известных революционеров 70-х годов—Степана и Петра Поповых.

Есть свидетельство, что в это время Инал посетил в ауле Дур-Дур писателя Батырбека Туганова, беседовал с ним, поддержав его идею открыть в ауле школу для крестьянских ребятишек.*

О событиях последних месяцев жизни Инала узнаем из его некролога в газете «Владивосток», автор которого излагает факты, известные ему из писем самого Канукова.

*С помощью друзей Иналу удалось получить место секретаря во Владикавказской газете «Казбек», и он даже был намечен кандидатом на место редактора. В мае — июле Кануков публикует в газете очерк «Тифлис» и два стихотворения: «Путнику» и «Черный всадник». О дальнейших событиях газета «Владивосток» писала: «Вступив в качестве постоянного сотрудника с жалованьем 25 руб. в месяц в редакцию «Казбека», издаваемую неким Казаровым, Инал Дударович проработал в этой газете только один месяц и, не получая от названного издателя заработанных 25 руб., принужден был обратиться к мировому судье, который и присудил ему эти деньги, но их он все-таки не мог получить долгое время. Вообще в материальном отношении в последнее время он сильно бедствовал: какие деньги были при нем — прожил в Тифлисе, найти работу ему, больному человеку, было трудно, а обращаться за помощью к своим родным он не хотел. Посылал свои статьи и рассказы в редакции разных местных изданий, но последние, охотно соглашаясь напечатать его работы, предупреждали, что не смогут за них платить за недостатком средств. Таким образом, то дело, на которое он больше всего рассчитывал,— газетная работа,— дало ему меньше всего или, говоря его собственными словами, «буквально ничего и никаких перспектив впереди». Эти неудачи в связи с нравственными страданиями и мерзейшим владикавказским климатом... ускорили роковой исход его болезни»**.*

Инал Кануков скончался 25 января (по старому стилю) 1898 года на хуторе Ларс (ныне Новый Батакоюрт). В том же некрологе говорилось: «Канукова многие называли неудачником... Да, это был честный, хороший неудачник, не сумевший приспо-

---

* Грузинова-Туганова Т. В. Мой отец (Воспоминания о Батырбеке Туганове).— ОРФ СОНИИ, ф. ~~7 (лит.), оп. 1, д. 35, с. 42.~~

** Владивосток, 1898, № 24.

собиться к требованиям жизни, подладиться к «сильным мира сего».*

Творческое наследие Инала Канукова близко и дорого советским людям. Актуально звучат сегодня его страстные статьи в защиту людей труда, их человеческих прав и интересов; обличение капиталистических хищников всех мастей, забота о благе и процветании родного народа и о развитии обширной и богатой сибирской земли. В каждом километре Байкало-Амурской магистрали — частичка осуществленной мечты Инала Канукова. С нами писатель и в своей ненависти к войне, в призыве бороться за мир.

В благодарной памяти потомков имя Инала Канукова всегда будет примером служения светлым идеалам человечества.

---

* Владивосток, 1898, № 24.

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ



В ОСЕТИНСКОМ АУЛЕ

5 мая 1870 года, аул Брута.*

Когда две недели тому назад я подъезжал к аулу, куда мы переселились только недавно, на меня нашло уныние. Это чувство было вызвано мрачным, непривлекательным видом аула. Смотря на него, я невольно вспоминал с удовольствием прежний наш аул, в котором провел столько отрадных дней. Вспомнил ближайший лес, куда уходил я за орехами, речку, где купался я часто, мельницы, под которыми мне неоднократно приходилось лазить за рыбою; вспомнил те вишневые и те грушевые деревья, которые росли в маленьком нашем саду, прилегавшем к нашей сакле.

Ничего подобного не замечал я в новом нашем ауле. Я не видел в нем также и того довольства, которое заметно в аулах по дороге от Владикавказа.

Проезжая через них, я видел большие гумна, наполненные огромными скирдами пшеницы; видел на речке множество мельниц, весьма порядочных; видел дома европейской постройки, покрытые черепицей, и маленькие, аккуратно содержимые садики перед этими домами. Словом, видно было по всему, что там жители стараются обставить свою жизнь по возможности лучше, удобнее.

А тут представились только жалкие сакли, мрачно глядевшие своими одиночными крошечными окнами из-под соломенных крыш. Сколько я ни старался, не мог увидеть ни одного деревца и — увы! — ни одного гумна со скирдами, как в соседних аулах.

Когда я въехал уже в аул, мне стало еще грустнее, потому что ближе присмотрелся к саклям, лепившимся по обеим сторонам улицы. Сакли почти все были плетневые, вымазанные или глиною, или же коровьим пометом. Мне казалось, смотря на них, что если подует порядочный ветер, то он разнесет их по полю со всем домашним скарбом.

Улица, по которой я ехал, была пуста, и, казалось, весь аул

---

* Брута в 40 верстах к северу от Владикавказа, осетинский аул. (Примечание автора. В дальнейшем примечания автора, данные под строкой, не оговариваются.— Сост.).

вымер. Только несколько дворняжек, растянувшись посреди улицы, грелись на солнце. Увидев мое приближение, они кинулись мне навстречу, причем одна из них вцепилась в хвост моей лошаденки и вырвала клок волос.

Два маленьких мальчика, а может быть, девочки — не могу утвердительно сказать, потому что костюм их был неопределенный,— копались в лужице, образовавшейся от вчерашнего дождя. Они усердно лепили горки из грязи; но, увидев мое приближение, они бросились бежать, оставив свое занятие, и очутились в ближайшем дворе. Вероятно, они испугались моего русского костюма.

— Эй! *Сайдус! Сайдус!* Твоя чушка! — кричали они мне вслед, стараясь попасть в меня комками грязи.

Куры с цыплятами в чем-то копались, да прошла с кувшином воды какая-то женщина,— вот и все встречи при въезде моем на новое местожительство.

Наконец, по указанию одного мальчика, я достиг нашего двора. Двор этот мало отличался от соседних дворов и по величине, и по конструкции; две сакли, из которых одна о двух помещениях: одно называется *уат,* а другое *тæвдгæнæн.*

В *уат'е,* как это и всегда бывает, помещаются женщины; тут же на нарах, вдоль стены, возвышаются один на другом тюфяки, затем выше одеяла, и, наконец, все это завершается подушками. Вдоль стены, противоположной двери, всегда во всяком *уат'е* красуется *сынтæг* (огромная койка, которая тоже заменяет и диван); за *сынтæг'ом,* на нарах вдоль стены, расставлены сундуки, по порядку своих размеров. На стене же этого помещения часто висят доспехи хозяина, как, например, ружье, шашка, пистолет. Назначение всякого *тæвдгæнæн'а* то, чтобы это помещение, которое всегда прилегает к *уат'у,* согревало зимою семью от холода, для чего в *тæвдгæнæн'ах* всегда устроена печка или огромный камин. *Тæвдгæнæн* не нововведение между осетинами: он с давних пор между ними распространен. Летом *тæвдгæнæн* служит складочным местом всякого домашнего скарба, и в эту пору года живут в нем редко. Но за неимением другого помещения, более удобного, я поселился в *тæвдгæнæн'е,* причем, вместо мебели, окружают меня всякого рода кадки и другие принадлежности домашнего обихода.

Необходимая пристройка всякого осетинского жилья есть *хæдзар. Хæдзар* служит, с одной стороны, кухней, с другой — помещением работников у узденей. Что же касается до *хæдзар'ов* у чернолюда *(сау адæм),* то они служат помещением всей семьи в продолжение дня. К *хæдзар'у* нашему лепится курятник плетневый, в котором живет два десятка кур, надоедающих мне своим

кудахтаньем. За курятником тянется навес для ароб (*уæрдондон*, что в переводе значит: место для ароб).

Кунацкой у нас не оказывается, между тем как кунацкая составляет также почти необходимую пристройку всякого порядочного двора. И все это окружено плетневой низенькой огорожей. А другие и того не имеют. Вон, например, напротив нас живет Кази, так он со всею семьею помещается в одной маленькой плетневой сакле. У него нет стойла и даже курятника, как у других, и одинокая сакля его торчит почти посреди улицы без всякой огорожи...

6 мая.

Скука... Невыносимая скука!.. Первые полторы недели еще кое-как прошли, но теперь нет возможности совладеть со скукою... Никто не посещает меня, да и сам я никого уже не посещаю: со всеми родными и знакомыми уже повидался неоднократно.

В первые дни моего приезда время проходило еще сносно. Придут несколько женщин-родственниц поздравить меня с приездом. Первым долгом они обнимали меня троекратно, приговаривая:

— О мое солнышко!.. Мой ясный день!.. Как ты вырос! Какой ты большой стал!..

Потом желали мне быть *инæлар'ом* (генералом) или офицером. У нас, в особенности женщины, никак не могут допустить, чтобы, учась у русских в школе, не получить офицера.

— А какой ты мне сделаешь подарок, когда сделаешься офицером? — обыкновенно спрашивает посетительница.— Уж ты мне привези башмаки, чтобы я носила их в знак памяти, или же привези мне платок шелковый, а вот моему маленькому Бибо — сапоги.

— Хорошо, хорошо,— говорю я обыкновенно на это.

— Да не забывай нас, когда сделаешься офицером,— добавляет она,— а то вот сколько наших в России пропало, как только получили офицера. Позабыли даже своих родных и не помогают им!

И в этом я их уверяю.

Потом, поболтав между собою об аульных новостях, до которых, скажу мимоходом, наши женщины большие охотницы, они расходятся по домам.

Или же, если женщин нет, придет какой-нибудь мужчина и поздоровается, взявши за руку, но никогда не обнимается, как женщина. Станет он расспрашивать точно таким же образом и прежде всего, конечно, спросит:

— Скоро ли будешь офицером?

— Скоро,— отвечаю я на это.

— Это хорошо,— говорит он,— только не забывай своих,— добавит он и так же сошлется на тех офицеров наших, которые, по его выражению, *улупа хæрынц* (т. е. прокучивают свое жалованье) и пренебрегают своими.

Попросит и он себе подарочка. Обыкновенно, если посетитель старик, то я уже заранее знаю, что он попросит трубку, оправленную серебром; если молодой — попросит или кинжал серебряный или же газыри серебряные. Пообещаешь им, и они разойдутся, довольные мною.

Таким образом, благодаря посетителям и посетительницам, проходила моя монотонная аульная жизнь. Но теперь, так как никто уже не стал посещать меня, то и скука вполне овладела мною. Напрасно я принимаюсь за чтенье — не помогает. Единственные гости, которые еще посещают по временам мою обитель,— это телята; во время жары, спасаясь от оводов и комаров, они вбегают с шумом в открытые двери моего *тæвдгæнæн'а* и нарушают тишину моей отшельнической жизни...

9 мая.

Проснувшись, я взглянул в окно. Прежде всего в глаза мне кинулся наш аульный холм,— этот холм* у меня как бельмо на глазу,— на котором толпа мужчин о чем-то шумно разговаривала. На мой вопрос, что́ за сборище, брат мне сказал, что то собрались старшины и судья, так как нынче *«суды бадыны бон у»* (т. е. сегодня день заседания). Я вспомнил, что в аулах теперь введены правильные судебные заседания.

---

* Холм в ауле — это место общественного собрания. Сюда в нерабочую пору собираются все аульные жители и часто решают частные и общественные дела или же просто проводят досужее время в пустых разговорах. Сообщают друг другу новости разного рода — кто о приказании начальника округа, кто о покосе. Иной раз среди собравшейся толпы холмовиков раздается монотонный звук двухструнной скрипки, которая у нас, осетин, называется кабаньей головой *(хуыйы сæр)*. Под монотонный звук кабаньей головы какой-нибудь старец напевает песнь про Баби или Чермена или же рассказывает легенду про Батрадза, сына Хамыца, который вел упорную борьбу даже с небом, и, наконец, сам погиб от своего знаменитого *æхсаргард'а* (меча). И если бы этот лысый холм, на котором собираются завсегдатаи, получил дар слова и мог бы рассказать слышанные от болтливых стариков разные россказни, если бы он сообщил нам, сколько людей провели на нем всю свою жизнь до самой дряхлости в праздной болтовне, то пришлось бы нам прийти в ужас. Но холм молчит и покорно поддерживает на своей лысине стариковские тела, безмолвно внимая их нескончаемой болтовне с утра до самого позднего вечера.

«Пойду-ка посмотрю, о чем говорят»,— подумал я. Оделся, умылся, пошел на холм.

Все приветствовали меня с добрым утром. Те, которые сидели, приподнялись со своих мест и предложили мне сесть. Я отказался, как требовало приличие, так как я был моложе их.

— Будет сейчас заседание суда,— обратился ко мне один знакомый старик, бывший членом суда.— Ты ведь по-книжному знаешь и, вероятно, всякое дело понимаешь лучше нас: так, где случится, там можешь направить нас на путь, если будем ошибаться.

Я согласился присутствовать в их заседании, но не с тою целью, чтобы наставлять старцев велемудрых, ибо не к лицу было бы мне, безбородому мальчику, по их выражению, научать стариков, видавших многое на своем веку, уму-разуму.

Вообще считается нескромностью со стороны молодого человека участвовать в разговорах со стариками и даже слушать их мудрые речи.

— Пошел вон отсюда! — говорят обыкновенно эти мудрецы любопытному безбородому, который осмелится заслушаться их разговора.— Ведь ты не старик. Стыдно тебе при стариках.

Настоящее же предложение мне было сделано из вежливости.

Среди общего разговора раздался голос одного старика, который спросил, все ли налицо судьи. Оказались все налицо.

— Идемте же в судебный дом,— сказал тот же старик, и все сошли с холма.

Я тоже последовал за ними, и мы направились к кунацкой аульного старшины Кургоко. Судьи разместились на диване, который есть необходимейшая принадлежность всякой кунацкой, по старшинству. Мне принесли маленький низенький табурет, на котором я поместился ниже всех, так как был моложе всех, да и было бы величайшей нескромностью с моей стороны, если бы я сел среди стариков, хотя бы они и предлагали это.

Всех судей числом пять; они все старики, исключая одного, самого хозяина кунацкой, Кургоко, которому не больше лет тридцати. Аульный крикун, опершись на свою длинную суковатую палку, стал у дверей.

Мальчик-писарь, принявший эту должность на три месяца, сел перед судьями и, развернув журнал, в котором записывались решения дел аульных, положив чернильницу на пол и вооружившись пером, принял выжидательную позу.

— Эх, какой мы, право, дрянной народ,—сказал один из стариков.— Не заведем себе не только дом для суда, но даже такую незначительную по своей стоимости принадлежность, как стол, который необходим для писаря.

— Да и то правда,— подтвердил другой.— Посмотреть в дру-

гих аулах, так все не то, что у нас. Там есть и отдельно построенный для суда дом, есть и стол, и писарь не пишет так, как у нас, на коленях, и чернильницу не ставит на пол. И мечети у них хорошие, крытые черепицей или железом; а у нас что есть? Есть мечеть, и та не крыта вот уже второй год, а что стоит покрыть ее соломой? А что касается до тебя,— обратился он к писарю,— так мы тебя насчет платы за твои труды не обидим. Тебе за три месяца следует 10 руб. и по мерке пшена, и мы тебе это дадим.

В этом же роде говорили и другие присутствующие в кунацкой, и бог знает, до каких пор длились бы эти разговоры, если б один из судей не заметил:

— А скоро ли начнем дела-то решать?

Судьи приутихли. Некоторые при этом вынули изо рта свои трубочки, из которых они выпускали дым махорки,— явились челобитчики.

Это были два парня: один из них, Уруц, принес жалобу на Бибо за то, что последний еще при жизни отца его задолжал ему восемь руб., которые и по настоящее время не отдает ему, Уруцу. Один из судей обратился к Бибо, стоявшему у дверей, с вопросом, почему он не отдает долга Уруцу?

— Зачем же я буду отдавать, когда не я ему должен, а он мне должен четыре рубля,— сказал на это Бибо.

Уруц, в свою очередь, взваливал долг на Бибо, Бибо на Уруца, и, таким образом, прения ни к какому результату не приходили.

Судьи, стараясь как-нибудь покончить это дело, потребовали у них свидетелей, но свидетелей не оказалось как у одного, так и у другого. Как ни судили, ни рядили, все ж таки ни к какому окончательному результату не приходили. Вконец измучились старцы, так что на лицах их показался пот.

— Довольно! — сказал один из судей, видя бесплодность прений.— Довольно: ничего не выйдет. Бьем, бьем солому, а зерна все же нет. Толкуем и толкуем много, а все же ничего путного не выходит. Ну, согласились бы хоть на мировую, что ли, но и этого не хотят.

— В таком случае, пусть присягу примут,— сказал другой старик, утирая пот с лица.

— Маци! — обратился он к крикуну, который все это время стоял у дверей и флегматически покуривал.— Сходи за муллою, да только скорее.

Крикун безмолвно повиновался и вскоре возвратился, сопровождая нашего аульного муллу, который, прихрамывая на одну ногу, нес под мышкой коран.

— Асалям алейкум! — произнес протяжно мулла, входя в храм правосудия.

— Алейкум салам! — ответили на это протяжно старцы, приподнимаясь с своих мест.

— Сядь, мулла, вот тут,— сказали ему судьи.

Мулла сел на указанное место. Ему объяснили повод, по которому его призвали.

— Как! Из-за такого маловажного дела приводить к присяге! — воскликнул мулла, окидывая удивленным взглядом присутствовавших судей.—Судьи,—обратился он к ним,—вы должны быть осмотрительней относительно присяги: присягу вы должны дозволять только в крайних случаях, при важных делах, иначе какой же страх будет иметь наш народ и какое он будет питать уважение к преславному святому корану, когда эта книга при всяком маловажном деле будет, как бы в шутку, разворачиваться для присяги?! Опомнитесь, судьи! Подумайте, что это дело важное. Что же касается до меня, то я не беру на себя греха и не стану в таком ничтожном деле раскрывать коран и приводить к присяге.

Сказав это, мулла замолчал. Судьи, опустив головы, как будто о чем-то призадумались. Некоторые из присутствующих поддержали слова, сказанные муллою, а один из них пришел даже чуть не в ярость.

— Вы не знаете и не понимаете священного значения присяги! — кричал он на всю кунацкую.— Вы на то судьи, чтобы...

— А тебя кто спрашивает? — перебил его один из старцев, выходя из задумчивости.— Ступай отсюда, козлиная ты борода, пока тебя не вывели. Или ты пьян, или сумасшедший!

На эти последние слова тот стал было возражать, но по приказанию старшего из судей был выведен из кунацкой.

— Если уж так,—сказали судьи,—так пусть идет дело это на решение в город...

В это время, когда еще заседание не должно было прекратиться, в дверях кунацкой показался сын Кургоко, который нес маленький круглый столик с разрезанным пирогом. За ним выступал другой мальчик, с медным чайником в одной и стаканом в другой руке.

— Ба! *Берекет! Берекет!*—воскликнули некоторые, резко переменяя тон и обративши взоры на пирог, начиненный сыром.

— Ну теперь довольно! Пора прекратить прения,— сказал Кургоко,— нужно и горло промочить...

— Да... кричали порядком,— сказал один из почтенных старцев.— И ведь этакие собачьи сыны! Ничего не поделаешь с ними, с такими упрямцами...

— Вы делаете то, что в состоянии,—сказал кто-то из-за кунацкой, где тоже собралась порядочная толпа.

— Сколько есть умения и сил, стараемся,— ответил польщенный старец.

— Бери, бери! Нечего там много разговаривать,— говорил Кургоко, протягивая к старцу стакан, наполненный аракою.

— Да ты что мне подаешь,— сказал старик как бы несколько обиженным тоном, отодвигая от себя стакан,— ты дай вот сперва Саге: он старше меня.

— Он уже пил,— говорил Кургоко.

— Ну, так дай бог вам берекет,— говорит старик, взявши стакан с сияющим видом.— Дай бог, чтобы твои дети все здоровы были и чтобы вот этот маленький *бичо* сделался большим мужчиною.

Говоря это, он поднес стакан к губам маленького сына Кургоко, но тот отвернулся от стакана.

— Не пьешь араки? Ах, *маладец!* Ну, да милость божья снизойдет на тебя*,— обратился он к нижесидящему судье.

— На здоровье! — отвечает последний,— и пошла круговая попойка...

13 мая.

Сегодня я писал у своего окна и не заметил, как подошел ко мне старик Мосе. Он долго и внимательно смотрел на то, как я писал.

— Что же ты меня, старика-то, не научишь писать по-книжному? Разве я не могу научиться?

— Как не можешь? Но на это есть сперва особая книжка (я объяснил ему значение азбуки).

— Эх, а как бы мне, старику, хотелось выучиться по-книжному! Если бы знал я читать, я бы взял самую большую книгу и читал бы ее... А то, что́ я теперь на самом деле? Ничто... Хоть и старик, но ничего не знаю, а вот ты еще молодой, а знаешь все, как черт. Вот ты теперь пишешь какие-то каракульки, и удивительнее всего для меня, как ты по этим каракулькам узнаешь разные имена. Где написано имя Саге, там уже не прочтешь Мосе... Что сегодня написал, то можешь сказать слово в слово через три-четыре дня. А я ничего не понимаю в этом и смотрю с бараньей тупостью. Видно, жальче нас народа и бог не создавал.

Говоря это, он грустно покачал головой.

---

* *Хуыцауы хорзæх дæ уæд* — эта фраза почти не переводима на русский язык. Во время попойки старший обыкновенно обращается к нижесидящему с этой фразою, которую нужно понимать в смысле: «За твое здоровье!»

— Оставь-ка лучше писать и возьми книжечку да переведи мне какой-нибудь чудесный рассказ (*æмбисонд*).

Мосе — страстный охотник слушать *æмбисонд'ы*. Он меня посещает почти каждый день с тех пор, как я ему однажды перевел отрывок из странствований Улисса. Теперь я взял и перевел ему сказку братьев Гримм «Дедушка и внучек». Мосе слушал с большим вниманием, и, когда я кончил, он воскликнул:

— *Арæби!** Какая истинная правда! Есть и у нашего народа такой же *æмбисонд,*— и он рассказал мне следующую сказку, в которой нельзя, в самом деле, не заметить поразительного сходства со сказкою Гримм.

Старик и его сын. У одного сына состарился отец и вместе с тем ослеп. Старик, да к тому же слепой, не мог больше работать и потому сидел всегда во время работ дома. Сыну надоело смотреть на то, как престарелый отец его сидит без дела и не помогает ему ни в чем, и он сказал однажды про себя: «Вот теперь отец мой состарился, и я не знаю, какую он мне пользу еще может принести. Я думаю — никакой. Так зачем же он будет даром есть мой хлеб? Дай-ка я сброшу его с высокой скалы, чтобы и о смерти его никто не узнал».

Затем он зашил старика-отца в телячью шкуру, сплел корзину и, положив его в нее, понес на высокую скалу, чтобы сбросить его оттуда. На пути старик заговорил из корзины:

— Эй, мой сын! Ты устал, неся меня на своих плечах?

— Ничуть,— отвечал сын.

— Ну, хорошо, мой сын, мое солнышко, хорошо, что ты не устал. Но только прошу тебя, когда ты меня сбросишь со скалы, то не бросай корзины, в которую ты меня посадил теперь, чтобы сбросить меня со скалы. Ты не бросай ее со мною.

— Зачем ты это говоришь? — спросил он.

— Как зачем? Затем, чтобы твоим сыновьям, когда они возмужают так же, как и ты, и ты сам постареешь так, как я, не пришлось плесть новую корзину, в которой бы тебя, как и ты меня теперь несешь, принесли, чтобы сбросить тебя со скалы.

«Ах! Ведь отец прав»,— подумал сын и понес старика-отца обратно и с тех пор стал относиться к нему с таким почтением, какого прежде никогда к нему не имел.

15 мая.

Вчера у соседа, Дзарахмата, был праздник. Он праздновал рождение своего сына, который появился на свет вчера же.

Веселье длилось до самого позднего вечера.

Посреди двора были устроены танцы, в которых принимала

* *Арæби* — произносится в знак удивления, слово непереводимое.

участие одна молодежь. Мужчины пожилых лет, образовав кружок и взявши друг друга под руки, кружились на одном и том же месте и пели какую-то несвязную песню про белого быка (*урс гал*). Они горланили до тех пор, пока им из сакли не вынесли жаренных на масле пирогов (*уæлибæхтæ*) и чайник араки. Из пирогов на этот раз до места назначения дошло только два, так как один из них, как это случается весьма часто при таких праздниках, был похищен дорóгою толпою голодных мальчиков, которые и съели его мигом за курятником.

Под навесом *уæрдондон'а* несколько девушек, качаясь на качелях, пели песню:

О Мады Майрæм!
О фыды хицау!
Кæй радтай — цæринаг*

. . . .

При таких же торжественных случаях девицы обыкновенно поют общеупотребительную между ними только следующую песню:

Уæлæ халон фæтæхы.
Уый йæ дзыхы цы хæссы?
Уый йæ дзыхы хъæмпы хал.
Хъæмпы халæй цы кæны?
Ахстæттæ дзы скæна.
Ахстæттæй та цы кæны?
Лæппынтæ дзы рауадза.
Лæппынтæй та цы кæны?
Хуымæллæгмæ сæ арвита.
Хуымæллæгæй цы кæны?
Бæгæны дзы сфыца.
Бæгæныйæ цы кæны?
Хистытæ дзы фæкæна.**

---

* Песню эту должно понимать в таком смысле: о мать Мария, о отец-господь! Что дал, да проживет многие лета ..

** Песню эту можно перевести так:

Вон летит ворона.
А что несет в клюве?
В клюве несет соломинку.
А на что ей соломинка?
Совьет себе гнездышко.
А на что ей гнездышко?
Выведет птенцов.
А на что ей птенцы?
Пошлет их за хмелем.
А на что ей хмель?
Сварит она пиво.
А на что ей пиво?
Будет поминать мертвых.
. . . .

Чтобы сохранить правильный выговор этой песни, я пишу ее на туземном же языке.

Обыкновенно к концу этой песни прибавляются разные просьбы, относимые к вороне. Интересно бы знать происхождение этой песни. Я сомневаюсь, чтобы она была чисто народным произведением, ибо подобный склад и размер стиха не в духе осетинских произведений.

Со всех сторон шли женщины в лучших своих нарядах, чтобы поздравить хозяев с благополучным окончанием родов и появлением на свет мальчика, а не девочки. Они шли не с пустыми руками, но каждая несла с собою *хуын* (три пирога, жаренные на масле или испеченные в золе). Эти приношения уничтожались принимавшими участие в веселье мужчинами. Веселье длилось почти до самой полночи...

Вот и теперь слышится звук разбитой гармоники, хлопанье в ладоши и звон таза, который играет роль барабана.

16 мая.

У меня нашелся теперь в ауле приятный собеседник. Это наш сосед Хатацко. На полевую работу он не выходит, потому что у него болят ноги, вследствие чего он ступает всегда пригнувшись, словно крадучись. Несмотря ни на какие жары, я всегда вижу его в шубе.

— Зачем ты ходишь в шубе в такую жару? — спрашиваю я его.

— Как зачем? Так, чудак, прохладнее,— отвечает он.

Он кое-как говорит по-русски; участвовал неоднократно в слепцовских делах и с особенным восхищением вспоминает о храбрости Слепцова и быстроте его серого коня.

Живет Хатацко не бедно и даже с достатком. В рабочую пору из мужчин его только одного можно видеть в ауле, да разве еще старого кузнеца Даута, у которого Хатацко просиживает по целым дням и проводит с ним время в болтовне. Если же Хатацко не в кузнице, то наверное его можно видеть на холме, где он сидит, сгорбившись, с своей неразлучною дочкою, которая сопровождает его совершенно нагою, хотя ей уже лет шесть.

— Отчего ты не одеваешь ее? — спросил я Хатацко.

— Она еще не нуждается в одежде: она еще маленькая, и не стыдно ей ходить в таком виде, а вот как подрастет, так я ее разодену на славу и выдам замуж за хана или пашу,— так ведь, дочка? — обратился он к ней, шлепая ее по голому телу. Та кричит.

Сегодня меня кто-то окликнул с холма. Я выглянул в окно — Хатацко, по обыкновению, сидит на холме и зовет меня к себе, махая своим костылем.

— Подь сюда! Подь сюда! — кричал он мне.

Я отправился, хотя жара была невыносимая.

— Тебе, видно, скучно? — спросил он меня, когда я с ним поздоровался.— Я знаю, ты не привык к нашей собачьей жизни. После того, как ты изнежился у русских, наш черствый чурек и наша дымная сакля покажутся невыносимыми, я знаю. Но что же делать: мы народ бедный. Работаем, как волы, а все-таки никакого берекета нет,— и это оттого, что не умеем жить.

Сказав это, он грустно покачал головой и замолк. Я тоже молчал.

— Да что ты нынче такой *хмарный?*—обратился он ко мне и, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Это не годится, нужно быть всегда веселым, разговорчивым, шустрым, не то, право, тебе можно какую-нибудь болезнь получить. Возьми меня в пример: я во всю жизнь не предавался печали,— продолжал он серьезно, говоря на родном языке,— не предавался печали, хоть и остался таким же круглым сиротою, как и ты, да еще при худших обстоятельствах, чем ты с братом. Мне было тогда восемь лет, брату шесть. Отец нам почти ничего не оставил по смерти. Единственная лошадь, на которой он ездил, была вскоре продана, как и оружие его, оправленное в серебро. Нас приютил один родственник, и мы стали жить у него; но какое же житье сироты в нашем народе? Потаскался по задворкам, испытал много оскорблений и всяких побоев от своих сверстников, но никогда не унывал: я старался своим обидчикам отплачивать тем же. Впоследствии я стал выделяться между своими товарищами своим проворством и смышленостью, терся во время игр и танцев между молодежью и научился так играть и танцевать, что меня полюбили старики нашего аула и стали за меня заступаться, когда кто-нибудь, бывало, обижал меня. Лет тринадцати я уже стал принимать участие в полевых работах, как и мой брат,—мы погоняли волов во время пахоты. Потом со временем мы сами пристрастились к работе и стали самостоятельно жить и работать. Но в работе я отставал от брата. Мне все хотелось послужить у русских, и я, действительно, служил примерно, но богу угодно было послать на меня проклятую болезнь, и я вот в 30 лет уже негодный человек. Во всяком случае, нечего мне роптать. Мы, слава богу, живем с достатком, благодаря трудолюбию брата. А отчего он стал таким хорошим работником? Оттого, что он не увлекся, как я, молодечеством, не погнался за джигитством. А что было бы, если бы и он, как я, пристрастился к верховой езде, чем и как бы мы теперь жили? Так же, как твой дядя Тего, который не кто иной, как негодный шалопай, проводящий время в бесцельных разъездах. Теперь времена другие настали, дорогой Бобо, времена джигитства миновали... Пора расстаться с оружием и взяться за соху.

— Меня удивляет,— продолжал он,— как твой младший брат еще не хочет понять, что продавать отцовское оружие совсем не грешно. Отчего он не хочет продать его и на вырученные деньги не купит хотя бы корову? На кой конец оно будет торчать на стене вашего *уат'а,* на добычу ржавчине, когда маленькие ваши сестры просят есть? Удивляюсь! Оставил бы эту дурь! По моему мнению, гораздо было бы благоразумнее как можно скорее сбыть его с рук, пока, может быть, кто-нибудь купит его, или бы, наконец, снес вон к Дауту, и он бы сковал из него серп или косу,— и то лучше, чем оно будет на стене торчать. Вот еще что скажу: наша молодежь все еще и теперь склонна иногда к воровству. Это гнусное занятие, разоряющее других, должно презирать, а не считать за молодечество. В настоящее время на джигита, разъезжающего на своей лошадке по аулам с оружием, я смотрю как на человека вредного, бездельного, который, шатаясь по домам, объедает других...

Все это говорил Хатацко с полным убеждением и даже с некоторою язвительностью. Я не ожидал от него столь резких приговоров над молодечеством, освященном предками, не предполагал в нем таких здравых мнений о том, что в настоящее время наш якорь спасения — работа и работа...

18 мая.

С некоторого времени я стал посещать холм. Там форум аула, там можно наслышаться всяких новостей и *æмбисонд'ов* от болтливых стариков, там можно услышать решения общественных и частных дел. Я так часто стал посещать холм, что неоднократно слышу от своего брата: «Зачем ты все ходишь туда? Стыдно тебе со стариками там болтать».

Я знаю, почему делается это замечание. Высшее сословие считает унизительным для себя ходить на холм, так как туда собираются люди из низшего сословия. Но я, конечно, нимало не обращаю внимания на это предубеждение и все-таки хожу на холм коротать скучные дни аульной жизни.

Вот и вчера просидел я там целый вечер и услышал много занимательных рассказов. Между прочим, вот что рассказывал один старик.

Недалеко от нашего аула есть огромное болото, поросшее камышом. Болото это, как известно, образовалось на месте старого нашего аула. Рассказчик уверял, что в этом болоте живет чудовище непомерной величины, чудовище это — *залиаг калм**. Этот

* *Залиаг калм* — этим именем называют удава, отсюда название это переходит уже на всякую змею большой величины. *Калм* — змея, *залиаг* — непереводимо.

залиаг калм издает странный рев, похожий на рев буйвола; на голове имеет золотой таз. Как-то слух об этом чудовище распространился и по другим аулам. Любопытные из соседних аулов приходили неоднократно поглядеть на это чудовище, и некоторым, как уверяли они, удалось видеть его. Рассказы таких очевидцев распространили в народе ужас, и вот однажды решили убить это чудовище, чтобы оно не наделало, паче чаяния, каких-либо неприятностей. Для этого почти весь наш аул и некоторые из соседних аулов отправились с заряженными винтовками на место, откуда, по уверениям очевидцев, должен был показаться залиаг калм. Десятки винтовок уставились наготове по тому направлению, откуда он должен был показаться.

В безмолвном, напряженном молчании смотрели они в болото. Вдруг раздается знакомый рев, и вслед за тем раздались выстрелы; но чудовище не убито, потому что оно не показалось. Говорят, кто-то ехал мимо этого болота и заснул в арбе. Когда раздался как раз над его ухом этот страшный рев, слышный за двадцать пять верст, то он, в испуге выпрыгнув из арбы, бежал до тех пор, пока не упал замертво.

Это явление, наводящее на суеверных горцев такой страх, можно объяснить, как мне кажется, весьма просто. Так как дно болота покрыто густым слоем тины, то ключевая вода, проходя через эту тину, производит звук, который, конечно, не так силен, чтобы слышен был за двадцать пять верст. Но суеверное воображение горца дает самым простым явлениям природы чудовищные объяснения.

Потом зашла речь о небесных светилах.

— Как ты думаешь, где теперь солнце скрылось? — спросил я у одного.

— Известно, в море,— ответил тот с самоуверенностью.— Где же иначе и скрываться ему? — продолжал он.— Если бы оно не погружалось в море, то был бы потоп, потому что воды набралось бы столько, что она вышла бы из своих берегов и затопила бы нас. А солнце своим жаром уничтожает много воды.

Я стал ему объяснять, как умел, что солнце не погружается в море, что оно неподвижно, что оно больше земли, что земля вращается около солнца...

— Э, нет! Что ни говори, а земля никак не вертится,— перебило меня несколько голосов.— Как же мы в таком случае никуда не падаем?

Я стал объяснять. Круглоту земли, между прочим, признали, но никак не хотели верить тому, чтобы земля вертелась вокруг такого незначительного по своей величине тела, как солнце.

— Уж ты нам что ни говори, а деды наши лучше ваших книг знали. Мы говорим то, что говорили наши деды и прадеды.

Протестовать против дедовских традиций с моей стороны было бы и некстати, и неосторожно, ибо я навлек бы на себя сильную неприязнь стариков; пожалуй, назвали бы еще гяуром. Поэтому я замолчал.

— А из чего сделаны луна и звезды? — спросил какой-то любопытный.

— Они созданы богом из чесноку,— объяснил другой.— Каким образом это так устроено богом, об этом предки наши ничего не знали, но говорят, что действительно из чесноку.

Я улыбнулся.

— Смейся, смейся! — обратился ко мне тот, кто объяснял состав звезд,— а все же наши деды не ошибались, ибо они научились сами от дедов, а те от своих дедов, и так от самого Атана и Амана (Адама и Евы), которые, как самые близкие люди к богу, знали очень хорошо, как сотворено все видимое.

— А небо как устроено? — спросил тот же любопытный.

— Небес всех пять: из них первое состоит изо льда, второе из меди, третье из серебра, четвертое из золота, а пятое из чистого брильянта.

— А как же ледяное небо не тает от солнца? — допрашивал все тот же.

— А уж это так бог устроил,— пояснил с важностью знаток другой.

— А отчего происходит гром?

— Это трудно объяснить... Говорят, что по небу катятся камни, но навряд ли это так... А вот слышали ли про чудо: там, где ударит гром, оказывается часто стальная цепь. В одном ауле, кажется, Даргавсе, около стога сена ударило громом. Стог сгорел. Когда хозяин стога пришел на место несчастия, то нашел там стальную цепь; он взял ее и повесил в своей сакле над очагом, как простую цепь. Однажды над очагом на этой цепи он варил в котле свиное мясо,— хозяин был христианин. В то время, когда вода в котле уже вскипела, капля ее как-то попала на цепь. Как только это случилось, цепь, к удивлению семьи, сидевшей у очага, раскачала котел и, опрокинув его, обдала варом всю семью.

— Аллах, аллах! — произнесли некоторые из слушателей.

— Потом, сбросив с себя нечистый котел, цепь, как змея, обвилась вокруг перекладины, на которой он висел. Хозяин, смекнув, что это цепь не простая, снял ее и понес к речке, чтобы смыть с нее каплю воды из нечистого котла. Как только он окунул цепь в реку,— пошел дождь.

— Аллах, аллах! — повторили слушатели.

— Затем, по наущению знахарей и знахарок аула, он отнес эту цепь в священное место Реком, где она хранится и по настоящее время в маленьком ящике, откуда ее берут и окунают в воду, когда хотят, чтобы пошел дождь. Я сам видел эту цепь, *уæллæхи!*—закончил рассказчик.

Несколько голосов подтвердили, что в Рекоме действительно хранится эта цепь*.

20 мая.

Вчера опять на холме слушал стариков. Сперва рассуждали о предстоящих покосах, потом перешли к частным делам. Заговорили потом о чудесном действии корана, о целительной силе талисманов, об излечивании обойденных чертями. По рассказам, такие целительные талисманы пишет мулла соседнего аула Джерихан.

Мосе рассказывал какую-то легенду про Аматхана. Окончив ее, он обратился ко мне.

— Расскажи-ка нам про того человека, о котором ты мне уже рассказывал, как его — Адиссе?

Я принес Грубе и стал переводить о странствованиях Одиссея. Толпа любопытных окружила меня и внимательно слушала, изредка обнаруживая знаки удивления. Несколько слушателей особенно были заинтересованы моим переводом. Некоторые из них уже слышали что-то подобное. Они останавливали меня в некоторых местах и делали кое-какие добавления.

— У нас тоже есть что-то вроде этого *æмбисонд'а,*— сказал один молодой мужчина.

Я попросил его рассказать. Рассказ его действительно напоминал странствования Одиссея. В этом рассказе роль Одиссея играют трое гаджи**, которые, возвращаясь из Каабе (Мекки) по морю, терпят кораблекрушение, но спасаются на обломке корабля, и волна выбрасывает их на остров *уæйыг'а* (одноглазого циклопа)***.

Они приходят к циклопу, который съедает двоих из них, третий же спасается, выколов глаза циклопу и одевшись в шкуру огромного козла, любимца циклопа****.

* Урочище Реком (местоположение Рекома указано Джантемиром Шанаевым в Осетинских народных сказаниях, в «Сборнике сведений о кавказских горцах», вып. III).

** Гаджи — лицо, побывавшее в Мекке на поклонении священному гробу Мухаммеда.

*** Уæйыг — сильный, большой человек, великан.

**** См. «Сборник сведений о кавказских горцах», вып. VII. Народные сказания осетин.

1 июня.

Я уже помирился с аульной скукою. Она не тяготит меня так, как прежде. Не посещаю холма — и то не так скучно. Наши старики что-то в последнее время стали жаловаться на свое горькое житье.

— Что за житье наше? — говорил сейчас один старик, сидя в моем *тæвдгæнæн'е*.— Посмотришь, как живем мы, так даже совестно. Ну, что за сакли у нас? Курятники какие-то, не избавляющие нас от холода зимою, а летом от дождей, даже самых незначительных. На дворе капнет — в сакле капнет. Зимою сколько мы дров истребляем! В продолжение зимы привезешь по крайней мере ароб сто, огонь всегда пылает среди сакли, а все-таки мало тепла. Рукам бывает тепло и ногам тоже, потому что почти зарываем их в золу, а спина все-таки мерзнет. А платье отчего так рвется у нас? Оттого, что в продолжение всей зимы жжешь его у огня и по целым месяцам не снимаешь его с плеч... Шубы нам служат и летом и зимою. Еде не знаем меры. Зарежу, например, я барана на ночь, и уже к утру его не будет: оставлять как-то неловко. Фруктами лесными мы не хотим пользоваться: нам кажется стыдным везти их возами отсюда и променивать на хлеб. И что это аул наш отстал от других аулов? Почему беднее всех? Посмотреть кругом — так ни у кого не увидишь порядочного строения, как в других аулах. Право, прежние наши холопы живут гораздо состоятельнее нас... Однако мне надо спешить: скоро пойдет дождь, а сакля наша протекает; нужно будет немножко прикрыть ее соломою,— сказал он и вышел.

В самом деле, подул сильный ветер. Вон на соседней сакле ветер перевернул почти всю соломенную крышу. Хозяин суетится около своей сакли; подает сыну, который успел вскочить на крышу, полено — положить его на оставшуюся часть крыши, чтобы и ее не снесло ветром. На остальных саклях там и сям тоже показались хозяева, укладывая на крышах дрючья, полена, камни и все, что тяжело, что может предохранить соломенную крышу от разрушения ветром.

В нашем *уат'е* поднялась такая же суетня. Снимают тюфяки, подушки и одеяла с нар и громоздят их в кучу <там>, где не протекает.

В мой *тæвдгæнæн* приносят та́зы, чашки, тарелки и ставят на тех местах, где протекает, а протекает почти во всех местах.

Но так протекает не у одних нас; я уверен, что почти во всех саклях аула такая же течь. Разве вон только Эльмурза не опасается, что в сакле у него будет течь, потому что крыша его сакли земляная, а не соломенная, как у других.

Идет дождь. Прибежали откуда-то куры со своими цыплятами и лезут, промокшие, в мой *тæвдгæнæн;* вон петух, где-то запоздавши, улепетывает что есть мочи через улицу и исчезает под навесом сарая; вон бежит кто-то, накинув на себя войлок и сопровождая теленка ударами палки. Дождь шлепает по лысине холма, журчит по соломе, протекает внутрь строений и мочит все, что попадает на пути. Среди сакли уже порядочные лужи... Но, слава богу! Тучи прошли, и небо прояснилось; солнце засияло еще ярче, чем прежде. Из саклей выползли жители, вынося на солнце все свое промокшее добро. И сколько гниет платья и домашней утвари от всякого дождя в ауле! А все оттого, что плохо кроются сакли.

4 июня

Эти два дня я гостил у родных в соседнем ауле. Один мой родственник женился, и у него шел пир. Я был приглашен через Данела. Так как аул, куда меня приглашали, отстоит недалеко от нашего, то я отправился с Данелом вечером пешком. Дорогою Данел сообщил мне несколько эпизодов из своей жизни. Так как он тип известного разряда нашей молодежи, то мне хочется оставить в памяти его образ. Если не во всех, то, по крайней мере, в большей части наших аулов найдется несколько экземпляров этого характерного типа нашей современной молодежи.

Данел — мужчина средних лет, с жиденькою русою бородкою и с маленькими усиками; глаза его живые, проницательные. Ходит он вечно в заплатанном бешмете. Серая черкеска его тоже достаточно поношена: в одном месте она заплатана кожею, а в другом материей. На груди красуется несколько газырей, самых разнокалиберных. Одни из них без затычек, вследствие чего в них только гуляет ветер, и два-три газыря с затычками. В одном из них хранятся всегда две-три спички, которыми он закуривает *паперос.* Он не какую-нибудь вонючую махорку курит, а *туренцка,* как он называет турецкий табак. *Туренцки* у него бывает не больше, как на две-три папироски; она тщательно завернута в бумажке, вложенной в складку шапки. *Туренцки* он не покупает — да у него и денег-то нет,— а выпрашивает у торговца ситцами в нашем ауле, Михела, или же у кого-нибудь другого, курящего турецкий табак. Папиросная бумага встречается у него редко, а если встречается, то это для него роскошь. Он обходится и без папиросной бумаги, довольствуясь простой писчей.

Я сказал, что в одном из газырей с затычками хранятся спички, в остальных же двух газырях на запас хранятся два заряда. Придется же ему танцевать с какою-нибудь хорошенькою девушкой: нужно же шикну́ть, т. е. выстрелить во время самых танцев из пистолета, с которым он редко расстается. Шапка его от вет-

хости похожа скорее, как у нас выражаются, на дохлую курицу, чем на шапку. А может быть, и оттого она растрепана, что неоднократно тешилась ею молодежь и стреляла по ней. И несмотря на все это бедное одеяние, он всегда бывает весел, болтлив, разговорчив, учтив и, что выдается резче всего в его характере, бывает услужлив. Многие в нем весьма часто нуждаются. Приедет ли к кому-нибудь в аул какой-либо важный гость — Данел ухаживает за гостем. Он очень хорошо знает *уæздандзинад* (узденский этикет) и потому умеет обходиться с гостем, хоть будь он даже *биаслан-æлдар* (кабардинский князь); он везде понатерся, везде бывал и все знает. И он весьма гордится тем, что знает в совершенстве *уæздандзинад* и часто щеголяет этим знанием. Ни одна пирушка в нашем ауле от него не ускользнет. Да и сами хозяева, в доме которых происходит пир, не пожелают отсутствия Данела, потому что он отличный распорядитель танцами и сам отличный танцор. Танцы почти всегда открывает Данел. При этом, подхватив любую девицу под мышку, он старается изумить толпу каким-нибудь нововведением в танцах. С девицами же Данел обходится как брат с сестрами,— и девицы только его одного не дичатся, только с ним одним свободно говорят, от других же парней конфузятся и бегают. Девицы ничуть не сердятся на Данела за то, что он отпускает им неприличные остроты весьма плоского свойства: похихикают под своими длинными рукавами рубах и только. Другие же парни не настолько смелы, чтобы шутить с девицами, да и вообще странная у нас натянутость в отношениях между девицами и парнями! Девицы даже как бы стыдятся показывать парням свои лица...

Данел не только душа молодого общества нашего аула, но его и в других аулах знают. Будь в ауле за пятьдесят верст пирушка, он и туда поспешит, если только есть возможность поспеть; и в другом ауле его примут с удовольствием; там, как и в нашем ауле, он будет распоряжаться играми и будет веселить честную компанию, за что поест и попьет, может быть, слаще всех. Для него нет определенного, постоянного местопребывания, хотя у него есть своя собственная сакля. Но что за сакля? Она похожа на сказочную избушку на курьих ножках. Стоит эта сакля особняком, почти на самой середине улицы, без всяких пристроек и забора. В ней живет престарелая мать Данела, потерявшая всякую надежду на помощь со стороны сына.

Так вот с этим Данелом отправился я к родным в соседний аул. Дорогою нужно было переходить нам через небольшую речку. Так как моста через нее не оказалось, то Данел вызвался перенести меня на своих плечах и, несмотря на мой отказ, убедительно просил меня согласиться на его предложение.

— Как ты шибко идешь,— сказал я Данелу, когда мы пошли дальше.

— В ходьбе я посоперничаю с лошадью,— сказал на это Данел самодовольно.— В прошлом году, когда в Санибе был *куывд* (пир), я отправился с одним товарищем; он отстал от меня на половине дороги, я же поспел к *куывд'у,* хотя до Санибы около 50 верст.

Стали мы подходить к аулу. Еще издали слышалось хлопанье в ладоши и звук гармоники; кто-то даже бил в медный таз, заменяя тем барабан. Двор, куда мы вошли, был наполнен людьми. Шум, гам, песни, звук гармоники, хлопанье — все это сливалось в нестройный гул.

— Расступитесь, люди, и дайте гостям дорогу! — сказал Данел, раздвигая толпу.

— Никак пришел Данел? — сказал кто-то из толпы.

— Ах, чтобы тебя бог покарал! *(Хуыцауы ард дыл фæцæуа!)* — обратился к нему другой.— Что же ты до сих пор не приходил? Вот девки по тебе скучают и не хотят танцевать. Заставь их, пожалуйста!

Девицы, стоявшие вдоль наружной стены *уат'а,* перед которой танцевала пара, увидев Данела, как будто повеселели.

— Добрый вечер, девки! — приветствовал Данел, подходя к ним.

Некоторые из них тихо захихикали, закрываясь длинными рукавами, а некоторые даже фыркнули и побежали было внутрь *уат'а,* где была невеста.

— А, так вот как!—воскликнул Данел, ухватившись за платок одной бежавшей девушки. Платок остался в его руках. Девушка, выглянув в окно, умоляла знаками отдать ей похищенный платок, но Данел не дал его до тех пор, пока все девушки не вышли опять и не стали танцевать. Так как было уже темно, то два или три парня держали высоко над головой зажженные лучины, чтобы светить танцующим. Между тем на одном конце двора мужчины делали симд*; на этот раз они пели песню циничного содержания про пресловутого во всей Осетии Асаго. Из *хæдзар'а* раздавался гул и слышались отрывочные фразы следующего рода:

— Выпей, ради отца твоего!.. Ради мертвых твоих!..

— Не могу, ей-богу, *уæллæхи!..*

---

* Симд — обыкновенно для этого мужчины образуют круг, держа друг друга под мышки, и поют, кружась на одном месте. Поют иногда песни весьма циничного содержания, хотя в *симд'е* нередко участвуют вперемежку с мужчинами и девушки. Девушки при этом, потупив головы в землю, молча краснеют и только.

— Ну, еще немножко... На голову вылью, если не выпьешь...

Потом слышалась песня, сопровождавшаяся хлопаньем в ладоши:

— *Аназ æй, аназ æй, акъул æй кæ!* (Выпей, выпей, опрокинь!)*.

Игры длились почти до самой полночи. Все это время я стоял в группе молодых парней, которые издали поглядывали на девушек. Кто-то меня окликнул, и я пошел в *тæвдгæнæн,* где мне приготовили ужин из *уæлибæх'а,* сжаренного в масле. Данела со мною не было, и я попросил, чтобы его позвали. Он пришел и присел на корточки за стол, между тем как я сидел на *сынтæг'е.* Мать жениха присела также подле меня и подкладывала мне лучшие кусочки *уæлибæх'а.* Не успел я взять второй кусочек, как в сенях, соединяющих *уат* новобрачных с *тæвдгæнæн'ом,* раздался грохот и мне послышалось, что кто-то прошептал умоляющим голосом:

— Пусти меня, ради твоих мертвых! Ради твоего отца!

Тотчас Данел выскочил из-за стола и мигом исчез в сенях.

Я вопросительно взглянул на сидевшую около меня женщину, но та с улыбкою сказала:

— Это молодежь там балуется...

После ужина я приглашен был в кунацкую, где для меня была приготовлена постель, и я лег спать, между тем как танцы еще продолжались.

На утро следующего дня я проснулся поздно. Вышедши из кунацкой и умывшись, я отправился во двор, где вчера происходило веселье. Двор теперь был еще шумнее, потому что еще больше собралось посетителей. Перед воротами, *нæууыл* (на дерне) расположились старики и шумно разговаривали в ожидании баранины, которая перед ними была навалена на плетни. Несколько парней своими кинжалами рубили ее на мелкие части; тут же три кадушки приличной величины стояли с напитками: одна с аракой, другая с пивом и третья с бузой. Я стал поодаль у плетня и смотрел на шеренгу девиц, стоявших вдоль стены *уат'а,* совершенно отдельно от парней. Они стояли молча, потупив взоры в землю и немного опустив на лица платки. Между собою они не говорили, а перешептывались, как будто кого-то стыдились. Улыбка редко появлялась на их бледных лицах.

---

* Эту песню поют обыкновенно, когда идет большая круговая попойка. Она всегда сопровождается хлопаньем в ладоши. Поется она до тех пор, пока очередной не выпьет поданное до конца, хотя бы ему дали чашку араки или рог тура, наполненный пивом. И никакими мольбами не избавишься от них раньше окончания.

Впрочем, нет ничего удивительного, что наши девушки лишены того цвета лица, который называется «кровь с молоком»: проводят они почти всю свою жизнь в сидячем положении и занимаются только шитьем.

— Смотрите-ка, Пацо, черт, сколько девушек еще везет из Брута,—сказал кто-то около меня.

Пацо — прототип Данела. Он тоже из нашего аула и отличается своей учтивостью и *кæстæрдзинад'ом* (прислуживанием старшим).

Он подъезжал на этот раз в арбе, понукая запряженную в нее клячонку. Арба его наполнена была девушками, которые лицом были обращены назад.

— Ну-те, козы, теперь вылезайте! — сказал Пацо, когда подъехал к воротам.— Да смотрите, танцуйте хорошо, не то вас обратно отвезу и вам долго не придется побывать на таком веселье.

Девушки слезли с арбы и направились к своим подругам, которые стояли у стены *уат'а*. Они стыдливо опускали взоры, закрывали лица и, краснея, проходили перед парнями, которые кидали на них жгучие взгляды и, подсмеиваясь, отпускали своего рода комплименты.

Вечером этого дня назначался *чындзæхсæв**, а потому меня задержали еще на день. При наступлении вечера выстрел из пистолета возвестил, что новобрачную выводят из *уат'а* в *хæдзар*. Действительно, из *уат'а* выходила невеста, сопровождаемая толпою девушек, которые пели песню, обычную в таких случаях: *«Алай-булай! Ой, алай-булай!»***

*Къухылхæцæг****, держа за руку молодую, вел ее к *хæдзар'у*. Так как *хæдзар* был близок, то невеста скоро скрылась вместе с сопровождавшими ее девушками, и я не мог подробно рассмот-

---

* *Чындзæхсæв* —ночь невестина. Обыкновенно на третий или второй день новобрачную вводят в первый раз в *хæдзар*, куда она до этого торжественного дня не может входить. После же *чындзæхсæв'а* путь в *хæдзар* ей открыт. Ввод молодой в *хæдзар* совершается с разными обрядами.

** Я не могу передать смысл этих слов, ибо на осетинском языке они ничего не означают. Каким образом эти слова попали в нашу обрядную песню — предоставляю разъяснить знатокам осетинских свадебных обрядов.

*** *Къухылхæцæг* — держащий за руку. Обыкновенно жених выбирает одного из своих сверстников *къухылхæцæг'ом*. Должность его состоит в том, что он сопровождает невесту как самое ближайшее лицо к ней. Молодая обходится с ним, как с братом. У *къухылхæцæг'а* жених гостит в продолжение двух или трех недель, и тогда жених именуется *уазæг* (гостем), а *къухылхæцæг* — *фысым'ом*.

реть эту процессию. В *хæдзар'е* еще раз раздался выстрел из пистолета, и потом опять послышалось пение: *«Алай-булай!»* Заинтересованный, я кое-как протолкался через толпу, чтобы посмотреть, какими обрядами сопровождается *чындзæхсæв.* С моей стороны любопытство это было непозволительно, ибо мне, как близкому родственнику жениха, не позволялось по обычаю смотреть на молодую. Но однако этот обычай, освященный веками, я преступил и видел обряд *чындзæхсæв'а.*

Я видел, как *къухылхæцæг* с обнаженной головой обвел молодую, у которой лицо было закрыто белой вуалью, троекратно около *рæхыс'а (рæхыс* — цепь, висящая над очагом и пользующаяся в народе священным почетом). Между тем мужчины, сидевшие вдоль стены, продолжали петь и пить. После троекратного обхождения невеста остановилась у очага. Кто-то палочкою снял с лица ее белую вуаль и, втыкая эту палочку с вуалью в стену *хæдзар'а,* громогласно произнес:

— Семь сыновей и одну дочь!

И все присутствовавшие загалдели:

— Семь сыновей и одну дочь!*

Все это время *æфсин* (хозяйка дома) стояла на женской стороне очага**, держа в руке чашу, наполненную, как это обыкновенно бывает, медом, смешанным с маслом.

Когда сняли с молодой вуаль, *æфсин* поднесла к губам ее ложку, наполненную этой смесью, и произнесла:

— Будьте друг другу так сладки, как этот мед и это масло вместе.

И все присутствующие в *хæдзар'е* повторили эти слова. Затем *къухылхæцæг* стал выводить молодую из *хæдзар'а.* В то время, когда он с молодою проходил через толпу молодых парней и пожилых мужчин, сопровождаемый тою же обрядною песней *(алай-булай),* кто-то ударил его по бритой обнаженной голове, затем еще и еще; удары сыпались на бедную голову *къухылхæцæг'а,* несмотря на то, что он умолял своих палачей оставить его в покое!***

---

* Это пожелание молодой. У нас предпочитают рождение мальчика рождению девочки.

** *У хæдзар'ного* очага женщины сидят совершенно отдельно от мужчин. Обыкновенно для женщин назначается место с левой стороны очага, а для мужчин с правой. На стороне мужской всегда есть *бандон* (деревянный диван), на женской же стороне нет ничего, так как женщины никогда не сидят на *бандон'е,* а сидят на корточках или же просто на земле.

*** Впоследствии я узнал, что бить по голове *къухылхæцæг'а* во время обряда *чындзæхсæв'а* дозволяется обычаем, но только, конечно, так, чтобы не

Было уже около одиннадцати часов, когда Данел подошел ко мне.

— Пойдем к *фысым'ам* М.,— сказал он.— Ты тем более должен видеться с ним, что он твой близкий родственник. А ты знаешь, что я вчера похитил у молодца? — продолжал Данел, указывая на пистолет, висевший у него на левом бедре.— Знаешь, зачем я вчера выскочил из-за стола? Ты, вероятно, слышал грохот в сенях? Я знал, что это лукавый М. крался к своей молодой жене. Я еще до этого следил за ним, но не мог открыть его убежища, а он, черт, залез на чердак и выжидал удобного случая пробраться к *своей*. Не зная, что его караулит в сенях Афако, он спрыгнул с чердака и только что хотел шмыгнуть в свой *уат*, как Афако поймал его за черкеску. К тому времени подоспел и я и вырвал у него пистолет; теперь его выкупают *фысым'ы* медом. Обещали целый улей сжечь*.

Хоть я отнекивался от такого приглашения, но Данел упросил меня, заклиная отцом, дедом, прадедом и всеми моими мертвыми. Я отправился. *Фысым'ы* М. живут в соседнем ауле, верстах в трех отсюда. Входя в саклю, где гостил М., Данел первым долгом обратился к нему с такими словами:

— Ну, нечего сказать! Хорош же ты. Еще не успел никто лечь спать, а ты лезешь к невесте.

— А, чтоб тебя бог покарал за твою вчерашнюю проделку,— сказал М., приподнимаясь с *сынтæг'а*, на котором он лежал. Тут же около него сидели три его сверстника, которые пели какую-то песню, но при нашем входе замолчали и приветствовали нас добрым вечером.

— Стыдно, стыдно так рано пробираться к невесте,— продолжал Данел, садясь на *сынтæг* около М. Я тоже, поздоровавшись, сел около него.

— А мне-то какое дело, что еще никто не лег,— сказал М.,— я довольно ожидал на чердаке... Вы будете до утра веселиться — и мне, по милости вашей, придется тогда просидеть на чердаке целую ночь?..

нанести значительного повреждения. При этом же требуется, чтобы эти удары он переносил со стоическою твердостью, иначе он выкажет плохое качество.

* Обычай дозволяет ловить жениха, когда он идет к молодой, причем, конечно, он употребляет разные уловки, чтобы избавиться от преследователей, которые отнимут у него или пистолет, или кинжал, и этим осрамят его перед сверстниками. Отнятое оружие выкупать должен *фысым*. Он не должен давать в обиду своего гостя и всячески заботится о целости его личности и всего того, что принадлежит ему.

Пошутили, потолковали. К тому же времени *фысым* М-а принес целый улей белого меду.

— Ну, теперь пистолет опять твой,— сказал Данел, подавая его М.

— Не бойся, *нæ уазæг* (наш гость), мы не ударим в грязь лицом и не дадим никому обидеть тебя,— сказал *фысым*.

Позвали еще некоторых гостей, и несколько сотов меду было уничтожено, остальное Данел навалил на тарелку, чтобы взять с собою для своих товарищей.

— Ну, теперь идем,— сказал Данел, приподнимаясь с своего места.— И тебе пора теперь к своей молодой,— обратился он к М.,— теперь уже тебя никто не подкараулит: все уже спят.

В самом деле, было уже далеко за полночь. М. встал и вышел, ему подвели какую-то клячонку; он сел на нее, предложил и мне сесть на *фæсарц**, и мы поехали, между тем как Данел с *къухылхæцæг'ом* и еще другим парнем шел сзади пешком, не забывши захватить с собою мед.

Недалеко от *уат'а* М. слез в густом коноплянике; я сделал то же. М., привязав свою клячонку к колу, вбитому в землю, направился к *уат'у*, а я поджидал Данела с товарищами. Вскоре и они показались.

— Где М.? — спросил меня Данел.

Я сказал, что он пошел к *уат'у*.

— А, шельмец! Он уже успел... Погодите, мы посмотрим через щель, как он раздевает свою невесту,— и он приложился к щели в стене *уат'а*.

— Ради бога, не делай этого,— умолял *къуыхылхæцæг* Данела, но Данел продолжал смотреть.

— Бедняжка, как она дрожит,— говорил он шепотом, продолжая смотреть в щель.— Он раздевает ее, а она стоит на одном месте, плачет и дрожит всем телом. Теперь осматривает за ковром под нарами, нет ли кого там...**

Къухылхæцæг ушел обратно.

— Как бы это устроить какую-нибудь штуку? — сказал оставшийся с Данелом парень.

— Давай бросим в трубу зарезанную курицу! — воскликнул Данел, обрадовавшись своей выдумке.

Парень побежал в курятник и вскоре воротился, неся кури-

* *Фæсарц* — позади седла.

** Девицы имеют привычку в первые две ночи подслушивать новобрачных, для чего они нередко прячутся за ковром под нарами, на которых разложены тюфяки. Поэтому жених предварительно должен тщательно осмотреть уголки своего *уат'а*, нет ли кого там.

щу, с которой осторожно и влез на крышу сакли. Перерезав ей ножом кинжальным горло, он бросил ее в трубу и тотчас же спрыгнул, хихикая от удовольствия*. Данел тоже смеялся.

— Вот, я думаю, М.-то гонится за курицей! — сказал он...

Но я не ожидал, что они еще выдумают, и отправился спать в кунацкую...

8 июня.

— *Оу-у-уй! Байхъусут, мæнæ адæм! Дысон Хъæрæсе амарди, оу-у-уй!* (Оу-у-уй! Послушайте, люди! Ночью умер Карасе, оу-у-уй!) — так кричал нынче чуть свет Маци, крикун нашего аула, с вершины холма.

— Вот тебе на! —сказал я, проснувшись от этого громогласного крика нашего *фидиуæг'а* (крикуна):—умер мой родственник... Впрочем, он был уже стар да к тому же долго болел... Нужно идти *мардмæ* (т. е. посетить семейство несчастного и посетовать). Встал, оделся и умылся. Вышел. По улице толпами шли мужчины и женщины. Мужчины все были вооружены длинными палками. Назначение этих палок то, чтобы на них опираться, так как мужчинам приходится много стоять. В прежнее же время этими палками сердобольные родственники умершего колотили себя по голове до крови и даже до ошеломления. Женщины были наряжены в лучшие платья и шли, сторонясь мужчин.

Когда я вышел со двора, со мною поравнялся Хатацко. Мы присоединились к толпе мужчин и скоро подошли ко двору, где был умерший. Вдоль плетня стояли мужчины, опершись на свои длинные палки, и смотрели грустно в землю. Мы остановились на почтительном расстоянии от той сакли, где лежал мертвый, и, как требовала церемония, стали, как вкопанные, в ряд, печально понурив головы.

Мулла, стоявший у плетня с другими мужчинами, произнес протяжно: «Фа-а-ати-ха!»,— и все присутствовавшие сделали *дуа,* т. е. прочли молитву за упокой, держа ладони вверх, и по-

* Вообще подсматривания и подобные проделки в обычае между нашей молодежью. В первые два-три дня молодому нет покоя от парней. Я помню, какую штуку устроила наша молодежь с Далетом в нашем ауле. Его бедную саклю почти совсем разломали. Так как сакля его была плетневая, обмазанная глиной, то глину вывалили, так что маленькая сакля Далета (его *уат)* представляла наутро род клетки. Когда я пришел посмотреть на эту скандальную проделку нашей аульной молодежи, то увидел в сакле толпу девушек. Девушки эти часто были тревожимы мальчишками, которые, продевая хворостины через щели сакли, рвали их платья.

том провели руками по лицу. По окончании *дуа* мы все же не двигались с места до тех пор, пока к нам не подошел родственник умершего и не сказал:

— Да поможет вам бог! Не печальтесь! *(Хъыг ма кæнут!)* Что делать? Богу было угодно взять его — и взял...

На это некоторые из нас сказали печальным тоном:

— Да ниспошлет на вас бог лучшие блага и да даст он вам другое утешение.

Сказав это, мы молча присоединились к толпе мужчин, стоявших вдоль плетня. За нами шла другая толпа мужчин, которая с тою же церемонией присоединилась к нам, и т. д.

Женщины нашего аула молча, с поникшими головами проходили в саклю, где лежал мертвый, и оплакивали его. Из сакли я слышал отрывчатые фразы плакальщицы:

— Мой день... мое солнышко... Тебя ожидают гости, но ты ничего не говоришь... твоя семья осиротела... Что будут делать твои дети, *о мæ бон* (о мой день)!

За этим раздавался глухой плач. Посетители приходили беспрестанно. Были между ними и из других аулов, что можно было узнать по вооружению. Их, вероятно, об этом известил *хъæргæнæг**.

Посетители из чужих аулов приезжали верхами, с лошадей слезали за аулом и оттуда шли пешком до места несчастия**.

Мулла, приглашенный из чеченского аула, читал под навесом монотонным голосом Коран, положенный на подушку. Уже часов двенадцать. Вон и *цырт**** привезли. Мужчины идут к речке, чтобы взять *абдаз*****. Солнце неумолимо жжет своими полуденными лучами, а мы все стоим молча. Посетители приходят и уходят. Вот приблизилось около десяти женщин. Это *мæрддзыгой****** из соседнего аула; арба поодаль следует за ними.

* Обыкновенно по смерти кого-нибудь посылается *хъæргæнæг* — вестник на хорошей лошади, чтобы он известил родных и знакомых.

** Считается неприличным подъезжать верхом ко двору, где лежит мертвый.

*** *Цырт* — надмогильный столб. Его привозят иногда до кончины больного. Он бывает всегда дубовый, как и могильные доски, которыми тело закрывается от земляной могильной насыпи.

**** *Абдаз* — омовение. Перед совершением молитвы моют руки, ноги, уши, рот, нос...

***** *Мæрддзыгой* — женщины из другого аула, идущие оплакивать мертвого. Часто между ними бывают и такие женщины, которые не знают вовсе ни самого умершего, ни его родственников. Женщины с большой охотою отправляются на *мæрддзыгой.* Тут им предстоит случай поболтать и посплетни-

Они медленно выступают впереди, опустив печально головы; лица у всех закрыты платками, вероятно, из скромности перед мужчинами, которые, однако, на них и не смотрят, а погружены в какое-то оцепенение. У каждой из этих женщин на поясе висит белый платок (*цæсты кæлмæрзæн* — глазной платок для утирания слез во время оплакивания мертвого). Это обыкновенная принадлежность каждой женщины, которая ходит на *мæрддзыгой*. Вот они остановились на довольно почтительном расстоянии от ворот и размещаются в две шеренги, причем женщины постарше летами становятся в первую, а женщины помоложе — во вторую шеренгу.

Вперед выдвигается одна старушка, одетая в короткий* красный бешмет. Она опускает с головы верхний платок на плечи, некоторые женщины, постарше летами, следуют ее примеру; потом все они засучивают рукава (все это делается при глубоком молчании) и двигаются едва заметным шагом. Старушка начинает голосить:

— *О мæ бон! Цы ма кæндзынæн?* (Что я буду делать?)

Остальные женщины производят какой-то неопределенный звук.

— О несчастный! Что ты теперь намерен делать? — обращается она к сыну умершего, который все это время стоял у ворот, опершись на свою палку.— Что мы будем делать, когда мы лишились лучшего в семье, *о мæ бон!*

Остальные женщины издают все тот же неопределенный звук.

— Э-эхе-хе! — рыдает двадцатипятилетний сын,— *о мæ бон!*

— Что мы будем делать, когда наше солнце померкло? — продолжает старушка.

Между тем женщины, оплакивавшие мертвого в сакле, вышли на крыльцо и стали с засученными рукавами вдоль стены под навесом крыльца. Старушка замолчала. Вдруг она издает надтреснутым голосом отчаянный крик: *«Дæдæй!»* — и со всего размаха ударяет себя сжатыми кулаками по лицу. Шеренги следуют ее примеру, но они бьют себя не кулаками, а ладонями.

— *Мæ бон!** — раздается с крыльца, где женщины бьют себя так же по лицу. Когда руки *мæрддзыгой* опускаются, женщины, стоящие у крыльца, одновременно поднимают руки и шлепают себя по лицам с криком: *«Мæ бон!»*. Когда их руки опускаются, руки *мæрддзыгой'я* поднимаются так же плавно и одно-

---

чать с другими женщинами, до чего они большие охотницы. Всю дорогу *мæрддзыгой* идет почти пешком, что означает большое соболезнование по умершему.

* Женщины у нас носят короткие бешметы, а мужчины длинные.

** *Мæ бон* (мой день) — возглас, выражающий сильное горе.

временно и шлепают себя так же по лицу с криком *«дæдæй!»* *Мæрддзыгой* таким образом продвигается вперед, женщины же, стоявшие у крыльца в шеренге, остаются на одном месте, обративши лица к *мæрддзыгой.*

Вот старушка покачнулась: мне показалось, что кровь течет по лицу ее от усиленных ударов. Две женщины поддерживают ее, и она, в бессознательном состоянии ударяя себя по лицу, но уже слабее, продолжает предводительствовать шеренгами*. Наконец, вся процессия скрывается в сакле, где лежит мертвое тело, и оплакивание продолжается. А вот и *мæрдзыгой* из чеченского аула. Чеченки становятся посреди двора, образовав круг. Одна женщина, постарше всех летами, выходит на середину круга и начинает голосить протяжно; остальные же женщины, кружась медленно около нее, таким же протяжным голосом издают неопределенное «О-о-о!», ударяя легко себя по лицам. Весьма неприятно слышать этот вой. Они выли до тех пор, пока присутствовавшие мужчины не попросили их через посредство чеченского мальчика перестать соболезновать.

Скучно смотреть на эти неподвижные, словно восковые, лица мужчин. Отсутствие разговора, а тем более смеха, наводит на посетителя сонливое состояние: изредка только это глубокое молчание прерывается муллою, который каждый раз при новых посетителях произносит свое протяжное «Фа-а-ти-ха!..»

Наконец, выносят тело умершего, положенное на плетенке.

Под телом, обернутым в белый саван, лежит тюфяк, а под головою подушка. Женщины становятся в ряд. Четверо мужчин выступают вперед, неся тело на плечах. Процессия двигается так: впереди тело, за ним все мужчины и в некотором расстоянии толпа женщин, среди которых раздается плач. Процессия идет скорым шагом. Вот и кладбище. Около свежей могилы кладут тело, обратив его лицом к *Каабе.*

Женщины не доходят до кладбища, а остаются поодаль, откуда посылают свои рыдания. Мулла вышел вперед и, став у тела, обратился лицом к юго-востоку, по направлению к Мекке, и стал читать молитву. Мужчины, бравшие *абдаз,* стали позади муллы и помолились за упокой умершего. Опустили тело в могилу. Потом наискось прикрыли его дубовыми досками, доски засыпали землею и поставили *цырт.* Мулла, произнося молитву, троекратно облил могилу вдоль из *хъуывгъан'а* (рукомойник). Потом он поспешно отошел от могилы, и все последовали его примеру. На некотором расстоянии он останавливается и, по-

* Я узнал, что эта старушка была сестра умершего, поэтому не удивительно, что она обнаружила такое сильное соболезнование по умершему.

вернувшись к свежезасыпанной могиле, произносит панегирик по умершему:

— Послушайте, добрые люди! Умерший был хороший человек,— это каждый из нас знает. Он дурного ничего не сделал, а хорошего много. Он был щедр и своим добром помогал другим. Теперь нет его... Он ушел в *дзæнæт* (рай) к праведным: бог этого желал. Да никто о нем дурного не скажет, и всякий да пожелает ему *дзæнæт*.

И все загалдели:

— *Дзæнæты бадæд!* (Да будет он в раю!)

29 июня.

Под вечер вчера сидел я у своего окна и читал книгу. Подходит ко мне Кургоко, наш аульный старшина, и говорит:

— Ради бога, ради всех твоих мертвых*, помоги нам в одном деле. Начальник округа прислал *кулера*** из города отобрать штрафные деньги***. С кого следует штарф — записано на бумаге, а так как писарь аульный заболел и кулер тоже не может читать, то будь так услужлив, сопровождай нас и читай по бумаге, кто должен платить штраф, сколько и за что.

Я не отказался сделать старшему *кæстæрдзинад*. Он мне вручил длинный список оштрафованных лиц, и я отправился с ним в его кунацкую, где находился и *кулер* Гаги, уполномоченный для сбора штрафных денег. Тут же был и другой старшина аула, Афако, и крикун Маци — непременное лицо при таких случаях.

— Идемте и начнем сбор с верхнего конца аула,— сказал Кургоко, и все мы пятеро отправились.

Почти в конце аула из оштрафованных жил Бимболат. Мы подошли к воротам. На зов Кургоко вынырнул из низенькой сакли тщедушный старичок, сам Бимболат. Пожелав нам доброго вечера, он обратился к Кургоко с вопросом, что́ нам нужно.

— За тобою пять рублей штрафа,— сказал Кургоко,— за то, что лошадь твоя паслась на чужом покосе.

Бимболат, видимо, был поражен этим известием. Он старался оправдаться, но в оправдании путался. Гаги и слушать не хотел его оправданий и настоятельно требовал от него штрафных денег.

---

* Самая сильная мольба, когда заклинают кого-нибудь мертвыми.

** *Кулер* — курьер; он назначается из осетин же и выполняет должность нарочного; находится при начальнике округа и за свою службу пользуется некоторыми льготами.

*** Штрафы налагаются аульным начальником и утверждаются начальником округа, который для сбора их посылает *кулера*.

Бимболат говорил, что у него нет вовсе денег, что неоткуда и взять их.

— Ну, так есть скотина; мы угоним вола или корову, что есть, а там, когда добудешь пять рублей, возьмешь обратно.

— У меня только два вола,— сказал Бимболат со слезами на глазах,— что же я буду делать, если из этих двух волов угоните одного? Не на чем даже дрова возить!

Гаги не слушал этих резонов.

— Что ж делать,— сказал наконец Бимболат, видя тщету мольбы,— если так, гоните одного вола,— при этом он указал в стойло и отвернулся.

В стойле, действительно, стояли два вола. Маци, по приказанию Кургоко, выгнал одного из них.

— Э-э! Да это не стоит и пяти рублей! — воскликнул Гаги, увидя вола вблизи; при этом он ткнул его палкою в ребра, и вол, перебиравший ногами от крайней худобы, чуть не свалился набок.—Ну, нечего делать! Ограничимся и этим, — продолжал Гаги, качая головою.

Мы вышли. Маци прошелся раза два по худым бокам Бимболатова вола своей геркулесовской дубиной, и вол зачастил ногами впереди нас. Бимболат же еще постоял некоторое время и потом, махнув грустно рукою по нашему направлению, тихими шагами направился к своей сакле, откуда только что вынырнул к нам так радушно.

— А вот Гути! — сказал Афако, указывая на один двор.

Мы подошли. Я окинул двор глазами и увидел кругом только бедность. Посреди двора лепилась маленькая сакля из плетня, вымазанная грязью и покрытая даже не соломой, как другие сакли, а навозом. К этой мизерной сакле примыкал маленький курятник, и из него слышалось кудахтанье встревоженной курицы; далее виднелись обломки арбы. У сакли, при нашем входе в нее, лежала лохматая собака, весьма походившая на волка; она кинулась на нас с сильным лаем.

Но из сакли вышел Гути, пастух нашего аула.

— Добрый вечер! — приветствовал он нас.

Гути был одет в порыжелую дырявую бурку; из-под нее виднелись рубища; он был бос. На угреватом худом его лице я ничего не мог прочесть, кроме смущения.

— Будь счастлив!—сказали мы на его радушное приветствие.

— За тобой штраф,— обратился к нему Кургоко. (В списке, действительно, значилось его имя: он был оштрафован за дерзость).

Услышав это известие, бедный Гути как был, так и остался, точно окатили его ведром холодной воды. Его маленькие глаз-

ки широко раскрылись, угреватое лицо разом побледнело, как полотно, и, казалось, даже рыженькая бородка его приняла другой цвет от слов Кургоко.

— Как это?.. За что?..— мог он только сказать после продолжительной паузы.

В списке значилось, что он сильно поспорил с Мухаммедом, за что оштрафован тремя рублями. Гути старался было оправдаться, но путался точно так же, как и Бимболат .Гути не принял и его резонов.

— Не в моей власти принимать оправданья,— говорил он,— я послан из города начальством и выполняю только его приказания.

— Да где ж взять мне столько денег?.. У меня никогда не бывало столько... Мне даже самому с прошлого года не выплачивают за собственные мои труды полтинники и меры пшена. Сколько раз я жаловался вам! — обратился он к сильным аула.

Сильные аула, Кургоко и Афако, единогласно заметили ему, что теперь не время об этом говорить, а надо отдавать штраф.

— Если нет денег, то, вероятно, есть скотина,—сказал Гаги.

— Есть корова, но это единственное животное, которое поддерживает всю мою семью. Что будут делать вон те малютки, если вы отнимите их кормилицу? — и он указал по направлению двери сакли, откуда выглядывали боязливо мальчик и девочка; лохмотья едва прикрывали их тела.— Ну, хоть вы сжальтесь и заступитесь за меня! — обратился он к старшинам, сняв шапку и кланяясь.

— Мы ничего... мы исполняем волю начальства,— говорили старшины, переминаясь в смущении с ноги на ногу.

— Коли так,— сказал Гути,— так гоните вон ее.

Он указал на корову, которая была привязана к плетню, Около нее стояла с деревянным ведром в руке женщина; одета она была так же бедно, как Гути и его дети; она, вероятно, была его жена и доила корову. Когда мы повернулись туда, женщина, опустив голову, побрела в саклю. Маци по приказанию Гаги отвязал корову и присоединил к волу Бимболата.

— Ну, спокойной ночи! — сказал Гаги и старшины, обращаясь к Гути.

— Не желаю вам провести такой спокойной ночи, какую я проведу,— ответил Гути, стоя к нам полуоборотом. Мы вышли.

Совсем уже свечерело. Откуда-то набежал туман, и мелкий дождь, словно осенью, пошел, как из частого сита. Мы шли молча. Маци погонял впереди вола и корову ударами огромной сво-

ей палки, приправляя эти удары ругательствами, относившимися к животным.

— Ого-го-го! — говорил он,— чтоб тебя зарезали на поминки твоему же хозяину.

Зашли еще к Бибо, у которого выгнали почти силою быка, за три рубля, несмотря на то, что он грозился убить того, кто осмелится выгнать это животное из стойла. Старшинам кое-как удалось урезонить его, и он напоследок сказал:

— Так и быть, ради вас уступаю своего бычка!..

Обошли еще два-три двора, и ни у кого не оказалось денег, кроме Саге. С Саге взяли пять рублей за ругательство. Но я знаю, как дорого достались Саге эти пять рублей.

Четыре дня тому назад я шел к речке купаться; на берегу речки кто-то усердно копал; я подошел — это был Саге. Он работал в одной рубашке и нижнем белье, на босу ногу; на голове его была войлочная шляпа. Он рыл, как я увидел, канаву.

— Зачем ты копаешь эту канаву? — спросил я.

— Казмахамат вон там будет строить мельницу, и нужно провести речку,— сказал он, вытягиваясь и вытирая обильный пот, катившийся с его лица из-под войлочной шапки.

По его указанию он должен был прорыть пространство расстоянием около ста пятидесяти шагов, причем на пути ему приходилось скапывать край холма.

— Работаю с утра до вечера,— говорил он,— а все-таки в полторы недели прорыл только третью часть.

— А плата какая? — спросил я.

— Семь рублей,—сказал он, —что же делать? Лучше что-нибудь, чем сидеть сложа руки.

И вот этот Саге из своих семи рублей отдает безропотно пять рублей за ругательство! Почти весь неимоверный труд ухнул.

Отобранную скотину загнали в стойло к Кургоко, и скотина будет стоять там в продолжение трех дней. Кто из оштрафованных к этому сроку не представит денег, тот лишится своей скотины. Но я убежден, что никто из них не представит денег, и скотине предстоит продажа во Владикавказе.

2 июля.

— Что это значит,— спросил я вчера у Хатацко, указывая на соседний двор,— вот уже второй день, как происходит там какая-то суетня.

— Это Бибо справляет поминки,— ответил Хатацко.— Его мать в прошлом году умерла... Да и разорили же его, бедняжку, эти поминки! Теперь он справляет уже третьи поминки и каждый раз режет непременно пару волов, не считая баранов и яг-

нят. Спасибо знакомым и родственникам, что они при таких случаях помогают ему, а то бы он вконец разорился,— и теперь-то почти разорен... Вот и настоящие поминки сколько хлопот стоили ему, бедному: у него не хватало даже пшена, чтобы испечь чуреки, и он попрошайничал то у меня, то у другого, то у третьего. А не справить поминки по умершему, как тебе самому известно, величайший позор... У нас тем, которые не справили поминок,— произошло ли это от недостатка или по другой какой причине,— нет проходу. «Твои мертвые голодают и есть просят»,—обыкновенно попрекают их. Справишь плохие поминки, т. е. такие, на которых бы не отъелся целый аул до отвала, скажут, что хозяин скуп. Потому-то каждый старается не осрамиться в народе и разоряется до последней крохи, выжимает все соки, чтобы накормить голодных одноаульцев и не прослыть в народе за дурного человека. Посмотри, сколько он израсходовал теперь: два вола, из которых один подарен ему близким родственником, десять баранов, три ягненка, да араки, да пива, да бузы,— все это чего-нибудь да стоит для нашего брата-бедняка. А сколько испек чуреков, пирожков, наварил каши? И все это завтра уничтожится. Уже за неделю старики готовились к этому *хист'у* (поминкам) и не раз уже забегали во двор Бибо как бы невзначай, а между тем хлебнули араки, попробовали, хороша ли она.

— А ты пойдешь завтра на *хист?* — спросил я.

— Конечно, пойду! Нельзя не пойти: останутся недовольными, скажут: «Гнушается нами». Если и тебя будут приглашать, то и тебе не следует отказываться,— закончил он.

Я смотрел во двор Бибо. Посреди этого двора было разведено несколько костров: на них варилась баранина. Мальчики — эти непременные посетители таких случаев — обступили со всех сторон котлы. Один из мальчиков сидит перед костром и, надев на палочку небольшой кусок мяса *(физонæг),* жарит его с большим усердием на угольях; другой подкладывает дрова в костер. Но вот из одного котла торчат куски баранины; какой-то мальчик, соблазненный этими кусками, протягивает к ним руку, но вдруг слышит громогласный голос надсмотрщика над котлами:

— Ты что тут, собачий сын, лезешь погаными руками в котел? Прочь вы все скорей отсюда, не то вам всем журавлиные ваши голени переломаю! — кричит он, ища орудие, чтобы на самом деле осуществить свое намерение.

Но мальчики не ожидают, пока он отыщет орудие, и со свойственной им быстротой рассыпаются во все стороны, как раз-

летается стая воробьев. Тот, который жарил на угольях кусочек, оставляет свое занятие и торопится спасать себя. Надсмотрщик ругается на все лады; он берет кусок мяса с угольев и с остервенением бросает его мальчику-хозяину, желая ему от всей души подавиться им. Хозяин, обрадованный тем, что ему возвращен его кусочек, преспокойно поднимает его и, обчистив коекак от грязи, принимается с большим аппетитом уплетать его.

— Дай мне, Дзодзи,— говорит ему другой мальчик,— ведь ты вот третий кусок ешь, а мне еще ни один не достался.

— А мне-то что? — отвечает тот, разрывая жадно зубами полусырую баранину.— Мне ведь не даром они достались: я за них держал за ножки барана, когда сдирали с него кожу; за это я получил *физонæг*. А вот тот кусок, что я ел перед этим,— тот я украл у Беслана.

Так рассуждали они у плетня, между тем как другие мальчики взгромоздились на самый плетень. Все они в рубашках; некоторые вовсе даже без покрова, общипанные, ободранные и на головах, что называется, *дохлые курицы*.

— А вот я вас! — гремит Мацы.— Вишь, ломают плетни! Чтобы вам своих плетней никогда не видать, собачьи сыны! Вот вы еще подойдите, так я вас!..— говорит он, грозя своей дубиной.

Маци — неумолимый враг аульных мальчишек во время *хист'ов* и *куывд'ов* (пирушек). Как ревностный блюститель порядка при подобных случаях, он всячески преследует мальчишек, постоянно нарушающих этот порядок. Они неимоверно жадны и не упустят, если им представится удобный случай похитить откуда-нибудь *уæлибæх* или кусок мяса. На это они бросаются с быстротою коршуна и убегают подальше от глаз своего вечного преследователя Маци, чтобы съесть похищенное где-нибудь за гумном.

3 июля.

Сегодня Хатацко сидел перед моим окном и рассказывал мне легенду про Маргуца, а я записывал ее в свою книжку. Не дописал я и половины легенды, как с вершины холма гаркнул во все горло Маци:

— *Оу-у-уй! Байхъусут*! (Послушайте!) *Абон æмбырдмæ, Бибойы дуармæ, лæг æмæ лæппу рацæуæд, оу-уй! Нæ фехъуыстон мачи зæгъæд!* (Сегодня ко двору Бибо да выйдет мужчина с мальчиком! Да не скажет никто: «Не услышал!»).

— А, чтобы тебя бог покарал!—воскликнул Хатацко, прерывая легенду на самом интересном месте. И в самом деле: Маци обладает удивительно громким голосом. Стоит ему только взойти на холм и крикнуть — голос его раздается явственно с одного

конца аула до другого. И зато какой же фурор произвел он, когда аульная администрация посвящала его в важную должность крикуна. Я помню, как это было.

Собрались около мечети аульные власти с аульным начальником. Старшины заговорили о том, что нет в ауле хорошего крикуна и что Гудзи уже не годится, что его надо сменить.

— А вот Маци чем не крикун? — сказал кто-то.

Похвалили Маци, коренастого мужчину с широкой грудью, и заставили его для пробы прокричать: «Кто в пятницу будет работать, с того штраф пять рублей». Маци важно влез на арбу, тут же стоявшую, и только что закричал: «Оу-у-уй! Байхъусут!..» — как все присутствующие замахали руками:

— Довольно! Довольно! Бог бы тебя покарал! *(Хуыцауы ард дыл фæцæуа!)* Совсем оглушил! Вот голос-то! *Маладец,* Маци, *маладец!*

Маци, слыша такие лестные для себя отзывы, ухмылялся, и, как оратор, одобренный за речь, сходит со своей трибуны, так Маци с важностью сошел с арбы, осыпаемый похвалами за громогласный крик. Так с тех пор за ним и осталась должность и слава хорошего крикуна.

Как только Маци прокричал это, Хатацко обратился ко мне:

— Нужно будет идти... Вероятно, скоро будут и приглашать.

В самом деле, во двор к нам вошел молодой парень и от имени Бибо пригласил нас на хист. Так как отказываться, как выражался Хатацко, было «срамно», то мы с ним и отправились ко двору Бибо.

По улице, впереди и сзади нас, шли толпы мужчин, шумно разговаривая. Большею частью все шли со своими детьми, кто в сопровождении своего маленького сына, а кто в сопровождении маленькой дочки*. Нам идти было недалеко. Перед нами шли два старика и вели такой разговор:

— Э-эх! Не прежние времена теперь,— говорил один,— прежде, бывало, *хист'ы* были с таким *баракет'ом,* что целые аулы объедались, а теперь зарезал какого-нибудь вола, двух-трех баранов, да и только. Тогда резали по пятьдесят волов, по сорок баранов; по восемь *цæдджинаг'ов*** варили пиво.

---

* Обыкновенно идущие на поминки старики берут с собою маленького сына или внука, дочку или внучку. Что сами не доедают, отдают им, что последние не доедают — несут домой, надевая мясо, чуреки на заостренную палочку. Поэтому обыкновенно *фидиуæг* кричит, чтобы выходили *лæг æмæ лæппу* (мужчина и мальчик). Женщины в *хистах не участвуют.*

** *Цæдджинаг* — огромный медный котел, в котором варят пиво. Он имеет конусообразный вид и состоит из медных листов, сшитых медными же

— Да, Паци, ты правду говоришь,— отвечал другой старик, покуривая трубку.

— Слышишь? — обратился ко мне тихо Хатацко,— они еще не понимают, что эти-то поминки, что они называют *баракет'ом*, нас-то и разорили вконец.

— Вот сюда, сюда! — сказал хозяйский сын, когда мы приблизились к месту, где вдоль плетня расположился длинный ряд стариков.

Старики сидели по старшинству. Мы с Хатацко последовали за хозяйским сыном; он усадил нас вместе с стариками, хотя я, строго говоря, не имел права садиться; но я считался пока гостем, а гостям в этом случае делается предпочтение.

Перед нами возвышались целые горы говядины и баранины, с которыми управлялся Данел с своим кинжалом; чашки и тарелки с разными приготовлениями осетинской кухни ставились на дерне; три кадушки, стоявшие тут же, и около них по одному парню, свидетельствовали, что в напитках не будет недостатка. Старики шумно вели разговор в ожидании баранины и напитков. Наконец, дождались: два-три молодых человека стали раскладывать баранину и мясо перед стариками на длинных столах, другие три-четыре человека вооружились чайниками, стаканами, чашками и стали разносить араку, пиво, бузу...

И пошло наполнение голодных желудков. Только и слышится:

— Пожалуйста, до дна!.. Ради твоих мертвых!..

— Не могу! Ей-богу, не могу: по горло напился!

Один молодой человек пристал ко мне, чтобы и я выпил полную чашку араки, смешанную с бузою*. Я с помощью Хатацко отговорился, а то этот молодец был столь упрям, что норовил мне чашку вылить на голову**. По окончании *хист'а* все стали расходиться.

Девочки и мальчики несли длинные палочки с воткнутыми на них кусочками мяса и чурека, которыми их снабдили их отцы и родственники; некоторые из них покачивались и болтали несвязные фразы: заботливые отцы напоили их из своих стаканов. Хозяину оставили одни пустые посудины да кости, разбросанные по

гвоздями. Обыкновенно котел этот ставится в яму, выкопанную у берега речки. Ставится он так: в ушки продевается огромный кол, который, опираясь на края ямы, поддерживает котел; под котлом в яме разводится сильный огонь.

* Нет ничего противнее этой смеси, а между тем осетины пьют ее с удовольствием. Обыкновенно араку прибавляют к бузе для тех, которые отказываются от араки.

** Выливать на голову напиток — в обычае у осетин. Чем упрямее пристает раздающий, тем получает больше похвал

двору, на которые сбежались десятки аульных собак,— и грызутся за них.

Вот как хозяин Бибо накормил да напоил до отвала целый аул; но спрашивается, что же он будет есть эту же ночь? Он будет голодать и голодать не одну и не две ночи, между тем как одноаульцы из остатков его *хист'а* будут питаться целую неделю.

1 августа.

Вчера я воротился из аула Гизель от своих стариков — молочных родителей. И как же они, бедные старички, обрадовались моему приезду: не знали, как меня и принять.

Старик Симайли, мой молочный отец, ознаменовал мое посещение тем, что раздобыл откуда-то ягненка и зарезал его. Старуха Дойон испекла *уæлибæхтæ,* достала из *къæбиц'а** долго хранившуюся у нее для торжественного случая бутылку араки и таким образом сделала *куывд,* пригласив на него двух-трех соседей. Когда все было готово и гости сели с мужской стороны по старшинству, причем первое место занимал Симайли,— последний, сняв шапку, чему последовали и гости, взял один *уæлибæх* с куском шашлыка в одну и стакан араки в другую руку, поднялся с своего места и стал молиться:

— Господи, мы на тебя уповаем! *(Хуыцау, дæумæ æнхъæлмæ кæсæм!)* Помилуй нас!.. *(Ахъаз нын бакæ!..)*

Долго он молился, причем за каждой фразой его молитвы все присутствовавшие говорили благоговейно: *«Оммен! Оммен!»* (Аминь! Аминь!)

Наконец молитву свою он заключил такими словами:

— Теперь дай бог, чтобы тот молодой человек, ради которого сделан этот *куывд,* сделался *инæлар'ом,* чтобы на него обратилась милость *паддзах'а (Паддзахы хорзæх ыссарæд!)* и чтобы, сделавшись *инæлар'ом,* своих не забывал и помогал бы им!

— *Оммен! Оммен!* — твердили три-четыре мальчика, которые забежали в саклю с целью поживиться чем-нибудь.

— *Ацаход!* — обратился ко мне Симайли, когда кончил молитву, и протянул свои руки ко мне.

Я знал, что значит *ацаход.* Это означало подойти и взять *уæлибæх* и кусок шашлыка, откусить от них немного, потом из стакана отпить глоток араки и передать стакан, кому мне заблагорассудится. Он поступал в полное мое распоряжение.

Я поднес стакан Дойон. Та взяла и, присев на корточки, от-

---

* *Къæбиц* — соответствует кладовой. *Къæбиц* — небольшое помещение, примыкающее к *хæдзар'у* и соединяющееся с ним крошечной дверцею. Дверца идет со стороны женской половины, от очага.

пила немножко из стакана за мое здоровье и передала стакан обратно мне, я же отдал *уырдыджыстæг'у**, который, долив стакан, подал Симайли, как старшему, и попойка пошла по старшинству.

Перед нами стоял маленький круглый столик, уставленный шашлыком от зарезанного ягненка, с разрезанными *уæлибæх'ами...*

На следующий день после моего приезда в Гизель я с молочным братом отправился к моим знакомым. Идя по улицам Гизели, я удивлялся происшедшим в этом ауле переменам. Я не узнавал в нем прежнюю Гизель. Теперешний вид аула ни в чем не напоминал тот вид, который он имел три-четыре года тому назад. Тогда сакли были жалкие, грязные, а теперь чистые и опрятные. Есть даже между ними довольно порядочные дома, например, у станичного, как называют аульного начальника Кута, у Торчиновых, у Галазовых и других. Улицы расположены правильно; окна саклей большей частью обращены к улице, чего никогда прежде не бывало. В Гизели есть и церковь.

В субботу звонили к вечерне, и я зашел в церковь. Там я встретил только двух-трех стариков и столько же мужчин средних лет, из которых двое купили свечи и поставили перед образами.

Одна старуха с ребенком на руках ползла по полу на коленях; ребенок изредка вскрикивал. Мужчины средних лет стояли около меня и любопытствовали знать, что изображено на образах. Я объяснил им, что знал. Они удивлялись... Хор певчих состоял из четырех или пяти мальчиков, обучающихся при аульной школе; ими управлял, вместо регента, учитель школы — молодой человек, когда-то учившийся во владикавказском училище. Пели школьники приятными голосами гимны, переведенные на осетинский язык. Служил священник, кончивший курс в Тифлисской духовной семинарии, некто Токаев, весьма уважаемый в ауле. Его с особенным увлечением слушает аульное население, когда он рассказывает на народном языке что-нибудь из земной жизни Христа. Он сам осетин.

По окончании вечерни я вышел из церкви с молочным братом.

На улице, вдоль одного плетня, сидело множество стариков и не стариков и шумно разговаривало.

— Отчего они в церковь не идут? — спросил я брата.

— Ожидают поминок,— отвечал он,— сейчас начнутся у Лекса поминки.

---

* Роль прислужника. Эту должность принимает добровольно какой-нибудь услужливый парень. Он раздает араку, шашлык и другие яства.

Это обстоятельство дает повод думать, что в осетинах мало христианско-религиозного чувства; но такое предположение будет не совсем верно, если отнести его ко всем осетинам без исключения. Вот, например, мой молочный отец Симайли чем не ревностный христианин? За свою ревность он даже приобрел завистников. Расскажу случай, характеризующий его религиозность, породившую зависть к нему.

Два-три дня спустя после моего приезда в Гизель случилась у кого-то пирушка. Собралось туда множество посетителей, между прочим, был и я приглашен с Симайли. Конечно, попойка была порядочная, и все напились достаточно. По окончании пира гости стали благодарить хозяина.

— Да ниспошлет на тебя бог свою милость! — и уходили. Симайли же сперва встал и начал кое-как креститься, говоря:

— Госбоди! Госбоди! Госбоди!

— Ахха! — воскликнул один старик, стоявший около него,— как будто, кроме тебя, никто не знает «госбоди! госбоди!»

— А отчего же ты, безверный, не говоришь и не крестишься? — озлился Симайли и поссорился со стариком. Ссора чуть не кончилась трагически.

В доме Симайли как раз над порогом висит деревянный закоптелый крест, на который он смотрит, как на святыню. Симайли покумился с аульным священником, он подарил ему даже дойную корову.

Симайли, следуя примеру других, перестроил свой двор: плетневую огорожу заменил дощатым забором с тесовыми воротами...

Но в семейной жизни он весьма тяжелого нрава: он вспыльчив и выказывает порою недовольство своею безбедною жизнию. В минуту дурного настроения духа он жестоко обращается с своей престарелой женой. Бедная Дойон! Сколько тяжких оскорблений перенесла ты от его грубого обращения в продолжение своей замужней жизни!

От мужа, я знаю, ты ни разу не слыхала ласкового слова. В воображении моем рисуется и теперь картина его жестокого обращения с тобою, свидетелем которой я был еще в детстве.

Пришел он, не помню, откуда-то не в духе, рассердился на тебя и крепко ударил тебя по спине толстой палкой. Помню, какой пронзительный крик вырвался тогда из твоей груди от невыносимой боли, и теперь словно этот крик раздается в моих ушах. Ты схватилась за больное место и с рыданием прижалась в угол сакли, умоляя о пощаде. Но пощады не было. Разъярившийся Симайли еще пуще стал бить тебя палкою, и тогда я тоже зарыдал: мне стало невыносимо жаль тебя. На крик прибежали соседи и разняли...

Бедная осетинка! Скоро ль ты избавишься от положения рабыни? А какие у нас отношения жениха к невесте! Довольно привести один пример, чтобы составить себе понятие об этих натянутых отношениях.

Один из моих близких знакомых, некто Асламбек, сосватал себе дочь Симайли. Однажды вечером, когда я лежал на дворе, Асламбек подошел ко мне, печальный, и спросил:

— А что, Инал, твои молочные родители на работу ушли?

— Да,— сказал я,— только дочь Симайли, твоя невеста, одна осталась.

Асламбек покраснел и промолчал.

— Пойдем-ка к ним в саклю,— обратился он ко мне, все еще краснея.

Я встал, не спрашивая у него причины, почему ему понадобилось туда, так как догадывался, что ему хотелось посмотреть свою невесту. Мы пошли. Под навесом крыльца сидела Дзго, невеста Асламбека; она усердно шила что-то и не заметила, как мы приблизились.

Асламбек на некотором расстоянии остановился и стал смотреть на нее молча. Дзго подняла глаза и, увидев его, вскочила с своего места и исчезла в сакле, захлопнув за собою дверь.

— Вот тебе на! — воскликнул Асламбек.— Что мы, волки, что ли, что нас боятся? — обратился он ко мне, стараясь улыбнуться. Но улыбка вышла горькая. Он молча печально сел у порога сакли.

— Хоть бы угостили чем-нибудь! — произнес он наконец довольно громко.

Через несколько времени окно сакли чуть приоткрылось, и из него показалась рука Дзго с тарелкой, в которой лежал нарезанный сыр с белым чуреком. Я взял тарелку и поставил ее перед Асламбеком. Он не стал есть.

— Уйдем отсюда! — сказал он после долгого молчания и встал со своего места:

— Нас избегают, мы мешаем только,— и он потащил меня за руку со двора.

Мы сели на траву.

— А что, и у русских невеста так бегает от своего жениха? — спросил он после некоторого молчания.

Я объяснил ему, что у русских, напротив, жених и невеста чаще прежнего видятся.

— Ах! Как это хорошо! — воскликнул он.— А вот у нас, видишь, как... Я своей невесты еще ни разу как следует не видел... Да и засватал ее по наущению старух... Говорили, хорошая невеста...,

А я знал, что она злого нрава, совершенно противоположного характеру Асламбека. Как-то они уживутся?

Вчера на прощанье Дойон разрыдалась. Бедная Дойон! Придется ли еще свидеться когда-нибудь с тобою? Может быть, скоро сведут тебя в могилу горькие дни, проведенные тобою с грубым Симайли, и мне придется оплакивать тебя на твоей могиле...

ГОРЦЫ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Со взятием в плен Шамиля все горцы Кавказа словно почувствовали тесноту на родине; теперь-то казалось, ясно увидели, что прежней свободе, которую отстаивали они так мужественно от неприятелей и покупали ценою своей крови и жизни, пришел конец. Еще больше встревожились горцы, когда между ними пронесся слух, что детей их будут брать в солдаты: это-то последнее обстоятельство послужило особенно чувствительным толчком, заставившим их разом оставить ту родину, за которую еще так недавно проливали кровь, и искать убежища и безопасности в Стамбуле, как они зовут Турцию вообще, предполагая, что в Турции к ним вернется прежняя привольная жизнь и дети их будут гарантированы от ненавистной им солдатчины.

«Там живут наши единоверцы, там и схороним свои праведные кости...» Сказав это, благочестивые мусульмане, имевшие в виду день страшного суда, *хъиамат'а,* этого memento mori, распродали свое движимое и недвижимое имение и собрались в Турцию.

И вот потянулась со скрипом длинная вереница ароб, покрытых сверху разноцветными коврами, сказав последнее прости своей родине и направляясь к обетованному Стамбулу.

Но знают ли они, куда они стремятся? Нет, не знают. Они знают только, что существует где-то в мире страна, называемая Стамбулом, и что в этом Стамбуле живут такие же мусульмане, как и они сами. Они стремятся туда так безотчетно, потому что обольщены ложными слухами, что им там будет хорошо и лучше даже, чем на старой родине.

Но увы! Какое разочарование постигло этих поистине несчастных переселенцев, и сколько раз слышались слова проклятий на головы тех, которые их увлекли, когда трудность дороги и действительность предстали им воочию и раскрыли им глаза,— и тогда-то, забыв недавние розовые мечты, они поняли, что обмануты, что они сделались жертвами своего легковерия, поддавшись лжи-

вым словам тех глупцов, которые уверяли их, что им будет хорошо. И вот они по милости этих глупцов-фанатиков теперь гибнут.

Это переселение горцев в Турцию пишущий эти строки может тем увереннее характеризовать, что он сам был в числе переселявшихся в Стамбул в 1860 году и, следовательно, перечувствовал те трудности, о которых он здесь упоминает. Все отрывочные воспоминания об этом переселении, оставшиеся в моей памяти, я постараюсь здесь изложить.

Я родом осетинец, мусульманин. Фамилия наша, Кануковы, считалась и считается до сих пор одной из привилегированных и родовитых фамилий между осетинскими племенами. Отец мой, хотя не служил в регулярных войсках, но тем не менее участвовал в разных кампаниях против враждебных России горцев и за это дошел до подпоручичьего чина, считаясь по армейской кавалерии и управляя аулом нашей же фамилии, Кануковским.

Я уже упоминал выше, что после покорения Шамиля между горским населением появилось какое-то беспокойное состояние, и это беспокойство заразило даже нас, вечно покорных русскому правительству и невозмутимых осетинцев-мирян. Всполошились и осетины, пошли втихомолку беспокойные толки между осетинами-мусульманами, и стали они тоже помышлять о Стамбуле и притом с такой мыслью, что будто оставшимся здесь предстоит гибель. Нашлись между ними и такие фанатики, которые верили во все эти толки, принимали все за чистую монету и решились распрощаться с родиной.

К числу таких-то фанатиков присоединился и мой дядя, считавшийся тоже майором по армейской кавалерии и, следовательно, имевший тем более весу среди своих земляков, что был в русской службе офицером. Ему вздумалось поднять охотников к переселению в Турцию, и ему, как лицу влиятельному, действительно удалось завербовать многих, причем он побуждал их, говоря: «Нам теперь нечего делать здесь, будут нас здесь притеснять, а в Стамбуле нет».

Конечно, это он высказывал не свое собственное убеждение, а общее настроение, охватившее в это время всех горцев-мусульман.

И не нашлось тогда ни одного порядочного горца, который бы постарался разубедить и представить предпринимаемое дело в настоящем его виде. И простодушные земляки, принимая дядины слова за чистую монету, верили и присоединялись к числу все более и более увеличивавшихся переселенцев.

Не нравилось одно ему: отец все что-то отнекивался и не решался покидать старую родину.

— Что ты будешь делать здесь, когда один останешься среди русских? — шептал дядя ему.— Что ты будешь делать, когда лучшие нашей фамилии собираются в Стамбул, а разве ты не из лучших?

И отец, ежедневно слыша все одно и то же, не устоял против этого и решился.

Меня только что определили в одну из кавказских гимназий, и я не успел пробыть там и полугода, как получаю письмо через директора гимназии, с деньгами, в каковом письме отец просил директора о немедленном отправлении меня на родину.

Меня снарядили в путь, и в числе нескольких товарищей, отправлявшихся на родину, я приехал во Владикавказ.

Когда отсюда я подъезжал с своим молочным братом к аулу, в котором мы жили и в котором прошли первые дни моего детства, у меня сердце сжалось невольно и слезы подступили к горлу. Это было вызвано тем мрачным и печальным видом, который представился нашим взорам.

Там, где прежде были сакли, теперь рос лишь один бурьян да торчали среди этого бурьяна кое-где обломки старой заброшенной сакли, усугублявшие еще больше и без того невеселый вид аула, веселее которого, по моему понятию, не было нигде...

Из расспросов сопровождавшего меня брата я узнал, что все жители переселились в другой аул, кроме нескольких дворов мусульман, которые должны на днях отправиться в Стамбул, а вместе с ними и мы. Теперь для меня было ясно, почему меня взяли из гимназии так поспешно и так рано. Сердце еще более сжалось, когда вспомнил, что вовсе придется проститься с родиной, а тем более, что этот Стамбул в моем детском воображении рисовался какою-то пустыней, где почва почти без всякой растительности. Вероятно, наслышавшись об Аравии, родине Магомета, я перенес понятие об этой стране и на Стамбул.

Вот подъехал я к родному жилищу. Я не узнаю в этом жилище прежнего, с которым соединялось столько сладких детских воспоминаний; я не видел во вдоре и кругом сакли той заботливой чистоты, которая всегда здесь царила, благодаря заботливости отца, а теперь двор порос бурьяном, и среди зелени бурьяна наша сакля выглядит особенно печально: видна запущенность.

Посреди двора раскинуты две палатки, откуда слышится громкий говор; далее стоят несколько новых ароб, покрытых сверху персидскими коврами, и я как в палатках новых, так и в новых арбах, равно и в запущении двора угадал окончательно признаки приготовления к дальнему пути, вследствие чего покидается наша старая сакля.

Как только перешагнул я через порог родной сакли, мать встретила меня; держа в своих объятиях и обливаясь слезами, она шептала мне:

— Едем в Стамбул, мой день! Твой отец не хочет оставаться здесь.

Уныние матери навело и на меня очень мрачное расположение духа, и я весь день проплакал, тем более, что молочная мать моя, сидя около меня и тоже сетуя о том, что мы навеки расстаемся с ней, усугубляла это мрачное расположение.

— Я не поеду в Стамбул,—говорил я матери, всхлипывая от удушавших слез,— я не хочу...

— Что ты, бог с тобой! Что ты говоришь? Избави тебя бог проговориться об этом отцу,— говорила между тем мать, утешая меня.

При имени отца я мгновенно умолк, потому что он воспитывал меня в строгой школе и особенно чувствительно наказывал за неуместные возражения, что отнюдь не терпимо отцами от сыновей, а тем более сыновей еще молодых. Но на этот раз я мог бы быть спокойным относительно того, что отец мог меня услышать, потому что он отправился куда-то в Кабарду по своим делам и вот уже почти две недели, как не возвращается оттуда.

Через четыре или пять дней, хорошенько не помню, после моего приезда мы должны были тронуться в путь, так как все приготовления к пути, как-то: съестной запас, арбы, продажа имения и т. д.— были уже готовы, и отец, окончив свои дела в Кабарде, наконец, вернулся и захлопотал об отправлении.

Накануне выступления в нашей сакле, проданной за бесценок какому-то жителю другого аула, собралась толпа женщин из всех соседних и дальних аулов с целью попрощаться с нами.

Начали выносить вещи из сакли к арбам,— при этом старались особенно наши холопы. Начались прощания, поднялся громкий плач: все присутствовавшие плакали, обнимая в последний раз мать, меня и сестер. Младшего брата не было при этом всеобщем прощании: он куда-то спрятался. Долго его искали. Помню, как, наконец, его отыскал наш холоп, вытащил на гумне из-под соломы. В объятиях холопа он сильно барахтался и все кричал, задыхаясь от обильно лившихся слез:

— Пустите меня, я не хочу! Не хочу!

Но сильные руки холопа уложили его, наконец, в арбу, и он еще долго сидел, всхлипывая, пока не заснул.

Да и кто из нас хотел ехать добровольно в совсем незнакомый Стамбул, и если бы отец отбирал у своей семьи голоса, то, наверное, все бы мы отказались; но отец считал это лишним и даже обидным для себя: довольно, что он решил; во всех делах

его слово имело решающий вес, а слово матери — один пустой звук, не имевший ровно никакого значения.

На дворе послышался легкий скрип ароб — то запрягали волов. Наконец, вошел холоп в саклю и сказал:

— Пора, пора! Волы уже запряжены, и мы готовы в путь.

Стали выходить из своей сакли.

И теперь словно в ушах раздается то рыдание, которое невольно вырвалось из груди моей матери, когда она переступала в последний раз через порог своей сакли, и я, кажется, никогда не забуду это рыдание.

Однако мы вышли. Арбы уже выехали со двора — мы пошли следом, словно похоронная процессия. У дороги, через которую нам предстояло идти, стояла большая кавалькада вооруженных с ног до головы всадников, которые при виде приближавшихся женщин слезли с своих коней и почтительно пропустили нас*.

Проходя мимо них, женщины прервали свой плач и, потупив взоры, проходили молча. Всадники те были наши родственники и знакомые, которые собрались нас проводить на некоторое расстояние.

На расстоянии одной версты от аула арбы наши остановились, поджидая нас... Расстались... Сели в арбы... Арбы заскрипели, и в этом пронзительном их скрипении будто слышалось последнее прощание. Плакалось и нам. Я оглянулся еще раз назад и видел, как женщины долго стояли на одном и том же месте, провожая нас глазами; оттуда доносился отрывочный плач. Всадники молча сопровождали нас по обеим сторонам. Их было около пятидесяти. Они нас провожали до самого Ардона и там расстались.

Наши арбы в количестве десяти с дядиными продолжали отсюда путь на следующий день к сборному пункту, куда должна была собраться вся партия переселенцев из всей Осетии. Отца и дяди не было с нами: они отправились вперед верхами. В Ардоне к нам присоединилось еще несколько ароб, ехавших в Стамбул.

К вечеру дорога уже пошла вдоль утесистых скал: мы въехали в пределы гор. Сбоку шумит какая-то речка, на горах по бокам лепятся там и сям аулы, и стада баранов, словно муравьи, ползая, пасутся на вышине. Обогнули какую-то горку, донесся до ушей какой-то невнятный говор, и замелькали огни в вечерней мгле.

---

* Если всадник едет навстречу идущей женщине, то он считает долгом приличия слезть с коня и, ведя его в поводу, пропустить мимо женщину и тогда уже садиться. То же самое, если бы всадник стоял, а женщина проходила бы, и наоборот. Все это — знаки уважения к прекрасному полу.

— А вот и сборное место,— говорит холоп, погоняя волов.

И действительно: мы подъезжали к сборному пункту, куда по уговору должны были собраться все переселенцы. Но так как уже наступала темнота, то нельзя было судить о количестве собравшихся, и только видел я много огоньков, мелькавших там и сям.

Мы распрягли волов и, закусив, расположились спать. Я лег под арбою и слышал, как надо мною в арбе еще всхлипывала моя мать, и под тяжким давлением недавних впечатлений я заснул крепким сном...

Наутро я проснулся часов в девять. Когда выглянул из-под арбы, то увидел множество ароб, покрывавших лощину, окруженную со всех сторон крутыми высокими горами. Переселенцы в нарядных платьях сновали туда и сюда. Откуда-то слышались слова какой-то песни. На мой вопрос, где поют, брат сказал, что Ахмед Цаликов сделал прощальную пирушку *(куывд)*, куда приглашены все переселенцы, и что песня раздается оттуда.

Желая побывать на этой прощальной пирушке, я оделся и умылся, потом направился к месту общего веселья.

На краю лощины, покрытой густой травой, расположилась толпа пирующих переселенцев. Старики сидят рядком по старшинству.

Посреди собравшейся толпы навалена огромная груда говядины от зарезанного Ахмедом быка; вокруг этой груды суетилось несколько парней, выполнявших роль прислужников и деливших мясо на кусочки, приблизительно соображаясь с числом гостей.

Позади пирующих образовался кружок веселой молодежи, и оттуда-то слышалась громкая песня. Певцы перебивали друг друга, и каждый вставлял в песню свою фразу, каждый заменял слово по-своему — видно было по всему, что они сочиняли. Толпа мальчишек с увлечением слушала певцов и умильно переглядывалась при каждой ловкой фразе, выдуманной кем-либо из певцов.

После долгих усилий и напряжения поэтических способностей молодежь сложила песню вроде следующей:

В Стамбул поедем, в Стамбул, ребята!
Ой-та-рира, ой-рира!
Наш путь будет счастлив, и бог нам поможет!
Ойт, говорите, ребята, ойт!

И так далее в этом роде. Подошел Ахмед, виновник пирушки и главный зачинщик поездки в Турцию, и, обратясь к певцам, сказал:

— Да поможет вам Аллах за ваши труды, но не осрамитесь: со-

чините получше песню, песню, которую бы мы оставили на родине.

Но певцы и без того уже не жалели ни цветистых фраз, ни заманчивых красок, которыми обрисовывали предстоящий путь. И вполне веря всему этому, не основанному ни на чем положительном, переселенцы были в веселом расположении духа. Пока еще они были со свежими силами, надежда на блестящее будущее их не покидала; пока действительности они не испытали, они были веселы и безмятежны.

Помню я, как девушки на привалах в нарядных платьях собирались посреди ароб чуть свет и танцевали до изнеможения, пели песню, в которой они себе предрекали мужей-пашей и шелковые штаны; танцы длились до самой глубокой ночи, и в ночном воздухе, бывало, долго-долго носились звуки гармоники, хлопанье в ладоши и веселые песни и говор, и так было приятно и светло на душе у всех переселенцев!

Но надежды и розовые картины — увы! — скоро разлетелись, как дым, когда действительность дала себя почувствовать. Невесела была дорога, и поэтому неоднократно слышались проклятия из уст тех, которые прежде верили в розовые мечты и не хотели верить ни во что другое. И неоднократно они вспоминали оставленные аулы, где жилось так привольно, и неоднократно они задавали себе вопросы: «Куда идем? Зачем бежим из дорогой родины и чего ищем?»

Да и действительно, обстоятельства этой трудной дороги были таковы, что невольно заставляли переселенцев оглядываться назад, и я знаю, что многие вернулись бы, если бы не боялись стыда и посрамления, что они струсили.

Вот мы подымаемся по узкой дороге, по которой можно ехать только арбами по одной, одна за другою. Нагруженных ароб пара волов не в силах втащить на крутой подъем, отчего переселенцы принуждены впрягаться вместе с волами в—унос и таким образом с трудом втаскивать их одну за другою. Вот втащили на вершину крутизны несколько нагруженных ароб, но уже вечер, а половина ароб еще остается внизу, у подошвы горы, и завтра до вечера нужно возиться также и с ними. С такими же усилиями, с какими подымали переселенцы свои нагруженные арбы на вершину скалы, с такими же усилиями и осторожностями должны они потом спускать их с крутизны, чтобы не разбить о скалы.

Картина другая. Подымаемся по крутой извилистой дороге, внизу далеко шумел какой-то поток, увлекая в своем бурном течении огромные камни; берега его скалисты и круты. В арбах никто не сидит, потому что волы и лошади, впряженные в арбы,

подымают последние с большим усилием и без того: языки высунули, и влага течет изо рта, поливая пыльную дорогу, нагретую полуденным зноем южного солнца. Впереди всех мерно и осторожно выступает арба нашего муллы; по бокам арбы идут его сыновья, а сам он идет сзади, боязливо поглядывая на шумящий внизу поток. Арба запряжена лошадью, она еще двигает усталыми ногами и лезет, что называется, из кожи.

Но вдруг при одном повороте лошадь оступается и увлекает за собою арбу со всеми вещами, находящимися в ней, и низвергается в шумящий внизу горный поток.

— Спасите, спасите! — кричат мулла и его сыновья, тревожно вглядываясь вниз, где бедная лошадь, кряхтя, барахтается и борется с быстрым течением речки.

Цепь ароб переселенцев останавливается, и скрип, доселе раздиравший ухо, умолкает на время; общее смятение. Прежде всего сыновья муллы разрывают на себе платье и кидаются спасать свое добро, за ними следуют другие, и вскоре вокруг лошади и арбы появляются десятки полунагих мужчин, которые успевают отцепить лошадь и вынуть кое-что из арбы, уходящей все далее и далее.

Но задача другого рода: каким образом вывести коня, когда берега круты,— и вот, чтобы устранить это трудное препятствие, они вместе с лошадью и похищенным у воды добром плывут вниз по течению до тех пор, пока не находят достаточно отлогие берега, по которым можно было бы взойти им и вывести коня; арба, оставленная на произвол потока, крутясь и ворочаясь, то останавливается, то уплывает все далее и далее и наконец исчезает, провожаемая печальным взором злосчастных хозяев.

А вот еще неприятность. Вдруг наши арбы опять останавливаются.

— Что такое? — пролетает вопрос по рядам ароб переселенцев.

Оказывается, что впереди дорога подмыта рекою; единственный зыбкий мост, через который переправлялись путешественники, и тот уничтожен с корнем,— вон только холодные волны большой реки беспрестанно лижут край высокой крутой черной скалы, которая стала нам стеною поперек дороги. После долгих усилий удается переселенцам перекинуть через подмытое место под скалою небольшой мостик, по которому, конечно, немыслимо переправляться нагруженною арбою, ибо он не в состоянии удержать такой тяжести, и переселенцы разбирают арбы и переносят их руками по частям через этот мост; процесс переноски длится три-четыре дня.

— Будь он проклят, этот путь!—слышится там и сям.—Сколь-

ко лишений, сколько трудов приходится терпеть нам теперь!

А ведь недавно они были еще полны надежд на счастливое будущее!

Преодолев неимоверные препятствия, мы через Кутаис достигаем Батума. Итак, мы уже в пределах обетованного Стамбула, или Турции. Здесь мы делаем большой привал после утомительной дороги и располагаемся лагерем. Нам от турецкого правительства выдают по одной палатке на семью.

Впереди нас раскидывается безбрежное Черное море (*Сау денджыз*), к которому мы так торопились, чтобы взглянуть, что такое за *денджыз*, и неужели в самом деле море так велико, как рассказывают про него, и что это за корабли плавают на нем. И вот теперь мы видим перед собою воочию это желанное море, и оно раскидывается широко-широко перед нашими изумленными, выражающими суеверный страх взорами, и море это вздувается большими водяными массами и качает как ни в чем не бывало большие-большие корабли, которые вместят десятки наших саклей. И неужели, думается нам, придется нам на этих кораблях (*наутæ*) ехать в самый Стамбул, как говорят? Не может быть, да это и страшно, очень легко погибнуть среди такого огромного моря... Нет-нет... этого не может быть, утешают сами себя переселенцы.

Какое удовольствие доставляло нам вечером глядеть на море, когда оно спокойно и отражает в своих водах лучи заходящего в кровавом зареве солнца, с каким страхом спрашивали мы, когда видали морских свинок, игравших вечером:

— А что бы это такое было?

И каждый из нас давал свои объяснения, более или менее нелепые.

Так как в Батуме мы пробыли достаточно и уже успели несколько отдохнуть и забыть недавние путевые невзгоды, то наша молодежь позволила себе распотешить своей джигитовкой батумское общество и хвастнуть немного перед ним своею ловкостью на коне и умением владеть оружием.

И вот в один прекрасный день батумское общество, узнав о желании «черкесов» поджигитовать, собралось на одной площади, а для соблюдения общественного благочиния и порядка сюда же была приведена чуть ли не целая рота здешней крепостной команды. Все с особым нетерпением ожидали начатия джигитовки. Важные турки, вооруженные длинными своими чубуками, оживленнее перебрасывались фразами в ожидании того, как черкесы будут выделывать перед ними «всякие штуки».

Наконец, появилась и наша молодежь в числе десяти человек, вооруженная с ног до головы, на прекрасных лошадях, ко-

торыми, кстати сказать, запаслись в дорогу почти все переселенцы.

Турки загалдели что-то по-своему, пересмеиваясь между собою, вероятно, насчет костюмов; блюстители благочиния и порядка дрючками разгоняли более любопытных, которые подвигались на место, где должно было происходить ристалище. Оно и началось.

Вначале джигитовка имела мало интереса, так как она состояла из нехитрых эволюций, но когда кто-то из молодежи на скаку стал вверх ногами и потом опять сел, то по толпе пробежал гул одобрения и гром рукоплесканий.

— Валлах, чох яхши! Чох яхши! — говорили восторженные турки, одобрительно хлопая в ладоши.

Другой на скаку подымал мелкие турецкие монеты и стрелял в них; третий стоя скакал и стрелял, мчась на своем скакуне,— словом, произвели приятное впечатление на турок своим молодечеством.

Ну за то же и подружились с нами, а в особенности солдаты, которые наших приглашали к себе обедать, и наши, конечно, этим не брезгали, тем более, что между солдатами находились два-три «земляка», беглых русских солдата, которые сиживали во владикавказской тюрьме и теперь вспоминали про Россию и пшенную кашу со щами, заедая эти воспоминания пловом с бараниной.

Окрестности Батума изобиловали всякими фруктами, до которых наши были особенно падки, почему в продолжение всего нашего пребывания у Батума мы питались почти исключительно одними фруктами, возили их мешками, так как запрету к тому не видели; ну да зато же и побаливали, так что после более влиятельные лица среди переселенцев, видя пагубное влияние фруктов, окончательно запретили их возить из лесу, что сперва было подняло ропот между переселенцами.

Отсюда в Константинополь по морю решились поехать немногие семейства, в числе их был и наш мулла. Остальные все решились ехать на Карс. Путь на Карс, хотя не представлял тех трудностей, какие представляла дорога от родины до Батума, но тем не менее и он был сопряжен с большими невзгодами, а может быть, нам легче потому казалось, что уже привыкли отчасти к трудам и лишениям. К тому же трудность пути облегчалась еще тем, что местное правительство давало нам подводы для перевозки наших вещей.

Наша дорога пересекается горною рекою. По бокам возвышаются громадные черные скалы, покрытые елью и сосною. От этой речки уже нет аробной дороги. На скалах лишь маленькие тро-

пиночки, словно черные нитки, виднеются, и по ним можно взбираться лишь коню да волу и то с трудом. По этой причине переселенцы разламывают свои арбы и самые необходимые их части, как, например, колеса, принимают на лодки, остальные нет.

Нам должно было идти вверх по течению, и потому лодочники из местных селений, которые должны были обязательно везти наши вещи и нас самих вверх по реке, должны были тянуть лямки, что было очень затруднительно. Так должны были тянуть на расстоянии верст семи. В лодки позволялось класть все домашние вещи и из частей арбы — колеса. Оглобли же мы привязывали к седлу и так таскались с ними по горам до нового места, где опять сколачивали кое-как свои жалкие арбы.

И вот отец наш привязывает сам к своему седлу две оглобли одной арбы по обоим бокам седла, а от другой арбы привязывает к моему седлу, и мы взбираемся по тропиночке, погоняя впереди волов. Лошади наши еле подымаются по этой тропиночке, тем более, что отягощены оглоблями и дорога скверная. При подъеме на гору оглобли своею тяжестью тянут лошадь назад, и вследствие этого седло через несколько минут спадает на круп лошади. Волы боязливо пробираются вперед гуськом и тихо ступают по тропинке. Вдруг два вола сталкиваются нечаянно, и один из них низвергается со скалы.

— Ай! Алла-ай! — восклицает отец,— самый лучший вол наш погиб! — и он глядит, остановившись, в ту пропасть, куда упал вол.

Но там внизу ничего не видать, лишь только река серебряною лентою извивается между громадных скал, и по ней вверх по течению движется какая-то черная точка: то лодка, в которой сидит наше семейство...

Но вот узкая тропинка переходит все более и более в широкую дорогу, а ночь между тем приближается. Отец молчит: он мрачен, потому что потеря хорошего вола произвела в нем дурное расположение духа, от которого он не может оторваться.

Уже настает ночь. Внизу где-то мелькнул огонек, по направлению которого отец кричит. Оттуда, как из могилы, доносится знакомый нам отзыв нашего холопа,— и по направлению этого крика, сопровождая наших утомленных волов, мы спускаемся, с опасностью для жизни, по крутой незнакомой скале.

У подошвы скалы расположилось наше семейство у огонька; малые братья и сестры плачут, прося есть, но нечем накормить: весь запас вышел, а поблизости нет селения, где можно было бы достать им хлеба. Плачут дети, да и мы сами проголодались, ничего не евши в продолжение всего утомительного дня, и убий-

ственно хочется есть. Нечего делать, потерпим до следующего дня,— что-то будет?

Еще картина. Арбы мы давно покинули где-то, по невозможности долее с ними возиться, и мы идем пешком по скалистым тропинкам.

Жара несносная, во рту сохнет, и хочется пить, а тут еще гора встала навстречу стеною; подымаемся на эту скалу. Мать моя идет впереди, и хотя ей помогает наш холоп подыматься по крутой тропинке, однако силы ей изменяют, и она в изнеможении опускается на дороге. К ней присоединяются и остальные, утомленные ходьбою.

Нет нигде тени от дерев, полуденное солнце пронизывает до самых костей. Вдруг до слуха моего доносятся раздирающие душу вопли — то больная моя сестра просит пить:

— Воды, воды! — кричит она,— умираю без воды!

Лежит она на бурке, которую ей постлал на голой скале холоп, обязанный носить ее всю дорогу на своих плечах.

Мать садится у ее изголовья и не знает, как помочь нужде, и хотя сама жаждет,— просит, чтобы достали ей воды для больной.

Но где искать воды? Кругом голые скалы, на которых последняя трава выжжена солнцем, да ряды сосен, щетинящихся кругом. Я уже обежал все окрестности, ища воды для умирающей сестры, забыв свою жажду, но нигде не видал признака воды и вернулся ни с чем.

Но нет конца только адским мучениям, а всему остальному бывает: жара к вечеру стала спадать, и жажда уменьшилась, благодаря этому обстоятельству. Ах, вечер так свеж, так приятен, а этот ветер так освежительно действует на тело!

Вот на востоке замигала одна какая-то звездочка, а там еще, еще и еще, и вскоре все голубое необъятное небо усеялось тысячами ярких звезд, весело перемигивающихся между собою. И как приятно повевает этот вечерний ветерок на усталые члены, и как свободно дышится. Вот так бы и заснул мертвецки на спине, глядя в глубину ночного неба и любуясь на мириады ярких звезд, но рыдания больной сестры, раздающиеся так явственно в ночном воздухе, раздирают мне душу и гонят сон прочь, навевая грустное настроение души.

У изголовья, при свете поднявшейся полной луны, можно видеть все ту же верную мать, неподвижно и печально глядящую на больную, и кажется мне, что она плачет. Бедная! Сама она измучена дневною дорогою, сама она умирает от жажды, а приходится ей караулить свою возлюбленную дочь, и желала бы она пособить ее мучениям, желала бы она облегчить ей страдания в

ущерб своему здоровью — видит бог — но увы! Ее желания неисполнимы, и ей остается только молча проливать слезы и вполголоса утешать больную:

— Не бойся, не бойся, мое солнышко, все пройдет, успокойся!

Но успокоения нет, и больная мечется всю ночь на бурке, и она, как статуя, неутомимо сторожит свое любимое дитя. На ее жаркие слезы никто не обращает внимания, никто особенного участия не принимает в ее материнской скорби!

Да и какое дело тем холодным мрачным скалам, которые безмолвно глядят на всякие людские скорби и радости сотни лет, какое дело тем ярким звездам, что одинаково взирают так весело на всякое проявление человеческой жизни, каково бы оно ни было; какое дело той луне, которая с сотворения мира идет все по той же дороге и так же?.. Нет, видно, приходится оставить надежду на все окружающее и плакать: самой, может быть, легче будет, и, может быть, невидимый господь увидит твои материнские слезы и своей всемогущей силой поможет беде...

Холопу нет до нее дела, он теперь заботится о том, чтобы развести костер, и пошел искать дров, а на что ему костер, не знает никто из нас. Нам теперь не до огня, нам хочется есть, а с собою ничего нет; избавились немного от жажды — явилось другое, более утомительное серьезное желание — голод.

Холоп спокойно сваливает принесенные дрова в кучу и разводит огонь и потом оглядывается молча кругом. Наконец, его молчание прерывается такою фразою:

— Там, вероятно, ночлег пастухов,— и он указывает пальцем по тому направлению, где мелькает огонек и слышится лай собак,— и затем исчезает.

Через несколько времени он показывается и на спине несет целого барана:

— Бог дал,— говорит он как-то таинственно.

Призывает к себе тихо другого холопа и отходят с добычей в сторону, где и режут ее. Вмиг сдирают с него шкуру, потрошат и внутренности низвергают с кручи, а кровь закапывают. Отрезав несколько кусочков баранины, они стали жарить шашлык, который вскоре зашипел на горячих угольях и приятно защекотал нам обоняние. Немного утолив голод шашлыком, мы расположились спать, все, кроме матери, которая без устали продолжала сидеть у изголовья больной дочери и проливала слезы.

Наутро с рассветом мы продолжали наш невеселый путь.

Вот навстречу нам потянулся целый караван волов. Впереди всех выступает вожатый, сидя на жирном воле, разукрашенном разными бубенчиками и другими побрякушками. Вожатый с флегматическим выражением лица покуривает свой длинный чубук и

дает нам знать одним мановением руки, чтобы мы сторонились узкой дороги; мы боязливо сторонимся и дико смотрим, как проходит мимо караван волов, навьюченных огромными тюками.

Наконец, к вечеру по указанию нашего вожатого-туземца мы увидели вдали аул, расположенный на скале,— туда-то нам должно было идти, и мы через несколько утомительных часов достигли его. Нам здесь отвели квартиры, которые мы нашли очень нечистыми и неудобными. Но, за неимением лучших, мы поместились в них. Вещи были свалены в кучи среди комнат. Все расположились отдыхать, кто как мог, причем больную положили на единственной кроватке, находившейся здесь, в квартире.

Как теперь, вижу я печальную фигуру дорогой матери, которая сидит у постели больной моей сестры и безмолвно смотрит, как больная в корчах мечется по койке, прося помочь ей. Слезы катятся по бледному, изможденному лицу матери и падают ей на грудь; я из угла, где поместился на бурке, тоже созерцаю эту трогательную картину, и вот-вот слезы хлынут из моих глаз, и я зарыдаю. Но дневной путь, сопряженный с такими трудностями, меня заставляет смежить очи против моего желания — и я засыпаю.

И вдруг я слышу, будто во сне, вопль, раздирающий душу, и просыпаюсь тревожно. И вижу я уже наяву, что мать, закрыв лицо руками, рыдает у трупа скончавшейся моей сестры, которая при свете сального огарка представляется такою страшною, что я отворачиваюсь невольно и у меня вырывается из груди рыдание.

Все просыпаются и присоединяют свой плач. Итак, покончила свое существование моя меньшая сестра, неизвестно, от какой болезни. Она мучительно боролась со смертью и, наконец, должна была поддаться, чтобы не видать дальнейших страданий.

О смерти сестры дали знать отцу, который находился на другой квартире. Он сурово выслушал это известие и ничего не сказал. В полдень следующего дня тело усопшей уже выносили на плетне, завернутое в белый саван. За телом следовали двое мулл, несколько наших родственников; отца не было среди этой небольшой толпы, и меня тоже задержали.

Утром следующего дня мы уже покинули эту злосчастную квартиру, чтобы продолжать путь многотрудный. Я сел опять на лошадь и потому был в качестве верховых дяди, отца и двух двоюродных братьев. Наше добро с семейством отправилось вперед на подводах, а мы, как верховые, ехали позади. Когда мы выехали, то отец подъехал к какой-то свеженасыпанной могиле и, остановившись, читал вполголоса молитвы из Корана; потом, сделав *дуа,* т. е. проведши три раза ладонями своих рук по лицу

и проговорив «а-аминь», он произнес и на своем языке:

— *Рухсаг у,*— нечто вроде древнего римского: «*Sit tibi terra levis*».

Вот, наконец, потянулись ровные поля почти без растительности; попадаются курды с остроконечными шапками и огромнейшими кинжалами, смотрят особенно свирепо и все угрожают кинжалами...

Вдали показались какие-то большие строения.

— То Карс,— объяснил один прохожий на наш вопрос, что это за строения.

Слава богу! Наконец-то добрались и до Карса. Приехав в Карс, мы разместились по квартирам дальнего квартала города.

Как помнится, нам отвели квартиру на горе, в доме одного муллы, у которого были как частно обучавшиеся два дигорских мальчика. Эти последние не пускали нас во двор, что, конечно, особенно возмутило отца, тем более, что он знал их на родине, и даже они приходились ему родственниками.

— Вот испортились где, собаки!—горячился он. — Забыли даже своих родственников и не питают ни малейшего уважения к старшим!

Однако с помощью хозяина, который жестоко поколотил их, нам удалось по праву отвода завладеть их квартирою.

Из Карса переселенцев рассылали по окрестным селениям, чтобы их селить там. Но так как дробили переселенцев по два, по три двора отдельно, то это обстоятельство особенно не понравилось переселенцам.

Отец мой во все двухнедельное наше пребывание в Карсе отсутствовал, так как был назначен поверенным от всех переселенцев осмотреть место, где приходилось им селиться, и узнать о доброкачественности и годности этих мест.

Отец вернулся обратно, и к нему собрались переселенцы.

— Места скверные,— сказал он им,— народ собачий. Мы стремились сюда из родины, где нам было хорошо, сломя головы,— и вот мы, как видите, в Стамбуле, у цели нашего многотрудного и несчастного пути, и что же мы видим в нем? Нам не приходится брататься с теми людьми, которые, как вам самим известно, воруют у наших жен башмаки*. Подумайте об этом серьезно, ради ваших детей. Если вернемся обратно на родину, то это не

* В одном селении случилось так, что пропал башмак у моей матери, отчего отец поднял все селение на ноги и потребовал настоятельно, чтобы башмак отыскался, а хозяину квартиры чуть голову не снес своим кинжалом; однако башмак отыскался-таки.

признак нашего малодушия, как это думают многие из нас, а это значит, что желаем блага своему семейству, которое погибнет здесь среди такого народа; лучше вспомните про свое привольное и счастливое житье на родине, которая нас опять радостно примет в свои объятия, как блудных сыновей, и мы опять заживем по-старому. Потеряли многое — что делать? — это все вследствие нашей глупости и доверчивости; теперь же опомнились, и ошибку еще не трудно исправить. Но вспомните, что если здесь нас будут селить отдельно по два, по три семейства, то мы забудем друг друга и не будем знать, кто умирает из нас и кто живет, и уже из этого собачьего отродья, что вас будет окружать, ни одна душа не прольет печальную слезу и не проводит ваш прах до последнего вашего жилища — могилы. Вспомните об этом и знайте, что на родине хотя кости наши лягут бок-о-бок с костьми наших отцов и заплачет там о нас хоть одна душа.

Призадумались старики, слушая отцовские слова. Долго думали молча, наконец послышалось:

— Я первый из тех, кто хочет ехать обратно,— и к этому присоединилось еще несколько голосов, и образовались целые десятки. Согласившиеся вернуться обратно на родину с отцом в количестве 90 дворов решили оставить Карс через два дня и пуститься опять на родину.

Накануне выступления наши арбы собрались за Карсом. Оставшиеся, услышав о нашем окончательном намерении пуститься в обратный путь нахлынули верхами со всех сторон, говорили отцу:

— Не срами нас и себя и не ворочайся. Что скажет, подумай, народ на родине, когда увидят, что ты, один из лучших переселенцев, вернулся обратно?

Но отец давно уже об этом думал, и решение его уже было твердо, и он во что бы то ни стало задумал вернуться обратно.

Обратная наша дорога была через Александрополь, оттуда на Тифлис, во Владикавказ. Эта дорога уже не представляла тех трудностей, которые мы испытали первоначально. Но взамен всех подобных путевых невзгод нас догнала зима между двумя границами — русскою и турецкою — на реке Арпачай.

Так как нас продержали здесь на границе около трех недель, то, чтобы укрыться сколько-нибудь от зимних холодов, мы вырыли на берегу Арпачая землянки, которые сверху покрыли землею. Квартир казенных нам уже турецкое правительство не хотело давать, так как мы отреклись от него самовольно, что вызвало неудовольствие к нам правительства, выразившееся в том, что хотели нас административным порядком задержать и не выпускать из Карса; но, видя положительное решение наше оста-

вить Турцию и серьезные последствия сопротивления, предоставили нам свободный проезд.

Итак, мы от морозов скрывались в этих землянках, вырытых на берегу Арпачая. Землянки эти скрывали нас до тех пор, пока снег не растаял, но когда, к нашему беспокойствию, солнечной теплоте угодно было пригреть снег, то этот последний превращался в жидкость, которая стекала в наши землянки и потопляла наше добро или выносила наружу те предметы нашего обихода, которые по своему удельному весу оказывались легкими.

Но бывали времена, когда эти жалкие землянки не защищали нас от зимней стужи, и тогда мы скрывались в огромный сарай пограничной турецкой заставы. В сарае этом помещались и люди, и животные купно, и владетель этого сарая, содержатель мелочной лавочки и духана, брал с персоны по пять копеек за ночлег.

В один прекрасный день по толпе измученных переселенцев пронесся радостный слух, что правительством разрешено пропустить нас в пределы русской границы. И все переселенцы второпях стали запрягать своих волов, и арбы опять заскрипели, как бы прощаясь навеки с турецкой границей и приветствуя русскую границу, напоминавшую нам близость нашей недавно покинутой родины.

Скоро миновали город Александрополь с его полувосточными и полузападными строениями, и перед нашими взорами уже потянулся кряж гор знакомой родины,

> **Как будто белый караван**
> **Залетных птиц из дальних стран.**

Сердце забилось неизъяснимо радостно при виде знакомых гор, и оно рвалось нетерпеливо вперед к родным местам, к родному аулу, который в моем воображении опять представился ясно.

Достигли Тифлиса, где мы пробыли около двух недель, и пустились дальше. Близость родины чувствовалась, и мы рвались все вперед и вперед, забыв усталость и лишения. Вот станция Казбек... а там и знакомый Ларс с своими развалинами на скале. Далее Балта... Редант и — Аллах! — вон и Владикавказ, наконец.

— Алхамдулилльях! — произносит благоговейно отец и проводит три раза по бороде ладонью; наконец-то кончены адовы мученья, слава Аллаху и его пророку Магомету.

Вот в стороне показалось место нашего аула, но там теперь никто не живет, и лишь деревья да характерный бурьян свидетельствуют о том, что когда-то там жили... Жители переселились в другой аул — Гизель, куда мы и направились, чтобы там на первое время приютиться у бывших наших холопов.

Отец, вероятно, теперь вспомнил то время, когда он считался в ауле старшиной и главой, вспомнил то время, когда искали покровительства у него самого, а теперь он, вернувшись из Турции, должен искать по необходимости такого же покровительства у бывших своих холопов. И, вероятно, особенно тревожила его эта мысль, потому что по лицу его пробегали тучки, омрачавшие его чело.

Хотя к нам вышли навстречу, хотя нас приветствовал весь аул неподдельно радостно, но тем не менее, не как равных своих членов, а как чуждых странников, как исключенных из общей семьи и опять принимаемых из снисхождения, и это обстоятельство особенно не понравилось отцу.

Мы остановились у бывших холопов на первых порах, но благодаря заботливости людей, знавших моего отца, нам недолго пришлось жить там: общими силами нам натаскали строевого лесу для постройки сакли, понадарили все, что нужно было для первоначального обзаведения.

Отец, поняв свое безвыходное положение и то, что уже холопов, на которых можно было бы возложить работу, не стало, принялся сам работать энергично день и ночь, забыв о том, что он когда-то знал лишь своего серого коня да свое оружие, а черную работу презирал. И благодаря его энергии и удивительному труду, благосостояние наше стало быстро поправляться, но Аллаху было угодно взять его душу к себе, и все пошло вдруг прахом!

Остальные переселенцы, наученные тоже горьким уроком, стали поправляться, а были, впрочем, и такие, которые разорились окончательно, так как без первоначальной помощи они не могли подняться на ноги.

Когда, бывало, соберутся соседи к отцу из всех околотков, то, слушая его рассказы про нашу дорогу в Стамбул, они участливо и угрюмо качали головами и удивлялись трудностям дороги, выражая сожаление к тем из своих земляков, которым приходилось их терпеть.

Затем прошел год — стали переселяться другие, привозя также горестные известия о судьбе переселенцев. А впрочем, были между ними и такие, которые отзывались и с хорошей стороны о новой их жизни. Между прочим, один, недавно приехавший оттуда, рассказывал:

«Не верьте тому, что мы в Турции занимаемся воровством. Правда, прежде, пока мы еще не обзавелись никаким домашним добром, бывало, нечего греха таить, воровали. Был случай, когда и я должен был взяться за это ремесло, но вынужден был к тому бедственным своим положением. Это было в то время, когда мы

уже достигали Карса, где предполагали поселиться. Все наши жизненные припасы, все деньги, которые были при нас, истощились окончательно, и нас бы постигла страшная голодная смерть, если бы я в один прекрасный день не отправился на опасный промысел. Вечер, в который я вышел, был самый благоприятный. На небе разорванные тучки проходили по луне и закрывали ее порою, отчего по временам делалось темнее. Взяв свою винтовку, шашку, пистолет и сев на своего вороного, которого не продам теперь ни за какие деньги, я отправился искать добычи, предварительно помолившись всемогущему Аллаху, чтобы он ниспослал мне добычу щедрую. Оставив семью у дороги под охраной пятнадцатилетнего своего брата, я свернул на большую дорогу, где предполагал набрести на добычу. Вот до слуха моего донеслись звуки бубенчиков и колокольчиков. Я догадался, что то непременно идет караван, и, спрятавшись вместе с своим вороным за большим камнем, стал выжидать со взведенной винтовкой приближения каравана.

Звуки делались все явственнее, и вот первый верблюд, мерно шагая, поравнялся уже с тем камнем, за которым была моя засада. На верблюде хозяин, покачиваясь взад и вперед, напевал вполголоса какую-то жалобную песню на турецком языке.

— Кафыр! — вдруг воскликнул я, появляясь из-за камня с винтовкой.

Верблюд шарахнулся в сторону, фыркая, и седок слетел с него; я выстрелил в воздух, и турок бежал сломя голову, крича о пощаде; другие хозяева верблюдов, в числе около десяти, тоже бежали, как подлые трусы-бабы, и караван верблюдов, навьюченный всяким добром, достался на мою долю.

Своротив несколько верблюдов с большой дороги и вспоров тюки, я взял, что нужно было, и продолжал далее свое странствие... И с тех пор никогда мысль о воровстве не приходила мне на ум: зачем, думаю я, грабить чужое добро, когда своего достаточно. С турками к тому же живем мы мирно, но они нас все-таки побаиваются, во избежание каких-либо неприятностей, которые мы можем им наделать за какие-либо обиды. Они нас зовут волками, потому что видят в нас большое мужество и храбрость. Мы никогда обиду не оставляем без должного возмездия и потому внушаем им быть к нам уважительными. Они трусы в высшей степени и способны легко сносить всякие обиды. Один из наших может напугать десяток турок и обижать их без особенной опасности для своей жизни».

Многие приезжают теперь из Турции проведать старую родину; одни из них очень довольны новым отечеством, и нет конца

похвалам ему, а другие выражают неудовольствие и желание переселиться обратно, если бы то было дозволено русским правительством.

Но, однако, оставшиеся в Осетии мусульмане научены горьким опытом предшествовавших переселенцев и не желают переселения; они с большим удовольствием готовы встретить перемену прежнего порядка вещей, чем кидаться в страну, совершенно неведомую.

Тогда кидались за свободою, за привольным житьем без всякого труда и работы; хотя, впрочем, они сами не могли объяснить, чего хотели. Но должно, по крайней мере, предполагать, что прежний характер не давал им покоя и тянул их подальше куда-то.

Но другие времена, другие и нравы. Прошло с тех пор немало времени, и все стали смотреть на вещи совершенно иначе. Мало кто уже мечтает о переселении в Турцию: убедились, что там хуже, чем на родине. Обстоятельства жизни заставили относиться холоднее и расчетливее ко всем переменам прежнего порядка и заставляют перенимать новое.

Да, это неизбежное следствие водворения мира на Кавказе. Условия прежней жизни, вырабатывавшие в горце молодецкие качества, искореняются постепенно, и идеалы прежних джигитов-абреков становятся достоянием преданий.

Ряд исторических фактов, совершившихся почти на наших глазах, доказывает нам, что народ сохраняет дух воинственности, удальства до тех пор, пока обстоятельства окружающей его жизни тому благоприятствуют, когда есть, так сказать, арена для поддержания и воспитания этих качеств, а арена эта может лишь тогда существовать, когда народ вынужден от кого-либо защищать оружием свою свободу и неприкосновенность обычаев, освященных предками. Но когда для развития этих качеств не благоприятствуют эти обстоятельства, на место храбреца и воина является трудолюбивый хлебопашец.

Мы видим донских и запорожских казаков. Было время, когда они творили чудеса храбрости, вынужденные к тому защитою своей любимой родины от нашествия крымских татар. Тогда жизнь их проходила в беспрестанных стычках с врагами, и из среды их выходили такие отважные «лыцари», как Тарас, Остап, Наливайко...

Но настал мир, спокойствие, и идеал прежнего героя уступил место мирному семьянину и трудолюбивому пахарю. Об Остапах, Тарасах и Наливайках, как и других героях Запорожской Сечи, вспоминают разве лишь угрюмые бандуристы в кругу любопыт-

ной молодежи, да разве пахарь иногда, задумавшись, произнесет в своей печальной песне имена их.

Повторяю, влияние этого неизменного, могущественного исторического закона мы видим и в наших горцах. Не верить в действие этого закона — значит быть положительным профаном. Да и профанам-то в настоящее время нельзя не верить в действие этого закона, ибо факт совершается воочию. Молодечество среди горского населения уже далеко не имеет того могущественного влияния на молодежь, какое имело еще в недавнем прошлом; на молодечество теперь смотрят, как на праздность и полнейшее безделье. Подражателей прежним удальцам укоряют, а не хвалят теперь.

Прежде, бывало, какой-нибудь молодец нацепит на себя целый арсенал оружия, оправленного золотом и серебром, и разъезжает на своем шаулохском коне. Этакою праздною жизнью особенно отличалось высшее сословие, которое, обладая множеством крестьян, возлагало на последних все работы, а само разъезжало на балц* по соседним кабардинским князьям.

Так как мой отец принадлежал к числу людей, имевших крестьян, то он тогда мало обращал внимания на черную работу, считая ее для себя позорною. Он только в совершенстве владел оружием своим и ездил превосходно на своем сером коне, которого так старательно купал на речке. Для этого в полдень обыкновенно он звал меня к речке, куда из конюшни выводил сам своего коня, и среди речки, вооружившись чашкой, он мыл старательно коня, а я держал последнего за узду. Он обладал уменьем выделывать из ремня самые необходимые вещи для сбруи конской; он метко стрелял из винтовки, но однако редко-редко когда тратил напрасно заряд пороха, которым вообще дорожил.

Когда, бывало, собирался он в *балц*, то мать и сестра просиживали целые дни за шитьем для него платья, нарядившись в которое он уезжал надолго со двора. Куда? Не знала ни одна душа.

Через месяц или два обыкновенно он возвращался, но в сопровождении целой кавалькады; тут были и кабардинские и кумыкские князья, и все они в свою очередь гостили у нас более или менее продолжительное время.

Обыкновенно я должен был выходить к ним навстречу и помогать им слезать с коней, которых с помощью своих товарищей

---

* *Балцами* назывались праздные разъезды по соседям. В то время гостили по целым месяцам; женам не показывались довольно долго. Сидеть дома считалось постыдным.

одноаульцев расседлывал и, напоивши, клал им травы или гнал в поле. В кунацкой я развешивал по стенам седла, ружья и шашки и потом молча становился у косяка дверей и выжидал зорко того момента, когда кто-нибудь из гостей пожелает пить воды или попросит что-либо подобное; и подобные желания гостей я, как благовоспитанный сын узденя, должен был даже немедленно предупреждать, иначе в устах их заслужил бы нелестное реноме, что отцу было бы очень неприятно.

Отец также выходил к гостям в кунацкую и тут, опершись на огромнейшую суковатую палку, которая составляла непременную принадлежность кунацкой, заводил речь с гостями. Говорили важно, чинно, как будто решали важные государственные вопросы, а между тем шла речь о лошади какого-нибудь Бимбулата или о меткости кайсиновской винтовки. Поговорив таким образом немного с гостями, отец обыкновенно выходил из кунацкой и холопам давал приказания, чтобы они где-нибудь раздобыли *кусæрттаг'ов,** без которых не уезжал от нас еще ни один гость, сколько помню.

Перед обедом или ужином для гостей меня обыкновенно снабжали полотенцем через плечо, давали в руку тарелочку с мылом, и в таком виде я следовал за холопом, который в свою очередь нес в одной руке таз, а в другой рукомойник. Пришед в кунацкую, холоп обыкновенно ставил таз перед первым гостем, а я подавал мыло, и начиналось по старшинству умывание рук, которые вытирались после мытья полотенцем, висевшим на моем плече.

По окончании этого обыкновенно подавался стол, круглый, маленький, о трех или четырех ножках. На столе была баранина кусками с чуреком, белым или просяным. Стол становился ближе к старшему из гостей. Ели обыкновенно важно, медленно, будто размышляя о каком-нибудь важном деле,— того требовал наш этикет, ибо есть скоро считалось постыдным. Чмоканье слышалось на всю кунацкую и раздражало сильно мой аппетит.

Есть мало — тоже одно из достоинств благородного гостя, поэтому благородные гости часто оставляли весь стол нетронутым, хотя бы у них в желудках скребли голодные кошки. Нужно заметить, что прежде всех перестает есть старший из гостей, а за ним должны перестать и остальные, несмотря на то, если бы даже они оставались голодными. Когда гости переставали работать челюстями, стол убирался услужливыми парнями, которых здесь бы-

---

* Гостю обыкновенно режут всегда барана или быка, что называется *кусæрттаг'ами.* Чем важнее гость, тем ценнее *кусæрттаг.*

вало достаточное количество, с целью поживиться объедками со стола — и, конечно, оставшееся вмиг уничтожалось.

После ужина, сопровождавшегося подобным же омовением рук, я приносил гостям постели: разостлав их, снимал с гостей чувяки и не уходил из кунацкой до тех пор, пока кто-нибудь из гостей не произносил обычную фразу:

— *Цу ныр!* (Ступай теперь!)

И я уходил, и тогда лишь я мог спокойно поужинать. И вот точно в таком воспитании, состоявшем в прислуживании всякому гостю, заключалось домашнее воспитание и занятие всякого порядочного горского мальчика, и кто преуспевал в этом, тот заслуживал особенную лестную репутацию в околотке и получал часто от гостей подарки, вроде газырей, пороху, пули и т. д. Из него воспитывался хороший наездник, так как ежедневно он джигитовал на лошадях приезжавших гостей и водил их с своими сверстниками на водопой.

Но теперь обстоятельства жизни с освобождением крестьян, этих даровых рук, на которые слагались все заботы семьи, переменились,— переменился и характер современного горца. Как посмотришь теперь да сравнишь характер современного горца и горца недавнего прошлого времени, когда еще воевал Шамиль, то подумаешь, что с тех пор, как окончилась война, прошло столетие. Температура горской крови значительно понизилась, его горячая натура сделалась более холодною, расчетливою, смотрящею на жизнь с более положительной точки зрения. Теперь, вместо того, чтобы совершать набеги вооруженными с ног до головы и пугать мирных путешественников, занялись сельским трудом, понимая то, что в противном случае придется им голодать.

Недавно один молодой человек из лучшей фамилии, который прежде жил довольно ограниченно, говорил мне:

— Теперь, брат, времена настали другие; прежде, бывало, нам доставалось все почти даром, и мы могли, не опасаясь голода и холода, разъезжать ради душевной услады, куда нам угодно, или же пошаливать, не опасаясь быть наказану. Тогда наши предки, что называется, жили как у бога за пазухой. Теперь подумать некогда о праздных разъездах, иначе семья помрет с голоду; не для чего носить уже оружие, потому что кровная месть почти уже уничтожилась, теперь работа и работа. Позабыв дедовское презрение к черному труду, я взялся за этот труд. Обзавелся несколькими парами волов и лошадей и доставляю балласт на железную дорогу, имею свой кирпичный завод и благоприобретенный дом, пока вкладываю в банк, а там обзаведусь табуном лошадей и баранами. Построил я себе дом на русский лад, как те-

бе известно, и обзавожусь самыми необходимым вещами домашнего обихода.

И он говорил совершенно верно. У него есть европейский столовый сервиз, есть самовар с довольно приличным прибором, и он пьет чай регулярно, что находит удобным и выгодным.

— Чай мне стоит дешевле, чем, например, резать барана и делать из него бульон; кроме того, чай пить приятнее, и всякого гостя им можно попотчевать. Я так привык теперь к хлопотам, что не могу усидеть ни одного часа и презираю от души человека праздного и бездельного. Но я работаю не для своей собственной пользы, приходится работать и на благо своих земляков, которые, скажу между прочим, относятся к моим начинаниям не особенно благодарно. Нынешнею весною я предвидел, что покосное место соседнего аула, находящееся недалеко отсюда, будет затоплено разлитием Терека. Но общество, которому принадлежало это покосное место, смотрело на такую несчастную возможность совершенно равнодушно. Я предложил аульному обществу условие, чтобы они привезли хворосту к этому месту, а труд отделки плотины я брал на себя. Аульные старшины уверяли меня, что покосное место не затопится и поэтому считали лишним распоряжаться о привозке материала для плотины. Но аульные старшины жестоко ошиблись, потому что прошлый месяц Терек разлился и затопил все покосное место. Слух о моем предложении аульному обществу дошел тогда до начальника округа, и этот меня благодарил. Я к тому тебе говорю все это, что если будешь делать что-нибудь нашим для их же личной пользы, то со свойственною им подозрительностью они в этом усмотрят заднюю цель. В данном случае весь аул предполагал, что в этом предложении я ищу собственной выгоды, а потому он не согласился и за то поплатился.

Говоривший эти слова принадлежал к современному типу нашей зарождающейся молодежи, и хотя он не заключает в себе всех типичных черт, которыми будет, вероятно, отличаться вся наша молодежь в близком будущем, но тем не менее, в нем есть зачатки характера, выработанные обстоятельствами современной жизни. Вследствие этого я остановлюсь на его характеристике несколько больше.

Упоминаемому молодому человеку 26 лет. Вопреки традициям своей знаменитой фамилии, этот молодой человек имеет сильное предубеждение к джигитовству, к бесцельным разъездам и даже к ношению кинжала. Чувство предубеждения он выражал мне неоднократно, «как понимающему человеку».

«— Пора, пора оставить дурачиться и разъезжать по аулам

бесцельно; пора приняться за работу, забыв, что черная работа стыдна *алдару* или *узденю**.

Если я еще ношу при себе кинжал,— говорил он,— то единственно с целью не обижать своих родственников, а не уважай я их репутацию, я не только скинул бы с себя это лишнее украшение, потерявшее свое значение, но даже снял бы с себя черкеску и надел бы русское платье, которое нахожу теперь гораздо более удобным. Посмотришь теперь на своих знакомых — так злость берет. Завидуют мне, что я обставился совершенно иначе, чем они, между тем как они физически столь же состоятельны, а может быть, даже больше, чем я. А что у меня еще недавно было? Я был почти бедняком среди своих односельцев, но когда строили железную дорогу, мне вздумалось доставлять туда песок, камень, хворост для постройки плотин на Тереке, для чего на первых порах сделал долги, купил несколько ароб с лошадьми, снял подряд; таким образом мало-помалу у меня открылся свой кирпичный завод, и я приготовлял кирпич для станций. Так я кое-что зарабатывал, и деньги заработанные не проматывал в городе, а относил в банк. А мои односельцы в то время, когда я возился с песком, с хворостом да с кирпичами, посиживали себе в нихасе** и, занимаясь строганием палочек своими кинжальными ножами, говорили:

— *Араби****, что бы это значило, что Хасан разбогател, что у него и русский дом теперь, когда он так недавно жил в такой же грешной сакле, как и мы, а теперь поглядите! — И при этом щепки летели от палочек, которые они обыкновенно строгают.

— И то сказать: удивительное дело, право, как это мы тоже ни работаем весь день не хуже него, а между тем не отзывается наш заработок на нашем благосостоянии,— говорил другой завсегдатай холма, покуривая папироску, скрученную из писчей бумаги.

— Да, да! — подтверждали другие голоса лениво. И так они болтают и болтают до сих пор, удивляясь, как это они, работая, не богатеют.

— Да чем же они живут? — спросил я его однажды.

— Да разве их собачью жизнь можно назвать жизнью? Они

---

* *Алдары* и *уздени* — высшее сословие в осетинском народе. Эти сословия в последнее время потеряли свое могущественное значение, которое имели еще в недавнем прошлом среди своих земляков, *фæрсаглæг'ов* и *кæвдæсард'ов* (холопов).

** Место, где собираются аульные мужчины для обсуждения каких-нибудь вопросов.

*** Араби — говорится в знак удивления, в смысле: «О боже!»

ею вполне довольны и, кажется, другой жизни не особенно-таки желают, а вот небось на воровство еще руки чешутся.

— А разве еще занимаются воровством?

— Сосед ворует у соседа корову и даже курицу. Нигде так не распространено воровство, как в нашем ауле,— говорил он.— В продолжение прошлого месяца было украдено 18 лошадей в одном нашем ауле.

— И почему это случается в нашем ауле, а не в другом?

— А это потому,— объяснял он мне с накопившейся желчью,— что мы люди негодные и неспособные к общественной жизни, будучи не в состоянии жить единодушно, в согласии. Вот, например, общество нашего аула, не исключая даже самих старшин, знает очень хорошо этих воров и конокрадов, но боится прямо на них указать; для него же хуже, если оно не докажет воровства, что, конечно, очень возможно, так как на месте преступления вора не словили, но предположения верны. Если я один укажу на одного из конокрадов и не подтвержу свое показание осязательным фактом, то вор вечером придет и украдет у меня же в отместку моего коня или корову. Кому же это желательно? Во избежание подобных случаев каждый из нас молчит, а воры продолжают свое ремесло безнаказанно; так, аульное начальство еще не озаботилось обязать всех жителей нести поочередно сторожевую службу. И воры эти столь нахальны, что не краснеют перед теми, которых только вчера обокрали. Так нам и надо за наше равнодушное отношение к безопасности собственного добра,— закончил он злобно.— Нахальство воров простирается до изумительных размеров. Недавно у меня почти среди белого дня чуть не украли моих лошадей, но, к счастью моему, я успел настичь воров, и они, подлые, скрылись вот в этом бурьяне и шныряют здесь, как куропатки, так что приходится каждый час опасаться за безопасность своего добра».

Вообще говоря, воровство в последнее время не только не уменьшилось, но, напротив, оно, по словам наших же горцев, разрастается. Где искать причины такого обстоятельства? В том ли, что в доказательство воровства требуют осязательных фактов, чтобы вор был пойман на месте преступления, не принимая во внимание одних свидетельских показаний, хотя бы они были подтверждены присягой? Вор, зная это, мало опасается того, что его поймают на месте преступления, и больше вероятия, что он останется безнаказанным.

Но в скором будущем должно искорениться и это зло. Склонность к воровству есть еще остаток недавнего прошлого времени, и эта склонность сама собою должна уничтожиться. Против могущественного напора цивилизации не устоят никакие традиции

старины. И слава богу, что цивилизация забросила к нам луч свой; наконец, мы видим и железную дорогу: свист локомотива оглушает нас, мирных граждан, и напоминает нам ежедневно, что и мы присоединились к семье цивилизованной Европы.

Горцы сами содействовали построению этой дороги, которая должна в близком будущем изменить все наше прошлое. И там, где скакал лишь горец вольный на своем шаулохском скакуне*, обвешанный с ног до головы своими воинскими доспехами, теперь раздается свист и пыхтение локомотива, наводя суеверный страх на изумленных горцев. И проходит этот локомотив мимо аулов, не боясь ни «косматых дьяволов», ни абреков заклятых.

И если бы бывшие обладатели тех человеческих костей, костей джигитов, разбросанных местами по полотну дороги, воскресли волею Аллаха и взглянули бы на «изобретение шайтана» и на житье современной горской молодежи и узнали бы, что они предпочли джигитовке и молодецким разъездам работу и мир с гяурами,— они пожелали бы снова умереть, чтобы не смотреть на сей свет...

ИЗ ОСЕТИНСКОЙ ЖИЗНИ

(Отрывок из повести)

У осетина Гиссо Губиева двое сыновей: Дзамболат и Бимболат. Престарелая мать их, Дайон, уже тяготится одна домашними работами без помощницы. Сам Гиссо видит это очень хорошо и зачастую напоминает старшему сыну своему, Дзамболату, что ему пора жениться. Сын стесняется открыто выразить отцу свое согласие на женитьбу, и потому на увещание его он или краснеет, или же коротко отвечает: делай, как угодно тебе. Отец, понимая очень хорошо, что сын ни в каком случае не обнаружит своего неудовольствия против отцовского желания, порешил однажды с Дайон женить Дзамболата на дочери одного очень состоятельного осетина соседнего аула, Бечира. Но Гиссо также хорошо знает, что Бечир, хотя человек гораздо состоятельнее его, Гиссо, но не выдаст свою дочь без приличного *калыма* (выкупа), что составляет обстоятельство первостепенной важности при выдаче дочери замуж. Гиссо очень хорошо знает, что Бечир смотрит на свою дочь, как на товар, который должен внести в его безбедное

* Завода Шаулоха, славящегося и по настоящее время во всей Кабарде.

хозяйство еще долю прибыли и увеличить этим его материальный достаток, и потому для него выдать дочь без калыма очень нерасчетливо и убыточно. Зная это очень хорошо, Гиссо прежде всего думает, как бы уплатить ему этот калым и выкупить дочь Бечира, которая может облегчить труды Дайон.

Нельзя сказать, чтобы и Гиссо жил бедно. В распоряжении Гиссо, слава богу, две пары волов, три коровы и две лошади, из которых одна упряжная, а другая верховая. На одной лошади и на двух парах быков сыновья часто извозничали из Владикавказа в Тифлис с разными товарами, и за этот-то труд, хотя немного, но привозили с собою денег — два или три *тумана* (туман — 10 р.). Это занятие составляло один из действительных побочных ресурсов, поддерживавших существование его семьи и изредка позволявших ему есть говядину, что не особенно часто выпадает на обед даже богатого и состоятельного осетина.

Гиссо однажды послал доверенное лицо к Бечиру испросить его согласия о выдаче дочери за Дзамболата. Хотя Бечир несколько было поломался и поважничал, говоря, что Губиевы не столь знатного рода, чтобы родниться с Бигуловыми, но наконец согласился с увещаниями посланного выдать дочь свою за Дзамболата. Для уплаты калыма в 200 рублей было назначено время, к которому должны были съехаться *оценщики калыма (ирадлечитæ)* во двор Гиссо Губиева. Этот последний, верный обычаям отцов и праотцов и не желая осрамиться перед народом и особенно перед своими одноаульцами, порешил встретить оценщиков калыма с честью, подобающею хорошему гостеприимному осетину.

В один прекрасный день ко двору Гиссо Губиева подъехало около десяти человек оценщиков калыма; они были почти все с седыми бородами, внушающими священное уважение. Они приехали из аула Бигулова по приглашению Бечира, который приехал тоже с ними. Встретил их Гиссо со своими сыновьями очень радушно, помог им слезть с коней, снял с них доспехи и пригласил в свою кунацкую, которая не могла уместить съехавшихся гостей. К самой оценке гости должны были приступить лишь на следующий день и потому весь этот день пировали в кунацкой в ожидании следующего дня, сулящего головоломную работу.

На это угощение Гиссо убил по денежной оценке не меньше 30 рублей в виде браги, араки, баранов, зарезанных им, печений, варений и т. п.

На следующий день утром оценщики вышли во двор из кунацкой и расселись важно на вынесенных длинных скамьях.

Гиссо вывел перед их очи одну пару из своих волов, вывел пару своих лошадей, вывел корову, вынес на середину двора мед-

ный котел старинного фасона, который, как он уверял, достался ему от праотца и которым он особенно дорожил, вынес и поставил рядом с медным котлом винтовку, которая, как он говорил, тоже досталась ему по наследству от отца и которою последний убил даже одного человека; винтовкою тоже очень дорожил Гиссо и даже больше котла; тут же появилась шашка, пистолет, еще пистолет, еще шашка — разных фасонов; и вся эта арматура, которая составляла часть богатства Гиссо, легла бок о бок с медным котлом перед глазами оценщиков. Эти последние смотрели важно на то, как все это появлялось перед ними, и только изредка слышались мимолетные замечания, вроде: «А жаль отдавать такое наследие отцов, ведь это просто сокровище! И откуда сохранилось у него такое? Если бы прежние времена, все это было бы бесценно, а теперь...» — и повертев сокровище-оружие в руках так и этак, оценщики клали его опять на место.

Наконец, все вынесено, что только предполагалось в уплату калыма. Пара волов, в отдалении привязанных к плетню, как-то тупо и бессмысленно смотрела на происходящую перед ними сцену и никак не предполагала, что она сию минуту перейдет в руки другого хозяина, чтобы вручить своему бывшему другую рабочую силу; пегая лошадка с натертою спиною и коротким общипанным хвостом,— вероятно, для струн и смычков скрипичных — тут же стояла рядом, моргая глазами, а круторогая корова изредка издавала мычанье, как будто призывая свое детище на последнее жалобное прощанье.

Бечир все это осматривал жадно. В эту минуту он лишь думал о наживе, но отнюдь не о своей дочери, которую он продает. Осетин только видит перед собою быков, корову, лошадей и другие вещи, которые должны перейти к нему,— вот и все.

Наконец, приступлено было к самой оценке. Осмотрев со всех сторон волов, после долгих переливаний из пустого в порожнее, после напрасного шума и многословия, что особенно любят осетины, пару волов оценили в семьдесят рублей.

Кстати будет здесь сказать о том, что хотя размер выкупа за девушку определяется деньгами, но уплата выкупной суммы может производиться как движимым, так и недвижимым имуществом, в последнем случае вроде котлов и оружия, причем оценка этих вещей производится по усмотрению избранных лиц на деньги; не мешает заметить, что оценщики очень часто оценивают вещь выше действительной ее ценности; вот почему осетин всегда предпочитает уплачивать как калым, так и *кровную плату,* вещами и скотиной.

И в данном случае, хотя пара волов Гиссо и не стоила семьдесят рублей, однако Бечир не возражал против такой оценки,

потому что решение и оценка старцев неизменны, а это, конечно, с руки самому Гиссо, который зато же угостил их на славу и расположил в свою пользу.

Лошадку оценили в 25 рублей, а корову в 15; медный котел пошел тоже в 15 рублей, винтовка в 10 рублей, две шашки по 10—20 р., два пистолета по 7 р., а за оба 14 р. Итак, все оценено в сумме 170 руб.; что же касается до остальных 30 рублей, недостающих до двухсот, то Бечир, по увещанию старейшин, записал их в собственность своей дочери в *нечех*, поэтому эта сумма осталась неуплаченною, и на эту сумму может предъявлять права собственности его дочь по выходе замуж за сына Гиссо.

На третий день разъехались гости, и Гиссо вздохнул свободно, вспомнив, что он отделался от тяжелого долга — уплаты калыма. Но с другой стороны, воспоминание того, что маленькое хозяйство его сократилось наполовину и что вместе с тем, следовательно, средства к жизни уменьшились настолько же, а между тем в семье появится новый желудок, на душе у него сделалось очень тяжело, тем более, что его хозяйство досталось ему ценою многих трудов и неприятностей.

А тут еще предстоит свадебный пир, который тоже требует немалых расходов, долженствующих сократить еще более уцелевшее от калыма хозяйство. Ведь в самом деле, не встречать же шаферов, которые будут сопровождать его невестку, с сухими руками и не отпустить же их с пустыми желудками; ведь понаедет все народ молодой, веселый, любящий попить, поесть, без чего они расславят Гиссо как скупого, негостеприимного человека. А это у осетин хуже всего, это злейшее наказание—прослыть в народе за человека скупого, негостеприимного; нет, лучше умереть, чем заслужить такую репутацию! И Гиссо думает о том, как бы отпустить будущих гостей-шаферов, как подобает гостеприимному осетину. Нужно наварить и напечь чего-нибудь? А чего, когда в хозяйстве так скудно? И вот над разрешением такого вопроса задумывается Гиссо более, чем задумывался над разрешением вопроса об уплате калыма.

«Нужно наварить пива, араки, браги, нужно зарезать, по крайней мере, трех-четырех баранов, да напечь чуреков, пирогов с сыром, каши тоже, ну...», и Гиссо дальше не стал пересчитывать, потому что размер всего, что нужно наварить и напечь, его напугал. «А откуда достать? — рассуждает он дальше: разве продать свою лошадку или корову, чтобы на вырученные деньги купить нужное?.. Тех денег, что остались у меня из привезенных месяц тому назад Бимболатом из Тифлиса, не достанет на угощение: там всего осталось 10 рублей». И Бимболат лезет в свою кассу—

далеко в сундук — с сокрушенным сердцем, и из глубины его достает две изорванные, засаленные синие ассигнации, завернутые в тряпку, и эти деньги расходует на разные вещи. Так как суммы оказалось мало, то он привел в город свою другую лошадку, за которую ему дали всего 30 рублей, на которые он купил несколько баранов, муки, рису и другие нужные продукты для угощения.

И при всех этих приготовлениях Гиссо не соображался мысленно с возможным количеством будущих шаферов, которых ему придется угощать, ни с тем, сколько эти шафера могут истребить провизии приблизительно, чтобы не наготовить лишнее. Он руководствовался единственно тою мыслью, чтобы как можно больше насытить своих гостей, чтобы всего для них было обильно, и чем обильнее, тем лучше, и нужды нет, если они даже и половину приготовленного не поедят и останется так — это, напротив, будет говорить в пользу его же самого: все отзовутся, что Гиссо хлебосол, щедр и гостеприимен.

Когда понаехали шафера, сопровождавшие из другого аула невесту, да со всех концов аула, как стая воронов на груды тлеющих костей, понабежали мальчишки с целью поживы чем-нибудь, то Гиссо в угощение шаферам расставил в сакле длинные столы, уставив их разными вареньями и печеньями, причем жирные бараны, которых он зарезал в честь этого торжества, были сварены целиком, нечлененными, так называемыми *фахсынами*. Гости расселись за фахсынами по старшинству и принялись их уничтожать, запивая пивом, аракой и бузой, и пошло уничтожение заготовленного Гиссо добра. Но, несмотря на то, что пирушка длилась в продолжение трех дней, гости не могли всего съесть и выпить, хотя и были страшные питухи пива и араки, и вследствие этого баранину раздавали громадными кусками сбежавшимся аульным мальчишкам, которые уничтожали, как саранча, гиссоевское добро. Гиссо же сам наслаждался процессом этого уничтожения и в душе утешал себя мыслью, что гости будут сыты и останутся довольны его приемом.

В свою очередь и Бечир, отправляя свою дочь в саклю Гиссо, понес кое-какие расходы на снаряжение ее и на угощение, на что потребовалась немалая сумма — словом, на все это ушло почти больше половины взятой от Гиссо суммы. При этом нужно помнить, что во время пиршества в день отправки дочери во дворе у него было много народу, который, наевшись, благословлял Бечира. Проезжавшая мимо толпа всадников, возвращавшихся из Владикавказа, тоже была почти силою остановлена и привлечена на пиршество. Ехавшая с пронзительным криком вереница пустых ароб из дальнего путешествия, из *Калакей* (Тифлиса), тоже

была далеко от двора Бечира остановлена посланными от него и хозяева — около 20 — приглашены сюда же. Бечир торжествовал, слыша, как этот пришлый люд, уплетая его добро, превозносил его щедрость и гостеприимство.

Прошло с тех пор два года. В продолжение этого времени Гиссо стал было оправляться от понесенного экономического дефицита благодаря трудолюбию своих двух сыновей. Опять появилось у них две пары волов и три дойных коровы. Гиссо сам уже оставил давно трудовую жизнь, потому что преклонные лета одолели его железную всевыносящую натуру, и он присоединился к толпе тех бездельников и праздных людей, которые целые дни проводят в бессодержательной болтовне. И, невзирая на это, его отсутствие мало отозвалось на благосостоянии потому, что сыновья принялись с удвоенною силою за работу. Косили сено, пахали, возили дрова на продажу во Владикавказ, занимались извозом в Тифлис, по-прежнему по очереди, и вскоре в сундуке Гиссо появились новых два тумана, которые он зарыл опять в самую глубину старого сундука, завернув их в дрянную тряпочку.

Гиссо думал, что его сакля сделалась что называется *фæрныг хæдзар,* т. е. сакля, любезная фортуне.

Но счастье не вечно и очень часто скоропреходяще, особенно если судьба по своему капризу задумает разрушить это счастье. А тем более, если судьба направила свое капризное оружие против мирного осетина. Счастье осетина так непрочно, что малейшая неудача и превратность судьбы в миг превратят его в нищего...

Так почти случилось и с Гиссо после двухлетнего промежутка от описанных выше обстоятельств.

Однажды Бимболат, возвратясь под дождем из лесу, куда он ездил за дровами, слег в постель, жалуясь на озноб. На следующий день после этого происшествия он стал бредить, призывая свою мать Дайон. Эта последняя металась к соседям, не зная, чем и как помочь больному. Соседи относились к ее горю кто с поддельным, а кто с истинным соболезнованием и качали головами, но помочь никто не мог; наконец, мать поехала к известной *знахарке Галазон,* которую знали во всем околотке как опытную и сведущую для подания советов в подобных случаях. Галазон выслушала Дайон внимательно и, вздохнув глубоко, сказала, как бы соболезнуя ей:

— Да, да, видно, заболел твой сын неспроста... Нужно повременить до завтра, чтобы сказать настоящую *причину* (аххос) болезни; обыкновенно ночью ко мне прилетают разные *дзуары* (святые духи), и я с ними беседую, о чем понадобится, но в это время у меня под подушкой должно быть несколько денег от то-

го, за кого я хлопочу, и чем больше будет денег, причина выяснится *дзуарами* яснее!

Выслушала бедная мать в свою очередь слова опытной знахарки и стала развязывать узел на одном конце своего платка. Оттуда она вынула бережно завернутые два рубля и подала их знахарке, говоря:

— Больше не в состоянии... Но да смилуются святые над моим сыном.— И слезы катились по изможденному, худому, бледному, покрытому морщинами лицу и омочили ей руки; она их утирала тем же концом платка, где были завязаны два рубля, вырученные ею самой от продажи куска сукна аульному лавочнику.

— Не плачь,— утешала ее знахарка,— может быть, дело еще поправимое... Завтра утром заходи-ка, и я тебе скажу, что надо.

И вышла бедная мать от знахарки к знакомой женщине, у которой она остановилась переночевать.

И вот она приходит опять утром к знахарке.

— Узнала, родимая, узнала причину болезни твоего сына! Узнала, что причина — гнев одного *дзуара* (святого),— и тут она назвала какого-то святого.— Этим *дзуаром* сын твой когда-то поклялся, что по пятницам не будет никому ничего давать, и, вопреки этой клятве, он дал недавно кому-то что-то... Ты вспомни это, так ведь... вспомни... подумай...

Думает мать.

— Да, точно это было; кажется, что он дал на прошлой пятнице седло одному соседу... да...

И лицо матери словно проясняется.

— Так вот видишь ли!.. Значит, было... Теперь нужно умилостивить святого, для чего нужно принесть непременно в жертву ему двухгодовалого бычка с белым пятном на лбу и белою заднею правою ногою...

Отправляется мать домой и сообщает мужу.

— Ну откуда нам достать такого бычка: ведь у нас такого нет,— думает про себя Гиссо.— Вот разве у Симайли выменять за своего одного вола, да он, пожалуй, не даст: очень уж скуп стал. Ох, времена, времена! Не то, что было прежде,— и Гиссо качает головой.— Пойду-ка лучше к Бечиру, может, он даст своего бычка, у него тоже, кажется, такой именно есть.

И идет Гиссо к Бечиру, ведя за собою одного вола, чтобы променять на Бечирова бычка. Бечир уступает после долгих упрашиваний, и Гиссо пригоняет домой бычка. Торжественно режут его среди двора в жертву мнимому святому.

Сварили мясо, напекли три пирога и множество чуреков, достали араку и, помолившись виновнику болезни Бимболата, просят его смиловаться над бедною семьею и не отнимать сына у

Гиссо. Приглашенные и неприглашенные односельцы съели все и затем разошлись.

А больному ничуть не лучше... Спустя три дня после этого жертвоприношения больной лежал в беспамятстве.

Была еще одна надежда.

Давно поговаривали о мулле соседнего аула Джерихане, что он силою разных талисманов, выписанных из Корана, излечивает всякие недуги весьма успешно.

Как утопающий хватается за соломинку, так точно и Гиссо схватился за мысль отправиться к этому мулле. И вот, взяв с собою три рубля денег из своей заветной кассы, отец отправляется к Джерихану пешком.

Джерихан дал ему какую-то бумажку, исписанную священными буквами, говоря:

— Вот тебе талисман (чиныг); возьми его и когда придешь, обмокни его в чашке с водою три раза и дай напиться этой воды больному, и болезнь как рукой снимет.

И Гиссо верит наивно мулле, верит в могущественное влияние священных слов Корана и говорит сам себе дорогою: «Вот ведь давно бы так!.. Отчего бы раньше не подумать об этом, а то вон Галазон понаговорила, что нужно резать бычка, и ничего не вышло... То ли дело слова Корана! А чудное творение этот Коран... Вот если бы Бимболат вылечился, было бы хорошо,— заключает он ряд своих мыслей, подходя к знакомым своим воротам.

Сына уже застает почти при смерти. У изголовья рыдает мать, а Дзамболат, опершись на косяк дверей сакли, тихо льет слезы.

Гиссо вынимает заветный талисман, набирает в чашку воды и опускает талисман в эту воду троекратно, после чего чашку подносит к губам больного. Но так как этот уже лежит без памяти, то воду по каплям вливают в рот ему.

И что же после?

И талисман не спас Бимболата: больного на следующий же день не стало.

Зарыдала мать на весь аул, царапая себе лицо и вырывая волосы, ломая руки и восклицая: «Что я буду делать теперь!..»

Посмотрел Гиссо на мертвеца как-то бессмысленно, будто не веря в совершившийся факт, но потом вдруг опомнился, и из старческой груди его вырвалось долгое, глухое рыдание, и слезы полились струями по лицу и седой бороде, а оттуда на холодный земляной пол сакли.

А Бимболат лежал на койке недвижимый, холодный, глухой к родительским стенаньям и с таким выраженьем на мертвом лице, будто посылал проклятья всему миру за то, что он сделался

жертвою грубого невежества, за то, что его не могли спасти от горячки и дали ему погибнуть так преждевременно.

А соболезнователи утешали родителей, уверяя их, что так было угодно богу и нельзя было спасти Бимболата.

И так будут объяснять наши горцы смерть от всякой пустячной болезни, и, к сожалению, еще очень и очень не скоро переведутся невежественные знахари и знахарки, пока не поможет в том наука и сведущие люди.

Снарядили *вестника,* который обскакал всех знакомых и родственников Губиевых, извещая о кончине сына Гиссо — Бимболата. Стали съезжаться со всех концов мужчины и женщины. Эти-то женщины остались у Гиссо дня два, и надо было их угощать.

Схоронили бедного Бимболата, и еще одна могила присоединилась к многочисленным аульным могилам, где в большинстве случаев погребены тела таких же жертв невежества, как и Бимболат...

Мулла, присутствовавший при похоронах Бимболата, получил 20 рублей.

Приуныла сакля Гиссо.

А лето между тем на исходе, и осень на дворе, значит, наступает пора поминок. Нужно подумать бедному Гиссо прежде всего о *больших осенних поминках* по умершем Бимболате.

На эти поминки по крайней мере нужно зарезать одного вола, несколько баранов, да наварить пива, араки, бузы, все это будет стоить немаловажных для бедного Гиссо расходов — около 100 рублей, если не больше. А откуда их достанешь?.. Ведь не выкопаешь же их из земли, как картофель, а бог не посылает их с неба вместе с дождем, следовательно, нужно добывать их во что бы то ни стало для поминок, чтобы не накликать упущением поминки срамоту по всей Осетии. И продает Гиссо свою коровенку и пару волов и на вырученные деньги — вместе с помощью добрых людей — справляет *большие осенние поминки,* на которые сходится весь аул и, наевшись, расходится по домам. А там и *малые* поминки следуют за *большими,* потом *субботние вечера,*— на все это требуются расходы, на которые не хватит и всего хозяйства Гиссо.

И обеднял Гиссо.

А отчего? Подумаешь...

ꕥ ꕥ ꕥ

ОТ АЛЕКСАНДРОПОЛЯ ДО ЭРЗЕРУМА

(Путевые наброски)

2 мая нынешнего года я выступил в командировку из Александрополя в Эрзерум с не совсем приятными чувствами.

— Погибнешь, дружок,— участливо говорили мне мои приятели в Александрополе,— ведь там* свирепствует страшный тиф, который, говорят, перешел теперь в чуму...

Тиф! Чума!

Таково было всеобщее мнение в нашем обществе довольно долго.

Общество наше сильно жаждало известий из Засаганлугского отряда, а их-то и не было за отсутствием специальных корреспондентов, которые и были сперва, но потом, убоявшись заразы от тифа, скрылись очень благородно в другие отряды или же вовсе отправились восвояси — «подалее от греха». Офицерству же многострадального Засанганлугского отряда, терпевшему невзгоды от войны и тифа, некогда было заниматься корреспонденциями для газет: оно едва-едва успевало отвечать на те тревожные письма, которые получались с родины, от людей, близких их сердцу, чтобы уверить их, что они еще живы, что гроза тифа не так опасна и что чумы вовсе в отряде не существует.

Общество наше все ж-таки находилось в самом тревожном неведении до тех пор, пока поправившиеся от тифа не стали приезжать на родину и разуверять в убеждении о чуме и тифе.

Не верить таким слухам я не мог — так они твердо поддерживались.

И неужели, размышлял я, избавившись от пуль Винчестера, Пибоди, Снайдера, от картечных гранат, я должен буду сделаться жертвою тифа и даже чумы, как говорят? Сделаться так бесславно жертвою тифа?! Вследствие таких размышлений доля раскаяния закралась в мою душу: умер бы лучше в бою с турками, чем умирать от тифа,— говорил я себе.

А тут еще словно демон-искуситель, шептал мне сердобольный приятель на ухо: «Подай рапорт о болезни!»

На это отвечал мой внутренний голос: лучше смерть, чем сыграть такое постыдное отступление.

К тому же тянуло меня непреодолимое желание посмотреть новопокоренный край, а в особенности хотелось мне посмотреть на своих земляков-горцев, переселившихся в Турцию. Сильно желание проверить: действительно ли горцы нашли в Турции ту обе-

---

* Нужно подразумевать Эрзерум и весь Засаганлугский отряд.

тованную страну, которую в ней искали? Действительно ли они пользуются теперь теми удобствами жизни, которых они ждали от Турции?

И вот я переправился через речку или реку, за которою сулили мне неизбежную смерть, но за которую меня тянули, с одной стороны, долг службы, а с другой — непреодолимое любопытство.

Восемнадцать лет тому назад я в качестве обратного переселенца переправлялся с турецкого берега через Арпачай в первый раз. Восемнадцать лет!

Тогда мне было только девять лет. Я отдыхал на берегу Арпачая, и воспоминания о прошлом переселении в Турцию теперь прошли передо мной очень смутно.

Вон там пасутся быки и коровы на зеленой мураве. Там, помню смутно, были наши землянки, построенные во время зимней стоянки нашей на обратном пути. То было холодное зимнее время 1860 года.

В этом и в последующих трех годах кавказские горцы особенно горячо принялись переселяться в Турцию.

Недовольные нововведениями после покорения Восточного Кавказа, горцы хотели избавиться от них. С наивным доверием они слушали рассказы о том, как их детей скоро будут забирать в солдаты и как их будут крестить силою. Солдатчина, измена религии — самые больные места у горцев-мусульман.

Особенно усердно стала переселяться Кабарда — усердие это проникло и в Осетию. Явились фанатики-агитаторы, которые подняли за собою тысячи семейств и потянули их в сторону, которую они знали так же, как Китай.

Начиная с 1860 года, переселение горцев все более и более увеличивается до 1863 года, потом, в последующее время, сильно падает. Между 1860 и 1861 годом из Кабарды в Турцию переселилось около 1/8 всего населения — 881 семейство. Большая часть из этого числа поселилась в Европейской и лишь незначительная — в Азиатской Турции.

Эмиграция мусульманской части Осетии в Турцию совпадает с периодом переселения кабардинцев. Осетины поселились исключительно в Малой Азии и преимущественно в Карсской области и прилежащих близко к Кагызману местностях. Лишь незначительная часть поселилась в Сивазском вилайете с Мусой Кундуховым.

Теперь, с окончанием этой войны, почти все осетины, вместе с ними и часть черкесов, подпали снова под владычество России.

В силу весьма важных обстоятельств переселение горцев прекращается с 1867 года. В этом году случились два весьма важных события для горцев: освобождение их рабов и отказ турец-

кого правительства принимать на свою территорию горцев-эмигрантов.

Первое обстоятельство послужило к тому, что высшее сословие мусульман-горцев, больше подверженное переселению, лишилось с освобождением «рабов» даровых рабочих рук. Нужно было теперь заботиться не о переселении в Стамбул, сопряженном с неизбежными расходами, а о том, чтобы сберечь нажитое и не так безрассудно расходовать добытое трудами «рабов». С другой стороны, турецкое правительство, стесненное большим приливом эмигрантов, было поставлено в весьма затруднительное положение относительно расселения горцев и подачи им первоначальной помощи, вследствие чего и отказывалось принимать их.

Однако горцы-скептики, желавшие эмигрировать, не верили такому отказу единоверной Турции, и потому послана была в 1866 году депутация, состоявшая из избранных лиц,— удостовериться на месте.

Депутация вернулась и подтвердила справедливость отказа. Разочарованию Турцией положено было начало. А тут еще обратные переселенцы, которые поехали туда богачами и вернулись чуть не нищими, подтверждали, что в Турцию не стоит переселяться, что там далеко не так хорошо, как воображают. В то же время наше правительство отказало принимать обратных переселенцев из Турции. Таким образом прекращено было вредное для горцев шатанье в Турцию и обратно.

Но вперед, в дорогу! Мы еще успеем увидеться с горцами-переселенцами при более благоприятных условиях, узнаем с вами, читатель, их экономический и социальный быт, их политические убеждения.

А вот и Мала-Муса! Это небольшое армянское селение, в котором часть населения оставила свои жилища и скрылась куда-то.

Дорога от Александрополя сюда гладкая на протяжении 8—9 верст. За этим селением следует Кизил-Чачках — тоже армянское селение при небольшой речке. Селение это гораздо населеннее Мала-Мусы, и в нем не замечается покинутых жилищ. На полдороге отсюда к селению Полдерван, близ Караяла, я заметил разоренное селение. В мае прошлого 1877 года я был в командировке в Кюрюкдаринский лагерь, и тогда еще здесь жили осетины-переселенцы; теперь оно совершенно покинуто и разорено. Жители бежали к Эрзеруму.

Начиная от Арпачая до Карса и далее до Саракамыша, т. е. до подошвы Саганлугского хребта, местность более холмистая, чем гористая. Особенно трудных подъемов и спусков не замечается на этом протяжении. Только отсутствие шоссированной дороги сильно затрудняет передвижение тяжестей и даже простую

экипажную езду, особенно во время дождей, вследствие черноземной почвы.

Все пространство от Александрополя до Карса заселено по дороге армянами. Селения их ничем особенно не отличаются от тех, которые видите и у наших армян: та же беспорядочная планировка улиц, с характерной грязью, те же земляные постройки, буйволятники. По этим деревням имеют ночлежные пункты движущиеся мелкие части, а в Полдерване было госпитальное отделение и телеграфная станция.

Так как почти все время кампании нашим офицерам и солдатам приходилось очень часто квартировать в подземных постройках, то небезынтересно будет охарактеризовать здесь общими чертами, что приходилось испытывать в них квартирантам.

Прежде всего вы входите с улицы в маленькое низенькое отверстие — и вы очутились во тьме кромешной.

С первого раза, от непривычки, вы не можете различить предметы, окружающие вас, и, желая рассмотреть их, усиленно моргаете глазами. Но вот вы начинаете различать столбы, подпирающие земляную крышу подземелья, а вон там отверстие, откуда видно самое слабое освещение,— это отделение, где живет семья хозяина и сам он. Какие-то люди движутся в этом отделении. Женщина с полузакрытым лицом выглянула и моментально опять скрылась, увидя вас. Несколько полуголых ребятишек проделывают то же самое.

Наконец является хозяин и приглашает вас, сняв свою остроконечную баранью шапку:

— Бурда, джан, бурда! (Сюда, сюда!) — Или скажет: «Здесь садись». Он указывает на темную дверь, которой вы прежде и не заметили. Армянин идет впереди, вы за ним, ощупью.

«Как бы на что-нибудь не наткнуться»,— думаете вы и осторожно следуете за вашим чичероне. Но ваша осторожность напрасна: вы наткнулись на что-то мягкое и чуть не полетели. Это мягкое задвигалось, зашевелилось и, пыхтя, словно паровик, поднялось грузно. Вы отступаете в невольном страхе.

— Буйла, буйла, джан! — успокаивает вас армянин.

— Куда пошел? — подделываетесь вы под тон армянина, чтобы он вас понял: ничего не видать.

— Бурда, якши сарай ест,— отвечает провожатый. Вы успокаиваетесь и идете ощупью.

— О-ох! Черт бы тебя побрал с твоим сараем! — кричите вы, вдруг хватаясь за голову.

Вы наткнулись на столб, и мушки забегали в глазах.

— Давай свечку! — кричите вы в злости.

Армянин сперва не догадывается, в чем дело, но вы ему объясняете, и он, наконец, догадывается.

— Чирах! Чирах (Свеча! Свеча!) — и он уходит за свечой.

В ожидании ее вы стоите в потемках на одном месте и не решаетесь сделать шагу вперед, чтобы не наткнуться на новую беду. Прислушиваетесь в таком положении: где-то жует лошадь, там буйвол сопит; откуда-то, словно из-под земли, доносится уличный шум аула. Дышится весьма тяжело: воздуху не хватает, и тот воздух, которым вы дышите, весь пропитан навозными испарениями до такой степени, что на нем, как говорится, вешай хоть топор.

Блеснул, наконец, в стороне огонек, и армянин появляется с своим чирахом. Он идет впереди — вы за ним. Двигаясь по лабиринту темных, мрачных ходов, думаешь, что попал в катакомбы.

— Бурда ухлай! — указывает куда-то в темноту армянин. Всматриваетесь пристальнее, и вы различаете прежде всего, что вы попали в общество буйволов, коров и лошадей, лежащих, стоящих, жующих и звенящих цепями.

К помещению этого приятного общества прилегает отделение в 3—4 квадратных аршина, отделенное небольшим барьером вышиною в 1/2—3/4 аршина. В этом отделении есть камин и нары, на которых вы можете располагаться на ночлег.

Армянин ставит «чирах» в отверстие, сделанное над камином, и ждет чего-то.

Вы расположились с грехом пополам на нарах и от скуки завязываете с армянином разговор по-русски*, если вы не знаете местных языков...

— Осман — яман, урус — якши,— начинает хозяин-армянин свою жалобу.—Осман быка дащил—ахча не давай, лошадка дащил — ахча не давай, всо амузом дащил — денга нет. Урус хороший ест: курица дащил—денга давай. Осман да христян да одна бог ест, одна Абраам ест, Адам ест, Хавва (Евва) ест — христян не лубит...

После такой жалобной тирады вы проникаетесь невольно чувством полного сострадания к человеку, которого так сильно обижает Осман, и даете за гостеприимство или за услуги больше стоимости.

— Мая бедний,— опять ноет хозяин,— денга нет. Осман взял, урус ахча коп (много).

Вы делаете еще один плюс к сумме, которую вытянул у вас гостеприимец.

* Армяне между Карсом и Александрополем объясняются очень часто кое-как по-русски.

А вот несколько сцен из недавно минувшего военного времени.

Приезжает наш фуражир в армянское селение. Требует старшину.

— Сено есть в ауле? — спрашивает фуражир.

— Ти знайшь, джан,— отвечает старшина мягким голосом, сняв шапку, склонив голову набок и изобразив из себя угнетенного и вполне изобиженного человека.

— Ну, а овес есть? — допрашивает фуражир, полагая, что фраза «Ти знайшь» означает «нету».

— Ти знайшь...

— А саман, черт побери, есть?

— Ти знайшь, паша...

— Что: «ти знайшь! ти знайшь!» Что же я знаю? Я спрашиваю у тебя! Ну, а солома найдется?

— Ти знайшь, паша...

Фуражир бесится. Приходится прибегнуть к реквизации. Ведь не издыхать же лошадям, которые скоро придут голодные с походу, размышляет он.

— Эй, ребята,— обращается он к своей команде,— сию минуту отыскать в ауле фураж!..

Через некоторое время является солдатик.

— Нашли, ваше благородие, и сено, и ячмень, прикажете отмеривать?

— Отмеривай!..

И хозяева получают за отмеренное по справочным ценам.

Этот же фуражир приезжает в турецкое селение. Является юзбаш.

— Сено есть?

— Йохдур (нет), — качает отрицательно головой.

— Саман?

Турок отрицательно цокает языком и качает головой*.

— Где можно достать?

Турок называет ближайшие селения, где можно достать и сена, и саману.

— Ячмень есть?

— Вар, вар! (Есть, есть!) — говорит турок. По разыскании саману и сена в ауле действительно не оказывается.

Первая моя ночевка была в ауле Полдерване, тоже населенном армянами.

Здесь я случайно познакомился с одним доктором ассениза-

---

* Подобного рода вопросы старшины придорожных селений, где были наши солдатики, понимают довольно хорошо, без переводчиков. Постоянная практика научила их понимать слова: сено, саман, овес, ячмень.

ционного отряда, на долю которого выпала очистка от трупов боевых мест на Аладжа-Даге, Кизил-Тапе, на Ягнах и др. памятных в истории нынешней войны местах. В холодное зимнее время трупы павших от болезней и ран не могли быть зарываемы достаточно глубоко, а очень многие даже вовсе не были зарыты в землю, а были прикрыты снегом. Теперь же, когда настала весна и снег стаял, трупы обнаружились, стали сильно разлагаться и заражать окрестный воздух на значительное пространство. Казаки из сотни, стоявшей здесь, жаловались, что, когда подует ветер с Аладжа-Дага, то невозможно почти дышать воздухом за три версты от Полдервана.

Способ уничтожения трупов на Аладжа-Даге состоял преимущественно в сжигании их после обливки смолой, а частью в зарытии в землю. Доктор мне назвал довольно крупную сумму, выданную ему на это дело, и вместе с тем жаловался на трудность работ, с одной стороны потому, что трупов много, а с другой — вонь делает работу мучительной, почти невыносимой.

На следующий день нужно было пройти в Карс.

Карс! Смутное представление об этом памятном мне городе снова воскресло. Тогда Карс мне казался громадным и чудным городом. Интересно теперь взглянуть на него с новыми впечатлениями.

Вдали, сквозь дымную мглу, выделились дома Карса серою массою. Выше над городом вырисовывается мрачный Кара-Даг, самый сильный форт Карса. По мнению специалистов, по овладении неприятелем этим фортом, Карс положительно не может держаться. Известно также из минувшей войны, что форты Кара-Даг и Араб («Арабка», как его прозвали наши офицеры осадной артиллерии) были самыми опасными соперниками нашей артиллерии. Меткость и дальность стрельбы, по рассказам участвовавших в осадной артиллерии офицеров, были замечательны, но результаты разрушения от снарядов были самые ничтожные, так как снаряды разрывались, как известно, вверх конусом, не разбрасывая пуль и осколков по сторонам. Такое свойство турецких снарядов много избавляло наших от возможных при других условиях чувствительных потерь.

Со слов горцев-переселенцев я узнал, что в первое время осады Карса с фортов Кара-Дага (Черной горы) и Араба стреляли английские офицеры, которые были здесь инструкторами. О результате первоначальной стрельбы турецких орудий с поименованных фортов известно, что отсюда стрельба была великолепная. С другой стороны, не менее похвальный отзыв пришлось мне слышать от тех же горцев о первоначальной стрельбе нашей осадной артиллерии, испортившей немало орудий и лафетов.

На 950 футов над уровнем воды возвышается скала, увенчанная городской цитаделью, напоминающей очень средневековые замки. У подножья этой горы, с восточной стороны, приютился город, разделенный на две половины р. Карс-чаем, пробившей скалу, на которой стоит цитадель. Городского вала вокруг Карса нет, как и в Эрзеруме. Я видел только траншею, построенную с северо-восточной стороны города. Древняя городская стена развалилась и уже не может служить защитою.

Прежде чем въехать в город, вы увидите кладбища, плотно прилегающие к городским строениям. Это характерная черта Эрзерума, Гасан-Кала и Карса.

Исторический Карс представляет собою скорее большой аул, чем город. Особенно северо-восточная часть города, приютившаяся у подошвы скалы, увенчанной цитаделью, весьма напоминает горный аул, расположенный амфитеатром. Отсутствие правильной планировки домов увеличивает это сходство. Во всем городе не видно деревца, вследствие чего он представляет собою серую массу домов, скорее походящих издали на развалины. Лишь стройные минареты, высоко подымающиеся над этою серою массою, украшают несколько город и разнообразят его внешний вид. Что сказать о кривых, узеньких и грязных улицах города?

Должно полагать, что до прихода сюда наших войск по улицам нельзя было проходить без гримасы от вони. Да и теперь встречаются такие места, проходя по которым затыкаешь свой нос. Часто проходишь по таким улицам, в которых ретирады отделяются от тротуара лишь дощатой стеночкой, да и то неплотно пристроенной. Мне пришлось и здесь познакомиться с одним из чиновников ассенизационного отряда, который жаловался на затруднительность дела по ассенизации города. И это совершенно верно: ассенизационным отрядам во вновь покоренных городах Малой Азии вообще выпала самая трудная работа. И если бы в этих городах не собаки, живущие сотнями и тысячами, уничтожающие падаль и другие заражающие воздух вещества, населению пришлось бы весьма плохо.

Карс-чай тоже поглощает в себя немало всякой дряни. Ну, а где нет в городах сточной воды, как, например, в Эрзеруме, куда девать падаль и выбрасываемые внутренности животных? Там увеличивается количество собак. Вот почему в Эрзеруме их особенно громадное количество. Но об Эрзеруме еще речь впереди.

Таким образом, совершенно побочные обстоятельства являются в азиатских городах ассенизаторами.

Общественных мест для гуляния в Карсе не имеется. Да турки и не любят этого удовольствия.

Они и теперь смотрят с улыбкой недоумения на то, как эле-

мент покорителей разгуливает без всякой видимой цели от одного конца моста до другого. Единственное место вечернего гуляния в Карсе — у ротонды Пьера. Сколько раз упоминалось об этом Пьере в разных корреспонденциях, как о человеке веселом, балагуре, никогда не унывающем и вместе с тем знающем, где раки зимуют, в кармане ли наших офицеров или где-нибудь на дне Карс-чая. Он же построил ротонду на берегу Карс-чая, недалеко от моста, и открыл довольно порядочный, конечно, относительно, буфет. Небольшая площадка перед ротондой обделана довольно хорошо цветочными грядками. Дело ли это рук «известного» Пьера или чьих-либо других — право, не знаю.

Но самое оживленное гулянье — это здесь и на мосту. Оживление особенно замечается по вечерам. Тут вы увидите полную смесь одежд и лиц, племен и состояний. Странно смотреть, как белые чадры проходят по мосту, боязливо, словно крадучись, смотря злобно из маленьких отверстий для глаз на наших «барынь», проходящих с открытыми лицами рядом с ними.

В Карсе я пробыл весьма недолго, да и некогда было заниматься мне в нем наблюдениями. Я спешил вперед.

Небо заволакивалось дождевыми тучами, когда я выехал за город. Скоро закапал дождь. Это обстоятельство нагнало на меня самые неутешительные думы, тем более, что я не мог отделиться от своей команды и ехал с нею верхом шагом. Бурка и башлык не спасли меня: я промок до последней нитки. Лошади еле ступали по липкой черноземной грязи дороги. Таким образом я шел к Бегли-Ахмету довольно долго, хотя с нетерпением ждал достигнуть этого пункта.

Бегли-Ахмет — небольшое армянское селение, расположенное в долине, окаймленной довольно далеко с востока небольшими горами. У Бегли-Ахмета, как известно, происходило первое серьезное и чуть ли не последнее кавалерийское дело с горцами-переселенцами под предводительством Мусы-паши Кундухова. Рассказывают, что Муса-паша рассчитывал на оплошность наших сторожевых цепей. Но, к его несчастью, он сделался сам жертвой своей же оплошности. На бивуаке при Бегли-Ахмете он не озаботился достаточно о своей сторожевой цепи и никак не предполагал о движении наших казаков и нижегородцев на его лагерь. Внезапное появление нашей кавалерии (особенно отличился 4 эскадрон Нижегородского драгунского полка под командою Инала Кусова — осетина) произвело сильный переполох в лагере Мусы Кундухова. Горцы, застигнутые врасплох, метались как угорелые, не зная, что делать, и подняли бесцельную трескотню из своих магазинок. Мне сознавались сами горцы, что нападение драгун было для них таким сюрпризом, что они не знали, в кого

стреляли,— в своих или в неприятеля. Ночь была темная, не позволяла различать людей, и только крики «ура» давали знать о местонахождении русских; туда-то горцы бросались нестройною толпою с гиком в *газават**.

Известно, что Кундухов потерпел здесь сильное поражение. Сам он едва спасся и бежал с остатками своей кавалерии к Эрзеруму, оставив довольно много трупов. Поражение это сильно подействовало на маститого генерала. Он впал, по рассказам горцев, в сильную хандру, и тогда же закралась в его душу доля недоверия к турецкому правительству.

Известно, что он просил перед этим поражением в подкрепление себе артиллерию и пехоту, но в этом ему было отказано Мухтар-пашой. Артиллерия его состояла всего из двух горных пушек системы Уитфорта, возимых на мулах, тех самых, которые были отняты у него Кусовым.

О Бегли-Ахметском деле я разговаривал с горцами-участниками. Они говорят, что убитых они оставили не более ста. Они сознаются в полной беспечности, с которой они стояли на бивуаке, но убеждены, что если бы они были подготовлены встретить нападение драгун, они бы полегли все костьми, не отступили бы.

— А зачем же отступали?

— Невольный страх обуял... Внезапность нас сильно напугала, и мы рассеялись... Будь мы подготовлены — мы бы вам задали. Мы уверены были сами, что заберем весь ваш лагерь с начальниками, но... *кысмат* — судьба, ничего не поделаешь...

— А храбро драгуны дерутся?

— Очень храбро... Молодцами дрались... Но опять и то сказать, среди них были лучшие наши, вот хотя бы Инал Кусов. Не будь его, мы бы еще посмотрели... А какой-то офицер так совсем изумил нас — врубился в наш лагерь совершенно один. Видно, лошадь занесла. Молодой такой**, не справился с лошадью, однако мы не пожалели — убили, а лошадь пропала-таки бесследно...

В состав кавалерии Мусы-паши преимущественно входили осетины, кабардинцы и потом остальные горцы. Потеряв значительный кредит в глазах правительства после Бегли-Ахметского дела, Муса-паша заслужил полное доверие его после дела на Кизил-Тапе, где он выказал себя храбрым и распорядительным генералом***. Теперь Муса Кундухов — начальник главного штаба

---

* Бросаться на верную смерть в толпу «гяуров» для спасения души.

** Прапорщик Нижегородского драгунского полка Форжет.

*** Отбитие наших штурмовых колонн приписывают Мусе-паше и Каптан-паше. Среди горцев-переселенцев этот последний пользовался чуть ли не луч-

турецких войск в Малой Азии. Все видевшие его, в том числе и наши офицеры, отзываются о нем с самой похвальной стороны...

О причинах переселения Мусы Кундухова в Турцию ходят самые разноречивые толки. Но больше всего преобладает убеждение, что им руководили чисто материальные расчеты. С Мусой Кундуховым переселилось в Турцию около 3 тысяч душ, преимущественно из чеченского племени, и почти исключительно самая беспокойная часть его, так что наше правительство избавлялось от многих неприятностей. Впоследствии эти переселенцы были поселены на окраинах Малой Азии, чем они весьма были недовольны; но при этом они роптали не на турецкое правительство, а на Мусу Кундухова, которого притом заподозрили в умышленном переселении и умышленной пропаганде о переселении. Вследствие этого ходили в одно время слухи, что его хотели убить карабулаки за то, что он обманул их, уговорив выселиться в Турцию и покинуть родину, где они жили так спокойно.

ДВЕ СМЕРТИ

(Недавняя быль из осетинской жизни)

I

— Чтоб закружился основной камень твоей сакли! — раздается по всему аулу пронзительный женский крик.

— Чтоб умер твой ребенок! — отвечает другой женский голос, не менее пронзительный и злобный.

Повздорили две бабы — Кодорон и Мадарон.

И ведь повздорили-то из-за чего! Курица первой из них вылетела из курятника второй, почему первая заключила, что курица снесла в курятнике яйцо. Мадарон не принимала в резон таких претензий соседки и не допускала ее в свой курятник, говоря, что там ее, Кодорон, курицы не было вовсе и что она в курятнике только встревожит наседок.

Бабья ругань и визг стоят над аулом. Несколько любопытных

шею репутацией, чем даже Кундухов. Он умер от тифа в Эрзеруме. Такой же популярностью пользуется и Дервиш-паша, о котором отзываются как о человеке, готовом отдать бедному последнюю рубашку. Об этих двух генералах сложены песни на турецком языке воинственного свойства; их поют с большим чувством.

голов повысовывались из саклей и смотрят на бабью баталию.

— Так ты воровать яйца! — кричит Кодорон своей соседке через плетень, отделяющий их дворы.

— Я-то воровка!.. Укорила бы лучше себя в этом... *В чужом глазу видишь волосинку, в своем и ветвистого дерева не замечаешь...* Намедни из-под курицы Хамбечера кто украл яйца? Не ты, скажешь?.. А мою лучшую пегенькую курицу не ты ли украла и продала на базаре в городе? А муку-то кто опять украл из мельницы Гути? И это, скажешь, не ты?

— Да лопнет твоя голова!.. В чем ты меня коришь? Взглянула бы на себя — меньше бы сплетничала... Про тебя бы сочинить парням песни и ославить в них твое поведение! — зашипела Кодорон.

В это время мимо спорящих баб проходил мужчина.

— Бесстыдница!... Хоть бы посовестилась мужчин по крайней мере,—прошипела, злобно сверкая глазами, Мадарон. Она стала в полуоборот к проходившему мужчине и опустила на лицо платок.

— О стыде уж и не говори! — сверкнула очами злобно в свою очередь Кодорон и повернулась тоже к мужчине полуоборотом, опустив на лицо платок. А когда мужчина исчез, завернув за угол соседней сакли, Кодорон снова заголосила:

— Ты бы своей дочке-то внушила о стыде и скромности, смотрела бы за ней в оба...

— И без тебя смотрю...

— Видно, что смотришь, коли просмотрела, как у нее груди-то выросли, что твои горы...

— Да уж поменьше твоих!..

— Я-то замужняя, а ей, девице, срам ходить с такими грудями*... Вон уж по всему аулу пошла молва, что она *недаром заглядывается* на Данела и принимает от него платочки.

— Тьфу! *Налат!* — харкнула мать дочери с полными грудями.

— Тьфу! *Налат!* — ответила другая в свою очередь. Плевки рассчитаны были довольно хорошо и достигли желанной цели.

Аллах ведает, чем бы кончилась бабья баталия (может быть, вцепились бы друг в друга), если бы из сакли Мадарон не появился парень лет восемнадцати.

---

* Иметь большие груди девице, по убеждению осетин,—признак нескромности ее. Поэтому осетинки носят корсет, плотно захватывающий груди. Корсет девицы надевают с 7—8 лет и не снимают до первой ночи. В это время молодой разрезает шнуры, затягивающие корсет, и снимает его. После этой операции груди ненормально быстро развиваются. Я говорю о северных осетинах.

— Оставь, нана* , ради бога!.. Видишь, люди смотрят на тебя... Стыдно...

— Как оставь!.. Что ты за брат своей сестры, когда можешь, ничего не говоря, слышать, как о твоей сестре, а моей дочери распускают такие сплетни... Укоряют меня в нескромности моей дочери за то, что у нее, как у женщины, есть груди...

— Хорошо, хорошо... После... Теперь не время...

Молодой человек (его звали Бечир) оттащил почти силою свою мать от плетня.

II

А ночь такая славная, тихая, светлая!

Ах, если бы на сердцах всех несчастных и обиженных судьбою было так же светло и хорошо!.. А чистое, прозрачное, голубое небо! Не чета тифлисскому, серому, пропитанному пылью и миазмами, а свежее, иллюминованное мириадами звезд, весело перемигивающихся между собой, и с царственно плывущею между ними луною. Ни облачка на небе. Дышится так легко, легко! Чудится, будто ангел спокойствия и безмятежного сна витает над аулом, где еще так недавно раздавались слова проклятья двух поссорившихся баб. Все забыто! Забыты злоба, горе, сплетни.

Аул спит глубоким, непробудным сном. Лишь дворняжки спросонья тявкают порою и, ворча, снова прикорнувши, засыпают Самые сакли словно тоже уснули и, облитые бледным светом луны, выглядят как-то лучше под мохнатыми своими соломенными крышами.

Даже сакля бедного Данела выглядит светлее, чем днем. Лунная ночь скрадывает все внешние ее недостатки и шероховатости и делает ее живописно-привлекательною.

Спит хозяин сакли Данел.

Сегодня он был на свадьбе у своего хорошего приятеля и сильно устал. Да, без него не обойдутся никакие пирушки в ауле. Человек он веселого нрава, и хотя жизнь его полна горестных приключений, он мало унывает. На его беззаботно-веселом лице как бы написаны слова:

Эх! Живи — не тужи,
Умрешь — не убыток!..

На общественных игрищах он братски просто обходится с девушками, и эти последние, в свою очередь, его одного лишь не дичатся. Между тем аульные бабы-сплетницы усматривают в

* Нана — мама.

этих его братских, бескорыстных отношениях что-то особенное. Данел же, видит бог, неповинен и помышлением во взводимых на него сплетнях.

Ах, сплетня, сплетня! И зачем ты явилась на свет? От тебя не укрыться нигде, даже под землею... Ты откопаешь и мертвеца из могилы, чтобы разобрать его по косточкам и вдоволь наглумиться над ним...

Усталый Данел спит непробудным сном под навесом своей жалкой сакли. Постель его самая незатейливая: солома под ним, под головой у него седло, из-под которого торчит рукоять кинжала; сверху он прикрыт буркой. Луна смеется ему в лицо, обливая его бледным нежным своим светом.

III

И снится ему сон...

Чудное дело: он уж не тот бобыль и шалопай, каковым был прежде. Теперь он стал богачом и дельным человеком. Он даже богаче самого Саге. То у него была только одна корова, кормившая престарелую его мать, а теперь вдруг у него целых двадцать. Ни одного вола не было, а вдруг целых тридцать пар черноморских быков. А ароб-то сколько!.. Сколько лошадей! Целый табун... Да такого хорошего табуна не отыщешь во всей Кабарде... Всякая лошадь—картина... Сесть на нее—любо глядеть! Жил он прежде в сакле, напоминавшей собою сказочную избушку на курьих ножках: мрачной, плетневой, вымазанной глиной, развалившейся местами, так что ветер без помехи врывался в нее, а тут вдруг у него дом, точь-в-точь как у Каспулата в Хумалаге: на русский лад, покрытый черепицей, с дощатым полом и печкой. Данел работает деятельно. Он принял подряд по доставке сена в город, и деньги посыпались к нему дождем. Он уже забыл про черствый просяной чурек и ест пшеничный хлеб да пирог с сыром, запивая *черным* хорошим пивом и аракой.

Словом, в его сакле вполне господствует *фæрныг* — фортуна.

Смотрит Данел на свой костюм. Куда девалась его дырявая, серая, заплатанная одежда? Теперь он одет в прекрасную черкеску, выкрашенную в малиновый цвет, расшитую серебром. Вместо дрянненьких газырей, служивших больше для хранения спичек, чем пороха, на груди его красуются серебряные...

На месте прежнего кинжала с измятыми ножнами, на *кабардинском* поясе болтается громадный *чеченский* кинжал, блестящий золотом и серебром... И курит-то он уже папиросы, а не вонючий табак от аульного мелкоторговца... Он прежде табак клал

в закладку своей папахи, а теперь у него появился и серебряный порттабак.

Все смотрят на Данела с завистью...

Вон и старуха-мать его уже не побирается по людям, как нищая, а все хлопочет по хозяйству. А скверно было жить ей прежде!.. Как это он, Данел, мог видеть ее в таком печальном положении, беззаботно проводить время и шалопайничать?!

— Надо жениться тебе, мое солнышко,— говорит ему старуха-мать,— я уж стара, надо мне приискивать помощницу, а тебе хорошую работящую жену. Видишь, хозяйство-то какое! Одной не досмотреть мне. Засватай дочь Кавдына...

А славная невеста, дочь Кавдына! Данел и сам думал на ней жениться...

Дивная красота!.. Высокая, тонкая и стройная! Талья длинная, тонкая и ровная, как стрела... Глаза. как у дикой козы, шея тоже длинная, белая, лебединая, лоб высокий, нос тонкий, продолговатый, губы тонкие, подбородок острый*. А пляшет-то как!.. Данел не натанцуется с ней. Вот уж и калым заплачен, и настал уже день свадьбы.

Во дворе Данела танцы, стрельба и песни. Гостей полон двор. Чуть ли не весь околоток сошелся на его свадьбу. Девок наехало видимо-невидимо. И все они веселые, хохотуньи и не стоят неподвижными статуями, потупя в землю взоры, как всегда бывало.

Отчего это? Странно!.. Странно!.. Ведь так хохотать и веселиться молодым девушкам непристойно, не по обычаю.

Ну, а сам-то он зачем является участником общего веселья? Ведь ему, жениху, стыдно быть здесь... По обычаю, он должен гостить теперь у какого-нибудь приятеля и не показываться на место общего веселья до известного времени... А тут он еще пошел плясать по старой памяти с одной из девушек.

Он старается ее сбить внезапными движениями и поворотами, но девушка зорко следит за ним и предупреждает все его движения. Ее тонкие губки сложились даже в насмешливую улыбку, будто говорящую: не собьешь, не уморишь...

У Данела выступил пот на лице. Ему досадно, что девушка так упорно не сходит с арены состязания, ему, как парню, неприлично оставить ее прежде: стыдно. Кругом хлопают в ладоши и смотрят, чем кончится танец.

Данел выхватывает в азарте из кобуры свой пистолет, оправ-

---

* Вышеописанные качества девицы я представляю согласно идеальному взгляду горцев-осетин о девичьей красоте.

ленный золотом, хочет выстрелить из него у ног неутомимой и дивной танцорки в знак почета и... тра-а-ах!..

IV

Тишина и спокойствие чудной ночи были нарушены действительным выстрелом.

— О-ой! — привскочил Данел на своей постели, схватившись за грудь обеими руками. Чудные грезы сна мигом исчезли бесследно, и пред Данелом предстала вместо них страшная действительность. Ведь это не он выстрелил, а в него — прямо ему в грудь. В самом деле, тень убийцы быстро промелькнула перед его глазами. Но он узнал в ней злодея и схватил свой кинжал.

— Га! Собака подлая! — зарычал он в исступлении и погнался за тенью.

— Стой, Бечир, я узнал тебя, и ты не уйдешь от меня!.. Я тебя убью, зарежу, как паршивую собаку... О-ой! Убили! Убили! — вдруг застонал Данел и снова схватился за грудь, откуда кровь текла алой струей и оросила его рубашку. Раненый в предсмертной агонии метался на земле, лежа ниц, призывая аульное население на тревогу, а тень убийцы скрылась во дворе, откуда еще так недавно раздавалась ругань матери полногрудой девицы. Тень принадлежала сыну этой матери — Бечиру, который тогда оттащил ее от плетня и прекратил бабью ссору.

Он не переварил сплетни, что его сестра нескромно ведет себя, что большие ее груди говорят за это и что толки идут, будто к этому причастен невинный Данел. Бечир решился убить его и тем самым смыть с себя стыд и положить конец бабьим сплетням.

V

Выстрел и крики раненого Данела встревожили весь аул. Собаки подняли неистовый лай и вой. Жители, особенно мужская половина, повскакивали с своих постелей и, кто в чем попало, выбежали на двор, на улицу. По улице аула задвигались фигуры, кто в одном белье, с пистолетом в руке, кто в бурке, накинутой на голое тело, но в шапке и с винтовкой в руке; появился даже один в костюме прародителя Адама. Он так неистово метался на своей неоседланной лошади и так громко кричал, что можно было принять его за сумасшедшего. В руке он держал оголенную винтовку и из всех сил барабанил своими ногами по бокам лошади, ошалевшей еще более своего седока.

— Куда гнаться за ворами? Кто украл? У кого украли? — сы-

пал он вопросы направо и налево.— Уж попадутся мне, проклятые: я их укокошу!..

— Кажется, выстрел послышался со стороны Данела,— говорили в толпе.

— Зачем же он будет стрелять,— отвечали голоса,— у него нечего и воровать, разве курицу. Воры к нему не залезут.

Однако все, словно чутьем, направлялись к сакле Данела.

Данела нашли недалеко от его сакли мечущимся по земле. Около лежал кинжал без ножон, с которым он погнался за Бечиром. Кровь из груди сочилась ручьем, и рубашка на нем от нее была красною. Несчастный поминутно хватался за грудь и произносил проклятия Бечиру.

— Подлый трус, подкрался ко мне и выстрелил! Что сделал я ему?.. Жаль, не догнал. Я видел, как... как он скрылся... в своем дворе...

В это время подоспел с дальнего конца аула брат Данела, Махамат, живший батраком у одного богатого одноаульца. Увидев умиравшего брата, Махамат зарыдал, как ребенок... Смерть наложила уже свою руку на последнего, и он только мог произнести несколько невнятных слов.

Два-три человека подняли Данела и, положив на бурку, понесли обратно на ту постель, на которой еще так недавно несчастному грезились во сне такие счастливые картины.

Выскочила мать-старушка из сакли и подняла плач, колотя голову с растрепанными седыми волосами об стену.

— Солнышко мое, Данел! На кого ты меня покидаешь? — голосила она...— Что-то я без тебя буду делать..

Присутствовавшие постояли-постояли в созерцании семейного несчастья и потом опомнились, что перед женщиной нельзя стоять чуть ли не в костюме Адама. Свежесть ночи также заставила многих опомниться и ретироваться восвояси. С Махаматом, братом Данела, остались только его приятели, удерживавшие его от порывов мести. Он рвался к сакле Бечира, судорожно хватался за рукоять кинжала и, рыдая от злости и горя, умолял пустить его совершить священный долг мести.

А Бечир между тем, зная, что его будет преследовать брат убитого, прибежав домой, сел на неоседланную лошадь и, пока встревоженные жители узнали, в чем дело, он уже был во дворе одного именитого лица близлежащего аула.

— Убийца ищет у тебя гостеприимства. Укрой от мести! — сказал Бечир встревоженному хозяину, выбежавшему в одной шубе на зов Бечира.

— По обычаю отцов не могу отказать тебе в гостеприимстве и не укрыть тебя от мести, но не могу преступить другой закон:

не могу укрыть тебя от начальства. Ты знаешь, какие теперь времена.

— Укрой лишь от мести!..

VI

Аульный крикун наутро возвестил всему населению, что Данела не стало вчерашней ночью.

Еще одна душа присоединилась к сонму тех праведных душ, которые витают там, в *дзанате**, окруженные несметным числом черноокпх дивных гурий. Туда улетела душа бедного Данела.

По улицам аула двигались толпы народа. Мужчины шли молча, потупя взоры в землю, с огромными палками в руках. Женщины, опустив на лицо платки, шли по тому же направлению, деликатно избегая встречи с мужчинами. Они входили прямо в саклю, а мужчины останавливались на дворе, сказав обычные слова брату умершего — Махамату: «Да пошлет *хуыцау* тебе другое утешение!.. Да будет его душа в *дзанате!..*

Из сакли между тем слышались слова плакальщицы**.

— О мое солнышко ясное!.. Что сталось с тобою, пронзенный пулей злодея? Нем ты и глух к горю своей матери и своих гостей. Послушай, как рыдают они над твоим бесчувственным телом!.. Или ты не знаешь, что на дворе ждут не дождутся тебя почетные гости и некому их принять? Некому пригласить их в кунацкую, некому принять от них доспехи... Но они, печальные, останутся с понуренными головами, и ты не выйдешь им навстречу... *О, мой день****, что же я буду делать без тебя!.. Что будет делать, сердечный, твоя мать без тебя? Что будет делать твой брат? Кому ты их оставил? *О, мæ бон!..*

Раздается всеобщее женское рыдание, и слова плакальщицы заглушаются.

Совершив обрядное омовение трупа, его завернули в белый саван и положили на плетень. Под голову мертвецу положили подушку и накрыли его одеялом. В таком положении четверо мужчин вынесли тело и *скорым шагом***** направились к пого-

* *Дзанат* — рай.

** Плакальщица есть в каждом осетинском ауле. В собрании женщин она произносит речь над трупом нараспев. Чем речь эта вызывает больше слез у женщин, тем плакальщица лучше.

*** Восклицание «О, мæ бон» (О, мой день) употребляется во время сильной печали и горя. Это же восклицание часто повторяется плакальщицей протяжно и жалобно.

**** У мусульман труп на погост несут почти бегом.

сту. Там тело опустили около свежевырытой могилы и после *намаза* (молитвы) за упокой души Данела, совершенного всеми присутствовавшими, тело опустили в могилу.

VII

После похорон своего брата Махамат искал удобного случая встретиться с Бечиром. Для этой цели он ездил в аул, куда бежал Бечир в ночь убийства. Но там он узнал, что Бечир отправлен в город под стражей для передачи начальству. Это известие сильно огорчило Махамата. Он поспешил за Бечиром в город, чтобы нагнать его на дороге, но было поздно: Бечир сидел уже в тюрьме.

Тяжело было на душе у Махамата. Как он теперь выполнит священный долг мести? В тюрьму ведь не впустят? А между тем долг мести налег тяжелым камнем на его озлобленное против убийцы сердце. Отбился он совсем от работы под влиянием этого чувства, ходил, как шальной, стал избегать людских взглядов, будто чем-то он провинился перед своими одноаульцами, всегда обходил шумную, праздную толпу, сидевшую в тени какого-нибудь плетня.

Он заметно стал худеть. Призрак убитого брата не оставлял его и во сне. Почти каждую ночь ему снился этот образ, стыдил его своей зияющей раной, говоря: отомсти Бечиру за брата... Омой эту рану его кровью...

Махамат просыпался и в бешенстве схватывал свой кинжал, бежал к сакле Бечира, но когда, очнувшись от ночной свежести, несколько приходил в себя, бормотал, возвращаясь на свою постель:

— Кого же я убью?.. Бечира там нет. Резать беззащитную мать и жену его?.. Нет! Это позор и стыд на всю страну!.. Да меня ославят в постыдных словах, в песнях, что я за смерть брата убил жену убийцы брата — беззащитную женщину. Нет, я Бечира ищу...

VIII

Однажды в жаркий день под тяжелым давлением никогда не покидавшего его чувства мести Махамат брел, понуря голову, в город. Одет он был очень бедно: черная изодранная черкеска давала видеть через свои прорехи такой же бешмет. На простом поясе болтался огромный кинжал. Махамат поминутно вытирал шапкой обильно катившийся по его исхудалому лицу пот. Он добрался уже до городского базара.

В это время шла поправка одной из В-их улиц. На место работы согнали арестантов. Они работали нехотя, понукаемые старшим. Звеня тяжелыми цепями, они таскали и сваливали на тачки измельченный камень.

Каких разнообразных лиц, типов и выражений нельзя было видеть среди этого пестрого сброда людей! Тут были и чеченцы, переговаривавшиеся между собою на своем полном гортанных звуков языке, походившем сильно на стрекот сорок; были осетины, были калмыки, кабардинцы, русские... Одни работали с тупым равнодушием, другие как-то бесшабашно ухарски, отчаянными движениями, а третьи еле-еле шли за своими тачками, тяжело ступая ногами, закованными в цепи. Все бледные, желтые, изможденные лица. Что для них впереди? Сибирь... А может быть, есть между ними и такие, которых ждет виселица.

Среди этой толпы арестантов был и знакомый нам убийца Бечир. Он несколько отдалился от общей толпы и работает один. Он сильно изменился за это время. Еще бы!.. В кандалах целые три недели!..

И задумчиво нагрузив тачку, он, гремя цепью, толкнул ее.

— Алла-ах! — воскликнул он вдруг, выпуская тачку и хватаясь за плечо. Но прежде, чем он успел оглянуться, новый кинжальный удар поразил его в шею. Бечир упал, истекая кровью, на тачку и увидел перед собою бледное лицо Махамата... Этот занес было еще раз окровавленный свой кинжал над Бечиром, но был схвачен конвойными. Он покорно отдал свой кинжал, позволил себя связать и отправился безропотно, куда его повели. Только он бормотал:

— Бечир думал, что избег моей руки... он думал, что от мести избавился... Жаль только, что он еще не умер...

Но опасения Махамата были напрасны: Бечир скончался по дороге в госпиталь.

ИЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ НА ВОСТОКЕ

(Стряпчий)

Великанов оставлял Край Тьмы, и население его сознавало вполне, что оно лишается в лице его полезного человека. Он был энергичным борцом против массы злоупотреблений, и этим Великанов снискал к себе всеобщую симпатию. Но не успев осуществить свои заветные идеи в этом крае, он сделался жертвой доно-

сов и интриг,—и вот теперь он покидает Край Тьмы. Признательное население сделало ему накануне отъезда прекрасный ужин на вольном воздухе, на поросшем дубняком берегу реки Осетринной. Ужин только что кончился, и говорливая публика разбрелась по дорожкам, освещенным японскими фонарями, тщетно боровшимися со светом полной луны, величественно совершавшей свой вечный путь, на этот раз по безоблачному синему небу. Тут была вся соль местного общества. Веселый говор, перемешанный с раскатистым смехом, носился по ночному воздуху. Две какие-то дамы особенно громко хохотали от не особенно скромных острот своего молодого кавалера, рассыпавшегося пред ними что называется мелким бесом. Поощряемый этим задушевным смехом своих дам, он сыпал им нескончаемый запас своих банальных острот, что, по-видимому, нравилось дамам, заалевшимся от выпитого за ужином лишнего бокала шампанского. А тут еще такой поэтический вечер! Около стола толпилось еще несколько мужчин, и пред ними стояло несколько бутылок вина. Разговор шел о Великанове, припоминались добрые дела, сделанные им для Края Тьмы, и в общем выражалось глубокое сожаление, что он уезжает. Вдруг среди всего говора и шума пронесся чей-то зычный голос:

— А ты, шельма, сам воруешь каждый год пятнадцать тысяч серебряной монетой, и тебе ничего?!

Это кричал местный стряпчий, геркулесовская фигура которого стояла пред приземистой особой в синих очках. Толстый указательный палец правой руки стряпчего выделывал около носа одной особы такие эволюции, что зацепи хотя слегка этот палец нос особы, последний отлетел бы от лица, как пожелтелый лист, сорванный осенним ветром с ветки.

— Я знаю, ты воруешь пятнадцать тысяч! — продолжал греметь стряпчий, проделывая своим пальцем ту же опасную штуку пред носом особы.

Видевшие и слыхавшие все это словно застыли в картину, напоминавшую ту, которою обыкновенно завершается «Ревизор», но с большими характерными деталями.

— Замолчите же вы, наконец! — опомнился кто-то из толпы,— вы оскорбляете нас всех! Замолчите, иначе слетите в овраг!..

Но стряпчий-великан кинул в сторону угрожавшего такой убийственный взгляд, что тот как-то робко попятился назад, словно виноватый, а стряпчий твердой, самоуверенной походкой оставил изумленную толпу.

— Оставьте его!.. Оставьте,— лепетала между тем каким-то упавшим голосом особа,— я с ним сам разделаюсь...— По-видимому, особе хотелось прекратить разговор о случившемся, но сен-

сация была настолько сильна, что публика разбилась на кучки и стала варьировать факт и так и сяк, причем, конечно, стряпчему предрекали неминуемую гибель, а одна дама просто взвизгнула:

— Да его надо просто повесить завтра же!..

О слабые создания!..

Но прошел месяц, еще месяц, а стряпчий все еще цел. Наконец он перевелся в какое-то другое место, где, говорят, живет спокойно и о прошлом даже позабыл, особа же получила другое, еще более крупное назначение. История эта канула в Лету.

Ревизия

Завтрак, устроенный Козлятникову, отличался особенной изысканностью блюд, вин и декораций палаток, в которых были сервированы столы для завтрака. Козлятников — известный любитель хороших завтраков, обедов и ужинов и охотник поиграть в «генерала». Кажется, что для него ничто другое не имеет столько прелести,— даже ни вино, ни прекрасный пол,— как карты. Он всегда и всюду встречал обильные обеды, ужины, завтраки, на которых он очень много говорил речей с пенящимся бокалом в руке, взывал о помощи к угнетенным, признавал святость справедливости и изрыгал негодование на произвол. Но все это были слова, слова и слова, ибо под носом его делались самые вопиющие дела, которых он или не хотел видеть из опасения потревожить человека своей партии, или при которых в такие минуты ему втирали, что называется, другие очки, взамен тех очков, которые он носил. Результат всего этого, конечно, был плачевный...

Завтрак только что кончился. Все сидят за карточными столами, и даже те, которые не играют в «генерала», сели играть в стукалку с единственной дамой, чтобы угодить, с одной стороны, «особе», а с другой—посидеть около хорошенькой женщины. И действительно, дама эта была красивая, с великолепными формами. На высокой груди ее был приколот какой-то пунцовый цветок, который горел особенно ярко на черном фоне ее изящного платья. Щечки ее горели полным румянцем, и трудно было решить, что ярче — эти ли ее щечки, разгоревшиеся отчасти от выпитого вина, или пунцовый цветок, трепетавший на ее высокой груди. Впрочем, может быть, здесь помогали и румяна хорошей фабрикации. Белокурая коса ее падала ей на спину á la Наяда, а на лоб сдвигалась маленькая прядь волос, будто упавших ненароком, что придает еще больше привлекательности ее лицу. «Но вечная ошибка мужчин состоит в том,— говорит Захер-Мазох,— что красивую внешность женщины они принимают за отражение

ее внутренней прелести и поэзию, окружающую ее образ». Увы! Этот внешний блеск красоты нашей героини далеко не гармонировал с ее интеллектуальной стороной. Замечательно, что это оправдывается в жизни сплошь и рядом, и приходится убеждаться, что ум с красотою у женщин редко соединяются вместе. Впрочем, сказать и то, что обладательницы счастливой наружности и не нуждаются весьма часто в уме и развитии, так как для некоторых они лишь лишнее бремя, лишняя обуза при обаятельной внешности. Да и мужчины относятся к таким особам часто слепо, так как при виде их красоты собственный рассудок их нередко помрачается окончательно, видя в них одно только совершенство. Но когда настает пора «холодного рассудка», ну, тогда этот ореол совершенства всегда теряет свой блеск и значение. Этот опыт в большинстве случаев бывает запоздалый.

Играющие в «генерала» перебрасываются незначительными отрывочными фразами, зато за столом, где идет стукалда, слышны и смех, и шумный говор после каждого крупного ремиза или неудачного хода. Присутствие хорошенькой женщины, по-видимому, шевелит старых ловеласов.

— Ах, какой прекрасный цветок у вас на груди,— слюнявит один из играющих с почтенной лысиной и в пенсне на носу. Он кидает нескромный взгляд не то на ее роскошные формы, не то на пунцовый цветок.

— Не правда ли? — щебечет она...— Нравится вам?.. Хотите, подарю? — и она, не ожидая согласия растаявшего старичка, вкалывает ему свой цветок в петлицу его мундира. Счастливец совсем растерялся от такого неожиданного подарка, и в минуту блаженного состояния он лепечет ей какую-то белиберду, в которой называет даму не то божественной, не то сиреной, не то ангелом, не то коварным демоном...

— Ха-ха-ха!..— закатывается дама.— Да полно вам! Куда вам уж любезничать?!—Старичок совсем опешил, и губы его слюнявые как-то вытянулись от такой неожиданности.

— Да бросьте, барыня, играть с этими мышиными жеребчиками! — раздался с третьего стола голос Водочкина.— Вы еще, пожалуй, простудитесь... (Дама, действительно, вздрагивала от набегавшего весеннего холодка). От этого замечания лысины «мышиных жеребчиков» подернулись багровым цветом, словно поверхности маленьких лужиц, на которые упал багряный луч заходящего солнца. Дама шаловливо погрозила пальцем Водочкину и снова принялась за игру. Партнер Водочкина делал ему разные знаки, причем корчился как-то странно, указывая глазами на соседа — особу, которая явственно слышала слова Водочкина. Но последнему мимика партнера показалась столь комич-

ною, что он даже фыркнул и сказал: «Чего корчитесь? Если горькую пилюлю вы проглотили, тогда запейте — вот ликер! — и он придвинул ему свою рюмку ликера.— И с чего это к нам ежегодно наезжают. Что нужно видеть, не увидят, а вот напиться да покушать лишний раз сладко удается»,— продолжал резонировать тот же Водочкин, не обращая внимания на предупредительный шепот своих партнеров...— Нет у меня рабской трусливости, как у других, пред особами, ну и говорю, что верно...

При этих речах лысина особы тоже окрасилась багряной зарей, но особа ничего не сказала, а только обратилась к партнеру вкрадчивым тоном:

— А вы, Никита Лукич, сходили бы с тройки — наверняка оставили бы их без трех. У меня сам пять...— и пошла мудрая карточная терминология.

Ревизия назначена была на следующий день и сошла прекрасно: впечатления великолепного завтрака еще были слишком свежи, и особа поэтому не хотела подымать завесу, за которою скрываются темные «делишки» радушных гостеприимцев...

Черномор

Его звали все почему-то Черномором. Походил ли он на сказочного Черномора в «Руслане и Людмиле» Пушкина или нет — не знаю, но мой герой обладал длинной русой бородой, геморроидальным лицом, серыми глазами и небольшим ростом, а вообще невзрачным видом. И у моего Черномора были свои владения в Крае Тьмы, которые он объезжал ежегодно два раза, творя суд и расправу, причем в минуту гнева он потрясал своей длинной бородой, дергал ее немилосердно и наводил страх, подобно Юпитеру, посылающему свои громы на подвластных ему божков. Его грозное слово производило не менее трепета в подчиненных, чем юпитерское «quos ego» на мифических богов. Самоуправство, произвол, к которым он привык с давних пор в своем Краю Тьмы, он ставил себе в принцип хорошего, образцового управления и пользовался ими, сколько душе угодно. Характера он был раздражительного, что значительно усугублялось еще его геморроидальным состоянием, и в разговоре не терпел возражений, любил, чтобы его речи выслушивались подчиненными с блаженной улыбкой или с видом священнодействия. Отлично ладил с людьми, в которых нуждался, и в случае надобности умел им «втирать очки» там, где нужно было, так что на его действия смотрели сквозь эти втертые очки; благодаря этому он в конце концов завоевал себе репутацию прекрасного, ни в чем не погрешимого деятеля.

На этот раз Черномор рассказывал о чем-то с обычной авто-

ритетностью и в благодушном настроении пощипывал бороду своими пальцами с плоскими, всегда обгрызанными ногтями. Подчиненные, по обыкновению, священнодействовали, слушая его речи с подобострастной улыбкой, причем некоторые даже с разинутыми ртами, словно лучшие малороссийские галушки и вареники сами, готовые, влетали туда (т. е. в рот). Все было бы хорошо, если бы среди общей благоговейной тишины вдруг не раздался голос Китоловова:

— А позвольте спросить, Иван Черноморович, видали ли вы когда-нибудь локомотив или четырехэтажный дом? Вы обо всем говорите так авторитетно...

— То есть как? — прервал дерзкого Черномор. Он побледнел, нижняя челюсть его тряслась, губы посинели, а глаза загорелись недобрым огоньком. И это было понятно: Черномор всю жизнь далее своего Края Тьмы нигде не был, и действительно, таких диковинок он не видал. Поэтому изумленная публика ждала роковой развязки, видя разгневанного Черномора, который словно окаменел, уставясь на вопрошавшего. Тот еще раз повторил свой вопрос.

— Как же вы... смеете?!!

Спустя год после этого происшествия Китоловов шлялся в одном из уголков Края Тьмы без всякого занятия.

«И дернуло же меня задать этот нелепейший вопрос! — твердил он, печально глядя на носки своих продранных сапог, откуда выглядывали пальцы на цветущую майскую природу.— А локомотив и четырехэтажный дом всему виною... Еще причислили к «вредным»... Э-эх, край!..»

«ПРОДУЛСЯ»

(Набросок с натуры)

С каким неподдельным восторгом ехал Аланов из своего мертвенного уголка в город «Приморск»! Он лелеял светлые надежды на то, что проведет там время очень весело, так как он на это из своего скудного содержания скопил небольшую сумму и прихватил еще кое-у кого в долг, и таким образом, у него в кармане было до 400 р. На эти деньги можно провести время куда как весело! Кстати, теперь пора танцевальных вечеров, любительских спектаклей, концертов и маскарадов. И под влиянием предстоящих удовольствий Аланову и свист пурги, разыгравшейся

вокруг, «вихри снежные крутя», и утомительно однообразный звук колокольчика, и пофыркивание бодрой тройки, и вскрики лихого ямщика отзывались приятной, убаюкивающей ноткой. Он откинулся в глубину кошевки, закутавшись в свою доху, и замечтался. И чудится ему, что он на маскараде несется в вихре опьяняющего вальса с таинственной маской... Мнится ему, что он выиграл целую кучу золотых монет, дом, экипаж у местного архиштосиста. Но вдруг эти розовые мечты сразу обрываются представлением недавно покинутой им трущобы, где вытерпел год прозябания, вечно слушая ворчанье своей сварливой хозяйки, в то время как он, словно угорелый, бегал по квартире, желая согреться, между тем как «пар от его дыханья волнами стоял»... «Динь-динь-динь!»—звучит колокольчик. «Э-эх, други!» — вскрикивает порою ямщик, и кошевка мчится, ныряя между сугробами снега, к «Приморску».

— Тпрррру!.. Приехали, барин!..

Кошевка остановилась у освещенного подъезда лучшей гостиницы — «Червонец». Аланов вылез и приказал нести свой дорожный чемоданчик, в котором хранились мундир и три смены белья, в отведенный номер. Народу в гостиницу набралось масса — оказалось, что на маскарад. Это его обрадовало. Он наскоро переоделся и вышел прежде всего в столовый зал, чтобы поесть чего-нибудь. Бой доложил ему, что на ужин «бишкеты», «фазаны» и «коклеты». Он заказал себе фазана. Через довольно долгий промежуток времени ему принесли какую-то дичь. Попробовал, и оказалось, какая-то пропитанная рыбой птица, но только не фазан.

— Что это такое? — спрашивает Аланов, с отвращением выплевывая разжеванный кусок. — Утка,—получает ответ. — Да ведь утка-то несъедобная, пропитана рыбой, а я просил фазана.— Фазана нет.— Принесите мне бифштекс да поскорее!

Принесли и бифштекс, но сухой, почти без соуса, с засохшими картофелинками. Неодобрительно взглянул Аланов на поданное, однако же съел: голод не свой брат. Запил ужин пивом, направился в маскарадный зал и стал у дверей; маски бродили из угла в угол, словно марионетки, сидели неподвижно, словно «каменные бабы», которых отыскивают последнее время в этих краях. Аланов даже зевнул. Фу! Как скучно! Только он посмеялся над одной маской, одетой в вывернутую шубу, напялившей и на ноги вывернутые рукава от другой шубы и ходившей по зале на четвереньках, подражая реву медведя. Но вдруг произошло что-то необычайное. Раздались звуки удалого, разухабистого «казачка», и все эти марионетки-маски и не маски словно по мановению волшебника пошли в дикий пляс, и весь зал представлял

что-то хаотическое. Тут почему-то Аланову вспомнилась Лысая гора. Вот так и на Лысой горе, вероятно, танцевали, когда «кота с лягушкою венчали». Тем не менее он хохотал от души и остался доволен оригинальным финалом всей этой разухабистой пляски: одну маску в костюме балерины подняли несколько дюжих рук и слегка покачали на воздухе за особенно смелый танец с соответствующими манерами... После этого публика повалила к буфету, и тут Аланов познакомился кое с кем и, между прочим, с местным архиштосистом Чернецким.

Спустя неделю после этого Аланов ходил мрачный по своему номеру, где было еще человека четыре гостей. На столе стояло несколько опорожненных бутылок из-под пива, графинчик водки, закуска. Табачный дым клубами носился по комнате.

— И нелегкая же меня дернула играть с Чернецким! — сказал Аланов.

— А что? Небось, и тебе досталось? — спросил кто-то.

— На триста рублей! Теперь в кармане — ни гроша! И по гостинице нечем платить, домой не на что ехать... Досада!..

— Не ты первый, не ты — последний,— сказал мрачно другой.— Я преподнес ему 500 р. и половина из них казенных — вот это положение будет замысловатее твоего. Да и ты, Перышкин, попал? — обратился он к соседу, молча курившему сигарету.

— Триста пятьдесят рублей!.. Уж эта мне пятерка!.. А вот Крынкин, так тот еще лучше.— И тут Перышкин закатился вдруг задушевным смехом.— Он, представьте себе, приехал из своей берлоги с шестьюстами руб. Сумма эта образовалась из денег, собранных у товарищей, которые его уполномочили заложить Чернецкому банк, чтобы в случае удачи выигрыша разделить пропорционально взносу, но, увы! — мы предполагаем, а Чернецкий располагает.

— Есть такие вещи, друг Горацио...— прогудел на это мрачно лежавший на постели с закинутыми за голову руками Крынкин.

— Итак, значит, мы все с облегченными карманами и с тяжкой думой на челе? — хотел сострить кто-то, но это не вызвало улыбки в компании. Правда, Пушаркин выиграл 40 золотых, но надолго ли?

— Однако он — язва нашего брата! — сказал кто-то из пострадавших,— нельзя ли положить предел этому злу?..

— А кто тебе велел играть? — заметил другой.— Да еще на маскараде качал его и орал «ура!» до хрипоты. Еще шампанским поил.

— Что же, брат, homo sum...

А спустя два дня все разъехались в разные стороны по своим

уголкам, неся в душе тяжелое чувство неудавшейся игры, разочарование в своих надеждах, проклиная судьбу, что в связи с предстоящей мертвящей скукой сжимало сердца всех.

— Никогда больше! — твердил каждый. Но выдержат ли против обаятельного блеска золотых Чернецкого? — вот в чем вопрос...

КАЛЕЙДОСКОП

(Рефлексы лета)

Чем ты интересуешься, читатель? Перед этим вопросом, признаюсь, я становлюсь в тупик. Я отчасти знаю твой взгляд на фельетон. Ты ждешь от него рисовку «веселеньких пейзажиков» в самых ярких красках, с оттенком той аттической соли юмора, которая бы заставила тебя посмеяться благодушно, и чтобы все это через несколько часов, самое большее через день — позабыть... Рад бы душою угодить тебе, читатель, в этом, но дай мне силу пера Гоголя, Щедрина или Диккенса, а наипаче укажи мне на те стороны нашей жизни, которые бы послужили благодарным сюжетом такого благодушного юмора. Я не могу закрывать глаза перед мрачными картинами действительной жизни или рисовать их в других, более привлекательных красках. Я знаю, что подобные мрачные картины на тебя наводят уныние, но что же делать? Если хочешь видеть натуру, а не вымысел,— не прогневайся.

Как я, например, могу не назвать вора прямо вором. Изыскивайте какие вам угодно термины: обрабатывающий чужую и казенную собственность или какой-либо другой,— он все-таки вор. Как я, например, могу выразиться деликатно про одного господина, которого я знал. Он сперва воровал «по-божески» и то лишь «экономическое», но, не удовлетворившись этим, стал среди белого дня таскать подходящее и реализовывать его в закуску и выпивку. И этот человек когда-то в обществе был в «решпекте».

Знавал я патентованного шулера, которому бы место в остроге или каторге, который обыгрывал людей с казенными деньгами, устраивая у себя игорный дом, и доводил их до самоубийства. Он играл в городе первую роль, имея влияние через некоторые лица на ход различных дел. И этот господин пользовался полным решпектом в обществе.

Знавал я субъекта, который втерся в доверие одного семейного человека, а затем самым наглым образом вытеснил его из

дома и довел до самоубийства, и сам успокоился на лаврах, нажитых таким путем, глумясь над прахом погибшего «страдальца». И этот субъект, вместо того, чтобы понести достойное возмездие и беспощадную кару общества, пользовался еще «решпектом».

Знавал я еще видного деятеля...

Впрочем, читатель, не буду тебя утомлять целой серией примеров, которым нет числа, а приведу тебе здесь прекрасные слова Кавелина, из письма его к приятелю. Они метко характеризуют людей известного пошиба, к которым принадлежат подобные экземпляры. Вот эти слова:

«Три четверти людей имеют в прошедшем своем даже позорные пятна; а посмотри, как самоуверенно они выступают, как величественно себя держат — и ничего! Свет за их храбрость питает к ним «решпект» и признает за ними честь и права гражданства, которые они давно потеряли, и безвозвратно, в глазах горсти истинно порядочных людей. Смелость, брат, города берет,— эти люди хорошо знают повадки света и оттого выигрывают. Но что делают негодяи и мерзавцы, ведущие со светом верную игру, то должны делать честные и порядочные люди. Они с полным правом должны выставить свой лоб, чтоб их не оттерли и не лишили того места, которое принадлежит им по праву. Тот, кто поступает иначе, портит в свете дело порядочных людей и уступает первую скрипку мерзавцам, к чему мы, русские и славяне, искони так склонны. Отчего у нас мошенникам лафа? Именно оттого, что честные люди умывают руки и при первой же неудаче или невзгоде отретировываются...»

Нужны ли здесь комментарии? Нет, читатель, лучше сам задумайся чуточку над этими словами, и ты поймешь, может быть, всю горькую истину, высказанную в них.

Но не надо забывать, что оружие для борьбы неодинаково у этих двух категорий людей. Одни идут со знаменем, на котором написан их девиз четкими знаками: «Цель оправдывает средства». Они не останавливаются ни пред чем, и, как мрак света, они боятся всего честного, доброго, ведущего открытую бесхитростную борьбу с ними. Прозелитов добра они бьют беспощадно с силою легионов и проходят с дьявольским хохотом мимо падающих бойцов, возвещая этим свою победу. И если находятся малодушные среди последних, самовольно покидающие поле сражения ради спасения условного покоя и счастья, то они уменьшают еще больше немногочисленные ряды борцов за добро и в то же время увеличивают страданья и возможность их гибели в борьбе за правду, справедливость. Но еще хуже делают те, которые не просто бросают оружие борьбы против зла, а соблазненные

мишурными материальными благами при отсутствии нравственной подкладки, которыми пользуется это зло, делаются его поборниками и обращают свое оружие в сторону своих же недавних соратников.

Но я вижу, что ты негодуешь на меня за мой минорный тон. Но виноват ли я, когда и самая жизнь такова?

Впрочем, если хочешь, поговорим и на любимую тобою тему — о погоде. Но и тут мало утешительного.

Жарко, душно от почти тропического солнцепека. Порою лишь брызнет сквозь туман пародия дождичка — и снова обыватель утирает платком обильный пот с лица и восклицает:

— Ну, уж и лето!.. Сколько ни живу во Владивостоке, а такого лета не приходилось еще видеть!..

Необычайное лето!.. С окрестностей слышен глухой ропот на бездождицу, породившую засуху. Захирели нивы, отощала трава. Чахнут Шилка, Амур, Уссури — эти главные реки нашего водного сообщения. Настает временами почтостояние. Почту ждем дни, недели, а иногда и месяцы, словно во дни печальной приамурской весенней и осенней распутиц. Нет ни газет, ни журналов — ничего, словно бы край очутился в каком-то заколдованном кругу, он отрезан совершенно от остального мира. Лишь телеграф, и то не без перерыва, дает знать в это время внешнему миру, что мы еще шевелимся кое-как, что край еще поддерживает свое существование своей душной атмосферой, которая наполняется больше и больше атомами, далеко не безвредными для вдыхания. Отсутствие книг и журналов отзывается сильно угнетающим образом на людей, ищущих чтения, живого слова в мертвых книгах и интересующихся тем, чем в настоящее время живет «действительная Россия»; какие злобы дня ее волнуют и шевелят, что делается в остальном мире, какие чудные победы совершает человеческая мысль в области науки и промышленности, кого обуял воинственный азарт, кто быстро двигается по пути прогресса и кто отстает... Томительно долгое ожидание, наконец, притупляет самый интерес ко всем этим вопросам; и в большинстве случаев запоздавшие новости, потерявшие уже давно прелесть новизны для остального мира, прочитываются нами без всякого интереса или вовсе не прочитываются. И мы, таким образом, не живем, а полуспим, полубодрствуем, а зачастую так прямо спим, прозябаем... А там, везде вне Сибири, жизнь кипит живым ключом. В то время когда по нашим тропам, дорогам и мелеющим рекам тянутся месяцами путники и почта, вне Сибири летят паровозы, пыхтя и свистя, и развозят всюду и людей, и почту быстро и легко, и производят таким образом обмен мыслей, впечатлений, сталкивают интересы всевозможных народ-

ностей, усиливая их торгово-промышленную деятельность, разжигают энергию их, заставляют работать и мыслить,— словом, нормируют их жизнь. А в Сибири нет этих главных артерий народной жизни, которые бы циркулировали силы ее в громадном ее организме. Отсюда застой, апатия, сон, томительно-тяжелое состояние!..

Когда же и здесь раздастся желанный свист локомотива? Когда же и здесь она, увлекая быстро за собой из края в край цепь полных вагонов, будет пролетать быстро эти богатые степи Забайкалья, девственные тайги и унылые тундры, через Туру, Обь, Иртыш, Амур, Шилку, Уссури?.. Когда же этот свист возвестит краю эру новой жизни, возвестит о часе, что и Сибирь приобщена к России, что и ей дана возможность жить и дышать свободнее?..

Заговорив о почтовых порядках вообще в Сибири, не могу для вящей иллюстрации не упомянуть об одном довольно курьезном факте, рассказанном мне одним моим знакомым. Выписывает он какую-то сибирскую газету. Адрес его хотя записан в нашей конторе, тем не менее корреспонденцию свою получает дней пять-шесть спустя после прихода почты, и то нередко через вторые и третьи руки. Поэтому, чтобы не терять времени, пока до него дойдет его газета, он отправляется в управу и там читает за несколько дней номера своей газеты, а потому в последнее время он даже перестал особенно волноваться в ожидании газет. «Принесут — ладно, а не принесут... Что же делать? Все от бога!» — утешается он.

— Иду это я раз по тротуару,— рассказывал он.— Навстречу плетется парень и держит под мышкой связку газет с письмом.

— Господин!.. А, господин! — окликнул меня парень.

Я остановился.

— Сделайте божескую милость, где этот леший, язви его, живет? — заговорил парень, подавая мне связку газет.— Говорили, живет где-то на горе, тамотка, а как я пойду туда?.. Хожу второй день с ними.

К немалому изумлению, я прочел свой адрес.

— А ведь этот леший-то я! — сказал я изумленному парню.

— Не-ет, барин, не вы! — осклабился он недоверчиво и покраснел.

Большого труда стоило мне уверить, что газеты и письмо адресованы именно мне, причем точнее показал ему квартиру. Но с прежнею неаккуратностью получаю я корреспонденцию. Наднях так еще лучше сделали: принесли мои газеты куда-то и оставили какому-то сторожу, и никак не могу их доискаться до сих пор.

Если бы это было заграницей, было достаточно на адресе малейшего намека на личность получателя, чтобы корреспонденция была получена исправно и своевременно. Там понимают настоящее значение корреспонденции в общей жизни народов и потому свято соблюдают как сохранность ее, так и быструю доставку ее адресату.

Но может быть, нынешнее необычное лето виною этим необычайным порядкам. Или, может быть, это хроническое состояние нашего почтово-телеграфного дела?

Действительно, необычайное лето!..

Такого наплыва артистов, певиц, музыкантов, фокусников тоже никогда не было.

— И откуда такая благодать? — удивляется обыватель: словно бы все эти господа ополчились выцедить наши карманы, в которых и без того уже пусто... Вон даже венгерские музыканты откуда-то из-за моря нагрянули и ходят по городу, назойливо услаждая наш слух. Идешь по реставрированному тротуару Светланской улицы, и глаза рябят афиши всевозможных цветов: синих, желтых, красных, зеленых... То маскарад в загородном лесу-саду «Италии», то маскарад в номерах Галецкого, то спектакль «Свадьба Кречинского», то чародей-флейтист Тершак дает концерт в морском клубе, то, наконец, сам престидижитатор Гражулес обещает публике рецепт, как сделаться богатым. А все-таки, несмотря на этот рецепт, обыватель, вздыхая, говорит:

— Денег нет!..

— Плохи дела наши,— добавляет приказчик.

— Прошли веселые дни, —ноет извозчик, дремля на облучке своего фаэтона.

— Никого не видать,— жалуются хозяева ресторанов и гостиниц, стоя печально за прилавком буфета.

— Сборы не блестящи,— говорят приезжие артисты.

И все правы: денег нет. Сравнительно с прошедшими годами совсем плоха выручка у всех. Прежде словно бы и богаче люди были, и щедрее на удовольствия. Вчера спрашиваю извозчика.

— А что, брат, трудна извозчичья обязанность?

— Трудно не трудно, да вот тревоги много на месте имеешь. Гляди в оба по сторонам, как бы седока не прозевать, а его-то и нет... В другой раз покажется, что зовет кто-то, и летишь, как шальной, к прохожему, а он спрашивает: тебе что? Ну, и отъедешь ни с чем. Заработок нынче совсем плох: 7—6 рублей в день, а то и меньше... Не то было прежде: 10—15, а не то 18 и 20 рублей перепадет бывало...

— Отчего же это?.. Народ скуп стал, что ли?..

— Не-ет, не то чтоб скуп стал, а матросам запретили на из-

возчиках ездить, а от них-то главная выручка и была... Напьется он пьяный и дает за сто сажен 40 коп., а не то и больше. Теперь плохо стало... Даже на пивной завод не стали ездить.

И кавалькадистов уже нет. Прежде, бывало, по улицам пыль столбом стояла (впрочем, этой благодати теперь еще больше) от целого эскадрона молодежи в разной форме и штатских, окружавших живым кольцом стройных амазонок, сиявших счастьем от такого обилия поклонников. А теперь — редкость, когда кто-нибудь появится на параличном рассинанте с обгрызанным хвостом один... Про кавалькадистов и нечего говорить. Они положительно сошли с нашего горизонта, и появление какой-нибудь любительницы на улице без плеяды поклонников, а в сопровождении какого-нибудь «грума» в образе кучера Митрохи или даже без оного, вызывает всеобщее любопытство.

Зато город наш одержим чем дальше, тем больше недугом строительной горячки. Посмотришь на город со стороны бухты и видишь, с какою необыкновенною быстротою он обстраивается. Высоко в небе загорелся золотом центральный крест собора, как феникс из пепла вырастает на месте погоревшего в прошлом году новый каменный квартал. Горим и выстраиваемся, выстраиваемся и горим. Только место, где был старый базар, пустует, придавая больше уныния злополучному городскому саду, к которому оно прилегает. Ах, этот сад! Вчуже становится жаль, когда смотришь, как молодые его побеги, заглушаемые густым бурьяном, тщетно силятся вырваться из его гибельных тисков. Чем-то решится судьба этого сада?!

Жаль будет, если придется о нем сказать перифразой стихов Полежаева:

Не расцвел и отцвел
В утро пасмурных дней;
Кто садил, в том нашел
Жизни гибель своей...

* * *

КОРЕЕЦ-НОСИЛЬЩИК И ЛОШАДЬ

(Уличные картинки)

Блажены милущие и скотину.

Жарко, душно... По Светланской улице клубится пыль от легкого порыва ветра и от проезжающих экипажей. Пыль эта насы-

щает воздух, покрывает густым слоем зелень, лезет в глаза, в уши, затрудняет дыхание. В такой-то день на одном из бойких мест названной улицы стоял, тяжело нагруженный дровами воз. Запряженная в него вороная клячонка, видно, обессиленная, упала и силилась подняться на ноги, но оглобля и вся упряжь делали невозможными ее потуги. Хозяин лошади и воза — здоровенный рыжий мужик — суетился около животного, ругался:

— Ну-у!.. Но-о... Что ж ты, язви тя, не подымаешься!..

И он стал бить со всего размаха ногой по животу лошади.— Ах, чтоб ты подохла, окаянная животина!..— Он взял за уздцы и стал тянуть вперед, цокая ободрительно, но измученная вконец лошадь только бессильно барахталась между оглоблями, стараясь подняться на трепетавшие ноги. Тогда мужик взял с воза здоровенную дубину и стал бить лошадь по чем ни попало: по спине, по животу, по ребрам, по голове — по умным, грустным глазам. Кровь струилась по морде лошади и, смешиваясь со слезами и потом, капала на пыль улицы. Лошадь вздрагивала, рвалась подняться не то с каким стоном, не то кряхтеньем и снова падала. Проклятья мужика сыпались с ударами на лошадь: мужик озверел. Проходили люди по тротуару, мимоходом взглядывали на эту картину и молча продолжали путь. Тут же недалеко стоял полицейский солдат и, закинув за спину руки, флегматически созерцал эту расправу. Раз только какой-то господин остановился в созерцанье картины, потом подошел к мужику и проговорил кротко:

— За что ты бьешь бедную лошадь? Видишь, как она устала, видно, и голодна... Распряги ее, и она сама встанет.

— Иди своей дорогой, барин,— сказал мужик грозно, не взглядывая даже на говорившего. Тот пожал плечами, отвернулся и сказал: «Зверь!..» — Потом обратился к полицейскому солдату.

— Ты разве не видишь, что делается? — и показал в сторону мужика.

Солдат взглянул искоса на господина, холодно, однако крикнул мужику:

— Эй, земляк! Ты что ж это: так ведь и скотину можно убить... Тебе же изъян.— И снова застыл в прежней флегматично-созерцательной позе.

Господин посмотрел на солдата вопросительно, что, мол, дальше сделает, потом пожал плечами, порывисто повернулся, покачал головой, пробормотав что-то, и пошел дальше своей дорогой.

В то время по Светланской же улице шел кореец-носильщик. Он с самого базара нес кули муки на своей рогульке и устал, устал сильно, так, что ноги под ним подкашивались: ноша была

тяжела. Он согнулся под этой ношей, что называется, в три погибели. От усилия жилы на шее напряглись, надулись, словно хотели лопнуть, лицо его побагровело и орошалось потом, который падал струйками на пыльную дорогу. Как раз у того места, где разыгрывалась сцена с клячей, кореец-носильщик приостановился, чтобы передохнуть хотя немного. Он подставил палку, которую на ходу держал под мышкою, под ношу и вздохнул свободнее. Он увидел описанную выше картину.

— Ах, как крепко он бьет эту бедную лошадь,— пожалел кореец, отирая с лица струившийся пот.— Зачем это он ее так... Ведь устала, бедная, совсем... Как бьет!.. Она подохнет от таких побоев...

Но вдруг какая-то острая боль заставила его вздрогнуть. Кто-то его сильно ударил палкой по загорелому плечу, которое было видно через разорванную ветхую рубашку. Он хотел было вскрикнуть от боли, но крик как-то замер в его груди, и послышался лишь едва уловимый тихий стон. На лице его изобразилось выражение сильного, безмолвного страданья. Это ударил его хозяин ноши, шедший сзади.

— Чего ты, собака, остановился прохлажаться! — крикнул он.— Марш сейчас, а то...— и он выразительно погрозил ему палкой, которой только что его ударил.

Кореец-носильщик боязливо покосился на хозяина ноши, собрался с силами и, крякнув, поднял свою ношу и поплелся за своим нанимателем.

«Как больно ударил,— подумал кореец,— плечо так жжет. За что это он так сильно меня ударил?.. Ведь я хотел чуточку отдохнуть... Не дал отдохнуть... А лошадь-то, лошадь... За что ее, бедную, так бьет мужик?.. Ведь и она устала, видно, как я... Верно, больше... как ее жаль... Пожалуй, подохнет... Как она плачет, бедная...»

— Эй, каваль, сюда!..

И наниматель показал в калитку одного двора. Это было почти на противоположном конце города. Кореец вошел с нанимателем во двор и опустил ношу на указанное место около дверей кухни. Он вздохнул свободно и словно просиял, забыл даже боль от недавнего удара. Он стал в ожиданье расплаты.

— На!—сказал пиджак, положив пятак в протянутую руку корейца.

Носильщик посмотрел на монету и боязливо попросил прибавки.

— Мало-мала ишо...

— Еще-о!..— сказал грозно наниматель.— Проваливай, проваливай!

Но кореец протестовал. Вышел маленький шум. Приотворилось соседнее окно, и выглянуло миловидное лицо какой-то молодой женщины.

— Что за шум, Петр? — спросила она с неудовольствием.

— Извольте видеть, барыня, эта собака говорит, что ему пяти копеек от базара мало...

— Ма-ало?!. Гони его в шею!..

И миловидная головка исчезла за захлопнувшимся окном. Тогда Петр молча подошел к корейцу, взял его жилистой рукой за шиворот ватной куртки и поволок к калитке. Тут кореец-носильщик запротестовал окончательно: он уперся одной рукой в перила и не хотел выходить. Тогда Петр выхватил у него из другой руки его палку и стал бить его по чем ни попало: по спине, голове, по ногам. Кореец, вскрикивая от боли, вылетел в калитку, потирая спину. Вдогонку ему Петр бросил палку и захлопнул калитку; пошел кореец-носильщик, остановился на улице, посмотрел еще раз на полученную монету, потом засунул ее куда-то в свою ватную куртку, поднял палку, отер кое-как грязным рукавом струившуюся по лицу кровь; посмотрел долго, грустно на двор, откуда его вытолкали, на окно, откуда сейчас выглянула миловидная барыня, и потом, заплакав тихо, беззвучно, пошел медленными шагами обратно.

«За что это меня?.. Зачем так мало дали?.. И это вот почти всегда так... А лошадь-то, лошадь, бедная?! Ведь она подохнет...»

Лошадь, действительно, околела в эту же ночь. Ее свезли тайком от полиции за город, в какой-то овраг на съедение псам. В ту же ночь умер и кореец от холеры. На пять копеек, которые он получил, он мог только купить огурцов; ими он и объелся. Его сотоварищи по профессии, жившие человек пятьдесят в одной фанзе на Семеновском покосе, обернули его труп в саван и тайно ночью отвезли к Амурскому заливу и, вероятно, бросили его в воду...

— Ну, что ж тут занимательного! — воскликнет, вероятно, читатель.— Я думал, автор что-нибудь пикантное расскажет, а он взял да и записал уличную сцену, подобных которой сам я вижу почти ежедневно.

Охотно верю вам, наблюдательный читатель, и допускаю даже, что вы видели именно ту картину, которую я описал сейчас, но смею же спросить вас: приходят ли вам при созерцании этих картин на память слова Великого учителя:

«Блаженны милующие и скотину»?

НА ШХУНЕ «АЛЕУТ» ДО ТЮЛЕНЬЕГО ОСТРОВА И ОБРАТНО

(Беглые штрихи)

Я — не моряк и настоящими беглыми заметками не претендую заинтересовать кого бы то ни было из моряков: они для них не интересны. Но я никогда не видел моря, не видел никогда тот необъятный пустынный простор водной стихии, который мне пришлось увидеть, и никакие рассказы бывалых моряков не дали бы мне тех впечатлений, которые я вынес непосредственным ощущением их на море. Смею думать, что среди читателей найдутся и такие, которым не приходилось бывать в тех местах, где пришлось побывать мне. Вот их-то я имею в виду, принимаясь за перо, и предваряю читателя, что Тюлений остров с точки зрения промышленного значения его для края составит предмет особой статьи.

Шхуна «Алеут», на которой, благодаря любезности морского начальства, я совершил путешествие, снялась с якоря 6 октября, в 7 часов утра. Тихая, ясная погода давала достаточное основание думать, что если не в продолжение всего пути, то, по крайней мере, весь этот день будет благоприятный для плавания.

Вскоре пестрые дома города стали сливаться в общую бесформенную массу, и городской шум не доносился уже до нас, а вместо него раздавался шум машины да слышался легкий всплеск волны. Раз еще показались переселенческие бараки да новый госпиталь на Шкотове и — до свиданья, город Владивосток. По прибрежным горам Русского острова и по берегам бухт Голдобина извивались там и сям, среди поблекшей растительности, змеей дороги к батареям, к этим опорам Владивостока в случае нашествия иноплеменных супостатов...

— А вот вам и Скрыплев,— прервал мои размышления наш штурман, показывая рукой.

Справа показался небольшой островок с несколькими постройками.— «Да, вероятно, не весело, подумал я, живется здесь, особенно зимою». Далее показался знаменитый остров Аскольд, на котором когда-то китайцы занимались хищнической добычей золота, а теперь на нем прииски г. Кустера. Остров этот возвышается над морем одной округлой горой, покрытой обильным лесом. Я представляю себе эту гору, красивую, летом в густой яркой зелени, но теперь она напоминает собою поблекшую красавицу, смывшую перед сном свои румяна.

За Аскольдом, справа, открылось уже Японское море, без-

брежная даль воды которого слегка рябилась; слева потянулся гористый безлюдный Татарский берег, который местами обращал мое внимание своей оригинальностью. Временами одинокие скалы среди водной глади или на откосе вершин кажутся издали какими-то причудливыми руинами, замками и даже человеческими фигурами. Названия: «Пять пальцев», «Собор» — указывают сами на фигурность этих скал, хотя «Пять пальцев» — пять каменных столбов среди моря скорее похожи издали на человеческие фигуры-гиганты, стоящие рядом, чем на пальцы. В общем Татарский берег обрывается к морю крутыми скалами, имеющими цвет сероватый, которые в туманную погоду крайне трудно различимы глазу, особенно ночью.

Утро нас не обмануло: день и ночь вполне благоприятствовали плаванию, только к полдню следующего дня, подходя к бухте св. Владимира, задул NW с такою силою, что не было возможности продолжать плавание, почему командир решил переждать погоду в этой бухте. Я теперь видел свирепость волн, видел, как они, как разъяренные львы, набрасывались на шхуну, словно пытаясь опрокинуть и захлестнуть ее собою, но она, как ни в чем не бывало, плавно двигалась вперед, слегка вздрагивая и рассекая волны, которые отлетали с глухим рычаньем прочь, пенились еще больше, шипели, успокаивались, но зато другие на смену набрасывались с большей силой и свирепей. Но все-таки чувство от этих волн было слабым отголоском того, что я испытал во время шторма в Тихом океане на обратном пути. Все время я стоял на палубе и смотрел на встревоженное море, пока не вошли в бухту св. Владимира. Оглянувшись, я увидел вокруг кольцо гор, скрывших от нас совсем открытое море. И здесь заметны были рефлексы разошедшегося моря, несмотря на такое выгодное положение бухты. Когда бросили якорь, я внимательно оглядел берега бухты. Та же пустынность, лишь в двух местах виднелись одинокие фанзы.

Пользуясь удобным случаем, нас пять человек, вооруженных кто берданкой, кто обыкновенной охотничьей двустволкой, высадились на скалистый берег бухты и направились к пресноводному озеру в небольшой ложбине, впадающему протокой в бухту. Протока эта настолько мелка, что ее можно было перейти вброд в походных сапогах ниже колен. Побродивши вокруг и около, проследивши завистливым оком за высоким, недосягаемым выстрелу полетом уток, мы вернулись обратно ни с чем, если не считать случайно убитого кулика. Мои наблюдения на этом берегу ограничились только осмотрением фанзы, в которой мы не видели ничего, кроме оставленного домашнего скарба, постели и кукурузы, висевшей на потолке. Все это нам пришлось

рассмотреть через прорехи окон и дверей, заклеенных бумагой, так как на дверях для видимости висел старый заржавленный замок, который мог быть сломан и маленьким ребенком. Около этой фанзы лежал запас дров и доцветали огороды тыкв, лука и огурцов. Видно было, что хозяева ушли назад тому месяц на какой-нибудь промысел и, вероятнее всего, они были промышленниками морской капусты и сбывали ее где-нибудь, а к концу сезона вернутся обратно на зимовку. Говорят, что близ этой бухты есть свинцовые и серебряные руды, водятся тигры, а также много дичи. Насколько все это верно, не знаю, а подробно расспросить не у кого было, так как мне не пришлось здесь видеть ни одной живой души. Лишь на следующий день, когда мы снимались с якоря, с какой-то далекой фанзы к нам приблизился манза на своей утлой долбянке с пятнадцатью цыплятами, за которых запросил чисто по-владивостокски — 7 рублей! Видно, что им хорошо известны, даже в таких глухих местах, через своих скитающихся соплеменников существующие в городе цены и на нашем рынке. Однако его попытка поживиться не удалась, и он отъехал ни с чем. Это был единственный человек, которого мы видели по пути до Тюленьего острова. При благоприятной погоде, при легком «попутнячке», как выражаются моряки, мы вышли из бухты св. Владимира, поставив все паруса. Шхуна быстро скользила по водной глади, берега Татарского пролива принимали неясные очертания, скрывались в какой-то белесоватой мгле и, наконец, сливались с горизонтом, на котором вокруг было видно одно необъятное пространство воды; над ней там и сям реяли белые чайки, высматривая себе добычу. Раз как-то пролетела сова, бог ведает, откуда появившаяся, с явным желанием приблизиться к судну, но, вероятно, испугавшись пыхтенья машины да гомона людского, метнулась в сторону и потонула в небе.

— Вероятно, накануне отбило ее ветром с Сахалина,— сказал кто-то.

И снова пустынное пространство Японского моря, по которому, пыхтя, скользит одна только наша быстроходная шхуна с надраенными парусами, слегка вздрагивая от движения винта. Полагаю, что в этот момент «Алеут» был бы прекрасным сюжетом для художника-мариниста, но только ему бы не удалось нанести на своей картине длинный хвост едкого дыма, видного на других пароходах за сотни верст (плохая маскировка), так как шхуна отапливалась бездымным английским углем.

Я долго, пытливо всматривался в это безбрежное море, желая уяснить себе свои впечатления, но они не поддавались определению. Внушали ли они невольное смирение перед величием моря и мощью его, в силу которой море по капризу может сглотнуть

бесследно наше судно, или я просто благоговел перед этой безмолвной, таинственной стихией,— не знаю.

— Смотрите сюда, — сказал командир, передавая мне бинокль.— Вон, вон, в ту сторону,— и показал рукой, куда все офицеры направили свои бинокли. Я тоже направил бинокль, но как я ни пытался рассмотреть что-либо на горизонте, ничего не видел.

— Не видите?.. Небольшой бугорочек в бурунах? Это «Камень Опасности».

Наконец, я уловил. Действительно, едва уловимый даже в бинокль выдавался над морем маленький беловатый бугорочек, который маскировался еще больше белыми гребнями бурунов, пенившихся вокруг этого маленького, но опасного для мореплавателя ночного страшилища.

Слева неясным силуэтом, задернутым той же белесоватой мглой, обозначился высокий берег Сахалина. Побывать на нем не удалось. Я видел только его гористые берега с пожелтелой зеленью, которые на обратном пути были уже на вершинах покрыты слегка снегом. При входе в Лаперузов пролив нас захватила зыбь, покачавшая-таки немало. Морская зыбь — это громадные валуны при тихой погоде и величиной бывают нередко больше волн, с большими гребнями, подымающимися от ветра. Порывы ветра как бы придавливают эти волны и не дают им вздыматься кверху. Зайдя за остров, зыбь улеглась, и мы пошли к Тюленьему острову при благоприятной погоде. Все немало удивились благоприятному состоянию столь беспокойного океана, как Тихий. К утру следующего дня все офицеры силились что-то разглядеть в бинокли на горизонте, они высматривали Тюлений остров — цель нашего путешествия. Вскоре мы его разглядели. Серое очертание острова едва обозначилось впереди на фоне белесоватого горизонта, с которым оно почти сливалось. Наконец, я мог ясно разглядеть этот пустынный мрачный островок-скалу с круто обрывающимися берегами среди моря. При виде этого острова мне невольно припоминались стихи Лермонтова из «Воздушного корабля»:

Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит...

— Это и есть Тюлений остров? — спрашивали друг друга на палубе некоторые.

— Ну и глушь же какая! Ведь тут смертельная скука. Пять месяцев пробыть на этом острове — это значит пять месяцев вычеркнуть бесследно из своей жизни.

— Где же команда живет?

В ответ на этот вопрос кто-то сказал:

— А вон четыре домика, прижавшихся к скале.

Действительно, четыре серых домика, сливаясь с серым же цветом гранитной скалы, едва были заметны глазу, тем более, что они вплотную прижались к скале, словно прячась от кого-то. Это впрочем имеет основание — тщетное желание замаскировать от котиков присутствие на острове людей.

Шхуна пошла малым ходом, ориентируясь, где бы бросить якорь. А в то время на острове подняли военно-морской флаг, и вскоре на песчаной отмели берега засуетились люди около шлюпки, которую стащили в воду, и направились к нам. В ней сидел лейтенант Гинтер — начальник охраны острова. С каким неподдельным восторгом он здоровался со всеми!

— Слава богу! — повторял он радостно. Да и было с чего радоваться! Получив от командира инструкцию — немедля собираться в путь, он сел опять в свою шлюпку, захватив с собою двух офицеров и меня.

— Вот вам и Тюлений остров,— сказал лейтенант Гинтер, вылезая из шлюпки.— Вот он, этот знаменитый котиковый остров! Вот тот остров, из-за которого погибли отличные моряки: лейтенант Россет и Дружинин, из-за которого погиб лейтенант Налимов и девятнадцать человек матросов с злополучным «Крейсерком», из-за которого погибли и хищники-американцы с своей «Розой». Да, немалых жертв и немалых тревог стоит этот остров нам! Дай бог только, чтобы эти жертвы и тревоги не повторились больше!..

Мы ступили на песчаную отмель берега и пошли за лейтенантом Гинтером в его укромную обитель. Домик его по внешности ничем почти не отличался от остальных трех прижавшихся к скале, в которых жила его команда и где хранился запас и имущество ее. Внутренность помещения хозяина тоже далеко не могла похвастаться комфортабельностью: обстановка совершенно бивуачного характера, что в совокупности с невзрачными двумя комнатами (из которых в одной жил сам Гинтер, а в другой его вестовой, фельдшер и еще один нижний чин), не могла умалить уныние, которое способна наводить пустынность острова и такое же пространство моря, вечно однообразный шум которого вместе с унылым криком чаек да криком котиков может повергнуть человека, особенно привыкшего жить в обществе, в отчаяние.

— Скажите, пожалуйста, это вся растительность на острове? — спросил я у хозяина, показывая на тощий мох, лежавший зеленым бархатом кое-где на граните скалы.

— А чем бы питались мои две козы, если бы не было здесь

растительности,— сказал он.— Вот увидите, наверху растет лебеда.

Пошли мы и на вершину скалы, но и тут, кроме голой площадки, голой, как колено, я ничего не видел. Может быть, и были раньше, летом, какие-либо признаки растительности, но теперь, признаться, как я пытливо ни разглядывал голую плешь скалы, никаких признаков растительности не видел. (Точная величина всего острова в длину 218 саженей, а в ширину 18, высота около 6 саженей.) На самой средине этого пространства торчал высокий шест для флага, здесь же, внизу, висели бинокль и чучело котика-секача, которое мы и привезли сюда. Далее виднелась обновленная могильная решетка, за которою на кресте можно было прочесть имя «усопшего раба божия промышленника алеута Стефана Бурдукова, умершего в 1875 году». Из-за камня выглянула голова какого-то животного, которого я принял за собачку, но она не подошла на мой зов, а, боязливо поднявшись, отбежала в сторону. Тогда я только рассмотрел лисий хвост. Оказалось, что у г. Гинтера их две на острове. Потом они мирно подходили ко мне и ластились около, как собаки. Из них одну взяли с собой, а другую не пришлось поймать: она осталась, дикая на диком острове, где ей тоже пищи много: чайки и котиковое мясо. Интересных птиц — арр, несущихся на этом острове и выводящих здесь своих птенцов, мне не пришлось видеть, так как в августе месяце они уже покидают остров, чтобы появиться снова для той же цели в июне и июле. Весь остров в это время покрывается ими и их яйцами, которые они кладут на скале где попало. Яйца их больше куриных, с заострением. На американских рынках они ценятся больше куриных: дюжина стоит 20 центов. Говорят, что они полезны. Перевозят их в бочках, заливают их известью для предохранения от боя и гниения. Вот еще предмет для утилизации. Отчего мы не воспользуемся им? Иль у нас не хватает уменья? Ведь дешевле пареной репы, или, проще сказать, просто даром...

Переночевав у г. Гинтера и ознакомившись ближе с котиками, я отправился на судно, куда перебралась и вся охранная команда, заколотив двери и окна, причем на окнах, с целью замаскировать уход команды, были нарисованы стекла черною краскою (и это на страх отчаянным хищникам, которые в 1883 году вешали здесь промышленников-алеутов, когда к острову был откомандирован Блэр со своей шхуной «Леон»).

10 числа мы ушли обратно. Но на этом-то обратном пути погода была далеко не благоприятная. Мы попали в шторм, или в «штормягу», как выражались моряки. Офицеры с вахты приходили промокшие, прозябшие, с белой пудрой на лицах от осевшей

морской соли. Волны рычали, как взбешенные львы, и как львы же бросались на палубу, падая через иллюминатор в кают-компанию крупным дождем. Качка была сильнейшая, и грохот и звяканье от посуды в буфете и падающих стульев лишали меня возможности заснуть всю ночь, хотя, к зависти моей, все остальные спали, по-видимому, безмятежным сном, и сменявшиеся вахтенные, к досаде моей, задавали мне вопрос:

— Отчего вы не спите?

Лишь к утру угомонились волны, точно и им надоело трепать и встряхивать нашу шхуну, с замечательной стойкостью отражавшую все их напоры.

— А что? Узнали теперь море? — засмеялся наш доктор.

— Узнал,— сказал я.

Но при всем этом мне не пришлось «травить канат», вопреки ожиданиям, до окончания плавания. Как ни приятна была эта импровизированная моя прогулка, но приятнее было видеть Владивосток, хотя никакие особенные симпатии не связывают меня с ним. Я вздохнул свободнее, когда раздалась зычная команда вахтенного начальника в бухте «Золотой Рог», против порта: «Отдать якорь!..»

ТЮЛЕНИЙ ОСТРОВ

(Очерк)

О Тюленьем острове, который бы правильнее следовало назвать Котиковым островом, писано довольно много, начиная с капитана Крузенштерна, увидевшего 24 мая 1805 года первые каменья, окружающие этот остров. Писал о нем и агент промышленной компании, взявшей в аренду промысел, капитан Блэр (1882 г.), лейтенант Шамов (1884 г.), подполковник генерального штаба (ныне полковник) Волошинов (1884—1885 гг.) и др., а в 1887 г. лейтенант Россет в местном обществе изучения амурского края прочел весьма обстоятельную лекцию о жизни котиков, сделав в то же время довольно точное определение положения острова в водах Охотского моря.

Характер настоящего краткого очерка несколько иной, чем материал, опубликованный вышеназванными лицами, преимущественно обращавшими свое внимание на ознакомление читателя с точным географическим положением острова и жизнью самих котиков. Я намерен коснуться вопроса, какое промышлен-

ное значение имеет для нас Тюлений остров и насколько наши охранительные меры достигают прямой своей цели? При разборе его я коснусь описания самого острова и жизни котиков настолько, насколько это касается вопроса.

Пустынный, каменистый, маленький Тюлений остров с круто обрывающимися к песчаной отмели берегами производит на вас уныние в пустынном море, над уровнем которого он возвышается в виде серой скалы, приблизительно саженей на шесть. На этой высоте остров представляет гладкую площадку, на которой можно видеть тощий зеленый мох и изредка признаки лебеды. Величина острова, как я уже упоминал в предыдущих номерах газеты, 212 саженей в длину и 18 в ширину. Остров безлюден, и только пять месяцев здесь живет команда моряков, охраняющая котиков от хищников, которые появляются в этих местах промышлять китов и котиков. Бить их может только американская компания Гутчинсон, Кооль и Филиппеус, взявшая промысел в аренду.

В бытность мою на острове, когда я поднимался на голую площадку его, я был поражен неожиданными звуками. Сквозь глухое ворчанье волн, омывающих песчаную отмель острова, я слышал явственно разноголосое блеяние тысячи овец, к которым, как мне чудилось, выпущены ягнята. Иллюзия была полная настолько, что я мысленно перенесся в этот момент в одно из степных сел России, где приходилось мне видеть возвращение стад овец с поля и слышать то же разноголосое блеяние суетящихся овец и овечек, ищущих друг друга среди тысячи себе подобных. Но в данный момент от меня были скрыты котики, эти морские овцы, как я их называл, и потом был удивлен, когда увидел этих овец-котиков (Otaria ursina), не имеющих никакого внешнего подобия с овцами. Котик — род тюленя, и имеет морду, похожую несколько на кошачью. Но большие, темные, необычайно выразительные, глубокие глаза заставляют забывать уродливость их туловища с широкими некрасивыми передними и задними ластами, из которых первые служат для медленного уродливого движения и на суше, в то время как задние остаются почти в бездействии и волочатся, напоминая в этом виде животное с перебитым задом. Но зато эти последние работают с необыкновенной быстротой и легкостью, когда котик попадает в свою водную стихию. Надо видеть, как это неуклюжее, угловатое на суше животное грациозно плавает в воде, то ныряя, то взлетая! Котики в своей кротости и незлобивости смахивают на тех же овец. Загнанные в лежбище тремя-четырьмя людьми, они покорно жмутся к подножью скалы, скучиваются, елико возможно, причем большие, особенно секачи (здоровые самцы), карабкаются

на более слабых, изредка издавая глухое ворчанье, раскрывают рот, в котором видны небольшие зубцы, служащие им для разрывания морской растительности, чем, вероятно, котики преимущественно и питаются. Коты живут не на одном Тюленьем острове. Командированный на Командорские острова подполковник генерального штаба г. Волошинов говорит в своем отчете, что котики живут еще на островах: Прибылова, Командорских (в Беринговом проливе), острове Тюленьем (в Охотском море) и на островах Японии, у берегов Виктории — в Северной Америке, на островах Лабас, мыса Горна (в Южной Америке), мыса Доброй Надежды и в Южном Полярном океане.

В своей брошюре о Командорских островах мичман Беклемишев добавляет (1884 г.), что котики водятся еще на Ново-Шотландских и Фалкландских островах, у берегов Чили и Буэнос-Айреса. Таким образом, распространение котиков довольно обширное, и, как видим из перечисленных пунктов, они живут во всех почти полосах земного шара, не избирая для себя какую-либо преимущественно.

Куда исчезают котики Тюленьего острова на время зимы — уходят ли они в более теплые моря на время зимовки или остаются в водах Охотского моря — неизвестно, известно только, что они к половине ноября месяца исчезают с острова,— выходит, значительно раньше пернатых залетных обитательниц того же острова, арр, которые оставляют его в начале августа месяца. Появляются же котики на лежбище в мае месяце, хотя это появление в нынешнем году было слишком позднее сравнительно с предшествовавшими годами, так как лед в окружающих остров водах запоздал. Так, до 16 июня число котиков, выходивших на лежбище, колебалось между 10 и 25, а затем в течение четырех последующих дней число это дошло до тысячи. Несмотря на такое быстрое возрастание, котиков убито в нынешнем году значительно меньше, чем в предшествовавших годах, с одной стороны, потому, что компанейская шхуна с Алеутских островов пришла для промысла поздно, вследствие льдов, а с другой, потому, что те же льды не позволяли маткам выходить на берег, почему они должны были рожать детенышей на льдах, где многие и замерзли, хотя на берегу усмотрено было только до 30 выброшенных трупов замерзших котиков. Вследствие этих причин в нынешнем году убито промышленниками 1456 котиков вместо предполагавшихся 3000, о чем компания и ходатайствовала пред генерал-губернатором. Число убитых котиков с 15 июля по 15 сентября по роду и времени года распределяется так: холостых 1228, задохлось самок 210, убито самок нечаянно 18, число бракованных 3. По времени года: в июне 90, июле 439, августе 629, сентябре 303.

Но кроме Тюленьего острова, компания, как известно, промышляет еще на двух островах, находящихся в гряде Алеутских островов и принадлежащих России: Медном и Беринге, на котором и находится администрация по котиковому промыслу. На этих островах, по частным сведениям, убивают ежегодно около 100 тысяч котиков: следовательно, Тюлений остров по своему промысловому значению занимает для компании второстепенное место. Бьют котиков под контролем упомянутой администрации, причем воспрещается, под страхом штрафа, бить маток и детей до известного возраста, для чего вместе с промышленной шхуной приезжает на Тюлений остров казак наблюдать за убоем. Промышленники обыкновенно привозят с собой опытных алеутов, которые отличают по внешним признакам маток от холостяков, секачей (непривычному глазу весьма трудно их отличать), производя операцию убиения ударом простой палкой по голове. По снятии шкурок их обыкновенно сворачивают в маленький тючок попарно, причем в средине находится соль, около 30 фунтов,— в таком виде их посылают для выделки в Лондон. Неотделанная котиковая шкурка некрасива: серая, иногда темно-коричневая и сравнительно грубая, она не может быть роскошью щеголих. Поэтому и ценность неотделанного котика у нас незначительна — 3 р., тогда как дамская шубка из выделанных шкурок доходит в самой Америке до 250 долларов. Умея доводить котиковую шкурку до такой ценности, американцы и англичане и утилизируют этот промысел.

Если бы и остальные промысла наши, как-то: китовый, рыбный, капустный, трепанговый и др.—были бы урегулированы и эксплуатировались бы рационально, прогрессируя ежегодно доходность от них, тогда бы правительство не стало в такое затруднительное положение над вопросом об изыскании средств для осуществления такого общегосударственного вопроса, как проведение железной дороги через Сибирь. Но эксплуатация этих промыслов зачастую происходит не только нерационально, но порою и хищнически, причем еще кроме своих отечественных хищников, промышляющих на «легальном основании», присоединяются и иллегальные наезжие из-за моря и пользующиеся нашим недосмотром, неуменьем, халатностью, непредприимчивостью. Отчего бы самим русским не эксплуатировать некоторые промысла, могущие дать солидный дивиденд, но неправильно поставленные, как, например, котиковый. Но с возрастанием спроса на котиковый мех постепенно уменьшается и количество котиков вследствие разных причин,—по крайней мере, это замечается на Тюленьем острове, на котором, например, в 1887 году считалось до 8 тыс. голов (причем промышленники убивали до 3 тыс.,

тогда как промысел нынешнего года ограничился 1456), а теперь количество всех котиков определяется приблизительно в 5 тысяч. За три года разница довольно заметная, даже при тех условиях промысла в нынешнем году, о которых мы упоминали выше. Но какие же причины влияют на уменьшение котиков и как устранить эти причины для продления самого промысла?

Я упоминал уже выше о двух причинах: истребление и напугивание. Последнее обстоятельство на Тюленьем острове вытекает,— кроме визитов промышленников, оставляющих на острове кровавые жертвы на пищу чайкам и гниению, еще — и это главная причина—из присутствия охранной команды на самом острове. Команда никоим образом не может маскировать своего присутствия на острове, иначе она не должна никуда выходить из своих караулок, так как остров слишком мал. Вследствие всего этого котики не показываются с западной стороны острова, где находятся четыре домика команды, и избрали себе лежбищем один пункт береговой песчаной отмели на противоположной стороне, пространством не более как пятнадцать шагов в длину и около семи шириной. На этом пространстве, у подножия круто обрывающегося скалистого берега острова, котики выходят на отдых периодически днем и на глубокий сон ночью с своими детенышами. Но что за смрадный запах в этом месте от гниения трупов, с которых содраны шкуры, брошенных здесь на пищу чайкам или выброшенных прибоем волн! Иногда трупы зарывают тут же, на месте бойни, но могут ли неглубокие могилы в песке отмели остановить заразу воздуха, не говоря уже о грудах котиковых костей. Но весь этот смрад и эти кости разве не усугубляют страх котиков, помимо присутствия на острове людей?

Кроме того, вечно беспокойные волны делают свою неустанную работу разрушения самого острова. Прибои волн, врывающихся через отмель до самой скалы, постепенно обмывают ее и заставляют обваливаться. Работа эта, хотя медленная, но идет к тому, что со временем остров этот образует собою шхеры — опасное место для мореплавателя. Так, по свидетельству С. С. Россета, бывшего там, как я уже упоминал, в 1887 году, длина острова была около 300 саженей, а ширина в средине около 50. Ныне же лейтенант Гинтер определяет длину острова в 212 саженей, а ширину в 18,—разница, как видно из этих чисел, получилась громадная за это короткое время. Но не одни котики уменьшаются,— заметно уменьшение и кротких, безбоязненных птиц арр, прилетающих сюда летом класть яйца и высиживать их, которые по вкусу не уступают куриным, не говоря уже о том, что яйца их в два раза крупнее и полезнее, как утверждают знатоки. Американцы поняли это, и яйца арр, несущихся на острове в известное

время лета, десятками тысяч идут в дело, ценясь дороже куриных на американских рынках. Но аррам нет покоя, как нет покоя и котикам, которые по своей кротости и незлобивости не уступают сказанным птицам, и как беспощадно ни уничтожает их человек, они льнут все еще, конечно, уменьшаясь, к этому обетованному для них месту. Какая-то неотразимая сила влечет их сюда в известное время года, и в это время человек систематически уничтожает их. Среди арр, когда они сидят на острове, человек разгуливает, как среди домашних кур или уток. Если какая-либо часть скалы, сплошь занятая птицами (так что негде ступить ноге), будет очищена от снесенных яиц, то за ночь эта площадка снова покрывается свежими и так до периода вывода птенцов.

Котики дичают и исчезают с году на год, боясь присутствия и неприветливого обращения с ними человека. Но каким же путем устранить это обстоятельство, сильно мешающее продлению существования котиков на острове, а, следовательно, продлению самого промысла? Самое первое действительное средство — это перенести охранную команду с острова на мыс Терпения, откуда и делать наблюдения до окончательного ухода этих животных с острова. Мыс Терпения отстоит от острова приблизительно миль на 30, и есть полная возможность наблюдать оттуда за появляющимися около острова судами, или делать периодически туда наезды, для чего команда должна быть снабжена паровым катером подходящего типа. Если эта мера окажется неудобной почему-либо, хотя бы из опасения, что отчаянные хищники, рискуя разбить свою шхуну о подводные камни, окружающие остров кругом мили на две,— будут приходить на ночной промысел, когда котики спят, тогда последнее и самое верное средство — оставлять охрану на острове на круглый год, делая смену один раз в год в удобное навигационное время, а не поздней осенью и ранней весной, т. е. в самое беспокойное. Эта мера имеет двоякую существенную выгоду: 1). Суда, крейсирующие по сравнительно беспокойному и малоизвестному Охотскому морю ради охранных команд, не будут подвергаться риску. Говоря это, я опять вспоминаю судьбу несчастного «Крейсерка» со всем его экипажем и гибель лейтенанта С .С. Россета на том же судне. 2). Главная цель охраны будет достигаема, так как будет положен конец хищническому истреблению котиков после ухода команды, когда еще котиков много выходит на лежбище и к тому же с вылинявшей октябрьской доброкачественной шкуркой и когда молодые подросли достаточно. В нынешнем году, например, команда снята 10 октября, но гарантированы ли котики, что еще после ухода не били их хищники, которые незадолго до прихода «Алеута» подходили к ост-

рову с злым умыслом и ушли в море благодаря протесту команды, выразившемуся в предупредительном холостом залпе по хищнической шхуне. Несмотря даже на это, шхуна под шведским флагом подошла близко к острову и высматривала лежбище, а затем скрылась в море по направлению мыса Терпения. Но кто нас уверит, что эти хищники оставили после этого свое намерение и не выжидали только момента снятия команды, что им приблизительно, должно полагать, было заранее известно? Кто уверит нас, что эти хищники не выжидали ухода «Алеута» где-нибудь близ мыса Терпения или в Японии и не были уведомлены об этом какими-либо тайными агентами, хотя бы даже отсюда, из Владивостока? Кто скажет уверенно, что они сейчас же после нашего ухода не нагрянули на опустелый остров и не разыграли роль полных бесконтрольных хозяев и, не опасаясь обратного прихода команды, не учинили самую беспощадную бойню котиков, не разбирая ни возраста, ни пола их?

Кроме этого, как дознано, хищники бьют котиков еще в воде из ружей, когда они отплывают далеко от острова или встречаются группами на пути от острова в неизвестный пункт зимовки или на обратном пути. Что хищники делают на острове беспощадную расправу по уходе команды, то это уже констатировано фактом: по приходе команды в нынешнем году на остров, на место бойни, найдено много котиковых трупов, с которых хищники не успели еще содрать шкуры,— следовательно, они бьют даже больше, чем они могут содрать шкурок. Бывший в нынешнем году начальник охраны высказал полную уверенность, что с уходом команды сейчас же явятся хищники для беспощадного промысла. И если допустить эту возможность, то приблизительно можно понять, какое количество маток и детенышей уничтожается ими. Котики исчезают до весны с острова лишь с половины ноября, а команда снята, как сказано, 10 октября, так как дольше нельзя ее и держать при указанных неблагоприятных условиях плавания и пребывания на острове людей. При этих условиях достигается ли прямая цель охраны котикового промысла на Тюленьем острове? Едва ли! Но если согласиться с тем, что команду нужно держать на острове круглый год, то условия жизни на нем тяжелые: нет зимних помещений, трудно жить среди пустынного моря на таком же каменистом острове. Следовательно, надо облегчить команде эти лишения на случай пребывания там на год, что можно достичь путем постройки зимней квартиры и увеличения средств команде (исходя из того, что и арендная плата значительно увеличивается), чтобы все эти лишения не казались ей такими тягостными. Меры эти необходимы, если мы только действительно хотим поддержать котиковый промысел на Тюленьем

острове. Нет необходимости назначения туда именно морской команды, если такое назначение отрывает отчасти строевых чинов, и туда может быть назначена всякая военная команда с точными инструкциями, увеличивающими их права контроля над бесцеремонными хищниками, которые так дерзко и нахально лавируют вокруг острова в чаянии поживиться чужим добром.

Случай, имевший место в 1883 году на этом острове с капитаном Блэром, ходившим сюда на компанейской шхуне «Леон», ярко иллюстрирует это их нахальство. Подошедшая к острову хищническая шхуна послала на берег ультиматум свой капитану Блэру (командированному от компании), чтобы он убирался с острова подобру-поздорову. Блэр, видя, что сила ломит и соломушку, покорился предложению и ушел во Владивосток с жалобой, что-де вот что проделывается на Тюленьем острове. Тем временем хищники принялись хозяйничать и загнали котиков в лежбище. Один из алеутов Блэра, оставшихся на острове, тихонько с берега бросил камешек в стадо котиков, чем сделал среди них переполох: некоторые в испуге бросились в воду. Непрошеные хозяева поймали алеута и, недолго думая, вздернули его на веревке.

— С каждым, кто осмелится повторить ту же шалость,— сказали они остальным трем-четырем алеутам,— будет та же расправа.

И, похозяйничав вдоволь, пустились туда, откуда они пришли. А кто они были? Спрашивайте у моря. А кто были те люди, которые в нынешнем году так дерзко подошли к острову, вызвав даже предупредительный холостой залп команды? Хотя шхуна их была под шведским флагом, тем не менее, они не оказали должного почета поднятому русскому флагу, не спустив свой.

— Я бы, согласно духу морского международного права,— говорил начальник охраны, — мог воспользоваться невыгодным положением шхуны и перебить экипаж этой дерзкой хищнической шайки, не имеющей национальности и совершающей свои деянья, прикрываясь флагом какой-нибудь нации, чтобы избежать правосудия...

И совершенно справедливо следовало бы воспользоваться этим правом, и тогда можно с уверенностью сказать, что дерзость хищников значительно поубавилась бы. А попробуй-ка с такою же дерзостью подойти, если есть такая же русская шхуна, к котиковым лежбищам, принадлежащим этим отчаянным людям, «не имеющим национальности». Должно полагать, они бы не задумались воспользоваться этим своим правом и, пожалуй, даже постарались бы усугубить это «право». А мы даже своим правом стесняемся пользоваться...

ПРОМЫСЕЛ КОТИКОВ

(Рассказ)

— Пора, пора! — сказал алеут,— уже шесть часов. Котиков загнали в лежбище...

Октябрьское утро едва брезжило сквозь матовые стекла домика, в котором я провел ночь. Я наскоро набросил на себя меховой пиджак и вышел с алеутом, сопровождавшим всегда американскую промышленную компанию по котиковым островам в качестве бойца котиков. Было время промысла. Мы спешно поднялись на площадку маленького островка и, сделавши шагов восемнадцать до противоположного берега, стали спускаться по крутому обрывистому берегу к лежбищу котиков, где уже четыре человека промышленников окружили просыпавшихся животных. Я едва мог удерживаться руками об острые выступы скалы, так как ноги мои скользили по крутизне и срывавшиеся из-под ног камни скатывались вниз к отмели берега с глухим рокотом. Когда я спустился к лежбищу, мне представилась сквозь полумрак раннего утра такая картина: несколько алеутов (помнится, человека четыре или пять) стали рядом, шагов пять или шесть друг от друга, держа перед собою небольшие дубинки. Они загородили котикам дорогу к морю, которое гудело и шипело прибоем волн. Перед нами у подножия крутого скалистого берега лежали котики — одни уже проснулись, а другие еще спали глубоким сном,— темной бесформенной массой. Рань утра еще не позволяла разглядеть ясно отдельных экземпляров. Порою эта масса двигалась, из массы вырывались какие-то глухие звуки секачей, походившие на кряхтенье; животные временами порывались прорваться сквозь цепь вооруженных палками алеутов, делая некрасивые, неповоротливые прыжки передними ластами, волоча за собою задние. Но алеуты их отгоняли назад палками, не задерживая молодых детенышей, которые тоже ковыляли, как могли, за своими родителями. И эти детеныши жадно бросались в свою стихию и грациозно ныряли в волны моря. Бойня еще не начиналась, выжидали наступления момента, когда ясно будет видно котиков. Молча выжидали и мы этого времени. Свежий холодный ветер. Кое-где белые чайки уже стали показываться и реяли над лежбищем и ныли. Они, вероятно, чуяли кровавый для себя пир. Слышался откуда-то острый запах падали. Под ногами валялись кости. Восток начинал принимать бледно-желтый цвет, а затем первый луч солнца упал на крутой скалистый берег острова, под которым прижались с тысячу котиков: секачей, маток детенышей. Я видел теперь явственно этих странных тюленеобразных

животных, неповоротливо толпившихся на небольшом пространстве своего лежбища, куда они выходят днем на временный отдых, а ночью на глубокий сон. Более взрослые самки, как более сильные и опытные, чуяли близость чего-то недоброго и тревожно, сколько им позволяли передние ласты, карабкались на менее сильных маток и детенышей. Круглые глаза их, темные, глубокие, отливались порою металлическим цветом, а пасть беззвучно разевалась, причем были видны небольшие клыки, которые не могли причинить врагам их чувствительной боли. Неуклюжая масса этих животных жалась к обрывистому берегу скалы, причем более пугливые отдельные экземпляры, инстинктивно чувствовавшие близость чего-то ужасного, рокового для них, напрягали последние свои усилия и карабкались своими веслообразными ластами на крутизну, причем часто срывались и кубарем скатывались обратно к лежбищу, увлекая в своем падении обломки скалы. Вон одному какому-то котику удалось взобраться на довольно большую высоту. Усталый, он растянулся на гладкой поверхности гранита и, обмахиваясь своими ластами, задыхается, поглядывая жадно на рокочущее море. Его манят влажные волны, в которые ему бы хотелось окунуться, чтобы избавиться от мучительного состояния. А в то же время из среды этих волн раздаются призывные голоса тысяч других котиков, которые поразительно напоминают блеяние овец. Словно тысячеголовое стадо баранов суетится и бегает, криком отыскивая маток и детенышей. Шум волн смешивается с этим криком, иногда прорываются унылые ноты реющих над нами чаек, и все это образует какую-то странную дикую гармонию, не поддающуюся никакому определению.

Я ждал момента, когда начнется самый бой,— интересная, но тяжелая драма, свидетелем которой я сделался совершенно случайно. Я посматривал на американца, от которого алеуты ждали приказания, но он стоял в стороне и флегматически, с засунутыми в карманы руками, смотрел на котиков, словно что-то соображая. Наконец, он сказал:

— Начинать!..

Алеуты по этой команде ступили к котикам, которые еще тревожнее заметались в беспорядочной плотной массе. С дубинами они высматривали опытным глазом холостяков, которым наносили этими дубинами удары по темени, и почти всегда удавалось им одним, не особенно сильным ударом нехитрого первобытного оружия уложить беззащитное животное на месте. Правда, некоторые порывались отстаивать свое существование своими неопасными зубами, слабо набрасываясь на своих врагов, но эти, опытные в своем деле, не опасались их бессильного нападения и

огорошивали их палками. Вон один из алеутов ударил палкой одного котика. Этот словно бы пригнулся от пролетевшего над его головой угрожающего предмета и снова судорожно приподнял голову. Но я видел, что один из его темных, глубоких больших глаз словно бы помутился и сузился, а другой, напротив, расширился и загорелся особенным блеском не то ужаса, не то мучительной, страшной боли. Алеут ударил его вторично по голове. Я услышал глухой хряск черепной кости, и кровь фонтаном брызнула из раны, а оба глаза его, выскочив из своих орбит, низко повисли на нервах. Котик как-то словно бы крякнул и упал набок. Горло заклокотало, затрепетало; из ноздрей и рта запузырилась кровь, пошла темно-алыми струйками по песку, насыщенному уже кровью не менее, чем прибоем морских волн. Алеут и не взглянул на него, а пошел дальше, ища других жертв среди этого неуклюжего стада. Несколько раз небольшие группы отделялись от стада и устремлялись к морю, чтобы спастись в своей стихии, но промышленники отгоняли их обратно, не трогая маленьких детенышей. Один раз только алеут сгоряча ткнул одного маленького котика концом палки в глаз в то время, когда он расправлялся с большим котом. Изо всей силы это маленькое животное вцепилось зубами в палку алеута, защищая, вероятно, своего родителя, и мешало промышленнику наносить удары. Он его отталкивал несколько раз в сторону ногой, но маленькое животное самоотверженно ползло обратно к алеуту и цеплялось снова зубами то за ногу, то за палку, но этот с двух-трех ударов покончил с своей жертвой и ринулся в более густую массу котиков. Жертва, как подстреленная птица крыльями, затрепетала передними ластами и потом осталась недвижимым трупом. Детеныш не уходил и долго еще, сидя у убитого котика, как-то жалобно стонал, словно плакал, а потом с раздувшимся глазом пополз с тем же жалобным криком к воде, но... он не в силах был вытаскивать свои ласты из мокрого песку и застрял у самой воды, беспомощно силясь добраться до нее. Такие же, как он, маленькие котики, близко-близко подплывали к нему и словно звали его к себе, усиленно блея около него. Он отвечал им жалобным слабым криком, он ныл, страдал, умирал. Голова его падала на песок, и он замирал, но когда его обдавала холодная струя прибоя волн, он снова тихо с усилием подымал ее и снова кого-то звал тем же жалобным голосом, а волны словно его манили к себе, то обдавая его своей влагой, от убегая от него. А тут еще зловещая чайка закружилась над ним и все приноравливалась, как бы выклевать ему другой, нераненный глаз. Мне стало бесконечно жаль котика. Я выбрал момент отлива и, подхватив его обеими руками, бросил в море, дальше, сколько хватило сил. Увы! Он не

в силах был уже плавать, его родная стихия его уже не принимала к себе, и новым прибоем волн он выброшен был на прежнее место. Тогда я сделал последнее усилие, и, обдаваемый выше колен волной, повторил свою попытку, но море не хотело его принимать больше. Тогда я пошел от этого места в хижину, где ночевал, чтобы не видеть всей этой картины. Но любопытство все-таки взяло свое, и я спустя полтора часа вышел посмотреть на место бойни с вершины обрывистого берега, возвышавшегося над лежбищем котиков. Бойня уже кончилась, но на лежбище осталось около полутораста трупов, с которых промышленники сдирали опытной рукой ценную шкурку. Чайки тысячами кружились над ободранными трупами, клевали кровавую пищу, дрались между собою и кричали своим унылым долгим криком, словно бы дополняли этим криком кровавую тризну. А там, в море, кишели и играли освобожденные котики, кувыркались, блеяли и подходили близко к берегу, порываясь снова выйти из него, но боялись людей. Иные и выходили, но, постояв и покричав, снова уходили в море. Я взглянул на то место, где мучился недавно молодой котик. Я увидел его на том же месте, но уже недвижимым, распростертым на морском песке. Чайка сидела на нем и клевала ему глаз; волны набегали на него, слегка вскидывали, но с отливом их он принимал прежнее положение,— он был мертв. Я отвернулся. К западу лежала неоглядная даль моря, подернутая на горизонте дымчатой мглой, справа виднелся темным крутым обрывом берег какого-то большого острова, и на силуэте его обозначались временами фонтаны проходившего кита,— словно дым от вспышек пороха... А там ближе к берегу и судно, на котором мне надлежало вернуться обратно домой, слегка на волнах колыхалось...

ЗАХОЛУСТЬЕ

(Страничка из дневника)

«Ах, какая адская скука!.. Это село с своими жалкими, унылыми избушками и мрачными мужичками положительно повергает меня в отчаяние! Я знаю, что это первое нахлынувшее впечатление после развеселой столичной жизни пройдет со временем; эта скука, которая ложится на меня невыносимо тяжелым кошмаром,— быть может, скоро и пройдет или, как мне говорят иронически старые сибиряки, вкусившие сладость этой захолуст-

ной жизни до слез: перемелется — все мука будет! Но пока... Ах, какая гнетущая скука!.. Без году неделя, как нелегкая меня затянула в этот безжизненный край, и уже помышляю как о чудном избавлении от тяжких испытаний — отряхнуть поскорее прах здешней земли от своих ног и удалиться обратно туда, где оставил все милое, дорогое моему сердцу, все, воспоминание о чем еще так свежо, ясно, невыразимо заманчиво... А между тем еще целых три года этой непосильно тяжкой жизни, чтобы иметь право получить прогоны и уехать... Нет, лучше не вспоминать! Отойдите, грезы о прошлом, не тревожьте раны мои, не маните напрасно в даль блаженного края!..

* * *

Принялся было за чтение, и как-то не клеится, да и материал скуден. Библиотека наша слишком уж мизерна по своему содержанию: больше специально военные книги и учебники для желающих готовиться в академию. Но эти учебники, кажется, оставляются в покое, так как, мне передавали «старики» же, захолустная жизнь засасывает всю энергию молодых людей и скоро охлаждает их страстные порывы вырваться отсюда на свет науки, в водоворот лучшей, деятельной, осмысленной жизни. «Посидят-посидят над этими учебниками, начнут вспоминать всю пройденную премудрость по этим учебникам, а окружающая мертвечина незаметно затягивает их в свою тину...» — так говорил мне не без некоторой грусти наш капитан Крутояров.— «На моей памяти,— а я вот двенадцатый год здесь — в академию вырвался только один, но и тот был человек недюжинной энергии: к нему как-то не приставала грязь, и не засасывала его наша жизнь...»

— Нет, уж и я непременно ими воспользуюсь,— сказал я Крутоярову.

Тот глянул на меня как-то боком и улыбнулся недоверчиво:

— Помогай вам бог,— сказал он, как бы желая загладить неловкую свою улыбку.— Что вам здесь прозябать? Вы еще молоды, в свете ваше время еще не ушло...

— Время еще не ушло! Неужели оно может так быстро уйти, и все мои заветные мечты разлетятся, как стаи испуганных воробьев от надвигающейся грозной тучи?!

Хорошо, что сегодня отменены занятия вследствие ненастной погоды. Но что это за погода! Я вижу из окна, как небо и земля слились в одну белесоватую мглу крутящейся пыли снега. Это здешняя пурга, про которую я слышал недавно. Не видно ни зги. Раз мелькнула мимо моего окна серая шинель солдата, укутанного с головой в башлык, и в мгновенье опять потонула в этой снежной мгле. В такие минуты уединения нескончаемою верени-

цею проходят перед моим умственным взором образы покинутых там дорогих людей и словно с укором смотрят на меня и незримо говорят: «Жаль нам тебя, Ваня, жаль!.. Беги оттуда скорее». И словно бы эта вьюга, рыдая, твердит тоже: «Беги, беги, беги!..»

* * *

Убегу, но как? Ведь не могу же ранее трех лет вырваться отсюда! Позднее раскаяние! А впрочем, разве не хватит у меня сил бороться в течение трех лет со всеми неблагоприятными условиями жизни этого захолустья? Полно, что за вздор? Возьму необходимые пособия для поступления в академию, запрусь — и пускай там плачет вьюга, крутя снегом. И опять словно слышу сквозь это неумолкаемое завывание пурги тихий голос укора...

* * *

Меня назначили учителем ротной школы... Обязанности учителя и наставника молодых солдат возбуждают мою энергию и придают мне твердую уверенность в моей полезной деятельности. Я доволен своими учениками, кроме двух-трех, для которых определение значения солдата представляет какую-то непонятную премудрость.

— Солдат есть имя общее и знаменитое, которое...

На этом почти всегда обрывается их ответ. Дальше они начинают упорно припоминать что-то, шевелят губами, сопят, потеют и, видимо, невыразимо мучатся сознанием, что не могут так же бойко отвечать, как их товарищи, на лицах которых они читают самоуверенную улыбку. Но терпение и труд все перетрут.

В свободное от прямых обязанностей время я подготовляюсь, стараясь удаляться по возможности от моих товарищей, о которых мне напел так много Крутояров. Оригинальная компания (она особенно развита в захолустных частях Сибири) состоит из молодых людей, которые убивают свободное время в коллективной выпивке долгие скучные часы. Разговор о служебных делах, критика того или другого случая с кем-либо на ученье, о замечаниях начальников, о мельчайших случаях во время службы; шутки по адресу друг друга и, наконец, рассказы и анекдотцы довольно скабрезного свойства — все это составляет характерные особенности этих сборищ товарищей. Впрочем, иногда не без удовольствия сидится в этой компании, но частое посещение этих сборищ меня гнетет, особенно когда видишь какого-нибудь юнца, который просто бравирует своей способностью вливать в свою утробу водки более, чем он в силах выпить: он силится доказать, что он далеко не «красная девица».

Вчера в первый раз побывал в нашем собрании на танцеваль-

пом вечере. Зима почти на исходе, а всего второй раз такой вечер. В маленькой танцевальной зале собралось не более трех-четырех «своих» дам. Кавалеры больше грелись около буфета в соседней комнате. Там было шумно и весело, в танцевальной же тихо и скучно. Дамы смотрели надуто, строго-полуначальнически, кавалеры как бы по обязанности занимали их шаблонными разговорами, что им, видно, доставляло нескрываемую муку, их тянуло к буфету, откуда порою раздавались взрывы веселого, громкого хохота. Я стоял у дверей и смотрел, кто-то схватил меня за руку и слегка толкнул в танцевальную залу: это был Крутояров, который подвел меня к своей жене, важно сидевшей с другой дамой.

— Занимайте этого молодого человека,— обратился он к ним,— а то он скучает.— Бросив меня, товарищ исчез по направлению к буфету, откуда резче всех доносился говор Соловья.

— Сядьте вот тут! Что вы стоите?.. Вот еще дикарь-то. Ну, говорите что-нибудь, занимайте дам.— И она как-то неловко захихикала, значительно взглянув на соседку.

— Извините,— сказал я, присаживаясь,— я не мастер занимать дам.

— Ходите почаще к нам, я вас расшевелю. Вы играете в карты?

— Нет...

— Ни во что?!—воскликнула она, ужасаясь.

— Ни во что.

Моя собеседница покачала головой с таким выражением, как будто я сообщил ей величайшее горе.

— Ай-ай-ай!..— продолжала она качать головой.— Да как же у нас без карт жить?! Вы должны научиться, слышите? Хотя по маленькой в кавказский или в преферанс... Я научу вас непременно. Кроме того, у меня прекрасная закуска к водке. Мой муж любит рыжики николаевские, маринованную кету, огурчики...

— К сожалению, я не пью.

— И не пьете?! Что же вы делаете?

— Ничего особенного: занимаюсь своим делом...

— Нет, я вас вышколю, вышколю! Иначе я буду жаловаться мужу, и он, как ваш ротный командир, будет вас наказывать!..

В это время музыка заиграла какую-то польку, и моя дама, не первой молодости, пошла в пляс с подскочившим кавалером.

* * *

Был на днях у Блиновых, приехавших недавно к нам из России из N полка. Я искренне позавидовал их счастью. Оба молодые, здоровые, красивые, с светлым взглядом на жизнь. Кажется,

они еще не понимают все растлевающее значение этих захолустных условий жизни и совсем не видят сквозь розовый флер своего молодого счастья окружающий их мрак, который и их, как и меня, вот-вот окутает со всех сторон. Он еще недавно из военного училища, а она только что выпорхнула из институтской скамьи, чтобы попасть сюда, к нам, в эту медвежью трущобу. Беззаботна, весела, щебечет, как пташка, и ее звонкий серебристый голос звучит таким юным задором, такою заражающею веселостью, что даже суровое выражение нашей матроны Крутояровой расплывается в благодушную улыбочку.

— Вы просто чудо, Анна Петровна,—произносит она, — газель, коза, попрыгунья-стрекоза!.. Глядя на вас, вспоминаешь и свою молодость, когда и я была такая...

И Анна Петровна, изящная, стройная, дышащая красотою и здоровьем, с ужасом при этих словах смотрит на дебелую, обрюзглую Крутоярову и словно бы спрашивает себя мысленно: «Боже, неужели и я буду такая?!.» И в такие-то моменты сердце мое сжимается за нее, зная, что все, чем прекрасна теперь Анна Петровна, наряды изящные, безукоризненная внешняя опрятность, чистота сердца, восторг жизни — все это поблекнет, завянет, и она погрязнет так же, как и Крутоярова, в дрязгах мелочного хозяйства: в разведении огородов и домашней птицы, свиней; в бесконечной карточной игре, в ругани со своей горничной Палашей, в сплетнях и в служебных интересах своего мужа, который тоже пойдет по той же избитой колее, по которой шли сотни и тысячи ему подобных в этих захолустьях, без проблеска, без единой светлой разумной точки, без единого желания, которое бы переходило ограниченный круг его мелких служебных интересов! Один мрак и ничем не тревожимый покой-прозябание!..

* * *

Лето... Полтора года долой с плеч... Осенью еду держать экзамен — и прощай, угрюмый край!.. Сегодня выходил в поле, и забытые воспоминания с удвоенной силой налетели на меня. Подхватили на своих крыльях и умчали меня туда, в синь туманных гор, без которых жизнь для меня не имеет ни смысла, ни значения! Жаворонок, который вспорхнул из распустившегося куста орешника, затрепетал в воздухе своими серыми крыльями и полетел вертикально, заливаясь меланхоличною серебристой своей трелью, и потонул в глубине синего неба. Я долго еще стоял на месте, силясь уловить его еще раз взором и поймать один звук его ласкающего пения, но над собой видел то же чистое ясное небо в голубоватой мгле, но вдали к западу очертания далеких гор, куда уносились мои мечты...

* * *

Вон он, желанный час! Сегодня сажусь на тройку и уезжаю туда, куда я рвался всею душой, где из своего далеко я вижу свой якорь спасения. Вижу в окно, как пришла Блинова. Я был у них с прощальным визитом. Боже мой, что за перемена в один год! Куда ее изящество девалось, где веселость, восторг? Неряшливая, простоволосая, с запахом кухни, в грязном ситцевом платье вышла она ко мне и только спросила вяло, полусонно: «Сегодня уезжаете?» — Я сказал: «Да...» — «А как же не закусивши у нас? У меня хорошая закуска к водочке — рыжики».

Нечего делать, закусил. (Я за это время стал уже «пить». Сбылось отчасти пророчество Крутояровой.) А вон и она загоняет гусей во двор. Вон и Рыбкин с Вороновым, двое из неразлучной компании, прошли домой, «томимые жаждой»... Прощайте все, прощайте...

Прощайте, Блиновы, Крутояровы с вашими бесконечными сборищами, с выпивкой, картами и бессодержательными разговорами с вашими друзьями и мизерными интересами, сплетнями. Желаю вам мирно добиться чинов, орденов и не терять хотя бы последнюю искру к благородным порывам! Желаю, чтобы меньше было жертв вашего прозябания—веселья и карточных вечеров. Уезжаю от вас, унося воспоминания об этом прозябании, из которого я вырываюсь благодаря упорству своему и ясному сознанию лучшей цели: в недалеком грядущем вижу якорь спасения—свет науки, жажду ума и водоворот другой, более осмысленной жизни... Прощайте!!!

IL FAUT DONNER

(Обыкновенный случай)

Это был маленький, очень невзрачный человек, крайне неопределенной наружности, безличный, безгласный — словом, такого рода субъект, каких на несколько вольном жаргоне кратко, но выразительно называют вообще «плюгавцами». Мы его, действительно, так и звали «плюгавцем»... Как, когда и по какому именно поводу получил он впервые такое прозвание,— мне неизвестно; но с того времени, как я его помню, он уже сам по привычке отзывался на эту кличку, как на нечто для себя обязательное и связанное с его именно особой. Очевидно, он сам вполне признавал собственную плюгавость и не пытался противоречить...

Впрочем, мое знакомство с ним было не долговременное и скорее эпизодического характера — так что кроме общего впечатления «плюгавости», вынесенного мною из первой же встречи с ним и навсегда затем связавшегося в моей памяти с представлением об его фигуре, я припоминаю только два случая, когда личность эта представилась мне не в качестве чего-то неопределенно-расплывчатого, но как нечто частно-существующее, индивидуальное.

Первый случай, сколько мне помнится, был лет двадцать тому назад, если не больше... Плюгавец находился тогда еще в положении мелкой сошки, и в то время я отдал бы голову, что дальше идти ему некуда.

Встретившись как-то на улице, я заметил, что он особенно грустен. Обыкновенно невзрачная фигура его на этот раз в полном смысле напоминала мокрую курицу. Даже и такого рода субъективность была настолько необычна в плюгавце, что я невольно обратил на него внимание.

— Что с вами, Петр Петрович,— спросил я, останавливаясь для рукопожатия.

— Плохо, батюшка! Местечко хорошее навертывается... Просил перевода, да ничего не выходит!.. Не везет мне!

— Да вы к кому обращались?

— Ко всем ходил.. даже «самого» просил... Никакого толку!

— У секретаря были?

— Был. У всех был... Секретарь выслушал и велел на другой день приходить... Потом еще — и так далее. Сперва был любезен, потом суше и суше, а под конец уже только сквозь зубы что-то бурчать начал... Так ничего и не вышло... А место еще до сих пор не занято.

— Гм... Знаете что? — словно осененный каким-то наитием, посоветовал я ему,— Il faut donner.

Плюгавец посмотрел на меня с недоумением, очевидно, не понимая сказанной фразы. Он не говорил по-французски.

— Да, да! — подтвердил я ему...— Il faut donner,— и чтобы быть понятным, я наглядно показал ему, как производится это «donner» на языке жестов...

На другой день мне пришлось уехать на несколько месяцев, а когда я вернулся, то как-то при случае узнал, что «плюгавец» уже давно «определился» и уехал. Меня это интересовало очень мало, и так как личность моего знакомого в особенности обладала способностью не оставлять после себя никакого впечатления, то я очень скоро забыл даже о самом его существовании, а тем более о совете, который дал ему когда-то совершенно случайно...

Прошло много лет. В одной из южных губерний проводили железную дорогу. Я попал туда как-то раз в разгар строительной горячки. Заинтересовавшись ходом работ, я вздумал осмотреть ближайшее место, где, как мне говорили, работает самый крупный подрядчик — какой-то Петухов. Я шел по глубокой выемке, которая длинным прямым коридором тянулась в скалистом грунте. Направо и налево рабочие, не обращая на меня никакого внимания, продолжали свою кропотливую работу. Удары кайл и кирок в беспорядке сыпались на каменные стенки выемки и сливались в общий непрерывный шум, раздражительно действовавший на нервы. Но вот невдалеке показалась чья-то идущая навстречу мне фигура, при проходе которой взмахи рук приостанавливались, а головы рабочих освобождались от шапок... Фигура сопровождалась на некотором расстоянии двумя другими, что-то властно покрикивала, по пути что-то властно показывала руками, тыкала в шею рабочих и затем снова продолжала свое шествие мне навстречу. Нетрудно было догадаться, что это «сам», т. е. подрядчик, ревизующий работы...

Я было посторонился, но представьте мое удивление: этот «самый крупный» подрядчик оказался не кто иной, как давно позабытый мною «плюгавец»! Только если в прежнее время прозвище вполне приходилось к его фигуре, то теперь оно безусловно не оправдывалось и явилось бы чистейшею клеветой. Предо мною стоял степенный, упитанный человек, знающий цену своему слову, умеющий распорядиться сотнею людей и чувствующий у себя в кармане достаточный запас, чтобы быть самостоятельным в речах и поступках. От прежнего плюгавца, кроме явно устаревшего прозвища, ничего не оставалось. Даже рост как будто стал выше...

— Петр Петрович! Вы ли это? — обратился я к нему с недоумевающим вопросом.

— Я, батюшка, Сергей Николаевич, я! И раз, и два, и три — я! — отозвался он с довольною, радостною улыбкою, протягивая мне руку.— Так-то вот — дорогу строим! — прибавил он самодовольно.

Мы дружески разговорились. «Бывший» плюгавец рассказал в общих чертах свою прошлую историю. Это было какое-то победное шествие — удивительное и быстрое. Один триумф следовал за другим, и с каждым разом в кармане ощущалось все большее и большее уплотнение, а вместе с тем увеличивалась сановитость фигуры и ее обладателя...

Я положительно недоумевал — как могло случиться подобное перерождение.

— Вот, слава богу, теперь дорожку строим,— закончил он са-

модовольно.— Заметно дело подвигается!.. Кое-что и на молочишко останется. А во всем один прием... Извольте видеть: у соседа и работа легче, даже много выгоднее, а он не сегодня-завтра в трубу вылетит... сноровки не имеет надлежащей... Можно, батюшка, и из убытков барыши сделать!

Я вопросительно посмотрел на его физиономию.

— Верно! Штука не мудреная...— ответил он спокойно на мой недоумевающий взгляд.— Нужно только не забывать вот это...— и он сделал какой-то непонятный для меня жест правою рукою, быстро скользнув большим пальцем по среднему и указательному.

Я все-таки продолжал смотреть с недоумением.

— Il faut donner! —перевел он мне по-французски—лучший залог всякого успеха и вернейший из всех афоризмов, преподанный мне вами лично двадцать три года тому назад.

⁂

ДУЭЛИСТЫ

(Бытовая картинка)

Селение N было одним из самых больших и богатых в округе и давно уже стояло «на линии города» в ожидании введения «Положения». Расположенное на берегу реки, в долине, оно представляло, однако же невзрачный, унылый вид своим длинным рядом выбеленных домов, вытянутых в одну улицу, почти без признаков растительности, и своею непролазною грязью в дождливое время года. Кроме крестьянского населения, в нем было расквартировано несколько частей войск, которые, оживляя местную «торговлю» и питейные заведения, своим присутствием среди крестьянской жизни и контрастом своего быта придавали лишь еще более странную физиономию этому «городу-деревне». С одной стороны, чувствовалось «лоно природы», на котором копошился серый мужик, коровы и свиньи; с другой, мелькали хвосты расфранченных дам и щелкали биллиардные шары в местной гостинице. Нежный букет первосортных французских духов смешивался с острым запахом пропаренной онучи, а раскатистая трель рояля сливалась с треньканьем балалайки и разухабистыми звуками гармонии. Из открытых окон «господской» квартиры доносились на улицу слова: «интеллигенция», «s'il vous plaît» и пр., слышалась звучная клятва лермонтовского Демона и острое слово щедринской сатиры, а рядом, под самым окном, мужик колотил бабу или непечатно костил своего соседа... Словом,

здесь рука об руку уживались самые разношерстные понятия, самые неожиданные сочетания костюмов и времяпрепровождений. Нивелирующим и примиряющим элементом в мужском обществе служила водка, в дамском — сплетня.

В этой обстановке пришлось прожить несколько лет и мне...

Однажды у меня засиделся мой приятель Зайчиков, и так как было уже поздно, то он остался ночевать, расположившись на полу и прикрывшись своим пальто, которое, как он выражался, было уже перевернуто «на пе», т. е. попросту, наизнанку, вследствие полнейшего отказа лицевой стороны сохранять долее приличный званию вид...

Часа в два ночи в окно над моей головой раздался неистовый стук с улицы... С некоторой тревогой я присел на кровати, соображая спросонья, что бы такое могло случиться...

— Это что за шальной в такую пору штурмовать вздумал? — отозвался с полу Зайчиков, шурша спичками.

— Кто там стучит? — окликнул я не особенно ласково стучавшего.

— Это я — Силкин! — послышался ответ с улицы...— Простите, что, будучи незнаком с вами, поднимаю такую тревогу, но мне необходимо видеть Зайчикова... Ради бога, впустите сказать два слова!

Я вопросительно повернулся к Зайчикову, который уже зажег свечку и сидел на своей постели, натягивая пальто на плечи...

— На кой черт понадобился ему я в такую пору? — отозвался он сердито...— Опять какую-нибудь ерунду спьяна выдумал!.. Надо все-таки пустить...

И Зайчиков, надев на себя пальто, впустил Силкина, а затем для секретного собеседования отправился с ним в смежную комнату, откуда тотчас же стал доноситься сдержанный шепот гостя и недоумевающие восклицания Зайчикова...

Проводив Силкина, Зайчиков затворил дверь и залился своим звонким, симпатичным хохотом.

— Что случилось? — полюбопытствовал я, невольно заражаясь его весельем в столь непонятной для меня обстановке.

— Ой, умру, ей-богу, умру!.. Погоди, дай перевести дух! — хохотал он неистово.— Уморил ведь со смеху! Ох, чтобы черт его побрал... Ха-ха-ха! Ух!.. О, чтобы ему пусто было!.. Ведь этот самый Силкин, который боится в руки револьвер взять, на дуэли задумал драться! Ха-ха-ха!..— И Зайчиков снова разразился неудержимым хохотом.

— На дуэль? Да с кем же?..

— С поручиком Загвоздкиным... Ревность, видишь, наконец

одолела... Отелло ревнует свою неверную Дездемону! После того, как она рогами давно уже украсила всю его квартиру, он сделал ужасное открытие, что Загвоздкин за нею ухаживает, и воспылал местью... Жаждет крови и тащит Загвоздкина на барьер, а меня секундантом... Никаких отговорок, тем более, что он же от Загвоздкина еще и в морду получил мимоходом, когда вздумал с ним объясняться по этому поводу... Одолжи свой револьвер, а я сейчас иду передать вызов оскорбителю.

— Да брось ты эту комедию!.. Неужели нельзя уладить какнибудь историю?..

— Уладим, не бойся!.. Не в первый раз... Сочиним выпивку — и баста!.. А только так нельзя!.. Почтение к традициям соблюсти должно!..

Зайчиков оделся, сунул в карман револьвер и вышел на улицу...

— Ваш брод, а ваш бр-од! — раздался над моим ухом голос денщика Котова.— Ваш брод, письмо принесли!

Я открыл глаза. Яркий солнечный луч врывался в комнату и весело освещал убогую обстановку. Было уже 9 часов утра. Котов в одной руке держал револьвер, а другой протягивал мне незапечатанную записку.

— От поручика Зайчикова, ваш брод, записка и вот левольверт прислали!..

Зайчиков наскоро писал карандашом: «Ура! Спеши скорей! У меня Силкин с супругой. Правим победу и тризну!»

«Значит, дуэль состоялась», мелькнуло у меня в голове, и, интересуясь исходом, я тотчас отправился по приглашению.

Прекрасное майское утро ласково охватило меня своей свежестью. Ярко зеленевшее поле с роскошным ковром пестрых цветов далеко на горизонте замыкалось абрисом гор, чуть-чуть подернутых голубоватою дымкою. Из бирюзовой выси неба неслась радостная песня жаворонка и серебристою трелью рассыпалась в воздухе... В эту минуту даже в глухом захолустье нашего села жизнь казалась такою прекрасною, такою радостною, что самая мысль о встрече двух людей, направляющих друг против друга смертоносное оружие, показалась мне нелепою...

Из открытых окон крестьянской избы, где жил Зайчиков, до меня доносились громкие, оживленные голоса, среди которых раза два прорывалась нежная женская фраза: «Ваня, Ванечка, ты — мой герой! Ты — рыцарь!..»

— Неужели же в самом деле пролита кровь,— тревожно думал я, входя в комнату и окидывая глазами обстановку.

Комната была наполнена табачным дымом. В углу стоял стол с целой батареей бутылок, между которыми скромно размести-

лись закуски: говядина из супа, сардинки и обычная «кета». Было, как говорится, «надрызгано»: на полу валялись окур корки хлеба, и вообще царил тот хаос, каким сопровожда добрая приятельская выпивка. «Герой» Силкин был в по кураже, а супруга томно поводила глазами и любовно пох ывала его по плечу. Вообще, картина была довольно обыден в нашем захолустье...

Зайчиков тотчас же отвел меня в переднюю и, заливаясь сдержанным смехом, фыркая, наскоро посвятил в обстоятельства дуэли. Дуэль, действительно, состоялась; только секунданты дили патроны, заменив пули бумагой. Силкин выстрелил ый, а Загвоздкин, вместо ответа, влепил ему пощечину; тем кончилось. Теперь же Силкин мнит себя героем и с вос рассказывает десятый раз, как он «выстрелил» и как е пуля пролетела у самого уха «подлеца».

— Смотри только, виду не показывай,— предупред я Зайчиков и, введя назад в комнату, по очереди предста ругам.

Дама с торжествующим видом подвела меня к налиты рюмкам и чокнулась за своего «героя».

— Я полагала, что мой муж — трус,— произнесла она, захлебываясь от восторга,— что он не в состоянии защитить честь своей жены... И, представьте, как он поступил, каким он героем оказался!.. Ваня, расскажи же хорошенько, как ты выстрелил!..

Блаженная, несколько припухшая физиономия Силкина тоже сияла восторгом победы. Он тотчас же сорвался с места и, жестикулируя, начал описывать происшествие.

— Загвоздкин — трус, я всегда это знал... Я доказал ему, что храбрые люди бывают и не в военном мундире... Да-с, я его на двадцать шагов поставил!.. Первый выстрел, конечно, был мой... Прямо ему, подлецу, в лоб нацелился!.. (Силкин все это показывал для наглядности—примерно...) Вижу, он бледнеет: знает, что я не прощу обиды... Бац!.. Сам, своими глазами видел, как пуля пролетела мимо правого уха, и он покачнулся... А он — что сделал?.. Как вы думаете, что он сделал, этот подлый трус? А?.. Бросил револьвер, подошел ко мне — я думал, извинения просить — да как хватит!! Вот сюда, припухло даже!.. Ведь это трусость?.. Да?.. Ведь боялся, что я после его промаха потребую второго выстрела, потому что условились драться до первой крови... Вот тебе, говорит, кровь!.. Каково?!

— Ваня, Ванечка, брось! — успокаивала его супруга...— Ну охота тебе сердиться на этого Загвоздкина!.. Все теперь знают, что ты вел себя геройски и в обиду себя не дашь!..

Мне было и смешно, и мерзко... Я поспешил под благовидным

предлогом распрощаться, но, уходя, еще раз услышал томно-рас[illegible]шее: «Ваня, Ванечка!..» и затем звон столкнувшихся рюмок...

Да, думалось мне, это действительно тризна и победа, в которой убежден полупьяный Силкин и над которою одновременно хохочет его противник, рассказывая приятелям «потешную историю», как он «влепил в ухо»... Это победа — и победа полная — захолустья над человеческим достоинством.

※※※

НЕЗЕВАЙ

(Из истории нравов)

[illegible] только странная фамилия моего героя вполне совпадала с [illegible]м его житейским правилом «усматривать и приобретать»... Усматривал он зорко, приобретал скоро и споро. Пришел пешком, а через год поехал на собственных лошадках; приткнулся сперва «где довелось», а там, глядь, и в «собственный» перебрался! Вообще, долго ждать не любил: раз-два, по-военному... Редко, когда фамилия, благоприобретенная от предков, находила более удачное применение в одном из позднейших отпрысков. Где он был раньше — неизвестно, но история застала его уже в качестве одного из мелких блюстителей благочиния в захолустном городке N.

На этом поприще Незевай проявил очень недюжинные способности. Подвижной, как ртуть, плотный и круглый, как шар, он производил приятное впечатление своей расторопностью и подвижностью, с тою плавностью и обворожительностью, какою поражал некогда незабвенный герой Гоголя, Чичиков. Одетый всегда в чистенький, новенький мундирчик, гладкий и выхоленный — Незевай почтительно склонялся, когда выслушивал приказания начальства, и браво затем выпрямлялся всем корпусом, вселяя уже одним видом убеждение, что дело будет сделано и приказания повторять не придется. Все это, конечно, ценилось по справедливости, и аттестация Незевая была самая блестящая. Он уже начинал мечтать... Но, увы, судьба капризна, и он, подобно Чичикову, попался впросак на самой пустой вещи.

Нужно сказать, что лично Незевай мало ценил невещественную благосклонность своего начальства («Этак-то с голоду, батюшка, помрешь»,— говаривал он приятелям) и всегда предпочитал ей кредитные билеты даже при самом плохом курсе. «Не в Париже менять буду,— посмеивался он в благодушной бесе-

де,— а дома: как ни меняй, все в рубле сто копеек будет. Я, батюшка, в политику не вмешиваюсь...»

Изыскивая способы к возможному уравновешиванию личных достоинств с тем, что «положено по штату», Незевай всегда устраивал дела так, что и волки сыты бывали, и овцы целы.

Является он, например, на рынок. Само собою разумеется, где же у нас, в захолустных городках России, на рынке чистота бывает?.. В пределах же ведения Незевая эта часть в особенности страдала обилием всевозможных запахов, отчасти благодаря близкому соседству одного «помещения», которое для удобства было устроено тут же.

«Это что такое? — грозно спрашивает Незевай, подцепив с лотка баранью ногу... А сам поворачивает носом к «помещению» и усиленно тянет воздух...

«Баранина-с,— робко отвечает лавочник, беспокоясь за возможность составления протокола, так как в видах оздоровления города его, действительно, уже раза два подтягивали за нечистоплотность.

«Дурак!.. Сам вижу, что баранина!» — еще суровее обрезает Незевай.— «А ты разве не слышишь, что воняет падалью?» — и он звучно тянет носом со стороны «помещения».— «Скуловорот! — обращается он к своему подручному,— воняет?»

«Точно так! — зычно отзывается сметливый личарда.— И даже шибко!»

«Убрать — и чтобы сегодня же все было чисто! Покрышки переменить!» — изрекает приговор Незевай и величественно проходит дальше.

Скуловорот исчезает, а за обедом Незевай с аппетитом кушает баранье жаркое.

Или же дело бывает так.

Темная ночь... Обыватель, утомленный дневным трудом, мирно похрапывает в объятиях Морфея. Изредка разве пройдет по улице запоздавший забулдыга, на которого не лают даже собаки, в сознании, что и их служба кончена, что и они тоже давно уже «вылаяли» свое право заснуть где-нибудь под забором. Попробует иной пес брехнуть спросонья раз-другой, но, не слыша поддержки своих соседей, тотчас же свертывается калачом и засыпает...

Но Незевай не спит, а тихо-тихо крадется по глухому переулку, сопровождая «Недреманное Око» и двух-трех свидетелей, прихваченных в качестве понятых. Это производится облава на любителей запрещенного «банка» в одном из притонов, о котором сведения доставлены самим же Незеваем.

«Все ли там в порядке?»—беспокоится «Недреманное Око», волнуясь предстоящим случаем накрыть неуловимых картежников...

«Будьте покойны, на этот раз не уйдут!» — шепчет осторожно на ухо Незевай, как бы опасаясь нескромности даже заборов... Но если бы только можно было уловить в темноте ночи выражение его глаз, то бедная, потревоженная в такую пору власть была бы сильно сконфужена за свои уши...

Со всеми предосторожностями близится облава к покосившейся лачуге, сквозь ставни которой изнутри пробиваются едва заметные проблески света... Следует краткий шепот, маленькое обходное движение... и затем властные удары кулаком одновременно в переднюю и заднюю двери. Внутри моментально исчезают все признаки света и слышится беспокойный, быстро смолкающий шорох...

«Отворяй, что ли!» — зычно приказывает Незевай, самолично потрясая дверью, и орлом влетает в темноту помещения...

Накрыто семеро обтрепанных субъектов, составлен протокол... Виновные с несколькими легкими подзатыльниками препровождены в «чижовку»... Власть очень довольна и, пожимая Незеваю руку, что-то упомянула о «представлении», на что тот подобающим образом расшаркался, но скромно заметил, что «долг службы... конечно...» и пр.

А чрез неделю, как раз первого числа, пересчитав на дому ровно сотню засаленных депозиток, врученных каким-то корявым субъектом, он наставительно говорил: «Ладно... С тобою не случится!.. Но у меня смотреть: день в день... И чтобы шуму не было!.. Да насчет дров не забудь...»

Таким-то путем Незевай и двигался к желанному благополучию, к переходу с «пешка» к лошадкам, из конуры — в «собственный»...

И вдруг, в один прекрасный момент — солнце светило так ярко, природа улыбалась, Незеваевы индюшки степенно прогуливались по двору — все рушилось... Только прах легким столбом вился за чьей-то удаляющейся колесницей... Как все это случилось, Незевай так и не мог уяснить себе как следует...

«Что ж, что я «на именины» шкурки какие-то собирал...» — негодовал он, как рассказывали после его приятели, на несправедливость к нему судьбы... «Ведь не давал же я на это квитанций, а доброхотно и с каждого в отдельности, чтобы без разговоров... Какие же, значит, могли быть тут «упущения», что марают?»

«Ну, нет, брат... Это, что говорить: перепустил!.. Сам вино-

ват... И окоротили правильно!» — возражал ему на это один из «закадычных».

«Да что же я перепустил-то?—недоумевал Незевай.—Ведь не осенью, а весною было дело!»

«Как знаешь!» — стоял на своем «закадычный».— Только я тебе толком говорю: перепустил, не по чину дело задумал... Теперь вот и разводи: как да отчего?.. Поймать поймали, а не уничтожили!.. Значит, соображай и — отчаливай!»

Но этот недоумевающий вопрос так и остался невыясненным для сокращенного Незевая; так он и не мог уравновесить свои выбитые из обычной колеи мысли, не мог представить отчетливо: отчего же, в самом деле, одно можно, а другого нельзя; отчего, например, баранина «не марала», а шкурка — самая чистая, нежная, пушистая шкурка — вдруг, извольте ли видеть, не только «замарала», но и грозила даже возможностью посетить совершенно несвоевременно места ее лова! Видимое дело — только судьба и несчастливый день сгубили расцветавшие мечты об окончательном мире и благоденствии...

Незевай исчез так же быстро, как и появился... Где он — это безразлично... Но вопрос, который он задавал себе в момент сокращения,— этот вопрос все еще стоит и не находит ответа. Судя по этому, приходится думать, что действительно вопрос был праздный.

ИЗ ПРОШЛОГО

O tempora, o mores!..

Широко раскинулся Приморск по берегам бухты «Рог изобилия». Представьте себе цепь гор, окружающих бухту, и только у самого почти берега — низменную ровную полосу; представьте себе, что по вершинам холмов, по склонам их и у подножия как бы прилепились домики,— и все это на значительном от востока до запада пространстве — и вы будете иметь понятие о Приморске. Пади, кое-где поросшие тальником, лощины и овраги, из которых некоторые имели свое историческое прошлое и носили довольно оригинальные названия (напр.— Машкина оврага),— несколько скрадывали ту разбросанность построек, которая производила сильное впечатление, как только очутишься на твердой почве.

Оголенные, безлесные горы придавали местности несколько

унылый, неприветливый характер, в особенности поздней осенью и зимою, когда с красноватых вершин по склонам, вдоль улиц неслись вниз тучи песку и пыли, затемняя свет божий. Зимою иногда покроются горы снегом, но ненадолго: северяк все сметет на другой же день.

...Что это за фигура,— в высоких сапогах, в мерлушке и еще окутанная башлыком, плетется против метели и стужи? То ревнивый служака идет на службу. Долго борется он с «навождением», идя то задом, то боком, пока, измучившись, не достигнет цели путешествия. Придя в «присутствие», он высидит положенное время, а затем снова закутывается в броню и плетется восвояси. Но и дома не лучше: печи хотя и топятся с грехом пополам, но комнаты полны дыма,— пламя выдувается назад из печи, а в трубах — щемящие душу завывания. Из щелей половых дует, окна обдаются песком и снегом — света божьего не видно...

...Случалось так, что такие погодки несколько запаздывали своим приходом, а иногда и совсем пропускали ожидаемый срок,— тогда об них скучали.

— Что это у нас давно пурги не было? — вырывался у кого-нибудь болезненный вопрос. Ответ обыкновенно не медлил своим приходом.

В такие погоды, когда сквозь шум и завывания ветра, срывавшего иногда и крыши с домов, не слышно было голоса рядом идущего, в такие-то погодки трудно было и думать о скорой помощи в случае какого-нибудь несчастия..

Про Приморск сложилась поговорка, что «его ничем не удивишь». Но подчас сам Приморск удивлял свежего человека такими явлениями в своей жизни (да и теперь иногда удивляет), которые едва ли не граничили со сказочными и по временам производили гнетущее впечатление. Эти явления особенно проявлялись, когда Приморск оставался, так сказать, наедине с самим собою, что случалось обыкновенно каждый год — зимою. В это время все как-то съеживались, уходили в свою скорлупу, откуда по временам выказывали свои клещи. Свежий человек как-то невольно поддавался этому гнетущему впечатлению и... начинал скучать. Только впоследствии, когда остатки привезенного «зерна» начинали, наконец, истощаться, а почерпнуть новых, свежих сил было неоткуда (в иную пору и слова раньше, как через полгода, нельзя было дождаться),— этот свежий человек начинал мало-помалу мириться со скукою, с интересами общества... Какие это были интересы — история и их коснется со временем...

К стыду обывателей Приморска нужно сказать, что в этих интересах наибольшую часть занимали городские новости и сплетни. Сплетничаньем занималась не только прекрасная половина

рода человеческого, но и грубая. При разговоре с жителем Приморска вас сейчас же поражало богатство его сведений о ближнем: все, что ни есть темного и, зачастую, выдуманного досужим воображением, обдавало вас немедленно.

Я знал некоторые семьи, которые вели замкнутую жизнь,— жизнь в четырех стенах,— и однако это не мешало им, не выходя даже за двери своей квартиры, знать обо всем, что делалось в городе.

— Вы слышали?.. Приехал новый офицер с женою... Оба симпатичные, но только она страшно белится и румянится...

— Да откуда вы узнали все это?

— Уж знаю... M-me X. рассказывала...

А m-me X.— не что иное, как какая-нибудь вездесущая особа, у которой всегда имелся неистощимый запас сведений по этой части.

Представьте себе теперь положение этой молодой пары, искавшей себе квартиру и невинно думавшей, что ее никто не знает. Знакомясь с какой-нибудь семьей, муж и жена не подозревали того, что каждое их движение, взгляд, слово служили только проверкою того, что об них уже «известно».

Но... не проходило и полгода, как «свежее», мало-помалу акклиматизировавшееся, начинало упражняться в «подкладывании свиней» не только друг другу, но и вообще ближнему. Нужно было иметь исключительный характер и значительные средства, чтобы жить независимо не только от «благодетельствовавшего» начальства, но и от предлагавшего услуги ближнего. Большинство же приезжавших на службу в Приморск обладало только незначительными остатками от прогонов, а иногда и просто — минусами.

Семейные основы были по большей части расшатаны. Мужья осваивались с положением рогатых, а женщины... не отличались особенным пуританизмом. На это никто не думал претендовать, так как рука руку мыла. В особенности же лестно было стать первой дамой тем из женщин, которые наперерыв старались заслужить это звание.

...Местному маленькому помпадуру предстояло в скором времени овдоветь: помпадурша должна была его оставить, так как муж вызывал ее к себе домой — на далекий север. Помпадур — небольшого роста, лысый, с тараканьими усами, был большой любитель прекрасного пола. Дама, к которой он благоволил, могла жить припеваючи: к ее услугам было все — за исключением разве птичьего молока. Достаточно было войти на какой-нибудь вечер под руку с помпадуром, чтобы все уверились в выборе новой помпадурши.

На этот раз помпадурша была грустна. Ей тяжело было менять заманчивое настоящее на неприветливое будущее. Собравшийся у нее интимный дамский кружок всецело сочувствовал ее горю.

— Mesdames,— обратилась она, наконец, растроганным голосом к окружающим,— вы, надеюсь, понимаете мое положение: мне очень жалко Митю... жалко оставить его одного. Он такой славный, добрый. Быть может... кто-нибудь из вас... поможет ему... заменить меня.

— Ах, голубушка, у нас детей нет, нам дети нужны...— послышались робкие заявления.

— Будут, mesdames, будут!..— убедительно настаивала помпадурша.

Дама нашлась...

* * *

С наступлением весны Приморск начинал оживать. С перелетом птиц начинался перелет послуживших — в другие края, а вновь назначенные на службу в Приморск и его окрестности собирались с силами в далекий путь. С первым пароходом, прорезывавшим рыхлый лед, толкавшийся в котле бухты, приходили запоздавшие новости; сотни китайцев с котомками за спинами запруживали улицы и искали пристанища у своих же земляков, успевших уже за зиму научиться пяти-шести словам по-русски, исковерканным на свой лад; на базаре появлялись цветы, фрукты и другая зелень — так плохо гармонировавшие с холодным, сырым сезоном Приморска.

С открытием навигации и постепенным наплывом вновь приезжавших и проезжавших Приморск становился неузнаваемым. Жизнь кипела. Новые знакомства, встречи на время преображали как бы застывшие за зиму лица обывателей. Всякий оглядывался на себя, сравнивал с прибывшим из столицы товарищем и находил, что он во многом-таки успел поотстать. Не было того широкого взгляда на жизнь, не было того порханья с предмета на предмет, с идеи на идею , которыми всегда так обильны жители столиц, живущие au courant всяческих мировых событий. Оглянувшись на себя внимательнее, житель Приморска находил, что даже костюм на нем сидел не так хорошо, как на сотоварище, и сшит мешком. Недаром же отличали дамы по одному только наружному виду «сибиряка» от «свежака»...

* * *

Хотя Приморск давно уже стал распланировываться, стали образовываться улицы, но от этой планировки обывателю было ни-

сколько не легче. Были такие улицы, по которым можно было пройти только днем и то с трудом — до того капризны были спуски и подъемы на них. Ночью же, без фонаря, лучше было и не выходить. Помню 1883 год, когда только по «большим» улицам поставили почаще фонари (на расстоянии полверсты один от другого), и тогда же явилось менее необходимости в ручном фонаре, которым обыкновенно запасался каждый отправлявшийся в путь после захода солнца.

Не все улицы, конечно, отличались особенным оживлением, но можно сказать, что, без исключения, по всем без церемонии разгуливали гуси, утки, козы, коровы, лошади и свиньи, оглашая воздух своеобразным говором и копаясь летом в лужах и невылазной грязи. Если у вас свой дом, то, хотя бы вы даже и не заводились скотом, вы всегда могли его видеть у себя на дворе. От этого посещения вас не спасали ни крепкие ворота, ни запоры, ни кирпичи, которыми вы запускали в назойливых животных... Об одном еще забыл я упомянуть — о собаках, но... тут уже мне пришлось бы повторить Гоголя в его описании путешествия Ивана Ивановича к Ивану Никифоровичу...

Своеобразный оттенок придавало Приморску обилие китайского элемента. Почти все продовольствие Приморска было в руках китайцев. Какой-нибудь невзрачный, но умевший сказать несколько фраз по-русски китаец имел у себя уже не менее двух-трех чиновничьих или офицерских семей, которые он «кормил» и которые состояли у него иногда в неоплатном долгу. Но манза не унывал. «Пиши-пиши, мадама», или «пиши-пиши, капитан»,— говорил он в конце концов, получивши какую-нибудь мизерную часть своих денег. И писали «капитан» или «мадама» на свою шею. Вместе с тем трудно было найти человека, который выносил бы на себе столько оскорблений, сколько доставалось китайцу.

Привычка «пиши-пиши» настолько въелась в жителя Приморска, что, придя в магазин и заказав там что-нибудь, считалось даже дурным тоном платить сейчас же за это деньги. Напротив, считалось большим шиком сказать: «Запишите и пришлите все это ко мне на дом». Строго говоря, конечно, это был самообман, так как двадцатые числа и пятилетние прогоны отлично напоминали о долгах. Вообще можно сказать, что Приморск приучал жить шире, чем следует, так как эта ширь в то же время разнообразила серенькую обыденную жизнь его обывателя.

Помнится, немало было сетований в этой обыденной жизни на «бесконечное проявление зла во всей его неприглядности», на «возмутительные преступления, скрывавшиеся бесследно», на «господство произвола»... Но все это по большей части приходи-

лось слышать из уст тех, кто сам не прочь был «подложить свинью ближнему». Насколько насыщена была атмосфера превыспренними фразами, прикрывавшими неприглядные стороны их авторов, настолько же беден был Приморск такими людьми, у которых слово было бы неразлучно с делом и благие мысли и намерения разрешались бы в «добрых поступках»... Наступила, однако, и для Приморска новая эра: сквозь окутывавшую его пелену тумана проник и сюда луч света...

КАЗНЬ

(Очерк с натуры)

Недавно мне пришлось прочесть в местной газете, что одному доктору разрешено было откопать черепа трех повешенных, наделавших в свое время панику не только на весь Владивосток, но и далеко в его окрестностях. Цель раскопки черепов этих преступников, как говорят, френологическая. Я думаю, что, судя по исключительности похождений этих преступников, о которых говорилось так много, френолог найдет ценные экземпляры для своих исследований.

Имена этих преступников каторжные: Гунько, Дроздовский и Орлов. Я был на их казни и слегка набросал сейчас же по приходе домой с казни свои впечатления, которыми хочу поделиться с читателем.

* * *

Мимо моих окон прошли три арестанта в кольце вооруженных конвойных, в новых серых, отмеченных «тузами» шинелях. Сперва мне показалось, что это осужденные вчера военно-полевым судом на повешение. Я наскоро оделся и выбежал догонять арестантов. Это было в шестом часу октябрьского утра. Небо что-то хмурилось; казалось, собиралась сибирская пурга со всеми ее характерными особенностями: с порывами жгуче-холодного ветра, бог весть откуда дующего, непроглядной белой мглой снежной пыли и т. д. При всем этом было тихо. Откуда-то с бухты слышался шум выпускаемого из какого-то коммерческого судна пара. Я вскоре догнал конвойных с арестантами как раз около военной гауптвахты. Здесь стояла небольшая группа людей. Тут был прокурор с поднятым воротником своего осеннего пальто, разговаривавший с каким-то доктором. Маленький полицеймей-

стер делал какие-то распоряжения вооруженным солдатам, стоявшим шпалерами от выхода из гауптвахты до самой улицы, где стояла какая-то телега, запряженная двумя клячами. Тут же стоял чей-то экипаж с приподнятым фордеком, из-под которого с напряженным вниманием глядели две женские головы по направлению к гауптвахте, откуда, вероятно, должны были выйти приговоренные.

— Ведите прямо на место!—крикнул полицеймейстер, обращаясь к подошедшим солдатам, конвоировавшим трех арестантов. Я посмотрел на последних внимательнее: нет, это не те, которых я вчера видел на скамье подсудимых,— это другие.

— Но кто же эти? — осведомился у стоявшего около меня офицера.

— Это палачи,— ответил тот.

Арестанты пошли далее, сопровождаемые конвойными.

Я пошел вслед за ними. Они были без кандалов и шли размашистым бодрым шагом. Я едва мог успевать за ними. Я с любопытством всматривался в их лица. Один из них, с рыжей бородой, здоровенный детина, слегка наклонившись, шел впереди, закинув руки под свой арестантский халат; другой — брюнет тоже такой же комплекции следовал за ним, порой оглядывая окрестные холмы, покрытые пожелтевшим дубовым кустарником; рядом с ним третий, с внешностью, не представлявшей собой ничего примечательного. Все молчали и, по-видимому, думали. Но интересно знать, о чем это они думали? И идут ли они добровольно казнить приговоренных или по чьему-либо наказу? Судя по их спокойному выражению, мысль об их предстоящей роли ничуть их не тревожит. Вероятнее всего, что это добровольные палачи,— подумал я, вспомнив рассказы про то, как еще во время пребывания в «команде», каждый из приговоренных готов был перерезать горло товарищу из-за пятака или обидного слова. Они были истинными деспотами среди своих товарищей-арестантов. Не обиженные ли это? — думал я...

— Сторонись!..

Меня обогнал экипаж, в котором сидели прокурор и полицеймейстер. Сзади их рысили верхами два уссурийских казака. Гладкая извилистая дорога вела к военным госпиталям на Эгершельд; близ них должна была совершиться казнь.

Шел народ поодиночке, парами, группами. Все больше серый люд — мещане, солдаты да солдатки с грудными ребятами. А этих невинных младенцев куда несут, на какое зрелище? Интересно знать, напечатлевается ли что-либо на детских сердцах при виде этих поражающих зрелищ? Я наблюдал еще ранее, во время вешания двух казаков в Никольском, как десятки детских гла-

зенок взирали с грудей своих матерей на то, как трепетали на веревках человеческие тела в белых саванах. О, sancta simplicitas! Ну, а чем объяснить то, что таких зрелищ жаждут и нервные дамы из так называемого высшего круга? Знаю я, как во время вешания одного приговоренного за зверское изнасилование и убийство матери и дочери несколько лет тому назад две местные дамы, несмотря на раннее утро, наслаждались из засады конвульсиями повешенного Юшкевича. Вот и теперь проехала в экипаже на место казни та парочка, которую я видел сейчас у гауптвахты.

Наконец, с горы показались военные госпиталя. Оттуда выбежали несколько любопытных служителей и уставились на палачей, направившихся направо по свежепротоpенной тропе, ведшей к месту казни, куда шли все любопытные.

— А вот, братцы, трех сволочей повели,— сказал кто-то и показал пальцем во след прошедших арестантов. Но узнавши, что это не приговоренные, подняли недовольный ропот. Я направился тоже по общему течению народа. Вскоре на фоне пожелтевшей листвы дубняка я увидел два столба с перекладиной, и на подмостке под этой перекладиной три человека ладили что-то, кажется, делали петли к роковым веревкам, болтавшимся на перекладине. Две цепи вооруженных солдат огибали живым кольцом место казни, захватывая довольно большой диаметр. За этими цепями в кустах толпились зрители.

Я хотел было пройти через цепь, но меня остановили и не скоро бы пропустили, если бы за цепью не послышался веселый возглас моего знакомого Камаринского.

— А-а, уважаемый корреспондент, жалуйте, жалуйте! Впустите же его, ребята, ведь он всю эту камедь изобразит нам в газете. Так ли? — Меня впустили. Около Камаринского собралась довольно оживленная компания, которая весело хохотала от его каламбуров, на что он был мастер, причем в промежутках рассказывал и курьезы из вчерашнего маскарада, откуда он попал прямо на зрелище иного рода...

— Господа, везут! — вдруг произнес кто-то неестественным голосом.

Все отчего-то невольно вздрогнули и разом оглянулись.

Цепи расступились и дали дорогу вооруженным конвойным, в кольце которых я разглядел давешнюю тележку, виденную мною у гауптвахты. В телеге от толчков по колдобинам тряслись Орлов, Гунько и Дроздовский в своих серых арестантских шинелях в накидку, из-под которых виднелись белые, совершенно новые рубахи — их саваны. Но точно ли это те, которых я вчера видел на скамье подсудимых перед военно-полевым судом?

Разве это тот самый Гунько, который вчера так развязно объяснял, как будто самые обыденные вещи, детали ужасного убийства французского мичмана Руселло? Он, этот герой потрясающей и кровавой драмы, маленький невзрачный человечек, выглядел вчера совершенно другим — бодрым, со спокойствием и наглостью закаленного преступника перед судом, который вот сию минуту вынесет ему роковой приговор небытия. Он дерзко как будто еще вчера отгонял мысль возможности быть повешенным. Вот и Дроздовский и Орлов... Но зачем они убили Руселло? Чтобы только поживиться несколькими монетами и его окровавленной одеждой? Мне представляется этот ясный теплый октябрьский день, когда этот офицер, «не предвидя от сего никаких последствий», высадился на берег и пошел по дороге в Куперовскую падь прогуляться. Вся эскадра и с нею, конечно, и французские суда были предуведомлены, что в окрестностях города небезопасно от беглых каторжных. Не мог не знать о том и Руселло, но он слишком экзальтированно понимал те дружеские чувства к французам, которые были выражены им нашими в восторженных встречах. Какая глупость опасаться быть убитым в пределах города цивилизованного народа! Он даже не взял ничего с собою, кроме хлыстика и книжки для чтения. На его родине ведь жизнь всякого гражданина, его покой, его личность ограждены твердо законом от наглых покушений кого бы то ни было, там каждый свободен в своих законных действиях всюду и везде, и никто не трепещет за себя особливо, когда он никому не сделал ничего, ничего худого. И вот он спокойно идет в мечтах. И в этот момент выскакивает из кустов вот этот самый Дроздовский и в упор ему в горло пускает заряд дроби, и он едва глухо мог прохрипеть последнее:

— Oh, Mon Dieu!..

А там дележка жалкой кровавой трофеи с трепетавшего и неостывшего трупа.

И вот они тут. Гунько теперь сидит впереди своих товарищей; мертвая бледность покрыла лицо его; он куда-то смотрит в неопределенную точку,— кажется, на круп одной из кляч. Тонкие, бледные губы его сжаты, и, кажется, по ним пробегает дрожь; руки с браслетами кандалов как-то неловко сложены на груди и дрожат. А это, кажется, Орлов, обмывший окровавленный пиджак Руселло и надевший его на себя? Понуро он уткнулся вниз, только сосед его, рядом сидящий, не потерял присутствия духа. Он дерзко окинул взором возвышавшийся роковой помост и, казалось, на мгновенье по губам его скользнула презрительная мефистофелевская улыбка, но быстро и нервно отвернулся в про-

тивоположную сторону, куда открывался горизонт,—на неясные силуэты городских домов. То — Дроздовский. Клячи как-то взяли в сторону и застряли в кустах. Ах, хотя бы еще на одно мгновение отдалить близость неотразимой смерти! И Гунько, и Орлов, и Дроздовский впились глазами в этих лошадей, и словно по лицам их пробежала искра надежды или... Но можно ли опрелить тревожащие чувства человека, стоящего лицом к лицу со смертью, человека, сводящего через несколько мгновений свои счеты с земным существованием для того, чтобы перейти в небытие, в нирванну.

Однако клячи выбрались и потащили тележку к подножию виселицы. Медленно вылезли преступники.

Среди общей гробовой напряженной тишины вдруг раздался чей-то возглас:

— Кузнец! Кузнеца сюда!..

Явился человек с лицом, вымазанным сажей, и в кожаном фартуке. Он держал в руке щипцы и молот.

— Расковать их!..

Кузнец принес камень и положил. Подвел первого, того же Гунько, поставил одну его ногу на камень, ударил сильной рукой молотом по ножным кольцам, и кандалы спали с ног преступника. Та же операция повторилась и с остальными.

Вот они и без кандалов, которые их так стесняли, ноги чувствуют себя свободно, на лицах их как будто снова что-то в виде надежды мелькнуло на миг, и снова опять в глазах читалось: смерть, смерть, смерть!..

Кто-то стал читать тот приговор, который я слышал уже вчера на суде. «...к лишению жизни через повешение»,—закончил громко и отчетливо чтец. Я снова взглянул на приговоренных — на мертвенно бледных лицах закаменело какое-то тупое отчаяние, скверно и тяжело было глядеть на них.

— Уйдем отсюда! — сказал я знакомому соседу.

— Нет,—сказал тот,—дождемся конца. Экую даль шли, даром что ли? Ведь редкостное зрелище.

И какой-то демон, как нарочно, шептал мне на ухо: «Гляди и насладись этой необычайной картиной. Уразумей воочию, что жизнь человеческая сама по себе — мыльный пузырь, который лопается при одном легком дуновении. Но...— шептал мне другой голос: ведь тяжко видеть беспомощность человека, обреченного на смерть, бросающего кругом к сотням и тысячам людей молящий взор. Как он принижен, жалок! Ах, как жалок и ничтожен!

Три арестанта-палача подошли к преступникам и взяли их под руки.

— Зачем же меня-то вешаете? Ведь я не убивал, другие уби-

вали,— это проговорил Орлов голосом, выходившим словно из могилы. Да он почти уж был и так в могиле.

Ответом ему было общее суровое молчание. И вот в это мгновение в толпе к этому закаленному преступнику пробежала искра жалости.

Меня чувствительно ударила ветка дубняка по лицу, и я злобно оглянулся. Я увидел около себя какого-то человека в платье мещанского покроя, который старался выбрать, по-видимому, более удобную позицию для созерцания. И он, действительно, выбрал такое место. Я слышал его тяжелое дыхание,— лицо бледное, глаза расширенные.

— А-ах, боже мой! — вырвалось из его груди, и затем он больше не проронил ни единого слова.

Когда я повернулся снова к стороне виселицы, то приговоренные были уже на подмостке, и на них напяливали длинные белые рубахи с капюшонами. С лихорадочною поспешностью, нервно, сами приговоренные помогали палачам в этом печальном одевании. Скорей бы! Длинные рукава рубах перетянули накрепко назад, а там и капюшоны нахлобучили им на головы и — прощай, белый свет! Но быстрым, неожиданным порывом средний, Дроздовский, высвободил взмахом головы свое лицо, оглядел мгновенно даль, солдат, праздную толпу; в очах его сверкнул недавний огонь негодования; он словно что-то хотел крикнуть этой толпе, бросить слово укора или раскаянья, но палач снова нахлобучил ему капюшон на голову...

Гунько, как мешок, уже болтался на своей веревке с подогнутыми ногами на подножке, которую еще не успели выдернуть. Он, видно, обессилел. Он еще накануне казни пытался удавиться своим ремнем на гауптвахте, но вовремя был усмотрен. Палачи кончили: надеты были петли...

Подножку виселицы выдернули из-под ног преступников и...

При грохоте четырех барабанов разом повисли три человека в белых саванах и закружились на сером фоне осеннего неба, словно в каком-то демоническом танце. Конвульсии локтей, крепко связанных рук, подгибание и разгибание ног увеличивали эту поражающую иллюзию. А тут еще черты лица одного преступника, кажется, того же Дроздовского, резко обозначились через капюшон его, и словно бы он смеялся над этой онемевшей в ужасе толпой зрителей, к которой он то становился спиной, то снова поворачивался лицом от натяжения веревки, на которой он висел. Тела других тоже странно вертелись, трепетали медленнее и медленнее...

Наконец, все трое повешенных застыли в разных положениях над вырытой внизу общей могилой.

Спустя двадцать минут послышалось чье-то приказание:

— Обрезать веревки!

Один из палачей взлез на подмосток и стал обрезать веревки ножом. Сперва обрезал он Гунько, и он, как мешок, наполненный чем-то тяжелым, грузно бухнул в яму; что-то хряснуло, словно бы от переломленных костей; та же процедура повторилась и с Дроздовским, и с Орловым.

Манзы стали лениво, апатично засыпать общую могилу.

Публика медленно стала расходиться...

— Следовало бы черные саваны на них надеть,— заметил кто-то.

— И в белых саванах получаются черные впечатления,— был ответ.

Я бросился домой.

— Вы куда? Пожалуйте глотнуть...— и мой знакомый вынул из кармана фляжку и, поболтав содержимое в ней, сказал:

— Оправьтесь от нервов. Выпейте, и все как рукой снимет.

Я приложился к фляжке, сделал несколько глотков, и словно бы легче стало, и побрел своей дорогой...

Небо прояснило. Солнце заиграло на зеркальной поверхности бухты. Проехали обратно экипажи. Те же две дамы, уже с откинутым фордеком что-то оживленно болтали. Прошел взвод солдат вольным шагом. Бабы с грудными ребятами спешили на свои дневные работы и тоже о чем-то говорили. Я взглянул на грудного ребенка солдатки, сосредоточенно смотревшего куда-то вдаль. Боже мой! Неужели это невинное дитя поняло хотя тысячную долю той потрясающей драмы, которая сию минуту разыгралась перед его детскими очами?

— Ну, а мы куда, Степа? — услышал я рядом.— Завалиться разве в трахтер и одну-другую садануть?

— Важнеющее дело,— ответил кто-то.

— Ну, а все-таки жаль, что мы никак не можем сойтись насчет цены-то...

— Э, видит бог, самим дороже... Вот посуди, Иван Петрович, если теперича взять...

— Берегись!..

Проехал еще экипаж, в котором сидела дама и два кавалера...

— Я теперь не скоро от нервов оправлюсь. Петр Иванович, это вы все...— донесся до моего слуха голос дамы.

Что отвечал ей кавалер, я не слышал за грохотом экипажных колес и за криком двух поддевок, заоравших полупьяным фальцетом: «Под вечер осени нена-астной...»

※※※

ОЧЕРК ИЗ ЗООЛОГИИ УССУРИЙСКОГО КРАЯ

Желая предпринять ряд очерков из зоологии местной фауны, я, недостаточно опытный в расположении научного материала и его обработки, сильно сожалею, что не состою членом Общества изучения Амурского края. Поэтому мои очерки волей-неволей должны принять популярный характер. К тому же организация всяких экспедиций с научной целью сопряжена с такими большими материальными затратами, что и с этой стороны план наш по необходимости должен сузиться до скромных размеров —ограничиться одним классом, именно человека (homo), чудные экземпляры которого в изобилии попадаются на Светланской, Алеутской и других улицах Владивостока, а также во всех собраниях...

Перед вами маленького роста человек, по-видимому, не представляющий никаких особенностей в своей организации. Но это только так кажется. Всмотритесь попристальней в его физиономию: на ней для первого раза увидите довольно длинный нос, обладающий способностью двигаться из стороны в сторону и нюхать издалека доносящиеся струи воздуха; наверное, пылкий анатом, пользуясь случаем, сейчас описал бы прибавочные мышцы и усмотрел бы тут явление «атавизма». Желтоватые глаза смотрят враскос и видят под землею ежели не на три аршина, так уж во всяком случае на аршин. Усы, длинные не по росту, предусмотрительно спущены вниз и сливаются с такой же длинной рыжеватой бородой...

Движения маленького человека торопливы и порывисты; темноты и стен он не выносит, и поэтому всем своим существом всегда стремится к свету, т. е. к окну, в особенности, если оно выходит на улицу. Ежели поле зрения заволакивают ему деревья, то он всеми силами старается избежать этого неудобства. Вы видите тогда ряд самых забавных поз, быстро сменяющих друг друга. Надо сказать, что двор его квартиры хотя и выходит на улицу, но так густо засажен деревьями, что представляет возможность широких и открытых перспектив. Двигаясь маленькими шажками в определенном направлении, он вдруг сразу останавливается как вкопанный, заслышав грохот экипажа, и быстро приседает; но в таком положении он остается одну секунду. Перегнувшись туловищем вперед и напряженно вытянув шею, он, как человек, которому внезапно адски схватило живот, мучительно извивается из стороны в сторону, ища просвета между деревьями. Потом он вытягивается во весь свой рост, стараясь подняться на носки своих сапогов, снова приседает и т. д. Если погода стоит хорошая и день праздничный, то работы маленькому человеку

предстоит бездна, потому что улица делается очень людной.

Зато с каким громадным запасом животрепещущих сведений он идет в комнаты к жене, хлопотливой и тоже чрезвычайно любознательной молодой женщине.

— Барышня Тиллинг приехали...— сообщает он как бы мимоходом: в голосе убийственно-равнодушный тон голого факта, даже без следов субъективной дрожи.

— Ну? — вытягивается недурное личико с подвитым и напомаженным чубом.

— И сестра с ними! — опять как бы вскользь добавляет маленький человек.

Рука супруги с вытертым наполовину стаканом бессильно падает на колени, рот полуоткрыт... Она прекрасно знает манеру мужа всегда говорить с какими-то противными проволочками и потому с плохо скрываемым нетерпением ждет дальнейших дополнений.

— Лошади и экипаж инженера Топтыгина и кучер.

Но пока маленький человек будет передавать длинный ряд подробностей, то оставаясь объективным передатчиком факта, то, в случае сомнения или замечания супруги, становясь энергичным защитником высказанной им истины,— мы коротко вернемся к его прошлому и проследим, как могла образоваться эта в своем роде замечательная разновидность Homo sapiens ussuriensis?

Годы детства и отрочества Ивана Николаевича Матуза прошли при самой грустной и печальной обстановке. Отец сильно пил и в светлые промежутки, занимаясь делами частного поверенного, был обыкновенно крайне свиреп: маленького Матуза нещадно драл, стараясь искоренить прирожденное любопытство. «Чего тебе, ехида, надо в моих бумагах?» — говорил он, схватывая сына за вихор, когда заставал его погруженным в рассматривание жалоб и прошений. Пьяный, напротив, был добродушен и ласков, гладил сына по голове, показывал ему бумаги, раскрывал перед ним тайны адвокатской деятельности, давал наставления и советы: «Пойми ты, говорю тебе, пойми эту механику, и ей-богу, вспомнишь ты отца; с этой, брат, наукой не пропадешь; видишь, отец твой...» Тут следовал целый ряд фраз, воздвигавших отца на пьедестал чуть ли не первого оратора...

Но скользкий путь частного поверенного как-то не манил маленького Матуза. Круг отвлеченных понятий, область вычурных силлогизмов и неотразимой логики были мало доступны юному уму и потому мало привлекательны. Он жаждал живой, реальной, так сказать, ощутительной деятельности. Поэтому его и в школе больше интересовали все подробности семейной обстановки и жизни учителя, чем тот предмет, который им преподавался. Боль-

шую охоту обнаруживал он также ко всякого рода коммерческим сделкам: продавал, покупал, менял, выбирая всегда такого товарища, которого он легко мог провести. Но дальше третьего класса гимназии он почему-то не пошел...

Ему было 17 лет, когда отец умер. Мать, безответная и робкая женщина, ни разу не заявившая о своих желаниях при жизни мужа, сразу захлопотала и поднялась на ноги: она повезла сына в Петербург, отыскала одного из профессоров, на ее глазах мальчишкой еще бегавшего в их городе без всяких предосторожностей относительно костюма, и благодаря ему юноша Матуз был пристроен в какое-то присутствие канцелярским служителем. Бойкая сообразительность, стремительность во всем и необычайная расторопность сразу обратили на себя внимание старого начальника-немца, который сумел воспользоваться его талантами широкой рукой. Он взял его к себе, несмотря на молодость, в качестве управляющего или домашнего секретаря. Ему были поручены все закупки по хозяйству, и тут он вполне развернул свои способности. С удивительной любовью и настойчивостью он разыскивал, где что можно было дешевле и выгоднее купить. Конечно, не обходилось без огорчений и здесь: аккуратный немец каждый раз требовал обо всем подробный отчет и, ежели находил, что Матуз употребил много слишком времени на переход от Караванной до Театральной площади, задавал такую встряску, что делалось страшно... Свободное от побегушек время он урывал для своих занятий, ловил на лету возможные сведения и, благодаря богатой памяти, быстро водворял в своей голове самые разнородные познания.

Так прошло несколько лет. Начальник умер. Матуз должен был искать места. И вот после целого ряда скитаний и мытарств мы встречаем его на службе в Уссурийском крае. Годы не провели на нем заметного следа: та же юркость, та же головокружительная готовность. Как новые элементы заметны теперь: сознание своего достоинства и болезненная обидчивость. Поэтому в разговоре он откровенен с вами только до тех пор, пока вы не позволили себе и следа какой бы то ни было иронии или недостаточно внимательного отношения к нему. В противном случае — все пропало! До этого вам не нужно было никаких газет: из первых рук узнавалось все, чем только может интересоваться самый требовательный уссуриец; вы знали в подробностях не только обстоятельства, сопровождавшие постройку железной дороги, но и то, какими дебошами ознаменовалась вчерашняя инженерная попойка... Из каких источников черпались все эти сведения, иногда было прямо поразительно и чуть не сверхъестественно. На вопрос удивленного: «Да откуда это вы могли узнать?» он не без

гордости и тайного самодовольства отвечал: «Ага, сорока на хвосте принесла!» Конечно, это была с его стороны не больше как шутка, но в этом положительно не было ничего невероятного.

В новом крае он очень быстро ориентировался, не дальше как через неделю он уже бегло говорил на том удивительном жаргоне, который принят всем уссурийским населением как международный язык, вроде волапюка или эсперанто.

«Моя купи, твоя деньги бери; шибко худо есть, сколько назад твоя солнца ходи» и пр. и пр. так и сыпалось с его языка. Умиленный продавец-манза с видимым наслаждением вторил рядом бессмысленных для нового слушателя фраз и ловко парировал на том же диалекте довольно-таки бесцеремонные посягательства «капитана» на его товар; но обыкновенно в дело вмешивалась и «мадам» и тоже настойчиво уверяла, что «все шибко худо есть», без всякого сожаления перерывала вверх дном все содержимое передвижной лавочки-корзины и сообща доводили несчастного манзу если не до слез, то до полного отчаяния. Тем не менее, Матуз пользовался уже через год большой популярностью среди манз, слыл за большого капиталиста, и поэтому ему охотно открывали кредит...

Жизнь его переполнена кипучей деятельностью. Все свободное от службы время он проводит на базаре: применяется к ценам, торгуется, бросает мимоходом не лишенные меткости и яда замечания, даже покупает... Сегодня он купил лошадь.

— Дорого заплатили, Иван Николаевич? — спрашиваете вы, и болезненное чувство жалости пробегает по вашему телу при взгляде на маленькую, изнуренную летами, непосильной работой и голодом клячу.— Батюшки, да она падает!

Действительно, худое туловище ее качается из стороны в сторону и едва держится на ногах.

— Десять рублей отвалил! — говорит весело Иван Николаевич, далеко не разделяя ваших сентиментальных взглядов.— А вот посмотрите, что это за лошадь будет к лету, после того, как на зеленой траве походит; новоселы придут, все подберут, только подавай! Да я меньше, как на трех четвертных и не помирюсь тогда! А теперь она у меня навоз и снег из двора будет вывозить, работа не тяжелая, а без лошади тут не обойдешься!..

Но весь центр тяжести и, так сказать, суть его коммерческой и хозяйственной изворотливости лежит в дровах. Дрова составляют пока его самое больное место. Сначала предметом его внимания был валежник. Но с тех пор, как организован некоторый надзор в этом деле, Матуз решил, что с валежником нечего и мараться. Он отыскал безбилетного манзу, приласкал его, даже дал ему позволение ночевать у себя на кухне и, расположивши его к

себе таким образом, решил пользоваться его услугами в широких размерах. Манза рубил дрова, взявши билет на имя «капитана», а «капитан» эти дрова возил, складывал в большие кучи и делал в уме соблазнительные вычисления постепенного поднятия цен на них в геометрической прогрессии... И хотя между ними происходили довольно частые недоразумения и споры, но решить с положительностью, кто кого съест — манза капитана или капитан манзу,— не представляется возможным, хотя некоторые признаки и данные для решения этого сложного вопроса уже постепенно накопляются. Да и сам манза сознался, что, несмотря на то, что он ручной хунхуз,— песня его спета: он приготовился быть съеденным...

Теперь Иван Николаевич смотрит вперед смело и уверенно. Грядущее для него уже определилось.

В самой осанке есть уже что-то настолько хищное, что прохожему начинает по временам казаться, будто он намеревается сделать прыжок. Глаза как-то особенно блестят, и если верить его домашним, он ночью стал лучше видеть, нежели днем...

СТРАШНЫЙ СОН

(Фантазия)

«Страшен сон, да милостив бог»

... Я шел с тяжелым усилием... Путь был далек и труден... Ноги мои почти по колено увязали в грязи, и я еле передвигал их. Вокруг царила непроглядная мгла. Не было видно, что называется, ни зги. Хоть бы одна путеводная звездочка мигнула в этой тьме!.. Лишь молния порою бороздила яркими зигзагами темный фон нависших туч. Гром загрохотал, пошел дождь как из ведра. И вот... Но что это такое за чудовище?! Оно леденит мне своим видом кровь. Мои волосы от ужаса становятся дыбом: чудовище страшно, так страшно! О боже! Спаси меня от него, спаси! Отстрани меня от этого страшилища! Пусть оно пройдет мимо в этой густой тьме и не тронет меня!.. Я устал, измучился, в жажде только одного проблеска света утренней зари, которая бы придала мне бодрость и силы. Прочь мрак, прочь призраки, прочь это страшное леденящее видение! Но оно с быстротою урагана, выделяясь резко своей чернотой на темном фоне ночи, несется на меня, прямо на меня... Кажется, фигура эта мне знакома. Но она

слишком громадна, ужасна... Кажется, я видел где-то эти налитые кровью глаза, словно у быка, разъяренного красным платком. Да, я их действительно где-то видел. Где-то видел эту толстую шею, это громадное, колыхающееся уместительное брюхо... Но где же я все это видел? Как зовут это чудовище?.. А! Это не гром гремит — это чудовище рычит — грохочет, простирая вперед свои громадные руки с растопыренными жирными пальцами, словно желая кого-то ими схватить и уничтожить... Но чудовище стремится ко мне. Оно уже близко...

— А! Вот где ты! — гремит чудовище.

— А! Вот где ты! — повторяет эхо гор, долин, лесов. Словно темное мрачное небо повторяет это эхо.

И могучею рукою схватывает меня чудовище за руку, поднимает высоко над землей, на уровень своих страшных, налитых кровью глаз и, не смотря мне в очи и потрясая меня, спрашивает-грохочет:

— Так ты писательством занимаешься?!

— «Так ты писательством занимаешься?!»—отдается эхо далеко в темноте.

— Да...— едва лепечу я от страха.

— Не думай, не пиши! Брось, несчастный, свое сумасбродство и будь безответным моим рабом! Отупей! Отвечай мне, будешь еще писать?..

— «Писать»? — вторит ночное эхо.

«Что сказать?» — мелькнуло у меня в голове. «Не буду лгать»,— решил я.

— Да... буду писать..— пролепетал я в новом ужасе.

— А ты знаешь, что я тебя сейчас вот в этих лапах в порошок сотру и развею в этом мраке моего царства? Знаешь? — повторил он грозно, и это «знаешь» отдалось сугубым эхом в ночном пространстве.

— Знаю,— пролепетал я,— но...

— А ты знаешь,— прервало меня чудовище,— что моему «ндраву» перечить нельзя? Ты знаешь, что все, что ты видишь вон там под собой, безмолвно мне покоряется. Я с ними, как властелин, делаю, что хочу. Видишь?

И громадным пальцем правой руки (левой держал меня), на котором блеснул на миг бриллиант какого-то чудесного перстня, он показал вниз, в глубь тьмы.

Я взглянул вниз, туда, куда показывал палец. Внизу, глубоко во мраке, едва-едва мигали фонари. Черные силуэты домов чуть виднелись при слабом их освещении.

— Видишь?

«Видишь?» — повторило эхо.

— Это мое царство... И если я владею таким поместьем,— гремело чудовище,— то тебе ли, такой букашке, еще пытаться заниматься писательством и сор выносить из избы? Ты знаешь, что сор, грязь для меня — жизнь. Ты мнишь, что можешь со мной что-либо сделать? Ты мнишь быть судьей моих деяний, не подлежащих ничьей критике, хотя бы я все в своем поместье сокрушил и обратил бы в ничто? Отвечай!..

И чудовище потрясло меня так сильно, что я думал во мгновение, что рука моя оторвется, и я со страшной высоты грохнусь на землю и разобьюсь вдребезги.

— Я... не выношу сор из избы,— пролепетал я,— я только говорю истину... Истина — свет, а для тебя этот свет — тьма...

— А! Так ты все свое твердишь!.. Не покоряешься моей власти?! Ты...

И какие-то ужасные, скверные, отвратительные слова огласили ночную тьму и громко повторились стократно эхом гор, долин и лесов. Чудовище занесло надо мной свою правую руку, сжатую в страшный кулак, чтобы мне этим кулаком размозжить голову, но... я вскрикнул в паническом страхе и... проснулся...

Я увидел себя сидящим на постели, всего в поту с откинутым к ногам одеялом. Испуганная кухарка стояла у моей постели и тревожно спрашивала:

— Чтой-то с вами, барин? Уж и вскрикнули же вы, ажно меня испужали...

— Ничего, тетушка... Сон видел страшный...

— Спаси вас бог от напастей, барин. Бог не захочет—свинья не съест,—пробурчала она почему-то, уходя.

Я спустил ноги с кровати и стал приводить в порядок мысли.

В ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ

(Рассказ)

Сыро, серо, туманно... Дождь моросит, как сквозь частое сито... Плывут капли этого дождя по оконным стеклам медленно, словно слезы по щекам тихо плачущего человека. И эта тоску наводящая погода тянется третью неделю, и, кажется, не предвидится ей конца... Туман одел своей пеленой всю бухту с гористыми берегами, весь город, проникает своей сыростью в квартиры, где покрывает плесенью все, чего достигает. Кажется, плесневе-

ет от этого тумана и самая душа обывателя, грустящего в своей квартире.

И посмотрит этот обыватель в окно на улицу,— а там та же классическая грязь, по которой уныло плетутся извозчичьи клячи. По расшатавшимся тротуарам сосредоточенно бредут пешеходы под зонтиками. Не слышно обычных выкрикиваний манз-разносчиков: «алехов», «ягд», «ябык», «чертслив» и других заморских гнилых, донельзя загрязненных фруктов. Даже продавцы овощей и те попрятались в своих фанзах, вследствие чего домовитые хозяйки, подобрав свое платье и изрекая хулу на погоду ,понтируют на базар, предвидя отлично, что там еще грязнее, чем на улице... Скоро ли все это кончится? Хотя бы проблеск солнца, чтобы эта мрачная природа на время просияла! А то хандра, невыносимо тяжелая хандра давит грудь кошмаром, надрывает сердце и нагоняет темные, безотрадные думы...

— Экий мерзопакостный день! — воскликнул Перекатов, подходя к окну своей маленькой квартирки.— Вот тут еще удивляются, отчего у нас такой процент самоубийств! Как при такой погоде не застрелиться, или не спиться, или с ума не сойти?!

— Нет, брат, тут причина не одна «мерзопакостная» погода, а нечто еще иное,— сказал товарищ Перекатова, лежа на его кровати с запрокинутыми за голову руками и сосредоточенно глядя в потолок.

Это был Ремнев. Ремнев и Перекатов были товарищами и одних почти лет, около тридцати пяти каждому. Первый был блондин с темнорусой бородкой, а второй совершенный брюнет, с несколько южным типом лица. Ремнев Перекатова называл оптимистом, а Перекатов Ремнева называл пессимистом. Оба вечно искали места, вечно надеялись, что и им когда-нибудь улыбнется счастье, и на их улице будет праздник, вечно спорили о высоких материях и грустили вместе, когда терпели «фиаско» в погоне за местом.

— А какие это еще такие иные причины? — повернулся к Ремневу Перекатов с заложенными в карманы брюк руками.

— А такие, которые и тебе очень хорошо известны...

— Именно?..— Перекатов заходил по комнате, собираясь слушать.

— Именно те, с которыми ты сам ведешь нескончаемую бесполезную борьбу, грозящую тебе полным поражением... Послушай, Перекатов! — при этом Ремнев повернулся на локте к Перекатову и заговорил.

— Послушай, Перекатов! Ведь ты даже и не оптимист в конце концов, а просто Дон-Кихот Ламанчский.— Ремнев даже присел на кровати.— Ведь ты пойми же, что завел борьбу с ветря-

ными мельницами с картонным мечом и воображаешь, что ударами этого меча ты разрубаешь маховые крылья могучего колеса... Брось ты, пожалуйста, все это и будь благоразумным... Сложи свое картонное оружие и...

Ремнев снова бросился на постель...

— Ну, ну?.. Договаривай, пожалуйста!.. Что-то я не слыхивал от тебя подобных *идей*... И?..— переспросил Перекатов.

Слово «идей» Перекатов особенно подчеркнул.

— И... брось писать,— сказал с интонацией Ремнев.

— То есть как? — изумился Перекатов.

— А так: возьми свои перо и чернила и выбрось их через окно вон на улицу, а там: «Скинь-ка шапку, скинь-ка шапку да пониже поклонись!» — знаешь песенку? Или: «Если хочешь быть в чести — польсти, мой друг, польсти!» — А это — конфектная мораль и очень мудрая, заметь...

— Ого! Давно ли ты стал проповедником молчалинской морали?

— С тех пор, как вечный судия мне дал разум Ремнева...

— Но шутки в сторону! Ведь ты своим писанием раздражаешь против себя людей, которые могут быть тебе полезными... Ты вот говоришь, что тебе иногда доставляет невыразимое удовольствие, когда ты на кончике своего пера подденешь какого-нибудь негодяя и нравственного урода... Но доставляет ли тебе то же удовольствие, когда ты в то же время терпишь материальные лишения и пути к более сносному существованию, чем вот сейчас, тебе все позаказаны?.. Я полагаю, положение не из важных?..

Перекатов ходил молча и словно что-то соображал.

— Так как же? — переспросил Ремнев.

— Что же я тебе отвечу? — сказал Перекатов, расхаживая с понурой головой.— Материальные лишения — вещь далеко не из приятных...— Но вдруг он оживился, вскинул голову и почти вскрикнул:

— А все-таки я предпочитаю нравственное удовлетворение и все материальные невзгоды до тех пор, пока в силах их переносить!! Да нет!.. Не то, и это — не то! — махнул рукой Перекатов.— Эти материальные лишения — нуль, ничто в сравнении с тем, когда тебя молва оравы людей, задетых за живое, начинает чернить систематически, не разбираясь в средствах, когда эти озлобленные люди забрасывают тебя, совершенно невинного, грязью, клевещут на тебя, распускают бабьи сплетни — вот что горько и обидно, вот что может человека довести до отчаяния и падения духа. Этих людей — сплетников и чернителей — слушают и верят им, их изречения считаются не подлежащими никакому сомнению, никакой проверке — и приговор над тобой, самый бес-

пощадный и в то же время самый бесстыдный, бесповоротно произнесен... Но боже мой! Если бы у этих слушателей хотя на мгновенье явилось желанье вопросить себя: кто же они-то сами, эти хулители? И если бы при этом заглянули глубже, критически в их собственные души, то с ужасом увидели бы, что эти их души чернее эфиопа, и с омерзением отвернулись бы от них. Они убедились бы тогда, что хулители эти давно уже потеряли репутацию всякой порядочности и что руку им можно протягивать только с нескрываемым омерзением... А между тем, как говорят, на жизненном пиру люди эти прут все вперед и вперед, отвоевывая себе самым беззастенчивым путем лучшие лакомые куски, калеча и давя на пути честных тружеников... Наконец, они добираются до капральской палки, до золотого тельца и, воссевши на место, захваченное позорным путем, потрясают этой палкой и ждут к себе паломников!..

— Ну, брат, ты опять, Перекатов, зарапортовался! Тебя, видно, опять погода расстроила... Лучше уж замолчим, а то твои нервы разошлись...

Перекатов, действительно замолчав, тяжело вздохнул и нервно шагал по диагонали своей квартиры в то время, как Ремнев лежал в том же положении с запрокинутыми за голову руками.

Молчание длилось не более пяти минут.

— Ха-ха! — вдруг нервно захохотал Перекатов, прерывая тем первый молчание.— Смешно, право! Ведь еще за школьной скамьей нам толкуют о каких-то идеалах, о стремлении к правде и добру, о честности и бескорыстии, о том, что нужно бороться против зла. Говорят нам это устно и учителя, и читаем о том же в хороших книгах, а между тем люди, которые впервые вступают в жизнь, одухотворенные этими идеями, получают самые чувствительные толчки на первых же порах...

— Пошла писать губерния! — пробурчал Ремнев и повернулся на кровати спиною к Перекатову.

— Вы — сумасброд,— продолжал между тем свой монолог Перекатов.— Вы — отсталый, вы — непрактичны в жизни, вы не умеете идти с веком. Пользуйтесь всеми благами жизни, а не парите в области несбыточных желаний.— Вот те фразы, которые раздаются вокруг изумленного новичка. Приходит он потом в ужас, когда вдруг эти возгласы слышатся даже из уст бывших его учителей, напутствовавших его из школы в жизнь. И стоит он, ошеломленный, как обухом, и не знает, что ему делать: изречь ли проклятье всему тому, на чем он воспитался и с чем вышел в жизнь, и идти «с веком» к золотому тельцу окольными путями, сохранив в себе лишь один алчный аппетит, или же, ревниво оберегая свои излюбленные идеи, почерпнутые вначале, идти по пря-

мой дороге, сохранив в себе столько честности и гражданского мужества, чтобы предметы называть своим именем: зло называть злом, добро — добром, вора — вором, мерзавца — мерзавцем...

— А в кутузку не хочешь? — проронил иронически Ремнев.

— Нет, брат, к чему эта неуместная ирония? Ведь ты сам воспитывался в той же alma mater, где и я, зачем же, следовательно, ты ерундишь?.. Ведь ты, кажется мне, сейчас сказал, чтобы я бросил свое картонное оружие — перо и перестал бы писать,— так, кажется?

Перекатов остановился над Ремневым.

— Да... я...— буркнул Ремнев.

— Ну, вот!..— Перекатов снова заходил.— А не ты ли еще так недавно восторженно повторял стереотипные фразы о великом мировом значении гласности и особенно в форме периодической печати? Не ты ли сам, своими устами, повторяя больше чужие, чем свои мысли, пророчил великую будущность этой печати в мировом прогрессе? Не ты ли сам громил так недавно произвол, самоуправство, ложь в газетах «Куда лезешь?» и «Назад»? Не ты ли сам, всем своим умственным существом призывал преследовать зло во всех его формах? Не ты ли сам сознавал, что такое преследование не обойдется без жертв, к которым нужно быть всегда готовым?

— Какие такие жертвы?! Не надо жертв!.. Долой жертвы! К чему они? — проговорил Ремнев.

— Но ведь это были тогда твои же собственные слова, с которыми и я согласен... Согласен и с теми, которые ты сейчас сказал. И верно: к чему жертвы?.. Не нужно жертв!..

— Не нужно жертв! — проговорил еще раз Перекатов словно про себя и молча продолжал расхаживать...

И почему-то ему припомнились несколько его товарищей, когда-то таких же «оптимистов», как он, говоривших громкие фразы и, по-видимому, шедших по честной, бескорыстной стезе. Один из них, подававший надежды, вскоре плюнул на свои идеи и, поняв «дух века», очутился у подножия «фортуны», предварительно пройдя в передних золотых тельцов и юпитеров полную школу лакейства. Другой тоже сделал такую диверсию, что Перекатов не знал, курит ли товарищ его фимиам подлости или стоит за правду и справедливость, и этот тоже очутился в объятиях у «фортуны», а третий...

«И все ведь теперь глумятся надо мной, что я не практичен, что не иду я с веком, что «не обеспечил еще себя ничем», что «не позаботился о «черном дне», что... Словом, что не умею принести в жертву те идеи, которыми я до сих пор воодушевлен... Но эти

соболезнователи, которые жалеют меня в моем неприглядном материальном состоянии,— спрашивали ли меня: завидую ли я их положению и желал ли бы я достигнуть того же сравнительного счастья теми же путями, какими они дошли до него? Нет... Но если бы спросили, я им ответил бы: нет, господа, пользуйтесь добытым вами условным счастьем сами, но не требуйте от меня тяжких жертв... Я не завидую вам... Да, не надо таких жертв!.. Не нужно их!» — повторял Перекатов про себя, шагая задумчиво по комнате в то время, когда Ремнев на его кровати давно уже похрапывал...

— Но если не надо жертв, то как быть? — задал он себе мысленно вопрос, остановясь задумчиво перед окном и смотря на улицу... А там, за окном,— та же слякоть, тот же пасмурный день, туман, окутавший весь город, те же извозчичьи клячи, шлепавшие по уличной грязи, те же унылые пешеходы и те же капли мелкого дождя, медленно сползавшие по стеклу, как слезы по щекам тихо плачущего человека...

ОБЕД С ПРЕЛЮДИЕЙ

(Из прошлого)

Петр Петрович Коровенко стоял приблизительно минут десять над пробной чашкой и тихо, сочно, истово прихлебывал солдатский борщ, заедая его рассыпчатой гречневой кашей...

Он только что осматривал часть и остался смотром очень доволен, хотя весь смотр состоял в том, что он прошелся по фронту грузными шагами, произнося мимоходом какие-то слова, лишь походившие на членораздельные звуки, причем шедший петушком сзади него адъютант заботливо что-то заносил в свою записную книжку. Солдаты смотрели на него, словно бы хотели его съесть глазами, по уставу, и вытягивались пред ним так рачительно, что у них тряслись поджилки, в коленях знобило и дух занимался. Наконец, пройдя весь фронт, он проговорил довольно внятно.

— Спасибо, ребята! Молодцы!

— Рады стараться, ваше пррство-о-о! — ответили сотни здоровых, голосистых солдатских глоток.

Затем он обратился к командиру части.

— Распустите их, Михаил Черноморович!

На это последний, низенький геморроидальный человечек с

длинной русой бородой поспешил распорядиться бодрящим голосом, показывавшим, что начальство довольно.

— Марш в казармы!.. Бегом!..

Фронт вздрогнул, и солдаты пустились весело в казармы, перегоняя друг друга с вскриками, взвизгами и сдержанным хохотом...

После этого Петр Петрович направился в кухню для пробы пищи в сопровождении командира части и всех ее офицеров.

Кухня была начисто вымыта, выскоблена и прибрана. Кашевар и хлебопек блистали своими белыми колпаками и передниками. Дежурный встретил Петра Петровича с подобающим подходцем по всем правилам фронтовой выправки, отрапортовав ему о благополучном состоянии кухни и о том, сколько кладено в котел, сколько состоит на котле. Выпалив свой рапорт одним духом, дежурный бомбардир сделал одной ногой шаг в сторону, приставил к ней другую и замер в этой позе, чтобы пропустить начальство к пробной порции.

Петр Петрович, поздоровавшись с дежурным кашеваром и хлебопеком, направился к столу, начисто вымытому и выскобленному, на котором на деревянном подносе поставлена была для пробной порции фаянсовая миска с ручкой, походившая на какую-то подозрительную посудину, чашка с кашей, краюха солдатского хлеба, графин красного густого солдатского квасу и опрокинутая деревянная ложка.

— Ну, покажи свое искусство,— сказал Петр Петрович, обращаясь к кашевару,— дай мне попробовать, что ты готовишь своим товарищам!..

Кашевар словно ждал этого момента. Он вздрогнул и моментально снял крышку с котла, в то время как хлебопек поднес к котлу пустую миску на деревянном подносе, или, говоря проще, дощечке. Кашевар запустил черпательную ложку в котел, помешал раза два в котле и потом одним ловким вольтом ложкой зачерпнул из подходящей глубины его такой навар, который не показался бы Петру Петровичу, как лицу, инспектирующему часть, слишком жирным и слишком пресным: словом, чтобы было всего в «плепорции» — и кусочек говядинки, взятой артельщиком на сей день очень наварной, и перцу, и листу, и картошек, и всей той смеси, которую полагается класть в солдатский борщ... Зачерпнув таким образом борщ, кашевар одной ложкой наполнил миску, а хлебопек поставил ее, полную уже, на стол пред Петром Петровичем, который как бы плотоядными глазами следил за процессом наливания пробной порции, сделав снисходительное предупреждение:

— Ты, братец, мне не лукавь!..

И вот он уже стоит над этой пробной порцией около десяти минут...

Петру Петровичу всегда нравился солдатский борщ с его острыми специями в виде солидной дозы перцу, лаврового листу и луку. Он с особенным удовольствием, как бы к священнодействию, приступал к солдатской пробной порции, отведывая при этом в достаточном количестве и хлеба, хорошо пропеченного, и квасу, густо навaренного. За то ко дню его смотров все это приготовлялось доброкачественнее и в достаточном количестве, так как командиры частей уже этим самым обеспечивали за собой главный успех.

Человек с громадным аппетитом, к чему располагала его грузная, объемистая фигура с сорокаведерным животом и с жирной, со складками шеей,— Петр Петрович ел всегда, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой, будто в этом процессе едения заключался весь его культ поклонения. В этом он находил все блаженство своему разжиревшему, дряблому организму, уставшему в безумных оргиях минувших дней молодости, проведенной с такой помпой, которой долго не забудут не только его собутыльники, эти последние могикане патриархальной захолустной жизни служащего элемента, но и вся обширная область, по которой были разбросаны подведомственные ему части...

Теперь он похвалил только солдатский борщ и кашу.

— Да, квас хорош,— сказал Петр Петрович, запивая все это третьим стаканом квасу и отрыгиваясь довольно громко. Потом он стал лениво снимать свой шарф. Заметя это, Михаил Черноморович протелеграфировал что-то в сторону дежурного по кухне, тот смекнул, в чем дело, и с каким-то азартом бросился к Петру Петровичу, как нечто священное принял превосходительный шарф и, держа его осторожно в руках, словно бы опасаясь разбить хрупкую вещь, стал на свое место... А Петр Петрович продолжал «пробу»... Офицерство стояло позади в беспорядочной группе, в нетерпеливом ожидании, мучимое разными мыслями по поводу совершающегося события или просто по поводу своих танталовых мук при этой «пробе». Было тихо: слышно было только мерное чавканье Петра Петровича, бульканье падавших обратно в миску с ложки капель борща, да об стекло окна билась и гудела какая-то большая муха...

— Ишь, его расперло,— думал капитан Горюнин, смотря на широчайшую спину Петра Петровича, слегка наклонившегося над миской,— словно бегемот какой... Уплетает, словно бы бог знает, какое трудное дело совершил!.. Обошел фронт и даже не заглянул в ранцы, не расспросил толком, кто изобижен из малых сил недодачей, обсчетом, несправедливостью... Вот сколько лет уж

ездит к нам, а все обстоит благополучно, тогда как на наших глазах совершаются вопиющие безобразия!.. И на этой мысли вдруг его оборвал внутренний голос: Ну, а что же ты сам-то, глядя на эти безобразия, молчишь, как рыба, тем более, что сам порою бываешь страдательным лицом и по самой профессии являешься защитником «сих малых»?.. И как бы в ответ на это Горюнов продолжал думать: — Я уж и так навлек неудовольствие своими вылазками, да не проймешь этих толстокожих бегемотов... Прать против рожна... Да и жрать надо... Семья!.. И какая-то краска не то от стыда, не то от другого чувства, залила его побледневшее лицо, и он переменил позу, опустив одну руку на рукоять шашки, а другую заложив за борт мундира...

Совершенно иначе думал поручик Взизимов. У него текли слюнки от аромата приправы солдатского борща и от сочного причмокивания Петра Петровича.

— Эх, кабы теперь пропустить одну-другую, да этих борщей, да всхрапнуть — важное дело было бы!..

И в это время, как бы встревоженный этою заманчивою мыслью, его желудок издал сердитый рокот так внятно, что он глянул боязливо в сторону «начальства» — не услышал ли... Но оказалось, что только вечно веселый подпоручик Финтифлюшкин, которого почему-то еще, к великому его огорчению, называли «Фендриком», глянул на него с усмешкой и скорчил мину, чуть не фыркнув на всю кухню, чем, конечно, нарушил бы общую гармонию священнодействия «пробы».

Михаил Черноморович, как командир части, стоял около Петра Петровича, пред мощной фигурой которого он казался совершенным карликом, а своей длинной русой бородой, которую он как-то вдумчиво поглаживал, напоминал и того карлика—Черномора, который описан у Пушкина. Желчно-геморроидальное выражение его лица еще более усугубляло эту иллюзию. Он заботливо следил за каждой ложкой, которою черпал Петр Петрович, заглядывал порою в миску, которая была уже близка к концу, и боялся только одного: чтобы как-нибудь не попал предательский таракан, чего терпеть не мог Петр Петрович, или какая-нибудь постороняя примесь.

Этого боялся и кашевар, который весь превратился во внимание и как-то судорожно вздрагивал своим вытянутым в струнку корпусом при каждой ложке, зачерпнутой из миски Петром Петровичем.

Михаил Черноморович только того и боялся, и это понятно: одна какая-нибудь муха или завалившийся в борщ таракан могли испортить весь аппетит Петра Петровича, а следовательно, его

расположение и впечатление о самом смотре, так благополучно оконченном.

Верно говорят, что из малых причин сплошь и рядом совершаются великие события.

Михаил Черноморович вовсе не беспокоился о том, что после пробной порции в размере одной миски борща, краюхи хлеба и графина квасу, обед его жены, суетящейся теперь принять дорогого гостя, пропадет даром, ибо аппетит Петра Петровича был им испытан. Он был уверен, что и поросеночек с хренком будет съеден, и цыплята под белым соусом, и кулебяка, и все остальное...

Только бы «пробная» не подгадила!..

И вот, наконец, Михаил Черноморович как-то непринужденно-блаженно вздохнул и просиял всем своим геморроидальным лицом. На лице кашевара отразилось выражение невыразимого счастья. Офицерство стало подправляться и кто-то даже крякнул раза два, оглядывая умильно сотоварищей. Петр Петрович положил ложку и, допив квасу, молвил, икнув довольно громко:

— Спасибо, братец!

На это кашевар гаркнул так, что стекла задребезжали и даже муха перестала биться об стекло и метаться:

— Рад стараться, ваше пррсство!..

— Теперь милости прошу, ваше прррство, к обеду,— сказал Михаил Черноморович, обращаясь к Петру Петровичу вкрадчиво почтительным голосом и поглаживая свою длинную бороду...

— И пообедаем,— сказал Петр Петрович, грузно двинувшись из кухни.

— Прошу, господа,— обратился Михаил Черноморович ко всем своим офицерам вполголоса, следуя за Петром Петровичем..

Все последовали за начальством, хотя это приглашение не на всех произвело одинаковое впечатление. Так, например, замыкавший всех Горюнов думал о том, как бы хорошо было прийти домой и, сняв с себя тесный мундир, в котором в такую жару было тяжело чуть не до тошноты, очутиться в просторном пиджаке и за пельменями или варениками, которые так хорошо готовила его молодая прехорошенькая жена, рассказать ей свои смотровые впечатления.

— А впрочем, и она, наверное, приглашена сегодня на обед командиршей Александрой Ивановной,— подумал Горюнов. Так, для декорации, значит... Бедная Лиза! И ты будешь сегодня страдалицей, будешь, как и я за этим официальным обедом, на котором каждый кусок приходится чуть не колом и краснеешь за каждый глоток вина.

То ли дело дома, на свободе!.. И к чему все эти официальности, черт бы их подрал!..

А Вонзилов говорил шепотом, потирая руки, закадычному своему приятелю Финтифлюшкину:

— А не дурно!.. Славного винца не вредно и испробовать!.. В год раз... Да в этом проклятом городишке и трудно нам достать хорошего... Только удается высшим мира сего, да и то во время таких смотров. Кроме того, кухня, знаешь, у Александры Ивановны прекраснейшая!.. Сама своими миленькими, пухленькими ручками орудует... Не то, что мой денщик Наливайка своими лапами — разные «каклеты» там «шти» да «бишкеты»... Пообедаем, черт возьми!.. Да к тому же, наверное, сегодня за столом будет сидеть наша егоза Лида... Наверное, Александра Ивановна не забыла ее пригласить... А то без нее ведь придется сидеть на именинах...

Пока Вонзилов это свое предвкушение наскоро передавал Финтифлюшкину, вся компания уже подошла к крыльцу дома Михаила Черноморовича.

Петр Петрович грузно поднимался по деревянной лестнице, которая под его тяжестью как-то почтительно поскрипывала. За ним следовал Михаил Черноморович, затем остальная офицерская компания и «в замке» шел дежурный бомбардир, бережно неся в обеих руках превосходительный шарф.

— Милости прошу, Петр Петрович!.. А я вас ждала, ждала, думала, поросенок пересохнет... Пожалуйте, господа!

Так встретила компанию на пороге дама среднего роста, со вкусом одетая, пухленькая, с приятной улыбкой несколько чувственных губ, открывавших два ряда прекрасных белых зубов.

— Пожалуйте, господа! — повторил на ходу Михаил Черноморович приглашение своей супруги, направляя это приглашение по адресу своих офицеров, так как Петр Петрович уже поплелся с Александрой Ивановной, ведя ее почтительно под руку.

❊ ❊ ❊

МУКИ ТАНТАЛА

(Сон в летнюю ночь)

Петр Петрович Петух сладко выхрапывает на своей мягкой постели. Его тучное, рыхлое тело свободно раскинулось в самой непринужденной позе, волосатая рука свесилась, рот полуоткрыт и испускает такое громогласное храпенье, что от него по временам испуганно вздрагивает приютившаяся у ног спящего маленькая комнатная собачка, а на открытом ломберном столе, в ответ

ему, слегка позванивает пустой стакан о стоящую рядом полоскательную чашку.

Храп у Петра Петровича действительно феноменальный... Сперва он начинает носом, и в первом «колене» слышатся только несколько переливающихся всхлипываний, которые после двух-трех переходов сопровождаются нежным, едва слышным высвистыванием, напоминающим замирающую песенку вечернего самовара... Следом за этим раздается отрывистый, как бы сердитый басовой храп, а за ним обратный выход воздуха, с шумом, словно из кузнечного меха... Затем все смолкает, и повторяется тот же носовой свист, только уже постепенно повышающийся в тоне и силе и кончающийся опять прежним басовым всхрапыванием... Потом вдруг, без всяких предупредительных высвистываний, среди наступившей тишины из горла Петра Петровича вылетает чисто медвежий рев на всю комнату, переходит в короткое хрюканье и так же внезапно смолкает в мягких звуках носовой флейты... Все это повторяется довольно отчетливо и правильно в 6—7 «колен» и затем начинается снова, в той же последовательности, с редкими только случайными «пробежками» в том или другом наиболее трудном пассаже...

Спит Петр Петрович и видит хороший сон.

Едет он будто бы с большой-пребольшой компанией на чудовищный фестиваль, устроенный одним добродетельным человеком для прославления отечественных талантов на поприще грешного и безгрешного пенкоснимательства... Целых пять тысяч ассигновал на прокорм «благодетель» из предстоявших ему к получению тридцати за срывание «горы на ровном месте», как это точно определил еще покойный сатирик. Музыку, фейерверк, танцы, бенгальские огни, роскошный ужин, тройки — ничего не забыл «благодетель», чтобы яснее выразить свое сердечное почтение, и собрал чуть ли не целый полк гостей...

Петр Петрович, конечно, был одним из первых и почетных... за свое кулинарное искусство и умение есть так, что у других даже после сытного обеда возбуждались волчьи аппетиты. Он даже получил особое приглашение быть полным хозяином по части приготовления разных закусок и ужина. Вся провизия прошла чрез его руки; все, что имелось «деликатесного» на рынке и в магазинах, было им лично отобрано, переписано и препровождено чрез «благодетеля» к месту предназначенного пиршества. Трех увесистых и безукоризненных осетриков Петр Петрович самолично упаковал в лед и бережно сдал «под расписку», надписав на ящиках: «верх осторожно»... Еще ранее присмотрел он где-то «теленочка», целую неделю выпаивал его молоком, а при отправлении собственным плечом помогал втаскивать будущую «телятинку» в

вагон «для некурящих», пренебрегая даже тем, что по малому своему разумению коровий подросточек обошелся довольно-таки непочтительно с его новой жакеткой...

И вот на этот-то «фестиваль-монстр» и едет будто бы Петр Петрович в самой что ни на есть дружеской и приятной компании. Тут и Петр Иванович Запивалов с Иваном Петровичем Закатиловым, у которых даже ручки еще трясутся от вчерашних выпивальных прегрешений; тут и степенный Клим Пудыч Синебрюхов, с таким нетерпением поджидающий всегда обычной предобеденной закусочки, изготовляемой обыкновенно Петром Петровичем в придачу к «холодненькому» и «солененькому», и говорливый, всезнающий Роман Романович Фендриков, без которого не клеились бы никакие приятельские разговоры в скабрезно-анекдотическом духе, и полный собственного достоинства Макар Макарович Незевалов-Загребастый, один из столпов крупного хлебного предприятия, и даже только что начавший присматривать за казенным воробьем белобрысый немчик, которого расчетливый Клим Пудыч беспощадно «объегоривал» в кости ежедневно на полдюжины пива, а ежели случалось «по-хорошему» — так и на целую дюжину сразу... Были тут, конечно, еще и другие, но «своя компания» сидела вместе над «черновой» закусочкой, которую исхлопотал все он же, Петр Петрович, и слушала повествование Фендрикова, как он где-то «разрушал» мостки и «насаждал» во дворе муниципальных представителей «горчицу»...

Вероятно, под впечатлением этого приятного видения — храп Петра Петровича сделался заметно мягче и мелодичнее, а по лицу его расползлась довольная, умильная улыбка. В комнате на минуту все стихло...

Вдруг Петр Петрович испустил какой-то невероятно дикий, отчаянный храпок, заставивший даже трусливо взвизгнуть задремавшую собачку; затем он раза два сердито хрюкнул и порывисто откинулся навзничь... Правая нога спящего сделала при этом несколько конвульсивных движений и осталась в полусогнутом положении с приподнятым коленом... За храпом последовало усиленное сопение, как будто в комнату перетащили целую кузницу...

Петру Петровичу в этот момент приснилось, что он какими-то судьбами в самый разгар приятельской беседы о «горчице» вдруг очутился один-одинёшенек в чистом поле!.. Хохотавшая и галдевшая компания с закускою и выпивкою быстро уносилась вдаль, не замечая случившейся с ним катастрофы и не обращая внимания на самое отчаянное махание его и руками, и шляпой...

Петр Петрович бросился вдогонку. Работает он будто бы из всех сил, дух даже захватывает, под ложечкой колет от напря-

жения, но ноги словно налились свинцом, не слушаются, а закадычные приятели уже скрываются за поворотом да еще показывают на него пальцами, заливаются раскатистым хохотом и машут ему в насмешку объеденным хвостиком селедки!..

Неудержимая злоба стала душить злополучного Петра Петровича: столько хлопот, столько великих надежд — и вдруг все слопают без него да еще и тарелки оближут!

«Нет, погоди, доберусь!» — думает спящий Петр Петрович и делает во сне несколько беспорядочных движений...— «Есть еще не умеют, а туда же, на ужин собираются!»

И снится покинутому Петру Петровичу, что встал он будто бы на четвереньки да так, по-телячьи, прямо чрез кусты и крапиву и жарит, подпрыгивая и выбрасывая задними ногами... Трава переплелась, кусты хлещут в глаза, от крапивы волдыри пошли по всему голому месту, а он, знай себе чешет да чешет на всех четырех, как добрый конь, не знающий удержа!.. Ну, слава богу, вот, наконец, и площадка, а вот и пирующие... Еще не все потеряно!..

Нос спящего Петра Петровича стал выделывать какую-то замысловатую трель...

Заманчивая картина открылась пред его закрытыми глазами... Узкая площадка под каменной кручей сплошь залита разноцветными бенгальскими огнями и масляными цветными фонариками. Полный лунный свет, мешаясь с искусственным освещением, озаряет живописные шумливые группы и придает им фантастические очертания. Направо и налево ложатся перебегающие, колеблющиеся тени — то узкие и длинные, то короткие и широкие, густые и черные. Люди, деревья, земля, скалы, самая вода реки окрашиваются то кроваво-багровым, то ярко-зеленым светом меняющихся фалшфейеров, а в глубоком темном небе рвутся целые снопы ракет, рассыпаясь сверкающими брызгами, и трепетно мерцают мириады звезд...

Петр Петрович невольно загляделся, только — увы! — сам он, оказывается, лежит на крайнем выступе обрыва, и ни вправо, ни влево нет никакого спуска на заманчивую и шумливую площадку!..

Петр Петрович заметался на постели, потом опять притих...

Вот чудится ему, что снизу доносится будто бы громкое «ура». Еще и еще... Опять «ура!»... Кого-то качают... Вот среди группы пирующих поднимается сам «благодетель»... В его левой руке бокал, правую он отставил в сторону и говорит речь!

Он говорит о великой честности, братстве и равенстве. Петр Петрович отчетливо слышит каждое слово — и ему становится даже как-то неловко...

Он говорит о русском гении, способном преодолеть всякие препятствия, сдвинуть горы, засыпать моря,— и Петр Петрович приятно улыбается: депозитки разных наименований начинают мелькать перед ним все чаще и чаще...

А оратор забирается все выше и выше. Он говорит уже о любви к ближнему и о святости долга — не обижать «меньшую братию», и эта «братия» в лице различных «кривых», «хромых», полуголодных», «избитых» и «обсчитанных» действительно стоит тут же, без шапок, и ожидает объедков от роскошной трапезы... Наконец, оратор кончил.

«Славьте же мощь человека над дикой природой, славьте... и жрите!» — закончил он свою импровизацию и высоко поднял над головой бокал с пенящейся влагой...

И толпы бывших внизу действительно славили и славословили. С какими-то звериными, торжествующими воплями они подняли «благодетеля», как триумфатора, бросали его в воздух, качали и кричали хриплыми голосами «ура!»... Потом все полезли целоваться, а кто не мог уже стоять на ногах, те поднимались на четвереньки и тоже что-то мычали в общем гомоне, напоминавшем собою какое-то апокалипсическое поклонение грядущему «зверю»...

Затем «благодетеля» подхватила на руки «меньшая братия» и тоже начала восторженно подбрасывать его вверх с криками «ура!», прославляя достойного, хотя на этот раз Петру Петровичу сверху все казалось, что «благодетеля» сейчас сбросят в реку или же разорвут на части. Но, конечно, это была одна иллюзия, потому что кто-то даже из «избранных» крикнул при этом вдруг «виват!», и крик этот далеко пронесся в ночном воздухе, помчался к звездам, и те, казалось, загорелись еще ярче.

«Ви-ва-ат!!!» — подхватила этот крик «меньшая братия», «виват!» — пронеслось внизу, над речною гладью...

«...Ват... Ват!.. Ват!..» — трижды затем отразилось глухим эхом окончание этого могучего клика от противоположной стороны ущелья.

«В ад!.. В ад!..» — почему-то почудилось в этом невинном отклике Петру Петровичу, и он невольно содрогнулся...

Вдруг взор его остановился на закадычных Петре Ивановиче Запивалове и Иване Петровиче Закатилове. Оба, казалось, сидели — только рукой подать и мирно готовились к совместной «закусочке». У обоих даже и руки дрожали,— точь-в-точь, как и вчера, перед тремя первыми рюмками.

«Ишь, черти,— подумал про себя голодный и озлобленный Петр Петрович,— жрать собрались, а того не знают, что тут все брюхо выворачивает!..»

И, цепко ухватясь за самый карниз обрыва, он свесился над кручей, чтобы дать весть приятелям о своем злополучном положении. Он пытался даже крикнуть,—но грудь была сдавлена, и горло не издавало никаких звуков!.. Между тем, самому ему отчетливо, как на ладошке, видно было, что Петр Иванович и Иван Петрович, не спеша, приступали к изготовлению той самой «тешечки», которую он догадливо припасал для самого себя. Рядом с ними — Клим Пудыч, пользуясь удобным случаем, по привычке опять уже обделывал в кости своего «немчика», хотя на этот раз и пиво-то было даровое, хозяйское... Остальная лейб-выпивальная компания ютилась тут же, внимая рассказам Фендрикова.

«Так как же, Роман Романович, так-таки мостки и сломали?..»

«Сломал!»

«И горчицу насадили?»

«Насадил! Только всю ее петух слопал... Не доглядели!..»

«Вот врет-то! — подумал про себя Петр Петрович... — Ей-богу же, горчицей самого вымазали!.. А, впрочем...»

Но тут мысли его невольно перенеслись опять на «тешку», около которой усердно хлопотали Петр Иванович с Иваном Петровичем. Тешка, казалось, торчала перед самым носом; даже запах ее ощущался и вызывал отчаянное бурление в его желудке...

Петр Петрович еще ниже перегнулся с своего обрыва и жадными акульими глазами следил за всеми перипетиями изготовления...

«Богородица пресвятая! — думал он, стараясь в то же время всеми силами сохранить свое неустойчивое равновесие...— Тешечка-то какая янтарная!.. Ведь вот чуточку бы еще спуститься, еще немножечко, чтобы заметили... А то испортят, как перед истинным — испортят! Ведь они и есть-то ее без меня не умеют!»

Запивалов в это время «ковырнул» на тарелку изрядное количество горчицы, прибавил уксуса и стал все это растирать ложкою.

«Маслица надо бы еще, прованского подпустить маленечко!» — мысленно подсказал Петр Петрович, чувствуя, что с языком его случилось что-то неладное... А Запивалов, словно уловил эту самую мысль и тотчас же в меру «подпустил» маслица...

«Эх, сои не «брызнули», все дело испортят!» — мучается опять мысленно Петр Петрович...

Но Запивалов, как бы угадывая эту мысль, «подбрызгивает» в должном количестве и сою...

«Так, так!..— одобряет про себя Петр Петрович... Перчику теперь еще не хватает... Ну, так и знал, что испортят! Перчиком-то «садануть» и забыли!.. Перчику «тряхни», Петр Иванович, перчику!» — силится крикнуть он Запивалову и не может!..

А Запивалов с Закатиловым для пробы налили уже себе по рюмке водки, поддели на вилки по доброму куску тешки и собираются обмакнуть их в сделанную приправу... Петр Петрович отчаянно завертелся на своем опасном месте, чуть-чуть не полетел вниз с обрыва и заорал, как ему казалось, во всю глотку: «Перчику, перчику забыли подсыпать, анафемы!»

Но, увы, голос по-прежнему его не слушался,— и при всех усилиях Петра Петровича в его возгласе получалось только слабое: «Пее!.. Пее!..»

«И перчику прибавлю! — вдруг, совершенно неожиданно проговорил Запивалов, поднимая к нему лицо и ехидно улыбаясь.— А ты вот там полежи на брюхе да слюнки поглотай!»

Петр Петрович совершенно остолбенел: это уже было не только предательство, но прямо злостное издевательство!.. Тем временем, подсыпав перчику в изготовленную приправу, Запивалов с Закатиловым чокнулись между собой рюмками, выпили, крякнули и препроводили в рот по доброму куску тешки, а пустые вилки радушно протянули Петру Петровичу, как бы приглашая и его с вершины обрыва последовать их примеру...

«Дьяволы!» — заревел остервеневший от такой злостной насмешки Петр Петрович,— предатели!.. Так вот же вам!»

Он метнулся в сторону, нащупал правою рукою увесистый булыжник, размахнулся — и... с грохотом полетел с кровати прямо на пол!

. . . .

Собачка с отчаянным, испуганным лаем, поджав хвост, бросилась, как угорелая, с постели, забилась в темный угол и еще там продолжала трусливо взвизгивать; сам же бедный Петр Петрович ошалелыми глазами смотрел, ничего не соображая, и только, охая, потирал поясницу: «Ведь этакая пакость приснится человеку!» — проговорил он, наконец, подымаясь и примащиваясь на стул, чтобы отдышаться...

Дверь отворилась — и вошел сумрачный Запивалов. «Ты это что?» — еще сумрачнее встретил его Петр Петрович...

«А то, что тово!.. До всего добираются. Дело, брат, к началу сводится, а в начале-то все концы повыведены. Чего доброго, не вывертишься!»

«Вот оно к чему, значит, тешка-то снилась!» — сообразил Петр Петрович, задумчиво почесывая затылок.— Как бы и в самом деле не полететь с обрыва куда-нибудь!.. Горчицу-то и вправь, должно быть, насаждать будут!.. Впрочем, всяко бывает... От судьбы не уйдешь!..»

И успокоясь этим философским рассуждением, он потребовал воды и стал умываться.

ИЗ ЛЕТОПИСИ ГОРОДА ОРИЕНВИЛЛЯ

Рассказ jean d'Arm'a
(Из французского журнала «Rire», 1890)

I

Положительный праздник был для метрдотеля Жана в то время, когда войска приморской провинции собрались к Ориенвиллю. Франция ожидала войны, и Ориенвиллю предстояло выдержать первую жаркую бомбардировку благодаря исключительному своему положению приморского города. Обыватели Ориенвилля приуныли и бродили со страшно напряженными нервами, словно бы ожидали нового посещения азиатской холеры, гостившей незадолго до этого события. Многие, более трусливые (а такие находились и в среде слабого, но прекрасного пола), искали спасения не только во внутренних городах отечества, но убрались даже в дружественное соседнее государство на пароходах компании «Massagerie Maritime». Да, сказать правду, было от чего приуныть! Слишком тяжелое впечатление производила вся эта лихорадочная суета в ожидании чего-то необычайного, рокового. Все спешило встретить достойным отпором врага. Всюду по Ориенвиллю шныряли солдаты национальной гвардии, смотревшие на начальство глазами так внимательно, что вечно словно бы спрашивали его: «что прикажете?» Перетаскивались теми же солдатами пушки, привезенные из парижских арсеналов, и сотни их возились около этих пушек, напрягая свои силы и выкрикивая на весь Ориенвилль: «А-а!.. О-о-о!..», причем порою (странная солдатская натура!) слышалась для подбадривания песенка довольно гривуазного свойства, что, однако, не только не смущало городское население, но некоторые украдкой и не без удовольствия прислушивались к не совсем скромным мотивам солдатских песен. А там, на окрестных батареях, шла капитальная реставрировка брустверов, причем, главным образом орудовал, конечно, Ларж, тот Ларж, который строил проселочную дорогу от Ориенвилля до деревни Ви-Эзé, дорогу, которая стоила казне четыреста тысяч франков, на протяжении каких-нибудь двух мериаметров. Дорога эта замечательна тем (она и до сих пор существует), что все едущие по ней чувствуют всегда такое состояние, будто они лишаются легких, печенок, почек и других органов, хранящихся выше грудобрюшной преграды, хотя и мозги тоже подвергаются такому сотрясению, что пассажир, сидя в грохочущей

тряской почтовой колеснице, видит одно какое-то чертовское мелькание в глазах и твердит беспрестанно: «Oh mon Dieu! Mon Dieu! Скоро ли этому аду конец!» И этому аду наступает конец в деревне Ви-Эзé, где злосчастный путешественник бежит к единственному местному доктору, чтобы удостовериться в целости своего организма, так убийственно потрясенного на этой адской дороге. Так этот-то самый Ларж и строил брустверa и платформы, и пороховые погреба, и все, что касается крепости. Как он все это строил, неизвестно, но говорили, что в его карман шел золотой дождь луидоров и франков, с которыми он, сказать к слову, вскоре после переполоха уехал в Париж, отдыхать от трудов праведных, как он выражался не без самомнения. Но при всей этой суматохе городская мэрия была не в меньшей суматохе. Городской мэр (тот мэр, про которого еще проказник Бовé написал преядовитую шутку в местной газете «Скорпион») окончательно захлопотался и чуть не терял свою голову. Тем не менее со свойственной ему энергией он бросался по всем концам города, причем не забывал и председательствовать в мэрии, в совете градского ареопага, большинство членов которого поразительно напоминали, как об них выразился тот же шутник Бовé, ветхозаветных лиц с картин нашего даровитого иллюстратора библии Доре! Они, эти члены, когда мэр произносил свою трескучую речь, нашпигованную витиеватыми словами, внимали молча, «уставя брады долу» и хлопая глазами, причем некоторые не прочь бывали вздремнуть, за что немало доставалось секретарю из отставных сержантов, который обязан был дергать за фалды почтенных представителей Ориенвилля, когда они приходили в гипнотическое состояние от туманных ораторских эволюций мэра. И такой момент наставал во время отбирания голосов.

— Мсье депутат Базиль! Мсье Базиль! — кричит, примерно, мэр в сторону праведно вздремнувшего депутата. Тот нервно вздрагивает и, сразу не сообразив ничего, бормочет какие-то непонятные слова.

— Какое ваше мнение относительно ремонта городских тротуаров и освещения темных улиц?

— Но я всегда согласен с вашим мнением, г. мэр, зачем же меня было тревожить? Я никогда своего мнения не имел, зачем мне оно, скажите мне на милость, г. мэр? — и депутат снова кидался в объятия Морфея.

— Г. г. депутаты! — обращался тогда мэр к остальным: берите прекрасный пример с г. Базиля,— он примерный депутат, так должен отвечать каждый из вас: это признак домашнего воспитания.— Впрочем, мэр обрушивался на своего секретаря вне присутствия почетных выборных, а так, по-отечески поучал его,

шлепая его книгой кодексов по голове и приговаривая: «Да пойми же ты, голова с мозгами, что ты—идеальный секретарь». А секретарь после украдкой лишь всплакнет. «Да ведь не больно»,— скажет кто-нибудь в утешение.—«Больно-то не больно, но все-таки...»

Так вот этот-то мэр был тоже в чрезвычайных хлопотах. Между прочим, он строго наказал, чтобы домовладельцы города Ориенвилля поставили бочки и ушаты на крышах своих домов, причем они же должны были во время самой жаркой бомбардировки поливать крыши, если они загорятся, и кстати ловить и неприятельские бомбы голыми руками, за что предназначалась известная премия из сумм, собранных за бродячий скот, кусающих собак, которые, сказать к слову, ходили по городу целыми сворами, словно в глухих улицах Константинополя, и размножались и плодились в городском сквере, посаженном, по-видимому, для них, так как обывателей туда не пускали, и, наконец, за хрюкающих свиней, которые тоже бродили в раздолье.

При виде всех этих тревог в голове каждого обывателя вертелось одно слово: бомбардирование, бомбардирование и бомбардирование. Я даже знавал одного человека, которого до того беспокоило предстоящее бомбардирование, что невинное чихание своего сожителя, спавшего за перегородкой, принимал он за пушечную пальбу и начало бомбардирования Ориенвилля. В такие минуты (а он спал чутко) он вскакивал, как ошпаренный кипятком, и дрожащими со страху руками принимался одеваться, причем, вместо сюртука на себя напяливал свои панталоны, а вместо сапогов старался надеть свое шапокляк.

— Жорж!.. Жорж!.. Проснись скорей!.. Началось! Началось!..

Жорж, слыша неимоверную суматоху сожителя, не торопился — он лениво позевывал, чмокал некоторое время губами спросони, скреб где-то свое тело и заспанным голосом спрашивал:

— Что ты, Жан, угорел, что ли? Что началось? Это я опять, верно, чихнул как-нибудь во сне,—и, повернувшись на другой бок, засыпал невинным сном младенца. А успокоенный Жан в это время сокрушенно смотрел на свои изодранные панталоны на руках и продырявленную шапокляк на ноге выше колена.

С другой стороны, некоторые особы прекрасного пола Ориенвилля (и больше всего девицы) проявляли оригинальный патриотизм, выражая сильнейшее желание скорейшего бомбардирования города. Они мечтали быть сестрами милосердия, видя в этом проявления особенного самоотвержения, хотя настоящим мотивом такого порыва их служила плохо скрытая жажда поухаживать за легкоранеными офицерами и ощутить чувства острого романического характера, финалом которых зачастую бывает ти-

хая пристань после бурного плавания: пеленание крикливых неопрятных детей взамен перевязки кровавых ран героев войны под грохот пушек и т. д.

И вот в эти-то тревожные времена метрдотель Жан чувствовал себя великолепно. Да и как было не чувствовать себя так! Офицеры войск, стоявших в окрестностях Ориенвилля, сносили в его отель все свои подъемные, суточные, жалованье, ища утешения хотя в вине и картах, поферлакурствовать около буфетчиц и таким образом отрешиться хотя на время от тяжелой мысли быть убитым или тяжелораненным. И с утра до утра в отеле Жана стоял пир горой, почти всегда при звуках военной музыки, оглашавшей Ориенвилль от одного конца до другого.

— Вот когда ковать железо-то! — восклицал Жан, потирая руки.— Вот когда ловить в мутной воде рыбку, рыбку и рыбку!..— В такие минуты обыкновенно бесстрастное лицо его оживлялось выражением алчности...

<II>

Ориенвилль, город в провинции Пределямер, опять в необычайном волнении. Опять, говорю я, потому, что его патриархальный покой, его, так сказать, far niente, к которому он привык издавна, нарушался в последнее время несколько раз. Во-первых, в то время, когда Ориенвилль поджидал нашествие иноплеменных народов, и вокруг города, на окрестных горах, происходила кропотливая возня саперов, воздвигавших батареи, во-вторых, когда в Ориенвилль нагрянула, как ураган, нежданная холера, унесшая массу жертв, и в-третьих, когда несколько галерников бежали из своего заточения и своими отчаянными преступлениями навели панику не только в Ориенвилле, но и во всей провинции Пределямер. В этих трех случаях Ориенвилль проявил какую-то не то беспомощность свою, не то сиротелость. В первом случае, т. е. в ожидании войны, обыватели повесили, как говорится, свой нос на квинту, потому что не знали, куда спасаться, если в самом деле нагрянет враг... Защищаться ли до последней капли крови или бежать из города?.. Но куда?.. Далеко на север — глухие леса, безлюдье, обещающее не лучшую будущность, к югу — открытое море, а за морем...

Но это унылое раздумье обывателя обрывалось вдруг грохотом выстрела из какой-нибудь мортиры на окрестных батареях, откуда производилась практическая стрельба артиллеристами. И гулкое эхо, повторявшееся окрестными горами, приводило обывателя в приятный трепет, напоминая ему, что там, на этих окрестных горах, да еще в видневшихся вдалеке казармах — ответная сосредоточивается сила дерзкому супостату...

— И давно это было? Даже не верится что-то глазам,— размышлял тот же обыватель, останавливаясь и созерцая, как над вершиною горы, где поставлена грохочущая батарея, плавно, тихо поднимается кольцо порохового дыма, расплываясь в голубых небесах.

— Да,— продолжал думать обыватель,— давно ли там, на этой вершине, гуляли свирепые тигры, пугая Ориенвилль своим ревом, а теперь...

Во втором случае, когда налетела cholera asiatica, когда обыватель увидел, что пред его глазами корчатся люди и умирают в страшной агонии, он сперва ничего не мог сообразить от внезапности, но, опомнившись и убедившись, что бежать и совестно, и некуда от невидимого врага, стал оглядываться кругом и около, заглянул в свой двор и стал соображать, что причина всего этого бедствия — нечистота, а затем... Ну, а затем пришел к тому заключению, что следует очищать двор свой от всякой нечисти тем или другим способом. И еще стал задумываться: откуда вся эта масса нечисти набралась, и догадался, что все это накопилось за зиму, когда ни о каких эпидемиях он не думал и ничто не напоминало ему о них... В третьем случае, когда бежали галерники и когда он увидел, что вырвавшиеся из клетки звери срывают свою злобу на первом попавшемся им человеке, что последствия этого озлобления ужасны, он завел в кармане револьвер, реже стал выходить вечером на улицу, не только что за город, стал запираться ночью — мало того, завел внутренние ставни и чуть не баррикадировал свой дом... Завел даже сторожа. Впрочем, как только галерников поймали и гильотинировали, обыватель опять впал в прежнюю беспечность и стал вывешивать свое добро на просушку, а это добро стало пропадать впоследствии среди белого дня со двора так ловко, что даже стоглазые аргусы-полисмены, которые, сказать к слову, ночью видели прекрасно, не могли находить наглых воров...

Но все эти тревоги были непродолжительны, кратковременны. Ориенвилль стал было опять входить в прежний вкус, иначе говоря, стал подремывать, чтобы забыться в прежнем патриархальном спокойствии, как вдруг опять новая неожиданная тревога: отечество признало в Ориенвилле важный стратегический и торговый пункт, а в силу этого решило соединить его с другими частями страны посредством железнодорожного пути, хотя это и пахло суммою в полтораста тысяч миллионов франков... Тогда не только обыватель Ориенвилля, но даже вся провинция Пределямер пришла в лихорадочное состояние.

При этом известии одни благословляли бога, что Ориенвилля коснется свежая струя желанного прогресса в лице нового эле-

мента, а особенно самих строителей, которые внесут в старую жизнь Ориенвилля идеи более благотворные и заставят приятно встрепенуться целую провинцию... Другие заранее стали потирать руки и втайне уже лелеяли мысль о крупных подрядах, о крупных кушах...

— Эх, и нагрею же я руки! — говорили они.— Нагрею — и в Париж, а там... Après moi le déluge!..

— Только бы царапнуть, а там...

И все в таком же роде.

И когда приехали самые строители, то на них Ориенвилль смотрел, как на добрых гениев, носителей добра и света, как на людей, долженствующих... и т. д. Объявлены были работы. Полезли подрядчики и из Парижа, и из Пределямера, и из самого Ориенвилля. И пошла писать губерния, как говорит один русский писатель, только пыль коромыслом стояла (тоже русское выражение). Вызвали на работы галерников и солдат, вызвали из глубины Франции землекопов целыми партиями. И вот среди Ориенвилля закипела первая работа с галерниками. Обыватели выползли из своих дворов и стали глазеть на невиданную для них работу. Копаются галерники ломами и кирками, везут на тачках, копают, насыпают, а по бокам караульные солдаты с ружьями... Ходит около обыватель и удивляется... Или станет поодаль и смотрит...

— Эй, ты, земляк! Эй, ворона! — грубо кричит десятник почтенному гражданину Ориенвилля, стоящему поодаль в молчаливом созерцании. Тот смотрит на него удивленно-вопросительно.

— Ты чего стоишь, разиня рот? — грубее кричит десятник почтенному гражданину.— Проходи своей дорогой, глазеть тут нельзя!.. Гони его, солдат, прикладом! — И солдат с свирепым видом замахивается на него прикладом.

И отходит гражданин Ориенвилля сокрушенно, с поникнувшей головой...

— Эх, пропадай мой покой,— думает гражданин Ориенвилля,—скоро воспретят и воздухом дышать... А я-то думал о веянии и струе новой жизни... Где-то она, эта новая струя?..

И этой новой струи Ориенвилль поджидал слишком продолжительное время, причем она проявилась на первых порах болезненной жаждой наживы и наживы на подрядах по железной дороге. Но, увы! Розовые мечты алкавших презренного металла расплылись, и перед многими из них предстала картина весьма неутешительной действительности: они остались на мели и рисковали еще собственным добром.

— Хоть бы ноги вытянуть из этой трясины, сапоги пускай пропадают,— острили подрядчики.

— Эх, животики подводит! — вопили голодные рабочие, осаждавшие тех же подрядчиков с требованием выдать им деньги. Но, видя тщету своих просьб, разбредались добывать себе пропитание «честным трудом». Одни ходили по городу просить милостыни, другие промышляли присваиванием плохо лежавшей чужой собственности, а третьи поступали в хор местной оперы товарищества «Regardez-içi» в качестве певцов или гармонистов: тут, в шуме веселой жизни, забывалось горе. Цыгане и цыганки пели и плясали с таким неистовством, что, казалось, маленькая сцена, устроенная для них, вот-вот провалится в преисподнюю и поглотит всю эту пеструю толпу смуглолицых певцов, певиц, танцоров и танцорок. Особенно отличались последние своим оригинальным танцем, трепеща всеми своими суставами, словно от ужаснейшей лихорадки. Но была тут и группа певиц, организованная самим управляющим из солдаток. Эти уже не так неистовствовали, как трепещущие цыганки во время танцев, а выходили скромно одетыми в черные платья с малиновыми шарфами через плечо и томно визжали под аккомпанемент бубенцов, треугольников и русской балалайки гривуазную шансоньетку:

Regardez-içi!

А после окончания какой-либо «пьесы» одна из «Сюзетт» обходила веселящуюся публику просить «на ноты», хотя они столько же в нотах смыслили, сколько в китайской грамоте.

— Какой нужен гений,— восклицал организатор этого хора,— чтобы создать из простых солдаток и кухарок такой стройный, гармоничный хор! Нужен ум, ум и терпение! — и при этом похлопывал себя по лбу.

— Ведь они, эти кухарки, теперь поют из опер, а это чего-нибудь да стоит.

И они, действительно, пели из разных опер, как, например, из оперы «Камаринского», «Ай-люли», «Сударыня» и многих других...

Но этим он не ограничивался, и свою деятельность собирался перенести в «Grand Opéra», и об этом он долго думал...

<III>

...Ранее упоминалось о том, что Орпенвилль долго поджидал, с наплывом нового элемента, того веяния, которое благотворно должно было отразиться на всем строе его монотонной, серой жизни. Но элемент этот наплывал не исподволь, а хлынул целыми потоками, так что в его волнах местный обыватель чуть было не затерялся и не захлебнулся совсем... И вот повсюду появи-

лись новые, совершенно незнакомые лица, которые как-то незаметно для старожилов Ориенвилля постепенно стали увлекать их, помимо воли, в это неотразимое новое течение, нарушившее их прежний строй жизни. Кроме того, старожилы заметили, к великому своему прискорбию, что эти новые лица стали затирать, поглощать старых знакомых, к которым они уже так привыкли... И кажется обывателю уже необычайною самая обычная прогулка по тротуарам, которые, как клавиши, играли под его ногами и по которым он шел с величайшей опаской, чтобы не изорвать об торчащий гвоздь свои панталоны или, споткнувшись на нем, не расквасить себе нос...

Идет он, толкаясь среди незнакомого люда, по тротуару и думает: «Да где же это запропастился Жан, тот вездесущий и юркий Жан, который еще слыл новатором в Ориенвилле по части разных кунштюков, за что его даже многие прозвали «благодетелем?» И узнает он, что Жан, державший когда-то блистательный отель «Table d'or», теперь занялся подрядным ажиотажем. А «Table d'or» с легкой руки Жана процветал более других отелей, ибо сюда сходились наезжие из ближайших пунктов железнодорожной линии и новоиспеченные местные строители вспрыскивать новые победы в области подрядной деятельности или техники, в деле производства насыпей на болотистых местах и доставки камня из непролазных мест.

В этом случае замечательно то, что жажда обогащения настолько была могущественна и непреоборима, что старожилы, которые знали себя знатоками местной природы, были буквально околпачены, когда принялись рыть почву, вовсе им не знакомую, и хватали при этом горячего до слез... Но как человек живет надеждами, то и они лелеяли светлую мечту в глубине души и повторяли: «Ладно, обжегся теперь, ужо, после не обожгусь!.. Учен стал: попадись только!» А что «попадись», они даже и не договаривали, хотя, нужно полагать, метили на что-либо особенно вкусное, заманчивое, такое, на чем можно изрядно понагреть руки и потом успокоиться от «трудов праведных» в «Regardez-içi» или укатить в места, более злачные.

Не одни, однако же, подобные предприниматели были в ажитации. Мирный обыватель Ориенвилля в этот переходный момент волновался тоже, стал впадать даже в сильнейшее уныние и задавал вопрос: «Что же будет дальше?.. Как жить дальше?!»

И приходил к одному выводу: так жить, как жил раньше, нельзя!.. Потому что видел явно своими очами и ощущал всем своим физическим существом, как из-под его носа пришлый элемент вырывает лакомые куски и, поднося ему только понюхать,

сразу проглатывает сам, предоставляя, сколько душе угодно, облизываться и глотать слюни да шлепать губами.

Старался и он тоже гнаться за этим куском, но, несмотря на свою хваленую опытность, знание всех климатических и геологических условий, флоры и фауны Пределямера, ничего путного не добивался. Думает: вот кусок ухватил, а глядь: самому же защемили ухо или держат, как коня на приколе!.. Это стремление выхватывать куски из-под носа получило такой острый повальный характер, что даже городская мэрия, ополчившись во всеоружии на защиту интересов своих горожан, теряла положительно голову и не знала, куда сунуться: с одной стороны отхватили кусок земли, с другой — загородили прибрежную полосу, по которой деловой люд коротал путь к базару, с третьей — пряником, кажись, поманили, а как поближе подошли — кукиш с маслом показали да еще укорили... Все сессии депутатов Ориенвилля оставались безрезультатными по этим вопросам...

Вообще дела города спутались, и между самими членами мэрии пробежала, наконец, черная кошка...

Обыватель недоумевал: «Что за оказия! — размышлял он.— Вот в мэрии тоже что-то не ладится... Кажись, три-четыре человека всего, а злобы и интриг на десятерых хватит... Дикообразами взирают друг на друга!..»

А тут еще, как на грех, два закадычнейших приятеля в корень порассорились друг с другом и насылали такие бедствия один на другого, что обыватель положительно терялся, куда ему ходить нужно, ибо и справа, и слева одни только неблагополучия сулились...

Словом, творилось что-то необычайное... Было даже время, что ориенвиллец впал в мнительность и самого мирного прохожего принимал за беглого галерника, не замечая в то же время настоящего беглого, разгуливавшего днем с ним по тротуару, а ночью промышлявшего разными хищениями чужой собственности. Так, однажды два подмастерья портного Жоржа сидят себе на горе в досужее время, любуясь расстилающимся пред ними видом Ориенвилля, приютившегося на берегу бухты, и ведут самый мирный разговор, до дела не относящийся.

Вдруг, как из земли, вырастают сержанты.

— А вот где вы, беглецы, обретаетесь да «дела» высматриваете!

И рабов божиих с торжеством забрали в кутузку, из которой освободили только после долгих мытарств, когда, приведя под конвоем к хозяину, получили удостоверение, что это его «штучники», шившие панталоны, хотя и неважно, но без пропоя хозяйского материала и потому ни в чем не повинные...

Да, кутерьмы было немало как среди ориенвилльцев, так и среди виновников нового влияния, т. е. среди наезжих новаторов... Но таковы законы человеческой жизни, что там, где стимулом жизнедеятельности являются лишь материальные выгоды, там с особенною силою проявляются человеческие страсти, не разбирающие зачастую средств для достижения желаемой цели. В этом случае одни являются менее умелыми, а другие более умелыми, ловко лавируя между опасными Сциллой и Харибдой. И хорошо, если челнок вынесет из этого бурного моря целым, не то гибель — неминуема!..

А между тем Ориенвилль с утра до глубокой ночи уже оглашался свистком локомотива, и обыватель, прислушиваясь к нему, думал:

— Эх, как будет хорошо прокатиться по железной дороге!.. Давненько-таки жду я этого случая!..

Но дорога подвигалась черепахой, а ориенвиллец старел и ожидал, теряя более и более светлую надежду когда-нибудь проехаться до столицы по этой железной дороге...

Тем же временем и старая «глиняная» дорога в городе, заменявшая главную улицу, окончательно скисла и растворожилась экипажам по ступицу, а людям по колено. Случилось это совершенно неожиданно. Проснувшись утром после дождя, обыватель, сунувшись по привычке на улицу, внезапно увяз, как в тесте, и, пытаясь освободить сапоги, вытаскивал только голые ноги. Там и сям, как увязшие в меду мухи, торчали в таком же беспомощном состоянии и его соседи, а извозчики безрезультатно настегивали вытягивавшихся из кожи кляч и произносили хулу на... погоду.

Пользуясь такой неподвижностью, внезапно сковавшею город, воры у самого префекта срезали фартуки у экипажей и благополучно скрылись за непролазною грязью.

Городская мэрия, думавшая было приступить к исправлению улицы и тщательно вскопавшая ее перед этим на манер огорода, на все вопросы отвечала унылым молчанием. Дело было очевидное: на улице хоть репу сей или свиней откармливай.

<IV>

В Ориенвилле незаметно наступило лето...

Особенность провинции Пределямер, расположенной географически в полосе винограда, лавра и апельсинного зноя, та, что в ней весны почти не бывает. Правда, календарные отметки упорно гласят о прекращении зимнего сезона, дамы настойчиво тре-

буют весенних костюмов, а пресса из года в год шаблонно приветствует «наряд блестящий мая» и «жар, волнующий сердца», но это больше делается из принципа, потому что на всем по-прежнему продолжает лежать сумрачный колорит зимы, без малейшей примеси яркой окраски — бухта до апреля остается под льдом, а резкий пронизывающий ветер с туманом или изморозью даже у самой пылкой из представительниц прекрасного пола отбивает всякое желание пройтись налегке с неизбежной наказуемостью за это в виде непрезентабельного флюса или отчаянного насморка... Грязь, которую развозит около полудня на улицах, к вечеру подмерзает и предательски калечит обывательские сапоги и ноги. Даже санитарные комиссии, долженствующие с поворотом солнца «на тепло» очищать обывателя от его собственной грязи, и те скептически относятся к астрономическому термину, благосклонно разрешая навозу и всякой нечисти во дворах погнить еще малость на вольном воздухе, пока не пойдет все это свободно «на лопату»... Одни только «мартовские» коты, строго соблюдая положение, отчаянно ревут и дерутся по крышам, да некоторые из богобоязненных хозяек пекут традиционных «жаворонков»... Короче, ориенвилльская весна еще долго продолжает ходить в шубе...

И вдруг в течение какой-нибудь недели холмы кругом города начинают желтеть на солнцепеке ковром молодых одуванчиков, на лужайках пробивается зеленеющая травка, в саду распускаются древесные почки, весело чирикают воробьи, а там, глядишь, еще неделя —и разносчики в корзинах тащат по городу букеты свежераспустившихся ландышей...

Санитарный попечитель, только что накануне наблюдавший из окна объемистую кучу навоза на дворе соседа, внезапно поражается ее отсутствием и, справившись у сотоварищей, убеждается, что такие же кучи исчезли из-под самого носа и в их соседстве...

«Ну, да ничего!»—успокаивается он в глубине сердца. «Почва-то еще не отошла глубоко,— по верху все в бухту сплыло!..»

Но нос усиленно протестует против правильности подобного заключения, заставляя чувствовать и справа, и слева, что если кое-что и действительно в бухту «уплыло», то вместе с тем все-таки и по двору достаточно размазалось... Проходит день, другой — «попечитель» уже ругается, что вода в колодцах стала мутная и припахивает, а еще один день — и он с сознанием выполняемого долга внушительно накладывает по шее водоносу за грязную «посуду», в которой тот таскает воду... Оглянувшись после такого первого активного отнесения своей обязанности, он приятно поражается видом соседнего «попечителя», который так

же основательно исследует прочность водовозного загривка по тому же самому методу.

«Ну и ладно!» — заключает он из этого, очевидно, не случайного совпадения... «Значит, как раз вовремя порядок наводить начал... Вон и Иван Петрович тоже еще с угла действует... Ведь этакий проклятый народ!.. Как тут уберечься от холеры!»

И «попечитель» идет дальше, обозревая район своего ведения...

А солнце, растопив кучи во дворах обывателей и напитав почву всем, что обыватель считал ненужным для своего обихода в зимнее время и выливал под самыми окнами в надежде на мороз,— уже высоко поднялось к небу и все жарче и жарче бросает свои лучи на почву Ориенвилля...

Чем дальше, тем сильнее становится «благорастворение воздухов». Вскрываются целые россыпи отбросов — «столько-то» в длину и «столько-то» в вышину, как гласят красноречивые протоколы...

На задах пахнет не лучше, чем в соседстве с «гастрономическим» заведением, приготовляющим очень вкусную колбасу...

Обыватель уже сам начинает несколько беспокоиться и иногда даже добровольно покупает пуд-другой извести для посыпания двора или бутылку креолина для поливания... Но в массе он еще верит в непогрешимость «опыта прежних лет», который установил в нем убеждение, что в Ориенвилле всякую заразу ветром выдувает и дождем смывает, а больше всего уповает на то, что если у соседа грязно, то его только одного холера и скрутит, почему и смотрит совершенно спокойно, как его отбросы постепенно «сплывают» к соседскому колодцу... А иной раз возьмет да и вывалит ему под самыми окнами такие вещи, которые даже в прославившемся своим букетом местном журнале «Ориенвилль» нередко заменялись многоточием...

На этот раз, однако же, холеру предписано было ожидать всем без исключения, тем более, что время случайно совпало с усиленным наплывом в Ориенвилль пришлого рабочего люда и полнейшим почти бездождием, результатом которого явился недостаток воды в городских колодцах... Со всех сторон стали раздаваться жалобы на дурные качества местной воды, стали говорить настойчиво, что «мы, дескать, пьем чистейшую отраву!..»

Мэрия сперва отмалчивалась, затем начала ссылаться на фразу, из года в год повторявшуюся в ее отчетах, что «так как город возник не в силу экономического развития, а по желанию правительства, то...» и т. д. Но обыватель, ничего не слушая, наседал только плотнее и парировал всякие экономические соображения словами: «Если мы умрем, кто же тогда членов мэрии выбирать будет?..» Это, по-видимому, произвело надлежащее впечатление.

По крайней мере, когда поднят был вопрос о необходимости произвести «качественный и количественный» химический анализ воды в городских колодцах, то уже сама мэрия предупредительно заявила: «Дайте нам только «качественный», а «количественный» мы определим сами». И вслед за тем сообщила, что «по количеству» в городе имеется столько-то общественных колодцев, каковые в настоящее время все находятся в наличии и воды в себе содержат столько-то ведер». Таким образом, половина химической задачи была решена с достаточною полнотою, и вопрос замедлился лишь непредставлением вовремя одного «качественного» анализа...

Это тревожное время ориенвилльской жизни немало было усилено внезапной распрей между мэрией и префектурой из-за брандмейстера (sous-chef des pompiers), на которого одновременно предъявлены были встречные права со стороны каждого из оппонентов. Мэрия настаивала, что она ему жалованье выплачивает, а префектура стояла на том, что ее за брандмейстера против шерсти гладят в случае неисправности... Сам же брандмейстер, явившийся неожиданно объектом ожесточенного спора, беспомощно поворачивался то на ту, то на другую сторону и только тяжело вздыхал, потому что с одного бока его субординацией допекали, а с другого — половину жалованья урезывали, в пику префектуре... У бедного от усиленного волнения даже сукно на мундире перегорать стало, и чувствовал он себя, надо полагать, не лучше, чем бедная душа Тамары в лермонтовском «Демоне», когда за нее поднимается спор пред самыми вратами рая. Обыватель тоже находился в ожидании, чем дело кончится. Люди, торопливые на заключения, говорили, что к данному случаю следовало бы применить прием царя Соломона, т. е. поделить брандмейстера на две равные части, но другие резонно оппонировали первым, что дележ, все-таки, будет неравный, ибо «правая» сторона у него только одна, а левшею он действовать не привычен... Третьи же предлагали оставить дело до первого пожара: если брандмейстер по сигналу бросится коням корм давать — быть ему при мэрии, если же он тотчас начнет пожарных подбадривать — быть ему по строевой части...

Одновременно с этим инцидентом шли поиски помещения для временной городской лечебницы, и с этой целью, как самая подходящая, мэрией была намечена префектура, находящаяся как раз чрез стену от мэрии.

Члены комиссии, наряженной для осмотра помещения, благоразумно, однако же, ретировались от столь щекотливого поручения, и дипломатическая миссия была выполнена одним врачом, хотя и он в глубине души тоже сокрушался, что к этому момен-

ту, как на грех, не случилось ни вскрытия, ни экстраординарного происшествия, которое дало бы ему уважительный предлог отправиться вслед за остальными членами.

Результаты осмотра оказались вполне благоприятными: помещение хорошее и для палат достаточное; правда, нет места для покойницкой, но ее можно поместить в бесплатной читальне при самой мэрии, которая в пять часов запирается и почти никем не посещается...

Другие, однако же, предпочтительнее стояли на том, чтобы лечебницу устроить в старых холерных бараках, пустовавших уже три года... Специалисты успокаивали при этом уверением, что холерная бацилла живет всего только два года и, следовательно, в настоящее время в бараках, во всяком случае, уже отсутствует. К тому же эта мера из всех является наиболее экономичною...

«Что же, значит, и вывеска будет: «Се лев, а не собака», т. е. лечебница, а не холерная усыпальница?» — полюбопытствовали у автора этого проекта утилизации холерного помещения.

«Это зачем же?» — удивился тот на предложенный вопрос...

«Да очень просто!.. Ведь иначе тот из амбулаторных больных, который попрытче, пожалуй, и с носилок спрыгнет, заметив, в какой адрес его направляют, а который послабее — так и душу богу отдаст с перепугу при виде этого гостеприимного приюта... Или уж с заднего крыльца, что ли, заносить придется!..»

Так был оставлен и этот проект...

А солнце пекло все сильнее и сильнее...

И вдруг в самое горячее время городской ассенизатор отказался от своего контракта по очистке нечистот!.. Обыватель взвыл, мэрия призадумалась...

<V>

Ориенвилль все рос и оживлялся...

Паровозы чаще и регулярнее стали мелькать перед глазами обывателя. Чаще стали раздаваться свистки и пыхтенье их, проносящихся с невиданною быстротою перед восторженными очами ориенвилльца.

— А вот поди же, погляди,— рассуждал ориенвиллец, провожая глазами удаляющий с длинным хвостом дыма паровоз: давно ли вот тут, на том самом месте, по которому промелькнуло сейчас это чудо-паровоз и где теперь воздвигнуты эти магазины-монстры, ютились за полуразрушенными заборами убогие землянки? На этом месте, самом бойком месте Ориенвилля, на проспекте Эклер, возвышались бугры навоза и отбросов, служа порою очагом эпидемии. А теперь?..

И оглянув еще раз эти новые дома, обыватель продолжал свой путь. Он всюду замечал, что с его родным городом происходит что-то необычайное, что нарушало прежнюю норму жизни, полную покоя и безмятежной тишины, чуждую какой-либо суеты. Ориенвиллец видел ясно, что в городе начиналась строительная горячка, которая с каждым днем сильно изменяла внешнюю физиономию его.

Ориенвилль рос не по дням, а по часам...

Улицы и тротуары местами завалены были строительным материалом и зачастую в таком обилии и беспорядке, что не только стесняли проезд экипажей, но и пешеходы с опаской проходили через эти баррикадированные места. И хотя и обыватели, и сама городская мэрия взывали к префектуре о приведении в порядок этих мест, но все эти взывания оставались безрезультатными, порою даже вызывая иронические замечания той же префектуры. И строители по-прежнему громоздили и камень, и лес, и землю на те же улицы. Таким образом, новые дома стали воздвигаться, стушевывая собою старые. И хозяева последних с грустью стали замечать теперь все изъяны своих домов и с отчаянием восклицали:

— Как же нам быть теперь с этой стариной?!

И увидел обыватель, что бревна его дома поддались гниению, фундамент ушел в землю, стены покосились в разные стороны, деревянная крыша протекала, а вследствие всего этого постояльцы, которые платили ему за квартиру изрядную дань в течение нескольких лет, угрожали выселением на новые квартиры.

И ориенвиллец, собрав все свои крохи, силился зачинить эти изъяны, но дом все близился к разрушению.

— Вот так и все рухнет, и на месте рухнувшего будет воздвигнуто новое, более прочное здание...

Философствуя таким образом, ориенвиллец начинал сравнивать это внешнее явление со всем складом своей жизни и ясно убеждался, что с наплывом нового элемента все старые порядки и обычаи, санкционированные давностью времени, пошатнулись в основании и отходили в область истории, уступая место новым началам, с которыми ориенвиллец еще никак не мог смириться. Он злобно озирался вокруг и нередко ругался, а нередко и доносил.

— Как! — восклицал ориенвиллец,— разве так можно жить?!. Есть ли что-нибудь порядочное в этой одуряющей суматохе, когда видишь безмолвную, но упорную и неравную борьбу старых порядков с новыми? Где, скажите, прежняя патриархальность, безмятежный покой, ничем не нарушаемая тишина? Посудите сами: когда это в течение существования Ориенвилля бывало такое

бесшабашное воровство, как теперь? Прежде мы спали при раскрытых окнах и были покойны за целость своего имущества не только днем, но и ночью; исключение составлял только прекрасный пол, но этот скорее сам воровался, чем его воровали. А теперь? Если не хочешь быть ограбленным — сиди дома и смотри в оба, как бы кто-нибудь не стянул платье, вывешенное под окнами на просушку, а ночью не украл бы из-под головы подушку... Да что толковать, когда у самого префекта украли брюки, снятые с него после его ночного бдения и вывешенные кухаркою на просушку в кухне!.. Что же после этого и толковать об интересах наших простых смертных! Нас не только грабят воры, но сама префектура ловит нас же, мирных обывателей, и сажает для забавы в клоповник! Разве это не каторга?! — заключал свою отчаянную ламентацию ориенвиллец.

Очевидно, что после этого по всему Ориенвиллю, где до того времени воровство и грабеж были исключительными явлениями (и единственным объектом краж была казна), теперь с наплывом рабочего пролетариата громко раздавался крик: «Грабят! Нет спасения от воров! Спасите нас от них!» На этот очаянный крик префектура отвечала обывателю, чтобы он, во-первых, не смел нарушать общественную тишину и спокойствие, если бы даже его и обворовывали, а во-вторых, «производятся-де тщательные розыски», что-де его сон и собственность охранены. И ориенвиллец наивно верил, что и на самом деле производятся тщательные розыски его украденного добра, и поджидал его возвращения.

Но чтобы объяснить такой порядок вещей, я должен заглянуть в глубь давно прошедшего, истории и познакомить читателя с одним замечательным лицом — префектом, которого обыватели очень любили...

Префект этот, в половине девятого оказавшись в префектуре, направлялся к своим «чиновникам», как он важно величал «по-русски» своих писцов из отставных сержантов, среди которых были и галерники, дежурившие по префектуре на правах вполне правоспособных, вопреки всем законам государства и на которых будто закон не наложил свою печать отвержения, а потом и исчезал до следующего утра.

— Теперь après moi le déluge! — восклицал он, садясь в свою колясочку, запряженную парой вороных. Он начинал прежде всего с поисков... только не воров и грабителей, а лейб-выпивальной компании, в состав которой входили его закадычные приятели, угощавшие его любимым напитком. Лейб-компания эта собиралась то в том, то в другом отделе, устраивая нечто вроде биржи, митингов или вроде этого, причем в шумной беседе и в тумане винных паров вершились общественные, частные и даже полити-

ческие дела, судьбы ориенвилльцев под тем или другим впечатлением. И префект был одним из непременных членов этой компании. Бывают, по-видимому, твердо сплоченные компании, которые сами не понимают, где та сила, которая служит связующим звеном их. Одним из этих звеньев был в этой компании и префект, когда он появлялся, т. е. когда у него ладилось все с лорд-мэром. Компания оживала... И вот префект разыскивал эту непременную компанию. Чутье его никогда не обманывало: он сразу угадывал местопребывание ее и катил если не в «Золотое блюдо», то в «Марсель», где его встречали и угощали любимым напитком.

Префект это чувствовал и радел: он смеялся своим пронзительным, неприятным голосом, импровизировал анекдоты известного свойства, словом, потешал компанию. Но не бывает такой компании, которая не расходилась бы,— расходились понемногу и члены лейб-выпивательной компании. Тогда префект, дойдя до своей кульминационной точки и объехавши все отели часам к 11 вечера pour la bonne bouche, после своего делового дневного tournée, направлялся в кафе-шантан Жана «Regardez-içi». Там он отдыхал от трудов праведных .Там хор маркитанток ласкал его слух великолепными шансонетками, из которых одна даже была посвящена ему же в таком тоне:

Ах, как я люблю префекта,
Как я люблю префе-кта-а-а! ...

При этом префект звонко хохотал, хлопал одобрительно в ладоши, конечно, пил свой любимый напиток, отчего его и без того красные глаза начинали походить на глаза не то экзальтированного сига, не то возбужденного кролика. В третьем часу кафе-шантан пустел, певицы начинали клевать носами или хрипло смеялись, и префект собирался домой. Сонного кучера расталкивали, и он вез своего «мусью» домой. Проезжая мимо таверн, он видел, как на улице стояла привязанная к тумбе лошадь старшего полисмэна, и кучер, завидуя ему, размышлял сквозь полусон:

— И он, Анпош (En-poche), до сих пор кутит, а я вот, как галерник, не спи и голодай...

Префект на пути засыпал...

А в то же время откуда-то доносился отчаянный крик о помощи, и крик этот отдавался протяжным эхом по пустынным улицам. Никто его не слышал, только префекту сквозь сон чудилось, что это поет маркитантка: «Зацелуй меня до смерти, от тебя и смерть мила».

Наконец, он приезжал, он доползал, его раздевали, и он ло-

жился к подушке головой, хотя зачастую ложился и наоборот. Из уст его исходило бормотание:

— Порядок... бдительность... хватать и сажать... «Morton»...

В девятом часу его будили. Он просыпался в чаду вчерашнего дня и не мог дать отчета себе, да эта мысль почти ему никогда не приходила в туманную голову. Шел он к себе в префектуру, где ему докладывали о происшествиях ночи. И вот стоит пред ним его старший полисмен Анпош, склонив набок кудлатую голову с кудлатой бородой и глядя на своего патрона, будто хочет сказать: «Прикажи только — горло готов перегрызть собственными зубами кому угодно!»

— Вчера у депутата мэрии Жана Пуаре украдено 8 кур, 2 гуся и одна кастрюля,— докладывал Анпош своему патрону.

— Ну чего о таких пустяках докладывать? Ну и на здоровье. Украли живность, значит, воры хотели есть, а за это не казнят. Еще что?..

— Украдено 60 тысяч франков из магазина «Au bon marché», и вор не найден.

— Еще что?..

— На народном гулянье с благотворительной целью украден ящик с выручкой в 2000 франков из-под самого носа полисмена Пьера. Девицы, выручившие эти деньги за билеты, в отчаянии.

— Пускай они и платятся, а мы-то тут при чем?

— Для розыска воров спущены надежные сыщики, которые ловили ночью каждого проходящего, бросая их без разбора в клоповник. Попал туда и гражданин Поль, возвращавшийся домой в третьем часу ночи из гостей...

— Но его выпустили же?

— Выпустили, но он называет поступок с собою диким, возмутительным насилием. Такое насилие, говорит, немыслимо в городе цивилизованного народа, и оно должно караться законом.... Он хочет жаловаться...

— Ха-ха-ха! — засмеялся префект громко и думал: «Он хочет жаловаться?! Пускай! Много ли возьмет! Мы ограждены: печать нас замалчивает, а начальство знает нас... Был же пример получше, который кончился ничем, когда почтово-телеграфный чиновник Шарль тоже попал ошибочно к галерникам. Сидел трое суток, так что про него даже и забыли, так как к заключенным суб-префекты не заглядывают... Не покусись он на самоубийство, сидел бы и месяц, но дернуло же его полоснуть себя ножом: тогда только и вспомнили о нем. И стоит ли разбираться, еще кто и за что захвачен полисменом. Одно слово: хватай и сажай!..»

— Еще ограблен Ежень...

— Но, кажется, довольно! — обрывал докладчика префект и, подмахнув две-три бумаги дрожащей рукой, начинал свое обычное движение из отеля в таверну и обратно, а оттуда часам к 11 вечера, дойдя до кульминационной точки, завершал свое tournée в «Regardez-içi». «Там я изучаю дух и направление развития Ориенвилля, его общественное мнение и государственные тайны»,— говаривал он с важностью тем, кто иногда попрекал его за пристрастие к тавернам.

Таким образом, со времен последней революции префект благодушествовал ровнехонько десять лет, хотя в течение этого времени Ориенвилль вопиял от беспорядков. Какая сила ему помогла, никто с достоверностью сказать не мог, хотя одни говорили, что рюмочка (иные спрашивали: рюмочка создана для него или он для рюмочек), а другие, что его анекдоты известного свойства, а третьи, что сантиментальные старухи, а иные, что лорд-мэр. И, кажется, все предположения были до известной степени верны...

Еще отличительной чертой префекта была слабость вообще к прекрасному полу, причем за излишнее излияние чувств неоднократно ему делались и внушения в не совсем приятной форме. И то сказать: кому приятно быть спущенным с лестницы или балкона, а не то быть выпоротым?

— Эй, приятель, брось свое донжуанство! — говорил ему какой-нибудь член лейб-компании,— смотри — опять высекут...

— Меня?! Как! Меня?! — хорохорился он.

— Ведь секли же тебя в трех городах,— скажет приятель.

— Как? В каких?

— В Бордо секли?

— Что ты говоришь!

— Ну, разговаривай! Ты лучше сознавайся...

— Секли, ну что же?

— В Гавре секли, да еще дамы?

— Ну, секли. Эка важность!

— В Ориенвилле секли?..

При последнем имени префект обыкновенно закатывался самым веселым смехом и брезгливо спрашивал собеседника:

— Да разве Ориенвилль город?

— А как же по-твоему?

— Это деревня в $2^1/_2$ человека населения, где граждан я сажаю произвольно и безнаказанно в клоповник, а меня еще благословляют, где нет искры гражданского самосознания, где... Э, да что толковать об Ориенвилле! — И махал рукой.

— Но все-таки секли же тебя там! — приставал приятель.

— Ну, отстань только, секли. А все-таки Ориенвилль не город.

На этом собеседование кончалось.

В заключение я должен сказать, что когда этот префект как-то возвращался домой, не усидел в экипаже и упал на мостовую головой и так расшибся о камень, что тут же отдал богу душу. Лейб-компания составила ему подписку на памятник, и благодушные ориенвилльцы собрали порядочную сумму. Памятник был отлит из бронзы и изображал громадный кукиш, который поставили на могиле префекта, и советники префектуры ежедневно ходили туда и поливали его маслом. Отсюда, говорят, и получила происхождение пословица для любимого друга — «кукиш тебе с маслом».

Но все это было давно, и события, описанные мною, покрылись плесенью давности. Теперь времена настали другие. Всюду порядок образцовый, покой граждан обеспечен, о воровстве не слышно, а если и случится, моментально разыскивают — одно блаженство. Современный префект — Лекок и даже выше его! Под охраной его правил гражданин может спокойно ходить по тротуару, говорить с собеседником, спать с уверенностью, что его с кровати не потащат в клоповник, и что с него воры не снимут исподнее, и что ему не придется орать, выбежав на улицу в костюме Адама:

— Караул! Грабят! Спасите!..

На такой отчаянный крик прежде только откликались дозорные собаки своим свирепым лаем...

<VI>

«Еще одно правдивое сказанье,
Но летопись не кончена моя».

Французский перевод
«Бориса Годунова»
Пушкина.

Железная дорога врезалась все глубже и глубже через пустынные места провинции Пределямер, и Ориенвилль уже теперь мог сообщаться этим путем на расстоянии двухсот пятидесяти километров до деревни Сальватэр. Попутные деревни Ви-эзе, Сан-Никола и Нуар оживились и закопошились. Строительная горячка обуяла жителей этих деревень, и постройки первобытной формы стали заменяться более благообразными, свидетельствовавшими о том, что и селяне не оставались совершенно безучастными к новому веянию, к общей благотворной суматохе. С другой стороны, наблюдалось еще долго в самом Ориенвилле весьма печальное явление, которому я, как правдивый летописец, не могу

отыскать объяснения и становлюсь в тупик перед странной загадкой, заставлявшей задумываться и многих старожилов. О мудрый Соломон! — восклицали они, останавливаясь,— разгадай нам, что сие знаменует? — Останавливались они, как и я, перед странными постройками ориенвилльских граждан, напоминавшими не то сказочные избушки на курьих ножках, не то свайные постройки, давно прекратившие свое существование. И иностранные туристы, посещавшие Ориенвилль, думая, что это несомненные памятники периода свайных построек, снимали с них фотографии и отвозили в свое отечество обогащать ими музеи. В самом Ориенвилле был свой музей, в котором хранились модели жилищ разных диких народов и, между прочим, сибирских инородцев. И хотя эти модели и служили владельцам этих необыкновенных построек в Ориенвилле достаточным указанием на отсталость их, но хозяева, несмотря на то, что принадлежали к крупным местным капиталистам, для которых, вместо этих легендарных построек, воздвигнуть целые дворцы ничего не стоило, оставались безучастными, и лучшие места их по главному проспекту Эклер оставались пустырями, среди которых красовались на удивление иностранцев эти раритеты. В некоторых из них жили бедные прачки, которые выливали мыльную воду и помои через отверстие полов, и эти помои текли целым водопадом к колодцам, откуда ориенвилльцы набирали для питья воду. Городская мэрия и префектура смотрели на все эти безобразия сквозь пальцы, исходя из мудрой русской пословицы, что «с сильным не борись, за богатым не тянись». И действительно, эти последние были в Ориенвилле слишком могучи и обретались вне общих требований, и даже постановления мэрии, обязательные для всего Ориенвилля, для них не имели ровно никакого значения. В то же время строились новые постройки на живую нитку, так называемые фанзы, на манер китайских построек, куда и пускали рабочий пролетариат, безбилетных бродяг, а порою просто беглых галерников, работавших на дороге и наведших в одно время на всю провинцию Пределямер, не говоря об Ориенвилле, панику. Впоследствии, к величайшей радости всей провинции, галерников убрали на остров «Кандалы», и край мог вздохнуть свободнее.

И в то время, когда эти капиталисты ориенвилльские пребывали в своем far niente и места, самые бойкие, представляли собой мертвый капитал, рядом с ними иностранцы не дремали и застраивали каждый клочок своего участка громадными зданиями, расширяли свои торгово-промышленные операции и таким образом оживляли Ориенвилль. Но все это, увы! не служило для наших соотечественников поучительным примером! Сама городская мэрия не менее того была подвержена тому же far niente,

и мало ей было забот об украшении родного города, который и на самой бойкой, главной улице Эклер, в последнее время, после туманов и дождей, которыми так богат Ориенвилль, буквально утопал в жидком месиве уличной грязи. Грязь на улицах была настолько обильна и жидка, и удобна для размножения животных организмов, что однажды один рыбный разносчик, переправляясь через улицу почти вплавь, выронил корзинку со свежей рыбой, которая, попав в жидкую грязь улицы, почувствовала себя как в своей стихии, и злополучный рыбак должен был вновь закинуть невод среди улицы. Кроме того, налетела масса куликов и расхаживала по той же улице в таком обилии, что охотники ходили по тротуару, доски которого на каждом шагу торчали концами вверх, и стреляли перед домом самого мэра, который посмеивался над комичными уличными картинами. А таких картин было очень много. Извозчики, никогда не запрягавшие больше пары лошадей, уныло плелись на четверках, обдавая грязью проходивших по этим тротуарам, на которых ориенвиллец рвал свою обувь и в то же время рисковал сломать ногу в зиявших провалах. Или какой-нибудь турист, высадившись с бухты на берег в солнечный день, когда еще хроническая грязь не успевала превратиться в густую, смрадную пыль, шел смело с пристани в одних чистеньких сапогах и осторожно ступал в грязь, покрытую плесенью, не ведая предательскую глубину, и проваливался в нее выше колен. В это время озадаченный иностранец уподоблялся аисту, сторожащему добычу в болоте, ибо злополучный турист инстинктивно подымал другую ногу, чтобы и ее не погрузить в грязь, и изо всей силы кричал:

— Извозчик! Извозчик! Спасай, тону в грязи!

На этот зов извозчик лениво цокал и цукал на свою тройку из кляч, которые, шлепая по жидкой грязи, обдавали его брызгами с ног до головы, а лицо его превращалось в татуировку. Седок и возница сердито ругались, а полисмены смеялись. Когда же туманные дни с моросившим дождем, повергавшие обывателей Ориенвилля в отчаяние, усилившие статистику самоубийств, проходили и Гелиос, наконец, показывал свой светозарный лик на бирюзовых небесах, улицы высыхали, и на ориенвилльца набегала другая беда: высохшая грязь обращалась в пыль, клубившуюся над городом и залезавшую обывателю и в нос, и в уши, и в рот, и покрывала все его лицо серой пудрой. Придя домой, ориенвиллец, чтобы смыть с себя этот налет пыли, наливал на себя целую бочку воды, в которой ощущался и без того чувствительный недостаток. Он каялся, что в чаянии подышать свежим воздухом вышел на улицу, где надышался смрадною пылью город-

ских улиц, на устройство которых ухлопаны были десятки тысяч городских денег.

— И что за притча,— рассуждал он, фланируя в такую пору по пресловутым тротуарам,— кажись, под носом целая бухта воды, а вот не поливают же эту пыль, как это водится в цивилизованных городах; ведь есть и пожарные бочки и клячи пожарные, которые, правда, едят протухлое сено, есть и пожарные, пребывающие без дела, благо пожаров нет, а все не поливают эту пыль. Но когда он припоминал трагикомические сцены выезда «на позицию» городской пожарной команды, при которых гнилые телеги распадались на свои составные части и бочки с водою катились по улицам, а ездовые пожарные неслись к месту пожара только на уцелевших передках, обыватель печально качал головой и молвил:

— Нет, и от этой команды мало проку, вот разве опять дождичком польет. А начинается дождь — и Ориенвилль снова купается в грязи. Наблюдая такие видоизменения устроенных улиц и без канав, ориенвиллец, житель дальних проулков, куда еще не коснулась деятельность устроителей, молил бога, чтобы эти улицы оставались в первобытном состоянии, чтобы те нежелательные видоизменения миновали их... Следовательно, прогресс городского благоустройства с этой точки зрения обретался не в авантаже. Но временами обыватель уповал на то, что городская мэрия при новом составе осенится наитием духа святого, проснется и, оглянувшись вокруг, уразумеет, в каком она болоте заставляет погрязать город. И мэрия наконец стала подготовляться к обновлению задолго до самых выборов городских депутатов. Подготовительная агитация при этом не обошлась без курьезов, достойных внимания беспристрастного летописца. Нашлись такие деятели, которые уполномачивали агитировать за себя сторожа мэрии, отставного сержанта, рассылая его в полуцилиндре и в белых перчатках, в ландо по депутатам из буржуазии, что этот импровизированный агитатор, которого некий шутник произвел в чиновники для важных поручений, исполнял блистательно, хотя он и не знал, куда ему девать руки, одетые в перчатки. Передавали, что некий даже командировал с агитаторскою целью свою супругу. Но такая форма агитации, хотя и была слишком груба и явна, однако достигала желаемых целей, тем не менее и подпольная агитация других достигала не менее блестящих результатов, причем в день самой выборной горячки обнаруживались удивительные стратегические способности рядом неожиданных диверсий, кончавшихся полнейшим coup d'état противной стороны. Сторонний наблюдатель думал, что эта скрытая мирная война ориенвилльцев, которая велась с таким старанием и энер-

гией, кончится поражением старого режима и что на председательском месте мэрии воссядет новое лицо, которое скажет новое слово городского благоустройства. Однако ориенвилльцы ошиблись в своих предположениях, и старый режим снова восторжествовал, несмотря на то, что среди новых депутатов были и лица красной оппозиции старому режиму.

— Ну и что же,— толковали они, видя свое полное поражение в этой ожесточенной борьбе, так ловко обстановленной всеми предосторожностями.— Уснем опять на четыре года, валяясь в уличной грязи, не имея тротуаров, мостовых, воды, электрического освещения и префектуры которая бы охраняла нашу имущественную и личную безопасность...

<VII>

Смирившись с тем, что в Ориенвилле снова воцарился старый режим со всеми его отрицательными сторонами, обыватель, продолжая твердить, что он живет «по-старому», «по-хорошему», в сущности жил по-дурному. Большую часть времени он проводил или в «Regardez-içi», обогащавшуюся новыми маркитантками, или в hotel «Europe». При этом львиная доля барышей от обывателей, живших «по-хорошему» да «по-старому», доставалась hotel'ю «Moscou», к которому кони привыкали настолько что возницы их, отпустив вожжи, были уверены, что кони сами найдут дорогу и привезут господ прямо к подъезду гостеприимного hotel'я, где собираются завсегдатаи лейб-выпивальной компании, поклонники веселого мифического бога. Там, в особом кабинете, как я говорил в предшествовавших главах, вершались вопросы политического и социального характера, составлялись планы и предположения, но кабинет этот не всем однако был доступен — допускались только избранные лица, посвятившиеся в орден «лейб-компании».

Так проходили многие года, и обыватель временами знать не хотел, что делается за пределами Ориенвилля, хотя свист локомотива звал его к обновлению жизни. И мало того, некоторые ориенвилльцы настолько еще скептически относились к вагону, настолько были еще одержимы суеверным страхом, что долго не решались сесть в вагон и предпочитали ехать по классическому почтовому тракту, проведенному известным инженером Ларж. Но что это был за тракт! О нем я говорил, что ехавшие по этой адской дороге в бричках, напоминавших позорные колесницы, хотя и охраняли целость своих ребер гуттаперчевыми подушками, тем не менее, доехав только до деревни Ви-Эзе, чувствовали полное потрясение всего организма и стремились к захолустному

доктору при местном баталионе, чтобы тот освидетельствовал, целы ли их печенки, почки и легкие, при этом еще долго в глазах их бегали искорки (mouches volantes), а в ушах раздавался какой-то шум. И по этой дороге иногда езжал ориенвиллец. Приезжал он на станцию, где его встречал сонный с похмелья растрепанный писарь, и спрашивал, почесывая себе обеими руками спину:

— Вам, может быть, лошадей, господин. А то не прикажете ли самовар поставить: настоящий русский самовар, он теперь и у нас, у французов, в моде...

— Не рассуждай, а лошадей живей...

— Обождите немного, часика два...

Проезжий обыкновенно ругался до хрипоты, припоминая всех родителей писаря и смотрителя станции. Потом с остервенением хватал жалобную книгу, чтобы накатать грозную филиппику на вопиющие почтовые порядки, но, прочитав мельком в той же книге резолюции почтовой инспекции на жалобы других: «оставить без последствий» (laisser faire — laisser-passer) безнадежно опускал руку с пером и восклицал: «Oh, mon Dieu! Где же правда?!»

Затем принимался созерцать станционный двор, где, похрюкивая, флегматически фланировали в навозе свиньи со своими чадами, мычали коровы, лошади отмахивались от мух да ямщик лениво возился около позорной колесницы. И, как нарочно, в самый момент его грустных размышлений о неустроенности почтовых сообщений в провинции Пределямера, вдруг раздавался свист локомотива, который прокатывался рокотом по девственному лесу, и он созерцал, как вылетал из трубы паровоза длинный хвост белого дыма; локомотив мчал за собой вереницы платформ и вагонов.

— Эко прет его! — рассуждал ориенвиллец, провожая глазами поезд.— А все-таки, как говорят русские, тише едешь, дальше будешь. Какое удовольствие ехать так, чтобы все мелькало мимо и не успеешь ничего увидеть. То ли дело...

И оборвав на этом свои философствования, снова принимался созерцать станционную идиллию: ходили свиньи в грязи, зевал, почесываясь, ямщик, крестя рот, корова жевала жвачку, а станционный смотритель объяснялся с ямщиком каким-то особенным жаргоном. Жаргон этот один турист по России называл извозчичьим, или словами трехэтажными, которые там, по его свидетельству, произносятся даже не станционными смотрителями в объяснениях с подчиненными.

— И то сказать,— резонировал он сам с собой: какая же польза от железной дороги вот этому станционному смотрителю: скоро

придется закрывать лавочку, а поселяне деревень Ви-Эзе* и Сан-Никола тоже не благодарят железную дорогу...

В этих своих предположениях он был прав, и поселяне действительно повесили было на первых порах носы в унынье, в предвиденье, что железная дорога по попутным деревням отнимет весь извозный заработок, который служил им источником обогащения. Но это, однако, было только на первых порах, пока они не увидели, что если, с одной стороны, железная дорога и нанесла окончательный удар их извозному делу, зато она же заставила их обратиться к другому, более верному источнику обогащения, о котором они совсем было и забыли, а именно к земледелию, хлебопашеству, в чем провинция Пределямер в тот период сильно нуждалась. Впоследствии селяне увидели сами, что лучше, выгоднее и почетнее быть хлебопашцем, чем извозчиком, и согласились с тем, что локомотивом руководит не дьявол, как думали прежде, а пар, что самая дорога есть тот проводник, который, как артерия по громадному организму, развозит продукты их сельскохозяйственного труда, принося большие и более верные барыши.

Таким образом, с течением времени и близлежащие селения приобщались понемногу к Ориенвиллю, от которого делали многие позаимствования общественного характера. Так, например, в деревне Сан-Никола открылся даже общественный клуб, хотя с некоторыми своеобразными особенностями, которые, однако, в клубах Ориенвилля не практиковались. Увлеченные модой франко-русской дружбы после двенадцатого года, когда мы так блистательно ретировались из спаленной Москвы, поселяне и даже местные аристократы пытались ввести в клубе русские танцы под звуки русских музыкальных инструментов — балалайки и гармоники, причем дамы выходили танцевать, подбоченясь одной рукой, а другой плавно поводя над головой, лихо притоптывали перед кавалером; в случае же недостатка дамы кто-нибудь из кавалеров повязывался платочком и исполнял ту же незатейливую роль, хотя бородатые дамы в этом случае не производили своей грацией желаемого эффекта.

В самом Ориенвилле общественные зрелища и увеселения процветали. Наезжали артисты и артистки, когда-то бывшие знаменитостями, как рекламировали их афиши, не упоминая однако о том, что в пору, как они попали в Ориенвилль, не осталось самомалейшей искорки того огня, того таланта, которым они стяжали себе славу в свое время. Ехали в Ориенвилль эти знаменитости на склоне своей артистической славы — допевать на подмост-

* Vie aisée — раздольная жизнь. По-нашему иначе — Раздольное.

ках балагана, театра в Hôtel «Table d'or» свою последнюю лебединую песню. Правда, местный антрепренер Брюи получил разрешение от мэрии построить летний театр в городском сквере, но предприятие его что-то еще долго оставалось в области предположений, и почему городские бродячие собаки по-прежнему находили в ней прекрасное тенистое убежище и спасались от смертоубийственных поползновений местного собачея, которому ход туда был заказан, почему он крайне досадовал на то, что общественный сад отбивал у него доходную статью, приютив у себя бродячих собак, которые плодились и размножались там вволю. Обыватель Ориенвилля, проходя мимо сквера в жаркий удушливый день, завидовал этим собакам, так как для обывателей сад был закрыт.

— Эх! —восклицал обыватель,—вот ведь, ухлопано 40 тысяч франков наших кровных городских денег на этот сквер, и, оказывается, посажен не для нас, а для собак. Что бы мэрии поставить там скамейки что ли, а то...

И не докончив свое резонерство, обыватель плевал в сторону и проходил своей дорогой, бурча что-то неопределенное по адресу городской мэрии.

Вообще по вопросам городского благоустройства взгляды мэрии были довольно странные, чтобы не сказать более. Например, мэрию очень мало интересовал вопрос санитарный и устройство общественных бань или купален, в которых ощущался недостаток, городская мэрия считала их устройство равносильным открытию кабаков или трактиров. Наконец, самая больница на манер бараков воздвигнута была по требованию высшего начальства, вследствие настоятельной потребности в ней. Мэрия на вопрос этот смотрела совершенно иначе и рассуждала так: когда-нибудь устроится, жили же до сих пор обыватели без больницы и умирали без нее, отчего теперь то же самое не могут делать. При этом оправдывалась мудрая русская пословица, что «сытый голодного не разумеет». И этот последний, бездомный, попавший в это положение силою непредвиденных обстоятельств, нередко среди улицы, изнуренный голодом и болезнью, орал:

— Караул! Помогите, умираю без медицинской помощи и без приюта!

Но этот крик его долго еще оставался гласом вопиющего в пустыне.

Мэрия дружно похрапывала, ревниво оберегаемая бдительным сторожем из отставных сержантов...

<VIII>

— Apres moi le déluge!

— В мутной воде ловить рыбку, рыбку!..

— Детишкам бы на молочишко!..
— Куй железо, пока горячо!..
— Э-эх, урвать бы!..

Все эти и им подобные возгласы продолжали носиться не только в нашем Ориенвилле, но разносились и по всему Пределямеру.

Плотоядные инстинкты населения, доселе, по-видимому, дремавшие, теперь начали пробуждаться.

Да как пробуждаться!

Казалось, что эти люди стали заменять собою тех хищных тигров, которые удалялись подальше в глухие дебри* от свиста появившегося локомотива...

Аппетит дельцов и гешефтмахеров походил на хищничество. Правда, хищничество этих людей не носило той реальной формы, в которой оно проявлялось у зверей, с непременным пролитием крови и хрустением костей поедаемых жертв, а выражалось несколько иными проявлениями — но самый результат уничтожения был один: более сильные и наглые «лопали» слабых зевак.

И такой процесс каннибализма назывался тогда «борьбою за существование» и оправдывался как неизбежный спутник прогресса...

Деньги!..

В этом магическом слове слились альфа и омега всех стремлений этих «дельцов» и «предпринимателей» Пределямера. Чтобы добиться денег, они измышляли всевозможные пути, не разбираясь в средствах. При этом одни лезли нагло, стремительно, давя своею нечестивою, но тяжелою пятою всех слабых, попадавшихся им на пути,— и мефистофельский хохот их раскатисто проносился по дебрям Пределямера...

Другие пробирались к тому же золотому тельцу с опаской, с осторожностью, так, чтобы, что называется, комар носу не подточил, или, говоря иначе, чтобы и волки были сыты, и пастухам было бы хорошо.

И было так...

Одно стало ясно, что деньги делались культом поклонения.

Впоследствии появившийся наш народный певец воскресил в памяти народа этот исторический период жизни Пределямера в стихах:

Деньги — великое дело, —
В деньгах и счастье и честь,
Деньгами, други, мы смело
Купим и душу, и тело,
Купим и славу и лесть!..

---

* Прим. наборщика: это, вероятно, наша «тайга».

Нечто вроде этого раздавалось и тогда, в то лихорадочное время, во всем Ориенвилле, в Пределямере. Звон стаканов, хлопанье пробок сливались с общим гимном деньгам — золотому тельцу, и не только разные модные гризетки того исторического времени — Зизи, Катиши, Сашеты, но и почтенные матроны и их дочери присоединялись к общему хору и курили фимиам тому же богу с безобразной телячьей головой и, любовно смотря ему в телячьи очи, на коленях, воздев руки вверх, пели, полные жгучей страсти:

Денег дай, денег дай
И успеха ожидай!..*

Или:

Без денег все мужчины —
Рогатые...

Эти и им подобные припевы, вылетавшие зачастую из розовых уст хорошеньких барынек, разжигали страсть охотников до острых наслаждений. И не имели они силы остановиться пред неотразимой силой золотого тельца, к которому продолжали ломиться с большим упорством, с большею наглостью, чем прежде.

Соблазн был велик, а последствия ужасны!..

Нравственное равновесие страны было окончательно поколеблено.

Деньги стали меркою моральных качеств человека!.. Даже еще больше: без денег в глазах тех же женщин мужчины делались уродами и в смысле их внешности. С деньгами он же, даже с телячьей головой, наподобие той, с которою изображают того же золотого тельца,— делались красивее Аполлона Бельведерского!..

Имевший деньги победно шел, выпячивая вперед свое разжиревшее брюхо, наполненное добром обиженных людей, и кричал громко о своей нравственной чистоплотности, даже в том случае, если история его паломничества к золотому тельцу была мрачнее дантовского чистилища!.. И если бы у этих субъектов мог явиться хотя мгновенный проблеск сознания, согретого чувством участия к обездоленным и обиженным ими, тогда бы черствые сердца их содрогнулись — и они остановились бы в своем стремлении пред роковым вопросом:

«Полно! Так ли это все должно быть?»

Но такой вопрос они старались потопить и рассеять в безумной вакханалии.

Тут средства не разбирались...

---

* Прим. наборщика: Плагиат!.. Это, вероятно, г. переводчик взял с билетиков от конфект, что продаются на манзовском базаре...

Чтобы примкнуть к этой опьяняющей вакханалии, сулившей столько земных благ, надо было затоптать в классическую грязь ориенвилльских улиц и свою честь, и совесть, и все те помыслы добрые, которые способны одухотворять человека, не позволяя ему терять человеческий образ и приближаться к животным с низменными инстинктами.

Те, которые не были способны на это, оставались за флагом, а оставаться там — значило быть забытым, затертым...

Мало того, их же еще дразнили с адским хохотом, показывая нечистыми руками куски, вырванные у них же, и глотали их с жадностью акул, причем поглаживали свое брюхо, приговаривая:

— А вкусно... Очень даже вкусно, а тебе кукиш... На, выкуси!..

И действительно, показывали ему рукою соответствующий жест.

«Отсталый за флагом» только облизывался да лепетал нечто вроде лермонтовских стихов:

Но нет, наперсники разврата,
Другой есть суд, он неподкупен
звону злата!

. . . .

Тем не менее, на общем пиру такой «отсталый» голодал и холодал, порой тревожимый вопросом:

— Ну, что я теперь ношусь со своими честными намерениями, с какими-то идеями, которые стали тут анахронизмом! И зачем меня ими пичкали, на что они мне, эти добрые, честные стремления, когда они приносят одни страдания?

И такой человек погружался в тяжелое раздумье, не будучи в состоянии разрешить эту дилемму... А как нарочно, словно бы поддразнивая его, из разных отелей, особенно из Table d'or громко неслись на улицу торжествующие крики:

— Vivat!.. Vivat Pierre! Vivat Jean!

То кутила все та же лейб-выпивательная компания, которая в своем составе хотя медленно и изменялась, но характер ее культа оставался тот же: традиционно-рьяное поклонение Бахусу и решение разных дел и делишек гешефтмахерского характера, за которым много поедалось и много выпивалось преимущественно отечественного коньяку и фленсбургского пива. Рассказывались здесь те же анекдоты скабрезного характера, но только уже не покойным префектом Пьером, изящный памятник которому я уже описал, а другими и с другою аттическою солью...

В общем, компания начинала редеть, а следовательно, ослабевали и старые традиции. Но все ж таки довольно еще долго

члены ее поддерживали свое знамя как достойные последователи исторических, почти легендарных «ланцепупов», украсивших историю города Ориенвилля многими блестящими подвигами, вполне достойными летописи...

Еще бы не изменяться этим традициям при таком напоре новых и новых элементов!..

С каждым приходившим судном древнейшей пароходной кампании «Messagerie Maritime» появлялись целые группы все новых и новых лиц, на которых пределямерец смотрел, как на новых опасных претендентов на «лакомый кусок». Он давно уже посматривал на него и почти уже захватывал за краешек, чтобы кусок этот всецело очутился в его власти. Ан, не тут-то было: homo novus сразу же выбирал момент и без всяких выжиданий и размышлений, пользуясь позицией, вырывал из-под самого его носа облюбованную добычу. Ориенвиллец в озлоблении только восклицал:

— Diable!.. А ведь я прозевал!.. Но кто это так ловко стянул у меня такой лакомый кус?..

И оглядывал «недремлющего». Перед ним же стоял какой-нибудь из недавно попавших в Ориенвилль.

Смотрит «старый» теперь на этого «новичка», выглядевшего вначале таким «сморчком» или «плюгавцем», и диву дается: откуда у него и важность, и осанка, и толстое брюхо, выпяченное вперед, когда при первом появлении брюхо было так подтянуто и тоще, а на лице читалось одно только ясно выраженное слово:

— Жрать!.. Жрать!.. Жрать!..*

— Откуда только взялась у этого «плюгавца» такая прыть? — размышлял ориенвиллец, глядя ему вслед, в то время, когда последний победно шел вперед с разнузданными, плотоядными инстинктами, попирая на пути попадавшихся ему более слабых конкурентов в урывании кусков. И он сокрушенно видел ясно, что ему не совладать, что вся «его» алчность и умение — ничто в сравнении с этим опасным соперником, а поэтому запирался в свой угол и изредка только показывался даже на божий свет... при особых условиях...

Но и в своем уединении он не обретал желаемого покоя. Он каждый час дрожал за ценность своего добра. И было чего опасаться: воры плодились и множились, притом операции их принимали такие ухищренные и дерзкие формы, что не только пострадавший обыватель, но и сама префектура опускали беспомощно руки и глупо хлопали изумленными глазами.

---

* Прим. наборщика: Не взял г. переводчик это выражение у нашего сатирика Щедрина?

— Вот ведь оказия, а? И как это они?..

И было отчего. Примерно часов этак около восьми, летним вечером, приходит хозяин, заперший раньше обыкновенного свою лавку, и видит выходящих оттуда охотников до чужой собственности.

— Здравствуйте! — говорят ему те, низко кланяясь и неся на спинах его добро в мешках.— Как поживать изволите?

— Да вы откуда, голубчики? — останавливается перед ними изумленный хозяин.

— А мы делали вам визит, побывали в гостях... Спасибо за прием.

Сказавши такую любезность хозяину, добром которого нагрузились,— воры, как волшебники, исчезали так быстро, что пораженный хозяин не в состоянии был крикнуть даже:

— Караул! Грабят!..

Впрочем, на такой крик вряд ли он получил бы и ответ...

Да то ли еще было!

Взять хотя бы Поля, имя которого в Ориенвилле было облечено в ореол героя. Он не менее искусным путем крота пролез в местное казначейство и, наполнив мешок деньгами до 600 тысяч франков, вышел тем же путем, каким и вошел, и, взвалив мешок с деньгами на спину, побрел тихими шагами по большой улице Эклер.

— Что несешь, Поль? — спрашивает его мастеровой, товарищ по работам.

— Да ничего... Так вот, всякую дрянь из дому набрал, выбросить надо...

И замуровал эту «дрянь» в печке на три месяца, пока не сцапали его, раба божьего, и не водворили на галерах на место первобытного пребывания...

Однако он и оттуда умудрился отлучиться, чтобы таким же манером сделать визит к местному нашему Ротшильду. И тут его сцапали на полпути в подземелье.

— Да я ведь не к кассе пробирался,— резонировал он совершенно спокойно...— Я хотел воспользоваться платьем, обносился... А с деньгами — господь с ними, им, видно, у меня не водиться!..

Такова была сторона покушения на чужое добро...

Способы эти принимали самые удивительные разновидности и прогрессировали в своих формах настолько, что принимали иногда характер престидижитаторский, хотя многие их называли мошенническими...

Для таковых способов формировались целые шайки, принимавшие известную, определенную организацию...

Прогресс начинал давать себя чувствовать со всех сторон.

Ориенвиллец начинал дышать этим «прогрессивным» воздухом, но в то же время чувствовал, что начинает и задыхаться, словно бы от какого удушья...

Карты, вино, женщины, «Regardez-içi», а главное, деньги,—все это было атрибутами современного прогресса с примесью...

Впрочем, о «примесях» я как летописец поведу речь впереди.

<IX>

Еще одно правдивое сказанье...
Но летопись не кончена моя...

Стараясь проанализировать атмосферу, которою дышал ориенвиллец в те исторические времена, я упомянул выше о картах собственной фабрикации, которые посредством незаметной манипуляции делали удивительные превращения, и хотел поведать также о разных отелях и их завсегдатаях, о «Framboise» 'ах и «Regardez-içi», но... вспомнил, что забыл о более крупных факторах ориенвилльской жизни.

Я забыл о префектуре и мэрии.

Так как деятельность их кладет всегда свой характерный отпечаток на жизнь города, то, естественно, о них приходится говорить во все периоды истории Ориенвилля. Tempora mutantur et nos mutamur in illis...

Префектура проявляла в этот период беспримерную энергию.

Если воры и проделывали фокусы, обворовывая обывателей, как я упоминал выше, чуть ли не среди белого дня, на глазах у хозяев, и затем исчезали, к великому огорчению и префектуры, и пострадавших лиц, как чародеи, то это ничуть не умаляет заслуг бдителей благополучия. Они рыскали энергично, но только не находили... Словом, ничего не было видно в волнах, только тени какие-то мелькали...

Вина ли это префектуры?..

Воры увеличивались, лезли откуда-то, как тараканы из щелей в хате мужика, и увеличивали контингент своих собратьев, которые питались христовым именем или занимались развитием местной промышленности в области чужой собственности...

Все сбились с ног... Период был переходный и самый трудный...

Надо было насаждать порядок «по-отечески», самым энергичным путем... Задача была трудная и многосложная.

Казалось вначале, что для «насаждения» Ориенвиллю придется призвать в качестве «насадителей» кого-либо из иноземцев, наподобие, как это сделала Русь в начале своей истории, пригласив для водворения порядков каких-то варягов из-за моря в лице трех братьев: Рюрика, Синеуса и Трувора. «Придите,— говорили посланцы,— к нам и владейте нами. Порядка нет у нас, а ... насаждайте его сами».

И те насаждали...

Ориенвилль, к чести его сказать, обошелся без подобной миссии, или, если хотите, комиссии... В Ориенвилле отыскались свои насадители, да еще какие!

В ту минуту, когда я, как летописец Ориенвилля, пишу эти правдивые строки, я проникнут чувством полного благоговения к этим насадителям... Они были достойнейшими личностями, стяжавшими себе в свое время неувядаемую славу, которая будет переходить в отдаленнейшие потомства. Это, поистине, были благодетели Ориенвилля, своего рода Катоны, Дантоны, Мараты, Тираны, Наполеоны. В их руках была сила отменная и ловкость дьявольская...

Перво-наперво они задались целью оберегать личную и имущественную безопасность граждан от врагов внутренних (внешние были менее опасны). Для этого радикальною мерою сочли внедрить в гражданах чувство безбоязненности и уверенности, что они, как и их имущества, будут пребывать в целости и сохранности под их бдительным надзором.

Радикальные меры эти были очень просты и деликатны.

Так, например, ночным обходным от префектуры было внушено, чтобы они «бдили» над запоздавшими гражданами, и если граждане сии гуляют одиночками, немедленно арестовывали их и препровождали в особое помещение, для сего воздвигнутое во дворе г. префекта, и водворяли на более или менее продолжительное время. Паче же, если гражданин оказывал протест против покушения на его свободу, приказывалось немедленно прибегать к спасительному средству подталкивания в затылок с соответствующим словесным увещением и с неизбежными атрибутами оного в виде насаждения фонарей и кровоподтеков.

Идет, бывало, мирный запоздалый фланер по главному проспекту Эклер, мечтает при лунном освещении и чуть-чуть мурлычет себе под нос нечто вроде современного:

Вот взошла луна златая...
Ночной зефир
Струит эфир...

Вдруг перед ним, прямо в упор, навстречу появляются по то-

му же тротуару три полисмена под главенством Анпоша. Прозорливый гражданин города боязливо сторонится от них, сходя с тротуара...

— Эй, голубчик, погоди-ка! — говорят они.— Ты, видно, по части чужой собственности промышляешь? — соображают они, хватая его.

— Да помилуйте, какое по части чужой собственности! Вышел вот подышать свежим воздухом, так как днем, кроме пыли и смрада, в воздухе нет ничего...

— Нет, любезный, идем-ка лучше в кутузку!

— Да за что же это? — протестует ориенвиллец,— ведь я только хожу по тротуарам да дышу воздухом...

— Тротуары ветхи — сломаешь ногу, кроме того, гвозди всюду торчат. Вообще, в кутузке тебе будет безопаснее от врагов внутренних, а то отвечай еще за тебя! — И сопровождают мирного ориенвилльца в заключение с пинками и подзатыльниками. Чувствуй, мол как мы блюдем твою личную безопасность.

А в то же время где-нибудь в соседнем переулке тщетно раздавался раздирающий крик, призывавший на помощь:

— Караул!.. Грабят!.. Режут!..

Но на это только громкий лай дворняжек был единственным ответным звуком...

Когда же ориенвиллец начинал громко и открыто протестовать против грубого насилия над ним, ему отвечали:

— Ведь это в твоих же интересах... Ты за это должен быть еще благодарным.

Униженному и оскорбленному гражданину, выйдя на средину грязной улицы, при этом оставалось только кричать отчаянным голосом, возводя очи к хмурым, туманным небесам:

— Oh, mon Dieu! Oú est mon droit?! Ma liberté, ma égalité et fraternité?!

И как бы в ответ на это отчаянное взывание вдруг, как из-под земли, пред ним вырастала внушительная фигура суб-префекта.

— А вот где эти твои fraternité, égalité и liberté! Видишь сей фрукт?..

И перед самым носом ориенвилльца покачивался здоровый волосатый кулак суб-префекта или его ближайшего помощника Анпоша.

— Ты желаешь неприкосновенности прав, равенства?! Марш на «водворение», там все равны, и галерник, и гражданин; все вы там кушанье клопов и объекты глумления полисменов... Ie vous prie, monsieur Ie citoyen!

И палец той же руки указывал во двор префекта, откуда

мрачно выглядывало своими решетчатыми окнами здание «égalité», на стенах которого так и чудилась роковая надпись: «Lasciate ogni speranza voi ch' entrate!»

Такими-то «радикальными мерами» ориенвиллец позабыл свою патриархальность, отказался от вольнодумства и хотел даже упразднить свою привычку вечерами ходить по тротуарам ради чистого воздуха, а говорить на улицах стал шепотом, не то уж, чтобы петь под нос о ночных эфирах и зефирах...

Идет по делу даже днем и то оглядывается по сторонам:

— А вдруг опять?..

Словом, ориенвиллец был «водворен», «усмирен», «приведен в христианскую религию», как выражались в Ориенвилле. Одни думали, что этими путями Ориенвилль быстро двигается вперед, прогрессирует, а другие, последние могикане свободолюбия и почитатели погибавшей патриархальности, громко, не опасаясь даже никаких «мер устрашения и водворения», кричали, что Ориенвилль шел назад, пятился, как рак, что при такой регрессии он скоро очутится в первобытном состоянии.

Одни говорили (и это люди, которым жизнь много обещала):

— Смирись и покоряйся... Зорко следи за пальцем суб-префектов и полисменов, указующих путь, и благо тебе будет, а то... ничего в волнах не будет видно.

Другие, люди второго разряда, бесшабашные, которые махнули рукой на всякого рода благоприобретения и покинули мечту о каких-либо мздах или даяниях, о наипаче случайных и безгрешных доходах и приобретениях,— кричали до хрипоты, невзирая даже на волосатые кулаки, рисовавшиеся в перспективе:

— Да позвольте, позвольте ,господа! Я, по-вашему, кто? — homo sapiens или homo quadrupedus?! Я, кажется, рассуждаю своим умом, и мне не нужен указательный палец суб-префектов и Анпошей.. Пусть этот палец указует другим путь истины и самоотречения, а я.. homo sapiens!..

Но на этом и успокаивался, хотя все-таки невольно, даже против собственной воли, выходило как-то так, что и он шел, куда указывал толстый палец суб-префекта. А он указывал или в кутузку или в туман!

Таков был характер современной внутренней жизни Ориенвилля.

С этой стороной жизни Ориенвилля непосредственно сливалась и другая — мэрия... О! Эта мэрия тоже достойна прославления в своей деятельности, ее тоже приходится постоянно указывать и отмечать в настоящей летописи.

Если жизнь Ориенвилля прогрессировала относительно внут-

ренних порядков путем «водворения», «усмирения» и «приведения в христианскую веру», вследствие коих ориенвиллец делался «тише воды и ниже травы»(кроме кабачка «Regardez-içi», где озверелая орава гуляк заставляла трепетать мирного посетителя), то в отношении внешних порядков, касавшихся уже мэрии, жизнь города не особенно прогрессировала... Мэрия, казалось, будто и суетилась, что-то делала, но, видимо, плохо у нее все клеилось. Все обыватели Ориенвилля видели ясно одно, что мэрия зачем-то копала улицы, а те расплывались во время дождей в целые болота, по которым плыви хоть на лодке и в которых увязали извозчичьи лошади.

— А, чтоб вас!.. Ведь и исправили же нам улицы, нечего сказать! — ругались возницы, лошади которых, шлепая по грязи, обильно обдавали целым дождем жидких капель прохожих, призывавших за то хулу и на мэрию, и на копателей.

В сухое же время грязь обращалась в целые облака специфически вонючей пыли, от которой днем задыхался обыватель... Поливки улиц не полагалось... Не в большей исправности были и исторические тротуары, сделавшиеся сказкой во языцех.

Идет, бывало, ориенвиллец да поглядывает себе под ноги, как бы не провалиться и не сломать себе ногу в зияющих дырьях или не свалиться с тротуара в обрыв около дома самого мэра, обставленного лесинами с основания Ориенвилля.

— И с каких-то пор он строится! — размышлял обыватель, удваивая здесь свою осторожность.— Почитай, фундамент заложен еще при моем батюшке. Дивны дела...

И вдруг — трах! Провалился между лесинами. Прохожие, сжалившись, вытаскивали помятого обывателя, охающего от ушибов, сожалели, сдабривали его комплименты собственными вариациями.

Но от этого, конечно, обывателю не было лучше, хотя он любезно раскланивался и, в свою очередь, клялся при случае оказать такую же услугу помогавшим.

Не было лучше и от того, что среди жилых домов, как и встарь, преблагополучно существовали разные кузницы, литейные и т. п. нелегальные в городском районе мастерские. А таковые красовались не то чтобы где-нибудь в глухих местах города, в стороне от взоров «блюстителей», а в непосредственном соседстве с префектурой и мэрией. Мастерские эти, с одной стороны, держали в невыразимом страхе соседних домовладельцев, опасавшихся, чтобы их последние жилища не превратились в пепел от пламени и искр, выбрасываемых из труб, а с другой стороны, приводили в отчаяние стуком молотов по звонким и гулким предметам. В это время соседнему обывателю казалось, что сам Плутон

со всеми своими подмастерьями кует громы для самого Зевса...

— Гу-у!.. Гу-у!..— раздавалось днями и ночами в его ушах. Голова трещала у него от гула, он ходил, словно шальной... Идет обыватель жаловаться в мэрию или префектуру.

— Помилуйте,— говорит он,— голова скоро треснет от этого стука. Ночи не сплю... А тут еще, глядишь, и последнее убежище сгорит!..

— Ничего,— успокаивали его там,— не лопнет голова и, авось, не сгорите... А кузнеца тронуть нельзя — пускай кует хоть на самом проспекте Эклер: он вне общих требований и обязательных постановлений...

Обыватель сокрушенно пожимал плечами и спрашивал себя: «Что же это? Для чего же эти разные «постановления», кажется, для порядка?..»

А в это время еще сильнее раздавалось: «Гу-у!.. Гу-у!.. Тррр!.. Тррр!..» Трубы же мастерских выбрасывали огонь, словно мифические драконы из своей пасти...

Не в меньшей тревоге обретался и квартиронаниматель. С ним не церемонились. Домовладелец, видя, что с наплывом народа спрос на квартиры быстро увеличивался, смекнул и, чтобы увеличить сумму кортомной платы, прибегал к разным ухищренным способам расширить помещение в своем доме, который иногда был уже близок к разрушению. Для этого он то надстраивал сверху нечто вроде мансарды или голубятни, то пристраивал сбоку нечто вроде курятника, то подкапывал снизу какое-то подполье или погреб, предназначавшиеся для жилья. При всех этих операциях домовладелец руководствовался исключительно собственной смекалкой, презирая какие бы то ни было указания архитектора, хотя бы ради предосторожности. Поэтому бывало так, что вдруг дом, иногда двухэтажный, подкопанный снизу, висел на воздухе, как сказочный замок или сад Семирамиды, подпираемый одним столбиком. Пол квартиранта просвечивал и угрожал провалиться, а потому он в тревоге каждый раз выбегал на улицу и посматривал на дом, висевший в воздухе, и на работу землекопов и говорил тревожно:

— А ведь, ей-богу, дом-то рухнет!.. И мне могила, и всему «ноеву ковчегу» могила... А дом-то какой веселый!.. Веселей, чем на свадьбе у ведьм, когда они подвыпьют да разойдутся... И топот, и визжанье, и чего-то, чего только нет!..

И действительно, в те времена были и такие дома, куда скучивалась веселая молодежь, искавшая применения своей удали...

Но когда такой тревожный квартиронаниматель указывал префектуре на это безобразие, последняя отвечала:

— Э, полноте!.. Не провалился же еще!.. Чего же заранее тревожиться!..

И от этого не было легче квартиранту, почему порою ночью он вскакивал, выбегал на улицу и в тревоге кричал:

— Sauvé qui peut!.. Спасайся, кто может!..

На крик этот являлся блюститель общественной тишины Анпош и опять внушительно тряс перед носом беспокойного обывателя указательным пальцем своей загребистой, жилистой руки, приговаривая:

— Ты чего же это нарушаешь общественную тишину и вселяешь напрасную тревогу? Дом еще стоит. Свалится, ну тогда и протокол составим... А чтобы ты был покоен, в этом разе — je vous prie! — И указательный палец его опять тыкал по направлению дома égalité et fraternité...

Да, в то приснопамятное время порядок поддерживался строго и неукоснительно...

МОТИВЫ ОСЕНИ

(Из заметок хроникера)

Поздняя осень, грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна,
Грустную думу наводит она...

Написав заголовок своего фельетона, я невольно вспомнил грустные стихи Некрасова, хотя они не совсем точно характеризуют состояние осени в тот ее момент, когда я пишу эти строки. Грачей, из породы птиц, в крае, кажется, нет, но есть известный разряд людей,преимущественно из наезжих, которых почему-то называют здесь «грачами»... Лес пока не обнажился, но готовится к тому, и от такой близкой неприятности начинает уже краснеть. Что же касается до полей, то с грустью можно засвидетельствовать, что они действительно «опустели» в прямом значении этого слова. Поэт в вышеприведенном выражении «поля опустели» выражает ту мысль, что собранный с полей хлеб уже свезен на гумна, и осталась лишь осиротелая полоска, наводящая на него грустную думу. Далее поэт указывает и на причины, почему эта одна полоска не сжата,— говоря, что хозяин ее, этот «апостол труда и терпения», как харак-

теризует земледельца другой поэт, Надсон, надломился от трудов, и не стало уж его сил — он умер... Тут в этом маленьком стихотворении изображена целая потрясающая драма мужицкой страды, которая то лелеет надежду на богатый урожай, рисуя призрак блаженного отдохновения зимой, после непосильных трудов, то вдруг эти труды надламывают силы мужика или какая-либо случайная беда, «произволение божие», разрушает все его иллюзии, и у него окончательно опускаются натруженные руки, как плети, а навстречу ему идут беспощадные враги: голод и холод...

Драма, подобная описанной поэтом, не есть случайное явление в жизни русского крестьянина, но составляет хроническое ее явление и повторяется в разновидностях всюду и везде, по всей матушке-Руси.

Укажи мне такую обитель,
Где бы русский мужик не страдал...

Страдает он и здесь, в Сибири, где он ищет себе обетованного края... Страдная драма разыгралась еще недавно во всем крае, о котором столько писалось... И не одна полоска осталась несжатою, занесенная во время наводнений илом и погребенная под ним, и «поля опустели» не потому, чтобы земледелец успел собрать плоды своих трудов, а занесло их наводнениями. И не у одного «апостола труда и терпения» опустились руки с роковым вопросом на устах:

— А как я с ребятишками-то зиму промаюсь?..

Но не совсем он остается беспомощным пред страшным призраком зимы. Благодаря участию и инициативе отдельных лиц отзывчивость к народному бедствию на этот раз проявилась в крае в самых энергичных и симпатичных формах... Дело благотворительности, желание «порадеть о меньшем брате» пробудило отчасти и жизнедеятельность общества, которое было начало впадать в гибельную апатию в проявлении лучших своих симптомов. Общество как-то, может быть, временно, очнулось, и крестьянин увидел ясно, что между ним и обществом, господами, не все порвано, что осталась какая-то взаимно связующая нить, что господа эти не совсем им чужие, коли так близко принимают их бедствие к сердцу. Таким образом, проявление общественной жизнедеятельности в пользу пострадавших крестьян, кроме своей внешней, материальной стороны, дающей возможность отстранить от них последствия зимы и нищеты, имеет более глубокое, нравственное значение как для самого общества, так и для крестьян, между которыми вспыхнула искра взаимно связующего чувства, к чему только и стре-

мятся истинные народники нашего времени. Вопрос теперь, и не менее важный,— это целесообразный способ раздачи пожертвованных денег. От этого зависит дальнейший успех дела...

Да, пришла она, эта осень... «Суйфунчик» уже подул и, вероятно, будет зажаривать теперь с возрастающей силой... А лета так-таки мы не видели почти вовсе. Все время — июнь, июль и август — небо от нас было закрыто туманом и тучами, разверзались хляби небесные, и если в это время ненароком проглядывал клочок синего неба и брызгал, хотя на часок, сноп лучей солнца, мы бывали безмерно счастливы... А там снова унылое однообразие... Так прошло лето, парализовавшее всякие пикники, прогулки загородные и даже дела пылкого итальянского гражданина Агрести, которому счастье, т. е. природа, улыбнулось только в последние дни. Словно трудно и долго болеющий человек иногда проявляет проблески жизни, чтобы затем вскоре умереть, так и наша погода, все лето хмурившаяся, как евнух, наводившая необычайную тоску и отчаяние на обывателей, вдруг перед зимою, перед смертью природы, одарила нас, хотя поздно, несколькими яркими, но свежими днями.

А зима идет студеная...

И вместо всяких этих пикников, кавалькад, приятных partie de plaisir'ов in's Grüne вдруг прозаический вопрос о дровах у квартирантов и у квартирохозяев... Вопрос самый прозаический.

— Ну и вздорожали же дрова!.. — восклицает сокрушенно один из таких хозяев.—Всю кортомную плату да впридачу свое жалованье можно ухлопать на одни дрова! Не накинуть ли маленько квартирную плату?— размышляет он далее, покушаясь на скудный заработок своих квартирантов, которые и без того еле-еле сводят концы с концами...

Опять о дровах!... Чего может быть скучнее говорить о таких предметах, как дрова, ассенизация города, освещение, исправление улиц, тротуаров и т. д. А между тем местный хроникер, о чем бы ни заговорил, все сводит к рассуждению по поводу этих предметов, что далеко не нравится многим из городских заправил, от внимания которых ускользает много такого, что ясно видно хроникеру и коробит его... И припоминается мне при этом недавний шуточный разговор моего коллеги по перу по поводу роли вообще хроникера, а в захолустье, в частности. Однажды он меня спросил:

— А знаете ли вы, кто самый бдительный санитар в городах?

Я на минуту стал в раздумье, потом ответил:

— Армянин Ахшарумов, который от Управы получил похвальный отзыв, как санитарный попечитель,— сказал я.

— Нет,— ответил мой коллега.

— Городской мэр, который должен бдить за опрятностью всего города?

— Нет... Он меньше всего видит...

— Квартальный надзиратель?

— Ну, вот еще!..

— Так кто же, наконец?— воскликнул я.

— Репортер местной газеты,—сказал методически мой коллега.

Я вытаращил было на него сперва глаза, но потом невольно расхохотался.

— А и в самом деле, правда,—согласился я, словно бы мой коллега открыл мне глаза и я прозрел пред темной дилеммой.

Да, репортер и есть самый бдительный санитар и указатель всех городских изъянов. Он тот bête noire от которого не знает покоя городское самоуправление и местные бдители и радетели, в том только случае, конечно, когда на его роток не накинут платок и ему дозволено оповещать о всех замеченных неисправностях и упущениях... Репортер — о, это такой всевидящий аргус, от которого редко когда скрываются дела и помыслы окружающих его людей, когда он настороже на своем наблюдательном посту. Жаль только, что он не всегда может поведать в собеседовании с читателем все то, что не сокрыто от его телесного и умственного взора... Если бы он мог это всегда делать, как бы тогда расширял он кругозор своего читателя на все окружающее... Но, увы, этого он и не может делать, и горечь его невысказанных наблюдений сжигает его сердце, испепеляет его в безмолвной, бессильной тревоге... Репортер, фельетонист, всякий вообще газетный работник,—они все одинаковую дань приносят своей тяжелой профессии. Душевное состояние этого рода общественных работников прекрасно высказано было словами язвительного Н. Энгельгардта (Неделя, № 7). Привожу эти слова:

«Но как же назвать этого человека, который забавляет толпу, который не таит про себя, но все, всю душу обнажает перед толпою? Он мало-помалу теряет способность относиться к чему-либо как к заветному. Все для него матерьял. Всякое чувство он превращает в строки. Писатель сжигает самого себя, чтобы потешить толпу минутным фейерверком: ведь нельзя сохранить теплоту, если будешь передавать ее другим! Писатель раскаляет сердца толпы, а сам остается, как выгоревшая, чадящая лампа. В его произведениях — его душа, ум, жар его сердца, луч-

шие чувства, в нем же самом — холод, пустота, отчаяние или, вернее, отвращение. Произведения писателя — крепкий питательный бульон, а сам он — вываренное мясо»...

Вот чем сопровождается неминуемо процесс работы писателя... Но оценивают ли эту жертву те, для которых он себя так сжигает? Находится ли у них достаточно гражданского мужества, чтобы при всяком случае, когда даже объектами справедливой кары являются лично сами,— оценивать беспристрастно? Выгораживают ли они этого писателя от тех незаслуженных житейских напастей, которые являются результатом такого его жгучего писания, интересуются ли его нравственными и физическими пытками, которыми сопровождается это его писание, и имеют ли к нему не только справедливое уважение, но простое сострадание, которое бы облегчало его в трудные минуты одиночества и заброшенности?.. Чувствуют ли эти читатели, что между ними и писателем существует неразрывная нравственная связь, во имя которой последний приносит себя в жертву, на сжигание?.. Увы, не чувствует, а если и чувствует, то в весьма редких случаях и в самой слабой степени, и то только в то время, когда писатель, отступя от нормального пути своей святой миссии служить лишь правде, одной ей,— начинает лепетать служительские слова!..

«Я личным опытом основательно и бесповоротно убедился,— говорит Щедрин в своих «Пестрых письмах»,— что человеку, который живет вне сферы служительских слов, ниоткуда поддержки для себя ждать нечего. Сколько раз в течение моей долгой трудовой жизни я взывал: где ты, русский читатель? Откликнись!—и, право, даже сию минуту не знаю, где он, этот читатель... По временам, правда, мне казалось, что где-то просвечивают какие-то признаки, свидетельствующие о самосознании и движении вперед, но чем глубже я уходил в ту страну терний, которая называется русской литературой, тем более и более убеждался в бесплодности моих чаяний.—Нет тебя, любезный читатель! Еще не народился ты на Руси! Нет тебя, нет и нет!..»

«Русский читатель, очевидно, еще полагает, что он сам по себе, а литература сама по себе, что литератор пописывает, а он, читатель, почитывает. Только и всего. Попробуйте сказать ему, что между ним и литературной профессией существует известная солидарность,— он взглянет на вас удивленными глазами.—«Ах, нет!—скажет он,—лучше я совсем не буду связываться, чем добровольно наложу на себя какое-то обязательство».

«И как скажет, так и сделает. И когда затем для писателя

наступит трудная минута, то читатель в подворотню шмыгнет, а писатель увидит себя в пустыне, на пространстве которой там и сям мелькают одинокие сочувствователи из команды слабосильных...»

Так ли, читатель?..

Да, с глубокою грустью надо сознаться, что так...

«ИРБО»*

— Ирбо!.. Эй! Ирбо!.. Работа!..

При первом же звуке этих призывных слов Цой Ким нервно вздрогнул и тревожно огляделся вокруг, соображая, откуда несется зов и по какому направлению надо бежать. Взглянув вправо, он увидел перед воротами одного дома звавшего его солдата.

— Ирбо-о!.. Работа!..

Цой Ким что есть мочи бросился в ту сторону, поддерживая на бегу одной рукою болтавшуюся на спине рогульку, сильно мешавшую ему свободно двигаться. Но в то время, когда Цой Ким, напрягая последние свои силы, бежал на гору, два других таких же рогульщика, как и он, сломя голову летели туда же с горы и предстали, запыхавшись, значительно раньше перед солдатом. Когда подошел туда же Цой Ким, уставший окончательно и задыхающийся, то солдат, махая рукой и отрицательно качая головой, сказал:

— Твоя не надо!.. Только два надо, три не надо!..

Цой Ким грустно посмотрел в спину повернувшегося во двор с двумя корейцами солдата и с тяжелым вздохом опустил руки на свою палку, которою он обыкновенно подпирал свою ношу во время передышек.

— Опять неудача!— мелькнуло в голове Цой Кима. Он продолжал стоять в той же позе, пока из ворот не вышли двое счастливых его соперников, сгибаясь в три погибели под тяжелой ношей и следуя мелкими, но ускоренными шагами за своим нанимателем. Проводив их завистливыми глазами, Цой Ким положил палку свою под мышку, засунул, по обыкновению, руки в широкие рукава своей ватной, донельзя грязной «белой» куртки и медленно пошел по улице. Он пытливо заглядывал во дворы—не перепадет ли ему какой-либо работы, но на все свои предложения: «Работа есть?»— получал одну и ту же

* Так просят корейцы работы и так зовет их на работу местный обыватель.

фразу: «Не надо, проваливай!», причем в одном месте ему за такое предложение даже чуть не намылили шею...

Потеряв надежду таким путем отыскать работу, он стал на перекрестке двух каких-то глухих улиц и весь превратился в слух и зрение.

Шевелились ли в нем какие-либо более сознательные чувства, которые двигали настоящими его побуждениями?.. Зачем он стоит именно здесь, на перекрестке, и ждет ли призыва к работе? Нет. Он чувствует только одно, что голоден; у него кружится голова, и тошнит его. Он не отдает себе отчета, что эти симптомы — прямое следствие того же голода; он только инстинктивно чувствует, что надо сделать одно: утолить жгучее чувство голода какими бы ни было способами! Для него не существует ни прошедшего, ни будущего; он живет только этой настоящей жгучей минутой. Он не ел почти ничего со вчерашнего дня: заработок его был слишком скуден, да и то он пошел на уплату манзе, хозяину той фанзы, где он ночует. Как он ни умолял бессердечного манзу отсрочить уплату, просьба его осталась безрезультатной..

Но тщетно ждет Цой Ким.

Проходит какая-то дама с узелком в руке.

—Мадама, работа надо?— робко обращается к ней Цой Ким.

— Не надо!..

А между тем голод усиленней дает себя чувствовать. Это именно то состояние голода, когда у Цой Кима иногда рождалась мысль о покраже. И бывали такие моменты, когда он прибегал к воровству, как к единственному спасительному средству. Являлась ли у него искра сознания в том, что воровство— скверный, безнравственный поступок? Нет, в это время он чувствовал одно: надо затушить чувство голода, а какими средствами, это для него было совершенно безразлично!

Он видел и испытывал явно, что никому ровно нет дела до его состояния, никто его не понимает, и вместо теплого участия, он встречает не только равнодушие, но даже враждебное отношение к его предложениям работы.

Следовательно, что же может вызвать в нем особенное сочувствие к пресловутой «неприкосновенности» чужой собственности, которою он по какой-либо оплошности хозяина может воспользоваться безнаказанно?

И теперь вот Цой Кима останавливает не сознание «незаконности» и «безнравственности» воровства, а страх только наказания, страх быть пойманным на месте преступления.

В городской жизни Цой Кима были два случая, когда он отважился под влиянием голода на воровство. Раз он забрался

довольно удачно в чью-то кадушку, которую рассеянная хозяйка забыла замкнуть, и среди белого дня успел стянуть оттуда пару фазанов, которых продал какому-то встретившемуся господину за бесценок... Другой раз, когда он неудачно из кухни украл плохо лежавшую краюху хлеба и с ней пустился бежать, за ним погнались. Гнался за ним здоровенный детина, кухаркин муж, и вор был бы, конечно, избит им до полусмерти, если бы не бросил и краденую добычу, и свою рогульку, мешавшую ему спасаться от преследования врага. Последний только удивился, увидав брошенную краюху хлеба.

— И черт же его возьми!.. Я уж думал, бог знает, чего он украл... А он вон что!..

Как бы Цой Киму эта краюха теперь была кстати!.. Мысль о съедобном еще более растравляет его мучительный голод... В таком состоянии Цой Ким с успешным напряжением прислушивается вокруг и всматривается. Однажды ему совершенно явственно послышалось, что кто-то зовет: «Ирбо!» Он вздрогнул, тревожно посмотрел кругом и вдруг стремительно, как сумасшедший, метнулся в ту сторону, откуда почудился призыв.

— Куда это ты так бежишь?—окликнул его шедший ему навстречу флегматичный товарищ-рогульщик.

— Кричат!..

— Никто не кричит,—остановил его тот, засмеявшись, —это тебе, видно, показалось!.. И со мной бывает, когда долго стоишь на одном месте и прислушиваешься... Словно бы кто зовет, а никого не видно!..

Цой Ким пошел рядом со своим товарищем, с таким же оборванцем, как и он сам. Та же грязная донельзя ватная куртка, несмотря на летний сезон, в которой они спят, те же широчайшие, в заплатах, грязные шаровары, та же грязная повязка на голове, которая по утрам, когда он встает от сна, служит ему также и полотенцем, та же точно рогулька и то же тоскливое выражение на лице, на котором только и можно прочесть явственно одно: я голоден, как бы поесть!..

Перекинулся Цой Ким со своим товарищем двумя-тремя словами о том, что плоха работа, а потом отстал от него на встретившемся углу каких-то проулков и снова превратился в слух и зрение...

Время все шло, а работы не было...

Прокатилось по окрестным горам гулкое эхо полуденной пушки... Цой Ким приходил в отчаяние и окончательно решил отправиться на базар, чтобы там, хотя в манзовской харчевке вымолить себе какую-нибудь снедь, чтобы задушить мучившего его червяка. В это самое время он увидел, как из соседнего дво-

ра выбежала тощая черная собака, держа в зубах кость, на которой осталось еще достаточное количество ветчины. Отбежав немного от Цой Кима, собака прилегла у пустынного забора и, обхватив передними лапами кость, принялась ее глодать с жадностью.

У голодного Цой Кима явилась моментальная мысль завладеть этою костью. Он боязливо огляделся кругом и, не видя никого из людей, быстро подбежал к собаке и пронзительно на нее крикнул. Собака, испугавшись дикого крика, отскочила прочь, не успев даже захватить свою добычу, которую Цой Ким быстро сунул за пазуху своей широкой ватной куртки. С этой добычей Цой Ким пошел за угол пустынного забора и, вынув ее, стал жадно рвать зубами твердую протухлую ветчину...

Облизываясь, собака стояла перед ним, тихо виляя хвостом и грустно посматривая на то, как съедают отнятую у нее ветчину. Наконец, Цой Ким бросил ей обглоданную кость, которую собака поспешила унести в ближайший овраг, а Цой Ким, утирая губы широчайшими грязными рукавами своей куртки, направился к колодцу, чтобы напиться из струи, выбегавшей из нижней части сруба.

Теперь Цой Ким чувствовал себя совершенно иным: он переродился, мысль о воровстве уже больше не сверлила его мозга. Его даже не занимала мысль о заработке, забота о том, что он будет есть завтра... Он стал как-то добрее и почувствовал даже невольно инстинктивную жалость к собаке, у которой он отнял добычу.

— Иначе тогда голодал бы я,—оправдывал он себя.

В таком настроении он пошел без всякой определенной цели по улице, сторонясь тротуаров, так как прохожие, которых он задевал своей рогулькой, его ругали и даже били.

Заметя у одного большого магазина толпу своих сотоварищей по ремеслу — рогульщиков, зевавших в окна, в которых были расставлены разные банки, коробки и безделушки, он присоединился к ним и стал, как и они, праздно рассматривать товар, присоединяя и свои замечания по поводу того или другого предмета. Тут же рядом с Цой Кимом, на тротуаре, расположился один из сотоварищей и, сняв с себя и рогульку, и свою ватную куртку, надетую на голое тело,—совершал в ней охоту за своими маленькими палачами — паразитами, подвергая их жестокой казни между двумя ногтями своих заскорузлых пальцев. Дамы и кавалеры проходили и не замечали этой вполне оригинальной картины уличной жизни «ирбо».

Да и смотрят ли они на них как на людей, способных проявлять какие-либо человеческие чувства? Сомнительно. Сомни-

тельно потому, что отношение этих господ к этим несчастным пролетариям, поставленным на степень настоящих париев, отличается бессердечием. Редко какая-нибудь из этих дам-хозяек не обсчитывала этих забитых, загнанных работников. Редко кто из этих господ не оскорблял этих безответных, кротких тружеников, исполняющих у нас роль вьючных животных. Хотите пример?

Вот посмотрите на эту парочку, мужа и жену, которая сейчас прошла. С виду она — ангел доброты и кротости, а между тем мне отлично известно, что когда на днях она наняла с базара вот этого самого «ирбо», который занимается охотой за своими паразитами, и муж захотел прибавить ему за нечеловеческий труд пять копеек, то она чуть не выцарапала ему глаза, а несчастного «ирбо» приказала своему Ивану избить и вытолкать, бросив ему вслед три копейки. Он тащил тяжелую, непосильную ношу с базара до Офицерской слободки под жгучим солнцем, жилы его напрягались от усилий, пот градом лил с его лба, дух захватывало от усталости, а он не мог передохнуть, потому что сердитая барыня ругала его:

— Экий неженка какой! Иди, иди!.. Нечего прохлаждаться!..

И Цой Ким шел и задыхался.

И за труд, побои и брань — три копейки, брошенные ему с чувством гадливости!

А этот барин, а эта другая барыня? Все они виноваты перед ними, перед этими несчастными париями. Безответностью и кротостью их они зачастую пользуются, не признавая за ними даже права получать вознаграждение за свой труд настолько, чтобы хотя хватило им на дневное пропитание и на плату за ночлег эксплуататору-манзе!

Однажды после одной из подобных сцен бессердечной, жестокой расплаты за свой тяжелый труд Цой Ким, униженный и оскорбленный, тихо шел по одной из нагорных улиц. Он сторонился людей, чтобы как-нибудь нечаянно не толкнуть кого-либо своей рогулькой и тем не вызвать бы гнев против себя кого-нибудь из прохожих. Шел он понуро, с засунутыми в рукава руками. Навстречу ему направлялся взрослый мальчик. Поравнявшись с Цой Кимом, негодяй быстро подошел к нему и, набравши побольше слюны, харкнул ему в упор в лицо и нагло захохотал.

— Зачем твоя дерись?! Не надо! — вскрикнул оскорбленный Цой Ким, злобно посмотрев на своего обидчика.

— А-а, так ты еще сердишься? Собака!—сказал негодяй, наклоняясь, чтобы поднять камень.

Цой Ким, видя такой маневр своего обидчика, догадался,

что тут не будет добра, и поспешно стал ретироваться, боязливо оглядываясь назад. Но камень, пущенный опытною рукою негодяя, достиг своей цели, угодив по ногам Цой Кима, и бедняк застонал от острой боли.

— Бей его, бей, собаку!—раздались голоса двух других мальчишек, выбежавших из соседнего двора, и вдогонку убегавшему Цой Киму полетел град камней, попадавших ему то в спину, то по ногам. От этих ударов Цой Ким как-то неловко подпрыгивал и корчился, что возбуждало громкий смех его преследователей.

— Что вы делаете?!—прикрикнул на них какой-то проходивший господин,—зачем вы его бьете? Что он вам сделал?

— А он—«ирбо»,—ответили те,— ведь он разве человек? Собака...

Господин с негодованием взглянул на молодых палачей, покачал головой и сказал:

— А из вас выйдут патентованные негодяи!

А Цой Ким бежал, оглядываясь и придерживая свою рогульку одною рукою, до тех пор, пока камни не могли уже его достигать. Тогда он пошел тихими шагами, направляясь к забору, окружавшему чье-то пустопорожнее место. Там он присел и стал осматривать свои избитые руки и ноги. Они были покрыты синяками, и местами сочилась кровь. Острая режущая боль давала о себе знать по всему телу. Чувство жгучей обиды охватило Цой Кима с необычайной силой, и он, присев на корточки и склонившись на эти свои избитые в кровь руки, тихо проговорил:

— За что же?!

Из надорванной груди Цой Кима вырвалось глухое, подавленное рыдание.

В такие моменты у Цой Кима никогда не являлось желания пожаловаться на своих обидчиков. В его скудном лексиконе терминов личной правоспособности не имелось слов «жалоба», «право», «закон»: эти понятия были чужды его представлению, так как он не пользовался ими, как если бы их и совершенно не существовало. У Цой Кима составилось одно представление, которое он чувствовал животным инстинктом: это—что надо работать для того, чтобы не умереть с голоду и холоду. Но для этого надо было искать эту работу, рыскать по городу, а это, как мы видели выше, не обходилось Цой Киму легко: он постоянно подвергался оскорблению праздных негодяев, которые, даже в лице взрослых, не признавали за ним права свободного и беспрепятственного движения по улицам в поисках работы. Цой Кима обсчитывали, его били безнаказанно...

С течением времени в нем подавлено было всякое чувство самообороны. Он смирился с тою роковою мыслью, что все могут его обижать и что сам он не может даже жаловаться. К этому последнему заключению его привел горький опыт тяжелых мытарств. Два раза он пытался вначале принести робкую жалобу на своих наемщиков, не заплативших ему за труд, и два раза, вместо удовлетворения своей жалобы, был сугубо обижен и выгнан оттуда, куда он принес свою жалобу... С тех самых пор даже названия «полиция» или «участок» производили в Цой Киме неизъяснимый трепет и ужас. Проходя даже нечаянно мимо солдата в черном кушаке с красными кантами, в шашке через плечо и с красными жгутами на плечах, Цой Ким чувствовал озноб во всем теле и невольно вздрагивал, несмотря на жаркий летний день и на свое ватное одеяние, в котором он ходил круглый год.

В минуты обиды и горя Цой Ким порою только жаловался таким же несчастным, обиженным своим сотоварищам, как и он сам, и хотя они ему, очевидно, не могли ничем помочь в его горе, но на душе у него делалось как-то легче. Иной раз горечь обиды Цой Ким «выжигал» на сердце, одинокий, покорно обливаясь тихими и долгими слезами.

И теперь опять, поплакав, бедный Цой Ким тяжело-тяжело вздохнул и тихо пошел, чтобы на базаре добыть хоть манзовскую лепешку. Путь его лежал мимо полиции. Тут его внимание было привлечено шумом, происходившим перед полицией. Два полицейских казака старались тащить какого-то человека, похожего на посадского. Он усиленно упирался и, по-видимому, силился, хотя тщетно, освободиться от них.

— Не пойду!.. Не имеете никакого права меня сажать!—кричал он.

— Пойдешь!—говорил один из казаков, дергая его вперед за руку.—Иди, тебе говорят, а то хуже будет, накладем!.. Эй, Андрей, а ну-ка, поддай ему жару!..

Стоявший на крыльце третий казак подскочил и усиленно стал колотить посадского кулаком сзади, приговаривая: «Иди, иди, иди!..»

Но арестованный по-прежнему упирался. Казаки, по-видимому, выбились из сил. Один из них даже выругался.

— Ну, варнацкая твоя харя, поплатишься ты за это свое упрямство ужо там!.. Иди! Тащи его сильней,—обратился он к товарищу.

Как ни упирался арестованный, а потащили-таки раба божьего. Но, дойдя до середины улицы, он опять выказал свой протест настолько энергично, что казаки не могли его сдвинуть.

— Говорю, не пойду, да и баста!.. Не имеете права!..

— Не пойдешь?! А вот те твое право!!!—гаркнул казак и при этом, размахнувшись, что есть силы, ударил его прямо в упор по лицу правым своим кулаком. Арестованный только замахал головой и усиленнее уперся ногами. Шапка с него свалилась, кровь ручьем брызнула из носа и изо рта и побежала алою струею по лицу, на пыльную улицу.

— Не пойду!.. Не имеете права!..

Тогда казаки освирепели. Они свалили его на землю и стали бить оба, а один даже принялся бить его ногой... Несчастный барахтался и употреблял последние усилия, чтобы освободиться от своих палачей, клочья его пиджака и рубахи летели в стороны, тело его обнажилось почти догола, а палачи не выпускали свою жертву, которая только упорно хрипела уже одно и то же: «Не имеете права!».

Наконец, утомившись своей бесчеловечной расправой, они с помощью третьего казака почти поволокли по земле избитого арестованного, протест которого теперь выражался лишь слабым всхлипыванием.

Во время этой сцены по тротуару проходили фланеры, но, видя дикую расправу, никто не возмутился и не остановил ее. Только один из проходивших двух господ заметил с чувством гадливости:

— Что за мерзость!.. И это дозволяется на улице, пред полицией, всенародно... в глазах иностранцев! Ведь такое обращение с людьми не только что дико, но прямо преступно и оскорбляет общественную нравственность!.. Ничего подобного вы не увидите в России...

— А вы думаете, это исключение?.. Здесь это почти обычная манера расправы,—спокойно заметил второй.

Первый господин приостановился, удивленно посмотрел на своего собеседника, пожал плечами, покачал головой и только сказал:

— Ну и нравы же у вас жестокие, сударь!

На Цой Кима эта сцена произвела то действие, что обида его, которую он недавно вынес от молодых негодяев, показалась ему более легкою сравнительно с тем, что он видел сейчас, и это несколько облегчило его.

Кроме того, Цой Ким вынес из этой сцены еще большую уверенность в своей беззащитности, а также большее чувство неизъяснимого страха и приниженности. С тех пор Цой Кима уже не было видно среди рогульщиков города. Приурочил ли он себя к какой-либо другой работе — неизвестно, но его уже не было видно в течение всего остального лета и всю зиму.

Но вот запахло весною... Потянуло теплом... На окрестных горах уже стаял снег... Бухта освободилась от своих оков, и по ней уже задвигались белые паруса манзовских шлюпок, задвигались суда, загудели сирены и самые разноголосые свистки: рейд оживился... Признаки зимы виднелись еще лишь на Амурском заливе, где у низкого берега Семеновского покоса еще держался рыхлый синий лед, на котором виднелись кучи выброшенного за зиму навоза и разных экскрементов из обывательских дворов. Среди этих кучек сидели люди — манзы, солдаты, а больше корейцы: они занимались ловлей вахни, погружая удочки в прорубленные во льду отверстия. Тут был и Цой Ким, в том же платье и с тем же скорбным выражением.

Он сидел рядом с другим товарищем, корейцем, и был углублен в свое занятие. Около него на льду лежало с полдюжины наловленных «вахнюшек». Он мысленно лелеял уже надежду поймать дюжину и сбыть любителю свежей рыбы за сходную цену: в это время за эту рыбу платили очень хорошую плату, и Цой Ким занялся этим делом, как более прибыльным, чем труд рогульщика.

Погода была редкая во Владивостоке, где вся весна и почти все лето знаменуются непрерывным рядом густых, сырых туманов. Был ясный, теплый день. Горы дальнего берега Амурского залива были подернуты дымоватой мглой. По воздуху, сверкая, носились длинные серебристые нити паутины. Высоко в небе, едва видные глазу, тянулись станицы журавлей, и крик их еле достигал слуха. Над горой поднимался жаворонок и, заливаясь веселою, звонкою трелью, утопал в бесконечной синеве неба. Над самым заливом пролетали гуси, утки. Дул теплый восточный ветер.

Рыболовы на уцелевшем льду чувствовали себя очень хорошо: рыба ловилась прекрасно. Вдруг, к ужасу всех, лед двинулся от берега: порывом восточного ветра его оторвало и медленно стало отгонять в залив. Все находившиеся на льду, побросав свое занятие, весь свой лов, в паническом страхе стали бегать, как угорелые, по льду во все стороны, ища спасения.

Многие прыгали в воду и еще могли добраться до берега вброд.

Крик ужаса погибавших огласил воздух, тем более, что самый лед стал ломаться на части. Подоспели три каких-то молодых мещанина, которые спустили на воду бывший на берегу гребной катер, вскочили в него и заработали веслами.

Неутомимо спасали они погибавших, высаживая на берег одних и пускаясь обратно за другими. Все были спасены, но о двух корейцах, находившихся на дальнем обломке льда, вспом-

нили лишь тогда, когда они были уже отнесены так далеко, что отчаянные крики их еле достигали берега.

Один из них был Цой Ким.

В то время, когда его товарищ, стоя и простирая руки по направлению отдалявшегося берега, кричал отчаянно о спасении, Цой Ким сидел на уменьшавшейся льдине на корточках и, закрыв лицо руками, тянул какой-то тягучий жалобный мотив, словно пел или рыдал. Но этот звук, как и крик его товарища, бесследно терялся на водной глади залива.

А льдина, на которой они удалялись дальше от берега, все больше и больше дробилась и уменьшалась. Наконец, она медленно поддалась под ними, и Цой Ким с своим товарищем стали погружаться в воду. Два-три беспомощных взмаха рук утопавших, пронзительный крик ужаса, звук всплеснувшейся воды — и все было кончено. Только куски треснувшей на несколько частей льдины поплыли далее в глубь залива да над тем самым местом, где погрузились несчастные, закружилась белокрылая чайка, и жалобный крик ее, похожий на плач, как бы повторял заунывную песню погибшего Цой Кима.

ПО ВОСТОКУ

Нагасаки

января 29

— Что же вы не пойдете наверх полюбоваться японскими берегами, они очень близки... Воздух мягок...

Это было сказано моим спутником 25 января, на третий день нашего выхода из Владивостока. Я поспешил надеть шубу, калоши и поднялся на палубу.

К немалому моему изумлению, оказалось, что падал небольшой снег и сейчас же таял на палубе судна. Снег этот, как оказалось, шел все время нашего пути. Дул довольно свежий ветер, вздымая волны с белыми гребнями, которые с бессильным рокотом ударялись о бока гиганта-судна и отскакивали снова, шипя и пенясь.

Близко виднелись гористые берега Японии. Горы были покрыты снегом, и, несмотря на это, темная зелень дерев и лужаек, не покрытая еще снегом, местами обозначалась довольно яв-

ственно, производя странное впечатление своим контрастом. Берега местами были словно изгрызаны, представляя вид мельчайших фиорд. Желтые обрывы берегов местами достаточно ясно говорили зрителю о глинистом характере почвы, она же местами обозначалась довольно явственно на вершинах гор. Кое-где виднелись деревни. Деревни эти, не представляя ничего оригинального по внешнему своему виду, маскировались окружающею природою и едва обозначались на зелено-белом пестром фоне зелени и снега.

— А где же Нагасаки?—спросил я у стоявшего рядом пассажира.

— А вот впереди, за этим поворотом,— показал он вперед по направлению высоких гор с желтым оттенком вершин.

Впереди стали показываться предместья города. Зашныряли какие-то пасажирские легкие пароходы. Справа, на обрывистом выступе берега, обозначилась маленькая беленькая башенка с группой пристроек — это, как мне объяснили,—маяк... Далее откос того же крутого берега усыпали маленькие японские домики, разбросанные в лирическом беспорядке, без строго распланированных симметричных улиц. Но дома такие крошечные, маленькие — обыкновенный тип японских построек. Всюду и везде, и справа и слева берега в зелени, насколько это можно разобрать из-под покрова снега. И если нет здесь искусственной посадки дерев, то, по крайней мере, ясно видно, с какою рачительностью японцы берегут природную зелень и поддерживают ее существование всячески, не распространяя на нее свой вандализм и не сжигая ее на топливо. Отсюда, вероятно, и тот здоровый воздух — морской воздух, напитанный ароматом хвои,—которым похваляется Япония, привлекая к себе наших страждующих и обремененных.

Характер почвы — тот же суглинок или супесок, судя по желтому оттенку береговых обрывов и небольших площадок плешин на горах. И невзирая на это, откосы этих гор убраны зеленеющими лентами огородов и пашен, раскиданных всюду в виде уступов. Как я убедился впоследствии, огороды эти удобрены тонким слоем чернозема.

Пароход наш, издав пронзительный свист своей сиреной, медленно подвигался в бухту, осторожно лавируя между судами, на которых развевались флаги разных национальностей: американские, русские, французские, японские. Особенно красив был громадный американский железный барк с тремя стройными высокими мачтами, придающими этим баркам особую оригинальную красу.

Наших военных судов стояло тут только два, остальные бы-

ли коммерческой компании Шевелева и один Добровольного флота, «Владивосток».

Четверо из моих компаньонов уже связали свои вещи и собрались высаживаться. Это были: владивостокский парикмахер, который пересаживался на американское судно, чтобы попасть на нем через Америку в Париж. Это тот господин, который выражал, как и «кум королю», свое негодование против наших пароходных порядков и сравнивал их с порядками иностранных судов, особенно французских. Чахоточный господин, стремившийся в Японию, как в обетованный край, где найдет исцеление своему недугу, «кум королю», или владелец фрегата, он же чубатый запорожец, который рассчитывал, что его «Котик» стоит на рейде, а не в Корее, и четвертый—мясной торговец, тоже бежавший на зиму <от> владикавказского климата.

В день прихода они тотчас же высадились на берег приискивать квартиры, причем один отыскал себе помещение за 45 долларов, а другой за 60 долларов в одну комнату каждый. Таковой оказалась хваленая во Владивостоке нагасакская дешевизна жизни.

В день прихода я не сходил с судна, так как мне не хотелось осматривать незнакомый город без чичероне, каковым вызвался еще во Владивостоке «кум королю». Ему же еще надлежало устроиться по своим делам, и уже потом он обещал заехать за мной, чтобы показать мне весь Нагасаки со всеми его достопримечательностями, могущими ускользнуть от моей наблюдательности. Поэтому я удовлетворился тем, что смотрел с палубы на рейд и на город.

Как это всегда бывает, тотчас же после того, как пароход бросил якорь, его окружили японские остроносые джонки с будочками. В этих будочках на этот раз ввиду свежей погоды грелись маленькие очажки, наподобие восточных мангалов, практикуемые японцами как непременная принадлежность домашнего обихода как зимою, так и летом. Эти мангалки служат не только для согревания своего грешного тела, но и для разогревания чая и раскуривания микроскопических трубочек, которые курят так часто японки и японцы.

И на следующий день я поджидал своего чичероне до 11 часов, но не мог его дождаться. Он, как оказалось, дал волю широкой казацкой натуре и после трехдневного необычного антракта закутил на славу.

Таким образом я прождал бы его и этот день совершенно безуспешно, если бы на пароходе я не встретился с одним знакомым штурманским офицером с парохода «Хабаровск», кото-

рый меня, что называется, потащил к себе на судно позавтракать.

— Икру, икру, батюшка, привезли мне из Владивостока да осетринки. Сегодня полакомимся,—соблазнял он меня.

— Да разве их тут не водится?—спросил я.

— Какое!.. Тут все это дорогая роскошь.

И я позавтракал в приятной компании «хабаровцев», после чего тот же знакомый повез меня к себе на берег, на квартиру к своей семье, чтобы уже оттуда отправиться целой компанией на дженерикчах осматривать один из знаменитейших храмов Нагасаки.

Жил он в так называемой европейской части города, расположенной ближе к набережной и отличающейся большими зданиями и чистотой улиц, множеством самых разнообразных вывесок на английском языке, среди которых попадаются и русские, гласящие о гостиницах, или тех же трактирах, под названиями русских городов: Владивосток, Киев, Одесса и т. д.

Семью моего знакомого мы застали за обедом, и я вместе с сопровождавшим нас с парохода подшкипером пошел на балкон полюбоваться уличным движением.

Все дома крыты серой черепицей. Внешний вид города —серая масса домов. Ничто на этом фоне резко не выделяется ни оригинальностью архитектуры, ни грандиозностью, если не считать двух католических храмов, едва-едва различимых глазу.

Японцы-рабочие любят брюки в обтяжку, тогда как китайцы ходят в широких шароварах.

Преобладание среди рабочих поденщиков женского элемента. Признак большой процентности женщин в Японии.

---

31 января тоже снег. Но багульник в полном цвету, и распускаются розы без запаху.

Железнодорожная эпопея, рассказанная пассажиром. Операция Управления с местными купцами по части обмена и покупки товаров.

Мне приходилось неоднократно слышать хуление пароходных порядков на Добровольном флоте и даже приходилось о них читать не раз в газетах. Вот и теперь среди моих сотоварищей находятся лица, крайне недовольные распорядками нашего парохода, и они сожалеют, что не могут перейти на французское или американское судно, чтобы при сравнительно дешевой плате проехаться с бо́льшим покоем и удобствами и вос-

пользоваться посещением иностранными судами всех попутных портов.

Желание, конечно, весьма естественное, но что же выходит: эти господа являются прежде всего нарушителями в принципе тех порядков, которые предъявляют к ним известные требования приличия и благородства в самых ограниченных границах. Явившись не по праву, просто нахрапом, самым беззастенчивым образом, как хунхузы, как метко выразился мой приятель «кум королю», из третьего класса и недоплативши за это, они ведут себя до такой степени беззастенчиво, что удивляешься положительному отсутствию у этих людей не только такта, но самого элементарного представления о какой-либо застенчивости. Критикуя пароходные порядки, они забывают, что сами они и некто другие являются нарушителями этих порядков, что, врываясь так нагло и беззастенчиво не по праву в другое, лучшее помещение, они этим самым делают не только простой проступок, но преступление против чужой собственности, нарушая в то же время покой других. Ни просьбы, ни предупреждения старшего офицера ничего не помогают: он их просит водвориться в свое помещение, а они, как полноправные, нагло пользуются тем, что их не выводят за шиворот. Кроме того, не уважая личности другого, нарушают его покой самым пошлым разговором, который тянется до глубокой ночи, причем разговор этот ведется особым оранием или рычанием, каждое глупое слово вызывает у них взрыв не смеха, а дикого крика и восторга. Бравирование цинизмом своих похождений, раскрывание своих гнойных моральных ран на посмешище своих циничных слушателей, комментирующих в свою очередь его,—составляет характерную черту этого рода господ. Карты и выпивка дополняют еще более это милое времяпровождение. Мне кажется, что в этом кроется тот секрет, который никак не могут разгадать русские туристы на пароходах Добровольного флота. Отчего спутники доходят в споре дорогою до ненависти друг к другу? Но если к такому результату доходят сами они, то каково же тем, которые сразу уже понимают пошлость их разговоров и мизерность этих личностей?

Несмотря на то, что тот же Езаки известен лично всем почти высокопоставленным путешественникам и чуть ли не помнит экипаж знаменитого фрегата Паллады, он, выхоленный, крупный, благообразный и разговорчивый старичок, довольно развязный собеседник, ходит все в том же традиционном киримоне и на деревяшках и без штанов.

Иноса

Об Иносе во Владивостоке я наслышался как о сказочном уголке Нагасаки. Про эту загородную деревушку говорили столько чудесного, заманчивого [и даже писали наши туристы и моряки], что любопытство мое было возбуждено, конечно, до крайней степени, и естественно было мое страстное желание взглянуть на этот прелестный уголок Японии, который составлял предмет восторженных расказов русских моряков и русских туристов, ехавших сюда каждогодно по делам торговли или полечить свои поврежденные легкие нагасакским озонированным воздухом полутропического климата.*

. . . .

Иносинский берег не имеет и признака какой бы то ни было благоустроенности. О какой бы то ни было пристани не может быть и речи. Мы прямо ступили на скользкий каменный берег, который над нами возвышался крутым обрывом, поросшим зеленеющими деревьями померанцев и какими-то ползущими древесными растениями. Нам надлежало проходить по узкой возвышенной тропе из беспорядочно наваленных крупных камней, и каждую минуту нужно было опасаться, чтобы не споткнуться об них и не разбить вдребезги физиономию или не свалиться вовсе и переломить несколько ребер.

И неужели постоянно по этой опасной тропе проходят посетители Иносы?—спросил я.

— Всегда,—сказал наш вожатый.

— И обходится без членовредительства, особенно ночью и под сильным хмелем?

— Не совсем... Но в общем дальше трагикомичных случаев путешествия эти не простираются.

Каменная лестница, ведущая в село. Мостовая каменная. Молельня с детьми. Больница русская. Надписи на стенах японских домов ночных гуляк. Здесь почти все знают по-русски. Мальчики, обламывающие ветки цветущих апельсинных деревьев. Купленная ветка. Замкнутые трактиры. Кладбище. Памятники голландских толеров 43 года. Плиты каменные. Надписи. Русские могилы с крестами. Часовня с Георгием Победоносцем. Могилы японцев с четырехугольными надмогильными камнями с надписями. Перед ними в баночках цветущие ветки багульника — поверие в возрождение. Чистота на кладбищах — почитание усопших. Вид с кладбища на маленькую долину, где посеян рис и где красуется хижина. Публичный дом.

---

* Далее в рукописи отсутствуют страницы (Сост.).

Обратный путь с Иносы. Ярко-пунцовые розы, пышно цветущие и покрытые еще не растаявшим снегом. Отсутствие запаха в них, как вообще в японских цветах.

Характеристика нагасакской торговли и нищих

В характере всех городов Азии и всего неевропейского Востока различается одна общая черта, присущая всем,— это узкие улицы. Эта именно особенность характеризует и нагасакские улицы, которые имеют более или менее больший простор и большую чистоту в так называемой европейской части города. Сравнительная чистота и опрятность этих улиц может служить, конечно, любому нашего городу примером подражания. Такому состоянию улиц, конечно, немало способствует полиция, которая устроена здесь по системе английских колоний, где, как, например, в Сингапуре, вы найдете полисмена всюду на улицах, и при малейших недоразумениях он является как из-под земли. Только таким образом и при образцовой школе полисменов, относящихся с должным уважением, как мне казалось, к личности граждан, им можно создать тот образцовый порядок, который здесь царит и который внушает невольное уважение граждан к самим законам, нерушимость которых ограждается каждым из них.

Несмотря, однако, на эту узкость улиц, нет оснований опасаться каких бы то ни было уличных несчастий или беспорядков: давки, излишней крикливой суматохи, несмотря даже на то, что в общем густом уличном движении принимают участие не только женщины, но и дети самых маленьких возрастов, которые нередко тут же на улицах устраивают свои игры без всякого даже призора со стороны кого бы то ни было.

Причиной такого положения вещей является главным образом то, что по улицам не видно того беспорядочного бешеного движения, которым почти всегда характеризуются наши улицы с лихачами-извозчиками. Езды на лошади в японских городах совершенно не существует в экипажах, а верхом пришлось мне видеть в течение шестидневного пребывания в Нагасаках по счету три раза: однажды японца, выскочившего с какого-то проулка на рынок и немало изумившего игравших тут детей, другой раз трех китайцев, проехавших гуськом друг за другом по самой оживленной улице, и в третий раз японского кавалериста, по-видимому, гусара, в красном мундире и в синих широчайших штанах, что уже совершенно не вязалось с затянутыми кавалерийскими коланами. Хвост лошади был обрезан по образцу английских лошадей.

Кроме того, дженерикчи бегут с известной осторожностью.

Отсутствие крика разносчиков и развозчиков товаров. Нищие на улицах, их назойливость. Отсутствие таковых в Сингапуре. Открытая торговля и многочисленность лавок как следствие отсутствия пошлин и монополии. По тому же самому отсутствие крупных торговых фирм и магазинов. Цистерны. В торговле участвуют и жены, и дети. Безопасность от воров. Отсутствие городских ночных фонарей. Движение по улице горожан с фонарями. Сумрачный вид японцев.

Временами цепь оживленных открытых лавок вдруг обрывается какими-либо воротами, за которыми можно видеть маленький дворик, усыпанный галькой, где растут несколько пальм и тропических растений. Двери в дом постоянно закрыты, и весь дом выглядит каким-то мрачным домом заключения или, того лучше, склепом. От него, рядом с этой торговой кипучей жизнью, веет какой-то мертвечиной, могилой. Когда вы спросите у вашего дженерикчи, кому принадлежит дом этот, он вам сейчас же ответит, что здесь живет японский господин. Живет здесь какой-нибудь чиновник или другое официальное служащее лицо. Но что за мертвечина? С таким точно соответствующим выражением скуки, апатии или важности, какою дышит и внешность его обиталища, он появится и на улицу.

Сингапур

11 февраля 1897 года

Бирюзовые воды Китайского моря становились к Сингапуру все зеленее и зеленее, наконец, они приняли совершенно зеленый цвет.

На горизонте, окутанные голубою пеленою тумана, справа и слева показались горы островов, которые, чем ближе, тем обозначались рельефнее, и, наконец, стали видны очертания громадных тропических деревьев-пальм с развесистыми гигантскими веерами-листьями.

Воздух сделался нежнее, и стало свободнее дышать. К западу горизонт впереди стал темнеть от грозовых туч. На фоне их в бинокле уже можно было различить высокие столбы голубого дыма, поднимавшегося из труб фабрик. То была цель нашего путешествия — Сингапур. Наконец, показался высокий маяк на груде громадных камней, о которые с шумом разбивались

волны, и брызги их доходили, несмотря на сравнительно тихую погоду. Площади камней этих хватало настолько, чтобы поставить на ней фундамент маяка и сторожевого дома. Пустынен и уныл этот высокий маяк среди вечно шумящих бурунов! Зато он виден далеко и своим лучезарным оком огня несет навстречу мореплавателю ночью радость и спасение от предательских подводных камней, которые, едва приметные глазу днем, тянутся от маяка целою грядою к юго-западу, к едва виднеющемуся гористому островку. Наконец показался целый лес мачт судов, стоявших на рейде, и потом сразу скрылся за частыми каплями тропического дождя, который полил, как из ведра. Дождь здесь не такой утомительно медленный, долгий, как, например, в нашем приморском городе Владивостоке, где продолжительность слезливого неба доводит до положительного отчаяния обывателя и не только не производит благодатного влияния на самую природу, но подвергает хлеба, овощи гниению. Под этим крупным тропическим дождем можно было видеть, как два каких-то катера шли к нам вперегонки: то были лоцманы, предложившие капитану услуги провести судно в гавань, давая тем самым понять, что здесь проход на рейд не совершенно безопасен. Однако оба лоцмана ошиблись, так как капитан решился сам провести судно, на что, конечно, лоцманы, немало изумившись, развели руками, пожали плечами и ретировались обратно под тем же дождем. В данном случае престиж русского моряка был с достоинством поддержан. И не всегда же, в самом деле, быть постоянно во всем необходимом на помочах у иностранцев. Входить в иноземную гавань—брать их лоцмана, чтобы платить им бешеные деньги за какой-нибудь получас времени, тимбировка судна самого незначительного характера — иди в иностранный, хотя бы тот же японский—и плати опять те же бешеные деньги...

Дождь полил и сразу перестал, окропил природу живительной влагой, и довольно. Открылся рейд и такой громадный, что на нем могут маневрировать свободно все флотилии мира, и с этой стороны невозможна защита его на случай военных операций ни минными заграждениями, ни крейсерством миноносок. Зато теперь, в мирное время, сотни судов разных стран и наций стоят на приволье и не стеснены ничем. И, судя по низменности берегов с севера, где расположен самый город, по открытому совершенно пространству вод на восток и к югу, здесь, на этом пространном рейде, не бывает волнений: здесь нет сильных ветров, которые при всех благоприятных от ветров береговых условиях на владивостокском рейде срывают суда-броненосцы с якорей и выбрасывают их на отмели берега. Здесь нет этого,

по-видимому, иначе при более или менее значительном ветре стоянка судов была бы положительно невозможна.

Мы бросили якорь вблизи какого-то английского судна, команда которого, когда мы проходили мимо него, почему-то аплодировала нам и кричала громко «браво!» Причину такого приветствия можно было единственно объяснить только тем, что, по-видимому, прозорливые сыны Альбиона признали в нашем громадном трехтрубном судне, как оказалось, больше всех судов на рейде, произведение родной верфи Лондонской, что, конечно, льстило их национальному самолюбию. Бросили якорь в 6 часов вечера. При наступавших сумерках город был с рейда едва приметен, но неоглядная масса судов, рассыпанных по рейду, была видна ясно и довольно красноречиво говорила о кипучей торговле Сингапура и об его международном значении на юге Азии, вблизи со всеми тропическими странами мира, где жизнь кипит особым оригинальным способом...

С наступлением ночи вся эта масса судов заблистала тысячами огней. В город я решил ехать утром следующего дня. К 10 часам утра уже был готов свой паровой катер, поджидая желающих отправиться в город. Он рейсировал затем в течение дня между пристанью и судном, отвозя и привозя своих пассажиров. Я отправился в числе любопытных взглянуть, наконец, на город, о котором я наслышался много чудесного и в то же время неясного от людей, прежде меня побывавших тут.

И вот наш катер тихо пристал к пристани. Вылезая из катера, первый внимательный взгляд мой был обращен к одному господину в белом английском шлеме с подстриженной а 'la Boulange седенькой бородкой, который, колыхаясь на лодке, старательно что-то заносил в свою записную книжку и, взглянув на нас мимолетным пытливым взглядом, снова углубился в свое занятие.

— Это, вероятно, путешественник,—решил я, выходя под навес широкой и длинной пристани, глубоко врезавшейся в воды рейда.

Нас было четыре компаньона, и мы решили прежде всего взглянуть на ботанический сад, и предстояло решить вопрос, каким образом: на дженерикчах или же в наемной четырехместной карете? Как те, так и другие стояли тут же, у пристани, массой. Тип экипажей дженерикчей точно такой же, как и в Японии, с тою только разницей, что в Нагасаках, например, дженерикчи более легонькие и одноместные, тогда как в Сингапуре они двухместные и возятся исключительно полуголыми китайцами. Возчики, как и в Японии, отличаются крайнею назойливостью и неимоверным запрашиванием провозной платы,

невзирая на установленную таксу. Такую назойливость они высказывают особенно к европейцам. Каретниками являются здесь почти исключительно малайцы. Кареты легонькие, подвижные, почти совершенно открытые с боков для свободного тока воздуха и запряжены маленькими, но красивыми лошадками местной породы в одну лошадь. В редких случаях попадают возницы-англичане, кареты которых, запряженные парой дышловых крупных английских лошадей и больше, с высоким сидением. Возница сам одет в ливрею и с высокой шляпой, обшитой галунами, и с английским бичом, тогда как малайцы одеты все в свои пестрые национальные костюмы и сидят на низких сидениях.

Но так как мы в Нагасаках ездили уже на дженерикчах, а карет таких биржевых вовсе нам не приходилось даже видеть, то и порешили нанять карету за два доллара на целые сутки с тем, однако, чтобы количество верст, проезженных на нем, не превышало пятнадцати. Тем не менее, в конце концов оказалось, что мы проездили на нем около шести верст и все-таки должны были уплатить установленную плату.

Но так как лошадка в нанятой карете оказалась слишком малорослой и, как мне показалось, к тому же запаленною, то я и высказал некоторый протест против найма этой кареты, уверяя своих сотоварищей, что она нас не только не свезет до ботанического сада, отстоящего от города около двух с половиной верст, но положительно не сдвинет нас с места. Но товарищи оказались менее сердобольными и почти силою водворили меня в карету, и все уселись. Возница вскочил на свое место, резко хлопнул своим бичом, и маленькая невзрачная лошаденка преобразилась. Она разом двинула карету, которая глухо зарокотала по гладкой, как стол, мостовой, и понесла нас по оживленным улицам Сингапура к ботаническому саду. Я никогда не видел ничего подобного по своей оригинальной пестроте среди дивной декорации роскошной тропической растительности,— конечно, моему восторженному созерцанию не было пределов.

Громадные дома своеобразной архитектуры на себя обращали не столько любопытного внимания, как это движение разнообразного народа. Полуголые дженерикчи-китайцы плавно, как на пружинах, рысили с своими двухместными экипажами, бесшумно лавируя между встречными каретами и пешеходами. Временами мелькали кареты и более солидной величины, запряженные более рослыми лошадьми английской породы, в которых сидели англичанки или разряженные англичане в своих

шлемах и в белых пиджаках, наглухо застегнутых. Мелькали полуголые индийцы с бронзовым отливом сухопарого, но стройного тела. Временами ярко-малиновый цвет их головного убора-чалмы, красиво перевязанной, или высокой фески без кисти— придавали еще большую пестроту всей этой феерической картине, обставленной всюду пышной декорацией тропических растений в таких разнообразнейших формах и видах, что наши познания в ботанике были бессильны определить их названия.

Вот какая-то зеленеющая площадка с какою-то колонною, не то памятником, напротив нее красуется громадная надпись на белом длиннейшем здании, фронтоны которого выступают вперед в нескольких местах с тою же надписью «Hótel de l' Furope». Перед этим отелем тянется такая же зеленеющая лужайка, окаймленная какими-то тропическими деревьями. Далее протянулась улица, справа и слева торговля. Тут китайцы и индусы. Преимущественно китайцы. Они господствуют и в неевропейских частях города. Индусы или малайцы слабее их и реже проявляют свою деятельность в торговле. Кроме того, почти вовсе отсутствует самостоятельность индусов, их корпоративный характер, как это замечается у китайцев, которые всегда и везде держатся скученных обществ и стараются быть ближе друг к другу. Не то индусы. Они рассеяны между китайцами и обнаруживают далеко не ту способность к торговле, как китайцы. Все полисмены — индусы. Громадного роста, в громадных серых чалмах, в куртках желтоватого цвета и в таких же шароварах, плотно охватывающих их икры, и в башмаках, они очень красивы и статны, а их закрученные черные бороды, концы которых забраны за уши, придают им еще большую оригинальность. Они всюду и везде мелькают с своими болтающимися на поясе тесаками, на всех перекрестках можно видеть их фигуры, зорко следящие за происходящим вокруг их.

Вот потянулись фруктовые ряды. Бананы в зеленом виде висят целыми ветками, и в каждой ветке фунтов по 20 — 30 и более.

Коломбо

Если рейд Сингапурский стоит почти в открытом океане, ничем не защищенный с востока и юга, и только на западе он закрыт узким проходом между каким-то островом и материком, причем с обеих сторон зияют жерла осадных орудий,—то рейд в Коломбо находится на совершенно открытом месте и не имеет решительно никаких природных закрытий. Еще незаконченный мол ограждает скучившиеся здесь суда от океанской зыби,

которая, ударяясь о мол, брызжет вертикально на значительную высоту. Мол в окончательном виде, по словам лоцмана-англичанина, вводившего наше судно в узкий проход рейда, где приходилось ему лавировать между массой разнообразнейших судов, будет стоить до пятидесяти миллионов долларов, глубина воды в районе мола — от 30 до 40 футов.

Город с моря не производит буквально никакого эффекта, а виднеющиеся на первом плане дома вдоль совершенно низменного берега производят впечатление наших казарм по своей архитектуре, по белой окраске стен и красным крышам. Это те дома, которые видны на первых порах, там дальше город тонет в роскошном безыскусственном саду, лесе бананов и пальм; кое-где возвышаются из гущи зелени высокие шпицы католических и протестантских храмов с своей характерной архитектурой или купола мусульманских мечетей. Больше ничего нельзя разглядеть сквозь эту непроницаемую гущину тропической зелени, но инстинктивно чувствуется, что там, под сенью этой зелени, кипит оригинальная жизнь чудного города, который индийская фантазия облекла в ореол какой-то таинственности и святости. Там красоты той природы, которую обессмертила поэзия Магабгараты в своем «Наль и Дамаянти» и на лоне которой проповедовал величайший философ и законодатель мира Будда, с именем которого связана история Цейлона, этого земного рая, куда стремятся все туристы мира, чтобы взглянуть на феерическую, сказочную природу, подышать чудным воздухом и взглянуть на интересный народ.

Берега Цейлона близ Коломбо с моря не из живописных: они замечательно отлоги, но зато ближе к городу тропическая растительность делается богаче и гуще. Наконец, этот густой лес пальм, бананов, бамбука, хлебного дерева покрывает весь отлогий берег.

В глуби острова взор может разглядеть за сизым легким туманом силуэт высокой горы — это та гора близ священного города Кенди, куда поклонники Будды совершают временами свое паломничество, куда восходил великий философ-законодатель. К сожалению, за коротким пребыванием в Коломбо мне не удалось побывать там, хотя Кенди отстоит от Коломбо на четырехчасовой езде по железной дороге.

Близ мола нас встретили английские лоцманы, один из которых был взят и ввел нас в узкий проход мола. Другой его сотоварищ оказался словоохотлив и сообщил нам последние политические новости о том, что происходила бомбардировка Кри-

та русскими, французскими и немецкими судами вследствие того, что инсургенты напали на их консульства, что после короткой бомбардировки города греческий флаг был опущен. Поведал нам, что мол еще не окончен своей постройкой, что он охватит собой значительно больший район и что стоить будет в окончательном виде что-то около 50 миллионов рупий.

Поездку на берег я отложил до утра, так как якорь был брошен тогда, когда огни были зажжены и видная небольшая часть города исчезла во мгле южной ночи. Наутро наш пароход окружила масса туземных индийских шлюпок и лодок, предлагавших услуги перевезти на берег. Шлюпки эти не имеют ничего общего со шлюпками, виденными до сих пор в других портах. Да их и этим именем нельзя назвать, а скорее какими-то долбянками самого оригинального свойства. Представьте себе насквозь выдолбленную четырехгранную лесину высотою приблизительно в аршин, а шириною около $^3/_4$. Длина этой лесины около трех сажен. Заостренная по концам лесина эта закрепляется к нижней своей части, состоящей из круглого кусочка бревна, тоже выдолбленного в виде корыта и составляющего продолжение первого и нижнее основание этой оригинальной шлюпки. Таким образом устроенная шлюпка может вмещать двух седоков при двух гребцах-кули, причем сидение настолько узко, что нельзя сидеть рядом, а визави могут вмещаться только ноги; гребцы размещаются один на носу, другой на корме, и каждый вооружен одним веслом, причем один из них играет роль и рулевого. Но в таком состоянии шлюпка вследствие своей узкости и сравнительно высокому поставу центра тяжести может очень легко кувырнуться, и поэтому, чтобы этого не случилось, от сидений идут две палки, прикрепленные веревкой, в одну сторону имеющую небольшой загиб вниз, и к концу их привязывается лодкообразная круглая деревяшка с заостренными концами, напоминающая по форме нижнюю часть шлюпки, но значительно меньше по величине. С этим придатком, плывущим нераздельно с выдолбленною главною частью, шлюпка приобретает такую устойчивость, что на ней рыболовы-индийцы пускаются под парусами в открытый океан, не опасаясь ураганов. Как мне рассказывали, это тип пиратских лодок, которые настолько быстроходны, что при благоприятных условиях пираты легко обгоняли паровые суда, которые они намечали как добычу. Но при всех этих положительных качествах их как-то странно и дико смотреть, что этот первобытный тип еще колыхается на волнах рядом с паровыми катерами и более удобными гребными лодками.

Неудобства этой шлюпки по внешнему виду показались мне

столь непривлекательными, что я даже не соблазнился оригинальными ощущениями туриста и не поехал на ней на пристань, а взял лодку европейского типа и на ней высадился на пристань Коломбо.

На пристани первыми меня встретили два индийца (менялы) с предложением на ломаном русском языке своих услуг в качестве проводников, причем один из них мне сунул чью-то карточку, на которой какой-то русский рекомендовал владетеля этой карточки как добросовестного и знающего проводника. Я уговорил его сопровождать меня до 12 часов за две рупии. Прежде всего я направился с ним на почту сдать письма.

На первых порах я не был охвачен городским шумом и гамом движущегося народа, назойливыми предложениями дженерикчей и возниц, как в Сингапуре, где пристань выходит на самую оживленную часть города, где возвышаются самые большие капитальные постройки крупных торговых фирм и правительственных учреждений. Здесь, сделав несколько шагов по гладкой, усыпанной кирпично-красного цвета песком дороге, мы тоже очутились на площади перед губернаторским домом, громадный и красивый корпус которого кокетливо выглядывал из-за гигантских пальм и других каких-то дерев, усыпанных красными и желтыми цветами, напоявших воздух нежным ароматом. Напротив через улицу тянулись громадные белые каменные здания, и в этом-то ряду был почтамт. Почтамт здесь лучше, обширнее, грандиознее, чем в Сингапуре. Высокие потолки, открытость с улицы, обилие чистого воздуха, обилие света и ни признака какого бы то ни было зловония. Я тотчас же отдал свое письмо и отправился смотреть город. По выходе на улицу тут как из-под земли вдруг окружили меня нищие. Но что это за уроды!

Нищие в Коломбо. Уродство их. Отсутствие их в Сингапуре. И это перед губернаторским домом. Полиция не отгоняет их. Нищенство, попрошайничество в обычае вообще у индусов, как и у наших цыган. Нищенство во имя католичества, как во Владивостоке во имя православия у корейцев. Предложение букетов, цветов, пахучих листьев и кореньев. Зазывание продавцов на базаре во имя того же католичества.

Наняв открытую колясочку за полрупии в час, я поехал осматривать город в течение того короткого срока, который мы

там находились. Характер внешней жизни города несколько иной, чем в Сингапуре уже потому, что здесь совершенно отсутствует китайский элемент, который везде и всюду вносит свою оригинальную физиономию, присущую этой народности. Скучиваясь всегда и производя торговлю всегда компаниями, китайцы в Сингапуре занимают целые торговые ряды и кварталы. Но к тому же распределение как частных домов, так и торговых, тут несколько иное, чем в Сингапуре. Там они по возможности скучиваются и распределены непрерывными рядами, образуя сплошные, очень часто узкие улицы наподобие нагасакских, причем и самые дома по внешнему их типу значительно напоминают нагасакские: все почти двухэтажные, причем внизу происходит торговля. Выкрашены преимущественно в голубой цвет, а решетчатые ставни в зеленый. Здесь дома двухэтажные, кроме казенных присутственных мест и отелей, встречаются весьма редко, и, кроме того, распределение не только частных домов, но и торговых идет маленькими группами, а чаще всего отдельными домами, окруженными со всех сторон теми же развесистыми пальмами и другими разнообразнейшими деревьями, покрытыми то кровяно-красными цветами, то ярко-желтыми, то голубыми при самых разнообразных листьях и формах.

Величина домов англичан при этом приспособлена так, чтобы они не выходили за высоту дерев, дающих тень и прохладу,— поэтому естественный характер построек в один этаж. Такие домишки живописно ютятся под сенью цветущих и ароматных дерев в безыскусственном общем саду, не распланированном по строгой системе культурного садовника, но не имеющего ничего себе подобного по роскоши своей, пестроте и богатству растительности, дающей и сень, и аромат его владельцу. Растительность эта так изолирует частные дома, что они представляют собой совершенно обособленный мир, куда не доходит ни шум города, ни жаркие лучи южного солнца. Это какие-то идеальные дачи, где владелец находит себе желанный покой и мир. Да и откуда взяться этому шуму,когда рессорные одиночные экипажи катятся бесшумно по гладким кирпично-красного цвета улицам, не раздаются отвратительные выкрики разносчиков или пьяного люда. Тут везде и всюду увидишь полисмена, —везде и всюду тот же порядок, как и в Сингапуре.

Имея низменный характер, покрытая обильно растительностью, местность, на которой расположен город, в первоначальное время имела болотистый характер, и можно было поселиться здесь только при предприимчивости англичан, тем более, что место не представляет собою решительно живописного,

и береговая линия не имеет и признака природной бухты. А между тем на этой местности основался такой чудный город, как Коломбо. Местность высушена, причем не прибегали к вандальской порубке дерев — этих хранителей влаги, а дренировали почву путем канализации и рытьем резервуаров для излишка воды, отчего теперь среди города можно видеть громадные пруды, в которые стекает излишняя вода и которые в то же время служат источником влаги, так необходимой здесь. Эти пруды, окаймленные тою же богатою растительностью, всегда оживлены: по ним шныряют во все стороны и лодки, и маленькие паровые катера — катаются или переправляются на другой берег, временами в них полощутся чернотелые дети индусов, не оскорбляя ничьего чувства приличия и порядка. В общем, тут администрация города избегает совершенно скученности населения, что значительно ухудшало бы качество воздуха.

Водоснабжение города, как в Нагасаки и Сингапуре, из фонтанов, проведенных из главного водопровода. Каждый нуждающийся в свежей воде может нацедить таковую из фонтанов, стоящих в виде чугунных тумб на всех перекрестках улиц.

Нищенство. В Коломбо оно проявилось в большей форме, чем, например, в Нагасаках. Здесь, как и там, ваш экипаж — едете ли вы на дженерикче или в экипаже — или идете пешком, вас нагоняют справа малолетние дети и жадно выпрашивают у вас монету. При этом нагасакские нищие оказываются все профессиональные, которые выпрашивают в силу необходимости и не преследуются полицией, как и в Коломбо, но в Коломбо нищенство имеет несколько иной характер. Тут просят, преследуя ваш экипаж, просто из привычки, из любви к искусству клянчить. В числе этих просителей попадаются вовсе не нищие какие-нибудь, изможденные нуждой, а здоровые, жизнерадостные. Эти попрошайки появляются отовсюду, выскакивают из воды совершенно голые, если они по лицу заметили, что вы иностранец, и преследуют вас с удивительной назойливостью. Однажды при подобном случае мой спутник не мог выдержать и восторженно воскликнул:

— Смотрите, что за красавец!

И действительно, за нами бежал юноша лет 17, совершенно голый, замечательно красивый. Он выпрашивал, улыбаясь, будто процесс этот совершал [как] по долгу, а не по нужде. Вообще попрошайничество здесь имеет тот характер, который имеет везде, всюду, где есть цыгане, которые суть ближайшие отпрыски тех же индийцев со всеми их народными характерными особенностями.

Мнение Елисеева относительно преданности белому царю от Египта до Индии. Насколько вероятно это мнение. Молитва за белого царя паломников-хаджей на итальянском пароходе по Красному морю.

К сингапурским впечатлениям

Страсть к ярким цветам, по-видимому, в этих тропиках доходит до того, что даже китайцы, эти враги всего яркого, пестрого (они преимущественно надевают черные и темно-синие цвета), заплетают в свои косы ярко-красные нитки, как украшение и продолжение кос, которые в этом последнем случае достигают чуть ли не [до] самой земли.

Та типичная особенность, которая за границей сразу бросается в глаза и по которой узнают нас по первому же взгляду, еще не определена нашими туристами. Не говоря уже о своеобразном покрое платья, русский человек, если он придаст себе самый утонченный вид изысканного джентльмена и наденет все, начиная от шлема до белых парусиновых башмаков, возьмет в зубы самую лучшую и здоровенную сигару, в английском городе его узнают с одного беглого взгляда и спросят с полуулыбкой, русский ли он? Значит, мы носим на себе какую-нибудь национальную печать, но какую именно?..

Являюсь я на почту. Полисмен-индус вскинул на меня вопросительный взгляд и спросил:

— Russe?— Я утвердительно кивнул головой.

— Mark?—Я повторил тот же жест. Он взял из рук моих письмо, протолкнулся через густую толпу манз и малайцев, сгустившуюся у стойки, отделявшей публику от присутствия, где мелькали и китайские и индусские лица, и бросил письмо на весы, потом взял доллар и, подавая его китайцу, продававшему марки, потребовал от него одну марку, которую тот немедля и выдал, передав ему же сдачи новенькими блестящими серебряными пятицентовыми монетами. Полисмен всыпал их мне в руки, а письмо с наклеенной маркой вручил мне. Потом подвел к ящику, где опускают простую корреспонденцию, и приоткрыл его. Я опустил письмо. Все это было делом пяти-десяти минут в городе, где незнаком язык.

А у нас?—сейчас же задал я себе вопрос, выходя из почтамта на улицу, кипевшую пестрой толпой разных племен, как в волшебной феерии.

Или еще. Два каких-то полуголых туземца, малаец и кита-

ец, о чем-то начинают спорить, горячо жестикулируя. Около них начинает образовываться кружок любопытных, который растет с неимоверною быстротою, как это бывает в больших многолюдных городах, а в восточных в особенности. Как из-под земли появляется спокойная фигура полисмена, и, внимательно выслушав «сущность дела», он спокойно же объясняет им что-то, и спорщики примирены, и толпа расходится. И тут, в этом многолюдном городе, где учащенно повторяются неизбежно случаи, когда полисменам приходится входить в свою роль вершителей уличных «недоразумений», вы не увидите никогда, как и в Японии, чтобы кто-нибудь кого-нибудь тащил в кутузку силой, а тем паче волок бы по земле за ноги или косу, как собаку за хвост, избивая несчастную жертву и руками, и ногами, как это часто случалось мне видеть во Владивостоке.

Мне кажется, такая сцена вызвала бы неудержимое негодование не только просвещенных англичан, но и диких малайцев. Но общая машина порядка настолько идет регулярно, столь хорошо поставлена, что немыслимы подобные дикие сцены самоуправства. При таких именно порядках и вызывается уважение к ним, а не затаенное озлобление, которое зачастую может переходить в бессильную, открытую злобу.

Продуктовый базар
(овощной ряд)

Он выстроен на берегу бухты под громадным куполообразным сводом, который поддерживается железными столбами. Посередине красуется фонтан с фигурою женщины на высоком пьедестале и с дельфинами, изрыгающими из пасти воду. Тут, под этим громадным круглым сводом, открытым со всех сторон для тока воздуха, на бетонном полу расположены деревянные лавки овощного ряда торговцев-манз. Рыба расставлена на наклонных мраморных лавках, которые временами поливаются водою, которая, стекая отсюда, идет по желобам*...

. . . .

Однако наступают сумерки, и бешеное движение значительно утихает и уже продолжается деловое шатание торгового лю-

---

* Далее в рукописи пропуск (сост.).

да. Индийцы здесь задавлены массой китайцев, которые являются здесь почти господами торгового мира. Их почти не видно в магазинах, да и то теряются в массе китайцев, не составляя особенной группы, обособленной от других. Чаще всего их можно видеть в качестве менял.

Общее впечатление, производимое индийцами по внешности,— это кроткое, добродушное выражение.

Французская пароходная компания «Messagerie Maritime» совершает рейсы из Японии в Америку, Австралию, береговые порты Европы, по всей Африке, включая колонии Франции, и по всему востоку Азии.





СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ




ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ У СЕВЕРНЫХ ОСЕТИН

Положение осетинской женщины, как женщины вообще у кавказских горцев, далеко не завидное. В домашнем быту ей выпадает самая трудная роль, роль рабыни, обязанной выполнять всю домашнюю работу. По-видимому, она создана только для труда и беспрекословного повиновения своему мужу, который весьма часто обращается с ней деспотически, что естественно, в особенности при том неприхотливом образе жизни, который ведут осетины.

Еще чуть ли не ребенком осетинка привыкает к труду, делаясь в домашних работах ближайшей помощницей своей матери-труженицы; смотря на нее, она с детства выносит то убеждение, что долг ее как женщины,— долг безмолвной работницы.

Будучи сама почти ребенком, она ухаживает за сестрами и братьями, укачивает их в люльке и детским голоском напевает убаюкивающие песни. Во время уборки сена, кукурузы или в других полевых работах она следует всегда за своею матерью. На своих детских плечах она носит в кувшинах и деревянных ведрах воду с речки; во время возвращения стада с поля она загоняет домой коров и быков... И что за это получает в награду? Ничего, и даже больше, чем ничего,—презрение. Ее не позаботятся одеть-обуть и даже накормить. Еле прикрытая старыми лохмотьями и почти босая, она бегает за матерью на мельницу во время осенних и зимних холодов и возвращается назад голодная и холодная; а если захочет погреть свои озябшие детские члены у очага, около которого собралась вся семья, ее часто с презрением отталкивают братья, даже если они и моложе нее: все в семье пользуются бо́льшими правами, чем она, и потому ей, как младшему и бесправному члену семейства, остается только издали протягивать свои озябшие ручонки. В такой суровой школе, без ласк родных, она, [оставленная] совершенно на произвол судьбы, растет до 11-12-летнего возраста. С этой поры родители уже за ней присматривают: ее заставляют шить и кроить, выполнять более трудные домашние работы — словом, на нее уже смотрят как на девушку, которая

не нынче-завтра выйдет замуж. Ее уже не выпускают в рубищах и заплатках, потому что она входит в такой возраст, когда на нее уже обращают внимание со стороны, и потому, что она уже участвует со своими подругами в общественных свадебных увеселениях. Ввиду таких обстоятельств родители стараются одевать свою дочь поприличнее.

Характер девушки с этого возраста резко переменяется: прежняя детская развязность вдруг пропадает, и она делается тихою, смирною, на лице ее появляется солидность двадцатилетней девушки. Она уже подчиняется с этих пор известным инструкциям матери — как себя вести в том или другом случае, и горе дочери, если она отступит от мудрых наставлений матери, которые носят такой характер: попусту не смейся и вообще соблюдай величайшую скромность, в особенности в присутствии молодых парней, которым не смотри прямо в глаза и т. п.

Имея в виду воспитать из своей дочери хорошую невесту, родители прилагают особенное усилие, чтобы приучить ее к рукоделию и домашним работам. С пятнадцатилетнего возраста, и даже раньше, она принимает на себя почти весь домашний труд, который выпадал доселе на долю матери. Девушка этого возраста большую часть времени проводит в сидячем положении за шитьем. Она шьет не только на своего отца, мать, братьев и сестер, но даже на людей совершенно посторонних. От работы, которую они ей предлагают, как бы ее ни было трудно выполнить, она не должна отказываться: «Делают, мол, ей честь, чтят ее работу»,— говорят люди.

Почти всю пору молодости осетинская девушка проводит в таком сидячем, почти неподвижном положении, и этот образ жизни накладывает заметную печать на ее физическое состояние: она делается хилою, малокровною и слабою. Этим в особенности отличаются девушки-узденки (девушки высшего класса), так как эти последние почти исключительно занимаются шитьем, считая отчасти и до сих пор позором для себя заниматься черною работою. Говорю «отчасти», потому что к чести осетина нужно сказать, что с некоторых пор, особенно со времени отобрания холопского сословия, сословные предрассудки у осетин начали постепенно исчезать, так что и уздени стали сознавать вполне целесообразность и полезность так называемого черного труда, который был в оно время достоянием лишь крепостного сословия, на плечи которого они возлагали весь труд пропитания своего семейства. Но времена другие, и взгляды другие — отняли крестьян, и высшее сословие должно было приняться за работу.

Кстати будет сказать здесь о сословном подразделении осе-

тинского народа, каковое хотя не имеет прежней силы, но тем не менее, все еще существует в устах народа.

Осетинцы между собою разделяются на три сословия, из которых на первом плане стоят так называемые уздени, составляющие привилегированный класс осетинского народа. Уздени пользовались и теперь отчасти пользуются по старой памяти особым уважением между двумя остальными сословиями — фæрссаглæг 'ами и кæвдæсард 'ами. «Фæрссаглæг 'и» в буквальном переводе с осетинского языка значит: «побочные», придаточные люди.Сословие это образовалось из тех людей, которые селились по добровольному желанию около могущественных тогда узденей в надежде пользоваться при случае их покровительством. Последнее сословие составляют кæвдæсард 'ы (холопы), что значит в переводе «найденные в яслях».

Я уже сказал, что с этим сословным подразделением имеет тесную связь образ жизни осетинской девушки. Узденка почти исключительно занята вышиванием и шитьем под бдительным надзором своей матери, которая нередко при неисполнении дочерью с надлежащим старанием заданной работы обращается с нею довольно жестоко, бьет ее. Девушке-узденке редко-редко когда удается вырваться на свободу, как из тюрьмы, из своего *уат'а* (женского отделения), и то тогда только, когда в ауле случится свадьба или родины. И на эти увеселения она отправляется не иначе, как с разрешения матери, которая шепчет ей перед уходом: «Держи себя чинно, как подобает добронравной девушке; не позволяй себе никаких нескромных выходок перед парнями, и боже тебя упаси от неуместного хихиканья и взглядов». Дочь молча, с потупленным в землю взором внимает наставлениям матери и обещает вести себя согласно ее инструкциям. «А не будешь вести себя как следует, не пущу в другой раз и запру тебя, чтобы не видать тебе вовек своих подруг». Подобную угрозу мать нередко приводит в исполнение, если только заподозрит дочь в каких-либо нескромных выходках. И во избежание таких печальных последствий дочь старается пунктуально придерживаться материнских инструкций. Молча и чинно стоит она между своими подругами и никаких фраз и слов не произносит громко в присутствии молодежи и только перешептывается изредка с своими подругами, избегая взглядывать на молодых парней, которые между тем жадно рассматривают девушек и отпускают на их счет остроты, часто очень вульгарного свойства. «Эх, вы, паршивые козы!— кричит какой-нибудь смелый парень,— что вы там застоялись и не хотите танцовать?»— и бесцеремонно подходит к какой-нибудь и тащит ее за руку в круг. Она стыдливо потупляет взоры в землю и закрывает рас-

красневшееся лицо длинными рукавами. Подруги пересмеиваются, а парни гогочут.

Замужняя женщина никогда не принимает участия в общем веселии. Ее песенка уже отпета, как только она вышла замуж, и общественное мнение карает тех замужних женщин, которые позволили себе выйти на такие увеселения. Ей остается только украдкой от взоров мужчин смотреть безучастно на общее веселье из-за плетня или из щели сакли, но отнюдь не принимать в нем участие.

И девушки вполне предвидят такую печальную свою будущность, и потому в девичестве они по возможности стараются не упускать удобного случая побывать на увеселениях. Они знают, что с выходом замуж — прощай танцы, веселие, подруги — все! По возвращении домой после таких увеселений девушка опять садится за обычную работу: шить или убирать домашнюю посуду.

Положение девушки у фæрссаглæг'ов и кæвдæсард'ов гораздо сноснее, чем положение девушки-узденки, упомянутой выше. Кæвдæсард'ки не ведут такого сидячего образа жизни, как узденки, поэтому вследствие более деятельной жизни их физическое сложение гораздо крепче, чем у узденок. Вопреки неприхотливому образу жизни, который ведут осетинские девушки, они подчас обладают удивительной красотой черт лица, а их бледность, составляющая приметную черту лица, особенно у девушек высшего разряда, придает особую прелесть их лицам с черными глазами, окаймленными такими же черными бровями, с высоким открытым лбом и длинными, черными, как воронье крыло, пейсиками, падающими роскошными волнами на плечи и на грудь чуть ли не до самого пояса. Пейсики до настоящего времени считались самым лучшим и незаменимым украшением женщины, но в последнее время потребность в них стала меньше, и, должно полагать, они скоро выйдут из моды, так же, как длинные *дзыккубос'ы,* т. е. длинные жгуты, которые заплетались на косы и ниспадали по спине до самых пяток...

Красоту свою девушки не теряют до самого замужества, и по выходе замуж года два эта красота усиливается, цвет лица делается более здоровым, и вообще она перерождается физически, какова бы ни была жизнь у мужа. От чего это зависит, не могу объяснить. Но зато же после этого красота и свежесть ее быстро увядают, и она вся стареет.

Осетинская девушка ест удивительно мало, да и аппетита у нее не может быть особенно вследствие вышеописанного сидячего образа жизни. Ест она после всех членов семьи и меньше всех, и она не будет жаловаться, если ей не дадут вовсе ничего.

Я уже упоминал о том, что во время общественных игр, где только сходятся вместе и где парням есть возможность глядеть на них, девушки ведут себя чересчур скромно и изолированно от мужской молодежи. По общественному мнению, один подозрительный взгляд девушки на молодого парня может накликать на нее кучу сплетен, и тогда горе ей, и вот во избежание подобных сплетен девушки держат себя особняком, сторонятся парней, не глядят им прямо в глаза и, таким образом, представляют совершенно другой лагерь. Вследствие этих обстоятельств девушки делаются скрытными в высшей степени, что составляет одну из характернейших черт не только осетинской, но и вообще горской девушки. Доходит до того, что девушка даже с родным братом никогда не поговорит откровенно. Впрочем, если понять отношение братьев к сестрам, то этих последних нельзя винить за скрытность, ибо братья сами виноваты в этом. Нет ничего братского в их отношениях в том смысле, как это понимается даже у русского простолюдина. Никогда брат ласково не поговорит с своей сестрой, никогда не позволит себе с ней пошутить, считая это унизительным для себя да и вообще недостойным мужчины. Он рассуждает в этом случае так: «Что за манера шутить с сестрою взрослому брату! Это не подобает мужчине».

Вследствие упомянутых изолированных отношений между девицами и молодыми парнями, происходящих от мелочных предрассудков, молодой человек, желающий жениться, не имеет возможности познакомиться с будущей своей женой, подругой жизни, с которой впрочем и в продолжение всего своего земного существования он не поговорит никогда открыто перед другими.

Девушка иногда до момента объявления ей родителями, кого избрали в женихи, не знает о нем ничего, но она уже не имеет права отказываться выходить за того, за кого ее хотят выдать родители. Впрочем, здесь делаю оговорку, что между христианами выбор жениха касается и самой невесты, хотя и не исключительно по ее личному желанию, кроме того, некоторые родители-магометане спрашивают своих дочерей о их желании, но таковые родители редки.

Да и говоря откровенно, девушка не имеет возможности оценить того жениха, которого ей избрали ее родители, ведь это не то, что у русских, у которых невеста знакомится с женихом со дня помолвки,— осетинка со дня помолвки — напротив—даже избегает жениха. В решении ее судьбы главная и исключительная роль принадлежит ее отцу, его слово в этом случае имеет решающий вес. Против его слова слово жены — пустой

звук, не имеющий ровно никакого значения. Дело жены «работать, няньчить» и мало есть. А если случается, что муж спрашивает свою жену, то не для того, чтобы изменить свое решение, а так, для формы, чтобы и ей угодить хоть немного.

Жених, выбирая невесту, прежде всего заботится о ее внешности, потом собирает сведения о ней у соседей — старух или стариков, знающих ее. Если слухи эти удовлетворяют его вкусу, а это бывает чаще из страсти старух женить какого-нибудь молодого человека, то он сообщает о своем намерении жениться на такой-то своим родителям. Они, с своей стороны, не сразу дают согласие, они тоже собирают сведения о невесте: какова она как работница, как швея и т. д. Весьма часто случается, что жениху ни разу не приходится перемолвиться с ней ни одним словом, и потому, руководствуясь при выборе невесты одною привлекательной внешностью и слухами от старух, он впадает часто в ошибку — берет себе жену с характером, диаметрально противоположным своему, что при домашних дрязгах часто отравляет жизнь обеих сторон, и, конечно, здесь более страдательным лицом является все ж таки, *она,* так как *он* физически стоит несравненно выше, и поэтому она терпит побои от него за возражения ему.

Когда родители жениха согласятся женить сына на избранной им девушке, они посылают к ее родителям свата, который, поговорив с ними, в знак обоюдного согласия, в знак будущего калыма* и родства оставляет пистолет, кинжал, ружье или, наконец, несколько денег.

Со дня помолвки девушка уже готовится к тому роковому дню, когда неизвестный ей жених выплатит калым ее родителям и проводят ее из родительского дома под звуки выстрелов и песни подруг в саклю совершенно неведомую, в саклю, где, может быть, ее ожидают не ласка и спокойная жизнь, а только труд без конца, горе без границ и ежедневные побои мужа.

Бывают минуты, когда молодая девушка задумается о неиз-

---

* Калым — плата за жену, доходящая от 200 до 600 и даже больше рублей. Мерилом ценности калыма служат деньги, но калым уплачивается не чистыми деньгами, так как такие суммы у наших горцев не водятся, а скотом, лошадьми, баранами, даже посудою. При отобрании калыма у жениха родители невесты выбирают оценщиков из своих же однофамильцев, людей бывалых и опытных, которые определяют по своему усмотрению цену тому или другому предмету, предлагаемому в уплату калыма родителями жениха. Против определения оценщиков обе стороны не возражают, так как им доверяют как компетентным судьям. Оценщики *(ирæдисчытæ)* получают угощение от родителей жениха.

вестном ей женихе, стараясь мысленно разгадать его характер, которого она не знает, его обхождение, которое ее ожидает. И все размышления эти пугают молодое воображение: она думает, что придется ей скоро распрощаться с девичеством и навеки закабалиться, стать рабою, что муж будет бить ее немилосердно, что... и нет-нет да слезы польются по бледному, но прекрасному ее личику, закапают на руки, шитье... Со дня помолвки девушка работает усерднее, чтобы заслужить среди одноаульцев репутацию хорошей невесты. Она уже редко посещает общественные увеселения, предается больше хозяйственным заботам, да и надо же ей, наконец, отвыкать от танцев и увеселений, которые она — увы!—в скором будущем должна забыть и забыть навсегда. И вот она по целым дням только и сидит за шитьем своего свадебного платья, шьет платье для братьев и родственников своего жениха, которые получат их в день взрытия* ее сундука.

В присутствии других она вовсе не показывается мужу и всячески старается избегать с ним встретиться vis-a-vis; не показывается также ближайшим родственникам мужа, как, например, братьям и отцу его, и не говорит с ними. Впрочем, прятки и отмалчивание больше всего в ходу между женщинами привилегированного сословия, между узденками, а между фæрсаглæг'ами и кæвдæсард'ами эти церемонии несколько теряют свою силу, и на это они смотрят несколько сквозь пальцы, почему считаются за *mauvais ton*.

Чындз (невестка) не должна произносить до самого гроба имени своего мужа, так же, как имен братьев его и ближайших его родственников. Мужа она называет не иначе, как *нæ лæг*, что в буквальном переводе означает: «наш мужчина», «наш муж». Братьев же своего мужа она называет всех *«нæ лæппу»*, что значит «наш мальчик», «наш молодой человек», хотя этому «мальчику» или «молодому человеку» может быть пятьдесят лет с хвостиком.

Если в сакле, где она находится, присутствует постороннее лицо, то она во время его пребывания должна стоять с опущенным на лицо платком и молчать. Эту церемонию особенно стро-

* Невеста привозит с собою много платья, предназначенного для братьев и ближайших родственников жениха. Платья эти кладутся в сундук, который вскрывается на третий день после ее прихода в дом жениха в присутствии его непременного члена, ее новой «мамаши» — матери ее мужа. Платья, вынутые из сундука, раздаются по назначению. Процесс этот называется «взрытием сундука»; (*чырыны къахæн бон* — день взрытия сундука). День сопровождается пикником.

го выполняет она до первых родов, а там в некоторых случаях позволяется ей подымать платок с лица и ходить с открытым лицом. Женщина-узденка даже не показывается в присутствии посторонних мужчин, а в особенности тех, в числе которых находится ее муж. Она вечно сидит в своем *уате**, шьет и кроит.

Девушка до выхода замуж носит имя, которое дали ей в детстве, как, например, Айсет, Дзго, Датцо, Мелек, Зали, Залихан, Хамбечер, Дзыкку, Дуду** и т. д. Но как только она сделается чьею-либо женою, как только она перейдет из-под родительского крова в саклю мужа, имена эти остаются лишь в устах ее родителей и ближайших родственников; в доме же мужа и вообще у соседей она уже именуется не Айсет, Мелек и т. д., а Торчинова, если она из фамилии Торчиновых, Канукова *(Хъаныхъон)*, если она из этой фамилии и т. д. Впрочем, в первое время она, пока еще совсем молода, величается невесткой *(чындз)*.

Невестка-чындз в быту осетин играет весьма трудную роль, в особенности в первое время ее вступления в дом жениха, где считается она самым младшим членом семьи, и младше даже пятилетнего мальчика. Вследствие этого обстоятельства в первое время вся тяжесть домашней работы, как-то: уход за коровами, мытье посуды, уборка в сакле, шитье и мытье платья, носка воды и т. п.—выпадает на ее долю; и в этой работе ей немного помогает иногда «мамаша», но эта помощь имеет скорее назидательный характер, нежели вызвана желанием облегчить труд невестки. Потом, когда невестка уже познакомится с домашними работами, когда она уже узнает место той или другой посуды и ей нечего уже показывать, «мамаша», ее *æфсин*, отдыхает на лаврах и безучастно взирает, как ее чындз хлопочет и суетится с утра до вечера, вылезая из кожи от работы. И она далеко не пользуется той свободой, какою пользуется десятилетний хозяйский сын, чьи детские капризы она безмолвно выполняет.

«Дай мне воды!»—скажет этот маленький член семьи, и чындз, не говоря ни слова, подает ему в чашке воды... «Зачем

---

* *Уат* — женское отделение и вместе с тем спальня супругов. В уате непременны принадлежности: койка, тюфяки, одеяла и подушки, разложенные вдоль стены на нарах в порядке; камин, где горит огонь; на стенах деревянные гвоздочки, на которых висят бутылки, пузыречки и другие безделушки.

** Имя Дуду, что в переводе значит «прекрасная», встречается у Байрона в «Дон Жуане». Дон Жуан встречает Дуду в гареме одного восточного человека. И она считается между гаремными самою красивою. Понятно, что она попала туда с Кавказа, что нередко бывает.

же ты мне такую большую чашку принесла: я не могу из нее пить»,—капризничает мальчик, злобно отталкивая от себя чашку и обливая платье бедной женщины. Чындз подает воды капризному в другой чашке и так до тех пор, пока ему не угодит. И при всем этом ни одного слова, ни одного жеста неудовольствия — исполняет она все безмолвно, безропотно, будто автомат.

Положим, семья сидит за ужином. Выше всех на мужской половине* на длинной деревянной низенькой скамье (*бандон*) сидит глава семейства; его сын двадцати пяти лет, женившийся четыре месяца тому назад, сидит ниже, поодаль на опрокинутом деревянном ведре или на каком-нибудь другом подобном предмете. Ему нельзя садиться на *даргъ бандон*, которую он называет еще отцовскою скамьею, потому что со дня женитьбы еще не прошло одного года, да и вообще ему еще долго нельзя садиться с отцом на одной общей скамье. Хозяйка дома — *æфсин* —женщина уже солидных лет, на этот раз что-то сама суетится около квашни (*арынг' а*) и месит тесто, из которого она делает пироги с сыром. У ног главы семейства дремлет его семилетний сын, на женской стороне «клюет носом» девочка почти таких же лет. Все в ожидании вкусного ужина.

Однако, если всмотреться, то окажется, что здесь не все члены семьи. Поодаль, в полутемном углу, на женской стороне, виднеется какая-то фигура женщины с опущенным на лицо платком. Это— чындз, молодая жена двадцатипятилетнего сына хозяина. И стоит она недвижно со сложенными на груди руками вот уже почти три часа.

Чындз не имеет права садиться и разговаривать в присутствии главы семейства и должна немедленно, молча и терпеливо исполнять все требования членов семейства.

— *Чындз!*— обращается к ней глава семейства,—подай-ка мне немного водицы!

Чындз вдруг, как бы пробуждаясь от сна, вздрагивает, потом зачерпывает из водоносной кадушечки (*къустил*) воды и, опустив голову, отвернувшись от него вполоборота, подносит чашку. Впрочем, глава семейства сам избегает прямо взглядывать на невестку. При этом молодой муж, сидящий здесь же, старается смотреть в другую сторону, чтобы не встретиться со

* В *хæдзаре* — помещении, содержащем в себе кухню и общее сборное место во время еды, очаг обыкновенно разводится почти посреди сакли, причем с правой стороны очага располагаются мужчины на длинном *бандон'е*, а женщины с левой стороны, и уже с этой стороны нет никакой мебели, и они сидят на корточках. Впрочем, почти единственную мебель *хæдзара* составляет всего только *даргъ бандон* (длинное сидение, скамья).

взглядом своей молодой жены, что совестно перед отцом и матерью; он краснеет. Но с чего же он краснеет — что видит перед своим родным отцом подругу жизни! Если он избегает ее взгляда в присутствии родителей и не говорит с ней, то неужели же он не чувствует к ней никакой симпатии и в душе относится безучастно к тому, как она с утра до ночи мается, трудится и стоит теперь безмолвная, безответная, выполняя все капризы семьи беспрекословно. Неужели он в это время не чувствует к ней никакого сострадания? Да, он чувствует к ней сострадание в душе, он жалеет ее, сердце его сжимается, и он рад бы ей помочь, облегчить ее труд, но предрассудки и обычаи дедов сковывают его желание, и вследствие этого он остается только пассивным зрителем ее мучений. Но это сострадание есть ли любовь к ней? К каждому человеку, переносящему много страданий, можно иметь сожаление или сострадание, но не любовь. Разве молодой ее муж понимает это чувство? Разве он может себе его объяснить? Как это сказать вдруг жене: *«Æз дæ уарзын»,* т. е. «Я тебя люблю»? По его понятию, это можно сказать разве что другу и товарищу-мужчине, но как сказать женщине эти слова? Странны ему покажутся эти слова, когда он произнесет их своей жене, и он покраснеет. Он никогда не заикнется сказать своей жене эти слова, и самое сострадание, которое он питает к ней, он должен держать под спудом, таить, а не высказывать, иначе его осмеют. Он должен всячески маскировать это чувство, и, имея к ней в душе сострадание, должен в лице и в речах обнаруживать полное безучастие к ней и строгость — это свойственно мужу.

Но что же она чувствует к своему мужу? Каковы ее понятия в отношении него, как она понимает свой брачный союз?

Прежде всего она знает, что должна беспрекословно повиноваться своему мужу и исполнять все его желания. Любви у нее не требует и сам муж, ибо, как уже объяснено выше, понятия его об этом чувстве весьма скудны, и сама неприхотливая обстановка всей ее невеселой жизни, сопряженной в большинстве случаев с нуждою и горем, не располагает любить, и тем более это чувство не может родиться при том нередко деспотическом обращении мужа, которое часто приводит в отчаяние бедное беззащитное творение.

Но тем не менее, с течением времени она привязывается к мужу, как верное животное к своему хорошему хозяину, и старается угадывать его желания и удовлетворять их. Этим она по крайней мере сколько-нибудь умерит его гнев.

С течением времени она свыкается с грубым его обращением, но бывают минуты, когда чрезмерная жестокость мужа вы-

зывает в ее душе чувство оскорбленного самолюбия и гордости, которые еще не успели в ней заглохнуть. В эти тяжелые минуты она проклинает день, в который родилась. И хотелось бы ей уйти куда-нибудь подальше от деспота-мужа, чтобы избавиться на время от его грубого обращения и дать отдых своим расстроенным нервам, приготовиться переносить новые грубости и неприятности от мужа, но в ее голове рождается роковой вопрос: куда же уйти? К кому? Где приютить свою одинокую голову? Вопрос этот бывает еще мучительнее, если у нее есть дети. Разве что бежать от мужа *тæргай** к родителям? Но—увы!—родители, которые сбыли ее с рук, как товар, приносящий хозяйству известную прибыль в виде калыма в несколько *туман'ов***, коров и быков, — про нее уже почти забыли и, пожалуй, не примут ее к себе. Да, наконец, что будут говорить соседки-сплетницы, если она убежит от мужа *тæргай?* Они могут оклеветать ее на всю округу, сказав, что она оставила малых детей на произвол мужа, а сама бежала, что послужит основанием к весьма невыгодной репутации ее в околотке. Таким образом, в страхе перед общественным мнением ей еще мрачнее представляется ее безвыходное положение, и в этом безотрадном сознании своего положения она терпит и терпит до горького конца.

В первое время замужества молодая невестка не говорит ни с кем из мужчин, кроме своего *къухылхæцæг' а* и братьев. Первый, т. е. *къухылхæцæг* (в переводе: «держащий руку») есть ближайший друг, или, лучше, адъютант *молодой.* Его выбирает

* Когда жена вследствие ссоры с мужем по каким-либо причинам убегает от него к своим родным или к соседям, то говорят, что она бежала в *тæргай. Тæргай*, собственно говоря, значит обида, так что фразу эту можно понимать и так, что она ударилась в обиду, «в амбицию». Во время *тæргая* жена находится в отлучке до тех пор, пока муж сам, опомнившись, не сознается в своих несправедливых выходках и не станет просить соседей и соседок уговорить ее вернуться в дом. По инициативе опытных женщин удается в большинстве случаев примирить обе стороны, и жена опять возвращается домой и тянет ту же канитель с мужем до тех пор, пока какая-нибудь другая драма не заставит ее опять бежать *тæргай. Тæргай* — могущественное средство, которым всегда почти досаждают своим мужьям обидчивые жены. Представьте себе, что в доме одна хозяйка, а семья довольно-таки порядочная в виде детей да и хозяйство. Хозяйка бежит *тæргай.* В доме (нрзбр.) Некому спечь чуреки, некому покормить семью, подоить коров, некому вымыть посуду, да и мало ли чего без нее недостает. Дети плачут с голоду, а амбар полон муки. Что делать? Муж призадумывается тогда и примиряется вышеуказанным способом.

** *Туман* — десять рублей.

обыкновенно сам *молодой* из числа лучших и надежнейших своих друзей. Роль его состоит в том, что он выполняет ее желания, и она только к нему обращается с просьбою о том или другом.

Молодой в продолжение некоторого времени после свадьбы гостит у *къухылхæцæг'а*. Къухылхæцæг относительно *молодого*, пока он гостит в его доме, называется *фысымом*, а молодой—г о с т е м *(уазæг)*. *Къухылхæцæг* вместе с тем есть главный распорядитель общего веселья и единственный из мужчин, кто имеет право доступа к молодой, исключая только ее родных.

При материальном достатке и в минуту скуки она делает иногда визиты к своим родственникам или знакомым, причем достаток пшена, сыру, араки дает ей возможность готовить *хуын**, без которого порядочного визита не может быть. Если у нее есть *æфсин*, она делает эти визиты не иначе, как с ее разрешения. При этих визитах ее обыкновенно сопровождает малолетний сын или дочь. Не доходя до той сакли, куда направляется, она останавливается и выкрикивает кого-нибудь из домашних, причем протяжно произносит имя младшего в семье или издает грудной звук вроде следующего: «чых-хы! чыххи-и!» И на этот звук выходит кто-нибудь и провожает ее в саклю. Здесь она поговорит с соседкой или родственницей, пожалуется ей на своего мужа, если он ее чем-нибудь разобидел, что, конечно, весьма часто случается в ее семейной жизни. Сообщат друг другу кое-какие аульные сплетни и потом расстанутся.

Осетинская женщина не участвует ни в каких общественных собраниях и в особенности избегает общества мужчин. Этого требует скромность, и потому женщины наши, верные такому принципу скромности, всегда, завидев общество мужчин, сидящих, положим, на холме и рассуждающих о своих делишках, обыкновенно обходят их стороною, словно крадутся, причем всегда стараются скрывать свои лица, для чего опускают платок на лицо и идут с опущенными в землю взорами.

Мужчины же, увидя проходящих мимо женщин, считают долгом приличия чинно подняться и изъявить им свое разрешение пройти, говоря: *«Ацæут!»* (Идите!). Без этого *«ацæут!»* женщина будет стоять хоть целый день, если путь ей предстоит ми-

---

* *Хуын* состоит из трех пирогов, начиненных сыром, или же из одного пирога. При этом всегда почти бывает и бутылка араки. *Хуын* иногда состоит из большого количества пирогов и напитков. Подобные *хуын'ы* делаются кому-нибудь с целью получить какой-нибудь ценный подарок в виде коня или кинжала, оправленного серебром...

мо мужчин, в особенности если между ними сидит ее муж и ей нельзя пройти обходным путем.

Единственные сборища, в которых участвуют женщины, это *мæрддзыгой* и *сабатизæр*.

Мæрддзыгой— это партия женщин, отправляющаяся в другой аул оплакивать родственника или знакомого. Впрочем, в число *мæрддзыгой* попадают нередко такие женщины, которые не знают ни самого умершего, ни его родственников. Но они отправляются на *мæрддзыгой* тем охотнее, что им представляется случай побывать хотя бы в обществе своих подруг, поболтать, понабраться разных сведений из других аулов и сообщить приобретенное женщинам своего аула.

Сабатизæр — в буквальном переводе на русский язык значит субботний вечер, что должно понимать не в том смысле, что вечер под субботу, а под пятницу.

В известное время *сабатизæр* справляется теми семействами, в которых недавно случилась смерть. Вечер этот иначе можно назвать и поминальным вечером.

В это время женщины, желающие помянуть своих мертвых родственников или родных, приносят на кладбище, где покоится прах поминаемых, разное печение домашнего изделия и напитки. На этот вечер приглашаются и остальные женщины аула. В таких сборищах женщина чувствует себя лучше, свободнее. В это время она, пользуясь отсутствием мужчин, свободна в своих действиях. Тут она вдоволь наговорится, накричится и даже позволит себе выпить стаканчика два араки, чего, конечно, она не сделала бы в присутствии мужчин или дома. Приэтом нужно заметить, что она не забудет *нæ лæг' а* (своего мужа), для которого часть своей порции (нрзбр.), а в большинстве случаев отливает в особую бутылку, прихваченную с собою. А когда муж бывает на поминках *(хисте)*, то он совершенно про нее забывает.

В *сабатизæр'ах* мужской пол никогда не участвует, единственным и необходимым при таких случаях мужчиной бывает только *фидиуæг.**

Клянется женщина всегда своими живыми родными или родственниками, а если нет ближайших родных в живых, кля-

* *Фидиуæг* — аульный глашатай, извещающий громогласным криком аульных жителей о каких-нибудь новых распоряжениях аульной администрации или о приказаниях начальника округа. Кроме того, при общественных собраниях, как, например, в данном случае, на нем лежит обязанность наблюдать порядок и спокойствие. Нарушителями последнего являются в этих случаях почти исключительно аульные мальчишки, которым достается-таки от него.

нется *своими мертвыми. «Ме 'фсымæр цæра!»* (Да живет мой брат!),—клянется часто женщина. *«Ме 'фсымæр амæла!»* (Да умрет мой брат!), *«Мæ мæрдты стæн»* («Да буду я у своих мертвых» или: «да присоединюсь я к своим мертвым) или клятвы подобного же рода.

Нужно заметить, что осетинка никогда не поклянется богом или вообще высшими силами, как будто это и не в обычае у них.

Выше были указаны случаи, когда бедная осетинка хоть сколько-нибудь свободна в своих действиях и забывает хотя на мгновение домашние дрязги, побои мужа, крик ребятишек, просящих хлеба и воды. Но когда после таких случаев неприглядная действительность опять является перед ее глазами, представляясь ей во всем своем ужасном, пугающем виде, на нее находит горестное раздумье, и слезы катятся по ее бледному, измученному лицу. В такие моменты она, если только наедине с собою, часто напевает вполголоса импровизированную песенку, и в этой ее импровизации слышатся печальные ноты и повесть о ее горькой, сопряженной с невзгодами жизни. Поет она о *«своих днях» (мæ бонтæ),* и часто под ее печальный напев у нее на коленях засыпает безмятежным сном ребенок, не понимая смысла песни о страдальческой жизни матери. В этой простой импровизации задумавшейся осетинки захватывает не рифма, не цветистые слова, а чувство, с которым она повествует о том, что ее черные дни надоели ей и что нет ей никакой утехи на земле.

Или вот она сидит за шитьем и одною ногою качает люльку, в которой связан* ее ребенок. Задумалась она о чем-то невеселом,—о том, что вчера только муж, пришед от соседа не в духе, прибил ее, совершенно невинную. «И за что я такая несчастная,—думает она.—Да хоть бы земля меня скорее взяла в свои объятия, чтобы избавиться от жестокости *нæ лæг' а.* Чем я виновата была вчера, за что он меня прибил так больно? И неужели это будет еще долго продолжаться?»—задает она себе вопрос, и слезы горячею струею текут по ее преждевременно изможденному, но прекрасному лицу, падают на руки и на

* У нас ребенка в люльке связывают по рукам так, что бедное существо не в состоянии ворочать ни одним членом своего тела. Люлька делается не висячею, а имеет вид ящика о четырех ногах, между парами этих ног, поперек люльки прикрепляются две деревяшки в виде двух полулун и на этих (нрзбр.) перекачивается. Если земляной пол неровный, то толчки бывают довольно сильные, однако ребенок привыкает к ним и засыпает под убаюкивания матери.

шитье... Семилетний сын ее играет поодаль в лошадки и, завидев слезы матери, тихо подходит к ней и, с участием глядя на нее, садится около, смотрит долго, пристально, задумчиво на плачущую мать, и вот в глазах ребенка тоже сверкнули слезы, поползли по его детским щекам и капнули на землю...

— О чем плачешь, *нана?**—спрашивает он с детски наивным участием, но мать не обращает внимания на вопросы малолетнего сына и отдается своим мечтам. Она думает теперь о своем безвыходном положении, вопрос об этом неоднократно зарождается в ее голове и каждый раз наводит на нее уныние и слезы, ей теперь только рисуются в воображении картины домашней жизни, преисполненные дрязг и невзгод... Сын в нетерпении дергает тихо за рукав матери, чтобы заставить ее очнуться, и она нечаянно укалывает себе палец.

— Ах, ты, проклятый!—восклицает рассерженная мать. — Убирался бы ты к своим товарищам и играл бы себе с ними там! Что ты трешься около меня? — и с этим отталкивает ребенка. Мальчик тихо отходит, надувши губки. Слезы одна за другой закапали на его лицо, и он зарыдал.

В это время приходит муж. «Что это он плачет?»—спрашивает он, обращаясь к жене.—«Да так, вздумалось ему»,—отвечает она, не поднимая глаз от шитья.—«Как вздумалось?!»—и он накидывается на бедную жену, ругань, побои...

«Боже, боже! Когда же будет конец этим мучениям?»—опять задумывается она.

И во всей ее прошлой жизни нет ни одного светлого момента. Детство ее было сопряжено с бедностью, невзгодами и оставило в ее впечатлительной душе только безотрадные воспоминания. Ласки от родных она не видела, была у них чем-то вроде товара, на который смотрели как на средство для приобретения нескольких туманов и нескольких коров. Теперь она попала в чужой дом, и тут ничего утешительного. Никогда она не испытала счастливых минут, и, может быть, наконец, думает она, это вечное мучение закончится нескончаемым счастьем на том свете, когда ее кости лягут в сырую землю на вечный непробудный покой и когда муж уже не будет ее тревожить, бить, и не будет она слышать плач и крик голодных детей. И ждет она весьма часто в таких раздумьях этого дня.

Бедная, беспомощная страдалица! Долго ли над тобой будут тяготеть цепи тяжелого, рабского положения? Скоро ли настанет тот день, когда и ты заявишь свои права в семье и в

* Ласкательное название матери-мамаши. Отца дети ласкательно называют *«дада»*.

обществе и не будешь прятать свое лицо от мужчин, словно стыдясь чего-то. Но чего тебе стыдиться и скрывать свое лицо, когда чиста душа твоя и совесть? Потому откинь свое покрывало и прямо, смело взгляни в глаза своему мужу-повелителю и произнеси так же смело: «Мы равны, и я пользуюсь в семье равными правами, как жена твоя, а не как твоя рабыня, которую ты можешь бить по своему произволу». Скоро ли это будет?

Но—увы!—скорому осуществлению этого заветного желания помешают предрассудки, которые обрекали горянку на долгое и долгое рабское положение, каковое может улучшить лишь одна цивилизация, против напора которой не в состоянии устоять никакие предрассудки и обычаи, ибо цивилизация все переделывает по-своему, беспощадно уничтожая старое, дряхлое и прививая новое, лучшее, свежее.

Но должно верить, что «будет некогда день», и настанет это золотое время для наших бедных угнетенных. Остается пожелать только, чтобы это время скорее прикатило к нам из России вместе с железной дорогой.

КРОВНЫЙ СТОЛ

(Из горских обрядов)

Кровный стол (у осетин — *туджы фынг*) есть заключительный акт кровной платы. Плата же кровная есть материальное вознаграждение, каковое получает как выкуп та сторона, в которой был убитый, от лица убившего.

Но очень редко кто соглашается принять такое вознаграждение, считая это для себя позорным и недостойным имени порядочного человека; поэтому большинство фамилий, обиженных убийством одного из своих членов, считает священным долгом мстить своему врагу за пролитую кровь родственника, вследствие чего кровомщение у наших горцев принимает нередко наследственный характер, переходя из поколения в поколение.

Но если обе враждующие стороны согласятся на примирение через посредство избранных ими же лиц, тогда обиженная сторона получает от обидчика известную *кровную плату,* которая определяется судом избранных и с решением которого *должны* согласиться обе стороны беспрекословно. Для уплаты определенной ими суммы назначается известный срок, в продолжение которого убийца должен уплатить эту сумму, доходящую до тысячи и более рублей, причем уплата редко производится

деньгами, а почти исключительно скотом, оружием, домашней утварью и другими вещами. Оценщиками этих вещей являются те же избранные лица. Так как плата кровная по размеру своему очень обременительна для горца, то он редко может выплатить ее в два, три года, почему срок для уплаты назначается иногда довольно продолжительный.

Часть кровной платы определяется на так называемый *кровный стол* (или кровное угощение), которое совершается при окончательной уплате этой суммы. Кровный стол сопровождается характерными обрядами, с которыми я и хочу познакомить читателя.

В назначенный день для кровного стола собираются все члены мужского пола от 16—17-летнего возраста обеих враждующих фамилий в саклю того, кто справляет *кровное угощение*, т. е. в саклю убийцы. Этот последний, по определению посредников, назначивших цену крови, должен сделать угощение в размере приблизительно той суммы, которая была определена для кровного стола. Если, например, из суммы кровной платы было назначено пятьдесят рублей, то убийца должен сделать угощение, иначе говоря, «справить стол» стоимостью в пятьдесят рублей приблизительно. Приноравливаясь к этой сумме, он режет баранов или быка, варит араку, пиво, брагу, печет, жарит и все приготовленное расставляет на длинных столах в своей сакле.

Между тем как в сакле убийцы делаются эти приготовления, съезжаются члены как его, так и враждебной фамилии в аул, где живет убийца, причем до повестки об окончательной готовности стола члены той фамилии, из которой был убитый и для которой делается, следовательно, это угощение, останавливаются у таких людей, которые не считаются родственниками убийцы, так как все ж таки до обряда примирения, долженствующего совершиться при самом кровном угощении, они не говорят друг с другом, считаясь все еще врагами. Члены же фамилии убийцы могут останавливаться у него, если они приезжие из дальних мест, или же выбирать временный приют у другого, только не у члена враждебной фамилии.

Когда убийца объявит об окончательной его готовности принять *гостей*, старейшие посредники, бывшие виновники примирения, отправляются по аулу и приглашают съехавшихся членов фамилий убитого и убийцы справить печальную примирительную тризну — кровный стол.

Приглашенные молча и печально сходятся ко двору своего кровника и стоят, поджидая прибытия всех членов обеих фамилий.

Хранится гробовое молчание и печальное выражение, словно собрались хоронить дорогого всем человека.

Когда сойдутся все члены обеих фамилий, то старейшины, принадлежащие к совершенно другому роду, говорят: «Пора положить конец вражде!.. Мы вас просим все и молим памятью всех ваших мертвых, помиритесь и не затевайте ничего худого друг против друга».

Потом, обращаясь к членам потерпевшей фамилии, добавляют: «Несчастный случай лишил вас одного из лучших вашей фамилии, но смерть его произошла помимо воли его (называя имя убийцы); так, видно, было угодно богу... Теперь они, родственники убийцы, просят вас помириться с ними и не преследовать их кровным мщением. Они уплатили вам за кровь— они же приглашают вас теперь к себе в саклю отведать их хлеба-соли ..»

Следует соглашение как бы нехотя со стороны фамилии убитого.

Молча и тихо, с мрачными лицами они ступают в саклю, где накрыты столы. Рассаживание за столом идет также молча, причем большая часть фамилии убитого отказывается принимать участие вообще в трапезе и сидит молча и печально, а остальные стоят с такими же суровыми лицами по углам и у стен. Среди участвующих в угощении бывают и посторонние люди, которые уговаривают их сесть за стол, но они холодно отказываются под предлогом нездоровья или какой-либо другой выдуманной причины.

Едят и пьют мало, без шума, без смеха, словно ангел смерти пролетел над всеми.

Через несколько времени дело доходит до самого важного момента кровного угощения. Является убийца с чашкою, наполненною пивом или бузою, и подносит эту чашку брату или отцу убитого им человека или, если таковых нет, то старшему в его роде. Подходит он к нему совершенно безоружный, со снятым кинжалом и даже поясом, без газырей. Молча подойдя к нему, он надевает его шапку себе на голову и подает ему чашку с питьем. Надевание шапки имеет символическое значение. Это действие говорит красноречиво, что он ищет его покровительства и прощения. Лицо, которому подают так называемый кровный тост *(туджы нуазæн)*, не должно отказываться от предлагаемого и молча берет его. Если он слишком сердобольный, то он прослезится сперва молча и проговорит несколько слов вроде следующих:

— Люди! Смотрите, от убийцы моего брата (или сына или родственника) я принимаю тост!.. Он наложил на нас крова-

вое пятно, которое мы должны были бы смыть достойным образом его же кровью, а мы у него гостим и принимаем тост из его рук!

Присутствующие уговаривают и упрашивают его принять тост и выпить в знак примирения, на что тот нехотя соглашается и делает небольшой глоток из поданной чашки.

Убийца подает <чашку> следующему лицу фамилии убитого им человека и таким образом обходит всех по старшинству и потом пьет сам.

Этим обрядом кончается кровное угощение, и все разъезжаются в большинстве случаев так же молча и мрачно, будто унося в душе не особенно мирные намерения.

Хотя кровное угощение считается финалом всякой вражды, но тем не менее, очень часто в фамилии потерпевшей заговаривает угрызение совести, самолюбие, и она, несмотря на кровное угощение и плату, объявляет себя кровным врагом убийцы и ищет жизни его.

Принять кровное угощение, как я говорил, редко кто соглашается, потому что на принявших народ смотрит как на людей малодушных, трусливых, у которых недостает настолько мужества, чтобы достойно отплатить убийце, смыв его же кровью наложенное на них кровавое пятно. Но тем не менее в наше время убийца большею частью отделывается кровною платою и угощением, а это показывает, что чувство мести не имеет уже того свирепого характера, который оно имело, и что порывы народные немного обузданы не обычным правом народа, а законами, более гарантирующими человеческую жизнь и придающими ей больше цены, чем эти обычные права.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОБЫЧАИ У ОСЕТИН, КАБАРДИНЦЕВ И ЧЕЧЕНЦЕВ*

Осетины, и вообще кавказские горцы, в саклях сидят не иначе, как в папахах.

* Составлена по примеру статьи «Характер и обычаи персиан», помещенной в №№ 131 и 132 газеты «Кавказ».

Излагаемые здесь обычаи характеризуют и других горцев, населяющих Северный Кавказ, как, например, ближайших соседей осетин — кабардинцев, чеченцев и ингушей. Нужно заметить при этом, что Кабарда имела с давних времен громадное влияние на обычаи и привычки осетин. Осетины, в свою очередь, влияли на чеченцев и ингушей, особенно на последних.

Осетин снимает шапку тогда только, когда старший молится, перед начатием пирушки или еды. Сняв шапки, осетины во время молитвы старшего произносят несколько раз слово *оммен* (аминь). Остаток христианства.

Горцы бреют голову, а европеец —бороду.

Письмо у осетин так же, как и у европейцев, слева направо.

Осетинки стараются при мужчинах скрывать лицо; европейки — наоборот.

Европейцы едят бульон первым блюдом, а осетины — последним.

Горцы едят мясо руками, а европейцы — ножом и вилкой.

Осетины, встречаясь с друзьями и даже людьми совершенно незнакомыми, считают за невежливость даже два раза спросить о здоровье: надо спросить не менее пяти раз.

Спрашивая о здоровье жены, осетин говорит: «Как поживает твоя семья?»

У осетин, как и у персиян, женят сыновей родители.

Присутствие массы слуг при всяком разговоре с гостем у осетин, как и у персиян, считается почетом.

Чем больше посторонних в кунацкой в присутствии гостя, тем более сему последнему почета.

Считается неприличным оставлять гостя одного: надо, чтобы при нем постоянно кто-нибудь находился.

Забрасывать гостя вопросами считается тоже неприличным, а тем более вопросами, касающимися его жены, его дел и проч.

Главная тема для разговора с гостем — *хабары,* т. е. новости дня.

У осетин резать чурек ножом считается почему-то грехом.

У горца карманы непременно на боку и на груди.

Покойника следует хоронить непременно в день его смерти.

Траур осетинки продолжается сорок дней.

В прежнее время траур мужчин заключался в том, что ими отпускались длинные волосы.

У осетин существует убеждение, что при большинстве болезней следует пускать кровь со лба.

За европейками ухаживают мужчины, у персиян женщины ухаживают за мужчинами, у горцев же ни та, ни другая сторона не ухаживает одна за другою, ибо при малейшем поводе может разыграться драма.

У горцев месяцы лунные. При рождении луны горец должен молиться.

Взять за обедом руками кусок баранины и предложить гостю считается вежливостью.

Говорить с женой у осетин не принято, особенно в присутствии других лиц.

Жена не называет своего мужа по имени. Она говорит: *«нæ лæг»* (наш муж, наш человек).

Европейцы встречают друг друга поклонами; осетины, кабардинцы и чеченцы —сгибанием правой руки в локте и обменом фраз: «Да будет день твой хорош! Да будет дело твое прямо!»

Европеец за столом весел и разговорчив, осетин же молчит и ест, ибо говорить во время обеда не принято, неприлично.

У европеек кормление грудью ребенка, вообще говоря, принято мало, у персиянок вскормить грудного ребенка считается признаком аристократизма, а осетинки-аристократки считают долгом отдать своего ребенка на вскормление другой женщине.

Обитатели Востока танцуют поодиночке; у горцев же принято танцевать попарно.

Европеец приглашает даму, а у горцев сперва выходит танцевать девушка, а за ней уже кавалер. Но перестает танцевать прежде девушка, а потом кавалер. Считается позором для кавалера, если он перестанет танцевать раньше дамы: значит —

женщина «переломила» мужчину.

На танцах и веселиях неприлично присутствовать замужним женщинам и женатым людям.

Осетины, как и персияне, клянутся иногда своею бородою и названием мужчины.

У осетин принято клясться также небом и землею. Признак фетишизма.

Клянясь небом, осетин восклицает: «Клянусь вон тем голубым небом!».

Осетинка клянется именем брата или другого ближайшего любимого родственника, но никогда ни богом, ни землею, ни небом, как мужчина. Не принято.

Европейцы называют своих жен по имени, осетин же говорит: «Наше семейство, поди сюда».

У европейца спрашивают, женат он или холост, у горцев подобный вопрос предлагать стыдно.

Красавица у горцев Северного Кавказа должна быть непременно брюнетка, с большими черными глазами, с тонкою талиею. Миниатюрность талии достигается ношением корсета из сафьяна, с двумя пластинками вдоль груди. Корсет стягивает грудь и талию. От чрезмерного стягивания бюста осетинки теряют иногда способность давать молоко.

Полные груди европейке придают красоту, осетины и кабардинцы осуждают их в девушке. Неприлично.

У европеек корсет носят как замужние, так равно и девушки, у горцев же принято носить его только девушкам.

Женщине неприлично садиться на стул. Она должна сидеть, поджавши ноги, по-восточному.

Женщина-осетинка должна прятаться от своих близких родственников по мужу и не говорить с ними.

Много есть женщине стыдно.

Женщины никогда не поют — тоже стыдно.

Женщинам не принято входить в кунацкую.

У европейцев-христиан во время венчания принято молодых обводить троекратно вокруг аналоя, и священник дает им вкушать хлеб и вино. У осетин же молодую вводят в саклю *(хæ-*

дзар) спустя три дня после свадьбы; обводят ее троекратно с песнями вокруг очага, и после третьего раза хозяйка дома (мать молодого) дает ей вкусить меда, смешанного с маслом, приговаривая: *«Да будете вы так же приятны друг другу, как эти мед и масло вместе!»* Остаток христианства.

Европеец считает позором брать за дочь выкуп, у осетин же выкуп (калым—*ирæд)* в обычае.

У осетин существует пожелание молодой: «Семь сыновей и одну дочь!».

У осетин принято рассаживаться по старшинству лет. Предпочтение гостю.

Много есть гостю неприлично.

Когда перестает есть старший, то все младшие, сидящие ниже его, должны последовать его примеру, если бы даже они умирали с голоду.

Принято мыть руки до и после обеда.

Прежде старшего младшие не моют рук. Изъявление почета.

Гости не должны съедать все поданное. Надо оставить что-нибудь нетронутым.

Если осетин пожелает вам оказать предпочтение в чем-либо перед собою, то говорит: «Да умри я, не сделаю прежде тебя!» «Да умри я, если ты не сделаешь этого! Да я прежде тебя не подстрелю и оленя!»

Гром — по понятию осетин, есть шум катящихся по небу камней.

Молния — блеск меча Батраза — одного из мифических героев осетинских народных сказаний. Облака, сгустившиеся в одну массу,— дым. Солнце, по понятию осетин, прячется в море. Радуга называется у осетин небесным луком.

Убить женщину почитается величайшим позором.

Женщина перед мужчинами проходит не прежде позволения мужчин проходить, и то повернувшись боком, с опущенными в землю глазами.

Женщине смотреть мужчине в глаза стыдно.

Кровомщение в обычае у осетин; на женщин же оно не простирается, потому же, почему считается позором убить женщину.

Осетин очень часто клянется своим умершим отцом и всеми своими мертвыми родными.

Женщины в присутствии мужчин стоят и молчат. Женщина пьет сидя и вообще, если ей надо взять что-нибудь в рот, то приседает на корточки.

Самое изысканное и роскошное блюдо у осетин—мед, смешанный с маслом.

Любимый напиток — пиво, которое изготовляется в Осетии необыкновенно вкусно.

Для большего оказания почета гостю режут барана, а иногда и вола. Считается признаком скупости, если хозяин не израсходует зарезанное в один, много — в два дня. Таково убеждение.

Пожелать кому-нибудь убить оленя—значит пожелать ему очень хорошего. Отсюда вышеупомянутое пожелание: «Не убью оленя прежде тебя».

Пожелание девушке от мужчин: «Хороший муж да выпадет на твою долю»; юноше: «Хорошая жена пусть достанется на твою долю». К сожалению, эти пожелания почти никогда не сбываются, так как очень часто молодые не видят друг друга до дня помолвки.

После помолвки невеста должна скрываться от взоров своего нареченного. Обычай.

Осетины предпочитают рождение мальчика рождению девочки.

Предупредительность и быстрое исполнение желаний гостя в мальчике считается признаком хорошего воспитания у горцев Северного Кавказа.

Женщина часто не ест ту часть животного, куда был ранен родственник ее.

Как женщине, так и молодым, считается постыдным есть голову барана или быка; эта часть считается почетною и является достоянием старших. Шея — достояние пастуха.

В присутствии старших младшие должны слушать молча: вставлять свое слово в разговор старших—признак дурного воспитания и непочтения к старшим.

ТАНЦЫ И МОДА У КАВКАЗКИХ ГОРЦЕВ

Необычайная грация горцев придает особенную прелесть безыскусственным и нехитрым танцам их. Танцы кавказских горцев весьма немногосложны, как и у всех народов первобытной культуры. У кавказских горцев существует не более пяти родов танцев, между которыми самым популярным танцем считается так называемая лезгинка. Этот танец распространился даже среди казаков кавказских станиц. Лезгинка выполняется одною парою—«кавалером» и «дамой» под звуки двухструнной самодельной скрипки, зурны или же под звуки русской гармоники, которая у горского населения вошла в употребление с давних пор и предпочитается всем остальным музыкальным инструментам. К этому нужно добавить, что на гармонике играют исключительно девушки, но никак не мужчины. Звукам гармоники, зурны или двухструнной самодельной скрипки со струнами из лошадиного хвоста обыкновенно аккомпанируют все присутствующие мужского пола—хлопаньем в ладоши; сюда же присоединяется гул медного таза, по опрокинутому дну которого немилосердно барабанит двумя палочками кто-нибудь из присутствующих; таз очень часто заменяется опрокинутой кадушкой.

Под звуки этой музыки танцует пара.

Для полноты картины представьте себе, читатель, что у кого-нибудь в ауле свадьба и, следовательно, во дворе его идут танцы. Участники веселья, особенно молодые люди, толпятся среди двора или вблизи сакли. Девушки стоят смиренно вдоль стены этой сакли в одну шеренгу, потупя в землю взоры и не смея поднять их на мужчин. На бледных лицах девушек не видно улыбки, словно сошлись они сюда не для веселия. Порою сдержанный шепот пробегает по ряду—и только. Им нельзя громко говорить в присутствии мужской половины—таковы понятия скромности.

Одна из девушек, самая старшая, наигрывает на гармонике, толпа молодежи, образовав полукруг перед девушками, вторит ей дружным хлопаньем в ладоши, а кто-то барабанит по опрокинутому дну старой кадушки.

Танцы еще не начались. «Дирижер» танцев, молодой человек, более смелый в обращении с прекрасным полом, чем остальные его сверстники, стоит посреди круга и выбирает взором, кого бы из девушек вытянуть на середину круга.

Вот он наметил одну. Подходит к ней, берет ее прямо за руку и тащит на середину круга. Девушка безмолвно, покорно идет на эту середину и начинает танцевать.

Взгляните на ее неподдельную естественную грацию. Посмотрите, как она плавно, тихо идет по кругу, перегибаясь так грациозно своею гибкою тальею. Движения ее рук с длинными развевающимися по воздуху рукавами рубахи так кстати, так красивы и так естественны...

— Что же, товарищи, никто не танцует с девушкой?—обращается тот же «дирижер» к молодежи.

Они в нерешительности переглядываются между собою, толкают друг друга в круг, пока кто-нибудь более смелый не выйдет танцевать с «дамой».

Теперь «дама» должна следить за движениями своего «кавалера» и сообразоваться в своих движениях с его движениями. Она должна обращаться лицом в ту сторону, в какую обращается он, и двигаться по тому же направлению и так же, как он.

Этот последний должен, так сказать, «переломить» ее, т. е. заставить «даму» скорее оставить круг; поэтому «кавалер» всячески старается заморить ее разными неожиданными поворотами, которым она должна подчиняться по правилам танцев. Очень естественно, что «дама» всегда оставляет круг, так как запас ее слабых сил не может состязаться с неутомимостью мужчины. Но избави бог, если кавалер будет так оплошен, что оставит по каким бы то ни было причинам круг прежде своей «дамы»! На него тогда посыплется куча упреков за то, что он не поддержал достоинства «мужчины». Поэтому всегда почти бывает так, что «дама» оставляет круг первая. После нее «кавалер» обыкновенно делает еще два-три круга лишних и тоже оставляет круг.

Лезгинка на всем Кавказе танцуется одинаково. Ее можно танцевать и без «дамы». Танец этот у горцев Северного Кавказа называется чеченским танцем.

Есть еще так называемый *кабардинский* танец. Этот танец в большом ходу в Кабарде и вообще между горцами Северного Кавказа: чеченцами, ингушами, осетинами и др.

Танец этот состоит в том, что дама и кавалер выходят с противоположных концов круга и, размахивая вперед и назад руками, идут навстречу друг другу, и до того места, откуда вышел кавалер, идет дама, а кавалер — до места дамы, здесь опять поворачиваются друг к другу и проделывают то же самое—вот и весь кабардинский танец.

Танец *хорст*. Кавалер легким поклоном приглашает девуш-

ку, берет ее под руку* и, сделав с нею несколько кругов, отнимает свою руку, затем, отойдя на некоторое расстояние, поворачивается к ней лицом, топчется на одном месте, оборачиваясь лицом то вправо, то влево, и размахивает вперед и назад руками. Дама выделывает тоже самое, смотря на кавалера. Потом одна и та же фигура повторяется несколько раз—в этом и состоит танец хорст.

Танец—*угь*. «Дирижер» танцев обыкновенно подводит более почетного члена из молодежи (если есть гость—гостя) к самой лучшей, почетной, родовитой девушке. Он должен взять ее под руку—составляется пара. Таких пар составляется по усмотрению того же «дирижера» несколько, и выстраиваются они в одну шеренгу. Потом танец начинается. Для этого правофланговая пара проходит по кругу до противоположного конца и здесь, повернувшись, топчется на месте. Потом другая пара проделывает то же и становится рядом с первой парой. Когда все пары проделали эту фигуру — начинают сначала.

Танец *симд*. Составляется круг — мужчины вперемежку с девушками, которых они держат под руку. Под звуки какой-нибудь песни, очень часто циничного свойства, отчего девушки краснеют, цепь топчется, кружась; в этом и состоит симд.

Вот почти все танцы, которые в ходу у кавказских горцев.

Теперь о моде горцев. Читатель, может быть, изумится при слове «мода» у горцев. Может быть, он с удивлением спросит: какая может быть мода у горцев? А между тем в действительности одеяние горцев очень часто варьируется, благодаря эстетическому вкусу кабардинцев, которые для горцев, особенно Северного Кавказа,— своего рода парижане относительно моды.

Вариация формы костюма состоит в изменении длины и цвета черкески—верхнего мужского платья. Если кабардинцы имеют обыкновение, например, носить длинные черкески из серого азиатского сукна,—все горцы Северного Кавказа, а из них особенно осетины перенимают у кабардинцев это обыкновение. Точно так же форма и величина папахи находится в зависимости от вкуса тех же кабардинцев. Прежде кабардинцы носили большие папахи, теперь — маленькие; прежде черкеску оправляли серебряными галунами—теперь же нет.

Бывает, что и Чечня влияет иногда своим оригинальным вкусом на горцев Северного Кавказа. Было время, да и теперь отчасти, когда чеченцы и ингуши носили серые черкески с общипанными по локоть рукавами. Эти рукава расходовались на

* У горцев не дама берет кавалера под руку, если то случится во время танцев, а наоборот.

пыжи во время джигитовки. Впоследствии это стало модою для джигитов, которые особенно пристрастились к таким рукавам. Пресловутый *чеченский* кинжал, известный своей громадной величиной, тоже сделался популярным среди многих. Оружие порою носили оправленное золотом и серебром, в ущерб величине, а порою без всякой оправы, но в нем преобладало качество и величина.

Современные же горцы носят кинжалы большею частью оправленные этими драгоценными металлами. Оружие уже потеряло свою действительную силу как оружие поражения; осталось значение его как украшения, поэтому горец старается украсить это оружие. Но увы! К прискорбию горцев, теперь стали отнимать и это украшение—кинжал. И странно теперь глядеть на горцев в городах, где им не позволено носить оружие, как они, безоружные, проходят мимо вас. Смотрите, и чего-то будто не достает в нем.

Что же касается до моды женского костюма, то укажу лишь на пресловутый *корсет* горянки, отличающийся своею теснотою до безобразия. Корсет носят только девушки до выхода замуж. Особенно рьяные поклонницы узкого корсета—кабардинские девушки. Узость талии на взгляд кабардинца—красота. Корсет этот состоит из сафьяна и стягивает девушку от ключиц до самой поясницы. Вдоль всей длины корсета по груди идут две пластинки из дерева, не позволяющие девушке нагибаться. Так как в этот корсет зашивают девушек с 7—8-летнего возраста и не снимают его до первой ночи, то, естественно, рост груди и всех внутренних органов подавляется. Поэтому молодая черкешенка, осетинка почти вовсе не имеют грудей, и случается, что от чрезмерного стягивания они впоследствии теряют способность давать молоко.

Вследствие этой же стянутости горянка хила. И странный вкус! У кабардинцев и осетин, ближайших подражателей кабардинскому вкусу, большие груди у молодой девушки не считаются признаком красоты, а даже дают нередко повод к подозрению в нецеломудрии обладательницы таковых грудей. Понятно после этого, что девушки стараются заглушить их рост. Впрочем, эти корсеты употребляются почти исключительно у кабардинцев и осетин.



К ВОПРОСУ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ВРЕДНЫХ ОБЫЧАЕВ СРЕДИ КАВКАЗСКИХ ГОРЦЕВ

<I>

Носится слух, что во Владикавказе собираются выборные из осетин лица для обсуждения вопроса об уничтожении существующих в народе вредных обычаев.

Нельзя не встретить такого благого начинания народа с искренним сочувствием и нельзя не пожелать ему полнейшего успеха. Этот пример, хотя не первый, но все же заслуживает гораздо большего внимания и одобрения, чем тот, который был в начале шестидесятых годов при генерал-майоре Кундухове.

Тогда инициатором этого вопроса явилось единичное лицо без твердого, *сознательного* одобрения народа, который теперь сам принимает почин в деле, и, следовательно, теперь можно ждать больше благих результатов.

Как я упомянул выше, мысль об уничтожении вредных обычаев среди горцев Северного Кавказа в первый раз явилась у генерала Кундухова до переселения его в Турцию. Он приказал собраться более влиятельным лицам из среды подведомственных ему горцев (осетин, чеченцев, ингушей и др.), чтобы составить комиссию по вопросу об уничтожении и изменении существующих в народе вредных обычаев. Выборные лица в числе около тридцати составили эту комиссию и внесли за своими подписями в журнал решение об уничтожении многих вредных обычаев, назначив штрафы в различных размерах для отступников от положений комиссии. Журнал этот был представлен тогда же графу Евдокимову, который собственноручною резолюциею, положенною на нем, одобрил положения комиссии и приказал разослать немедленно в копиях по приставствам для надлежащего руководства, что и было сделано.

При деятельном участии генерала Кундухова и из страха штрафов нововведения, по-видимому, проникали в массу народа, но потом оказалось, что нововведения эти, как показали обстоятельства, были несвоевременны и что энергии одного лица в борьбе с традициями веков мало, а нужна коллективная борьба самого народа против гидры—вредных обычаев.

Эта-то коллективность и проявляется теперь в осетинском народе. Но в начале шестидесятых годов, т. е. почти двадцать лет тому назад, и коллективная борьба не имела бы той силы, какую она может иметь в наше время.

Почти двадцать лет! Сколько перемен за это время совершилось в жизни осетин! Пропало прежнее обаяние к традициям

отцов, все внимание народа обращено теперь на практическую сторону жизни и вызывает на борьбу все то, что мешает развитию экономических благ народа. Теперь не составит серьезного затруднения борьба с вредными обычаями, раз только будет признана вредность их.

Нам неизвестно, на какие пункты собрание обратит особенное внимание, но должно надеяться, что между всеми вопросами первостепенную важность будут иметь вопросы: а) об окончательном уничтожении разорительного для осетина обычая поминок, и, если нельзя уничтожить, то довести их до minimum'а расходов, иначе, при прежнем характере отправления поминок экономический быт народа всегда будет подрываться в своих основах; б) будет, вероятно, обращено особенно внимание на уничтожение *калыма* (уплаты за невесту) и об увеличении *нечех'а**.

Среди мусульманского населения Осетии *нечех* имеет особенно важное значение.

Положение женщины-осетинки в доме своего мужа самое шаткое. Никакие юридические и религиозные кодексы не связывают особенно мужа с женою; муж смотрит на нее как на вещь, которую он вправе выбросить за ворота, когда ему вздумается, и отпустить на все четыре стороны беспомощную да еще, может быть, с малыми детьми. В такую критическую минуту жена может претендовать только на *нечех,* который родители ей записали в ее собственность. Но ведь и этот кусок вырвать у безжалостного мужа стоит немалых трудов. Хлопоты и хождения по начальству отбивают у бедной жертвы охоту хлопотать о получении своей собственности. Но, положим, она получила свою долю. Намного ли ей хватит 60 или даже 80 рублей серебром? Человек, более или менее состоятельный, не стеснится уплатой жене такой суммы, и он может менее стесняться в разводе с женой. Следовательно, было бы желательно поставить мужа в зависимость от жены хотя бы с материальной стороны, и, имея в виду это обстоятельство, родители девушки должны или вовсе не брать калыма, отказывая его в собственность дочери—в *нечех,* или брать от жениха самую малость, на-

* *Нечех.* При уплате калыма родителям невесты жених недоплачивает им некоторой части этого калыма по соглашению с родителями ее. Недоплаченная часть калыма ей записывается в нечех, т. е. оставляется в собственность ее. Эту собственность она может требовать в день развода. Нечех бывает от 30—60, а иногда и более рублей и зависит от воли родителей, которые могут записать дочери в нечех весь калым, но таких сердобольных и добрых родителей не бывает.

столько, чтобы прилично можно было снарядить на это невесту, а не прокучивать в день свадьбы.

Когда муж будет находиться в более серьезной материальной зависимости от жены, тогда разводы могут случаться реже: жена будет больше обеспечена на черный день и будет смотреть мужу в глаза смелее при сознании, что муж от нее находится в материальной зависимости. Этот в свою очередь будет опасаться сделаться ее должником, чтобы при разводе не пришлось уделять ей долю, которая отзовется сильно на его хозяйстве. Таким образом, с течением времени положение жены, по нашему мнению, сделается более определенным и свободным.

Кричать о безусловной свободе горянки мы не думаем: этой свободы еще не достигли даже самые цивилизованные народы. Достаточно будет на первых порах освободить горянку от оков рабыни, дать ей настолько положения в семье, чтобы она не была последнею спицей в колеснице и пользовалась бы теми правами, которые дает ей семья, материнство. Пока будет достаточно, если муж станет смотреть на нее не как на вещь и будет ей придавать значение в семейной жизни.

О других вредных горских обычаях, подлежащих серьезному обсуждению народных представителей, я поговорю в следующих своих заметках...

<II>

Когда смотришь на туго стянутые талии наших барынь и барышень, на талии, которые сравнивают с талией муравья или стрекозы, когда видишь молодых, а нередко и старых обладательниц этих тонких до безобразия талий, то удивляешься только извращенному вкусу особ, признающих красоту и изящество в подобном уродовании природы.

Но европейские корсеты ничто пред безобразием корсета горянки. Вот они предстали перед моим умственным взором, хилые и бледные девушки-осетинки, зашитые в пресловутый *хæлынкæрц.** Взгляните на этих несчастных жертв уродливого обычая, на их узкие обезображенные груди, на их страдальческие лица, на их донельзя затянутые талии—и вы почувствуете к ним сострадание. Невольно, пожалуй, проклянете того, кому первому пришло на мысль зашивать девушек в такие тиски, которые окончательно препятствуют развитию молодого организма.

Хæлынкæрц — корсет горских девушек—употребителен пре-

---

* Слово *хæлынкæрц* — осетинское. Я полагаю, что оно производное от слов *халын* и *кæрц: халын* значит распутываю, а *кæрц* — шуба, покров. Затянутая

имущественно между кабардинками и осетинками. Самые же ревностные носительницы горского корсета—девушки-кабардинки.

Корсет горянки делается из сафьяна таким образом, чтобы он вплотную захватывал как грудь, начиная от ключиц, так и живот до самых тазовых костей. Корсет затягивается обыкновенно спереди шнурами, и в нижней части шнуры эти оканчиваются мертвым узлом. Для того, чтобы носительница корсета могла иметь ровный прямой стан, что тоже вменяется в достоинства женской красоты, спереди вдоль груди во всю длину корсета зашиваются две пластинки из дерева, не позволяющие девушке наклоняться и заставляющие ее сидеть в положении «проглотившей аршин»; таковые пластинки нередко пришиваются и вдоль спины.

Девушка, зашитая в такие адские тиски с 6—7-летнего возраста, должна не расставаться с ними до самого дня замужества. И спит она в этом *хæлынкæрц' е* и бодрствует. Грудь и живот, сдавленные этими тисками, не развиваются, что, конечно, остается не без вредного влияния на органы грудной полости. Девушка ест мало, делается вялою, малокровною, апатичною. К этому еще присоединяется отсутствие движения, сидячий образ жизни, словом, все условия для того, чтобы из девушки вышла хилая, нездоровая мать.

Организм девушки освобождается от этих оков лишь в *первую ночь,* когда, как я заметил выше, молодой муж распутает узлы, затягивающие корсет. С этих пор корсета она уже не видит, его прячут куда-нибудь подальше от взоров ее.

Это бывает в 15—18-летнем возрасте. Между тем грудь, почувствовав свободу, развивается неимоверно быстро, словно организм хочет наверстать все время своего заключения.

Груди, которых не было почти и следа от давления корсета, теперь быстро вырастают, сама она делается словно полнее и здоровее, бледное и хилое прежде лицо теперь покрывается цветом здоровья. Она работает, движется, отправления организма делаются нормальнее.

Но вот у нее появился на свет ребенок. Если это сын—появление ребенка встречено с великою радостью и поздравлениями родителям, если же дочь—далеко не радостно, ибо у горцев предпочитают рождение мальчика рождению девочки.

в этот корсет, носит его до первой ночи, т. е. до того момента, когда молодой распутает эту шубу, так как корсет запутывается глухими узлами, чтобы молодому мужу затруднить операцию распутывания, что требует немало уменья, иначе приходится разрубить корсет, как гордиев узел мечом,—кинжалом.

У матери не оказывается молока, а между тем появившийся на свет ребенок заявляет неистовым писком о своем голодании. Мать не знает, почему у нее нет молока, да и соседки, соболезнующие такому печальному явлению, тоже не умеют объяснить эту причину, разве найдутся такие из них, более находчивые, что припишут это божьему наказанию. А между тем это есть прямое последствие затягивания в корсет в молодости. Не зная причины такого последствия, мать, в свою очередь, затянет свою дочь в корсет,— такой уж *æгъдау* (обычай), иначе осмеют, как только у дочери без корсета появятся груди—признак нескромности.

Особенно усердно затягивается в корсет прекрасный пол высшего разряда: узденки, княжны, уорки, а чернолюд остается к этому *æгъдау* непричастным, признавая ношение корсета неудобным для своей подвижной жизни и нецелесообразным во всех других отношениях. Хотя, может быть, это делается и бессознательно, но результат такой бессознательности выходит очень благотворный: прекрасный пол низшего разряда здоровее, веселее...

Одно весьма полезное обстоятельство избавляет детей высших сословий от большой смертности—это обычай принимать ребенка на вскормление—*аталычество.* Обычай этот среди народа держится не с тою силою, как прежде, но он еще существует. Он состоит в том, что женщина низшего класса берет на вскормление новорожденного от матери высшего сословия.

Вскормив ребенка, она получает множество подарков от родителей ребенка и пользуется их покровительством в нужное время. Поэтому, если рождается ребенок у лица влиятельного, то к нему с просьбою вскормить ребенка является много охотниц. Ребенок поступает под исключительное покровительство кормилицы и родители никакого участия не принимают в его воспитании.

Это-то случайное обстоятельство избавляет многих матерей-узденок и княгинь кабардинских от критического положения, когда они сами не имеют возможности вскормить своим молоком ребенка.

Итак, было бы весьма желательно, чтоб обращено было серьезное внимание на искоренение вредного костюма *хæлынкæрц* хотя бы путем угрозы взыскания штрафа с тех, которые вздумают зашивать свою дочь в этот чудовищный корсет. Нам кажется, что не пришлось бы даже прибегать к мерам угрозы, если бы нашлись люди, которые сумели бы растолковать горцам, какое пагубное влияние имеет ношение корсета на физиче-

ское сложение женщины и как вредно оно отзывается на всей последующей ее жизни и даже на жизни ее же детей.

К ВОПРОСУ О КОЛОНИЗАЦИИ ЮЖНО-УССУРИЙСКОГО КРАЯ

Очерк первый

Излюбленной темой современной русской журналистики и общественных толков в последнее время стал вопрос переселенческий.

Хотя об этом говорено было и раньше, но никогда общество не относилось к этому вопросу с таким интересом, как теперь.

Переселенческие движения начинаются с исторических времен и будут существовать до тех пор, пока люди населяют нашу планету. «Рыба ищет где глубже, а человек—где лучше»,—говорит пословица, но когда он найдет это «лучше», никто не может определить, ибо это «лучше» он ищет почти всегда там, где его нет. Эта присущая человеческой натуре черта и есть двигательница народных масс из одних мест в другие. Эти движения русского крестьянина начинаются сперва во внутренних губерниях европейской России, потом принимают более обширные размеры, и район переселенческих пунктов расширяется все больше и больше. И потянулись эти народные массы, наконец, к окраинам государства в поисках каких-то «обетованных земель» и «молочных рек с кисельными берегами»... «Шукают» себе «доли» эти массы сперва в Крыму, в «Таганьем роге» (Таганроге), в Кубанских землях, на «Капкае», в Моздоке, а там дошли и до Оренбургских и Киргизских степей, до Тобольска, Томска, до Семиреченской области, до Амура и вот добрались и до Приморской области—до Южно-Уссурийского края, туда, где, по народному выражению, «край-конец свету», ибо далее уже неоглядное, бесконечное «синее море». А каких трудов стоило переселенцам добраться до «края света», сколько сил, энергии и времени потратили они на это, известно только им самим да немного, пожалуй, присяжным «народникам», которые специализировали вопрос об этих скитальцах по обширным пространствам Сибири. Примитивный способ передвижения переселенцев сухим путем усугублял страдания этих скитальцев. Хотя и ассигновалась от правительства субсидия для облегчения судьбы переселенцев, но она редко достигала своей прямой це-

ли. А отсутствие попутных станций, где бы переселенцы могли передохнуть и оправиться от утомительной дороги, и неимение людей, которые бы указывали им верный путь к цели, дополняли все невзгоды переселенцев. Желая найти лучшую *долю,* они шли в Сибирь, «на приволье», проходя ради этого всевозможные мытарства. Они терпели холод, выносили голод, непогоду, утрату членов семьи от непосильно трудного пути, теряли последнюю лошаденку, тележку, пользовались покровом неба и постелью сырой матушки-земли и, наконец, останавливались где-нибудь на Алтае, на Амуре или в Уссурийском крае...

«Целые караваны переселенцев, по сто и более семей зараз,—говорит Максимов,—двигаются до последнего времени по сибирским дорогам. Караваны эти не имеют нигде крова, они останавливаются под открытым небом, в поле; здесь располагаются целые семьи под телегами, больные и дети находятся тут же. Нередко приращение семей, как и смерть, застигает людей во время путешествия, тоже среди поля.

Положение значительной части переселенцев — нищенское. Входя в Сибирь,они уже начинают питаться подаяниями по деревням*, и нищенство составляет принадлежность переселенца, иначе дойти до места у него не доставало бы средств...» «Благотворительность — помощь весьма случайная. Нищета и лишения переселенцев проглядывают везде».**

Таким образом, бороздя по всем направлениям Сибирь, переселенцы теряют массу сил, энергии, не говоря уже о том, что истрачивают все те деньги, которые они выручили продажею своей родной хаты и земли. Если к этим неблагоприятным условиям прибавить еще то, что на пути, особенно в Томске, переселенцам приходится сталкиваться с людьми весьма сомнительной профессии из контингента ссыльных, которые их обманывают, обнадеживая устроить их судьбу за приличное вознаграждение, если знать, что невежественные переселенцы, веря их обещаниям, остаются долго около города, невольно соприкасаясь на первых же порах с ссыльным элементом и отвыкая от вековой привычки своей—земледелия, тогда станет понятным, какими путями переселенцы весьма часто нищают и совершенно изменяются в характере... Нельзя отрицать влияния

* Мы сами были свидетелями того печального факта, что даже те переселенцы, которые прибыли океаном в Южно-Уссурийский край, побирались с тою же целью по селу Никольскому... А между тем, эти крестьяне сравнительно с теми, которые двигаются континентом, должны быть богачами.— М. Ир.

** Максимов. «Положение переселенцев», «В[естник] Е[вропы]», 1881, авг[уст].

ссыльного элемента на переселенцев! Это доказывается многими фактами, перечислять которые излишне, думая, что каждый побывавший более или менее продолжительное время в местах нахождения ссыльных может вам вспомнить достаточно данных.

Количество ссыльных в Сибири составляет довольно заметный процент всего населения. По позднейшим сведениям число ссыльных в год доходит до 19 000 человек, если не больше. Прежде число это было значительно меньше, но с годами оно прогрессировало, так что с 1823 по 1878 г. всего сослано в Сибирь 391 000 человек! Из этого числа $^2/_3$ части не имеют постоянного места жительства, а обращаются в беглых и бродяг; эти-то последние особенно влияют на крестьян—пришельцев из России.

В Иркутской губернии, например, из 45 000 ссыльных на месте живет только тысяч 14...*

Хотя ссыльные и нелюбимы крестьянами, однако последние по силе сложившихся обстоятельств не могут от них отделаться и неминуемо должны иметь с ними общение. Мы отнюдь не отрицаем и то, что среди ссыльных есть и полезные люди для края, с хорошими задатками, приносящими пользу, но таковые люди редки даже между так называемой «золотой молодежью» из ссыльных колонизаторов.

Об отмене ссылки в Сибирь трактовалось довольно много, и в последнее время сделано предположение о средоточении всей ссылки на Сахалине и о постепенном уменьшении ее в Восточную Сибирь. Несмотря, однако, на приток массы ссыльных и переселенцев в последнее время, заселение Сибири все ж таки за все триста лет подвинулось баснословно медленно. Теперь в Сибири навряд ли есть 5,5 миллионов человек, между тем как в Америке насчитывается до 50 миллионов жителей. В настоящее время в Америке считается более девяти тысяч журналов и газет, с лишком 120 тыс. верст железных дорог, а в Сибири всего-навсего три газеты и ни одной версты железной дороги!..

Впрочем, главную причину такой громадной разницы культуры Сибири и Америки надо искать не в одной континентальной изолированности первой, как говорит Г. Шашков, «не в приходе, а в людях, в степени развитости народов, которыми пришлось заселять эти страны». Но так или иначе, а всемогущее время сделает свое, и Сибирь, особенно в отдаленных ее восточных окраинах, начнет свою новую историю культуры, как населенная новым, молодым, а следовательно лучшим, чем старое, обществом.

---

* Сведения эти относятся к 1882 году.— М. Ир.

Наши восточные окраины, без сомнения, находятся при более благоприятных условиях своего развития, чем остальная Сибирь. Причины понятны. Более удобное общение их с цивилизованным миром морским путем расшевелит невольно народную энергию, таящуюся теперь под спудом, и даст поступательный толчок жизни, усовершенствованию этой жизни во всех ее проявлениях; а, следовательно, явится мануфактура, промышленность, и из богатств края будет извлекаема должная *рациональная* польза... Да и не только нашим окраинам предстоит эта будущность, но от нее не избавятся даже те азиатские государства, которые, как казалось, обрекли себя на вечную косность, которые, казалось, никогда не придут в соприкосновение с цивилизацией. Ход современной их жизни говорит за то, что косность эта была только временная, кажущаяся, да и история человечества не допускает вечной косности, не допускает того, чтобы человеческая жизнь находилась постоянно на одной и той же точке замерзания...

Не отклоняясь от главной темы настоящего очерка, мы думаем, однако, что не ошибаемся, если скажем, что ввиду указанных благоприятных условий, Южно-Уссурийский край будет иметь для русского государства в недалеком будущем весьма важное значение, почему необходимо обратить *серьезное* внимание на его заселение и развитие. В последнее время вопрос заселения края значительно упростился благодаря тому, что переселенческие движения совершаются к нам уже не сухим путем, а морем, следовательно этим сохраняется масса сил народных, которые прежде тратились бесполезно по неоглядным сибирским лесам и полям; не будут теряться по обширной Сибири, неведомой никому по незнанию дорог*... Нельзя не сочув-

* До какой степени доходило беспорядочное заселение Сибири переселенцами и насколько местные власти относятся добросовестно к распознаванию края, видно из следующего примера, приведенного у г. Шашкова в «Сибири на юбилее» («Дело», 1882, № 6).

Один начальник, объезжая границы, узнал, что казаки ведут споры с мужиками.— Да какие же здесь мужики? — спрашивает изумленный начальник. Отправившись в экспедицию, он увидел в неприступных горах выросшую самовольно русскую деревню.— Кто вы такие? — спрашивает пограничный начальник.— Мы российские! — Кто вам дозволил здесь поселиться и как вы смели?—Мы не на твоей земле живем,—отвечали переселенцы.—А на чьей же?—Мы киргизскому султану, что в Китае живет, другой год дань за землю платим,— отвечали наивные русские колонисты, вообразившие, что они находятся в китайских пределах. На самом деле они были еще в пределах России, хотя в такой местности, которую плохо знали и русские.

ствовать возможно скорому заселению Южно-Уссурийского края, каковой идее сочувствует и местное общество, выражая это сочувствие добровольными пожертвованиями. С другой стороны, заселение края должно быть более рационально, чем в принципе этой идеи, небходимо регулярное расселение поселенцев, а не как попало, иначе встретятся весьма серьезные затруднения. А чтобы избавиться от этих затруднений, необходимо знать все условия заселяемого края: климатические, статистические, почвенные и другие. Только при знании этих условий и мыслимо разумное заселение края.

А знаем ли мы их достаточно хорошо? Есть ли у нас подробные карты, необходимые для регулирования заселения? Знаем ли мы хорошо те пункты, которые по их стратегическим условиям прежде всего надо заселить?* Да известны ли эти сведения даже самим гг. исправникам и заседателям?.. Затем при заселении края не следует упускать из виду и другие затруднения, которые могут встретиться при большом наплыве переселенцев. Что будет, если целые тысячи невежественной толпы наплывут в наши окраины при существовании местных исправников и заседателей, далеко не отличающихся ни своим образованием, ни добросовестным отношением к своим обязанностям, к тому же при их малочисленности?! Никакое общество в мире, говорит Е. Марков, не согласилось бы всколыхать стихийные силы народа и искусственно вызвать своего рода первобытную борьбу общественных атомов. Никакое quos ego правительственного трезубца не было бы в силах успокоить потом расходившиеся народные волны, тем более направленные в предначертанный фарватер. Земли захватывались бы силою, одна переселенческая партия билась бы с другою, оседлые прогоняли бы кочующие таборы, таборы брали бы поселения оседлых. Чтобы руководить даже с внешней стороны этим хаосом, нужно пройти долгую, трудную школу истории, нужно крепко усвоить себе принципы опеки. Овладеть этим хаосом и подчинить его одной направляющей воле возможно бы разве только при применении строжайшей военной дисциплины... Только *при умеренном и постепенном переселении всякий неудачный опыт может быть поправлен, всякая нужда усмотрена и удовлетворена, всякая опасность устранена.* Только при этом условии силы правительства и земств могут оказаться по плечу своей важной задаче.** Вот оборотная сторона переселенческого вопроса. Было

* О необходимости статистического и топографического исследований Южно-Уссурийского края говорилось в одном из №№ «Владивостока»—Ред.

** Русская речь, 1882 г., февраль.

бы лучше при этом, если бы общественная благотворительность, не простираясь слишком далеко, распространялась бы только на тех, которые сильно обременены нуждой; иначе к описанным неблагоприятным условиям присоединится еще излишнее нянчанье, излишняя опека, которую неразвитый переселенец истолкует в неблагоприятную сторону, так как он не привык к ним по сложившимся обстоятельствам прошлой его жизни. Никакая благотворительность не может принести переселенцу столько пользы, сколько принесет ему развитие в нем любви к земледелию, приохочивание его к этому прямому традиционному его занятию. Как только в крестьянине угасла любовь к земледелию, из него при отсутствии здесь пока промышленности и торговли, к которым бы он мог приурочить себя, неминуемо должен выйти кулак-мироед или просто бездомный пролетарий. Поощрить переселенцев возможными средствами к земледелию — значит сделать благое дело, и человек, который даст тому делу почин, может сказать ,что он сделал «разумное, доброе, вечное», за которое он вправе ожидать, по выражению поэта, «сердечное спасибо».

В следующих очерках я постараюсь обратить внимание на другие стороны затронутого вопроса, имея в виду материалы, выработанные лучшими знатоками русского переселенческого движения.

Очерк второй

«Переселенческий соблазн есть психическая болезнь нашего крестьянства, подтачивающая силы его, балующая его дух, часто делающая его негодным ни здесь, ни там, обращающая спокойного трудолюбивого земледельца в тревожного и праздного скитальца, нигде не находящего места и дела по своему вкусу».

(Е. Марков. «Русская речь». 1882 г., № 3.)

Движение колонизационного элемента в Сибирь относится к тому времени, когда стало известным баснословное богатство края пушными зверями и золотом. Охота за дорогими соболями, за белками, за чернобурыми лисицами и безграничная жаж-

да обогащения золотом потянули сюда массу предприимчивых авантюристов, которые кинулись сюда очертя голову... Одержимые ненасытной жаждой богатства, они разбрелись по сибирским тайгам и полям, охотясь на соболей, отыскивая золото. Но край от первых колонизаторов-авантюристов не мог ожидать ничего путного, кроме громадного вреда, ибо в принципе их идей лежала не культура края, а личное обогащение, для чего они не останавливались на практике ни пред какими средствами... Скитаясь по диким сибирским лесам и сталкиваясь лишь с инородцами края, на которых они смотрели, с одной стороны, как на существа, лишенные человеческих чувств, а с другой —как на безответный продукт своего обогащения, души их настолько очерствели, огрубели, что они стали охотиться впоследствии за бродягами* и приисковыми рабочими с замечательным равнодушием. Они наводили панику по всей Сибири на этих несчастных, которых убивали в тайгах, словно белок, и обирали.

Вот что рассказывал один бродяга в «Записках о Сибири» г. Благовещенского. «Разбойники (охотники на горбачей) страсть бьют нашего брата. Убить ему ничего за всякую малость, а другие и ни за что, только бы отобрать у него деньги, а то и одеждой бродяжеской не побрезгуют. Белка ведь стоит пять копеек,—говорит сибиряк,—а с горбача все на полтину возьмешь!» И это говорится вслух, без стыда, добавляет сам Благовещенский... «Охота на бродяг,—говорит он далее,— не случайное, а укоренившееся зло, к которому сибиряк привыкает с детства. Крестьянский мальчик, вместо того, чтобы по-своему наслаждаться жизнью, смотрит уже разбойником и, между прочим, просит отца убить бродягу из винтовки, чтобы посмотреть, как горбун будет на горбе вертеться»!.. Эта каннибальная черта коренного сибиряка еще не исчезла совершенно с корнем вон, а проявляется все ж таки в темных уголках края, среди таинственных лесов, безмолвных свидетелей потрясающих драм, разыгрываемых бессердечными погонщиками за легкой наживой. В более видных местах, даже по большим трактам, эта жажда легкой наживы принимает несколько другую форму, которая, впрочем, мало отличается от первой, хотя и не всегда сопровождается убийством. Кто читал прекрасный рассказ г. Наумова «Паутина», тот представит себе, до какой грандиозности доходит хищение несчастных приисковых рабочих...

* Их называют «горбачами» по котомке, которую они носят на спине и в которой они носят все свое имущество. Котомка эта представляет на спине их нечто вроде горба.

И до тех пор, пока эти грустные явления окончательно не исчезнут в сибирском крестьянине, пока он не будет гоняться за легкой наживой в виде заманчивых, но бесплодных работ на приисках, отрывающих его от сохи и делающих его нищим и деморализованным,— культура края долго-долго еще будет одной мечтой... Но таким недугом больше одержимы давнишние переселенцы, прошедшие огонь, воду и медные трубы, озлобленные, может быть, борьбою с легендарными трудностями переселения и теперь срывающие зло со всякого за все прошедшие лишения.* Более позднейшие переселенцы, конечно, и могут быть более полезными для края... Но все эти переселенцы теряются в обширной Сибири, и для нее они не заметны: громадные пространства земли еще остаются незаселенными и ждут труженика-пахаря. И в самом деле: что значит пяти с лишком миллионное население для края, который может вмещать и прокормить, по словам Гартвига, до двухсот миллионов жителей?! Но замечательное явление: и тут крестьянин не находит себе постоянного пристанища. Нередко он и тут мечется с места на место, и это перекочевывание нередко делается безотчетно и составляет, так сказать, хроническую болезнь крестьянина, имея при этом важное экономическое значение в народной жизни.

Каковы же мотивы этого бесконечного перекочевывания не только в России, но даже в Сибири? Какие причины побуждают крестьянина переселяться из мест, очень плодородных и малонаселенных, на места с менее благоприятными условиями? Не есть ли это явление фактор экономического нашего хаоса? Многие ищут причину беспрестанных перекочевываний исключительно в малоземелье. Но единственная ли это причина? «Переселенца гонит нужда,—говорит г. Ядринцев,—в многообразных формах: промышленные кризисы, тягость податей, потребность оградить веру (старообрядцы). Мы встретили переселенцев из Тобольской губернии, которые ушли в Алтай, потому что им ссыльные жить не дают, обижают». Это был для нас новый факт в смысле последствий штрафной колонизации: старожилы уже бегут от нее. В экономической сфере переселенец тяготится не одним малоземельем, но он побуждается к выселению безлесием и маловодием!.. Да и может ли быть недостаток в земле в нашей великой и обильной России?! Кто может отрицать то, что для наличного количества народонаселения

* Усиленное движение государственных крестьян в западные губернии Сибири началось лишь с 1852 года; до 1863 года они были исключительными переселенцами из крестьян, после же этого года начинается переселение освобожденных из крепостной зависимости.—М. Ир.

России всегда есть достаточно простора, несмотря на то, что миллионы десятин розданы разным значительным лицам при Екатерине Второй и Павле. А башкирские земли?.. Кроме того, казною было дозволено приобретать в частную собственность слишком большое количество земли; такими частными приобретателями являлись нередко люди неземледельческого сословия, не преданные особенно земледелию, вследствие этого земледелие нисколько не подвигалось вперед. Несмотря, однако, на все это, казенных земель в России еще достаточно. «Когда уже теперь,—говорит г. Марков,—необходимо бежать из самарского приволья, где урожаи еще баснословны*, где на каждый двор приходится по 40, 50 и 60 десятин земли, то что же будет через какие-нибудь пятьдесят лет. Разве долго переселенческим ордам расцарапать и —«забаловать» барнаульский чернозем, повырубить алтайские и семиреченские леса, как они забаловали новоузеньскую почву, как повырубили вятские и уфимские леса, для того, чтобы при первом неблагоприятном климатическом обстоятельстве бежать куда-нибудь еще дальше, в Уссурийский край, в Приморскую область и там вырубать все, что еще не вырублено, истощить все, что еще не истощено!..»**

Далее он говорит: «Никакой чернозем и никакие размеры наделов не обеспечат хозяина, который отказывается изучать свое дело и настойчиво биться над ним.

Правильная система хозяйства есть фактор такой же неизбежно нужный, как и сама почва, к которой эта система должна примениться. Мы, русские, даже образованные люди, только задним умом крепки. Увлеченные своей верой в спасительность переселения, мы теперь горячимся, кричим, что правительство должно, не раздумывая и не колеблясь, выселить разом целые провинции, бросать разом миллионы рублей, отводить разом миллионы десятин земли». А князь Васильчиков в книге «О землевладении» доказывает развращающее на крестьян влияние земельной спекуляции, прикрытой маской переселения, и стремление к переселению объясняет гораздо более вредною распущенностью нашей «залежной» системы хозяйства, чем мало-

* По свидетельству Л. Мечникова, Самарская губ. принадлежит к плодороднейшей группе. Средний урожай яровых и озимых от сам 6—8. Средняя населенность менее 20 душ на I кв. километр.— «Колонизация в Австралии и Америке», «Дело», 1880 г., № 11.

** С точки зрения экономической справедливость выводов г. Маркова нельзя отрицать, но, как мы будем иметь еще случай говорить, крестьянин, переселенный в Уссурийский край, имеет важное государственное значение.— М. Ир.

земелием крестьян. Л. Мечников в статье своей «Колонизация в Австралии и в Америке» (Дело, 1880, № 11) добавляет: «Легко можно исторически проследить все пути, которыми задача земледельческой колонизации России пришла в то хаотическое состояние, в котором мы ее застаем и за которое расплачиваемся теперь всем известными экономическими поражениями и невзгодами: сперва татарское нашествие, затем централизационно-фискальные притязания Москвы и, наконец, крепостное право. Но ведь и другие европейские народы, самая Франция проходили на своем веку не через один тяжелый искус в своем развитии. Вся сила их заключалась в том, что, когда приспевал час, они находили силу стряхнуть с себя обветшалое бремя. Мы же давно уже видим, что народное хозяйство наше точит у корня какой-то червь, что здесь плодороднейшие поля глохнут от недостатка рабочих рук, там, напротив, массы рабочих рук чахнут от недостатка полей, но утешаем себя тем, что все эти аномалии «естественно объясняются историческими условиями и недавностью колонизации. Позволяем себе напомнить читателю, что Сан-Франциско был весьма невеликим в устье реки Сакраменто городом в то время, когда в Миргороде уже давно Иван Иванович, поссорившись с Иваном Никифоровичем из-за гусака, судился в поветовом суде, местном представителе государственной юрисдикции. В Сан-Франциско же не было ни поветовых судов, ни даже вкусных бубликов из черного теста. Русские звероловы блаженной памяти американской компании, представляли в нем цивилизующий элемент и насаждали первые опыты земледелия и огородничества в его окрестностях. Прошло всего тридцать лет, и Сан-Франциско стал одною из столиц всемирной промышленности и торговли, а Миргород остался Миргородом, только внуки Перерепенко и Довгочхуна, продолжая наследственную ссору из-за гусака, стали теперь обвинять друг друга в каких-то зловредных *измах*... На подобные замечания возражают обыкновенно одно: «Так то же Америка!»... Да, видно, нам еще рановато все ж таки гоняться за Америкой, когда еще надолго отымет времени дубление отечественной «медвежатины», особенно здесь, в Сибири, где инициаторами в общественной жизни — сибирской — является почти исключительно не коренное, туземцев, общество, а чиновники и офицеры, которые считают себя здесь временными гостями и уезжают в Россию, иногда не окончив начатого труда».

Впрочем, между этой интеллигентной половиной сибирских колонизаторов часто попадаются люди, которые фигурируют в здешнем обществе, руководствуясь пословицей, что на безлюдье и Фома дворянин. И вдруг какой-нибудь Петр Владимирович

Мерский является к нам из северной Пальмиры, где он был тише воды, ниже травы, где он об аристократизме не имел понятия, и начинает фигурировать в качестве примерного аристократа, понимая это в смысле делания гадостей, доносов, казнокрадства. Modus vivendi этих Фомок большею частью бывает скорое обогащение, помня то, что не сегодня-завтра могут потерять тепленькое местечко, и потому люди эти не останавливаются ни пред какими средствами для наживы. Время для них—деньги. Бывают они комичны, но как бывают еще гаже!.. Но в конце концов напоминают они собою некоего четвероногого ушана, фигурирующего в львиной шкуре...

К ВОПРОСУ ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ В КАМЧАТСКОЙ ЕПАРХИИ

Из опубликованного повсеместно в епархии «распоряжения камчатского епископа к ограничению в своей епархии пьянства» явствует, какой серьезный характер принимает это зло в крае. Цель «распоряжения» благая: остановить широкое распространение зла путем религиозно-нравственных назиданий. Таким образом, пройти молчанием вопрос, имеющий весьма важное значение, значило бы сделать довольно крупный пробел в вопросе ознакомления с краем. С своей стороны, не претендуя на компетентность в решении данного вопроса, я хочу только высказать некоторые свои замечания о степени потребления алкоголя в крае. Чуждые тенденциозности, замечания эти дополняют лишь упомянутое распоряжение, указывая в то же время на главнейшие причины алкоголизма и на меры уменьшения прогрессивного развития этого безотрадного явления среди местного населения.

Алкоголизм есть явление анормальное, слишком уродливое вообще в природе человека. До известной степени потребление алкоголя, возбуждающих наркотических веществ стало потребностью человека, потому вопрос о совершенном уничтожении алкоголизма был бы борьбой, в высшей степени тяжелой. Борьба с этим сильным злом ведется со времен его зарождения и чуть ли не с библейских времен Ноя, открывшего чудодейственное свойство виноградного сока. Издаются всевозможные циркуляры, пишутся ученые сочинения об алкоголизме, преподаются разные средства к борьбе с ним и учеными, и шарлатанами, закрываются кабаки и трактиры, подымается акциз, образуются лиги женщин в Англии и Америке, призывающих на головы пьянствующих мужей все перуны небесные, они же

совершают толпами походы по всем кабакам, уговаривая хозяев прекратить свою торговлю; наконец, говорятся прочувствованные речи пастырями в храмах, призывая к трезвости одержимых страстью к этому пороку. Но, увы!—все напрасно! Враг человеческий выйдет в двери, а влезет в окно в другом, преображенном виде.

Первобытный дикарь, питающийся безыскусственными продуктами природы, уже отыскивает среди трав и ягод такие, которые действуют на него возбуждающим образом, близко подходящим к действию алкоголя. Дикари тропических стран, как рассказывают путешественники, пьют сок, добываемый из разных дерев, чтобы привести себя в состояние опьянения. Африканские дикари открыли дерево, дающее от себя сок, весьма напоминающий шампанское как по виду, так точно и по вкусу и действию на организм. Соком этого чудного дерева дикари упиваются до желаемого опьянения. Цивилизованный человек достигает той же цели более ухищренным путем,—с помощью разных усовершенствованных орудий, дающих ему возможность потреблять добываемый алкоголь в самых разнообразных видах и в несравненно большем количестве. Замечено, что народы западные, кичащиеся своим превосходством над восточными народами, в большей степени преданы пороку алкоголизма. Среди так называемых восточных народов алкоголизма вовсе почти нет, хотя одинаковый результат опьянения достигается посредством потребления хашиша или опиума, жаль только, что статистика еще не достигла того состояния, чтобы могла похвастаться точными цифровыми данными, показывающими степень потребления алкоголя в разных странах, так как вопрос этот ускользает от точных наблюдений. Тем не менее, приблизительные данные дают повод думать, что алкоголизм в Европе и Америке, и вообще там, где живут цивилизованные народы, скорее прогрессирует, чем уменьшается. Ввиду такого громадного потребления <алкоголя> во всех государствах, акцизу на алкоголь отводится самое видное место в государственном бюджете. В Европейской России при 88,5 миллионном населении вообще на душу приходилось безводного спирта 0,27 ведра, а прежде 0,30, налог же средний с души—2 р. 43 к. (во Франции 6 франк. 35 сант.); на действительного рабочего местного населения приходилось 9 р. 72 к., на городского рабочего еще больше. В 1886 году сравнительно с прошедшими годами, потребление вина, по-видимому, уменьшилось, судя по тому, что в этом году было выпито 24,3 млн. ведер спирта, в предшествовавшем же 26,8 млн. Но это зависело от уменьшения только платежных средств народа, а не от физических или психичес-

ких свойств его. Точно так же уменьшение алкоголизма не зависит от уменьшения кабаков, что показал опыт 1887 года. В этом году в Европейской России кабаков было меньше, чем в 86 году, а между тем пьянство увеличилось. Вообще доказано, что разные системы к уменьшению пьянства в разных странах не приводили к положительным результатам, так как системы эти встречали весьма серьезный тормоз в виде тайной, безакцизной продажи вина, которую подавить нет никакой возможности. Уменьшится количество кабаков или подымется акциз на вино—неминуемо должна появиться подпольная гонка спирта и тайная торговля им. У нас, в Европейской России, такая безакцизная тайная продажа столь значительна, что достигает действительного сбыта вина. Из разных видов тайной продажи вина в России отметим один—это «разнос», который большей частью практикуется евреями. Этот вид продажи состоит в том, что услужливый торговец разносит спирт сам по селам и даже по полевым работам, получая на месте в уплату продукты крестьянского труда или закабаляя потребителя на работы.

Но если такое отступление от правительственного акциза имеет место в Европейской России, то понятно, что безакцизная, тайная торговля имеет более широкое распространение у нас в Сибири, где акцизное дело находится в гораздо худших обстоятельствах. И нет ничего удивительного, если таковая продажа вина существует в Сибири в самых широких размерах. Об руку с такой продажей отечественной водки идет тайный подвоз из-за границы китайского ханшина, который выкуривается почти свободно в наших же пределах. Дешевизна ханшина особенно манит потребителя, хотя по качеству своему, если он не двойной или тройной гонки, стоит несравненно ниже нашей водки самого низшего достоинства. Ханшин преимущественно употребляется как самими китайцами-манзами, так и нашими инородцами: орочонами, тазами, корейцами, голядами, гиляками. В какой кабальной зависимости находятся эти инородцы у кулаков-манзов, можно видеть из охотничьих рассказов Максимова.

Эксплуатация манзами наших инородцев достигает крайне печальных результатов, и тут все орудует тот же ханшин, которым их опаивают и в пьяном виде обирают или заставляют входить в тяжелые обстоятельства. В окрестностях Никольского есть корейские деревни; обитатели их крещены. Желая ознакомиться с бытом корейцев, я сделал маленькую экскурсию, из которой и убедился в печальном экономическом их состоянии. А между тем китайцы среди этих корейцев держат (по крайней мере это было так в 1884г.) сулейные заводы, сбывая

свой продукт корейцам, которые работают на них, если не могут уплатить своими заработными деньгами. Но местами не в меньшей степени, чем среди инородцев, потребление сули среди наших крестьян и казаков, живущих в пограничных с Китаем станицах. Из разных пограничных пунктов получаются корреспонденции в газ. «Владивосток» о тайной продаже сули манзами и сбыта ее крестьянам и казакам. Кажется, в 1885 году была напечатана весьма интересная корреспонденция из ст. Полтавской. Корреспондент говорит, что ханшин не только пьют взрослые, но им упиваются и женщины, девицы, дети; говорит о печальных последствиях поголовного потребления сули: о мотовстве, распущенности нравов. Корреспонденция заключается весьма грустными словами автора, что «когда-нибудь при таком положении вещей китайцы разобьют одной бутылкой сули всю нашу пограничную стражу». Из этих слов явствует, что и в других пограничных станицах чрезмерное потребление сули тоже не исключение.

И странное дело, что наряду с такими безотрадными известиями, оттуда же, из ст. Полтавской, сообщали о довольно хорошем состоянии школы и о достаточности учебных пособий и числа учащихся мальчиков. А в то же время, как бы для более резкого контраста, об учебном деле из богатейшего в Уссурийском крае села Никольского писали самые безотрадные известия, тогда как крестьян нельзя было укорить в излишнем употреблении спирта и сули. Село же Раздольное, тоже населенное крестьянами, имея сравнительно с количеством жителей излишек кабаков (виноторговлей), не только не имеет в настоящее время школы, но и отклоняет всякую о ней мысль. Вообще же говоря, взгляд крестьян на дело воспитания иной, чем у казаков, откликающихся на это с большой симпатией, с большим активным участием. Но если казаки и крестьяне пьют ханшин, потребляя его в излишке и соблазняясь дешевизной его, допускают спаивать себя китайцам, то с другой стороны, сами русские кабатчики не только не отстают от них, но даже превосходят их в этом. В этом отношении они, эти кабатчики, являются прямо искусителями-бесами в образе человеческом, открывая казаку и крестьянину соблазнительный кредит, которым потребитель охотно пользуется для того, чтобы потом отдать кабатчику все свое до последней нитки. Кабатчики, кроме того, принимают вещи всякого рода от несчастного пропойцы под залог, а к довершению всего зла, они примешивают к водке и дурману, и воды, и все то, что может увеличить одуряющее свойство на потребителя, не заботясь о вредном влиянии составленного ими зелья и не боясь строгого контроля акциза.

Чувство жалости у этих вампиров настолько притупляется, что они с полным хладнокровием взирают на падение своих завсегдатаев, которых они же споили и обобрали. А какое раздолье для практики тем кабатчикам, которые торгуют на пути следования так называемых «приискателей»! Это время, когда голодная и жадная до широкого разгула толпа обрекает себя на адскую приисковую работу, и, получая вперед задаток, толпа эта ищет удовлетворения своим чисто животным инстинктам. И вот жадные к легкой наживе крестьяне расставляют приискателям по всем попутным селам свои заманчивые сети. Кто читал прекрасный рассказ сибирского бытописателя Наумова «Паутина», тот поймет, до какого безобразия доходит спаивание этих несчастных приисковых рабочих, которых обирают часто так, что они остаются в костюме Адама, зато льется вино не рекой, а целым морем. Пьют сами крестьяне села, где гуляют приискатели, упиваются жены их и дочери, превращающиеся чарующей силой денег в бесшабашных Мессалин. Та же картина повторяется и там, где появляются денежные приискатели. А разве мало таких пунктов в районе камчатского епископства? Не служат ли эти «паутины» рассадницами деморализации? Даже в самом Благовещенске мне пришлось видеть кортеж этих кутил на лихих тройках с разукрашенными дорогими материями дугами. А мало разве приисков в Амурской области?! Мало разве туда идет народа?! Идут не сотнями, а тысячами. Достаточно вспомнить Олекминские, Зейские и другие прииски, чтобы составить понятие о числе рабочих, потребных для них.

А ссыльно-каторжные? А бродяги, которых по селам сибирским можно насчитывать массами? Поселенцы эти—отверженцы, отщепенцы общества, поселившись в совершенно чуждой им среде, не могут никак слиться с этой средой, относящейся к ним с первого же раза с чувством не только простого пренебрежения, но даже нескрываемой ненависти, клеймя несчастного позорным прозвищем «варнака». Крестьяне чувствуют, что им навязали совершенно чуждого члена, и никак в то же время не могут свыкнуться с мыслью, что при другом, более мягком, братском отношении к нему, как к несчастному, из него может быть, вышел бы для их же общества полезный член. Крестьянину нет дела до причин, почему сослан этот поселенец; он не задается целью взвешивать его нравственные данные, а смотрит совершенно своеобразно: сослали, значит, он бесповоротно испорченный человек, от которого ему следует сторониться подальше. При таких условиях поселенец, поняв свое настоящее положение среди крестьянского общества, тоже озлобляется и

ищет утешения часто в вине,—пьянствует и окончательно падает. Хорошо, если в своем падении он, озлобленный, не увлечет кого-нибудь из членов того же ненавистного ему общества. Таким образом, весьма часто поселенцы делаются пьяницами и не могут не иметь влияния на крестьян, особенно если процент поселенцев значителен в данной деревне. Типы этих несчастных отверженцев прекрасно описаны Ядринцевым в его книге «Русская община в тюрьме и ссылке».

Такова в общих чертах картина причин, порождающих пьянство в районе камчатской епархии. Но какие же меры могут быть применимы к тому, чтобы уменьшить пьянство при описанных выше условиях? Было говорено, что разные способы пресечения алкоголизма в разных странах не приводили к положительным результатам, тем не менее эти средства служили хотя паллиативом, уменьшали хотя отчасти зло.

Поэтому нечего думать о радикальном искоренении зла, а стараться уменьшить его в возможной степени подходящими мерами. Следовало бы прежде всего воспрепятствовать самыми энергичными мерами притоку к нам ханшина из Китая и закрыть безусловно все сулейные заводы, особенно бдительный надзор учредить за тайной торговлей водкой и сулей, уменьшить излишек кабаков. Следить, чтобы кабатчики не спаивали потребителей, открывая им заманчивый кредит, доводящий их до окончательного разорения или кабального состояния; преследовать кабатчиков самыми радикальными карательными мерами, чтобы они не принимали в уплату за выпитое вино какие бы то ни было вещи или продукты труда; иметь строгий надзор в селах, находящихся на пути следования приисковых рабочих, и умерять там гомерический разгул, разврат и в то же время защитить несчастного «приискателя» от бессовестной эксплуатации кабатчиками и крестьянами; преследовать «паутину» и, наконец, желательно, чтобы сибирский крестьянин смотрел более человечно на несчастного ссыльного.

Заканчивая свой краткий очерк, я считаю нужным оговориться, что многое здесь неполно, так как я не располагал в данном случае более подробным материалом, да и размер газетной статьи не позволяет слишком распространяться, тем более, что всегда можно к нему вернуться. А лица, более компетентные в данном вопросе, могут пополнить сделанные мною пробелы.

КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ЧЕРЕЗ НЕГО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Статья первая *

Вопрос о сибирской железной дороге из области несбыточных мечтаний стал близок к фактическому осуществлению, но Сибирь все еще считается страной, окутанной мраком и полной необычайных явлений. Хотя такой взгляд на Сибирь верен до некоторой степени, тем не менее Сибирь не страна вечного холода, Сибирь не вечная тюрьма, здесь живут люди с присущими человеку чертами, а не одноглазые и одноногие и не людоеды, а вообще, как все русские, способны к культурному развитию при более благоприятных для этого данных. Вся беда в том, что Сибирь мало исследована, и литература наша об ней не богаче литературы внутреннего Китая, куда специально посылаются экспедиции. Зачастую сведения исправников и заседателей принимаются за чистую монету, без специальной строгой проверки их, отсюда прямое следствие нашего неведения края, отсюда и то печальное явление, что мы о чужом знаем больше, чем о своем. Усиление администрации, а наипаче водворение здесь законности и порядка, уничтожение господства произвола и грубой силы, которая в Сибири имеет слишком широкое применение, устройство путей сообщения и т. д.— все это повело бы к тому, что Сибирь стряхнула бы с себя вековой застой и осязательно доказала бы, насколько она способна к культуре и развитию, насколько она способна оправдать заботы о ней правительства. «Граждане», стоящие на страже развития народа, зачастую закрывают глаза пред настоящими причинами анормальных явлений в крае и судят об нем и вкривь и вкось, и доходят даже до такого абсурда, что отрицают пользу для Сибири как университета, так и железной дороги, т. е. прямо отрицают вообще пользу культурного развития края. Но может ли этого отрицания держаться истый «гражданин», желающий добра своей отчизне? Нет и нет! Такого убеждения может держаться злейший враг, но не доброжелатель всякого прогресса. А есть и почитатели этих «доброжелателей», поселяющих в кружке своих читателей неуверенность в своих способностях к культуре.

История развития американских колоний явно показала,

---

* Настоящий очерк будет печататься в форме ряда статей.— Авт.

сколь важны и необходимы прежде всего пути сообщения начинающей жить стране. А в этом хотя мы в состоянии подражать Америке для блага Сибири, а следовательно, и для всей России. Богатейшие области ее остаются забытыми в хаотическом беспорядке, тогда как при иных, благоприятных условиях, эти области могли бы быть серьезными источниками государственного обогащения. Одна из таких областей и чуть ли не из самых богатейших областей, есть Забайкальская область, которая несет на себе все последствия своего неустройства, несмотря на то, что край этот обставлен счастливо природными условиями.

Прежде всего постараемся пояснить подробнее настоящее положение края в связи с вопросом, что может ожидать от него государство при наличных условиях путей сообщения.

Забайкальский край заключает в себе обширные пространства земель, удобных для хлебопашества и скотоводства. Его горы изобилуют металлами и минералами, а реки и озера—рыбою; в лесах его водится еще ценный пушной зверь. Целебных минеральных вод в Забайкалье такое изобилие, что оно могло бы служить лечебницей целого мира, если бы эти воды были исследованы и устроены. Но относительная малочисленность населения и рутинное отношение его к сельскому хозяйству, издавна укоренившиеся вредные обычаи небрежного ухода за скотом и истребление лесов палами, бесхозяйственность инородцев-номадов, составляющих почти треть населения края, неправильная постановка частей золотопромышленности, вредно отражающаяся на общем экономическом положении края, более чем слабое развитие обрабатывающей промышленности, процветание которой обеспечивается многочисленными сырыми материалами; отстутствие сплошных сухопутных сообщений, недостаток всесторонних научных исследований для определения наиболее соответственной эксплуатации богатств края; бессилие администрации и суда удерживать в пределах закона и установленного порядка все разнообразные проявления народной деятельности—все это, естественно, не может служить к развитию края во всех функциях его жизни.

А между тем Забайкалье, давая государственных доходов ежегодно около 3 миллионов рублей, на удовлетворение своих потребностей расходует только до 500 000 рублей. Несмотря и на то, что край пользуется сравнительно меньшими благоприятными условиями своего устройства, чем все остальные области Сибири, он еще временами помогает и им.

Теперь остановимся на кратком обзоре края, а затем перейдем к естественным и производительным силам и экономической деятельности его населения.

Забайкальский край (область) занимает 59 991 662 десятины при населении 600 тыс. душ всех сословий. Границами его служат: Иркутская губ. с запада, Якутская—с севера, Амурская—с северо-востока, а Китайская империя—с юга. Яблоновый хребет при входе в пределы Забайкалья образует возвышенность «Чокондо» до 8000 ф. над уровнем моря и служит водораздельной линией между бассейнами оз. Байкала и р. Лены и бассейном р. Амура.

Яблоновый хребет, Шилкинские, Боризовские, Начинские и Даурские горы дают начало многим рекам, делающим Забайкалье, особенно юго-восточную его часть, страною, очень хорошо орошенною. Горы северо-западного Забайкалья чем севернее, тем лесистее. Приток Лены, Витим, после некоторого исправления русла может служить удобным путем сообщения между Забайкальем и Якутской областью. Юго-восточная часть Забайкалья покрыта почти вся лесами.

Весь этот край прельщает всякого разнообразием гористой местности и яркостью цветов альпийской флоры. Почва здесь, состоящая из смеси органических, минеральных намывных веществ, весьма плодородна. Луговые и степные места края по качеству своих трав представляют прекраснейшие условия для развития скотоводства в самых обширных размерах.

Главнейший источник Забайкальской производительности — земледелие. Черноземно-песчаная почва края весьма удобна для обработки сохою или плугом, общее число пахотных земель определяется около $1_1/^2$ миллиона десятин. При плодородных свойствах самой почвы, однако, являются естественные климатические уловия, которые тормозят дело хлебопашества; к этому еще присоединяется примитивный способ обработки. Однако некоторые причины, неблагоприятствующие развитию полеводства в Забайкальской области, не принадлежат к разряду неустранимых. Так, например, от последствий вредоносных засух можно оградиться искусственным орошением полей, что практикуется в обширных размерах в Туркестане, подверженном засухе в большей степени, чем Забайкалье. Мера эта тем легче выполнима здесь, что пашни расположены большею частью по долинам речек или по склонам гор, по которым обыкновенно протекают обильные водою ручьи. Сами жители, как, например, в Селенгинском округе, в гор. Баргузине, убедились в целесообразности этой меры, почему нередко можно видеть здесь орошенные поля и в особенности огороды, следовательно, администрации остается только поддерживать и поощрять эту попытку в борьбе с неблагоприятными условиями природы. Естественно, что, помимо других отрицательных условий

на успех хлебопашества главным образом влияет и достоинство семян, но они, к сожалению, не освежаются новыми, вследствие чего на хлебе является болезнь, называемая головней. Выше упомянуто было, что хлебопашество производится в Забайкалье примитивными орудиями, и население почти вовсе не знакомо с усовершенствованными земледельческими орудиями, почему особенно полезны были бы усовершенствованные плуги, сенокосилки и жатвенные машины. Это восполняло бы недостаток рабочих рук, замечаемый в крае, и повело бы ко многим другим благоприятным для развития земледелия последствиям. Во всяком случае хлебопашество в крае при указанных положительных данных оставляет желать еще весьма многого для того, чтобы оно в достаточной мере удовлетворяло продуктами своим хотя бы собственным потребностям. А какой застой дела происходит вследствие малочисленности хлебопашцев сравнительно с войсками, приисковым людом, торговыми и служащими, арестантами всех категорий, что составляет почти $^2/_3$ населения. Если упомянуть здесь еще бурятов, тунгусов-скотоводов, не засевающих хлеба, а питающихся от своих стад, тогда станет ясней причина недостатка в крае хлеба. Польза распространения в народе здравых понятий по части сельского хозяйства особенно необходима в Забайкалье, где процветание сельского хозяйства возможно лишь под условием уменья противостоять неблагоприятным земледелию естественным условиям климата. Если бы точно определить сумму материальных убытков, которые несет население от незнания и вредных предрассудков, то получилась бы многомиллионная цифра, во много крат превышающая весьма скромную цифру затрат, которые потребовались бы для распространения в народе необходимейших для него сельскохозяйственных познаний. И при таких-то весьма естественных требованиях реальных сведений в столице Забайкальского края, в г. Чите, единственное среднеучебное заведение, да и то только *классическая* гимназия.

Статья вторая

Если вы, читатель, проезжали через обширные поля Забайкальского края, то вы не могли не заметить обилие его стад рогатого скота и табунов его лошадей.

Его луга необозримы,
Там табуны его коней
Пасутся вольно, не хранимы...

Без всякого присмотра эти стада и табуны пасутся на вольном

просторе круглый год на подножном корму. Летом они тучны, умножаются, зимою же, рыская по тем же лугам, словно олени в тундрах, эти животные выкапывают себе из-под снега пищу. Но инстинкт этих животных, конечно, гораздо слабее отыскивания себе зимою пропитания, чем у северного оленя, да и копыта их не так остры, как у последних. Поэтому весьма понятна причина, почему к весне все эти стада и табуны не только тощают, но и падают от бескормицы. Человек не заботится о заготовлении для них пищи. Ко всему этому присоединяются и зимние бураны, пурги, которые заносят снегом часть этих табунов, застав их врасплох, среди степи. Прикрытий, где бы эти животные могли спасаться от этих случайностей, человек им также не делает. Заботясь о количественном приросте своих стад, местный житель в то же время забывает о самом важном—о безопасности хотя бы маток в период их родов. Вследствие этого и весьма важен вопрос о более рачительном присмотре за этими животными, об устройстве для них загонов, где бы животные эти могли укрываться во время зимних непогод, и об изготовлении для них в течение лета необходимого корма хотя для части этого скота, а особенно для маток, разрешающихся от бремени. Отсюда понятно, какой громадный размер приняло бы здесь скотоводство, если бы были устранены эти неблагоприятные условия, сильно тормозящие дело скотоводства. Край мог бы снабжать рогатым скотом, лошадьми, баранами и другими животными местной породы не только свое население, но и Приамурский край, до самого конечного его пункта, Владивостока. Все это громадное пространство Сибири нуждается в убойном рогатом скоте и в лошадях. Убойный рогатый скот в Приморском крае сравнительно дорог, и он заимствуется у монголов и особенно у корейцев. Но ведь как Монголия, так и Корея при возможных дипломатических сношениях наших с Китаем могут отказать нам окончательно в сбыте этого своего продукта. Корея в последнее время, по отзывам лиц, занимающихся снабжением нас мясом, уже теперь ощущает сильный недостаток в скоте даже для собственных потребностей, и легко может быть, что вывоз оттуда скота безусловно будет запрещен. Это можно заключить из того, что скот в Корее в последнее время вздорожал, бывший обильный пригон к нам корейского скота объясняется тем ,что корейцы польстились сравнительно высокими ценами, которые предлагались им нашими подрядчиками мяса. В самой Корее нет урегулированного крупного скота.

По имеющимся у нас статистическим данным, на основании которых мы пишем настоящий очерк, численность разного ро-

да скота в Забайкальской области равняется приблизительно трем миллионам голов. Но цифра эта постоянно колеблется в зависимости как от климатических условий, так и от мер охранения скота от неблагоприятных условий. Избыток продуктов скотоводства отправляется в Иркутскую губ. и весьма крупная часть в соседнюю Монголию, откуда население взамен этого получает кирпичный и байховый чай, сахар в леденцах, фрукты и прочие китайские товары. Прииски, как местные, так и амурские, снабжаются тоже забайкальским скотом, причем на Амур и далее к нам мясо идет еще в виде солонины, так как доставка живого скота сопряжена с громадными затруднениями при существующих путях сообщения. Отсюда понятно важное значение для края железной дороги, которая проходила бы чрез Забайкалье не до Сретенска, а беспрерывно до берегов Тихого океана, так как водная линия по рекам Восточной Сибири далеко не удовлетворяет требованиям сносного сообщения, часто повторяющаяся убыль воды в реках летом и осенью тормозят сообщение не менее, чем весенние распутицы, чему прямым доказательством служит настоящее время, когда мы давно уже не получаем почты. Нет никакого сомнения, что с устранением препятствий к доставке продуктов забайкальского рогатого скота и лошадей, разведение их урегулируется и примет более широкие размеры; в настоящее же время, несмотря на надобность в Приамурском крае продуктов скотоводства, последнее с каждым годом падает в Забайкалье за неимением возможности сбывать излишек. Той же печальной участи подвергается коневодство: оно заметно ухудшается в качественном отношении и уменьшается в количестве. Каждому понятно важное значение коневодства не только для Забайкальской области, но и для всего Приморского края, который снабжается также (что обходится весьма дорого казне) забайкальскими лошадьми, поэтому всеми мерами следует не только предупредить такое падение коневодства, но надо улучшить самую породу и расширить еще больше круг этого дела. Нам кажется, что в этом важном деле необходима инициатива со стороны самого правительства, так как хорошее качество лошадей играет немаловажную роль в военном деле.

Как в Забайкалье, так по Амуру и Уссури расположены казачьи войска и артиллерия, которые пользуются забайкальскими лошадьми. Прежде всего инициатива эта должна выразиться в учреждении в Забайкалье отделения государственного коннозаводства, в назначении особых поощрительных наград тем из заводчиков, которые выкажут более рачительный уход за лошадьми. При изумительных своих внутренних качествах, удо-

влетворяющих почти и детальным требованиям кавалерийской службы, крайняя неприхотливость в корме, легкость, выносливость,—от внешней представительности забайкальской лошади остается желать большего: она угловата, сравнительно плохо сложена и мала ростом. В этих видах помесь забайкальской лошади с более высшей породой, отличающейся более внешними породистыми качествами, дала бы желательный результат. Но все эти желательные меры, может быть, пока еще не осуществимы при настоящих условиях отдаленного края,—во всяком случае вопрос о предупреждении упадка коневодства в Забайкалье не может быть назван несвоевременным или маловажным.

К мерам поощрения и предупреждения надо отнести еще весьма важный вопрос об усилении в крае ветеринарного персонала для борьбы против эпизоотии, свирепствующей вообще в Сибири с удивительной силой, и при малочисленности или совершенном отсутствии ветеринаров считающейся положительно неотразимым народным бичом, уничтожая местами весь наличный скот и лошадей.

В близкой зависимости от эпизоотии находится экономический упадок населения. Кроме того, трудно уследить за тем, чтобы народ не утилизировал мясные и молочные продукты от больной скотины,—в предупреждении эпидемии: скарлатины, дифтерита и тифа. В этом труднее всего поддаются инородцы, потребляющие падаль. Хотя и говорят, что эпизоотия заносится в край из Монголии, но она обосновалась по всей Восточной Сибири так твердо, что потребуются теперь громадные усилия, чтобы хотя ослабить ее силы.

Кроме рогатого скота и лошадей, в Забайкалье разводятся овцы, олени, свиньи в незначительном сравнительно количестве.

Все эти животные требуют кроме того соль, но в крае цена этого предмета первой необходимости доходит до полутора рублей с пуда. В зависимости от недостатка соли находится и неудовлетворительная утилизация продуктов рыболовства, которые, как известно, требуют соли в весьма больших размерах. А между тем, в водах Забайкалья, особенно в озере Байкал, существует громадный лов всякой рыбы, преимущественно прославленного омуля, этого забайкальского лосося.

Устройством солеваренных заводов, которые бы давали потребителям дешевый и достаточный продукт, можно добиться того, что население не только в состоянии будет удовлетворять собственным потребностям, но познакомит с этой великолепной рыбой и Сибирь, и Европейскую Россию. Впрочем, одно ли омулевое дело находится в таком печальном положении вследствие недостатка соли, укупорочных материалов и затрудни-

тельности отправки по причине примитивного состояния наших путей сообщения. Все реки, озера и омывающие берега воды Сибири кишат такими ценными и вкусными рыбами, на которые иноземные промышленники посматривают с завистью. Кета, таймень, осетр, омуль, стерлядь и другая красная рыба могла бы насыщать не только самую Сибирь, но и Европейскую Россию, и избыток могла бы уделять и иностранцам за получаемые у них сардинки и другую консервированную рыбу, которую мы покупаем даже здесь. Попадись те же [сорта] рыбы хотя тому же иностранцу,—он так их приготовит, что мы сами же не узнаем в них продуктов собственных рек и будем расхваливать достоинства иностранной рыбы, с недоумением посматривая на свою свежую и не зная, что с ней делать.

Да, многому надо поучиться нашим промышленникам у тех же иноземцев, чтобы уметь пользоваться толково тем, что предлагает им здесь сама природа, чтобы уметь беречь свое добро, отрешившись от варварских, хищнических приемов в добыче этого добра.

Статья третья

Раньше мы говорили, что Забайкальская область, одна из обильнейших по своим природным богатствам областей Сибири, носит на себе все отрицательные последствия неустройства путей сообщения. Мы указывали на то, что скотоводство и земледелие—главнейшие занятия населения края,—прогрессировали бы при условии проведения через край железной дороги потому уже, что извоз, которым занимается значительная часть населения, транспортируя из Кяхты чайные грузы и из России товары,—потерял бы свою притягательную силу вследствие того, что перевозка тех же товаров совершалась бы по железной дороге; следовательно, извозчики неизбежно должны будут при осуществлении железной дороги обратиться к своему традиционному и благодарному труду—земледелию. Земледелец тем охотнее возьмется за свое дело, что он будет иметь возможность сбывать свой продукт по сходной цене, да и в остальной Сибири не могут быть такие резкие противоположности, какие мы видим в настоящее время, когда в одной области хлеб стоит баснословно дешево, а в другой—наоборот—баснословно дорого. При желательном же устройстве путей сообщения, понятно, это явление не будет иметь места. А между тем мы видим, что извозный промысел в Забайкальском крае из года в год развивается больше и больше, т. е. отрывает еще новых земледельцев от сохи и таким образом уменьшает численность полезней-

ших тружеников, приучая их к более легкому и менее продуктивному для экономической жизни края труду. Все колонисты не только Забайкалья, но и всей Сибири, на которых мы уповаем, как на экономическую силу, увлекаются извозным промыслом настолько, что продлись это состояние более продолжительное время, ожидания наши завершатся отрицательным результатом, и в трудолюбивом хлебопашце мы увидим профессионального извозчика или кабатчика, кулака, чему примером может служить большая часть южно-уссурийских крестьян. Да и можно ли обвинять крестьянина в том, что он сеет здесь хлеб спустя рукава, часто даже в таком количестве, что не хватает на обсеменение полей? Можно ли его безусловно винить, что часть крестьян питается хлебом не собственного продукта, а покупным хлебом? Нельзя, нельзя потому, что мы должны помнить прежде всего то, что поселенец, заброшенный в неприветный край, где вместо «чугунки» он видит тропы зверопромышленников, где почти невозможно проехать повозке, — не рассчитывает никоим образом на сходный сбыт своего земледельческого продукта. Ясное дело, что, не видя спасения в труде, с которым он скорее сроднился, переселенец значительно охладевает, теряет остаток энергии к земледелию и ищет труд, более легкий, делается извозчиком, мелким торговцем, обирающим свою же «голытьбу», или просто кабатчиком. Если бы на пространстве обширной Сибири, через которую тянется так называемый «Московский тракт», протянулась эта «чугунка» и вместо унылого долгого звона «дара Валдая» да монотонных тягучих песен ямщиков раздался пронзительно-долгий свист локомотива, каким живым трепетом охвачено было бы сердце сибирского крестьянина! Да и не крестьянина одного, даже и тех доброжелателей — сибирских патриотов, которые теперь говорят о ненадобности для них железной дороги. Благоговейно они тогда бы сняли шапки и воскликнули бы: «Слава богу! Наконец-то узрели мы свет! Да будет благословен тот, кто осуществил эту великую идею, дающую человеку жизненную силу!»

Чем Америка и Австралия богаты? Хлебом. Потому ли богатство хлеба там так обильно, что почвенные условия резко разнятся от сибирских? Нет, не потому одному, а потому, что излишек земледельческого продукта там обеспечен сбытом вследствие прекрасных условий путей сообщения. Разве сибирская почва так нехлебородна, что нельзя в хлебе конкурировать с Австралией или Америкой при тех же условиях путей сообщения, при поднятии уровня сознания продуктивной силы земледельца? Чем скорее осуществится идея проведения чрез Забайкальский край железной дороги, тем скорее будет положен

предел хищническому истреблению местных природных богатств, тем скорее промышленники и предприниматели, будь даже они и инородцы-номады: остяк, тунгуз или самоед,—придут к сознанию, что этой рыбой, которою изобилуют воды Забайкалья, этими лесами, которыми покрыт край почти на шесть миллионов десятин,—надо дорожить, беречь, как источник верного обогащения, и убедятся, что все это добро надо умножать, но не стремиться к истощению его. Забайкалец, например, не видит громадной пользы леса как предмета крупной торговой операции. Он видит эти необозримые пространства девственных лесов и думает, что они бесполезны и неистощимы вовек. Отсюда и следствие удивительно небрежного отношения в этом крае к сохранению леса. Поэтому, проезжая весною, летом или осенью чрез Забайкалье, вы увидите всегда, как днем луч солнца скрывается от дыма горящих лесов, видите ночью, как целое море огня затопляет эти прекрасные леса и поглощает их в невообразимых размерах. Зачастую этот горящий лес заграждает вам путь, и вы должны возвращаться обратно на станцию за невозможностью проехать или из боязни не быть захваченным где-нибудь огнем среди леса, со всех сторон, кольцом. Это —печальное следствие забайкальских палов, пускаемых весной и осенью для уничтожения старой травы, а летом от халатности дроворубов или беглых с каторги или тюрьмы. Таким образом безотчетно уничтожается богатое государственное достояние, которое при эксплуатации дало бы правительству громадные выгоды. Но если это зло будет дальше прогрессировать в той же степени, то, может статься, что настанет в будущем час, когда в Забайкальской области невозможно будет существовать ни одному существу. Но не дай бог, чтобы леса эти были так слепо истреблены потому лишь, что население не понимает, какое важное значение имеет лес в экономической жизни края, не говоря уже о значении его в климатическом отношении. Давно ли и в самой России уничтожали с такою же беспощадностью разные муромские, костромские и др. леса? А изрезали Русь линии железной дороги, и теперь не только не видим это уничтожение, но во многих губерниях практикуется в довольно обширных размерах искусственное разведение лесов; там же, где уцелели леса, ими дорожат как верным капиталом. Поэтому понятно, насколько важно применение в вопросе охранения лесов от истребления их огнем, мер, более энергичных, даже репрессивных, сколь важно поставить лесное дело более рационально, чем оно до сих пор существует на самом деле. Впрочем, следует сказать, что Приамурский генерал-губернатор, как видно, относится к этому важному вопросу гораздо серьезнее и бла-

готворнее, чем относились к нему раньше: в настоящее время в Приамурском крае значительно усиливается персонал лесничих, и дело регулируется в пределах возможности. Этим, конечно, сохранится для рациональной эксплуатации много государственного добра.

Вот здесь-то опять мы должны весьма кстати вспомнить ту же Америку, которая в силу исключительного взгляда ее аборигенов-индейцев на сохранение леса могла из него сделать в наше время богатейший источник торговли не только в самой Америке, но отправлять лес и в другие части света.—Индейцы, употребляя огонь вообще, употребляли его, чтобы им же обезопасить лес. В силу некоторых обстоятельств у них сложилось убеждение о необходимости сохранения леса еще до прихода в Америку европейцев. Чтобы предохранить лес от огня, они опаливали вокруг леса сухие листья таким образом, что деревья оставались нетронутыми. После такой предохранительной операции пожар леса делался если не невозможным, то весьма затруднительным. Вот почему еще и до сих пор первобытных лесов в Америке и в настоящее время, когда там идет такая кипучая жизнь,—в громадном количестве. Не то делается у нас. Желая выжечь траву на сенокосных полях, наши колонисты в то же время забывают—или вовсе не понимают—охранять безопасность леса, изолировать его от пожара, поглощающего на пути своем не только самый лес, но и собранное сено, телеграфные столбы, хутора, мосты, тормозя таким образом сообщение в крае равносильно распутице или обмелению рек по Восточной Сибири. Это последнее обстоятельство будет неизбежным и весьма серьезным тормозом в наших сообщениях в том случае, если бы проектированная железнодорожная линия оборвалась в Сретенске. Расчеты на речное сообщение весьма плохи, так что, включая сообщения по рекам Восточной Сибири, как продолжение железнодорожной линии, мы уже этим делаем громадную ошибку, как бы не достигая, не доканчивая практически беспрерывной железнодорожной линии. Об обмелении вод Шилки, Амура, особенно в верховьях их, о переменчивости фарватера этих рек, вводящих в заблуждение лоцманов, следствием чего бывает посадка судов на мель, наконец, об неудовлетворительном состоянии Амурского пароходства,— все это известно уже читателям сибирских газет. Поэтому, повторяем, желательно проведение сибирской железнодорожной линии не частями между реками, а непрерывной линией, иначе полумерами желаемая цель не будет достигнута и мы еще будем находиться в полуизолированном положении относительно своей метрополии.

Статья четвертая

Несмотря на необычайное скопление в Забайкальском крае природных богатств, промышленность в нем находится в младенческом состоянии. Самым примитивным способом здесь обрабатывается сырой продукт, кое-как выделываются кожи, глиняная посуда, телеги, гонится смола, делается простое мыло, юфта и т. д. В то же время население, нередко при обилии в крае железных руд, выписывает мелкие железные вещи из Иркутской и Московской губерний, откуда порою получает также и масло, хотя скотоводство, как мы видели раньше, в крае развито в обширных размерах. Имея все задатки к крупной обрабатывающей промышленности, край при существующем состоянии путей сообщения не может проявить свою активную деятельность в области этой промышленности, так как этому еще мешает недостаток в нем рабочих сил и крупных предпринимателей-промышленников. Если бы сбыт продуктов крупных заводов был обеспечен хорошими путями сообщения, то край с громадным успехом мог бы завязать торговлю этими продуктами с своими ближайшими соседями—Монголией и Манчжурией, в которых промышленность находится еще низменнее, чем в Забайкалье. Удаленные от приморских городов своей империи, где происходит оживленная торгово-промышленная деятельность, эти провинции крайне нуждаются в изделиях обрабатывающей промышленности. Существующая в Забайкалье торговля с этими провинциями Китая в настоящее время ограничивается весьма малым сбытом туда преимущественно войлоков, хлеба, соленых омулей, пантов, скотских кож, больше в невыделанном виде, шерсти, сала, разных звериных шкур и т. д. Для торговых сделок этими продуктами в нескольких местах Забайкалья устраиваются срочные ярмарки, на которые приезжают как русские, так и инородческие, монгольские и манчжурские купцы, привозящие сюда свои товары. При этом со стороны последних выдающимся предметом обменной торговли являются чаи, байховый и кирпичный, любимый не только инородцами Забайкалья, но и русским населением, усвоившим эту любовь от инородцев.

При упомянутой отдаленности Манчжурии и Монголии от приморских торговых городов Китая и при ближайшем соседстве их с Забайкальем, при прогрессивном росте промышленной деятельности края пропорционально усиливались бы взаимные торговые сношения, а следовательно, упрочивалась бы незаметно та миротворная симпатия к нам Китая, к которой стремятся и все наши дипломатические благожелания. Торговой кон-

куренции иностранцев здесь можно опасаться меньше, чем где-либо в другом пункте на протяжении нашей азиатской границы, точно так же, как весьма мало опасения этой конкуренции иностранцев и в Кяхте. Там, где наши интересы приходят в соприкосновѐние с интересами англичан, на границах Туркестана и Индии, там есть еще основание опасаться торговой конкуренции иностранцев, а между тем в тех местах уже победно проносится свист локомотива, мчащегося через песчаные равнины, где растет дикий саксаул и бродит верблюд и где в то же время разводится хлопок и пытаются развести еще многие тропические растения, которые могут составить предмет оживленной торговли. Но брат Туркестана—Забайкалье—может не менее оправдать ожидания и заботы правительства и вернет сторицею капитал, затраченный на проведение чрез него железной дороги. Не надо лишь упускать время из опасения слепого истощения природных богатств, из которых край может найти себе пищу для будущей промышленности. В наше же время эта промышленность ограничивается сравнительно малым числом разных мелких фабрик и заводов, которых насчитывается около 200 при приблизительном контингенте рабочих около 9—10 тысяч, ценность же продуктивности этих фабрик и заводов равняется около 5 млн. рублей. Ощутительный недостаток рабочих на этих заводах и фабриках значительно тормозит дело промышленности. Конечно, при проведении железной дороги это обстоятельство устранится само собою.

Мы указывали выше, что извозное дело и вообще более легкая, но менее утилитарная работа отрывает массу рабочих от земледелия, а теперь к этому можем добавить, что она отрывает также их и от вышеупомянутых фабрик и заводов. Но эта легкая работа при всей своей заманчивости не только не поднимает уровень экономического благосостояния населения, но, напротив, подрывает его в корне, в то же время и нравственно деморализируя самое население. К такого рода работам должно отнести и золотопромышленность, которая в крае развита в сравнительно широких размерах. Добыча золота большею частью происходит самыми первобытными способами, и практикуемые золотопромывательные машины далеко не удовлетворяют своему назначению. Несмотря на это обстоятельство, золота в крае добывается до 200 пудов. Деморализующее влияние золотопромышленности на рабочее сословие обрисовано достаточно в нашей литературе и преимущественно в сибирской. Близость золотых приисков слишком резко дает себя знать соседним деревням, откуда комплектуются рабочие. Разгул, разгул бесшабашный, какой-то неудержимый разврат, нищета, преступ-

ления—вот те характерные особенности, которые отличают эти села. Конечно, читатель помнит прекрасный рассказ Наумова «Паутина», где он отлично иллюстрировал все эти черты рабочего и алчность их собратьев-крестьян, нередко продающих приисковому рабочему своих жен и дочерей, только бы выманить от него его заработок. Но не место здесь мрачной картине жизни приискового рабочего. Остается пожелать лишь, чтобы растлевающее влияние золотопромышленности на рабочего приняло более слабый характер, чем оно существует теперь. Нам кажется, что золотопромышленность не менее деморализует, если не больше, сибирского крестьянина, чем ссыльный элемент, в котором некоторые исключительно видят источник деморализации этого крестьянина. После этого делается понятным, сколь необходимо поставить вопрос о положении приискового рабочего в крае на более нормальную почву. С проведением железной дороги явятся на помощь усовершенствованные золотопромывательные машины, и число рабочих сократится значительно, и обычай отыскивать золото старательским способом, отрывающий много рабочих от сохи, окончательно отживет свой век в крае. Отсюда прямое следствие и подъема нравственного уровня рабочего населения. Наконец, приток из России новых переселенцев по железной дороге, увеличив самое население, растворит незаметно в своей массе ссыльный элемент среди себя, дав ему другой, более симпатичный тип. Тогда не будет уже места излишним опасениям. Но надо сказать и то, что, выражая сильное опасение к ссыльным в Забайкалье и вообще в Сибирь, как элементу деморализующему, забывается нередко та сравнительная польза для Сибири, которую приносят эти ссыльные в качестве работников на разных заводах. Следовательно, в данном случае они являются противодействующей силой стремлению местного населения работать на фабриках и заводах в ущерб земледелию, скотоводству и мелкой промышленности.

Если приблизительную численность в области арестантов означить в 12 тысяч человек и расход на них казны в 115 тысяч рублей в год, то можно допустить, что продуктивность их в крае, где так мало рабочих сил, будет прибыльна сравнительно с максимальными расходами на них казны. Немалую долю пользы могут оказать те же каторжные и в работах будущей железной дороги.

В экономической жизни как Забайкальского края, так и всей Сибири немалую роль играет также винокурение. Несмотря на его сравнительно громадный продукт, дело это сосредоточивается в руках лишь весьма немногих заводчиков. Это

последнее обстоятельство ведет к тому, что капиталы централизуются у немногих лиц, что, естественно, умаляет и силу экономической предприимчивости остальных. В крае приблизительно выкуривается до 15 миллионов ведер, на что потребно хлеба около 425 тысяч пудов. Притом весьма интересны цифры стоимости хлеба в крае в соотношении к продажным ценам спирта, из чего явствует невероятный барыш, извлекаемый заводчиками из спирта. Достаточно сказать то, что при ценности хлеба в 80 копеек, из которого гонится одно ведро вина в 40 градусов, оно обходится с обработкой с разными расходами по фабрике и акцизу около 5 рублей, а продается за 10 рублей, что дает чистейшей прибыли самое меньшее 4 рубля на ведро. Но явление это—не исключительная черта Забайкальских заводчиков, а оно характеризует и заводчиков остальной Сибири, получающих неменьший барыш. Получали бы еще больше, если бы тайная, безакцизная гонка вина, практикуемая во многих местах Сибири, не конкурировала бы этим заводчикам в отдаленных (впрочем, примеры бывали и не в столь отдаленных) уголках края.

Винокуренные заводы получают для себя посуду исключительно от двух местных стеклоделательных заводов, которые ограничивают свое производство почти в потребность этих заводов, так что они не в состоянии удовлетворять спросу самого населения, которое поэтому должно выписывать стеклянную посуду из других мест за сравнительно дорогую плату.

Раньше, говоря о рыбопромышленности, я имел случай упомянуть о недостатке соли для засолки рыбы, несмотря на сравнительно большую потребность ее в крае для соления омуля и скотского мяса. Соли варится весьма мало наличными заводами, так что население приобретает ее из Монголии в обмен на разные местные товары. Впрочем, не одна соль заимствуется из других областей. От них получается также и крупчатка. В Забайкалье есть крупчатая мельница, но она далеко не может удовлетворить потребности не только других сибирских областей, но даже свои, хотя по качеству своему забайкальская крупчатка могла бы соперничать с американской при лучших технических условиях самой мельницы и расширения дела. А между тем мы здесь пользуемся американской крупчаткой. Впрочем, неодолимая притягательная сила к иностранным продуктам даже при одинаковых условиях их качества с русскими всегда будет характерною чертою нашего отношения ко всему чужеземному и в тот даже момент, когда мы будем трактовать о необходимости поднятия национальной промышленности путем покровительственной системы. Давно ли мы убедились в вы-

годности и доброкачественности бакинской нефти, достоинства которой раньше нас оценили те же иностранцы; чрез них же керосин этот расходится не только по всей России, но сбывается и в другие части Европы. Но питальник бакинской нефти стал неистощим и обилен, так что она может снабжать нефтью весь мир, как Забайкалье может минеральными водами врачевать недужных всего мира при устройстве их и при разумной их эксплуатации. Но время это может настать только тогда, когда эти недужные будут иметь возможность добраться покойно до Забайкалья по железной дороге, когда разные «смертные грехи» существующей дороги не будут пугать путника призраками невероятных мук и опасностей. Тогда, может быть, слова, сказанные славянами трем братьям-варягам и проходящие темным швом чрез всю нашу историю, служащие характерным девизом нашей и особенно сибирской экономической неурядицы, замолкнут понемногу и изменятся иначе: «Земля наша велика и обильна, промышленность же и пути сообщения умножают это обилие».

Статья пятая и последняя

Раньше мы упоминали вообще о плохом состоянии путей сообщения Забайкальского края, а теперь добавим к этому, что такое состояние находится в зависимости от таких обстоятельств, которые при существующих средствах почти устранить невозможно, а между тем избавиться от них делается настоятельной необходимостью, так как обстоятельства эти являются весьма серьезным тормозом при сообщении не только с другими областями Сибири, но и с пунктами своего же района. Почтовый тракт Забайкальского края ежегодно переживает те же перипетии, которые характеризуют вообще отрицательные свойства транзитной цепи, служащей связующею линией Европейской России с ее великой, но сиротеющей Сибирью, до крайнего пункта ее—Владивостока. Осенние и весенние распутицы, которые приостанавливают сообщение по водам рек в крае и заставляют сообщаться по адски мучительным тропам, пролегающим по девственным тайгам и крутым скатам гор, делают невозможным не только торговое общение в крае, но зачастую пресекают всякое сообщение с остальным миром. Тяжесть всего этого стала отзываться сильнее с тех пор, как Забайкальский край приобщен к Приамурскому генерал-губернаторству, центр управления которого находится на громадном протяжении от столицы Забайкальского края—Читы. Следствием этого является то, что дела, требующие спешного решения, двигаются довольно долго, что, естественно, действует сильно угнетающим

образом на лиц, заинтересованных в решении их в Хабаровске. Но это одна из тысяч бед.

Водные пути в период самой навигации не лучше сухопутных. Река Селенга постоянно меняет свое русло, образующее песчаные наносы. Ввиду этого является, для обеспечения постоянного сообщения по этой реке, необходимость делать почаще промеры, что представляет значительное затруднение. Шилка имеет быстрое течение, отличается порожистым дном, причем делает еще и частые крутые повороты. Но чтобы устранить все эти неудобства для правильного пароходного сообщения, потребуются значительные средства, что в сложности с периодической реставрацией сухопутных дорог составит такую солидную сумму, которая могла бы в значительной степени покрыть расходы на рельсовый путь. Мы думаем, что весь сибирский тракт поглощает громадные деньги на ежегодную его ремонтировку, причем действительное положение его остается почти в одном и том же положении, ничуть не улучшаясь. Кроме упомянутых двух рек, есть еще Ингода, Аргунь, Витим, по которым тоже возможно пароходство мелкосидящим пароходам, но, конечно, при известной очистке их от камней и расширении русла и т. д. Между этими реками обращает на себя внимание Витим, который мог бы связать сообщение с Северным океаном рекою Леной, если бы только она не была слишком порожиста. Словом, все реки Забайкалья, как и сухопутные дороги, характеризуются теми же недостатками, которыми характеризуются почти все реки Восточной Сибири. Сделать между ними общую непрерывную связь, котрая давала бы возможность поддерживать по Сибири хотя медленное, но постоянное сообщение,—весьма трудная и сложная задача и настолько сложная, что перед ней осуществление идеи сибирской железной дороги не покажется столь грандиозным, как это думают наши кунктаторы. А между тем, какая неизмеримая разница в результате! Не говоря уже о том, что рельсовый путь явится единственным и могучим рычагом, который даст решительный толчок колонизационной миссии, он в то же время обеспечит политическую безопасность края в отношении Небесной империи, на притязания которой нельзя смотреть сквозь пальцы, ввиду усложняющихся сношений наших с ней по вопросам пограничных пунктов и в особенности Кореи. Не надо быть слишком дальнозорким, не надо быть пророком, чтобы сказать, что настанет некогда день и... нам придется считаться с своими соседями. Разве возможно допустить мысль о вечной косности какого бы то ни было народа, (не говоря уже о китайцах), приходящего в соприкосновение с цивилизацией? Жестоко ошибаются те,

которые в кажущейся китайской неподвижности видят печать вечного застоя, непробудного сна этой нации. Но как бы там ни было, а приходится все-таки вспомнить и классическую (в наш век—век классицизма) мудрость воинственных римлян, что «Si vis paset, para bellum», сиречь если хочешь мира, то готовь войну, или иначе: держи камень за пазухой. В этих словах есть глубокая истина, подтверждаемая и всеми современными государствами Европы, приходящей в какое-то лихорадочное состояние милитаризма.

Чего же нам теперь желать для края, кроме мирного его процветания и закрепления за собою своего права на него? Заселить возможно скорее, усилить связь отдаленнейших частей Сибири с Центральной Россией—вот главнейшие обстоятельства, необходимые для решения этой важной задачи.

Nous arrivons toujours trop tard — этот припев мы можем повторять по многим и многим делам»,—говорит г. Латкин в «Новом Времени»*, относя эти слова по адресу наших медлителей. Иначе говоря, он хотел сказать, что мы—слишком неподвижны, когда надо действовать энергично. И г. Латкин прав совершенно, скромно предвидя вдали грядущего что-то тревожное. Не менее знаменательны и сообщения лондонского корреспондента той же газеты**, который пишет, что сэр Чарльз Дильк еще раз напомнил, что пока нет сибирской железной дороги Тихоокеанское побережье—самое уязвимое место России, и добавляет при этом, что мнение сэра Дилька весьма авторитетное в Англии. Промедление сибирской железной дороги постройкой даст время китайцам усиленно колонизовать пограничную линию и поселяет в них скептическое отношение к нашим энергичным стремлениям обезопасить край. Усиленная колонизация пограничных провинций и другие меры, принимаемые китайским правительством,—добавляет корреспондент,—указывают, что оно действительно не прочь воспользоваться благоприятными обстоятельствами. Во всяком случае, в Китае внимательно следят за решением вопроса о сибирской дороге. По словам же корреспондента «Pall Mall Gasette», вице-король Чжили, Ли-хун-чанг, за casus belli Китая с Россией признает всякие попытки со стороны России захватить часть Кореи. По мнению Ли-хун-чанга, Россия вдоль длинной границы ее с Китаем слаба, а Владивосток, хотя и сильно укреплен, но изолирован от «действительной России», которая далеко. Таково мнение Ли-хун-чанга, по словам корреспондента «Pall Mall Gasette».

---

* № 4735. «Китайские вожделения и Сибирская дорога».

** № 4726. «Наши доброжелатели на Дальнем Востоке».

Незаселенность края, по мнению корреспондента «Н[ового] В[ремени]», «останавливает быструю постройку дороги, пользоваться же китайскими рабочими очень опасно, так как избавиться от них трудно будет, раз показав им дорогу». По нашему мнению, это опасение совершенно основательное, и в данном вопросе осторожность в допуске китайцев к постройке сибирской дороги далеко не преувеличенная. Итак, значит, самая существенная сторона вопроса сибирской дороги—рабочие силы. Для постройки этой дороги во всех отношениях выгоднее воспользоваться, конечно, исключительно русскими рабочими, хотя некоторые допускают половинный процент и китайцев. Льститься на дешевизну работы там, где решение вопроса может колебаться от возможных случайностей со стороны Китая, нет расчета, потому что всякая ошибка нанесет удар государственной казне гораздо чувствительнее, чем сравнительно большой расход на перевозку своих рабочих из России. Но, гоняясь часто за экономией в спешных сооружениях, имеющих общегосударственное значение, с которыми соединяется и идея национальной способности к прогрессу, мы тормозим самое дело из сравнительно ничтожной экономии, делая в то же время невероятные расходы по другим статьям, не требующим в сущности вовсе расходов. Когда в современной Франции решался вопрос о расходе на всемирную парижскую выставку, приводящую теперь в изумление все нации мира, то правительство ничуть не задумалось ассигновать на это 30 миллионов франков, из коих при громадности расходов с постановкой удивительной современной вавилонской башни Эйфеля, составляющей первое чудо света, распорядители еще сумели сделать сбережения в $3^1/_2$ млн франков! Если бы это делали мы, то, наверное, еще оказался бы перерасход. Это значит, что вопрос здесь не в крупном расходе, а в том, насколько производительно сделан этот расход, насколько он послужил прямой цели страны. Французы, осуществив такую грандиозную, мировую идею в каких-нибудь три-четыре месяца, в то же время справлялись с внутренними неурядицами и зорко следили за внешними делами. Они знали твердо, что расходы на эту выставку вернутся сторицею, а главное, выставка поднимет сильно уровень национальной торгово-промышленной силы и убедит наглядно весь мир, насколько они сильны и способны к прогрессу. Но нам, может быть, скажут: то—Франция, а то—мы. На это можно и другое сказать: то—всемирная выставка, а то—сибирская железная дорога, с который мы столько лет не можем справиться, несмотря на ее настоятельную необходимость для всей России. Французов, например, никогда не смущал вопрос о невозможности

идти дальше. Не смущал потому, что прогресс, если он идет правильным, нормальным ходом, так же бесконечен, как сам мир. Жизнь без прогресса немыслима. И этот прогресс есть мерило жизнеспособности данного народа. Он же выражается в восприятии хорошего от других, не обольщаясь слишком собственными силами.

Колонизация, поднятие промышленности, проведение дорог, утверждение прав справедливости и законности—вот что нам надо теперь сделать для того, чтобы двинуть Сибирь вперед.

О ПОЛОЖЕНИИ ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ НА ОСТРОВЕ САХАЛИНЕ

Письмо первое

Известно, что остров Сахалин служит местом ссылки всевозможных государственных преступников. Количество ссылаемых, особенно в последнее время, доходит до весьма солидной цифры, так что существующая на острове администрация со всеми функциями тюремного управления требует немало расхода от казны. Не имея пока значения доходной статьи для казны, остров требует лишь одни расходы, которых он при существующих условиях пока покрывать не в состоянии. Тем не менее, задача правительства на острове состоит в том, чтобы он служил как карательным, так и исправительным местом, утилизируя в то же время этих преступников в пользу государства.

Но достигаются ли эти цели на острове?

Слагая с себя роль субъективного толкователя в этом вопросе, мы прямо обратимся к фактической стороне дела, как оно рисуется по собранным нами данным.

Каторжные по окончании своего срока наказания приписываются обыкновенно к поселкам, образовавшимся постепенно в округах из поселенцев же. В это время они представляют собою весьма жалкий вид. Многотрудная каторга со всеми сопровождающими ее карательными мерами, естественно, истощает их и убивает в них энергию к труду. В этом случае исключения являются редкими, при более счастливых обстоятельствах. Предоставленный, таким образом, на свой собственный произвол, поселенец выходит на борьбу за свое существование почти что называется с голыми руками и с теми мирными силами, которые

еще остались у него от каторжного труда. При этом место для поселения избирает не сам поселенец, а указывается ему окружным начальником, не руководствуясь агрономическими или хозяйственными требованиями поселяемого. Поселения большею частью сгруппированы около центров окружных управлений без всякой системы и представляют собою кучки разбросанных, ничем не связанных между собою жилищ. Отсутствие дорог, особенно во время снежных заносов, таяния снега, разливы речек, отрезывая эти поселки от остального мира, придают им вид каких-то притонов. Вновь строящиеся лачуги рядом с полусгнившими, недостроенными или совсем заброшенными режут неприятно глаз. Оборванный, жалкий вид жильцов наводит на грустное размышление, что люди эти сошлись сюда не для того, чтобы зажить новой жизнью, но чтобы окончательно покончить всякие счеты вообще с жизнью. Вина в этом не высшего начальства, не имеющего физической возможности наблюдать, при отдаленности Сахалина от центра главного управления края, а местной власти, которая имеет все возможности поставить дело на лучших и благотворных началах.

Правда, поселенцу для первоначального обзаведения дадут топор, пилу, молоток, нередко даже пищевое довольство на срок от шести месяцев до года, но возможно ли одному человеку успешно бороться с этим слабым оружием с совершенно дикою природою острова?!

Но вот сделан целый ряд невероятных усилий, и лачуга поселенца отстроена, но в лачуге нет, что называется, ни поварешки, ни ложки, а тут наступает весна — поле не распахано, огород не разрыт. Достает он в казне или у своего собрата в долг скотину, а там нужны плуг, борона, телега, домашняя утварь. Чтобы обзавестись всем этим, поселенец выходит почти всегда из последних сил и безнадежно машет на все рукою, а тут еще не может нигде приурочить свой труд. Спроса на труд нет. Таким образом, хозяйство поселенца ведется, как говорится, через пень колоду. Из общей двухтысячной массы поселенцев острова разве пять-шесть найдется мало-мальски домовитых, могущих жить своим хозяйством. Но это их исключительное благосостояние достигнуто путем торговли спиртом, развратом и другими низменными приемами к достижению цели.

В летописи экономической жизни сахалинского ссыльно-поселенца светлою точкою является память о бывшем агрономе Митцуле. На всем острове не найдется человека, который бы не отзывался об этом начальнике как о гуманном, честном, замечательно отзывчивом на горе «несчастного». При солидном запасе специально агрономических сведений человек этот стяжал себе

любовь еще и потому, что он являлся ближайшим и непосредственным руководителем земледельца-поселенца, помогая щедро нуждающимся из своего содержания. Так называемый колонизационный склад служил для него лично кредитным учреждением. Заступив на некоторое время за начальника острова, Митцуль щедро снабжал поселенцев из этой лавки на свой счет всем необходимым, начиная от ситцу до сукна и от дегтя до масла. Этот гуманный человек на острове вел жизнь анахорета, предаваясь своему труду и нередко терпя лишения вследствие своей чрезмерной щедрости. Тем не менее, в результате всего этого — благотворный экономический быт поселенца, так как поселенец под его руководством с большею любовью и разумнее относился к делу обсеменения поля. Он работал не для одного только показа на случай приезда начальства, что практиковалось и практикуется теперь, а стремился к тому, чтобы пользоваться плодами потраченных трудов и усилий в действительности. При нем начали практиковаться впервые рациональные приемы в борьбе с бесплодною почвой острова и облегчено значительно переходное состояние выключаемых в поселенцы каторжных; он облегчал этот переход тем, что устраивал артели для общей постройки домов всему поселку, устанавливал общую распашку земель, расчистку общих посевов, сенокоса и проч. Мало того, Митцуль, помня отлично русскую поговорку, что «не тогда собак кормить, когда сбираешься на охоту», задолго до окончания срока каторги будущих поселенцев расчищал места будущих поселений, корчевал, распахивал, строил домики руками тех же каторжных и в довершение всего наделял всех добрым напутственным словом. Но изнуренному подобным непосильным трудом человеку этому не пришлось взглянуть на плоды своих необыкновенных забот,— он умер, оплакиваемый всеми сахалинскими каторжными и поселенцами.

Мы остановились несколько на Митцуле потому, что подобные светлые личности являются очень редко, особенно при рутинных сахалинских порядках и взглядах на людей, где честное, добросовестное отношение к делу чуть ли не ставится в порок или криминал.

Со смертью Митцуля, как говорят сами поселенцы, кончилось для них «царствие небесное» и начались без всякой переходной стадии положительные муки. После кроткого отношения к ним, после гуманно разумного управления они сразу осязательно почувствовали суровые лапы выходцев из урядников, писарей.

Поселенцы призадумались, что каторге их теперь не предвидится конца. Со смерти Митцуля прошло шесть лет, и за это время благосостояние поселенцев не только не прогрессировало,

но заметно пало, так что обеднели и те, которые при нем, по-видимому, стояли на твердой экономической почве.

Бывший начальник острова, генерал Гинце, был поражен печальным состоянием поселенцев и, желая помочь им в беде, приказал отчислять ежегодно из приварочных денег, расходуемых на каторжных, от шестнадцати до восемнадцати тысяч в год, в распоряжение одного из окружных начальников, с тем непременным условием, чтобы последний на эти деньги приобретал у поселенцев заходящую в значительном количестве в реку Тымь кету. Поселенцы в свою очередь под руководством окружного начальника обязывались составлять артели для ловли рыбы, засола и заготовки посуды, с отпуском им в достаточном размере задатков на покупку соли, устройство неводов и заготовку посуды.

Естественно, что при операции дела по смыслу желания начальника острова, генерала Гинце, ассигнованная сумма денег на заготовку рыбы должна попадать бы при этих условиях в руки поселенцев и послужила бы им капитальным подспорьем в их экономическом быту, но дело получило другой оборот.

В период улова рыбы назначались целые артели даровых бесплатных каторжных для ловли и засолки кеты в предварительно заготовленную ими же посуду. Пойманная рыба под видом добытой поселенцами сдавалась в тюрьмы для довольствия ее наловивших, проходя все формальности записи по книгам и счетам. Участие поселенцев в этой операции сказывалось лишь в том, что они смачно облизывались и расписывались в фиктивном получении по счетам денег якобы за доставленную ими рыбу. Затем следовало представление счета с документами при донесении о благополучном заготовлении рыбы покупкою у поселенцев вполне доброго качества и что-де окружное начальство имеет в своем распоряжении полную «препорцию» рыбы, а поселенцы денег. Между тем эти деньги разместились где-то в другом месте, но не по карманам поселенцев острова Сахалина.

Письмо второе

Читая официальное донесение по благоустройству ссыльнопоселенцев, выносишь довольно удовлетворительное представление, но, вглядевшись повнимательнее в их действительную жизнь, это впечатление уступает место безотрадному чувству. Если история с кетой, описанная в первом письме, производит удручающее чувство на читателя, то есть еще такие факты в жизни острова, которые не менее характерны и знаменательны, но речь о них отлагаем до будущего времени, а пока скажем, что вообще преуспеяние поселенцев незавидное. Чтобы не быть голословным в

данном случае, я выписываю цифры посева и сбора ржи и ярицы в селе Корсаковском Александровского округа.

В официальном донесении за 1886 год значится, что в означенном селе ржи и ярицы посеяно только три пуда двадцать фунтов, а собрано 776 пудов двадцать фунтов! Вот, значит, где эта благословенная Аркадия, этот Египет в квадрате, этот рай — в селе Корсаковском, где хлеб дает такой урожай — сам почти двести пятьдесят! А между тем известно, что самый лучший урожай ржи при посеве ее на черноземной полосе от $6^1/_2$—$7^1/_2$ пудов на десятину дает около 163 пудов зерна (в Проскау, в 1871 году), а на крайне тощей, нечерноземной сахалинской полосе, по смыслу отчета 1886 года, она дает около 1440 пудов. Но допустим, что это ошибка, но громадность ее дает достаточно основания сомневаться в точности остальных цифровых данных.

В то же время в другом селе, на том же острове — в Михаловском — в тот же год посеяно 97 пудов 20 фунтов, а собрано 511 пудов; в Александровском же посту посеяно 8 пудов, а собрано лишь 40 фунтов. Где же тут истина, действительность? Откуда такие цифры берут, кем составляется такая феноменальная статистика?

Мне кажется, что было бы полезнее представлять вещи в действительном виде, так как от правильных, беспристрастных отчетов зависит и правильное развитие острова, устройство его, влияет «на облегчение участи несчастных, с тем, чтобы прочно водворить в нем их по отбытии кары, которой подверг их закон». Эти глубоко гуманные слова, сказанные приамурским генерал-губернатором в ответной телеграмме к начальнику острова, генералу Гинце, при поздравлении с новым 1885 годом, должны служить заповедью, которую надо осуществить как святую миссию на острове, куда, как выразился ген. Гинце, само правительство ссылает несчастных не для одного только искупления тяжести совершенных ими преступлений, но и для того, чтобы они здесь, отчужденные навсегда от родины, исправились и образовали заботами правительства такие же общества, каких они лишились по своему заблуждению. Таково широкое понимание идеи ссылки на Сахалин.

Местная администрация сама ярко характеризует в этих словах настоящее значение ссылки как меру карательно-исправительную. Но задаваясь непосильно широкими целями, как образование на острове обществ, которые несчастные потеряли по своему заблуждению, возможно ли достижение этой идеи при той физической и нравственной забитости поселенцев, которая наблюдается теперь? По выходе из тюрьмы на лице его уже лежит печать, наложенная на нем каторжною жизнью. Он с первого же

дня состоявшегося над ним приговора суда объявляет всему миру войну, безмолвную, нравственную, питая к этому миру лишь одно чувство неприязни, так как этот мир приговором суда сам его выбросил из своей среды. Он с недоверием уже относится к членам того общества, с которым юридически порваны его связи, от которого он сделался отрезанным ломтем. Его мир стал другим миром, в котором одна нравственная подавленность и упорно молчавшая душевная борьба, вызванная этим новым положением. Он брошен в другую среду таких же несчастных, как и он. В каторге, в тюрьме, лишенный всех человеческих прав, кроме права дышать воздухом и любоваться сиянием дня (да и то не всегда), он попадает под власть тюремных смотрителей и надзирателей. Вот тут-то этот предубежденный отверженец сталкивается с лицами, которые на него должны иметь карательно-исправительное влияние. Физические муки заключения и работ, недостатка воздуха, наказания плетьми и розгами достаточны в тюремных карательных операциях, чтобы все это восчувствовать в достаточной мере. Но тут является первое необходимое условие для того, чтобы эти меры достигали вышеначертанной цели исправления: строгость, соединенная со справедливостью, с гуманной подкладкой, с сознанием того, что от этих отверженцев если отняты человеческие права, то не отнята еще совершенно способность понимания человечного отношения к нему и справедливости, желание к исправлению, к искуплению рядом тяжелых нравственных и физических испытаний прошлых своих вольных и невольных грехов. Нет в мире такого изверга ,в котором бы заглохли совершенно все лучшие человеческие стремления. При более глубоком беспристрастном анализе души такого изверга всегда можно отыскать хотя микроскопическую долю человечности и в таких исключительных натурах, но эта доля молчит в них, они искусственно подавляют ее в себе, озлобленные против того общества, которое бросило в них безжалостно камень безвозвратного отвержения, которое презрело в них людей и отвернулось от них вместо того, чтобы пытливо и участливо заглянуть в его внутренний мир, не потерявший надежды еще жить теми же чувствами, любовью и ненавистью. Но понимание таких вещей дается нелегко людям недоразвитым по своей слабости характера, по своим неумелым приемам к достижению плохо уясненной ими идеи исправления. Они убедились в безуспешности своих действий и обратили свое оружие в обратную сторону, в сторону немилосердной беспощадной кары, без гуманитарной, исправительной подкладки. При таком отношении к делу достигается совершенно не та цель, к которой стремится карательно-исправительная система, а отрицательная, создающая новые беспокойные элементы об-

щества, искусственно озлобленные, напуганные и не только неспособные к созданию общества, из которого они вырваны, но способные скорее действовать на таковое растлевающим образом. Сильные и могучие натуры редки при таких отношениях.

Все сказанное довольно характеризует современное нравственное состояние ссыльно-поселенцев Сибири при тех карательных мерах и отношениях к ним подлежащих властей, которые существуют до настоящего времени.

Тюремный персонал на Сахалине — почти все люди необразованные, вышедшие из писцов, кантонистов и казачков, натуры большею частью загрубелые и бессердечные.

Кто слышал о страшной запуганности ссыльно-поселенцев, которые при виде чиновника еще далеко от себя нервно уже срывают с своей головы шапку и трепетно проходят мимо, держа руки по швам, чтобы по простому капризу его не быть выдранным розгами? Могут ли эти люди быть способными к созданию не только прежнего общества, но даже пародии его? Напротив, они стремятся с острова на материк, в Приморскую область, кто по билетам, а кто и без вида, забывая в отчаянии о предстоящей ему суровой участи. Особенно заметно движение с острова в Приморскую область крестьян и поселенцев; оно приняло тревожные размеры в минувшем году. Но как же не бегать поселенцу с острова, вечно жующему одну картофель, весьма редко с хлебом или еще реже с кетой! В состоянии ли он бороться вооруженный почти первобытным инструментом с капризами чуть ли не полярного климата, с наводнениями и морозами, губящими на корню жиденькие злаки на скудной почве? Как же не бежать ему, когда в самые урожайные годы он может получить от своих трудов едва сам —7—8 (а не 250, как сказано выше), при этом поминутно ожидая смазки плетьми или разбития физиономии радетельным огрубелым надзирателем, приставленным к нему с целью исправительной. Но от таких прелестей поселенцу не всегда удается вырваться на материк, и он остается мыкать горе на острове под опекой писарского синклита, питаться чем попало, одеваться в лохмотья, жить почти в вертепах, а тут еще над ним как дамоклов меч висит постоянно плеть или грозный кулак надзирателя и чудится, как в галлюцинации, возглас: «Запорю!»

Нет, нет! Загрубелых, зачерствелых исправителей, выходцев из писцов и кантонистов, следует заменить свежими, более достойными и чуткими к святой исправительной миссии несчастных на Сахалине!.. Старый режим надо уничтожить.

Письмо третье

Вообще, при существующих до настоящего времени порядках жизни на Сахалине идея о колонизации острова ссыльно-поселенцами не достигает своей цели. Для того, чтобы сколько-нибудь оправдать ожидания правительства в этом важном и еще колеблющемся вопросе, необходимо, повторяем мы, уничтожить старые порядки, изменить радикально образ правления на острове при других, новых подходящих силах или же окончательно отказаться от идеи колонизовать остров ссыльно-поселенцами в надежде видеть в них когда-нибудь благоденствующих земледельцев и членов вновь народившихся мирных обществ. Без этих условий, кроме того, что казна будет делать совершенно непроизводительный расход, остров будет выбрасывать на материк, как из клоаки, все новые и новые негодные элементы, воспитавшиеся в суровой растлевающей школе старых традиций, пустивших слишком глубокие корни в жизнь острова вследствие того, что состав служащих, смотрителей и т. д. не освежался периодически новым элементом.

Каторжный, вышедший в поселенцы, думает лишь о том, чтобы скорее вырваться с острова, где ему все опостыло, опротивело, где и воздуху и простору словно мало, где ему невыносимо видеть тех же палачей, которые недавно его пороли. На материке его меньше знают, а арены для свободного заработка больше, над ним не тяготеет возможность наказания и преследования.

Было бы весьма важно, если бы в предстоящем 1890 году на IV международном тюремном конгрессе, при котором предполагается устроить международную пенитенциарную выставку, а также всего, что имеет отношение к пересылке арестантов России, где этот отдел представит интерес своей обширностью и разнообразием, были бы также выставлены точные рисунки, чертежи, модели, фотографические снимки для ознакомления членов конгресса с бытом ссыльно-поселенцев на Сахалине, с почвенными условиями острова, и тогда, мы думаем, это обстоятельство положило бы окончательное решение вопросу о колонизации Сахалина ссыльно-поселенцами.

Сама сахалинская администрация беспомощно опускает руки перед поголовным стремлением поселенцев с острова на материк. Администрация старается умалить силу тяги туда поселенцев разными приемами, как невыдачей билетов и т. д., что, как я уже говорил, тоже не достигает желаемой цели, т. к. охотники до выселения спасаются бегством, т. е. делаются почти снова рецидивистами. Таким образом, является опять новый источник преступления. Впрочем, что же говорить о безбилетных ссыльно-

поселенцах, когда бегство каторжных с острова сделалось самым обыденным явлением. Но один из самых сильнейших мотивов, почему поселенец бежит с острова,— это то, что в нем окончательно поколеблена вера в силу законности и справедливости, и в нем царит одна безнадежность отыскать их даже в самой очевидной своей правоте. Безопасность его собственности, приобретенной страшным трудом, не обеспечена, как доказывают некоторые случаи, о которых мне сообщали...

Но, не входя в подробности сахалинского правосудия, наше внимание обращает одно обстоятельство: откуда у ссыльно-поселенцев почти сейчас же по выходе из каторги появляются крупные средства, которые им дают возможность оперировать дела в довольно широких размерах?..

Правда, со многими каторжными приходят жены свободного состояния с деньгами, которые во время отбывания мужьями каторги торгуют; некоторым присылают деньги с родины, а некоторым любимцам фортуны удается нажиться хозяйством, но при более внимательном взгляде на обстоятельства мы натыкаемся сразу на такое крупное явление в сахалинской жизни, которое дает нам главную разгадку вопроса и которое служит одним из могущественных двигателей частных сахалинских капиталов и в то же время заключает в себе источник весьма серьезной деморализации ссыльно-поселенцев ,вводит сплошь и рядом в соблазн и официальных лиц — служащих, обещая золотые горы, быстрое обогащение, подталкивает их на преступное занятие, которое зачастую открывается, но в то же время не принимает для них по понятной причине особенного криминального характера. Явление это — тайная торговля спиртом.

Официально строго воспрещен ввоз спирта на остров. Для этого назначаются особые надзиратели, которые являются на приходящие суда и следят за тем, чтобы как-нибудь не свозился спирт. Но никакие аргусы не в состоянии уследить за испытанными контрабандистами, изыскивающими такие ухищренные способы добычи с судов спирта, о которых не мерещилось не только бдительным надзирателям, но и профессиональным контрабандистам. Спирт так или иначе доставляется на берег то просто в банках, то в бутылках, то в сахарных головах или в другом товаре и прячется в потайных местах. Конечно, гораздо легче, когда среди надзирателей попадаются лица, которые сами промышляют этим запретным, но выгодным делом: в этом случае выгрузка на берег спирта значительно облегчается. Однако спирт разыскивают и на самом острове и конфискуют в пользу казны, причем нашедший получает половину местной стоимости спирта. А ценность его доходит до феноменальной цифры: от пяти до сем-

надцати рублей одна бутылка! Мне рассказывал один сахалинец, как он в виде лекарства должен был купить однажды три маленьких рюмки плохо разведенного спирта по рублю за рюмку. Ясное дело, что такая дороговизна спирта привлекает многих лиц к тайной торговле, и действительно, в этом многие погрешают, даже из служащих на острове, которые сами для собственной надобности имеют возможность достать спирт в ограниченном количестве из колонизационного склада по особым запискам. Из того же склада по особому разрешению отпускается до известного рейса и ссыльно-поселенцам по 1 р. 25 коп. и в известном количестве за бутылку, причем за раз отпускается ½ бутылки, что для большинства, конечно, недостаточно, и они достают у тайных торговцев за более дорогую цену, чем в колонизационном складе. Но эта дороговизна спирта не останавливает алчности поселенца к нему, а словно бы еще разжигает, особенно при безотрадной его жизни, когда хочется забыться от окружающей мрачной действительности. И вот он достает средства для приобретения спирта разными путями, доходя нередко до воровства, а иногда и до убийства. Таким образом, трудность добычи потребного спирта является новым источником новых преступлений, увеличивающим криминальную статистику сахалинских поселенцев.

Но в то время, как одни впадают в преступление из желания достать спирт, другие, тайные торговцы, богатеют очень быстро и наживают капиталы, которые дают им возможность при переходе в свободное состояние начать сразу крупные операции. Такие именно только и выдаются своим благосостоянием, если оно не отнимается иллегальным образом. Так называемые земледельцы, или, правильнее говоря, настоящие колонизаторы острова, печально прозябают, как я говорил раньше, так как и климат, и почва, и вообще все обстоятельства тормозят в сильнейшей степени всякие их попытки извлечь что-либо из тощей, неподатливой к культуре сахалинской почвы. Они теряются перед всеми этими невзгодами и беспомощно опускают руки над сохою и серпом, изможденные, забитые.

Из отчетов о количестве вспаханных и засеянных полей читатель не будет знать действительного положения поселенца. До настоящего времени не было сделано никаких серьезных попыток измерения земли в поселениях под усадебной оседлостью, огородами, пашнями, выгонами и сенокосами, не сделано за недостатком специалиста этого дела, а затем — традиционного халатного взгляда на дело. Чтобы иметь «хотя приблизительные сведения» о постепенном развитии острова, нынешний начальник «рекомендовал поручить смотрителям поселений и сельским старостам побудить жителей к тому, чтобы сами они, каждый у

себя, замерялись и дали бы в подворные описи возможно правильные сведения о количестве того или другого рода земельных угодий, находящихся в действительном их пользовании».

Но, кажется, и такой способ собирания статистических данных не многим разнится от дутых цифр предшествовавших правителей. И эта канитель, это полное невнимание к урегулированию жизни на острове тянется вот уже около двадцати лет! Где же шаг вперед? Где же прогресс острова? Да и возможен ли когда-нибудь этот прогресс на Сахалине? Вряд ли. А все-таки, хотя для испытания, необходимо уничтожить старый режим со старыми писцами, казачками и кантонистами и насадить порядки при совершенно новых условиях.

Письмо четвертое

Каким же образом может существовать правосудие на Сахалине, когда имущественные отношения ссыльного населения до крайности перепутаны, и оно вовсе не знает тех простых оснований, которыми закон определяет условное право каторжного и поселенца на пользование домом и отведенным участком?

Зачастую каторжные на отведенные участки смотрят как на свою собственность, почему закладывают или продают их. Само полицейское управление не только терпит эти сделки, но иногда и санкционирует их своим разрешением, порождая этим еще большую запутанность, так что порою трудно даже разобраться в претензиях. Для иллюстрации к этому привожу один из множества случаев, ярко рисующих характер операции по имуществу.

Ссыльно-каторжными М-м и С-ной был выстроен дом в п[оселке] Александровском. С-на, еще не достроив дома, уволившись на поселение, уехала во Владивосток. Дом достроил М-ий, который сдал его под квартиры и под помещение для лавки поселенца Н-на. Заключенные между сторонами условия свидетельствовались окружным полицейским управлением. Затем это же полицейское управление разрешило М-му (в то время уже поселенцу) продать дом Н-ной за 600 рублей. Но вернулась из Владивостока С-на и предъявила свои права на дом. Полицейское управление несколько раз изменяло свое решение по этому делу, признавая дом то за С-ой, то за М-м, пока, наконец, не постановило: дом передать С-ой. Н-на же, купившая с разрешения и утверждения окружного полицейского управления дом, лишилась дома и денег.

Читатель легко поймет то нравственное состояние Н-ой после подобного решения, при котором должно родиться весьма естественное чувство полного недоверия даже к сделкам, санкциониро-

ванным официальными лицами, прямыми ее начальниками, приставленными к ней для защиты ее прав и ограждения ее собственности от злостных поползновений посторонних лиц, и вообще лицами, на обязанности которых лежит поддерживать на острове хотя сколько-нибудь сносную жизнь ссыльно-поселенца.

Кроме того, следственные дела начинаются без достаточных поводов, ведутся вяло и неумело, а прикосновенные арестанты содержатся без всяких оснований. Без всяких же оснований наказуются ссыльно-поселенцы не единичными лицами, а целыми группами, без разбора правого и виновного, а так, по собственной прихоти какого-нибудь бессердечного блюстителя, которому нравится, может быть, созерцание самого процесса наказания со всеми отвратительными проявлениями. Чему же иначе приписать такой возмутительный факт, имевший место в селе Лютоги Корсаковского округа. Смотритель округа Я-в наказал жестоко телесно некоторых поселенцев округа в мере, далеко превышающей законом установленную норму. Он наказывал и правого и виноватого, не исключая даже беременной женщины, без всякого рассмотрения дела, состоявшего в простой и безрезультатной драке между ссыльно-поселенцами. Не надо быть юристом, чтобы сказать, что расправа г. Я-ва имеет подкладку чисто уголовного характера. А между тем, чем же отделался этот герой за свое преступление? Оно приравнялось просто к шалости неопытного юнца. Окружные начальники таковыми, конечно, не могут быть, и он поплатился тремя днями домашнего ареста, вместо того, чтобы сидеть ему на скамье уголовных преступников. Из этого явствует, что слишком уж ничтожно ценятся тело и права ссыльно-поселенцев и слишком легкое отношение к подобным «шалостям».

Вообще положение дел на Сахалине, и в особенности в Александровском округе, по всем отраслям управления оставляет тяжелое впечатление. Делопроизводство слишком предоставлено на волю писарей, которые за отсутствием должного наблюдения со стороны правительственных чиновников распоряжаются зачастую бесконтрольно. Такое печальное обстоятельство невольно обратило внимание нынешнего правителя острова, который сделал надлежащее по этому делу распоряжение для пресечения дальнейшей возможности такого явления. Но если писарское вмешательство в дела острова составляет столь крупное зло, окончательно искоренить которое затрудняется даже сам начальник острова, то становится понятным, как трудно следить за правильным ходом дел центральной администрации, отстоящей от острова на тысячи верст и при таких крайне неблагоприятных условиях сообщения. А что влияние писцов трудно устранимо уже

потому, что некоторые «правительственные чиновники», здравствующие еще до сих пор на острове,— выходцы из писцов же, но из писцов старого закала, так что для них новое дело — производство с грамотностью дается труднее, чем писцам «современной формации». А если еще присоединить традиционную лень и халатность отношения к делу, тогда станет более понятным неотразимое влияние этих писцов.

Передо мной лежит оригинал грамотности и каллиграфии казначея канцелярии некоего Ч., относящийся к 1886 году. (Он, кажется, еще на острове). Не говоря о каллиграфии, не выдерживающей критики (о знаках препинания нечего и говорить), он пишет: «с этого время согласно... от должности и службы... из это время...» и т. д. И так пишет человек, получающий 1500 руб. в год!

А вот посмотрите, как переписывает бумаги писец П., получающий 1000 руб. в год; да этак лучше напишет двухмесячный ученик, а его заставляют (как не совестно!) переписывать бумаги к генерал-губернатору. Но это все еще цветки, а об ягодках поговорим впереди. А между тем жалованье чинам назначено сравнительно солидное, так что при этих условиях жалобы некоторых бывших правителей (ген. Гинце) на затруднительность привлечь подходящих лиц на должности были неосновательны, так как главного недоставало со стороны первых: желания действительно привлечь таковые лица. Не хотелось им трогать старый муравейник.

Но должно же отдавать какое-нибудь преимущество образовательному цензу перед писарской школой? Разве мало людей в крае с таким цензом и с репутацией порядочности? А между тем такие-то люди если не сами бежали и бегут с острова вследствие анормальных отношений к ним и условий, в которых их ставят, то изгоняются под видом беспокойных или вольнодумцев. Но разве лучше безропотные обскуранты, номинальные дельцы, de facto находящиеся в зависимости у писцов? Подозрительное отношение к людям с образовательным цензом еще усугубляется боязнью, что они могут выносить сор из избы, то-есть предавать гласности местные распорядки. Но ведь это же во благо, а не во вред делу. В этом случае получается в результате чистота, иначе ведь получится Авгиева конюшня. Когда вопрос обсуждается путем гласности, печати,— он выясняется, в какой бы форме вопрос этот ни поставлен был, в ложной или истинной форме; истина при открытом обсуждении всегда всплывает. Но до сих пор сахалинская администрация боялась этой гласности и, как доходили до нас слухи, учреждался даже тайный надзор за приходящими с острова «подозрительными» корреспонденциями. Какой

бы ни имел источник этот слух, странно даже сделать предположение подобной возможности, иначе значило бы допустить полное непонимание значения печати в прогрессивной жизни человека теми лицами, которые делали подобный надзор. Но ведь это дико, непростительно дико! Поэтому в настоящее время, по крайней мере, не имея основания допустить это, мы отклоняем мысль о фактическом существовании подобного надзора. Полезно появление в печати всего того, что касается жизни острова, но, конечно, не в форме предвзятого искажения фактов и сокрытия действительности ради каких бы то ни было утилитарных целей, ради кумовства или сватовства.

Приподними, Сахалин, хотя немного свое забрало, и мы тогда увидим отчетливо, каков ты есть,— может быть, и симпатичен.

На этом пока до следующего письма.

Письмо пятое

Раньше я говорил о печальном состоянии вообще статистических данных Сахалина, основанных большею частью на произвольных цифрах даже в официальных отчетах, но еще в более печальном положении находятся топографические данные острова вследствие отсутствия среди правительственных чиновников специалиста этого дела или лиц, сколько-нибудь знакомых с этим делом. Вследствие этого местная администрация является совершенно беспомощной в приблизительном даже определении мест, годных для заселения, и она каждый раз при возникновении этого вопроса становится в тупик перед неизведанным еще краем, перед своей terra incognita, перед своим холодным, неразгаданным сфинксом... Кто знает, может быть, и есть где-нибудь на пространстве острова годные для заселения места — неизвестно, но пока таковые отвоевываются из-под лесных участков путем вырубки их и корчевания, что, естественно, требует значительной затраты времени, труда и средств. Хорошо еще, если в результате этих многотрудных работ получится место, пригодное для земледельческого труда, а то ведь сплошь и рядом все хлопоты разрешаются почти одним горьким разочарованием. Каждый шаг вперед выдвигает вопрос о способах доставления продовольствия, и поэтому он не делается, тем более, что , как я упомянул выше, в наличии контингента местного чиновничества нет топографа, который бы мог указывать в этих попытках ориентировочный пункт.

Если и открывались какие-либо удобные уголки, как, например, в Корсаковском округе, так это — результат лишь случая, а между тем является крайняя нужда в новых местах, так как

старые все уже заполнены всюду поселениями. Долина реки Поронай (Плыи), которая представляла особенно удобное место для заселения, по мнению нынешнего правителя острова, оказалась сплошною тундрою. Что же касается до боковых долин притоков Плыи, то они покрыты пока для администрации завесой неизвестности, так как никто еще в глубь их не проникал с целью исследования их годности для поселений. Для исследования этих мест прибегать к способу, практикуемому вообще в Сибири, посредством указаний инородцев, представляет тоже некоторое затруднение, так как рассчитывать на эти указания нельзя ввиду нежелания инородцев сталкиваться с элементом штрафной колонизации, который может повлиять на них неблагоприятным образом, не только путем кулачества, закабаления, спаивания, но и путем непосредственных стычек. Впрочем, аборигены острова, как они ни углубляются в свои заповедные леса, не спасаются от алчных вожделений людей, стремящихся нажиться на их счет. Эти люди сами отыскивают их со всем запасом растлевающей культуры: они везут к ним в известное время года, после улова пушнины, и спирт, и табак и посвящают их в прелести неказистой стороны культурной медали, выманивая таким образом за бесценок их готовую добычу пушнины.

Мне передавали про одного весьма зажиточного ссыльно-поселенца на Сахалине, который живет во «дворце»*, что он особенно рьяно занимается подобной культурой инородцев, делая регулярные нашествия на них с богатым запасом атрибутов этой культуры. Слышать это тем страннее, что лицо это само когда-то принадлежало в свое время к тому классу людей, которые вкушали плоды просвещения с совершенно другой, более плодотворной стороны. Впрочем, разве оправданием в этом его деянии может служить его преступление, заставившее в свое время вздрогнуть нервно всю читающую Россию?!

Другой же поселенец, некто X., проживавший на восточном берегу острова, настолько эксплуатировал инородцев, что начальство вынуждено было выселить его оттуда, чего, по всей вероятности, никогда не может случиться с вышеупомянутым лицом, ввиду «беспримерного» положения его вообще на острове.

Правда, нынешним начальником острова были сделаны попытки проникнуть в неизвестные уголки острова, для чего снаряжались импровизированные экспедиции, но и эти попытки оказывались безуспешными. Хотя на острове и есть землемер, но резуль-

---

* Его дом назван так по сравнительно блестяшей внешней архитектуре и внутреннему комфорту.

татов его измерений, применительно к настоящему времени, пока не имеется.

Можно ли при описанных условиях рассчитывать на особенную целесообразность указаний мест поселений ссыльно-поселенцам? Указания эти, не руководимые никакими опытными соображениями, почти всегда оказываются неудачными, что, естественно, отзывается лишь на спине того же поселенца, который корчевал и очищал место.

Раскорчевка местности для поселений происходит во всех трех округах: Александровском, Тымовском и Корсаковском, причем незадолго до выхода каторжных в поселенцы, они отряжаются для этой цели, освобождаясь на это время от тюремных работ. Чтобы составить понятие о ходе этой работы, я приведу здесь данные за четыре года во всех трех округах.

Под хлебом, овощами и сенокосом раскорчевано:

В 1884 году в с е г о в трех округах раскорчевано:

—	—	—	—	—	2023	дес.	1545	саж.
— 1885	—	—	—	—	2847	—	1886	—
— 1886	—	—	—	—	4115	—		—
— 1887	—	—	—	—	4522	—	1530	—

Таким образом, ежегодно в трех округах раскорчевывалось земли около 1000 десятин.

В тех же трех округах посеяно хлеба:

	пшеницы	ячменя	ржи и ярицы	овса
В 1884 г.	2328 п. 35 ф.	829 п. 21 ф.	1366 п. 8 ф.	78 п. 30 ф.
— 1885 г.	3621 п. 17 ф.	1525 п. 11 ф.	1833 п. 6 ф.	197 п. 35 ф.
— 1886 г.	3691 п. 5 ф.	1277 п. 24 ф.	1436 п. 14 ф.	184 п. 6 ф.
— 1887 г.	5358 п. 9 ф.	2830 п. 15 ф.	2299 п. 10 ф.	354 п.

Весьма жаль, что в настоящую минуту нет у меня под руками данных сбора посеянного хлеба за это время для определения процента урожая, но по другой отчетности при других цифрах посева в 1886 году видно, что урожай на Сахалине дает средним сам 8—9. Основываясь на этом «отчете», можно судить о приблизительном урожае в приводимых годах. При этом замечается, что льну, гречи и гороху вовсе не сеяли в 1884—1886 годах и посеяны лишь в 1887 году и то в самом ограниченном размере. Что же касается до овощей, хотя не все, то они доходят здесь до баснословной величины. Так, в 1886 году на пароходе «Россия» отправлены в Петербург в главное тюремное управление несколько экземпляров овощей, причем редька в $12^1/_2$ ф., брюква —9 ф.

17 зол., картофель 4 штуки 5 ф. 67 зол.,колорабий красный 4 ф. 36 зол., капуста (кочан) 15 ф. 36 зол. Но вся эта показная сторона, основанная на исключительных явлениях, не может заглушить того стона, который слышится порою с Сахалина вследствие плохих урожаев, или совершенного неурожая, как это было в том же 1886 году в Александровском посту, когда при посеве 8 п. ржи и ярицы собрано лишь 4 фунта!

В нынешнем году посевы как хлебов, так и овощей сильно пострадали на среднем Сахалине вследствие беспрерывных дождей в течение целого месяца. Если принять за несомненные данные отчетные цифры, то, я думаю, что и тогда, при предполагаемом благоприятном урожае в сам 8—9, земледельцу хватит и с грехом пополам на собственное годовое пропитание, без остатка для обсеменения полей, при этом, считая приблизительную численность населения в трех округах около 500 душ.

В этом сказываются не только неблагоприятные местные обстоятельства, мешающие делу земледелия, но и недостаточность более целесообразных мероприятий к урегулированию самого дела хозяйства поселенцев. Впрочем, можно ли особенно винить в этом сахалинскую администрацию, располагающую сравнительно ничтожными средствами для этого, когда заселение наших переселенцев совершается не менее небрежным способом? Разве мы не видим воочию здесь, как переселенцы, эти колонизаторы края, надежда его, его Микулы Селяниновичи, страдают от неудачного выбора мест для поселений, благодаря тому, что полагаются лишь на указания ходоков и сведущих стариков, помимо строго контроля ближайших чиновников, долженствующих ведать характер той или другой местности? Ходоки и старики могут впадать при своих выборах в грубейшие ошибки, потому что для них наш край имеет совершенно другие особенности, чем, например, Черниговская или Полтавская губернии, а потому странно, почему выбор «ходоков» получает санкцию этих чиновников, когда результатом этой санкции зачастую является то падеж скота, то урожай «пьяного хлеба». А все эти следствия могут ли служить к поднятию энергии к труду и любви к земледелию в этих Микулах Селяниновичах? Кроме того, эти перекочевывания приучают крестьянина впоследствии к бесцельному шатанию из стороны в сторону, и он забывает свою святую миссию в крае поднять уссурийскую новь.

Кроме хлебопашества и огородничества, поселенцы разводят немного скота и занимаются торговлей. Скотоводство, как и земледелие, весьма ограничено и достигает только размеров собственной потребности. Были попытки улучшения местной породы и поощрения хозяев к скотоводству, но неизвестно, каких поло-

жительных результатов достигли эти попытки. Тем не менее, на ассигнованные для этой цели правительством 60 000 рублей покупался племенной скот, в течение трех лет ежегодно приблизительно: забайкальских коров по 50, кобылиц —100, томских меринов —6, жеребцов —4, быков рабочих —20, от поселенцев Б-та куплено 27 кобылиц с 6 жеребятами и 5 меринов. Раздача всего этого происходила желающим с рассрочкою платежа, не беднейшим, однако, но более или менее состоятельным, за которыми казенный долг считался более или менее обеспеченным. И при этом условии раздача племенного скота происходила успешно, хотя покупателей стесняла значительно сравнительно высокая цена и 6%, наложенные ежегодно, так что в течение первой покупки никто из покупателей не мог уплатить этот процентный налог, вследствие чего даже начальник острова вошел с ходатайством к генерал-губернатору о сложении с покупателей этого процента ввиду их крайне критических материальных условий.

Вообще же скотоводство в трех округах: Александровском, Тымовском и Корсаковском в течение четырех лет от 1884 до 1887 г. находилось в следующем состоянии:

	Рабочих лошадей с молодыми	Дойных коров с молодыми	Рабочих быков с молодыми	Коз и овец	Свиней
В 1884 г. состояло всего в 3 округах	288	661	425	—	16
1885	433	1167	470	39	44
1886	660	1362	551	89	84
1887	691	1600	761	101	169

Что же касается до торговли, то генерал-губернатору Восточной Сибири и приамурскому предоставлено право разрешать водворенным в Сибири, не перечисленным еще в крестьяне ссыльно-поселенцам заниматься торговлею и промыслами по гильдейским и промысловым свидетельствам, с тем, чтобы такое разрешение допускалось по ходатайству местного начальства только для тех поселенцев, которые представят засвидетельствованное одобрительное удостоверение общества об их поведении; но это право дается лишь по прибытии на место водворения в течение трех лет. На этих же основаниях торгуют и ссыльно-поселенцы острова Сахалина. Но нередко гильдейские свидетельства раньше получали от начальника острова или даже от окружных на-

чальников поселенцы, и не пробывшие еще в этом звании установленных трех лет, а в Александровском посту в одно время число торгующих по свидетельствам перешло норму, которую необходимо соблюдать ввиду сохранения равномерности. Но, несмотря на приведенное положение, все-таки нашли возможным разрешить торговлю тому же «беспримерному» поселенцу, уволившемуся только за полгода от каторжных работ, и он теперь производит торговлю оптом, получая товары из Владивостока на десятки тысяч рублей. Этот «молодец», будучи и каторжным, играл на острове роль представителя упомянутой фирмы, а в настоящее время занимает и должностные места и вообще завоевывает себе обратно права, отнятые у него законом...

1889 ГОД В ПРИАМУРСКОМ КРАЕ

Мы не знаем, что нам сулит наступающий завтра Новый год в грядущем, мы не в силах проникнуть в его сокровенные тайны, но верим, что он будет чреват счастьем, как и разочарованием, подобно всем минувшим тысячелетиям, унесенным бесконечным течением времени. Мы не предаемся самообману и скептически относимся к шаблонной, приевшейся фразе, которою человечество встречает наступление каждого нового года и в которой выражается постоянная надежда на какое-то «новое счастье», будто прошедшие времена были полны им. А между тем опыт времен показывает, что сколько человек ни живет на земле — борьба начал добра и зла, любви и ненависти, вражды и мира все еще не прекращается. И чем кругозор человеческого ума ширится больше, тем человек чаще натыкается в жизни на разочарования и сомнения,— отсюда и пессимизм современного века. Вдохновенный поэт, окрыленный фантазией, стремится от «юдоли плача и горя» куда-то к неизведанным еще мирам, искать там успокоения «истомившейся» среди людей душе; он призывает к себе образы, созданные его воображением, и чает среди них утешения... Современный философ, вглядываясь пытливым умом глубоко в законы человеческой жизни, приходит к печальному заключению, что сумма счастья в этой жизни равна лишь одной трети ее, в то время когда остальные две трети — горе и разочарование. Люди, стоящие на низменных ступенях своего интеллектуального развития, обскуранты, конечное свое счастье ищут в «царствии небесном», там, где «нет ни слез, ни воздыханий». А разве вековечная «борьба за существование» между людьми и всем живущим миром есть признак счастья? Между тем все живущее на земле ве-

дет эту борьбу со дня появления своего на земле с грозным девизом: «Горе побежденным!» Кровь, рыдания, слезы и проклятья — вот те непременные последствия этой борьбы, которая с течением времени прогрессирует в своих разновидностях и принимает более и более чудовищные формы, словно бы люди сбираются стереть друг друга с лица земли. Истинное счастье на земле является лишь проблесками, да и то в промежутках веков. Поэтому, читатель, не убаюкивая тебя каким-то призрачным, гадательным счастьем, мы только желаем тебе от души не быть свидетелем лишь большого горя и разочарования, убивающих в человеке энергию и поселяющих в нем скептическое отношение вообще к жизни; тогда только ты приблизишься к пониманию действительного счастья. И дай бог, чтобы наступающий Новый год нам дал это действительное, а не призрачное счастье.

Отходящий в вечность год только убаюкивал нас, далеких окраинцев, как оказалось, призрачной надеждой на проведение железной дороги, и мы, как манны небесной, жаждали в этом году начала работ — залога действительного осуществления идеи, которая вдохнет в Сибирь «душу живу»... Но надежды наши не оправдались, и, мало того, боимся разочарований и в наступающем Новом году. Но оглянемся назад и посмотрим, что нам дал 1889 год.

Прежде всего оригинальность термических явлений прошлого лета и зимы обратила на себя всеобщее внимание всего края, начиная от Забайкалья, Амура, Уссури и до Владивостока. «Все изменилось под нашим зодиаком»,— так можно формулировать все те сообщения о климате в разных концах края, которые печатались в газетах в виде корреспонденций и отдельных статей. Все удивляются необычайным летним жарам, породившим почти всюду засуху, и позднему появлению снега и малоснежию в нынешнюю зиму. Что в Забайкалье подобное термическое явление вообще прогрессирует, мы видим не только из различных корреспонденций, но из слов главного начальника края. Прошлогодние засухи осязательно показали, насколько ненадежны речные сообщения в крае и насколько они зависят от них. Никогда не случалось такого обмеления Шилки, Сунгачи, Уссури и Амура. Путешествие генерал-губернатора края по этим рекам в прошлом году ярко обрисовывает, до какой степени они в зависимости от засух, которые прогрессируют с каждым годом. Не лучше было и в Южно-Уссурийском крае. По рассказам очевидцев, в Сунгаче появились небывалые мели. Корреспондент с Уссури передает самые тревожные известия по поводу засухи. Она произвела панику на все население, так что жители, махнув безнадежно рукой на свои посевы, стали уходить в матросы, дабы

не пришлось голодать. По его словам, в течение 35 лет никто не запомнит лета, подобного прошлогоднему: температура доходила до 35°R; деревья и травы посохли, Уссури местами лила по камешкам, почему пароходы амурского товарищества почти бездействовали, и сообщение происходило на лодках или на катерах; мелководье отразилось и на доставке хлеба из Южно-Уссурийского края. Плавучие лавки, которые несколько умеряют периодически алчность местных купцов, приостановили свои операции, почему последние драли с населения дорого. Так, пуд масла продавался за 26 р., банка керосина—5 р., сахар — 12 р. п<уд> и т. п. Нового хлеба, между тем, почти не было вовсе.

Наряду с этим неутешительным явлением, со всех концов края стали приходить известия о сибирской язве, а также о страшных палах, с беспощадностью уничтожавших повсюду леса, матерые и молодые, сено, мосты, телеграфные столбы и даже целые заимки. «Нас постигло страшное бедствие,— пишет никольский корреспондент,— пущенные кем-то палы уничтожили почти все запасы сена. Пал распространился от Никольского до Речного, и погорело все, что возможно, и в том числе мост в 5 верстах от Раздольного. В дер. Тереховке сгорело все сено, и крестьяне не знали, чем прокормить скот до весны». Но ведь ты, читатель, наверное, сам был ежегодным очевидцем результатов страшного бича края — палов, которые свидетельствуют о себе днем густым дымом, подымающимся всюду в окрестностях, насыщая воздух, а ночью разливаются целыми морями огня, которые ширятся больше и больше, поглощая все попадающееся им на пути. «В Забайкалье уже уничтожено столько лесов, что следует гораздо более заботиться о сохранении, а местами даже о разведении их, нежели об уничтожении»,— говорит генерал-губернатор. «Я не могу не выразить крайнего сожаления об ужасных размерах, в которых произведено уничтожение лесов не столько топором, сколько лесными пожарами. На всем посещенном мною пространстве Забайкалья я вряд ли видел 25% леса, не попорченного, а частью и не истребленного огнем. Печальные последствия этого весьма грустного явления сказываются уже весьма ощутительно. Обмеление рек и все чаще повторяющиеся засухи суть несомненные последствия уничтожения лесов...»

И такие печальные известия о лесах получались не только из Забайкалья, но и из других мест. Вот что писал в начале года в нашей газете о лесах в Посьетском участке г. Я.: «Лесов, в точном смысле этого слова, в Амба-белы, на юг до Тюмень-улы <и> ниже, нет. Военные части на Мангугае и Адеми с большой затратой труда добывают строевой лес и даже дрова в верховьях речек пограничного хребта и сплавляют, выжидая дождевой воды,

потому что в обыкновенное время русла горных речек, куда приходится забираться для поисков лесов, высыхают...» «Вырубка для продажи во Владивостоке не только строевого леса, но и дров приостановлена земским заседателем, вот уже два года. Мера эта была принята с целью сбережения последних рощ для местных потребностей. Но что значат эти усилия в виду неугасающих в течение четырех месяцев в году (октябрь, ноябрь, февраль, март) палов!» По предположению автора, недалеко то время, когда Посьетский участок из полустепного превратится совсем в степной.

Но минувший год отличался не только печальными для края последствиями. Были и светлые стороны в его жизни: положены начала различным преобразованиям, улучшениям и нововведениям. Укажем на более важные из них.

В истекшем году Владивосток объявлен крепостью. Гарнизонная жизнь в нем складывается несколько иная, чем она была до сих пор. Появилось несколько новых укреплений. Гарнизон увеличен второй ротой крепостной артиллерии. Спущены на воду два внушительных миноносца, усилена на этот год тихоокеанская эскадра, все это — желание обезопасить восточное побережье. 1 октября открыт военный суд в Никольском. Старые военно-судные комиссии, учреждения времен Петра Великого, не дожили двухсот лет своего существования и в большинстве местностей края, а в том числе у нас, во Владивостоке, уже свели итоги. В судоустройстве реформа коснулась и судебных учреждений гражданского ведомства, но только частная: увеличено количество должностей лиц прокурорского надзора, членов суда и судебных следователей. Столичные газеты сообщают нам, что вопрос о введении гласного судопроизводства уже решен в утвердительном смысле и в наступающем году будет введен в крае.

Учебное дело ничем особенно выдающимся не отметило себя в крае. Лишь в Хабаровске городское управление в одно время поговорило об учреждении женского училища и потом замолкло. Тем не менее, по инициативе супруги барона Корфа дело это возбуждено и, вероятно, сделается в недалеком будущем фактом. У нас, во Владивостоке, открыто г-жей Филипченко частное училище с программой для приготовления в среднеучебные заведения. Здесь же разрешено открыть мореходные классы, которые могут принести со временем громадную пользу, особенно пополняя речные суда знающими дело шхиперами, в которых в настоящее время ощущается настоятельная необходимость. В истекшем году по бассейну Амура учреждены срочные рейсы, а также движение почты на вьюках во время распутицы по Уссури и Амуру. Эти новые учреждения хотя и не составляют крупного явления в жизни

края, тем не менее, являются признаком того, что край не может мириться с периодической изолированностью от остального мира и изыскивает посильные средства бороться с нею.

В Никольском преобразована полиция и увеличено число чинов. Это нововведение избавляет сельское население от полицейских обязанностей, которых оно не могло и не умело выполнять. Дабы прекратить хищническое истребление лесов в крае и избавить их от преждевременной гибели огнем и топором, увеличена лесная стража. В истекшем же году блеснул луч будущей промышленности: положено начало разработке и промыслу минерального топлива в Амурском заливе, открыты залежи каменного угля и в Амурской области.

В этом же году положено начало каботажу, и первое каботажное судно купца Шевелева появилось в апреле месяце для рейсов по берегам Амурского залива, а пароход г. Федорова начал правильное срочное сообщение между Речным и Раздольным.

Наша владивостокская общественная жизнь в прошлом году была сравнительно оживлена благодаря наезду целой толпы актеров, актрис, певцов, певиц, фокусников и музыкантов. Впрочем, они были только до конца летнего сезона, а там потянулась обыденная монотонность с любительскими спектаклями, маскарадами, чтениями в морском собрании. Последние все-таки составляют благодатное явление в нашей жизни, так как дают некоторую интеллектуальную пищу и возбуждают порою толки, когда предмет не касается какой-либо специальности. Открыто военное собрание, разрешен клуб приказчиков.

Переселенцы, по обыкновению, побывали в бараках и исчезли куда-то в глубь обширного Южно-Уссурийского края, но о них только и можем сказать, ибо для нас их судьба, их горе, радость, нужды, стремления покрыты мраком неизвестности. Но в наступающем году и они ожидают радостей, обещанных правительством, равно как и весь край ждет судебной реформы, улучшения путей сообщения, упорядочения лесного дела и т. п. Будем же уповать...

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Если я давно вам не писал, то это, конечно, происходило не оттого, чтобы не было недостатка в благодарном материале для корреспонденций, а вследствие того чувства, которое порою охватывает наблюдателя и заставляет его не только вглядываться глубже в жизнь окружающей среды, но невольно вынуждает закрыть глаза и уши, чтобы уж ничего не видеть и не слышать... Бывают такие моменты, когда вся окружающая мерзость явля-

ется в таких резко очерченных формах, в таких ярких красках, что невыносимо режет зрение своей слишком отвратительной яркостью, так что волей-неволей приходится отворачиваться, чтобы уж вконец не расстроить и без того напряженные нервы. В такие моменты браться за перо хотя и благодарно в смысле литературной гладкости и энергии слога, так как пишется под впечатлением минуты, но далеко не всегда выгодно в смысле психического процесса пишущего. Чтобы выхватить какую-нибудь омерзительно яркую картинку действительной жизни, нужна большая ломка натуры списывающего эту картинку. Люди с *сердцем*, т. е. люди, способные не только *понимать* мерзость и добро в настоящем их смысле, но и *чувствовать* своим внутренним миром этот смысл, должны терять известную долю нравственной энергии при отрицательных свойствах описываемой картины и чувствовать некоторый упадок сил. Должно полагать, что Репин, написавший Иоанна Грозного, убивающего сына, чувствовал после своей поразительной работы необыкновенный упадок энергии. И наоборот, когда наблюдатель замечает вокруг отрадные явления, то энергия его усиливается, подымается, сама жизнь подталкивает его невольно к деятельности, к новым наблюдениям, заставляя его пытливее заглядывать в окружающую жизнь. Но этой-то живой силы и не было для вашего покорного слуги за это время. Кроме того, еще весьма характерное явление. Обличение в иногородней газете,— если в данной местности есть своя,— не имеет далеко той силы [воздействия] на объекты обличения, как если бы их обличали в местном органе. Мало того, на некоторых даже такое обличение производит совершенно обратное действие: они еще будут скалить зубы на обличителя и скажут: «Тоже пишет!» Нарисуйте всю яркую картинку подлости господина Икса, назовите его прямо подлецом печатно в иногородней газете, он чего доброго, встретив вас, захохочет и покажет пальцем: «Ишь, ведь, тоже пишет!» Вы думаете, нет таких оригиналов? Много! А назовите этого подлеца в местной же газете пятью степенями меньше и обзовите его хотя вислоухим ишаком или чем-либо в этом роде — он сейчас же в амбицию! Как! Да он в суд за бесчестие такое! Ведь он — ума палата, сам Пальмерстон или Бисмарк!.. И пошла каша! Откуда же такая резкая разница в действиях той или другой печати? Прежде всего, причина в громадной разнице времени, в которое появляется то или другое сообщение. Пока сообщение корреспондента иногородней газеты появится печатно в данной местности и будет читаться действующими в нем лицами — много воды утечет, особенно при дальности расположения изданий и при баснословных почтово-телеграфных порядках. Самый факт покрывается быльем, а при наших нравах

очень быстро герои сообщения уже прошли сквозь «строй» общественных толков и «обтерпелись», и нередко, как арестанты, наказанные плетьми, хвастаются, что им это дело нипочем, плевое дело... Да, они хвастают неуязвимостью своей совести! Другое дело, когда пакость этого Икса сейчас же в свежем виде преподносится ему в местной печати со всем его характерным душком свежести. Невольно читатель поморщится от омерзения и вознегодует на творца этой пакости. Этого-то боятся все пакостники, и поэтому сила местной газеты, какой бы район читателей она ни имела, будет велика и неотразима. Все-таки как вы там ни драпируйтесь в тогу неуязвимости, господа Иксы и Игреки, а вам иногда дают звучные пощечины, называя вас печатно вашими настоящими именами, называя ваши темные деяния. Вы, видимо, спокойны и свысока другой раз смотрите на этого мелкого «щелкопера», «бумагомарателя», которого бы вы были непрочь заткнуть черту в подкладку,— что, впрочем, вам и удается, к сожалению,— а все-таки этот мелкий бумагомаратель порою тонким кончиком своего стального пера выворачивает наружу вашу маленькую черную душонку и подчас так едко, мефистофельски смеется над вами, когда вы заслуживаете этого!.. Вы на него смотрите очень часто с презрением, а он, этот «щелкопер и бумагомаратель», не чувствует даже и презрения к вам: он только смотрит на вас, как на известный объект анатомирования ваших действий, как на уродливое явление в среде, где вы, между прочим, играете подчас и видную роль с синклитом ваших лакеев-друзей, выходцев из разных темных уголков. И будьте уверены, что в минуты вдохновения, когда этот маленький человечек набрасывает картину ваших деяний на листе белой бумаги, вы не купите его всем вашим богатством, нажитым, может быть, темными же путями, орошенными слезами и кровью других, обманом, взятками, шулерскими приемами.

Да, широкое поле еще и до сих пор этим сибирским живодерам, которые ютятся в уголках Сибири, подальше от административного надзора, где-нибудь в Енисейской или Якутской губернии, где простаков-инородцев такая масса.

Эксплуатация манз и корейцев каким-нибудь Толстобрюховым, поставляющим в казну лес или другой материал, сравнительно с операциями этих отдаленных, ускользающих от внимания администрации и общества,— ничто. Там эти кулаки полноправны и независимы. Ах, если бы написать сколько-нибудь правдивую летопись их деяний среди несчастных инородцев, то какая бы ужасающая картина грабежа, убийств, произвола, насилия, истязания раскрылась бы пред читателем. Инородцы стонут под гнетом этих зверопромышленников и торговцев,— они в тяжелой

кабале у них, в кабале, которая тянется из поколения в поколение, и не предвидится ей конца. На это обстоятельство надо было бы обратить внимание, чтобы сохранить хотя микроскопическую долю аборигенов края. Теперь они уходят все севернее и там гибнут окончательно, так как и там их встречают те же вампиры, а на подмогу являются еще неблагоприятные климатические условия. Сплошь и рядом эти кулаки, нажившись таким путем, переносят свою деятельность уже в города, где действуют под более скромной оболочкой, принимая на себя вид серьезной деловитости, заводя связи с подходящими лицами, но под сурдинку не прочь воспользоваться и тут темными путями, по которым ведут их лица, имеющие на это легальную возможность, и, конечно, за известую мзду негласным порядком, так — по-приятельски. И вот такие-то люди с темным прошлым, даже зачастую с неопределенною настоящей личностью, благодаря пронырливости и капиталу, в наших сибирских городах сплошь и рядом составляют силу и цимис общества. Когда они уже пригляделись всем, тогда даже никто и не интересуется, кто это ворочает там делами: Степка-беглец или Терешка-каторжник? Нам все распронаединственно! — восклицает какой-нибудь городской деятель,— не режут среди дня, не грабят открыто, ну, и чего же нам от бога лучше желать?.. Ну, а что по части лова рыбы в мутной воде — кто богу не грешен?! Такова логика и остальных, таков, приблизительно, и тип городского «обувателя» в Сибири. Более интеллигентная часть задавлена, затерта, ей нет ходу, и она невольно следует мудрым указаниям этих сибирских Колупаевых и Разуваевых, если только не отходит в сторону от городских дел, чтобы уж «не связываться» с этим темным людом, с их темными вожделениями. Зато же орудуют эти Колупаевы и Разуваевы под эгидой своего принципала, которого они избрали под условием «потрафлять» во всех их «делишках», в виде отдачи разных городских угодий в арендное пользование, а найпаче на ушко сообщать им все секреты городских торгов с тем условием, чтобы «махинация, значит», там была подведена, чтобы торги эти переходили с выгодою «без сумления» к ним, причем должно обойти обманным образом конкуренцию невыгодных претендентов, придав торгам характер внезапности, за неявкой желающих торговаться. А это сделать долго ли умеючи? Эти Колупаевы и Разуваевы в большинстве случаев, если среди гласных есть люди с головою, лица «грамотные»,— помалкивают себе, чтобы не сморозить что-либо «несуразное», как это было, например, с одним гласным у нас, который на вопрос городского головы — каково его мнение по данному вопросу, сморозил спросонья: «А мне распронаединственно все это! Как хотите, так и орудуйте!» Такое за-

явление почтенного гласного городской голова вполне одобрил, высказав мнение, что такими «паиньками» должны быть вообще гласные. А между тем решался вопрос первой важности, по предложению городского головы,— дать управе полномочие увольнять и нанимать лиц, служащих по найму, не исключая и городского архитектора, а также назначать служащим в управе награды. Не правда ли, читатель, что такое предложение, единственное в своем роде, курьезное, удивительное? Захотел голова или члены управы заполучить малую толику, ну и делайте постановление сами же о назначении награды за усердие и распорядительность — и шабаш! Среди каких представителей города можно дойти до такого беззастенчивого предложения головы? И, однако, Колупаевы и Разуваевы (с мелкими отраслями их) утвердили, но нашлись люди, которые воспротивились этому и решились оставить свои посты гласных после такого бесславия принципов гласности и городского самоуправления. Конечно, этим с другой стороны развязали больше руки Колупаевым и Разуваевым и расширили арену их «пользительной деятельности» и на «благо» народа, а также дали возможность укрепиться «солидарности» между интересами головы и его синклита, который он очищает с замечательно-беззаветной отвагой от посторонних примесей, противных его вожделениям. Как бы там ни было, а г. Кучинский в газете «Владивосток» достаточно осветил всю коварную политику нашего городского головы, хотя последний и силится вырваться из тех тисков, в которые зажат рядом заметок в «Владивостоке».

Но — не будем ворочать старую кучу!.. Довольно!..

Все-таки, pour la bonne bouche, расскажу сценку, характеризующую некоторую мягкосердость наших высших общественных слоев, которые в печати и на словах нередко распинаются, «радея о меньшем брате». Иду я на днях по тротуару. Впереди, далеко, около казначейства, внимание мое обращено было на «деревенского русского мужичка», стоявшего без шапки. Когда с ним равнялся какой-нибудь прохожий на тротуаре, он подходил к нему и, истово кланяясь, просил его о чем-то, но прохожие, выслушав мужичка, покачав головой и махнув рукой, шли своей дорогой, а мужичок провожал их долгим грустным взором, с обнаженной головой. Это обстоятельство меня заинтересовало, и я, замедля шаг, стал наблюдать. Вот прошел какой-то морской офицер, он прошел, даже не повернув головы к мужичку; прошел вольный человек — кажется, знакомое лицо — тоже мимо; прошел еще какой-то барин — ноль внимания на поклон мужичка; шел мне навстречу один местный туз — тоже мимо; из казначейства вышел в гражданском платье один из интеллигентных врачей города, заинтересованный тоже в судьбе переселенцев, и тот,

махнув рукой, вскочил в свою одноколку и был таков. Наконец, я прибавил шагу и, будто не замечая мужичка, прошел было мимо.

— Позвольте вам сказать, барин! — забежал он с обнаженной головой передо мной.

— Что тебе?

— Да я вот целый день, почитай, стою здесь и хочу поймать доброго человека, кто бы за меня расписался в казначействе. Там мне 300 рублев надо пособия взять, писать-то я не умею, а люди вот, сколько я ни прошу, отказывают все...

— Да ты кто такой?

— Я новосел из Черныговской губернии.

Я взглянул на мужичка. Передо мной стоял человек лет тридцати, рыжий детина с подстриженными в скобку волосами и в черной шерстяной, грубой свитке. Говорил он с хохлацким акцентом; на глазах его дрожали слезы.

— Мне надо сегодня спешить в деревню, а я не успею,— продолжал он просящим тоном.

Я вошел в казначейство с мужичком. «Чем ему можно помочь?» — спросил я.— «А вот потрудитесь расписаться за него как за неграмотного»,—сказал мне один чиновник, пододвигая какую-то бумагу. Я написал на указанном месте требуемое, и это заняло одну-две минуты времени.— «Он, бедный, почти целый день торчит на улице и ловит, кто бы расписался за него. Вы только и нашлись...»

Как же был рад мужичок, и как стало мне грустно за наших фальшивых «радетелей о меньшем брате», сейчас отвернувшихся от него и отказавших ему в самой ничтожнейшей помощи! Какой же результат можно ожидать от них после этого в более серьезных вопросах о помощи! Да, плоха и неискренна помощь их!..

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА

Владивосток, 9 ноября.

Положительно «рак станет девой»! Вышел я пройтись по тротуару (где, кроме глупой моды женских шляп да турнюров бушменок, ничего не видел), и не успел я дойти до магазина Альберса, как показался с юго-востока туман, давно знакомый туман, так же густо и мокро, как в прежние осени и лета; туман, значит, запоздал. И вместо того, чтобы прийти с инеем на бороде, как бы следовало по времени года, она у меня была вся мокрая. Тем не менее, я видел, как манзы начинают уже втаскивать на берег

свои аргонавты. Больше всего вытащено шлюпок меньшего типа, служащих для переездов на суда и на противоположный берег бухты или на ближайшие острова лицам, желающим провести время in's Grüne.

Лес обнажился, поля опустели...

Загородный ресторан «Италия» закрыт, и скучающему обывателю незачем нанимать туда шлюпку. Шлюпки большего типа или шаланды еще стоят в ожидании заработка. Впрочем, некоторые уже вытащены тоже с помощью разных своеобразных блоков и с какими-то заунывными напевами китайской «дубинушки». Но мотив всех песен восточных народов одинаково уныл и тягуч и сходен в этом до поразительности от подошв Крыма, Балкан, Кавказа и Памира до берегов Великого океана. Но все-таки мотив корейской рабочей песни куда тягучее и заунывнее манзовской. Когда шесть-семь гребцов-корейцев, двигая своими длинными веслами с разных концов своей неуклюжей, неказистой, массивной, громадной полушлюпки-полуплота затянут эту свою «дубинушку», то она невольно шевелит нервы слушателей. Какая-то глубокая тоска звучит в этих гортанных дрожащих звуках, несущихся далеко по бухте. Жалоба ли на суровую судьбу, тоска ли по родине — суровой, покинутой, или это выражение того безысходного горя, которое приходится мыкать этому народу, вообще, как на родине, так и здесь? Вслушиваясь в эти звуки, в которых порою прорываются и сильные ноты, мне кажется, что видимая апатия корейца не есть особенная народная черта, а есть, вероятно, результат каких-либо внешних неблагоприятных условий жизни, подавивших народную энергию, которая, может быть, и теплилась в свое время в этом народе в достаточной мере. Утверждают же некоторые, что и Корея имела когда-то золотое время своей истории.

* * *

Кстати уж о наших окраинских корейцах. Корейцев здесь значительно меньше, чем манз, но больше, чем японцев. Их будет здесь, в городе, приблизительно тысячи две душ. Я говорю приблизительно потому, что не верю в точную статистику их численности, собранную даже самой полицией. Типичная внешность корейца — выражение полнейшей апатии в лице его и в движениях. Он словно бы впал в какую-то нирвану, в внутреннее созерцание какого-то покоя, беспечности, ничегонеделания. Посмотрите на эту группу корейцев, сидящих в разных позах: одни сидят на корточках и флегматически, с той же неизменной апатией покуривают свои трубочки и молчат, словно думу думают, а между тем вглядитесь в их выражение: тупо, бессмысленно. Другие лежат

вразвалку, подложив, вместо подушек, свои рогульки под головы, и спят безмятежно. Но если сквозь сон ему почудится призывный крик «каваль!», вся эта полусонная группа начинает шевелиться и, надевая свою рогульку на спину, спешит, сколько позволяет ему быстрота, к зовущему. Корейцев вы увидите всегда праздными, шатающимися большею частью совершенно бесцельно по городу и занимающимися созерцанием товаров, выставленных в окнах магазинов, или по базару, или кейфующими на панелях тротуара пред магазинами, где они чувствуют себя как дома и даже не стесняются отыскиванием в своем ветхом, истрепанном и загрязненном платье не только веществ, но и существ, причем декольтируются совершенно развязно на самых бойких местах до... этих пор. Часть этих шалопаев с рогульками, а часть — без них. Первые играют роль вьючных животных. Они таскают всевозможные тяжести куда угодно за баснословно малое вознаграждение, несмотря на то, что зачастую бессердечные наниматели погоняют их, словно ишаков, сзади палкой. И он, этот человек-ишак, идет безропотно под эти понукания. Пойдите на манзовский базар — какая толпа там этих корейцев. Чуть приостановились вы рассматривать что-либо из выставленных товаров, человек пять корейцев с рогульками окружают вас и назойливо вопрошают: «Лабота есть?» Вы с трудом отбиваетесь от непрошенных услуг, но если вам и удалось сделать это, то два-три человека все-таки следят за вами, словно тени, чтобы воспользоваться тем случаем, когда вы купите что-либо. В этот момент эти преследователи ваши почти вырывают у вас покупку, чтобы заработать от вас копеек пять. В последнее время среди этих носителей тяжести стало появляться много и малолетних детей, лет 8—9. Кроме этого труда, кореец еще приурочивает себя к землекопной работе, колет дрова по саженям, весьма редко попадается в качестве прислуги...

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

. . . .

...Какое широкое поприще находят себе те, которые занимаются эксплуатацией местного богатства! Автор «Итогов Амурской деятельности» указывал в своем чтении на беспорядочность эксплуатации местных богатств промышленниками, имеющей характер хищнический. В действительности, определение это верно относительно вообще сибирской промышленности и, в частности, Приамурского края. Самые очевидные факты, совершаю-

щиеся перед глазами даже поверхностных наблюдателей, рельефно рисуют этот хищнический характер эксплуатации без всяких рациональных приемов, без всякой соответствующей техники. Все это ведет, конечно, к печальным результатам для будущего, до которого нет никакого дела лицам, заинтересованным лишь настоящим, которым пользуются всласть, не разбираясь в средствах.

. . . .

— Aprés nous le déluge! — восклицают современные промышленники края,— ну и жарят направо и налево, как и что попало, в лихорадочном стремлении за легкой наживой, не разбираясь в способах, чтобы проторить тропиночку к золотому тельцу и набить свою мошну, оставив за собою в память ограбленных, обнищалых инородцев, обгорелые и вырубленные леса, беспорядочно разметанные ими залежи каменноугольных копей и золотоносных участков... Алчность этих хищных промышленников доходит до положительного помрачения рассудка. Одержимые недугом быстрой наживы, они ни на чем положительно не могут остановиться, чтобы разрабатывать ту или другую отрасль с более современными техническими приспособлениями, сокращающими труд и время при более благоприятных результатах. Разве, например, редкость нахождение самородков золота довольно солидных размеров в местах, промытых уже промышленниками примитивным способом? Разве нам неизвестно, что рубка одного какого-нибудь рангоута для судна сопровождается уничтожением десятков и сотен прекрасных дерев, и все это потому, что поставщик такого рангоута рубит без разбора? Разве мы не знаем (ибо это происходит перед нашими глазами), как жители уничтожают близрастущий молодняк, ленясь отъехать немного дальше в лес, где масса сухого бурелома, валежника, гораздо больше пригодного материала для топлива, но который в то же время бесполезно гниет в лесу?.. Но обо всем этом говорилось уже так много, что, право, оскомину набило...

ИЗ КРЕПОСТИ ВЛАДИВОСТОК

Очерк местной жизни

Вам, конечно, уже известна печальная судьба шхуны «Крейсерок» из 6 № газеты «Владивосток». Судьба этой шхуны занимала наше общество осень и зиму, до получения более точных известий в последнее время, из которых видно, что шхуна погибла со всем своим экипажем, состоявшим из 19 нижних чинов и

трех офицеров (лейтенантов Дружинина и Налимова и мичмана Филипова)*. Они погибли близ Тюленьего острова 15—16 октября во время сильного шторма, по заарестовании хищнической американской шхуны, промышлявшей котиков в наших водах. В то время, когда 13 октября «Крейсерок» по данному знаку с Тюленьего острова погнался за «Розой», две других американских шхуны приблизились к тому же острову, видимо, не придавая особенного значения опасности со стороны «Крейсерка». Тем не менее, 14 числа была заарестована «Роза», снова подошедшая к острову. На шхуну «Роза» был назначен командир «Крейсерка» лейтенант Налимов с квартирмейстером Корсунцевым и 4 матросами. Затем, приказав «Розе» следовать в кильватер, «Крейсерок» снялся с якоря и пошел в море; за ним следовала и «Роза». Это было около 8 часов вечера. Вскоре «Роза» потеряла из виду «Крейсерок» и, меняя курс по испорченному американцами компасу, с полного хода села на подводный камень и дала течь. Пришлось убедиться, что шхуну нельзя снять. Тогда спустили одну шлюпку, которую залило водой; спустили другую, в которую сейчас же бросились американцы и наш матрос Кряжев. Корсунцев заметил, что в это время Трапезников стоял без дела и на вопрос первого, почему он ничего не делает, ответил, что «американец его зарезал». Шлюпка с американцами вышла благополучно из бурунов. Лейтенант Налимов с тремя матросами оставался на шхуне до утра. Спустили последнюю шлюпку, но ее унесло в море. По приказанию командира сделан был плот из двух гиков и спущен на воду. Спускался на этот плот первым лейтенант Налимов, взявшись за конец веревки, но его оторвало, и он утонул. Тогда оставшиеся трое ждали разбития шхуны, чтобы спастись на одном из обломков палубы. Действительно, разбило шхуну, и за один обломок палубы схватился матрос Савин и скрылся в море, а на другом остался Корсунцев с умершим от нанесенной американцем раны Трапезниковым, которого первый привязал к обломку. Проходил «Крейсерок» вдали, но не заметил подаваемых знаков и исчез с горизонта. К вечеру Корсунцева прибило к берегу. Скитаясь здесь от 16 по 19 октября, он, наконец, наткнулся на охотников-орочей, которые приютили и обогрели несчастного и 26 октября препроводили в Сиску, откуда он отправлен был в п. Корсаковский, где он находится до сих пор. Труп лейтенанта Налимова выкинуло

---

* Сведения эти отобраны от квартирмейстера Корсунцева, который один спасся из всего экипажа и находится еще и теперь в Корсаковском посту с отмороженными ногами.

потом на берег *без головы и рук*, и он был похоронен там же, на берегу моря.

Вот в кратких словах сущность драмы, разыгравшейся близ Тюленьего острова. В этом факте поражает особенно не то, что люди погибли в освирепелых волнах океана,— ибо морская пучина глотает ежегодно на земном шаре тысячи и десятки тысяч жертв, а та беспечность и, если хотите, халатность, которая служит как бы подкладкой этого факта. Прежде всего является принципиальный вопрос: важно ли для России охранение в водах Великого океана котикового промысла? Вопрос этот решен в высших правительственных сферах в утвердительном смысле; он решался в том же смысле не только в местной печати, но нашел отголосок и в столичной. Смотря на наши тихоокеанские воды с точки зрения промышленной, мы видим, что они представляют собою непочатый, обильный источник богатства китового и котикового промыслов, не имеющих ничего подобного в других местах. Но в каком положении находятся эти промыслы? В самом жалком, непростительно жалком положении. Мы не только не умеем толком пользоваться этим обилием богатства, но и не умеем охранять его сколько-нибудь прочно от хищнических вожделений американцев, которые, зная наше бессилие и непонимание важного значения этих промыслов, нагло утилизируют их, промышляя перед самым нашим носом, у самых берегов, не придавая никакого ровно значения нашим охранительным мерам. Сотни американских хищнических шхун разных акционерных компаний ежегодно регулярно производят свои незаконные операции, уничтожающие русское национальное самолюбие, не говоря уже об истощении самих богатств промышленности. До несчастного «Крейсерка» ранее посылались суда военные для преследования хищников-американцев. Охотились эти суда по синим волнам океана за этими наглыми хищниками, но в волнах все же ничего не было видно особенного, пока не захватили одну парусную шхуну жалкого вида, жалкой величины, представлявшую собой карикатуру судна, на которой могли рисковать лишь отчаянные контрабандисты-американцы, для коих море—их стихия. Конфисковали шхуну, продали с аукциона находившиеся при ней припасы: коньяк, ружья, меха (обмененные у наших же инородцев) и т. д., а самую шхуну окрестили в «Крейсерок» и подняли на нем русский военный флаг. И вот этот «Крейсерок» должен был разыгрывать в водах Великого океана ту же роль, какую разыгрывали настоящие военные суда, т. е. должен был охранять котиковые и китовые промыслы от хищнических поползновений американских компаний, выпускавших в море сотни подобных «Крейсерку» да еще с опытными, закаленными и отчаянными контрабандиста-

ми. И что мог сделать «Крейсерок» с целой флотилией этих хищников? Куда он должен был бросаться и метаться из стороны в сторону, чтобы захватить хоть одну шхуну? Что он мог сделать особенного с своим мизерным экипажем, с своими мизерными силами? Кинется за одной, а смотришь — две-три на смену являются. Это происходила какая-то игра, очень опасная, рискованная для целости самого экипажа. В результате получался ноль, ибо американцы, как видно, не придавали ни малейшего значения «Крейсерку», да и вообще нашим обсервационным мерам, и хищничали себе, что продолжают и сейчас с прежнею же алчностью и — безнаказанно, безопасно...

Мы убаюкиваем себя тем, что-де промысла охраняются, ибо есть дозорное судно на море, а какое оно и какой силе противопоставлено, мы не анализировали. Не задумывались и над тем, как жалка эта несчастная шхуна среди волн разъярившегося моря и какой опасности может подвергнуться экипаж. В первый же год выхода того же «Крейсерка» в море был такой грустный факт, что парусом во время бурной ночи сбросило с палубы командира, лейтенанта Россета, великолепного моряка и задушевного человека. Он, сброшенный в море, даже не пикнул, и следы его захлестнуло навеки волной. Факт этот не послужил достаточным основанием задуматься над тем, над чем бы следовало подумать, а именно, что шхуна «Крейсерок» не годна для той серьезной цели, для которой она предназначена. Мало того, в прошлом году назначаются три офицера , вместо двух, на это же судно, и финал драмы уж вам известен: погибли все, и погибли-то совершенно безвестно: судьбу «Крейсерка» скрыли волны Тихого океана. Теперь опять вопросы: следует ли рисковать почти наверняка жизнью людей ради весьма сомнительных успехов, гадательных результатов? Может ли одна несчастная шхуна быть солидным внушением для целой флотилии американских пиратов? Достигается ли практикуемой мерой цель охранения наших китового и котикового промыслов? Не следует ли озаботиться о более целесообразных средствах для положительных результатов? Не следует ли озаботиться о действительной стороне дела, не успокаиваясь выполнением лишь одной безрезультатной формальности? Не следует ли на Тюленьем острове поставить действительно команду, а не двух-трех человек? Хорошо, что 14 октября зашедшие на Тюлений остров три американца сдались безропотно Корсунцеву, ну а если бы они не захотели, да на помощь к ним пришли бы еще остальные со шхуны,— что бы вышло? Нельзя же в самом деле рассчитывать на постоянную покорность людей-пиратов, которые отлично ведают, что идут на незаконный промысел, что за это могут как-нибудь и пострадать, следовательно, они идут уже

тоже с некоторым риском и решимостью. Да, наконец, самое судно на море — ограждено разве от такой печальной возможности: напали на него в превосходной силе те же хищники и утопили его среди безбрежного океана, где свидетели — небо да вода? Ищите тогда следов, спрашивайте у волн, как в одной балладе, куда они схоронили людей?

. . . .

Нет, довольно об этом!.. О таких вещах говорить, право, тяжело.

Но самые-то котики и киты что поделывают? Как они себе поживают? Ведь для них вся эта охрана, ведь из-за них весь сырбор загорается. А котики себе похаживают по Тюленьему острову, плодятся и размножаются в пользу американской компании Гучинсона, арендующего этот остров ради утилизации котикового промысла.

Тем не менее, котики по временам выходят из воды и фланируют по острову, блезиру ради. Выйдут, подышат чистым воздухом и снова — бултых в воду к своим малым детенышам, которых тоже иногда выводят прогуляться на белый свет, причем даются родительские внушения в таком роде:

— Ты, дочурка, далеко от берега-то не отплывай: там американские промышленники рыщут... Чего доброго, убьют тебя, благо на тебе уже шерсть такая славная выросла — соблазн для них...

— Ну, а зачем им наша шкура, мама?

— Ах, ты неопытная моя! Как для чего? Они обделывают их в прекрасные меха, так что они даже делаются красивее, чем мы теперь носим их. Потом продают и делают из них шапки, муфты, воротнички... Нами дорожат... Будь же умница и не уходи далеко.

— Хорошо, мама. А отчего же вот эти люди, что ходят по нашему острову, не бьют нас? Я их не боюсь, мама... Они, кажется, добрые... Один постоянно подходит вот сюда и смотрит на нас. Я высуну чуточку свою мордочку из воды и любуюсь на него: такой он красивый, статный. Я влюблена в него, так что хотела бы к нему броситься и пощекотать его своей мордочкой.

— Добрые-то добрые, но только не будь тоже слишком доверчива... Он любуется тобою до поры до времени, а как начнешь уж слишком нежничать, так и он не прочь с тебя содрать твою милую красивую шкуру и подарить какой-нибудь барышне во Владивостоке... Будь осторожнее. Три года тому назад твоя сестра поплатилась своим увлечением, и теперь ее шкурка подарена одним моряком-офицером там одной барышне Соне, которая сделала из нее прекрасную шапку и воротник... Кроме того, ведь они нас охраняют для нашего хозяина Гучинсона, который и пользу-

ется нашими шкурами, убивая нас сотнями и тысячами. А жаль, что попались к американцу... Русские были бы к нам снисходительнее.

— А вот опять, мама, тот же матрос идет. Посмотрим на него...

Идет матрос и думает:

— Экая шкурка важнецкая!.. Вот бы укокошить вон ту... А впрочем, пущай ее проклажается пока молода, а там мы ее и прихлопнем и продадим в городе...

— Скорей, скорей в воду, детки, прячьтесь! — встревожилась опытная мать.

Семья котиков ныряет в воду. Любопытная высовывает чуть из воды свою мордочку и шевелит усиками...

Ну, а киты?

Киты тоже были до последнего времени с такими же взглядами на нашу простоту и разгуливали себе близ Владивостока, заходя даже в бухту «Золотой рог». Нередко видели, как совсем беспечные экземпляры китовой породы предавались вблизи своему far niente, выпуская фонтаны воды над собою. Но пришло китобойное судно Дыдымова в прошлом году и нарушило их спокойствие. Дыдымов за осень убил несколько китов.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОЛОЖЕНИИ ШКОЛ И УЧИТЕЛЕЙ В ЮЖНО-УССУРИЙСКОМ КРАЕ

Ряд случайных встреч с народными учителями в Южно-Уссурийском крае раскрыли передо мной частичку неприглядной картины положения учителей и местных школ. Впечатлениями своими я и хочу поделиться с читателем, прося его исправить или дополнить их, если только он знаком с этим назревшим, животрепещущим вопросом, требующим скорейшего разрешения в благоприятном смысле.

Все школы в селах Южно-Уссурийского края строятся иждивением местных обществ. Тип архитектуры почти у всех одинаков: та же ограниченность и убожество сруба и внутренней обстановки, та же непрочность и небрежность кладки стен, то же отсутствие хороших печей, результатом чего бывает то, что поздней осенью и зимою как ученики, так и учителя принуждены бывают сидеть в теплом платье и несмотря на это не избавляются от простудных болезней, приостанавливающих нередко ход занятий. Мы уже не говорим о необычайно спертом воздухе,

особенно во время зимних занятий в тесном помещении школы, когда она переполняется учащимися при отсутствии вентиляции, что, конечно, влияет тоже на здоровье учеников. В одной школе на 3 куб. саж. приходилось до 40 человек. Эти обстоятельства наводят на мысль об улучшении прежде всего санитарных условий школ, которые надо строить по утвержденному специалистами плану. Крестьянские общества в Южно-Уссурийском крае, по единогласному отзыву встреченных мною учителей, настолько состоятельны, что их не может обременять постройка хороших зданий школ, но при этом трудно рассчитывать на инициативу обществ и необходимо употребить для этого кое-какие репрессалии со стороны местных административных лиц — заседателей, от которых почти непосредственно зависит процветание школ, расположенных в районе их управления. Но заседатели, как видно, не особенно энергично преследуют эту благую цель.

Нам передавали такой ответ одного власть имеющего лица:

— Захочу — будет школа, а не захочу — не будет!.. Посмотрю еще, как-то мне понравится учитель...

И учитель существовал фиктивно, хотя и имел официальное назначение. Итак — учитель без учеников, без школы и без жалованья благодаря капризу «лица».

А в то же время в соседней деревне практиковал свои педагогические способности отставной солдат, который пользовался благосклонностью того же лица и поощрялся другим, стоящим близко к крестьянской администрации, получая даже маленькую помощь от последнего.

При всем том нельзя устранить совершенно причастность заседателей к школьным делам, так как среди местных заседателей встречаются и люди, которые обнаруживают нередко желание принести пользу, но нельзя абсолютно допустить их до контроля специальной, чисто педагогической стороны дела, что всецело должно быть предоставлено только инспектору народных школ. Последнего следовало бы обеспечить разъездными средствами и тем дать ему возможность в мере надобности, периодически ревизовать школы, контролировать учителей и окончательно избавить их от вмешательства в школьные дела крестьянского общества, зачастую являющегося серьезным тормозом воспитательному делу. Мне рассказывали пример, который повторяется во всех селах и будет, вероятно, повторяться еще долго при существующих условиях.

Развязно входит местный «обчественник» в школу, как в свою хату, и становится у дверей, приняв позу á la Наполеон, скрестивши могучие руки на груди; или так же развязно садится чуть ли не на учительское место и слушает, как учитель объясняет уче-

никам солнечную систему. Дети с увлечением слушают учителя, учитель увлекается сам и не замечает того, как на губах мужика расплывается саркастическая улыбка, которая заканчивается громогласным восклицанием:

— Э! Це все брехня!..— и, топнув ногой, мужик уходит, приводя в недоумение детей и учителя.

С таким ценителем у нас
Пойдет далеко просвещенье!..

Но какими путями учитель может избавиться от возможности подобных сцен, тогда как его положение всецело зависит от толпы подобных обскурантов, тогда как он получает средства к существованию от них же? Взгляд крестьянских обществ на учителя как на простого батрака, которого считают во всем обязанным им, которым помыкают, уже знаком нам и набил-таки порядочно оскомину из повременной печати. Но вопрос старый, он еще долго-долго будет новым, пока народные учителя будут хотя в далекой зависимости от мужиков. Был пример, когда один из сельских учителей потерял свое место благодаря одному только горлану, который пришел в общественное управление и стал перед сельским ареопагом орать, что-де учитель «не знат» своего дела, что он и ничего не делает и получает-де даром «наши гроши». И что же? Мудрый ареопаг постановил безапелляционно прогнать учителя — и прогнали из-за личной неприязни одного мужика. Такая зависимость учителя от крестьянского общества не только оскорбляет и унижает звание учителя, но сильно мешает, главным образом, делу и отбивает у других охоту занимать эти должности. Еще удивляемся энергии и терпению некоторых из этих народных учителей, в которых горит еще страстное желание стремиться к добру, в которых еще при таких тяжелых условиях быта не угасла вера в светлое будущее. К таким-то людям и надо прийти на выручку и вырвать из тех тисков, которые давят и изводят их, и не позволить угаснуть их благим надеждам и стремлениям. Прежде всего надо, чтобы учителя отнюдь не получали жалованье непосредственно от общества, а чтобы это жалованье проходило какие-либо официальные инстанции, хотя через канцелярию того же инспектора народных учителей, как это существует для учителей школ на Амуре; чтобы жалованье учителю было установлено помесячно и чтобы оно не было бы в зависимости от убыли или прибыли учеников. В одной из школ, например, было 9 учеников, и за каждого ученика платился 1 рубль в месяц. По мере того, как убывал ученик, гонорар учителю уменьшался на рубль в месяц. Учитель зароптал и спросил:

— А что, если ученик будет ходить не месяц, а дней пять?

— Ну, что ж?.. Значит, по расчету, как следовает, за пять дней и получишь,— сказали крестьяне.

— Это около пятиалтынной-то?

— А что ж, пятиалтынный не деньги рази, по-твоему?..

Таков взгляд крестьянского общества в некоторых селах на учительский труд.

Мало того, родители-крестьяне ведут дебаты и относительно системы преподавания.

— Ты бы сынка моего, Гришутку, обучал спервоначалу писанию допреж чтения, а то мне там понадобится расписочку написать, аль что...

Учитель объясняет, что чтение у него идет совместно с письмом.

— Что ж, коли получаешь гроши, учи, как мы того хотим!

А то школьники собираются зачастую с самыми разнокалиберными букварями.

— Ты зачем переменил азбуку, которую я выдал тебе? — спрашивает учитель у одного ученика.

— Тятька переменил... Учи, говорит, по энтой. Дед, говорит, сам азы по энтой учил...

А того надоумила «мамка», а третьего «братец» и т. д.

Впрочем, к разнокалиберным азбукам приходится прибегать порою и поневоле за недостатком руководств. И приходится учителю изворачиваться, дабы пополнить все пробелы, прорехи: то он вырезывает из газет буквы и наклеивает их на картонку, то он сам принимается «печатать» таковые ручным импровизированным способом, то он дает для практики чтения, за неименнем подходящих книжек, сочинение архиепископа Никанора «Критику на критику чистого разума Канта». Что же касается до пособий для наглядного обучения, то редко в каких школах можно встретить их, словом, состояние учебных пособий в самом жалком положении в школах, за исключением очень немногих. В одной, например, школе на 30 с лишком учащихся было только 6 книжек «Родного слова», 4 книжки «Краткой священной истории» Рудакова — и только, из остальных классных принадлежностей — несколько миньятюрных аспидных досок,— вот весь состав учебных пособий. Мыслимо ли при этих условиях рациональное обучение, даже другому Песталоцци? А в то же время, как я упоминал выше, отставные солдаты поощряются.

Высказав эти свои немногие впечатления, нельзя не прийти к следующим окончательным выводам:

1) Надо строить школы по утвержденному плану, сообразуясь с гигиеническими условиями, а наипаче с условиями сохранения достаточного тепла в школах.

2) Безусловно отстранить во всех отношениях учителя от зависимости крестьянского общества, за которым оставить лишь обязательство содержать школу в надлежащей исправности и снабжать учебными пособиями по рекомендации инспектора народных училищ.

3) Установить учителям определенное жалованье, которое бы получалось ими отнюдь не через крестьянские общества, а от официальных лиц, причастных близко к делу воспитания.

4) Поставить в благоприятные материальные условия инспекторов народных училищ, дабы они могли свободно ревизовать и контролировать школы.

5) При всех школах должны быть приличные помещения для учителей, чего при многих школах не существует.

Ограничиваясь пока этими замечаниями, я встречу с благодарностью указания на то, «что переписал или недописал».

КОЕ-ЧТО О СИБИРСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ

«Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет» — вот фраза, с которою славяне когда-то приглашали из-за моря варягов «володети Русью» и установить «порядок». И хотя фраза эта имеет столь давнее историческое происхождение, тем не менее она сделалась стереотипною для определения настоящего положения нашей промышленной жизни, эксплуатации того или другого природного богатства, которым так обильна Русь. К одним из таких важных богатств страны принадлежат наши минеральные источники, которые при своих замечательных целебных свойствах поражают своим неустройством, делающим почти невозможным их использование больными. Одни положительные свойства этих вод еще не могут быть вполне достаточной гарантией успешного лечения, если только отсутствуют другие гигиенические условия, дающие возможность обставить свою частную жизнь сколько-нибудь сносно. В последнем случае больной спокойнее и нравственно, так как меньше внешних обстоятельств, расстраивающих его, а следовательно и больше шансов на ускорение лечения. А между тем, нет порядка, необходимых удобств на наших минеральных источниках, почему и бегут недужные заграницу: в Спа, Баден, Карлсбад, Виши и, наконец, даже в Японию, не потому, что там свойство вод лучше, а потому лишь, что лечебный сезон там не отравляется крайне безобразным устройством ванн и условиями обыденной жизни, а также потому, что могут найти

медицинские советы в достаточном количестве и к тому при сравнительно меньших расходах. В этом случае мы опять наталкиваемся на излюбленную тему о вывозе наших денег заграницу. Наши патриоты вопиют о том, что чужеземные артисты и артистки (как Лукка, Патти, Росси и др.) увозят наши деньги безвозвратно заграницу в виде денег или ценных подарков, они сокрушаются об этом, сокрушаются и о том, что то же проделывают и иностранные купцы, а здесь, в крае, китайцы увозят наши деньги. Сокрушаясь об этом, эти защитники отечественных интересов очень мало, если не меньше того, говорят о том, какую массу денег увозят страждущие, алчущие исцеления заграницей, не могущие найти подходящих удобств для лечения на отечественных источниках. А между тем, какое богатство этих источников! Нет в мире такого маленького района распределения вод самых разнообразных свойств, как на Кавказе. Там на протяжении каких-нибудь 60 верст сгруппировались источники: серные, железные, щелочные и кислые с великолепными свойствами, а между тем, много ли посетителей видим на этих водах, приезжающих извне Кавказа? А все потому, что и эти воды даже до сих пор оставляют желать много улучшений в отношении удобств жизни пользующихся водами, а также в отношении устройства самих источников. Но если это говорится о кавказских минеральных источниках, то что можно сказать о других отечественных водах, а особенно сибирских? Эти уж находятся в непозволительно печальном состоянии, как в отношении устройства самих источников, так и в особенности в отношении медицинской помощи. Верстах в 650 от города Томска есть речка Солоновка, в грязи которой купаются больные ревматизмом, развившимся в городе особенно после страшного последнего наводнения. Вот как описывается в последнем номере (57) «Сибирского Вестника» состояние этого важного целебного источника:

«Солоновка протекает по совершенно открытой степи, в которой постоянно дуют сильные ветры в разных направлениях: из них северо-восточный даже среди лета бывает очень резкий и холодный. Ближайшая к Солоновке русская деревня Бархатовка лежит в расстоянии 10 верст, а на самой речке не только нет признаков какого-либо здания, напоминающего европейский курорт, но нет даже ни одного жилого дома. Приезжающим на купание больным — кто богаче — приходится жить в нанятых у киргиз юртах, уплачивая за них от 8 до 18 рублей в месяц; бедные спят на своих телегах под натянутыми над ними холщовыми будками. Кому не достанет места на телеге, тот спит под ней, подстилая себе кусок кошмы. Раздеваться, одеваться и купаться нужно на открытом воздухе, подвергая себя попеременно

то палящим лучам солнца, то холодному северо-восточному ветру. Приехавшие на Солоновку больные ниоткуда не могут ждать медицинской помощи, разве случайно попадет туда больной врач. Таким образом, больные предоставлены самим себе, и только от личного их усмотрения зависит применение способа лечения. Понятно, что при таких условиях даже больным, являющимся на Солоновку по совету врачей и купающимся, придерживаясь известной системы, купанья только тогда приносят действительную пользу, когда в течение всего сезона стоит хорошая погода. Но в Сибирских степях это слишком редкое явление. В большинстве случаев бывает так, что вследствие резких перемен температуры больные купаются с перерывами, что, понятно, не может способствовать успешному лечению. Иногда случается, что больной приедет, просидит над речкою неделю-другую и, не дождавшись хорошей погоды, уезжает обратно, ни разу не выкупавшись. Нередко бывает и еще хуже: больной купается некоторое время, получит значительное облегчение, и вдруг погода меняется — он вновь простуживается и уезжает таким же больным, как приехал.

Итак, прекрасные источники, на целебность которых, несомненно, было бы обращено более серьезное внимание везде, в Сибири остаются заброшенными и не приносят почти никакой пользы. Причиною этому опять является отсутствие всякой предприимчивости в нашей окраине. В данном случае даже не потребовалось бы крупных капиталов для того, чтобы на Солоновке выстроить несколько сколько-нибудь сносных жилых помещений, устроить ванны и купальни не под открытым небом, наконец, обеспечить приезжающих больных медицинскою помощью и здоровым продовольствием. Солоновка тогда бы сделалась сибирским Пятигорском и приносила бы действительную пользу многим больным, не имеющим возможности мечтать о дальних поездках для сохранения своего здоровья. Но, увы! Предприимчивого человека на это не является...»

Ясное дело, что при хороших жизненных условиях в Солоновке не было бы надобности ехать далеко и людям состоятельным для сохранения здоровья. Но какова эта благоустроенность единственного в своем роде целебного источника, которым пользуются и обитатели университетского города,— видно из приведенной выше цитаты: в самом жалком, непростительно жалком виде! Не в лучшем состоянии находятся и забайкальские минеральные источники, которые известны пока в пятидесяти местах. Это громадное количество источников, разнообразнейших по своему составу и свойству находится в самом примитивном состоянии— в том состоянии, в котором их находят, а находят их во всех малоисследованных местах Забайкалья. Опытом многих лет доказана

целебность забайкальских источников, хотя научного исследования их до сих пор не сделано. Но при этом условии целебности воды, как я сказал выше, поражают своею неустроенностью: нет удобных ванн для купающихся почти отсутствует медицинская помощь и ко всему этому если прибавить и отсутствие благоприятных гигиенических условий в отношении пищи и помещения,— тогда получится приблизительно верная картина этих вод среди степей Забайкалья. Несмотря на это, на воды съезжается ежегодно масса лиц всех сословий, в чаянье получить облегчение от своих недугов и действительно получает даже при тех неблагоприятных условиях, о которых сейчас только что было упомянуто.

Аборигены края — буряты пользуют минеральными водами не только себя, но и свой скот, пораженный чесоткою или коростой. Таким образом, обилие и медицинские свойства минеральных источников в Забайкалье могут служить громадной поддержкой народного здравия не только края, но и целого мира при других, более благоприятных условиях. Но вся беда состоит именно в том, что источники эти остаются без должного внимания. Впрочем, важным тормозом развития забайкальских минеральных источников служит отсутствие в крае удобных путей сообщения, которые давали бы возможность нуждающимся свойствами вод приезжать на место лечения без тех адски мучительных дорожных неприятностей, с которыми неразрывно связана езда по сибирским дорогам...

Начиная с Забайкалья и Приморской области и далее на восток, больные стремятся больше к Анненским минеральным источникам, что в 150 верстах от г. Николаевска. Целебные свойства этих ключей давно уже известны, и больные пользуются ими весьма успешно. Описание этих вод и химический анализ их давно сделаны, но относительно удобств сообщения и жизни на ключах остается ожидать еще много, много лучшего.

В настоящее время источники эти арендуются неким г-ном Р-м, который не особенно заботится о благоустройстве самих источников, а еще меньше об удобствах жизни больных на источниках. В нынешнем году на Анненские ключи приезжал начальник края, барон А. Н. Корф, который лично убедился в печальном положении этих ключей, чем остался крайне недоволен, тем более, что многие больные на ключах докладывали ему о существующих неудобствах. Эксплуатация вод, по единогласному отзыву приехавших оттуда лиц, носит характер чисто личной наживы, ничуть не сообразуясь с интересами больных, для большинства которых пребывание на водах делается невозможным или вследствие крайней дороговизны жизни, или неопрятности ванн. Все ванны расположены в трех флигелях, построенных чуть ли не с

основания источников, и почти никогда не реставрировались. Ванны до того грязны и неопрятны, что купающиеся входят в них с чувством некоторого отвращения.

Больных средним числом наезжает на Анненские ключи в продолжение одного месяца до 60 человек ежегодно, и на все ванны всего два человека прислуги. Дожидаться очереди приходится от часу до двух. За прием ванны с больных берут 20 коп. за каждый раз. Не в лучшем положении находятся и ветхие помещения для больных, которые как бы сделаны не для того, чтобы облегчить страданья удрученных, приехавших сюда для исцеления, а, наоборот, для того, чтобы усугубить эти страдания. Флигели, в которых размещаются больные, разделены на маленькие клетки, в которых приходится жить по нескольку человек вместе, платящих в сутки по 40 коп. за право пользования помещением. В этих номерах неопрятности еще больше, тут можно встретить немало существ в виде паразитов: клопов, блох и т. п. врагов человека, с которыми больным приходится иногда вести ожесточенную войну, причем бывает и так, что человек обращается вспять от назойливого преследования их. Вся мебель в номерах состоит из кровати без матраса, табуретки и стола, а все остальное считается излишней роскошью для больных. Общая кухня и общая столовая еще сравнительно сносны. Пища слишком однообразна и не отличается особенной доброкачественностью, почему некоторые больные пользуются своим столом, платя за право пользования кухонной печью 10 коп. При этом за фунт мяса платят арендатору, у которого покупаются все продукты, 35 коп., за сотню яиц — 6 рублей. Обеды бывают от 1,5 до 2 руб и состоят из трех блюд: суп, мясное и третье, кусок сладкого. Овощей положительно нет. Хлеб кисловатый и настолько неважный на вкус, что больные его почти не едят; зато же с каким аппетитом едят, когда на стол попадает удачно выпеченный хлеб! Нечего говорить, конечно, об развлечениях: книг — никаких, гуляние же не представляет никакого удовольствия, так как вся местность у ключей изобилует слишком большим количеством человеческих и животных экскрементов, затрудняющих хождение и дыхание.

Вообще Анненские минеральные источники, прекрасные в сущности по своим целебным свойствам, оставляют слишком безотрадное впечатление на больных, вследствие их крайней неустроенности, неопрятности и отсутствия необходимейших потребностей частной жизни больных. А между тем, кроме казенной денежной субсидии, арендатор г-н Р-в пользуется еще трудом 50 человек ссыльно-каторжных.

Все эти причины в совокупности с отсутствием достаточной врачебной помощи вызывают справедливое неудовольствие в

больных, которые, за редкими исключениями, не выдерживают полного курса лечения и уезжают скорее восвояси, недолечившись. Но и тут нередко являются недоразумения между арендатором и больным. Последний, вынужденный силою непредвиденных неблагоприятных условий на ключах уезжать, не получает обратно разницу уплаченных вперед денег за прожитие от арендатора. При этом больному, едущему лечиться из Владивостока, чтобы выдержать положенный курс лечения в шесть недель, придется израсходовать около 500 рублей, находясь в пути в оба конца около 45 дней.

— Лучше уж ехать лечиться в Японию, там при сравнительно меньших расходах можно иметь больше удобств жизни и медицинской помощи; не придется там выносить эти мытарства,— так говорили приехавшие больные из Анненских источников.

Да, пора бы, кажется, подумать о рациональной эксплуатации наших минеральных источников и взяться за это дело более умело, чем оно ведется в настоящее время. Эти ключи обещают огромную пользу целому сонму сибирских недужных, большинство которых съезжается сюда чуть ли не из Забайкалья, и часто уезжают оттуда обратно разочарованными и недовольными порядком на водах и отсутствием медицинской помощи... Арендатор должен заботиться привлечь публику, а не отбивать у ней охоту лечиться.

ЛИТЕРАТУРНАЯ БЕСЕДА

В одном из последних номеров «Сибирского Вестника» я прочел передовую статью, в которой автор подал первую мысль основания общества вспомоществования литераторам в Сибири, по примеру общества, основанного в последнее время в Саратове. Основная идея всех обществ вспомоществования литераторам, как известно, заключается в том, чтобы поддерживать материально нуждающихся литераторов на время болезни, воспитывать их детей в случае материальной несостоятельности, выдавать семьям их пенсии в случае их смерти. Пособия, кроме того, выдаются и таким литераторам, которые берутся за какой-либо капитальный труд, не позволяющий им участвовать в периодических изданиях на время окончания труда, дабы не отвлекаться побочными работами от намеченной задачи; выдаются также и начинающим, молодым литераторам, подающим надежду. Все эти пособия выдаются, смотря по обстоятельствам, с возвращением обратно или безвозвратно. Фонд образуется от взносов как самих

литераторов, так и частных лиц, сочувствующих литературе. Эти общества находятся, сколько нам известно, в Петербурге, Москве и в последнее время и в Саратове. В эти-то общества могут обращаться за помощью все те лица, деятельность которых признана будет полезной в литературе. Но эти общества далеко не в состоянии удовлетворить в желаемой степени нуждающихся литераторов, а таких весьма много среди лиц, живущих исключительно литературным трудом. Материальное положение русского литератора, если он еще не завоевал себе прочного места в редакции какого-либо большого журнала, самое незавидное, печальное. Таково положение не только сотрудников провинциальных газет и журналов, но даже столичных, и между такими материально бедными писателями попадались зачастую и такие литераторы, которые давали тон и направление нашей литературе, направляли молодые силы на твердую дорогу и в то же время сами умирали почти нищими, так что не на что было их похоронить. Стоит вспомнить знаменитого критика Виссариона Белинского, жившего замечательно скромно, но умершего в крайней бедности; известного переводчика Беранже, Курочкина, сибиряков—Омулевского и Щапова; трагическую судьбу Николая Успенского, недавнюю смерть в крайней бедности Ореста Миллера и др., чтобы убедиться в печальном материальном положении вообще русского литератора, живущего исключительно своей литературной профессией, помимо каких-либо посторонних ресурсов, доставляемых или службой, или каким-либо частным занятием. Мы, провинциальные читатели, зачастую читающие с увлечением то или другое сочинение, редко задаемся вопросом: а как живет автор этого сочинения? И если приходится задумываться над таким вопросом, то почти всегда получается ответ в пользу автора, описывающего роскошные будуары, меню, выхоленных модных красавиц-героинь, богатых героев. А между тем, если в действительности познакомитесь с жизнью автора этих милых, занимательных и даже талантливых статей, то увидите, что квартира его не щеголяет ни простором, ни роскошью, что ход к нему с черного двора, что обедает он нередко в посредственных кухмистерских, что деньги для него — редкие гости, да и то должает в кассе журнала, в котором он состоит сотрудником. Но если ему удалось прикопить сколько-нибудь из своих скудных средств, то он отправляется на экскурсии как натуралист, чтобы почерпать новые впечатления и сделать новые эскизы для своих работ. Вот в этой-то своей миссии находит себе вдохновение литератор, и она-то составляет для него источник живой воды, поддерживающий его энергию, не дающий ему падать духом в минуты даже тяжелых материальных невзгод. Лучшей награ-

дой ему служит, когда он замечает, что общество читает его и разделяет его излюбленные идеи, и в то же время он к этим материальным невзгодам относится не то пренебрежительно, не то иронически, отнюдь не ожидая однако от того же общества активного к себе участия. Говоря это, мне невольно опять припоминаются здесь знаменательные слова Щедрина из его «Пестрых писем», где он характеризует оригинальное отношение общества к литературе.

«Я личным опытом основательно и бесповоротно убедился, что человеку, который живет и действует вне сферы служительских слов, ниоткуда поддержки для себя ждать нечего. Сколько раз в течение моей долгой трудовой жизни я взывал: где ты, русский читатель? откликнись! — и, право, даже сию минуту не знаю, где он, этот русский читатель. По временам, правда, мне казалось, что где-то просвечивают какие-то признаки, свидетельствующие о самосознании и движении вперед, но чем глубже я уходил в ту страну терний, которая называется русской литературой, тем более и более убеждался в бесплодности моих чаяний. Нет тебя, любезный читатель! Еще ты не народился на Руси! Нет тебя, нет и нет! Русский читатель, очевидно, еще полагает, что он сам по себе, а литература сама по себе. Что литератор пописывает, а он, читатель, почитывает. Только и всего. Попробуйте сказать ему, что между ним и литературной профессией существует известная солидарность, он взглянет на вас удивленными глазами.— Ах, нет! скажет он, лучше я совсем не буду «связываться», чем добровольно наложу на себя какое-то обязательство! И когда затем для писателя наступит трудная минута, то читатель в подворотню шмыгнет, а писатель увидит себя в пустыне, на пространстве которой там и сям мелькают одинокие сочувствователи из команды слабосильных...»

Вот в такие-то минуты литератор вообще, а сибирский нарождающийся в особенности, чувствует себя в крайне затруднительном положении, близко граничащем с отчаяньем.

Употребляя выражение «нарождающийся сибирский литератор», я хочу сказать, что в строгом смысле сибирского литератора еще нет, хотя есть сибиряки-литераторы, приютившиеся в столичных органах. Наша сибирская литература еще находится в таком младенческом состоянии, что она еще не успела создать определенный, постоянный характер литератора, с строго выяснившимся направлением и убеждением. Помехой тому служат и те многочисленные неблагоприятные перипетии, которые она выносит и которые не дают ей твердо обосноваться. Но сибирский литератор, а с ним и сибирский читатель нарождаются. Прототипом этого литератора служит тот скромный, неведомый никому

захолустный корреспондент-репортер, который питает сообщениями местные печатные органы не столько ради мизерного гонорара из мизерных редакционных ресурсов, сколько ради служения вечной правде, вечной истине, за немногими исключениями. Но что эта миссия стоит этому корреспонденту? Наша местная печать достаточно уже констатировала многими фактами, что автор, ведущий к позорному столбу какого-либо Колупаева или Разуваева, Ташкентца приготовительного класса или какого-нибудь самодура, дающего слишком сказочный размах своим широкозахватывающим рукам,— подвергается положительной травле, спастись от которой для него не представляется возможности, так как он преследуется как вредный элемент за то только, что он бросает луч света в берлогу, куда запрятались исчадия тьмы. Ему тормозят честный труд, его травят собаками, ему грозят нагайками и в довершение всего — о праведный бог! — разные Сквозники-Дмухановские его причисляют к категории «неблагонадежных»,— словом, служителю святой миссии — печати — обставляют жизнь так, что зачастую она для него теряет свою заманчивость при всем запасе энергии. Вот к этому-то бедному труженику и мученику надо прийти на помощь во имя поддержания молодой сибирской печати. Но как? Каким образом облегчить участь его при существующем оригинально-ложном взгляде на корреспондента в Сибири? Как оградить его от тех бурь и ураганов, которые проходят над его горемычной головой? Как отразить удары перунов, посылаемых на него местными юпитерами? Местная печать сама карает лживые сообщения корреспондентов, но она почти бессильна оградить правдивого, но преследуемого, так как дальность расстояния исключает возможность общения с корреспондентом, а материальными средствами в степени надобности редакция не всегда располагает; на общество же мало надежды при существующем еще взгляде на корреспондента. А между тем задачу эту может разрешить только само же общество, которому пора прийти к тому убеждению, что миссия корреспондента,— если она без всяких предвзятых целей, без примеси личностей,— благодарна и почетна, что преследование такого корреспондента равносильно защите тьмы, которая и так уж густо окутала матушку Сибирь и которая накануне великого события — хотя исподволь должна выходить на божий свет. Общество должно понять, что задачи печати — задачи большего или меньшего прогресса, задачи же общества, а следовательно, и служители его заслуживают полного внимания этого общества. Затем об основании в Сибири общества вспомоществования местным литераторам я поговорю в недалеком будущем...

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВОПРОС ВОСТОЧНЫХ ОКРАИН СИБИРИ

Застой торгово-промышленной жизни наших восточных окраин, особенно у берегов Охотского и Берингова морей, обращает на себя внимание русской печати со времен уступки нами североамериканских владений Соединенным Штатам и не перестает быть весьма важным государственным вопросом, обостряясь с каждым годом. С 1867 года американцы и другие иностранцы, видя малонаселенность этих окраин, неразвитость туземного населения и отсутствие правильного с нашей стороны бдительного надзора, стали хозяйничать в упомянутых водах, эксплуатируя самым беспощадным образом местных туземцев, преимущественно чукчей, от которых пользуются пушниной взамен рома, виски и других спиртных напитков, которые не только не поднимают экономическую жизнь населения, но деморализуют его, в то же время не давая казне никакой прибыли за произвольное хозяйничанье. Излюбленным местом американских торговых судов сделалась Анадырская губа, по берегам которой происходит меновая торговая операция с туземцами, ведущая к тому, что отбивает значительную часть меновой торговли от Якутской губернии, захватив в свои руки все морские промыслы. Таким путем иностранные купцы обогащаются в прямой ущерб населению и самому государству, которое при рациональной эксплуатации местных промыслов могло бы иметь значительный доход. Читатели, следившие за нашей газетой, помнят, вероятно, что вопрос этот нами затрагивался неоднократно, причем мы указывали каждый раз на печальное положение вопроса в связи с вожделениями иностранных промышленников. В настоящее время, независимо от этого, вопрос этот обращает на себя внимание компетентных лиц, стоящих близко к нему, которые выражают свое мнение по этому предмету в более категорической форме, находящее отклик в таком органе, как «Правительственный Вестник». По донесениям нашего генерального консула в Сан-Франциско А. Э. Оларовского о торгово-промышленных сношениях в Приморской окраине Восточной Сибири с иностранцами, правительственная газета говорит, что:

«Флибустьерство иностранцев является великим злом. Когда и каким образом оно может быть устранено — это вопрос, уже, видимо, назревший, судя по громко раздающимся голосам людей, близко знакомых с состоянием морских промыслов сибирских окраин. Мнения этих лиц единогласно сходятся на том, что для подъема экономического положения края до уровня, видимо, предопределенного ему благоприятными условиями местных про-

мыслов, необходимо организовать правильную охрану, как береговую, так и морскую, а затем и контроль над охотою за морским зверем и торговлею, существенно необходимый при всяком вновь развивающемся деле в местах, где туземное население по развитости стоит ниже пришлого, особенно же иноземного, способного ради коммерческих выгод пользоваться его отсталостью».

По мнению газеты, цель эту можно достигнуть путем поднятия благосостояния Камчатки, где при относительно благоприятном климате возможна колонизация края по возможности чисто русским элементом из рыбаков и промышленников — для прибрежных местностей, из хлебопашцев и скотоводов — для долины р. Камчатки. В настоящее же время все население Камчатки с Командорскими островами достигает лишь немногим больше 7 тыс. душ обоего пола, что далеко не достаточно для прибыльной эксплуатации разнообразных промыслов Берингова моря, которые находятся в настоящее время в руках иностранцев. Товары последних, которыми снабжаются жители здешних мест, следует обложить известным сбором, и снабжение населения необходимо производить чрез посредство судов добровольного флота из Одессы. Затем предлагается отдать промысла в арендное содержание и обложить пошлиной отпускную пушнину, кроме того, установить небольшой налог помимо арендной платы, который бы поддерживал здесь русские школы с русскими учителями, что послужит упрочению в крае русской гражданственности. Вообще следует стремиться к упорядочению положения местного населения и открыть ему путь хотя бы к постепенному материальному развитию. Для этого надо, говорит «Павительственный Вестник», «устройство запасных провиантских магазинов и ссудных касс, привлечение в Камчатку добровольных переселенцев из Сибири и преимущественно из Якутской области; воспрещение иностранцам ввоза спиртных напитков и разрешение их подвоза в ограниченном количестве одним лишь русским фирмам; допущение каботажного судоходства исключительно под русским флагом и, наконец, открытие доступа иностранным судам в один лишь Петропавловский порт и к угольным копям, куда суда могут допускаться за принятием груза для его вывоза».

Находясь в полной зависимости от скупщиков, местное население еще стремится скорее выйти из того положения и в то же время входит в еще большее кабальное состояние и продает свой продукт за бесценок иностранцам. Лучшие меха идут за бесценок, за плату, произвольно назначаемую самими же скупщиками, которые никогда не дают возможности освободиться из задолженности. Это прием всех просвещенных кулаков всех наций со всеми инородцами, приходящими в соприкосновение с ними. Сис-

тема эта, сказать к слову, практикуется и у нас среди многих сибирских инородцев — остяков, тунгусов, орочей и т. д. и ведет к одному и тому же печальному и неизбежному концу — к вырождению последних, если этому способу эксплуатации инородцев не будет положен конец. Такой же конец может ожидать и камчатских зверопромышленников, если не будет положен предел беспощадной эксплуатации их иностранцами путем учреждения для них правительственного дешевого кредита, что было бы истинным благодеянием для бедных инородцев Камчатки. Кроме того, основать запасные провиантские магазины, где могла бы зимой храниться часть промысловой рыбы, а так же запас хлеба и соли. Ранее уже было говорено о том, что край годен для колонизации: там много годной для этого земли.

Кроме земледелия, Камчатка пригодна и для скотоводства. Но все-таки на первый план опять-таки выдвигается вопрос правильной организации, эксплуатации промыслов и естественных богатств, которых много в Камчатке. Лес, каменный уголь, рыбный и пушной промысла по берегам Охотского моря; котиковый, моржовый, тюлений, нерпичий, сивучий, китовый, рыбный и пушной — на Беринговом море. Прекрасные леса Камчатки, мало известные нам, обращали давно внимание американцев, особенно торговой фирмы Раит и Бауна, которая просила права рубки этого леса у генерального консула в Сан-Франциско, доказывая, что лесом этим можно снабжать не только Японию и Австралию, но и Соединенные Штаты. Ввиду этого американцы хотели построить на полуострове лесопильный завод, но должно полагать, что это им не будет разрешено, тем более, что в последнее время русские промышленники, как видно из последних сообщений по поводу передачи некоторых промыслов в руки русских фирм,— отваживаются переносить свою торгово-промышленную деятельность на далекие окраины, что вполне целесообразно с пробуждением края. Залежи каменного угля есть в Пенженской губе, о чем давно знали американцы, и их китобои Охотского моря употребляют его для вытапливания жира. Могла ли при таких условиях обосноваться здесь русская торговля? Даже известная русско-американская компания, якобы стремившаяся к развитию русской торговли в Охотском и Беринговом морях, не только не принесла пользы, но загубила всякую предприимчивость населения и добилась в этих водах полного прекращения китового промысла, так как всецело он захвачен был ею. Рядом с этим в Беринговом море уничтожаются тюлени, моржи, котики и др. животные, и, если не будут приняты против этого своевременные охранительные меры, тогда участь этих животных весьма печальна. Тюленей в Беринговом море уже почти нет, моржовый про-

мысел падает. Моржей на Камчатском побережье ныне уже нет, они встречаются лишь у Чукотского Носа, где чукчи ловят их главным образом в Ледовитом океане. То же самое приходится говорить о сивучах и нерпах, хотя эти меньше вызывают соблазн промышленников. О котиковом промысле мы имели случай говорить неоднократно в газете «Владивосток», причем указывали также и на уменьшение камчатских бобров и на способ поддержания давнишнего их существования, близкого к концу при существующих условиях промысла. Охотское море изобилует, кроме того, треской (около Сахалина), лососиной; в Беринговом море треска, палтусина, лососина, форель, кета, калуга, терпуга, рамжея. Все эти естественные богатства Охотского и Берингова морей в совокупности еще с мелкими промыслами, могущими составить предмет вывоза в Китай и Японию, раки, крабы, трепанги, морские ежи, осьминоги могут при правильной постановке промышленности дать большой доход государству и вырвать инородцев края из той экономической кабалы, в которой они находятся до настоящего времени у иностранных купцов-промышленников, благодаря тому, что еще нет в этих окраинах крупных русских предпринимателей, которые бы парализовали вредные операции иностранцев.

На первых порах при этом необходимо правительственное участие в судьбе местного населения, в сказанном выше смысле колонизации края русским элементом; учреждение кредита промышленникам, открытие запасных магазинов, снабжение населения русским товаром через посредство добровольного флота, и вообще большее участие в торгово-промышленной жизни края.

О ПОЛОЖЕНИИ РУССКОГО РАБОЧЕГО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Очерк первый

Читатели, которые следили за нашей газетой, вероятно, помнят, что мы неоднократно затрагивали весьма важный вопрос о русском рабочем на наших окраинах, причем и указывали на те существенные условия, при которых возможно зарождение здесь русского рабочего класса. Мы указывали, что продукты русского рабочего труда проявлялись только в капитальных казенных зданиях, воздвигнутых неутомимыми руками сибирского солдата, на долю которого выпала весьма тяжелая участь олицетворять

собою в одно и то же время и рабочую, и военную силу; он одновременно держит в одной руке топор, а в другой—ружье...

И несмотря на эту двойственность силы, вызванную необходимыми условиями отдаленного от населенной России края, этот солдат-рабочий проявил несравненно лучшие качества рабочего как по отношению прочности и доброкачественности своих сооружений, так точно и в отношении количества этого труда. Но однако все это шло в ущерб прямому специальному назначению солдата, чисто военным его качествам. В первые времена владычества русских на Амуре солдат переносил в усиленной дозе эту двойственность, требуя более сильного напряжения сил и энергии, но с течением времени, когда край стал колонизоваться постепенно, одна тягота рабочей силы стала, хотя медленно, но спадать с его выносливых плеч. Самая колонизация происходила не одними русскими — явились китайцы в лице своего пролетариата, которые нашли здесь применение своему труду, и до настоящего времени мы фактически в известной экономической зависимости от китайского элемента, который пришел к нам искать труда, приюта. И нельзя отрицать, что обстоятельство это придает им до некоторой степени нравственную силу и уверенность в изменении условий жизни в их пользу. Чтобы парализовать эту уверенность, чтобы, так сказать, осилить этот нравственный подъем китайского элемента, неизбежно следует колонизовать край и стараться о водворении здесь русской рабочей силы, которая бы явилась солидным противовесом давлению китайского рабочего элемента. Но чтобы сделать этот важный шаг, ведущий к социально-экономическому развитию края, необходимо строго обусловить вопрос, при котором русский рабочий успешно может здесь водвориться, опасаясь необдуманных, поспешных мероприятий, могущих скорее повредить делу, чем помочь ему. Надо помнить то, что хорошее начало решения этого важного общегосударственного вопроса породит неизбежно и хорошие результаты. Если рабочих будут приглашать в край осмотрительнее, поставив их в известных хороших условиях, а не в случайных, ведущих за собою самые неблагоприятные разочарования, тогда сделан важный почин; иначе вопрос усложнится настолько, что придется начинать снова, если он не рухнет окончательно и сделается невозможным его решение. Допустим такое положение. Пригласите сотенные или тысячные партии рабочих и поставьте их в таких случайностях, которые бы их довели до полного разочарования, а может быть, до отчаяния вследствие крайней материальной неудовлетворительности. Что тогда выйдет? При таких условиях не только худшие рабочие силы дойдут до окончательного падения, но и лучшие убедятся в тщетности своих чаяний, махнут рукой на все

и закажут другу и недругу являться в тот край, где обмануты их ожидания, надежды, разбиты их иллюзии, которыми вы их подвигнули явиться сюда, в неприветливый край. Здесь уж вопрос значительно затормозился,— явилось недоверие, перед которым приходится глубоко задуматься инициаторам важного вопроса о русской рабочей силе в крае. Чтобы избежать этих случайностей, следует заранее сообразоваться строго с условиями жизни рабочего класса в крае, нужно помнить громадную разницу этих условий там, в России, и здесь, на далеких окраинах, куда он ступает впервые, как в темный лес без путеводной звезды; нужно помнить и то, что здесь его ожидает страшный, сильный по своей численности и дешевизне труда китайский элемент, с которым придется считаться серьезно. Те оплаты труда, которые поставят рабочего в сравнительно благоприятные материальные условия, здесь не годятся настолько, что ему грозит вечная проголодь, если еще не того больше. Лично гоняясь за скорой и быстрой наживой, вы не только затормозите вообще рабочий вопрос, но потерпите и вы лично в своих предприятиях, направить которые уже будет труднее, чем в том случае, если бы вы начали дело с большей осторожностью и расходами, явившимися неизбежными требованиями особых условий края.

Очерк второй

Правительство должно урегулировать дело путем строгого контроля частных подрядчиков, контрактующих рабочие артели. Нужно прежде всего требовать от подрядчиков известный залог обеспечения первоначального существования рабочих на месте, проверять правильность контрактов, которые, как показали некоторые случаи, ставят рабочих почти что в кабальное положение относительно нанимателей, которые сами не всегда хорошо знакомы с возможностями, могущими встретиться в новом крае. Зависит же это от бедности вообще нашей литературы о крае, с одной стороны, отсутствия справочных контор по вопросу социально-экономическому, климатическому и т. д. — с другой, да кроме того, и это почти главнейшая причина,— подрядчики и рабочие сами мало задаются принципиальным вопросом искать ориентировочный пункт впредь до своего решения пуститься в туманную даль Восточной Сибири. Кроме того, те же подрядчики не всегда разбираются при вербовке рабочих в вопросе о доброкачественности и пригодности их к намеченной ими цели. Вследствие указанных обстоятельств являются те печальные случаи, которые имели место с первыми партиями и которые на первых порах по-

ставили русский рабочий вопрос на довольно зыбкую почву. Мы довольно наслышаны о партии в 100 человек, завербованных в Одессе подрядчиком Фоминым и набранных им большею частью откуда попало. Странствие этих злополучных людей, этого авангарда русских рабочих весьма поучительно. Посадил Фомин их на пароход Добр[овольного] флота «Нижний Новгород» под управлением своего доверенного Гавриловича, посулив им выдать здесь задатки, помещение и харчи, не доезжая до Коломбо. Среди рабочих произошло неудовольствие против Гавриловича, которое приняло характер бунта, вследствие чего 7 человек из этой партии были высажены в Коломбо как зачинщики беспорядка. Этот поверенный Фомина не имел никакого представления о той работе, для которой он сопровождал сюда партию. Чтобы составить себе понятие о материальных средствах Гавриловича, достаточно упомянуть, что он в дороге еще занял 25 рублей у частного лица, ехавшего на том же пароходе. В довершение всего он запоздал в Сингапуре на пароход и был там оставлен. Таким образом, партия без подрядчика, без вожатого, без всякой надежды на будущее прибыла сюда, в незнакомый, неприветливый для них край. Но что могла делать эта безначальная, полуголодная толпа рабочих, выброшенных на берег на произвол судьбы? Могла ли она не разочароваться и не отчаиваться в своих ожиданиях, могла ли она не помянуть лихим словом человека, так беззастенчиво обманувшего и поставившего их в критическое положение? Если вникнуть глубже в это обстоятельство, нетрудно будет сделать вывод — как следствие безвыходного положения. И это перед лицом другого рабочего элемента, который является для русского опасным конкурентом в рабочем вопросе.

Китаец упорно отвоевывает себе труд в крае, вынося такие материальные ограничения и лишения, на которые русский рабочий не способен. Ясно, что эти отрицательные условия поведут к полному разладу, который сделает невозможным основание здесь каких бы то ни было русских рабочих артелей, по крайней мере, в первое время. Беспорядочное же шатание их сюда и отсюда подорвет всякое рабочее движение в России, и тогда невольно придется снова прибегнуть к исключительному манзовскому труду, от которого само правительство пожелало совершенно уклониться при сооружении сибирской железной дороги,— а следовательно, не будет достигнута важная цель государственной экономии: львиная доля ассигнованных государственным банком денег достанется опять манзам и унесется в Китай безвозвратно. Как бы в pendant только что сказанному нами в газете «Русская жизнь» в 153 № выражается мысль, что подобные случаи, как случай с партией Фомина, затрудняют движение рус-

ских рабочих в то время, когда потребность в них прогрессирует с каждым днем. Избежать всего этого можно, как сказано, путем основания прежде всего в Одессе, а затем в других подходящих городах — откуда идет движение русского рабочего элемента в отдаленный край, справочных контор, в которых бы заседали лица, близко знакомые со всеми особенностями Сибири, где бы были популярные брошюры о крае, необходимые справочные сведения, доставляемые из правительственных местных учреждений, близко знакомых на основании официальных донесений с условиями той или другой местности края; тут же должны быть и подробные местные карты и т. д. В этих конторах как рабочий люд, так и их наниматели могут получить нужные им сведения и могут осветить, хотя отчасти, ту terra incognita, куда они идут, могут наметить себе более ясную путеводную точку, и тогда меньше будет места тем разочарованиям и ошибкам, которые тормозят рабочий вопрос на дальних окраинах, нуждающихся в русском рабочем элементе. Все эти справки, конечно, будут выдаваться интересующимся за известный гонорар, который будет погашать до известной степени расходы на служащих в этих конторах лиц. Но не одним рабочим артелям и их нанимателям окажет великую услугу учреждение этих контор, а и переселенческому движению, дающему тоже известный контингент землекопов, каменщиков, кузнецов и т. п., необходимых при сооружении дороги. До сих пор крестьянские общества, решающиеся переселяться в Сибирь, в большинстве случаев, не полагаясь на письма своих земляков из Сибири, командируют от себя по выбору так называемых «ходоков» для собирания нужных сведений на месте. Командировка эта требует известных затрат, которые отзываются на их общественном бюджете. Но что же могут положительно узнать эти избранные ходоки в совершенно чуждом для них крае, тем более, что они прибегают к словесному собиранию сведений, туманному знакомству с местностью и с такими-то сбивчивыми сведениями являются обратно и рассказывают всякие небылицы землякам. При существовании же справочных контор крестьяне избавятся от необходимости посылать ходоков и не будут рисковать ценою сравнительно меньших расходов денег и труда, ибо получат более верные сведения о тех местах, куда они решились выселиться. А переселенцы значительно бы облегчили важный рабочий вопрос, в особенности если они будут преимущественно селиться в тех районах, в которых происходят железнодорожные работы. В этом отношении нельзя не согласиться с мнением той же «Русской жизни», предлагающей, чтобы управление казенными железными дорогами, ввиду собственных интересов, оказало из сумм, отпущенных на сооружение сибирской дороги, некоторую

субсидию переселенцам, пожелающим направиться в местности, по которым пройдет дорога. Рядом таких мер можно вести более радикальную борьбу против обстоятельств, тормозящих в крае русский рабочий вопрос.

Очерк третий

Второй свой очерк мы закончили мнением расселять приходящих в край переселенцев в районах железнодорожных работ. Однако такое наше мнение нельзя применять всецело ко всем наличным переселенцам. Мы разумеем лишь часть их, более пригодную и необходимую для железнодорожных работ, которая может образовать из себя нужный рабочий класс. Если же все переселенцы будут селиться по железнодорожной линии, то мы рискуем впасть в важную ошибку: отвлечь земледельца вовсе от сохи и толкнуть его на жажду скорой наживы менее действительным трудом железнодорожного рабочего, чем труд хлебопашца.

Правда, что существенная потребность края — земледелие в возможно больших размерах, но от земледельца мы ждем и создания рабочего элемента, необходимого в настоящее время. Рабочий, вышедший из среды переселенцев, будет гораздо прочнее сидеть в крае и принесет ему более существенную пользу, чем рабочие, приходящие теперь сюда, при неблагоприятных условиях. Первый, как продукт чисто местных условий, с которыми он уже ознакомился достаточно, гораздо надежнее второго, так как от него меньше вероятия создания бездомного пролетариата, которого могут дать приезжие рабочие, бракуемые подрядчиками, или те, которые сами бросают работу и остаются вне сферы железнодорожных работ, составлявших их прямую специальность.

В этом случае русский рабочий, неподдерживаемый силой организованной артели, оказывается одиноким и беспомощным среди многочисленной рабочей инородческой силы и, пытаясь приурочить себя к чему-либо, тщетно мается и создает в конце-концов бездомного пролетария, так нежелательного в новом крае. Подрядная горячка, обуявшая охотников скорой и быстрой наживы, и может только создать этот вредный элемент. Подрядчики в своих действиях не руководствовались строго обдуманными приемами и при незнании особенностей края сами отчасти сделались жертвой своей поспешности, поставив в то же время в весьма критическое положение и своих законтрактованных рабочих,— результат всего этого недоразумения между обеими сторонами. Контракты, подписанные и подрядчиком, и рабочим, далеко не отличаются ясностью пунктов, в которых указываются обязательства той или другой стороны. Туманность и сбивчивость уложе-

ния этих контрактов даст возможность даже не софисту объяснять многие их пункты произвольно в пользу той или другой стороны. Тем не менее, подрядчики, желая выгораживать свои личные интересы, часто применяют в этих контрактах к рабочим такие уголовные законы, которые уже потеряли давно свое действие полностью, как, например, закон о найме рабочих 31 марта 1861 года. Вот почему мы находили необходимым более строгий контроль условий, заключаемых рабочими с подрядчиками, и теперь повторяем, что необходимо гарантировать этим путем обе стороны, дабы не встречались здесь между ними недоразумения, вредящие рабочему вопросу. Нам передавали, что уже возникло ходатайство в этом смысле перед высшим начальством. Должно полагать, что при благоприятном исходе этого ходатайства не будет уже места совершающимся недоразумениям. При тех подрядных условиях, с которыми нам пришлось ознакомиться, немудрено, что возникают недоразумения. Так, например, по одному контракту рабочие работают от 4 часов утра до 8 часов вечера, имея для обеда и отдыхов по $2^1/_2$ часа в день. В случае экстренности работ они должны работать и в праздничные дни с условием увеличения будничной поденной платы. По контракту, заключенному в Одессе, они получают ежемесячно от 10—15 рублей и не свыше 150 рублей в год при 24 днях в месяце. При расчетах же подрядчика с рабочими практикуется следующий прием, ставящий последних в то кабальное положение по отношению к нанимателям, о котором мы упоминали выше. Рабочий вырабатывает в день приблизительно 30—35 сотых куба, и подрядчику приходится около 2 р. 50 коп., из которых 30 коп. тратится на харчи. В случае заболевания рабочего последний имеет право пользоваться хозяйскими харчами в течение трех суток, которые имеют действительное значение. Сверх трех суток рабочий теряет эти свои права и по выздоровлении должен отработать пропущенные во время болезни дни, а также и дождливые, так как за таковые дни плата рабочему не полагается и удерживается из его месячного содержания по раскладке его содержания посуточно, т. е. по 50 коп. в сутки. Кроме того взимается штраф за леность, грубость, за неповиновение хозяину, который может его рассчитать по усмотрению когда ему угодно, без всякой неустойки с его стороны. Одно из тяжелых условий, которому подчиняются рабочие, состоит еще в том, что заболевший рабочий не имеет права ставить вместо себя другого на работу. Такое положение его поистине хуже арестанта, которому даже на каторге дано право нанимать другого за себя. Тяжелое положение, от которого, ясное дело, он старается по возможности скорее отделаться. И вот он начинает прибегать к разным приемам, чтобы хозяин, сочтя его

за неподходящего рабочего, рассчитал, а следовательно, дал бы ему возможность снять с себя обязательство возвратить затраченные на его доставку деньги. Добившись этого, он переходит к другому хозяину, у которого он принимается работать ревностно, зная, что все, что он заработает, поступает к нему без вычета на прокорм. Такой труд рабочих с подрядчиками ставит и последних в довольно тяжелое положение: его работа не спорится, как видно из следующего примера.

Партия рабочих в 195 человек с 8 мая по 1 августа имела 700 рабочих дней, и в этот срок они должны были выработать 5 тысяч куб[ометров], а между тем партия выработала лишь половину того количества кубов. Такое обстоятельство мы объясняем вполне понятным желанием избавиться от своего подрядчика, привезшего их сюда. Никто не сомневается в доброкачественности и количественности труда русского рабочего сравнительно с таковым инородца, но подобные явления грустно сказываются на сочувственном отношении к русскому рабочему вопросу, ибо, подрывая доверие к себе подрядчиков, ставят последних в необходимость обращаться к инородческому труду. Нет спору, что надо бороться энергично против грубой эксплуатации некоторых подрядчиков, выгораживая интересы рабочих, но в то же время надо сознаться в том, что частое шатание рабочих от подрядчика к подрядчику есть неутешительное знамение того, что рабочий вопрос здесь непрочен, особенно если наезжать будут рабочие, подобные фоминовским, которые до сих пор не могут себя никуда пристроить твердо. Но вопрос еще так нов и так не определился точно, что трудно безусловно винить и подрядчиков, часть которых уже сделалась жертвой своего неведения особых условий края: они пустились без всяких предварительных сведений — это главная ошибка обеих сторон, интересы которых по справедливости следовало бы гарантировать правительству действительными положениями, которые должны явиться как следствие назревшего общегосударственного вопроса — русского рабочего вопроса на далеких окраинах.

Но что будут делать эти тысячи рабочих зимою, когда их профессиональный труд приостановится? Что будут делать эти тысячи русских рабочих, когда инородцы разбредутся в свое отечество и к своим фанзам для того, чтобы не сидеть сложа руки? Русский каменщик и землекоп вряд ли найдут применение своему труду в том крае, где китаец заполонил всюду работу вне сферы железнодорожных работ. И он, этот русский, снова всю зимушку будет мерзнуть в своих бараках, проконопаченных ветром, и, пожалуй, сделается жертвой какой-нибудь болезни или будет тесниться где-либо в селах, чтобы проесть весь свой летний

заработок и войти в еще более неоплатные долги у подрядчика.

Лично нам пришлось побывать в мае месяце в таких рабочих бараках, что за пильней Монсе. Что за теснота, мрак и смрад в этих примитивных жилищах, где скучились мужчины, женщины, дети! Даже летом, на лоне природы, в лесу, было здесь душно, так что мы невольно поспешили выбраться отсюда. Что-то будет зимою? Озаботятся ли гг. подрядчики своих рабочих поставить в более благоприятные гигиенические условия или нет?.. Во всяком случае, рабочему зимою придется круто, не говоря уже о том, что он в безработице спустит весь заработок, задолжается, обленится, будет попивать, словом, будет деморализоваться.

Вот об этом-то и следовало бы подумать кому следует, ибо обстоятельство это весьма близко стоит к общему принципиальному вопросу, поставленному в заголовке этих очерков.

ВСЕВОЛОД ГАРШИН

Очерк

О безвременно погибшем литературном таланте, Всеволоде Гаршине, столько было писано в последнее время, что, пожалуй, попытка наша говорить о нем же после всего того, что написано, покажется излишней. Но память о нем еще слишком свежа, трагическая смерть его слишком потрясла русское общество, и потеря в нем слишком чувствительна для нашего общества, чтобы забыть его в такой короткий промежуток времени. Наша литературная критика еще даже не успела приступить к оценке его дарования, которое резко выделилось среди наших беллетристов новой школы своей оригинальной силой. До сих пока изданы все его сочинения в трех небольших книжках с довольно обстоятельной его биографией, написанной почтенным Скабичевским по весьма ценным материалам, собранным его друзьями и знакомыми в «Красном цветке» — издании, посвященном его памяти. Судя по всему тому, что нам пришлось читать о Всеволоде Гаршине, ни один из наших молодых писателей не завоевал себе так быстро симпатичную славу и известность, как Всеволод Гаршин. Даже Надсон, широко поэтический размах которого произвел сильную сенсацию, особенно среди молодой читающей России, который заставил силою своего звучного, мелодичного стиха особенно трепетать струны сердец людей, способных откликаться на все доброе и честное,— и тот не исторг из-под пера своих друзей и знакомых тех глубоко симпатичных, проникнутых искреннею

любовью к нему строк, какие вызвал Всеволод Гаршин, как выдающийся человек и как писатель. Судя по биографическому очерку его, составленному Скабичевским, и внимательно читая его рассказы, убеждаешься, что как в жизни своей, так и в своих рассказах Всеволод Гаршин проводил принципы высокогуманных воззрений всепрощающей любви, во всех его рассказах звучат рефлексы мягкого сердца, отзывчивого до нервного потрясения. Ни один беллетрист не может отрешиться от свойственного всем писателям вносить в свои произведения хотя частичку своего нравственного мира, свои воззрения на внутренний или на внешний мир. Как бы он ни старался быть объективным к описываемому предмету, он неизбежно внесет свои взгляды и воззрения, свои симпатии или антипатии в свой рассказ, да иначе он и рискует быть скучным, сухим, малоинтересным. Не согретый искрой того огня, который горит в душе писателя и дает ему особый, своеобразный процесс мышления, не нося характер его мировоззрения, произведение не достигнет своей цели и пройдет совершенно незамеченным. Ясное дело, что Всеволод Гаршин, особенно как исключительно нервная, чувствительная, отзывчивая натура, не мог, конечно, избегнуть этой характерной особенности живого, занимательного, оригинального беллетриста; все его произведения носят характер его нравственного мира, его душа вся отразилась с фотографическою точностью в этих маленьких, но оригинально талантливых рассказах. И эта общность его личных мировоззрений с характером его писания определяется довольно ярко самим писателем в следующих немногих строках в письме к своему приятелю Афанасьеву, в промежутке своей роковой душевой болезни в декабре 1881 года: «Писать я не могу, а если и могу, то не хочу; ты знаешь, что я писал, и можешь иметь понятие, как доставалось мне это писание. Хорошо или нехорошо выходило написанное, это вопрос посторонний, но что писал в самом деле одними своими несчастными нервами и что каждая буква стоила мне капли крови, то это, право, не будет преувеличением. Писать для меня теперь значит снова начать старую сказку и через три-четыре года снова попасть, может быть, в больницу душевнобольных. Бог с ней, с литературой, если она доводит до того, что хуже смерти, гораздо хуже, поверь мне». И писатель с такими нервами может ли описывать спокойно те сцены, при чтении которых даже у читателя в груди сжимается и слезы подступают к горлу, а ведь писатель должен сам пережить и перечувствовать все им описываемое, если не фактически в действительной жизни, то силой своей пылкой фантазии донести себя до полной иллюзии ощущения. А вот еще весьма характерный случай, доказывающий необыкновенную чувствительность Всево-

лода Михайловича. Пришел раз к одной знакомой акушерке, которую застал за какой-то письменной работой.— «Ничего, работайте, а я попишу»,— сказал он и, вынувши записную книжку, стал что-то записывать. Прошло некоторое время, г-жа Д. (акушерка), углубленная в занятие, была вдруг пробуждена рыданиями. Плакал Гаршин, описывая страдания погибшего, но милого создания, Надежды Николаевны, героини повести того же названия. Если он был способен рыдать над планом своей фантазии (мы допускаем в этой сцене участие фантазии автора), то он, вероятно, плакал и с тем старым цыганом, который должен застрелить своего кормильца-медведя, такого же старого, как он сам; рыдал он и с капитаном Венцелем, который убивался над своими убитыми солдатами после одного страшного кровопролитного штурма, и, наверное, сжималось сердце Всеволода Гаршина, когда он описывал чувства раненого, беспомощно пролежавшего на поле в течение четырех дней, что послужило ему канвою рассказа, в котором с такой яркостью обрисовывался его своеобразный талант. Мог ли этот, такой чувствительный до нервности человек, как Гаршин, оставаться равнодушным при описании хотя бы этого места в рассказе «Четыре дня», где уже поражающая действительность. Раненый рассказчик излагает свои чувства относительно убитого им феллаха, который лежит около него, разбух от жары и, разлагаясь, заражает воздух, которым он дышит. Цитируем это место все, так как оно служит яркой иллюстрацией занимающего нас вопроса. «Сосед лежит такой же огромный и неподвижный. Я не могу думать о нем. Неужели я бросил все милое, дорогое, шел сюда тысячеверстным походом, голодал, холодал, мучался от зноя; неужели теперь я лежу в этих муках только ради того, чтобы этот несчастный перестал жить? А ведь разве я сделал что-нибудь полезное для военных целей, кроме этого убийства?.. Убийство, убийца... И кто же? Я!.. За что я его убил? Он лежит здесь мертвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как у меня, есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей убогой мазанки да поглядывать на далекий север: не идет ли ее ненаглядный сын, ее работник и кормилец. Это сделал я. Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться, мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять свою грудь под пули. И я пошел и подставил, ну и что же? Глупец, глупец! А этот несчастный феллах,— он виноват еще меньше. Прежде чем их посадили, как сельдей в бочку, на пароход и привезли в Константинополь, он и не слышал ни о России, ни о Болгарии. Ему велели идти, он

и пошел. Мы напали, он защищался. Но видя, что мы страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, все лезем, лезем вперед, он пришел в ужас. Когда он хотел уйти, какой-то маленький человек, которого он мог бы убить одним ударом своего черного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце. Чем же он виноват? И чем виноват я, хотя и убил его? Чем я виноват?» И хотя это говорится от лица раненого товарища, тем не менее, замечается, что автор вложил в уста рассказчика свои собственные мысли, которыми он старается оправдать свое появление в рядах действующей армии.

В воззрениях Гаршина на войну и на результаты ее замечается двойственность, которая проходит через все его рассказы, где он затрагивает эту тему: то он, видимо, возмущается, как человек чуткого сердца, последствиями кровавых стычек и отдается анализу безотчетного желания людей убивать друг друга в то время, когда они в сущности не сделали друг другу зла, а в то же время сам является непосредственно действующим лицом на театре войны. Вооруженный смертоносным о р у ж и е м, он прицеливается хладнокровно в грудь человека, которого почему-то называет своим неприятелем. Он говорит, что мысль о том, что ему придется убивать людей, как-то уходила от него, что он только думал о том, что ему придется подставлять свою грудь под неприятельские пули, а в то же время сам вооружается тем же оружием. Его батальные картины, отличающиеся глубокой реальностью, писаны после кампании, в которой он участвовал, эти же картины дали ему литературную известность, но в тонах их проглядывает затаенная скорбь за содеянное им в те минуты, когда он вместе со своими товарищами, движимый стадным чувством, шел в атаку на неприятельские редуты. Не было ли это чувство совершенно безотчетным, подобно чувству того быка, на глазах которого убивают подобных ему. Бык не понимает, чему его смерть послужит, и только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревет отчаянным, надрывающим душу голосом. (Трус). Тут есть опять-таки натяжка, анахронизм. Но мыслящий человек не может уподобиться этому быку при здравых понятиях и здравом воззрении на последствия батальных стычек, результатом которых является масса сирых, вдов и калек. Прошли времена эпопей войны, прошли те времена, когда лавры военные двигали честолюбивых людей на поле брани, чтобы стяжать себе непрочную славу мечом и огнем; герои эти венчались славой, и песни слагались в их честь в то время, когда там, в том крае, где они были увенчаны этими лаврами, раздавались стоны матерей по убитым сыновьям и лились слезы отцов; в то время, когда искалеченные, забракованные воины оставались нищенствующими. И

когда в уме мыслящего человека промелькнет вереница этих тяжелых картин, ему станут противны эти батальные подвиги. Наша армия, которая вела наступательную войну, которая ломилась без страха все вперед и вперед, ничуть не потеряла бы от того, если бы среди нее не было одного плохо дисциплинированного, плохо владеющего оружием солдата, который принес бы несравненно большую пользу в том случае, если бы он сделался правдивым корреспондентом или добровольным санитаром, тем более, что Всеволод Гаршин готовился быть медиком. А Всеволод Гаршин прямо, без предварительной военной выправки, поступил в ряды армии, и этот чуткий до нервности человек, который рыдал при одном описании созданной его фантазией сцены смерти героини своего рассказа Надежды Николаевны,— к великому изумлению, оказывается хладнокровным убийцей. Прочтите его рассказ «Аясларское дело», и вы придете в недоумение, как этот человек, написавший свое знаменитое «Четыре дня», мог в то же время говорить о деле, в котором он участвовал: «Я начал стрелять снова. Турки собрались внизу котловины, на другом краю которой стояла их артиллерия, в колонны и шли на наши цепи в атаку. Прицеливаться стало ближе. Я не жалел патронов, потому что целить было удобно. Темные фигуры с красными головами, шедшие на нас, падали, но все-таки шли». И это говорит тот, который никогда и не думал стрелять в неведомого своего врага и который описал так трогательно судьбу убитого и разлагающегося феллаха, мать которого, может быть, сидя на завалинке своей убогой избушки, поджидает его со слезами с севера, куда он ушел драться со страшным противником. Гаршин говорит о себе в «Аясларском деле», где он не жалел патронов потому, что прицеливаться было удобно. Соедините все это с его характером, так ярко освещенным его друзьями в «Красном цветке», выражающемся и в его рассказах, и вы поймете ту двойственность его действий и чувств, о которой я говорил выше. Профессиональный воин, давший клятвы под знаменем чести служить царю и отечеству, не подлежит этой критике в то время, когда его зовут к защите своей страны от опасности, от врага, но когда бьется воинственный азарт в человеке, в участии которого нет особенной надобности и к тому же более пригодном для другого дела, тогда эта критика при современном взгляде на дело вполне уместна и необходима. Для чего наш век начинает ополчаться против милитаризма путем популяризации гуманных принципов, указывая в то же время все губительные последствия войны?! Для чего эти лиги мира, вожаками которых являются лучшие люди Европы и адепты которых увеличиваются с каждым днем? Они охлаждают тот опасный пыл воинственности, который в последнее вре-

мя обуял народы, призывающие даже науку на помощь для создания более ухищренных орудий смерти, и тем профанируют самую науку.

И вспомнишь тут невольно стихи поэта:

...Жалкий человек!
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем;
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он. — Зачем?

И автор этих стихов страдал тою же двойственностью чувств и действий, как страдал тем же его двойник, знаменитый английский поэт Байрон, который стремился бороться за свободу Греции, как будто в этом стремлении он нашел успокоение тревожной душе и оправдание своей страстной натуры, и как будто свобода одного не покупается порабощением другого. Но те времена были другие, и обаяние бранной славы было так неотразимо сильно, что им увлекались и передовые люди, которые сами проповедовали людям мир и любовь, но в наше время вопрос этот освещается несколько иначе.

В. Гаршин в «Записках рядового Иванова» рисует некоего капитана Венцеля, который страшно колотил солдат, колотил беспощадно, зверски, так что у несчастной его роты, по выражению одного солдата, «трещали скулы». Капитан этот не заслуживает, конечно, похвалы, но он, этот скуловорот Венцель, понимал всю основу дисциплины в этом своем действии, что и фактически доказал, как видно из рассказа Гаршина. Но тут мы опять натыкаемся на вопрос: страшная преданность солдат этому капитану в тяжелый момент — следствие ли его сурового обращения с ними или что другое — Гаршин этого вопроса не разрешает.

ЕСТЬ ЛИ У НАС ГОЛОД ИЛИ НЕТ, И ЕСЛИ ЕСТЬ, ТО В КАКИХ РАЗМЕРАХ

Еще покойный Некрасов в шестидесятых годах в одном из своих стихотворений излагает впечатления некоего странника по городам и весям Руси. Странник этот ,между прочим, приходит в одну из деревень, где видит, как мужик бьет свою бабу.

«Мужик, зачем ты бабу бьешь?» —

спрашивает его странник, на что тот отвечает:

«С холоду, странничек, с холоду,
С голоду, родименький, с голоду...»

И другие наши народные поэты и беллетристы пели ту же песню почти в унисон с Некрасовым, когда заглядывали на гумно, в закрома и в избу деревенского мужика, говорили и говорят то же самое публицисты, затрагивающие экономическое состояние того же мужика.

Судя по всему этому, ясно видно, что холод и голод являются постоянными спутниками жизни крестьянина, хотя он силится от них бежать подальше: то за Байкал, на Амур и в далекий Уссурийский край; то на Кавказ, в Мерв и Самарканд; то в совершенно фантастические страны, где реки текут млеком меж кисельных берегов.

Теперь, при совершившейся катастрофе голода, делается более чем сомнительным вопрос: сравнительно громадный экспорт хлеба из южных и приволжских губерний, т. е. из тех губерний, которые более всего пострадали ныне от неурожая, составлял ли действительно избыток хлеба? Был ли и тогда мужик вдоволь сыт чистым хлебом без примеси той же лебеды, которой исключительно питаются теперь некоторые из голодающих уездов? Или это обилие хлеба, составляющее экспорт, явилось преувеличением действительного избытка хлеба?

Теперь, когда стряслась беда и стали доискиваться действительных факторов печального явления, вопрос этот освещается в несколько ином свете. Оказывается, что лебеда и тогда составляла до некоторой степени суррогат хлеба; что эту лебеду крестьянская семья ела и в урожайные годы для того, чтобы экономический хлеб запродать торговцу. Да, кроме того, после совершившегося факта запасные магазины крестьян оказались не в таком блестящем виде, как бы следовало ожидать.

Азбучная истина, что нет явлений без причин и никогда крупные явления не могут нагрянуть сразу, без предварительных симптомов, продуктом которых они являются по истечении целого периода повторений этих симптомов, которые ускользали от нашего внимания вследствие нерадивого, поверхностного отношения к ним, а то и полнейшего игнорирования их. Всякое бедствие народное можно предотвратить, если только существуют своевременные предупредительные меры, уничтожающие в самом начале факторы этого бедствия. Если боитесь, чтобы не стряслась над вами беда в виде какой-либо повальной эпидемической болезни, то старайтесь заблаговременно удалить и уничтожить как всякие источники заразительных болезней, так и ту почву, на которой они могут привиться и развиваться; если вы хотите, чтобы ваше

поле давало вам постоянный урожай — удобряйте и ухаживайте за кормилицей-землей с любовью и знанием дела, а не на авось да как-нибудь.

Вот и теперь толкуют о причинах настоящего голода разно.

Одни говорят, что это последствие неблагоприятных атмосферных явлений: бездождия, засух; а народ так прямо решает сам, что это божье напущение, гнев: этим он объясняет причину всех причин. Приходит он домой, есть нечего, да нечем затопить печь, нечем накормить скотину. Кругом леса повырублены, колодцы засыхают.—Экое божье наваждение!—восклицает мужик беспомощно и вырубает последнее дерево, сиротливо стоящее где-то у гумна, чтобы испечь хоть хлеб из лебеды.

И эти картины в настоящее время варьируются в тех губерниях, которые расположены по кормилице Волге многоводной. Да, многоводной она была ранее, а теперь вот стали доходить тревожные слухи, что и Волга мелеет. А мелеет она потому, что питающие ее источники стали истощаться не столько от периодических засух, сколько от беспорядочного уничтожения лесов и болот по ее бассейну. Есть болота, которые необходимо уничтожать, и к таким относятся те, что представляют собою источник разных лихорадок и других болезней; но уничтожение безвредных болот, особенно у источников рек и речек, равносильно тому, как подрубать ветку, на которой сидишь. Общественные леса в настоящее время почти все вырублены в России, и чувствуется теперь крайний недостаток в топливе; почему в это тяжелое время разрешается крестьянам во многих уездах собирать валежник в казенных дачах, которые еще сохранились при других условиях надзора за ними. И теперь поэтому вот опять пишутся целые трактаты о разведении искусственных лесов в местах, в которых росли чуть ли не сказочные муромские леса. При достаточности этих хранилищ влаги одно неблагоприятное атмосферное явление не отозвалось бы так бедственно, как оно отозвалось теперь. А ирригация где? А где удобрение и рациональная вспашка земли? В Туркестане, где солнце постоянно раскалено, где песков так много, там путем искусственного орошения полей, а также реками дается обильная жизнь растительности. В суровой Финляндии на каменистых местах вырастают богатые пашни, вырастает прекрасный хлеб, цветут роскошные сады, потому что там придерживаются систематического орошения и унаваживания полей через известные периоды.

А наш крестьянин, извлекши из своего поля все его производительные силы, без периодического его унаваживания и очистки от разных посторонних элементов, зачастую повторяет свой посев на том же поле, игнорируя плодопеременную систему. Ре-

зультатом чего получается новый неурожай и новая бедственная напасть, которая переходит и к его голодной скотине в виде падежа и других повальных болезней. И почему в других странах все эти напасти не имеют места так часто, как у нас? Можно быть уверенным, что при одинаковых неблагоприятных атмосферических явлениях в какой-нибудь Финляндии, Америке, в Бельгии результаты урожая получаются разные, и прямо пропорционально со степенью орошения и способа обработки полей у нас повторится та же старая песня о голоде, а там этого, может быть, и не случится. Где же настоящая причина всех причин? Конечно, не в немилости бога, на которого наш мужик любит сваливать все свои невзгоды в критические минуты, а в недостатке соответствующих реальных сведений, составляющих краеугольный камень всей его экономической жизни, и в неуверенности в настоящей силе земли; отсюда недовольство своим положением и бесцельные скитания в поисках, где лучше,— целая переселенческая Одиссея, приучающая его побираться христовым именем и напрягающая все попутные благотворительные силы общества. И в самом деле — не является ли эта переселенческая эпопея новым фактором падения экономической жизни нашего крестьянина? Если присмотреться пристальнее к причинам, порождающим это стихийное движение крестьянского населения из внутренних губерний, то заметим, что оно вызывается не столько действительной ограниченностью земли и ее непригодностью к производительности, сколько беспричинной жаждой к перемене мест и искания чего-то лучшего. Известный наш писатель Е. Марков, наблюдавший за этим движением в черноземной полосе России, еще в 1882 году писал в «Русской Речи»: «Переселенческий соблазн есть психическая болезнь нашего крестьянства, подтачивающая силы его, делающая его негодным ни здесь, ни там, обращающая спокойного трудолюбивого земледельца в тревожного и праздного скитальца, нигде не находящего места и дела своему вкусу». Вот довольно верная характеристика той стихийной силы, которая заставляет крестьян бросать свои насиженные места, продавая свое имущество за бесценок, и пускаться в неведомую даль, не руководимые никакими собственными правильными соображениями и ни разумными указаниями людей, близко стоящих к народу и долженствующих радеть об его благосостоянии, останавливая его от необдуманных порывов.

Для более яркой иллюстрации выше высказанного положения, я еще позволю напомнить читателю маленький рассказ Л. Толстого для народа, дополняющий характеристику нашего переселенца, ненасытно жаждущего земли. Помните, читатель, тот рас-

сказ, где один переселенец-крестьянин приходит к башкирцам просить у них земли.

— Сколько хочешь, бачка,— отвечают радушные киргизы,— у нас ее много*. Бери столько, сколько обежишь от восхода до заката солнца.—Крестьянин окидывает жадными очами широкий простор сочного поля и пускается в это поле бежать, чтобы воспользоваться данным ему правом, возвратившись к закату солнца в то же место, откуда он начал свою экскурсию. Вот он потонул в дали этого поля. Ждут его киргизы — удивляются, что мужика все еще не видно, (солнце близко к закату); вдали показывается движущаяся точка — то мужик, выбиваясь из сил, приближается к конечной цели.

— Скорей, бачка, солнце скоро закатится,— кричат ему хохочущие киргизы. Еще последние усилия мужика — и он у желанного места падает и умирает, обессиленный.

Глубокий смысл кроется в этом маленьком рассказе, и он разрешает ту задачу, о которой писали наши публицисты-народники целые чуть ли не философские трактаты, а именно: неограниченную алчность к земле, которая охватила нашего крестьянина, алчность, вследствие которой ему и Сибирь мала и тесна для хлебопашества. А в то же время сам он с своей семьей почти всегда сидит полуголодный, а земли и леса непочатый край.

Опять же где причина этого явления? Об этом до следующего раза.

О СОВРЕМЕННЫХ ФАКТОРАХ СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ

В глазах многих скептиков (а когда их не бывает там, где нарождается новый вопрос?), к числу которых примкнули и некоторые известные представители печати (кн. Мещерский в своем «Гражданине»), вопрос о Сибирском университете казался диким, химерическим. Скептики эти твердо верили в то, что университет безусловно будет пустовать вследствие малонаселенности края, некультурности его, а главным образом, вследствие того, что сибиряк не склонен вообще к просветительным началам.

Тем не менее, вопрос об университете, встречая на пути своего осуществления такую оппозицию, не только не терял своей неотложности в глазах отзывчивых и просвещенных патриотов, сибиряков-капиталистов, но еще усиленнее был двинут ими вперед путем крупных пожертвований.

* Хотя в сущности история башкирских земель впоследствии оказалась очень печальною.

И когда в наше время скептики увидели тот же университет в Томске, полный питомцами-сибиряками, они наглядно уже убедились, что напрасно ломали копья, напрасно тормозили столь жизненый вопрос края.

За этим вопросом на очереди стал другой вопрос, который имел еще более грандиозный характер, с которым связывались непосредственно уже и общемировые интересы. Вопрос этот — Великая Сибирская железная дорога. В этом вопросе страстность сибирских представителей, ратовавших так энергично за университет, выразилась, однако же, далеко уже не в той силе. Самая грандиозность сооружения, в котором исключительно созидательною силою могло явиться только государство, заставляла говорить о нем неуверенно, даже робко, с сомнениями в благотворном влиянии великого сооружения, которым государство хотело приобщить к общей жизни обширную свою колонию и, одухотворив ее, вызвать на всемирную арену деятельности, дав ее природным богатствам цель и назначение... Но — удивительное дело! — этот план после того уже, как государство ассигновало примерно четыреста миллионов на его полное осуществление, в одно время встретил к себе даже более, чем скептическое отношение со стороны некоторых представителей сибирской печати, доказывавших не только несвоевременность железной дороги, но даже ее несомненный вред, так как она-де своим появлением нарушит милую патриархальность сибирских нравов!..

Явление это было странно тем, что, признавая так сознательно всю выгоду университета, как светоча науки, интеллигентная часть сибирского общества не видела тогда почему-то с точки зрения частности причинной связи между тем же университетом и железною дорогою. Грандиозность самого предприятия, осуществление которого требовало известного напряжения финансовых сил государства, подавляла умы этих сибиряков и приводила их в строптивое настроение, причем ими не придавалось особенного значения функциям предприятия в частной жизни,— а в промышленно-экономическое развитие края, которое могло бы в недалеком будущем оправдать расходы на предприятие, они мало верили сами. И особенно в этом последнем обстоятельстве заключается разгадка того почти враждебного отношения части сибирского общества, с которым она встречала еще долго великую идею.

Но хотя не особенно много утекло воды со времени начала самых работ по сооружению дороги, а еще меньше —с того дня, когда в глухой тайге Уссурийского края раздался первый торжествующий свист локомотива,— склад представлений всего сибирского общества резко изменился и привел к общему несомненному убеждению, что железная дорога и есть та безусловно же-

ланная сила, которая широко разовьет жизнь по всей стране и вызовет к деятельности все то, что целые столетия спало непробудным сном забвения и косности.

Все сибирские органы печати теперь в унисон говорят об этом значении дороги и с одинаковою страстностью следят за ходом работ по всей сибирской линии, отмечая каждый шаг успеха или затруднений и с нетерпением ожидая обновления во всех жизненных проявлениях Сибири. В этой установившейся твердой вере в дорогу, как в исцеляющее «движение воды», в этом единодушном признании оживляющего ее значения заключается уже первая победа великой идеи.

Но для того, чтобы страна могла принять вполне ответно требования новой жизни, вносимой в нее железной дорогой, она, эта страна, несомненно, должна быть подготовлена к таким требованиям. Иначе поток новых людей, который сопровождает из Европейской России строителей дороги, всегда будет идти ближе к последней и, следовательно, всегда предпочтительно будет пользоваться всеми преимуществами своего положения, а мы, неподготовленные, снова останемся «за флагом», вследствие того, что в новой жизни старые приемы и знания явятся уже анахронизмом.

Пора поэтому теперь же нам самим серьезно и усиленно приняться за собственное перевоспитание и образование согласно требованиям зарождающейся новой эпохи, отдаляющей в невозвратное прошлое старые традиции и привычки патриархальной косности.

Дорога является не какою-либо отвлеченною идеей; она несет с собою жизнь, несет живые цели. Она, наконец, должна погасить тот пассив, который государство сделало на ее сооружение,— а чем погасить этот пассив, как не теми естественными богатствами, которые в виде золота, пушнины, леса, хлеба, скота, несметных богатств металлов и минералов вложены в ее почву?

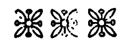
Но для рациональной эксплуатации всех этих богатств и в то же время для охранения их от беспорядочного хищничества нужны соответствующие технические и специальные сведения. Их-то до сих пор и не хватало Сибири, и их-то теперь усиленно требует Положение, создаваемое железною дорогою... Между прочим, еще в мае нынешнего года телеграф принес известие о постановлении открыть технические железнодорожные училища в нескольких пунктах Сибири, в том числе и в Хабаровске. Это, конечно, только начало того, в чем так сильно теперь нуждается страна. Недостаток собственных техников проявляется уже и теперь, на той же постройке железной дороги, и будет проявляться постоянно, пока не выдвинутся, наконец, свои специалисты, способные заменить элемент к нам наезжий с большею пользою и экономи-

ей для государства, как люди, выросшие в условиях местной жизни...

Но не в одних таких училищах дело; для страны необходимы еще более специальные лесные, горные и вообще промышленные здания, следовательно, нужны и соответствующие школы, которые давали бы на месте людей, подготовленных к делу, знакомых со всеми его живыми особенностями, а в то же время — и с теми способами, каких предпочтительно требует местная обстановка и ее наличные средства.

В таких технических училищах замечается теперь неотложная потребность, и они-то именно являются теперь особенно важными факторами грядущего развития Сибири... Время не ждет; кто не ценит его, тот выпускает из собственных рук драгоценное золото.

Чтобы воспользоваться благами проводимой дороги, сибирское население должно всеми силами стремиться к указанной цели; иначе оно вынуждено будет отступить перед надвигающимся потоком,— а тогда «vae victis!» — «горе побежденным!»





БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ И ОБЗОРЫ

«ЧТО ЧИТАТЬ НАРОДУ?»

Критический указатель книг для народного детского чтения. Составлен учительницами харьковской частной женской воскресной школы. Спб., 1889 г., т. П/более 1000 стр., цена 2 р. «Луч» и его премия за 1888 г. «Русский календарь», изд. Н. П. Барковым «Чтения для солдат»

Не так давно несколько молодых девушек, движимые чувством благотворной деятельности, обратились к графу Льву Толстому за советом, как лучше и полезнее они могут употребить свои силы. Толстой посоветовал этим девушкам послужить на благо народу путем популяризации среди него элементарных научных истин. Мы не знаем, последовали ли эти девушки совету Толстого и избрали ли они трудную арену борьбы с мраком невежества, окутывающим народную массу, посредством издания понятных, дешевых и полезных книжек для народа, но, как бы откликнувшись на этот благой совет, четырнадцать учительниц харьковской воскресной школы взялись служить тому же народу несколько в другой форме. Они зорко следят за тою частью нашей литературы, которая предназначается для чтения народу, причем все книжки этого рода, выходящие в свет, подвергаются их строгому критическому анализу. С полным пониманием и любовью к делу они отмечают все недостатки и достоинства той или другой выходящей книжки, и в то же время намечают авторам более правильный ориентировочный пункт при работах в этой области литературы. Свои труды они выпускают в свет по накоплении материала, под вышеприведенным названием.

Пред нами второй том недавно полученной книги: «Что читать народу?». Как и первый том, вышедший недавно вторым изданием, он состоит из следующих отделов: 1) Духовно-нравственный —387 кн. 2) Литературный —572. 3) Естествознание и медицина —87. 4) История —164. 5) Биография —61. 6) География и путешествие —116 и 7) Общественное устройство и хозяйство —90. Итого разобрано критически в этом томе 1477 книг, вышед-

ших с 1884 года и не разобранных в первом томе. Для каждой из рассматриваемых книг приводятся: 1) заглавие с обозначением числа страниц, имени автора или издателя, место издания, год и цена, 2) краткое изложение содержания, 3) критическая оценка, 4) вопросы, по которым лицо, дающее книгу для прочтения, может проверить, насколько она понятна прочитавшим ее, 5) при многих книгах, преимущественно литературного отдела, приводятся отзывы и ответы учащихся, прочитавших книгу; указываются по возможности рецензии, существующие в печати на рассматриваемые книги. Труд этот, кроме того, снабжен для удобства справок систематическим оглавлением и двумя алфавитными указателями по заглавиям книг и по фамилиям их авторов.

Наметив себе столь важную задачу, сопряженную с упорным трудом, они в то же время разрешают ее вполне добросовестно, хотя в предисловии и скромно оговариваются: «Отмечая в нашем труде как те книги, которые пригодны для народного чтения, так и те, которых народной библиотеке следует избегать, мы, тем не менее, не считаем, чтобы наша книга давала категорический и точно формулированный ответ на поставленный нами вопрос: что читать народу? Вопрос этот слишком обширен и требует для своего разрешения более продолжительных и, главное, более широких наблюдений, чем те, которые мы имели в своем распоряжении». Но составительницами отмечаются не одни книги, предназначенные исключительно «народу», крестьянам, но и книги, издаваемые для детей привилегированного сословия и для солдат. Они следят одинаково и за «Досугом и Делом», «Чтением для солдат», и изданиями редакции «Русская мысль», изданиями Суворина и Глазунова и др. Поэтому понятен всеобщий интерес этой книги для тех, которые стремятся к более правильному, систематическому развитию своих детей, своих учеников. Правильный, разумный выбор книг для чтения сообразно возрасту, характеру и развитию ученика — довольно трудная задача, и вот эту-то задачу разрешают составительницы книги «Что читать народу?» Для показания полезности той или другой книги данному возрасту, в конце каждого отдела есть указатель, распределяющий книги отдела по возрастам и степени подготовки читателей. Судя по вышеприведенным цифрам, количество выходящих по литературе книг больше, чем по другим отделам; затем следуют книги духовно-нравственные, история, география, общественное устройство и хозяйство и, наконец, биография. Однако не все разнообразное количество книг может быть допущено к обращению среди народа, так как некоторые не удовлетворяют многим условиям народных понятий. Так, из 164 книг исторического отдела только 87 могут быть желательными в народной школьной

библиотеке. Исторический отдел народных книг отличается заметным отсутствием в нем книг, знакомящих народ с выдающимися эпохами и событиями всеобщей истории, а также отсутствием очерков из истории культуры. Биографический отдел вышедших доселе книг хотя в качественном отношении хорош, но в количественном отношении весьма ограничен, как видно по приведенной выше цифре. Кроме того, замечается полное отсутствие биографий таких писателей, как Тургенев, Гоголь и мн. др. По качеству своему географический отдел самый скудный из всех остальных отделов. С давних пор этот отдел беден не только в области народной школьной библиотеки, но этим недостатком немало страдают и руководства среднеучебных заведений, хотя «всестороннее географическое исследование ведется энергично в различных частях России». Вообще же книги географического содержания поражают бессистематичностью, а часто и неверностью. В таком печальном положении находится отдел родиноведения...

Рядом постановки известных вопросов составительницы получают ответы, которые прямо указывают популяризаторам географии, на какую сторону вопроса о с о б е н н о нужно обращать внимание, на что нужно налегать и в какой форме излагать, дабы бросить луч света в эту темную народную массу. Но если все это дико звучит в устах «темной толпы», народа, стоящего на низменных ступенях умственного развития, то каково, когда те же истины искажаются людьми, поучающими этот «темный народ» и являющимися в то же время вожаками печатного слова! Стоит только развернуть премию журнала «Луч» за прошлый год, озаглавленную: «Народы России», чтобы убедиться, до какой поражающей формы доходит это искажение истины. Смотря на литографии этой премии, недоумеваешь, что изображают они. Особенно характерно в этом отношении изображение инородцев России. В этих литографиях составитель словно бы желал иллюстрировать вышеприведенное представление народа о сибирских и кавказских инородцах, как о людях одноглазых, одноногих и песеголовых. А ведь контингент читателей этого журнала почти весь принадлежит к тому кругу, который нуждается больше в самых правильных, элементарных сведениях по отечествоведению. Критика и общество строго должны преследовать подобные явления в географической литературе. Кроме того, «Луч», часто, желая подделаться под жаргон понятия своих читателей, искажает язык до пошлости, извращает истину, ругая огулом все и вся и особенно разжигая напрасно чувства своих читателей против всего инонационального. Все это не только не проливает в народную толпу «луч» света, но повергает ее в еще больший мрак неве-

жества. А полюбопытствуйте-ка узнать по «Русскому календарю», составленному Н. П. Барковым, сколько жителей в нынешнем году считается у нас, во Владивостоке? Он вам ответит: 510— ни больше, ни меньше, т. е. почти в двадцать раз меньше того числа, которое нам, горожанам, приблизительно известно. Положим, что говорят: «врут все календари», но ведь есть и другая пословица: «ври, да знай меру». А мы-то думали, что наш город по важности своего положения на берегу Великого океана, как единственный порт на Дальнем Востоке, как порто-франко, как «окно» России к востоку, как важный торговый и стратегический пункт, интересующий всех иностранцев,— интересен и всем россиянам, а наипаче составителям справочных календарей для народа. Но мы, оказывается, ошибаемся жестоко в своих предположениях.

Но пока народ будет в состоянии сознательно почерпать сведения из книг, он все-таки до поры до времени будет пользоваться устными источниками для удовлетворения своего любопытства. В этом случае немалое влияние на склад народных понятий имеют и отпускные солдаты, возвращающиеся на родину и которые в глазах народа приобретают некоторое значение авторитета. Вот почему следовало бы составителям солдатских рассказов иметь в виду, помимо гуманного характера изложения, еще и более подробные и правильные географические сведения о той местности, где происходит описываемое действие. Кроме того, в этих рассказах зачастую проглядывает весьма существенный недостаток, состоящий в том, что авторы их, желая подделаться под традиционный; не проверенный опытом взгляд, вследствие которого иностранцев называют то «басурманами», то «неверными», рисуют их далеко не беспристрастно, чем, очевидно, искусственно вызывают в солдате ненужную антипатию к чужестранцам, антипатию, которая вносится через посредство того же солдата и в сельскую среду, влияя в силу своей авторитетности на мировоззрение этой среды. Авторы солдатских рассказов, преследуя цель поднятия в солдате слепого воинственного азарта, сплошь и рядом ради вящей батальной окраски событий преувеличивают и искажают их в такой форме, которая разжигает в недоразвитом читателе-солдате такие инстинкты, которые бы надо было смягчать, умиротворять, очищать в нем, вдохнув в рассказ гуманное отношение вообще к человечеству. Таким глубоко гуманным духом проникнуты все рассказы Погоского, который писал их для солдат. Там, в этих рассказах, и батальных картин мало, но есть то, что пробуждает в солдате добрые, хорошие чувства примирения и сознания того, что мы «все — люди, все — человеки», и в то же время есть то, что воспитывает в нем разумное сознание чувства

долга. Не мешало бы в этом поучиться кое-кому из современных военных рассказчиков, печатающихся в «Чтении для солдат», у симпатичного ,гуманного Погоского...

Заканчивая настоящую заметку о книге «Что читать народу?», мы с искренним удовлетворением приветствуем отрадный факт появления в нашей литературе, благодаря упомянутым выше учительницам, руководящих изданий, безусловно полезных для родителей, народных учителей и авторов народных книжек, стремящихся развить учеников путем правильного, систематического чтения. Книга издана прекрасно, и цена (2 р.) назначена весьма малая сравнительно с солидностью ее объема и полезностью текста.

«ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Газета педагогическая, еженедельная. Одесса

По примеру Западной Европы и Америки и у нас начинают появляться педагогические газеты. О пользе этих газет говорить даже не следует «из одного уважения к читателю», как выражается редакция вышепоименованной газеты. Мы получили первый номер этого издания, выпущенный 30 августа, и из него вынесли самое отрадное впечатление, так как одна из задач редакции ее — ратовать против строго педантического отношения к воспитательному делу; против тех, «которые стремятся зашнуровать в педагогический корсет ребенка чуть ли не с первого момента появления его на свет». Газета, задавшись целью зорко следить за всеми отраслями педагогики во всех странах Европы и Америки, стоит за то, чтобы все это знал педагог, но отнюдь бы не следовал рабски даже главнейшим принципам методики и дидактики, выработанным великими педагогами. Ничей чужой опыт не может быть обязательным для настоящего учителя, отца или матери. Воспитатель должен прежде всего иметь искреннюю любовь к детям и сообразно с обстоятельствами действовать, причем учителю предоставляется широкое поле личной инициативы в педагогических приемах. В последнее время сознано всюду, что ученики подвергаются страшному переутомлению. Переутомление это дошло до фатальности, вследствие чего замечено, что смертность между молодежью повысилась на тридцать процентов! «Школьное обозрение», главным образом, в свою программу вносит борьбу против этого страшного зла уменьшением учебных часов, сокращением предметов и программ, а недостаток образования, как следствие такого уменьшения научных сведений в школе, <...> пополнить рациональным чтением, когда угодно.

Ввиду этого, «Школьное обозрение», подобно редакции «Что читать народу?», берет на себя также труд следить за детской литературой не только в России, но и в остальной Европе и Америке. Таково profession de foi новой газеты, «Школьного обозрения». Она издается в Одессе и стоит 5 р. в год.

КАЛЕНДАРИ НА 1891 ГОД

Календари на 1891 год А. Гатцука и А. Ступина, изданные в Москве. (Цена обоих изданий по 15 коп. каждое).

«Крестный календарь», издаваемый Гатцуком, существует двадцать шестой год, и в этот период его существования он приобрел вполне заслуженную популярность в России. Хотя говорят, что «врут все календари», но эту поговорку меньше всего можно отнести к изданию Гатцука, стремящегося в течение долголетнего своего издательского поприща к приобретению возможно точных полезных сведений, имеющих современный характер, в чем погрешают многие другие издания, наполненные разным хламом, давно потерявшим интерес новизны и блестящие лишь украшенной оберткой и бессодержательной толщиной. Всего этого нельзя сказать относительно издания А. Д. Ступина, которое поразительно походит по внешности на «Крестный календарь» Гатцука. Некоторые сведения, имеющие, так сказать, образовательный характер, менее интересны в «Современном календаре» Ступина, чем в календаре Гатцука, хотя первый при одинаковой цене с ним значительно превосходит по толщине. Тем не менее, календарь А. Ступина отличается некоторыми особенностями, не лишенными общего интереса: при нем приложены портреты многих умерших русских писателей, беллетристов и поэтов (более двухсот), а также в конце календаря имеется и довольно подробная раскрашенная карта Российской империи. К этим портретам относится и крайне лаконический биографический текст, состоящий иногда лишь из двух-трех слов, из которых решительно нельзя составить представления о данном писателе. Примеры: Кроль — поэт, ум. 1872 г.; Слепцов, писатель (?), ум. 25 мар. 1878 г.; Тютчев, поэт, ум. 15 июля 1873 г.; Розенгейм, поэт, ум. 7 марта 1887 года. Карабанов, стихотворец (?), р. 1765, ум. 1829 г.; А. Тредьяковский, придворный стихотворец императрицы Анны, р. 1703, ум. 1769 г. Автор «Телемахиды», из которой выучить шесть строк наизусть при Екатерине считалось в шутку наказанием. Некрасов р. в 1822 году, ум. 27 д. 1877 г. «Поэт-Гражданин», покорявший сердца своей музой «мести и печали». Надсон, многообещавший поэтический талант. Характернее всего выражено о Хемницере, да и то лишь его надгробными стихами, им же сочиненными.

Жил честно, целый век трудился,
И умер гол, как гол родился.

Но это можно сказать и относительно многих сил русской литературы, нашедших приют на Волковом кладбище.

Отчего г. издатель календаря говорит, что Ник. Успенский «умер в нищете», когда вся читающая Россия в свое время, именно в октябре 1889 года, в ужасе говорила о том, что он зарезался от гнетущей нищеты? Зачем скромничать тут из боязни расстроить нервы кисейных барышень, которые, вероятно, уже не будут читать ваш календарь. Но где же в календаре русские критики—руководители русской литературы в золотой ее век 40-х и 50-х годов? Где Белинский, Добролюбов, где Писарев и где, хотя менее известные, но отпрыски их — Аполлон Григорьев, Орест Миллер, скончавшиеся в прошлом году тоже в страшной нищете? Ни об одном из них ни слова, не говоря уже о том, что нет их портретов в календаре. А между тем издатель говорит о Кроле, Карабанове, Селиванове и др., о которых почти никто не слышал. Ведь грешно умалчивать о тех ратниках литературы, которые несли на своих плечах всю ее тяжесть, которые и поддерживали высоко своей могучей рукой стяг ее славы, которые давали ей тон и направление и которые вдохновляли лучших писателей своего времени и были, так сказать, их гениями? Нет, г. Ступин, к такому вопросу, как ознакомление ваших почитателей с русскими писателями, надо было отнестись несколько иначе, надобно было сделать более строгий выбор их по заслугам, допустив лаконизм текста настолько, насколько это необходимо для общей характеристики их литературной и нравственной физиономии, отнюдь не забывая великих русских критиков, которыми могут поинтересоваться ваши же читатели. В этом же «Современном календаре» есть краткий очерк жизни Лермонтова, «провозгласителя любви и правды чистые ученья», сделавшегося жертвой «отвратительного порождения человеческой глупости», как Лермонтов характеризовал дуэль,— в каковом очерке между прочим говорится: «Знаменитый критик» русский В. Г. Белинский явился истолкователем произведений Лермонтова, и в его эстетической оценке этих произведений поэта отразился тот восторг, который эти произведения возбуждали в публике». А вот портрета этого знаменитого истолкователя, как и лаконических биографических данных об его жизни у вас в календаре и нет, как нет таковых и об его последователях Добролюбове и Писареве. Зачем такая немилость перед Карабановыми, Тредьяковскими, Кронами, Губерами и т .д.? Аль уж критики вам не по сердцу пришлись? Допустим так. Но почему забыты поэт Рылеев и беллетрист и переводчик

Чернышевский? Ведь им современная критика не отказывает в заслуженном ими почетном месте в русской литературе, независимо от их политических убеждений. Я остановился так долго на этом предмете потому, что придаю ему значение в том случае, если кто-нибудь, малознакомый с истинными силами нашей литературы, захочет ознакомиться с именами тех, которым больше всего она обязана. Такой читатель «Современного календаря» Ступина составит весьма ложное понятие об этих именах, и вот его-то я и хочу предостеречь.

«Стихотворения И. С. Тургенева». Изд. второе, исправленное и дополненное С. Н. Кривенко. СПБ, 1891

Книга эта, прекрасно изданная, нам прислана для рецензии. Но что же можно сказать о музе Тургенева после того, как вся русская критика отозвалась о ней с самой сочувственной стороны, хотя сам покойный поэт на высоте своей славы отзывался о своих стихотворениях как об юношеских шалостях, как о хламе. Тем не менее, звезда русской критики Белинский признал в нем несомненный поэтический талант при первом появлении его стихотворений в периодических журналах и предрекал ему славную будущность, благословляя его на трудный путь певца. При жизни поэта стихотворения его не появлялись, так как он был против их издания. Теперь же мы имеем удовольствие читать эти стихотворения, проникнутые мягкой, ласкающей поэзией, которая еще рельефнее сказалась в его прозаических произведениях, составивших ему такую громкую славу в нашей литературе. В книге сделано предисловие, составленное издателем, а также приложено факсимиле поэта. Затем идут четыре поэмы его: «Параша», «Разговор», «Помещик» и «Андрей». Второй отдел состоит из мелких лирических произведений, отдел третий — переводы, четвертый — эпиграммы, письма и неоконченные стихотворения. Стихотворения в прозе не вошли в состав издания, да в этом вряд ли можно усматривать значительный пробел, ввиду того, что эти стихотворения, которые сам покойный поэт называл «стариковскими», сравнительно слабее его юношеских произведений, проникнутых глубоким чувством и упоительной поэзией.

«Сибирский сборник» — приложение к «Восточному Обозрению». Москва, 1891 г. Выпуск первый

Бедность сибирской периодической печати, замечаемая до сих пор, зависит от разнообразных причин, из которых главнейшая, сравнительно важная причина — это то, что сибирское общество

плохо понимает значение печатного слова в деле подъема уровня развития его, а отсюда малая распространенность среди общества местной печати, что прямо пропорционально отзывается и на прочном существовании самих изданий. До сих пор периодическая печать в Сибири ограничивается лишь необширной газетной сферой, которая переживает в последнее время перипетии, влияющие не совсем благоприятно на самое преуспеяние печати. И те периодические сибирские издания, которые существуют до сих пор, не могут похвастаться особенным успехом подписки в силу традиционно предубежденного взгляда в Сибири (даже в высших слоях общества) на служителей печати, как на «выносителей сора из избы», забывая, что, не будь и этих немногих «носителей сора», в Сибири образовались бы мифические Авгиевы конюшни, которые бы впоследствии не очистили никакие Геркулесы. Поэтому особенно отрадно встречаем не только новое издание, но радуемся за старые, которые поддерживают знамя во имя освещения и просвещения темных уголков Сибири, во имя того, чтобы заронить туда хотя маленький луч света... В этом смысле надо признать по справедливости за ветерана «Восточное обозрение», несмотря даже на радикально изменившийся редакционный состав, что отразилось весьма заметно и на самом направлении газеты, особенно с переходом ее в Иркутск. Не ограничиваясь выпуском еженедельной газеты, редакция имеет возможность еще дарить своих подписчиков, как известно, особыми приложениями, которые выходят в свет по мере накопления материалов, имеющих важный интерес. Среди авторов статей «Сборника» встречаются такие имена, как Потанин, Мачтет, Ядринцев, Михеев и другие исследователи сибирской жизни.

Присланный нам первый выпуск «Сборника» (печатанный в Москве), почти ничем не отличается от предшествовавших ни по объему, ни по характеру статей. Первая статья принадлежит перу г. Мачтета—«Таежные тайны», в которой описана судьба бродяги Демьяна, по прозванию «Гони-Ветер». Оригинальный тип изображает из себя этот Демьян «Гони-Ветер». Это не тот озлобленный против человеческого рода, который жаждет безграничной мести и ищет человеческой жертвы. Напротив, он проникнут невероятным в бродяге взглядом на жизнь. Когда товарищ его, Яшка, хочет зарезать в тайге преследовавших их казаков, уснувших от опьянения, чтобы этим загладить следы своего бегства, Демьян говорит ему с укоризной: «Ах ты, Яшка, непутевый! Слабый ты человек, а душа у тебя лютая, ровно бы у зверя... Не знал я этого, не сдружился бы... Зверь ты, вот что, душегуб! Разве волен кто жисти человека решать, когда от оспода она ему дадена... Грех с тобой... Осердил ты меня!» И далее:

«Служба их такая... Ну а нам с тобой разве можно жисти решать их? В обороне оно не грех, потому каждому положено жизнь свою соблюдать, что дадено ему осподом,— а так, да еще сонного — страшный грех, Яшка. Не принеси бог, какой грех пташку — да что пташку — жука безвинного и то грех зря убить, потому все осподне, всему осподом жисть дадена. Всякая муха, трава всякая для ради оспода живут и его хвалят». Затем он прогоняет от себя этого «лютого зверя» Яшку, которого застукали другие бродяги за то, что он обидел мужиков, оскорбив одну их бабу, и только косточки Яшки белеют теперь. Что это? Откуда вырабатывается такая высокогуманная философия у бродяги после того, как в памяти нашей еще свежо воспоминание о недавних беглых каторжных (и Демьян был, может быть, из таких «несчастненьких»), которые навели панику на весь округ своими необычайно зверскими убийствами и покончили свои земные счеты на виселице? Не увлекся ли автор чересчур оптимистическим взглядом на нравственность героя своего рассказа? Да, что-то такое необъяснимое кроется в психическом мире этих «смирных» бродяг, которые комплектуют собою две трети сибирских золотых приисков и проторяют заповедные тайги Сибири в неотразимой жажде свободы, в желании взглянуть на родимые поля и деревни!.. В «Перевозчике» Адама Шиманьского, написанном очень живо (перевод с польского В. Сем.), фигурирует ссыльный интеллигентный поляк — человек замечательной физической и нравственной силы — перевозчик на Ангаре. Он скорбит о разлагающейся родине и рыдает о ней, когда доходят до него слухи, что там все теперь поклоняются лишь золотому тельцу, никто не отзовется сочувствием к страждущему человеку, все заинтересованы мелкими личными интересами. Он скорбит о том, что ему приходит мысль, что прожил он всю жизнь напрасно с мечтой, родившейся в головах безумцев, что «в жизни... в жизни... подлым быть надо». А затем у него вырывается отчаянный вопль: «Отдайте мне, злодеи, мать мою, которая для вас положила заживо в могилу единственное дитя свое!» Далее идет эпизод из романа «Золото» В. Михеева — «Конюх Дмитрий», изображающий приисковую жизнь. Фабула эпизода — тайная связь конюха с красавицей — дочерью одного видного приискателя-мужика, которая волею родителя выходит за богатого молодого человека. Эпизод обрывается на сцене мщения конюха мужу своей прежней возлюбленной. Сцена не кончается, однако, трагически, благодаря вмешательству героини Луши. Тем не менее, по ходу рассказа видно, что финал трагедии еще впереди.

В «Сельско-народном образовании в Сибири» Н. Я.<дринцев> изложил краткую историю школьного дела в Сибири. Рам-

ки нашей заметки не позволяют нам распространяться об этой интересной статье, поэтому специальную беседу о ней отлагаем до ближайших №№ нашей газеты. Статья П. Головачева «Покорение Сибирского царства и личность Ермака» может представить подходящий материал исследователям по этому предмету. Затем следуют: «Сибирские мотивы на XIX передвижной выставке картин», критический разбор стихотворений Ф. Филимонова «Песни сибиряка», изданных в Москве. По замечанию автора критической заметки, муза Филимонова — «преимущественно муза печали, скорби и тоски». Указав на недостатки поэта, автор, М. А-н в то же время признает за Филимоновым и некоторые достоинства. В конце «Сборника» приведены отчеты столичных обществ для содействия учащимся-сибирякам. Что же касается отдела поэтического (есть и таковой), то он не щеголяет ни содержательностью, ни оригинальностью, ни поэтическими красотами. Есть здесь плохой перевод из Эдв. Арнольда —« Беседа Будды» И. Юринского, таковой же перевод из Леконта де-Лиля — «Смерть Вольмики» В. Михеева (хорошего прозаика); есть здесь тоже перевод его же (это получше) стихотворения Евгения Вермеша — «Япония», в котором Японию, между прочим, автор (по передаче переводчика) поэтизирует так:

«Япония! Оттенков светлых ясный рай!
Страна, где все — лазурь, сапфиры и рубины,
Где так искусство тонко, мягки так картины,
Страна растений ярких, бледных женщин рай!
Где красавицы бледные с узкими глазами!»

Ну уж плоха красавица, «бледная», да еще с узкими глазами! А впрочем, о вкусах и о цветах, говорят, не рассуждают! Но есть еще в «Сборнике» одна статья, слово о которой мы отложили нарочно для заключения настоящей заметки,— статья эта «Падшие царства и исчезнувшие народы» — картины и впечатления из путешествия в пустынях центральной Азии — Н. Ядринцева. Сколько поэзии и красок в этих картинах! Нам приходилось читать много произведений — подражателей Тургенева, начавшего писать стихотворения в прозе, но все эти произведения бесцветны, слабы в сравнении с этими смелыми поэтическими штрихами, которые автор назвал просто картинами. В них столько мелодии, полета поэтической фантазии, размаха художественной кисти, что после прочтения этих картин все переводные стихи в «Сборнике», перечисленные нами выше, хотя и рифмованы и писаны плохим размером, но не могут назваться стихами. Хотя в этих «картинах» преобладает фантазия автора более, чем точная передача устных преданий монголов, тем не менее они этим не только не

проигрывают в производимом на читателя впечатлении, но выигрывают значительно, рисуя ярко, живо эпизоды предания. По самому содержанию легенды могут представить прекрасные сюжеты для богато одаренного поэтической фантазией. Делаем выдержку из легенды «Богиня». В этой легенде, между прочим, говорится о том, что бог (Брама), сотворив мир, скучал среди необозримого пространства сотворенных им планет и создал себе богиню, которая разделяла бы с ним блаженство. Летая свободно всюду по этим мирам, богиня эта, вопреки предостережениям Брамы, прилетает на землю и видит грустящего человека в лесу. Человек жаждал познать тайны миров, но не мог. Она сжалилась над ним и полюбила человека. Разгневанный Брама дал своей богине телесные формы, которых она ранее не имела, оставив ей прежнее лицо, и обрек человека с своей бывшей богиней на страдание. «Они теперь были несчастны оба,— передает Н. Ядринцев,— она с небесной нежностью старалась успокоить его, он был невыразимо рад, благодарил ее за то, что она спустилась с чистого неба к земному несчастью, и благословил ее скорбной душой. Не прокляли они этот час свиданья, не устыдились, смотря доверчиво в глаза друг друга, и то, что бог назвал грехом, изменою, то, освятив беззаветным, чистым чувством, они назвали свободной любовью. Когда он умер, она ему закрыла глаза. Сменялись поколения, но в них повторялся образ богини и повторялся ее взор. У матери, склонившейся к младенцу, у женщины в священный час любви мы видим наследие богини, этот взор с дрожащею слезою, исполненный любви и тихой грусти, перенесения земного жребия блаженства и несчастия, и любви, и ревности, вечно сплетенных со смертью». Еще: «Печальная и горькая летопись народов интересует нас. Не потому ли, что несчастье глубже отзывается и ближе человеческой душе, чем радость? Не оттого ли слушается повесть личных несчастий, испытаний, превратностей с особым чувством? И жизнь пережитых страданий понятнее высокому уму и сердцу? Когда не видим мы в душе ни признака, ни тени человеческой печали, такую душу мы назовем чистою; но кто все пережил и испытал горечь, у того гамма жизни богаче звуками, а стало быть, и краше. Когда, сидя в концерте, вы слышите бравурную арию, ликующие звуки, веселые мотивы, чувство ваше едва ли вполне удовлетворено; но вот звуки поют торжественнее, спокойнее звучат они, затем все сменяется грустной мелодией, и ноты замирают вдруг какою-то загадочной тоской... Не так же ли мировой гений закончил арию?.. О, это было бы так непостижимо, безжалостно, ужасно!»

Для характеристики очерков этих выписок довольно.

Но при всем этом мы должны заметить, что для такой маленькой книжки, как этот выпуск, цена 2 р. очень и очень дорога...

Эхо журналов*

I

Многие из наших читателей вследствие разных причин не имеют возможности следить за периодическими журналами, за органами, в которых отражается русская жизнь во всех ее проявлениях. А между тем каждый сознает необходимость знать и в наших захолустьях, чем живет современное русское общество, какие вопросы его особенно занимают и какие взгляды на эти вопросы устанавливаются как в обществе, так и в печати. Тем более это интересно, что некоторые из наших журналов в последнее время стали говорить об этих вопросах с большею страстностью и прямотой, вне всяких патриотических самообольщений, заслонявших внимание читателя от настоящей действительности. Знание это необходимо и потому, что вызывает ум читателя к сравнительному мышлению, при котором ему невольно приходится оглядываться вокруг себя и соразмерять, насколько он в своей жизни солидарен с жизнью общества, помимо своих мелких личных интересов, занимается и такими вопросами, которые напрягают до некоторой степени общее внимание.

Пред нами теперь два журнала за октябрь месяц: «Русское богатство» и «Русская мысль». В первом из них обращает на себя внимание небольшая статья П. Ардашева «Философия войны». В июльской книге приложений к «Ниве» появилась статья Вл. С. Соловьева «Смысл войны», в которой вопрос, как исчезнет война, по формулировке г. Ардашева, получает такой ответ: «Война исчезнет, и совершится это путем войны». Такому-то неожиданному выводу и возражает г. Ардашев в вышеназванной статье и доказывает путем исторических примеров всю несостоятельность философского воззрения г. Соловьева на войну. «Война, антикультурное явление по существу, никогда не была и не может быть орудием культурного прогресса,—говорит г. Ардашев.—Война, антисоциальное явление в своей основе, не может сделаться почвой для всемирного мира...»

«Война... Вот тяжелый кошмар, который гнетет и душит современное культурное человечество». Но в то же время г. Со-

* Статья дается в сокращении.

ловьев, в словах которого, вероятно, найдут себе оправдание все противники мира, как бы возражает ему: «В историческом процессе объединения человечества война играла роль главного средства». Г. Соловьев видит окончательное объединение человечества, к которому стремятся все культурные народы, «в последней, но тем более ужасной, действительно всемирной войне» между двумя великими половинами, на которые «враждебно делится все человечество», т. е. между Европою и монгольскою Азиею. И победа одной стороны, по его мнению, даст общую монархию мира и всеобщий мир. На это г. Ардашев отвечает: «Одно положительно можно сказать, что если когда произойдет действительно всемирная война, то она не будет последней: из всемирной резни не может выйти общечеловеческая солидарность, без которой не может быть настолько прочного «всемирного единства», которое бы исключило возможность дальнейших войн». Г. Ардашев не сомневается «относительно факта прогрессивного развития у людей гуманных чувств — в моральной области, сознания человеческой солидарности—в области интеллектуальной и единства духовной и материальной культуры—в области фактических отношений; три струи одного и того же общего исторического течения—в направлении к всемирному объединению человечества на почве общечеловеческой солидарности и культурного сотрудничества».

Вот современный взгляд культурного человека на вопрос о войне. Но в то время, когда раздаются эти голоса, взывающие о гуманности, всеобщем мире, европейские державы в лице лучших своих представителей в тиши своих кабинетов куют козни друг против друга, чтобы по одному росчерку своего пера вести на бойню сотни тысяч людей из-за какого-нибудь повода, выеденного яйца не стоящего, неумело прикрывшись тогой защитника порабощенной невинности или мнимым чувством самосохранения!..

И в то время, когда борцы идейно возмущаются против человекоубийственных войн, идут тернистой дорогой или «с терновым венцом на кровавом челе», герои войны, с окровавленным же мечом в руке, прославляются, им кричат восторженно vivat!, и этот крик покрывает призыв одиноких проповедников мира!..

Но настанет же и то время, когда—

«Мир устанет от мук, захлебнется в крови,
Утомится безумной борьбою, —
И поднимет к любви, к беззаветной любви
Очи, полные скорбной мольбою...»

В журнале «Русская мысль» мы остановим внимание читателя на статье г. Станюковича «Картинки современных нравов», производящей грустное впечатление.

Яркими красками, сильными бликами он набросал свои картинки, которые тем более интересны, что носят общий характер и не составляют индивидуальной особенности петербургского или московского общества, а аналогичные штрихи найдутся во всех городах России, начиная от «хладных Финских скал до стен недвижного Китая» включительно, до нас, где обретается «пуп земли», дальше которого уже «идти некуда».

Его поражает на первых порах в провинции «одиночество и беспомощность человека, который не живет, как все, не открывает кабаков или не занимается торговлей и промышленностью (хотя и эти жалуются), и более, чем унизительная зависимость от первого встречного, которому почему-либо не понравится ваша, хотя бы самая скромная, маленькая деятельность, не похожая на обычную деятельность большинства».

«Не одно только местное начальство—исправник и земский начальник, не один только становой, урядник или волостной старшина и квартальный, но даже посторонний первый «прохвост» может причинить вам столько неприятностей, что не оберетесь. Господствующее общественное настроение в таких глухих местах еще ощутительнее, и борьба с разными препятствиями за право жить не так, как все, мелочнее и унизительнее, и труднее. Или думай, как *все,* или *уходи отсюда!** Фактов такого отношения немало сообщается в газетных корреспонденциях».

«Надо пожить хоть немного в провинции, чтобы решительно ничему не удивляться,—продолжает далее автор.—Те подчас изумительные истории, которые порою через судебную залу вырываются на свет божий и попадают на страницы газет в виде судебных отчетов, приподнимают лишь незначительные уголки общей картины наших нравов, хотя и ужасающие по мрачному своему колориту. Оно и понятно. В суды большей частью попадают трагические дела, а разные не столь кричащие дела остаются неизвестными. Не станет же всякий, незаконно высеченный, избитый мужик жаловаться на земского начальника или на другого какого-либо чина. Надо что-нибудь уж очень серьезное в смысле членовредительства, чтобы явилась жалоба со стороны того самого «мужика», выносливость и терпение которого ставятся «патриотами своего отечества» как одна из главнейших доблестей национального характера».

* Курсив наш.

Такова верная характеристика неприглядной жизни той провинции, о которой автор мечтал из своего далека, как об идиллии, не тронутой еще так называемыми «веяниями» современного практического века.

Для иллюстрации этой характеристики можно было бы привести немало примеров, проскользнувших в печать и вызвавших в свое время бурю негодования всей читающей России. Эти факты раскрывали собою те темные стороны захолустной России, которые ложатся тяжелым отвратительным кошмаром на жизнь данного общества и не только не дают ей расцвета, но атрофируют всякую возможность сносного существования, поселяют или полную апатию в обществе к упорядочению общежития, или в нем рождается непримиримая, молчаливая злоба бессильного протеста. Кому, например, из читателей «Недели» не известна целая эпопея возмутительных деяний полицеймейстера гор. Уральска, фигурировавшего несколько лет тому назад на скамье подсудимых, купно со своей дражайшей половиной, и оттуда прямехонько угодившего за свои дела за Урал— «в места не столь отдаленные»? Этот деятель, блюститель общественного благочиния, оказывается, покровительствовал нескольким «пансионам для девиц без древних языков», содержимых его женой*. Все в городе Уральске знали отлично об ее преступной профессии содержательницы домов терпимости, тем более, что она сама не стеснялась даже бравировать своим порочным ремеслом. Разъезжая по магазинам местных почтенных купцов, она забирала у них в долг разные нужные предметы для своих «девиц», как она выражалась сама, и отвозила их по назначению. Хотя местное общество сперва негодовало против этого дикого среди него явления, однако со смирением сердца принимало ее у себя, как почтенную даму, как супругу начальника города, и старалась даже угождать ей во всем.

Но время все сглаживает, говорят. И к этим действиям «достойнейших» супругов общество настолько притерпелось и присмотрелось, что они приобрели санкцию нормального порядка местной жизни, и никто не стал уже возмущаться, даже втайне, безобразным растлевающим явлением. И шло бы все хорошо, все бы обстояло благополучно, и супруги катались бы, как говорится, как сыр в масле, считаясь достойнейшими и многоуважаемыми деятелями и покровителями города, дожили, может быть, до юбилея, до поднесения какого-нибудь адреса «от благодарных горожан», если бы совершенно случайное обстоятель-

---

* Нечто аналогичное было, сколько помнится, в одно время и в Кронштадте, в менее глухом городе, чем Уральск.

ство не послужило той искрой, от которой «весь бор загорелся» и которая привела почтеннейших супругов пред лицо Фемиды... В каком-то общественном собрании, сколько помнится, в театре, один молодой интеллигентный человек по незнанию во время антракта сел на место, где сидела «полицийместерша»... Последняя, увидя сидящего молодого человека, вознегодовала и принялась его поносить свойственными ее воспитанию деликатными выражениями, угрожая «упечь» за такую предерзость. Молодой человек вломился в амбицию и, к великому ужасу всего уральского общества, оказал такое гражданское мужество, что подал «на нее» жалобу прокурору, в которой не пожалел красок для описания всех похождений почтенной дамы! И... финал известен—ссылка.

Но много ли найдется гражданских рыцарей, подобных вышеупомянутому молодому человеку, подтолкнутому к этому опасному для него шагу чувством благородного негодования!.. Полицийместерская власть в гор. Уральске была так сильна, настолько местное общество безропотно переносило все распорядки ее, в каких бы формах они ни проявлялись, что подобный шаг грозил полной неудачей, а затем неотразимой беспощадной карой со стороны местного властелина, после чего, конечно, «ничего в волнах не было бы видно»... На такой риск при том бесправии, которое царит в глухих «дырах» матушки России, а особенно здесь, в Сибири,—обыкновенный обыватель не решится из понятного чувства самосохранения, из боязни не попасть в опалу. Где же, как не здесь, более всего применима поговорка—до царя далеко, а до бога высоко? Кажется, здесь, в Сибири же, какой-то исправник Кох сказал: «На небе бог, а я здесь Кох».

И кохам этим имя—легион в их разновидностях. Одни из них действуют нагло, открыто, презирая всякую общественную добропорядочность и мнение того общества, интересы которого они же должны «охранять». Им сплошь и рядом сразу удается наложить свое деспотическое «impero» и заглушить тем самым в данном обществе гражданское самосознание, поселяя в нем чувство какой-то приниженности и рабской покорности. Другие же «кохи», «добрейшие и гуманнейшие», многоуважаемые «высокоблагородия», действуют «под сурдинкою», ловко лавируя между дождевыми каплями. Они так ловко маскируют самые свои пакости, что они даже не только не кажутся таковыми, но почитаются «признательными» обывателями за особые благодеяния, хотя впоследствии, оглянувшись пристальнее вокруг, все удивляются и спрашивают друг друга, хлопая глазами:

— Как это раньше мы не замечали?

И укоризненно шлепая себя ладонью по лбу, изрекают над собой вполне заслуженный приговор:

— Экие мы оболтусы!..

И вот такие-то господа поселяют в обществе прямо или косвенно тот разврат, который составляет самый серьезный тормоз прогрессивного развития общественной жизни не только в глухих медвежьих уголках, где вовсе не раздается голос печати, но даже там, где эта печать завоевывает себе легальное существование на своей тропе, тернистой и трудной. Казалось бы, что печать в лице ее представителей должна пользоваться известным вниманием и уважением общества как выразительница его желаний и нужд, а особенно от тех лиц, которые по своему положению обязаны знать все импульсы жизни того общества, интересы которого они охраняют; а между тем замечается и со стороны их тоже поползновение попрать ее достоинство и значение самым возмутительным образом.

Не только последние «прохвосты» (выражение г. Станюковича), но и люди, мнящие себя интеллигентными, глумятся над адептами этой печати. И если это и до сих пор имеет место в России, где печать уже завоевала себе право гражданства... то можно себе вообразить, в какой степени неприязнь к печати может проявиться здесь, в Сибири, где ей приходится считаться с традиционною тьмою мировоззрений, с дикими предубеждениями, невежеством, против которых она ополчается с громадным риском даже для своего существования!..

Подобно последователям новой религии или секты, труженики печати в Сибири если не бросаются на арену цирка на съедение свирепым тиграм и львам, не сжигаются на кострах всенародно, тем не менее, как это свидетельствуется самой печатью, нередко бывали случаи, когда корреспондентов травили собаками, надевали на них смирительную рубаху, а редакторов,—как это имело место на арене одного цирка, сколько помнится, в Оренбурге,—клоуны выставляли на всенародное посмеяние. О других, менее крупных проявлениях безобразного преследования и говорить нечего—их не перечтешь.

И теперь опять летопись сибирской печати заполнилась еще страничкою довольно характерного факта, который, должно полагать, не останется без надлежащей оценки. Об этом факте уже упоминалось в фельетоне нашей газеты: редактор призывался к ответу пред «полицейским синедрионом», по повестке, в присутствие полиции за напечатание заметки, противоречившей «взглядам» и «воззрениям» местного блюстителя общественного благочиния и благонравия!..

Редактора намеревались взять по установившемуся обычаю

за шиворот и «преподать» ему, как следует «освещать» вопросы, чтобы полиции было «приятно и похвально»!..

Редактора теперь пытаются «уверить», что он не имел права освобождать свой «шиворот»...

Не наглядная ли это отрицательная мерка нашей «культурности», которой тщетно искал в провинции г. Станюкович?

«Да, жестокие, сударь, у нас нравы»!..

IV

Антимилитаризм

В октябрьской книжке «Русской мысли» мы останавливали внимание наших читателей на статье П. Ардашева—«Философия войны», где он, возражая мнениям г. Соловьева в 7 № книжки «Нивы» («Смысл войны»), излагает свои основные взгляды на войну, как на ужасное явление в жизни, мешающее человечеству в его мирном нравственном и умственном прогрессе и поселяющее постоянную взаимную и непримиримую вражду.

Таково краткое резюме мнений и всех современных гуманистов, которые с большой ясностью и страстностью высказываются последнее время в Западной Европе и в особенности в Америке.

В Америке в последние дни, когда заговорили о возможности столкновения ее с Англией, наряду со слухами о легендарных изобретениях Эдиссона, долженствующих будто бы сделать радикальный переворот в военном деле,—дело мира встречает себе сильных защитников в лице духовенства всех церквей и сект, которое усердно в своих воскресных проповедях обнажает ужас и безбожие. Теперь как бы в подтверждение антимилитарных взглядов г. Ардашева, в ноябрьской книжке того же журнала «Русская мысль» появилась статья г. И. К. «Война у разных народов», составленная по Летурно «Le guerre dans les diverses rases humaines». Составитель предпосылает статье маленькое вступление, резюмированное им в таких словах:

«Война—это возврат к эпохе дикости, наследие нашего кровавого прошлого. Меняются только формы и средства войны, но не ее содержание. Нас ужасает теперь каннибализм древних мексиканцев, но мы не жалеем ни труда, ни денег для изобретения самых убийственных орудий.* Зло не в том, как справед-

* В последнее время, как я упоминал выше, этим, по словам американских газет, занят даже сам Эдиссон. Кто бы поверил, что изобретения такого ума применены будут когда-либо к человекоубийственной войне!..

ливо заметил Монтен, что человека съедают после смерти, а в том, что его **убивают**. И эти кровавые вкусы вовсе не прирождены человеку: это—скверная привычка, приобретенная веками в самых условиях общественного развития. У колыбели человечества, когда земли было много, а людей мало и они не стесняли друг друга, война была не нужна человеку, как эскимосам полярных стран. Первые войны носили характер простого юридического возмездия и только впоследствии обратились в кровавую драму, от которой становится жутко».

За этим кратким предисловием излагаются мысли самого Летурно:

«...Нет почти места на земном шаре, где бы не было войны. Одни прославляли ее, другие проклинали. Но всегда и везде она была беспощадным бичом для человечества: она безжалостно истребляла лучший цвет молодежи, покрывала мир развалинами, ломала цивилизации и создавала новые...»

Тем не менее, не только среди более или менее выдающихся людей прошлого, но даже среди людей нашего времени, когда готовится ожесточенная идейная война против кровавой войны, когда гуманнейшая часть человечества делает первые энергичные шаги к тому, чтобы развенчать кумир Марса и свергнуть его с пьедестала из человеческих костей, защитников войны еще много. К ним Летурно относит всех правителей, министров и государственных людей и темную народную массу, которая, несмотря на то, что Молох пожирает ее детей, безмолвно склоняет свои колени перед этою страшною силою и создает культ ее героям. Поэты воспевают великих убийц и в честь их курят фимиам пред алтарями. И, странная вещь, даже покоренные народы испытывают какое-то суеверное благоговение к своим палачам.

Далее Летурно указывает на мнения лиц, более или менее компетентных в свое время. По своей оригинальной резкости мнения эти заслуживают того, чтобы с ними ближе ознакомить читателей, тем более, что по своей противоположности они своим темным фоном резче оттеняют данный вопрос в новой его форме. Вот, например, что думает по поводу войны де Местр:

«Война божественного происхождения,—говорит он,—это мировой закон; ее окружает таинственный ореол славы, и она имеет для нас какое-то невыразимое обаяние. Война божественного происхождения уже в силу того, что она щадит великих полководцев, даже самых отважных, редкие из них бывают ранены, да и то тогда, когда наступил предел их славе, когда их миссия кончена».

Если на божественность войны, о которой говорит де Местр

и, как увидим ниже, Прудон,—смотреть с точки зрения христианской религии—да должно полагать, так смотрели на нее и сами они,—то не трудно усмотреть в этом взгляде их явную возмутительную профанацию той религии, основатель которой в основу ее положил «мир и всеобщую взаимную любовь» даже к врагам, проповедуя непротивление злу, а наипаче не проливать кровь «братьев своих».

Бог, не только по мнению полных обскурантов, но, по-видимому, даже по представлению таких людей, как де Местр или Прудон, какая-то безответная таинственная сила, на которую можно сваливать все свои человеческие прегрешения и искать в этой таинственной силе оправдания своим уродливым мировоззрениям, прямо противоречащим строгой, разумной морали!..

Не распространяясь много на эту тему, мы укажем на другую половину цитированной нами мысли де Местра, в которой он усматривает силу таинственности, божественности этой «пощаде смертью» великих полководцев, даже в самом жарком сражении. По-видимому, де Местр не знает условий, при которых «великим полководцам» приходится оперировать во время сражений. Тактика и интересы их дела требуют, чтобы они находились всегда вне опасности, по возможности вне выстрелов неприятеля, но на таком пункте, откуда бы им были видны все движения той массы людей, жизнь которых находится в их руках. На равные шансы быть убитыми полководцы эти становятся лишь тогда, когда в критические минуты они лично предводительствуют своими полками—и тут уж никакие таинственные силы не спасают их от смерти.

Смерть косит на войне «рядовых» и «героев», и полководцы ограждены от нее не таинственной силой, а силой своего исключительного положения, как «полководцы».

Но послушаем теперь, что говорит Прудон, вызвавший в свое время целую бурю среди экономистов Западной Европы. Прудон, не признававший прав богатого класса, доказывавший, что их достаток—воровство и что излишек их имущества должен быть роздан неимущим,—этот самый Прудон в то же время славословил «право» кровавого оружия в словах, которые не менее дико, чем мнение де Местра, звучат в ушах современного человека, смотрящего на войну иными глазами—с точки зрения истинной гуманности и любви к человечеству.

«Война не может быть несправедлива,—говорит Прудон, — ни по природе, ни по идее, ни по мотивам, ни по цели, ни по своей строго юридической форме, —наоборот, она благотворна, нравственна, свята. Это придает ей божественный характер и ставит на высоту религии...»

Таков характер аргументации защитников войны, характер, диаметрально противоположный учению основателя христианской религии, к которой принадлежат защитники войны.

И, несмотря на это, как прошлая, так новейшая и современная история народов показывает, что войны преимущественно распространены в христианском мире—и если бывают примеры войн народов других религий и верований, то они вызываются необходимостью самозащиты от нападающих врагов—христиан же, которые стремятся поработить их или захватить часть их собственности. Как сильнейший, цивилизованный человек оправдывает это правом сильного.

«Герою» чуждо чувство сострадания, он должен для своей славы подавить в себе это чувство, которое приближает человека к идеалу современных гуманистов. Поэтому-то Наполеон, военный полубог своей эпохи, теперь только развенчиваемый, систематически притуплял в себе это благороднейшее из чувств, для чего объезжал после сражений поле битвы и долго и бесстрастно присматривался к последним агониям умиравших «героев» и вглядывался в мертвые искаженные и окровавленные лица убитых...

V

Человечество, стремясь к моральному и интеллектуальному прогрессу, в то же время рабски преклоняется перед «славою» войны и, как мы видели, в лице даже лучших своих представителей находит происхождение ее «божественным».

В первой половине настоящей статьи я привел мнения де Местра и Прудона, но эти мнения не исключительного характера: и современный век превозносит идею войны!..

«Война—зло, но зло необходимое,—раздается до сих пор конечный вывод наших милитаристов,—и нет другого оправдания этому злу, как необходимость!»—И подобными-то дикими силлогизмами хотят заглушить звуки божественного слова, призывающего людей к миру, всепрощению и непротивлению злу! Но разве зло может быть необходимым? Разве оно в такой дикой и кровавой форме, как война, может быть необходимостью человеческого существования?!

Необходимо то, что ведет к нравственному и умственному возрождению человека, что ведет к всеобщему единению человечества и уничтожает пагубную рознь, которая поддерживается тою же войной.

А между тем милитаристы, прикрываясь зачастую ничем не оправдываемою идеей защиты якобы национальной и религиозной неприкосновенности, искусственно возбуждают в людях ан-

тагонизм и даже ненависть к тому народу, в котором видят врагов отечества и религии. Идеей религии эти господа прикрываются чаще всего, и чаще всего она-то в их нечестивых устах является могучей двигательницей к потрясающим кровавым распрям. Прислушайтесь к тому, что делается вокруг, и вчитайтесь внимательнее в то, что печатается перед роковым событием войны, и вы, если не заражены слепым «квасным» патриотизмом,—всегда без труда увидите, с какою беззастенчивостью и наглою ложью стараются зачастую разжигать предварительно народные страсти, стараются искусственно вызвать в человеке «кровожадного зверя», как быка раздражают красным одеялом в цирке, чтобы уже подготовленного таким путем к бою пустить его в ход: пока тореадор не всадит в него свой безжалостный нож!..

В Западной Европе, где милитаризм еще имеет господствующее значение, есть своя система разжигания народных страстей или, говоря попросту, вызывания в человеке зверя; у нас тоже своеобразная манера на это. У кого, как не у нас, можно слышать такие синонимы, как «басурман» и «нехристь», или «не нашей веры».

В этих выражениях вполне ясно сказалась наша религиозная и расовая нетерпимость, которая и до сих пор еще остается господствующею чертою народного мировоззрения и которая будет служить и служит огромным рычагом для поднятия народного духа против искусственно создаваемых супостатов отечества и религии.

Раз затронув, таким образом, эту сторону вопроса, как один из главнейших факторов войны, я должен остановиться на ней несколько подробнее и тем самым осветить вопрос с несколько оригинальной стороны.

Россия в исторической жизни своей чаще всего сталкивалась, как я упоминал выше, с мусульманским миром. Не религиозная рознь, а исключительные географические особенности были всегда причиною распрей, служили, так сказать, casus belli. Но впоследствии, когда эгоистические стремления отдельных лиц стали выделяться из общего настроения и общих целей ограждения чисто государственных интересов, примешалась религия, и рознь этой последней послужила самым верным орудием для разжигания взаимной народной неприязни. При этом для вящего успеха основатель мусульманской религии выставлялся как ненавистник Христа, стремившийся к религиозному господству и к порабощению христиан.

Вспомним Крестовые походы, удивительный и позорный для истории развития человечества поход детей, чтобы понять, в ка-

ких диких формах тогда являлись стремления, облеченные в тогу религиозных интересов! Иерусалим, эта святыня трех господствовавших тогда религий—христианства, иудейства и мусульманства—стал яблоком раздора между мусульманами и христианами. И что же?.. Беспощадная, самая дикая, зверская резня крестоносцев с защитниками города характеризует эту эпоху. «Кони крестоносцев ходили по колено в крови»,—повествует история. И это во имя Христа, проповедовавшего мир и любовь, чей гроб одинаково почитался за святыню между воюющими сторонами! А поход детей?.. Тоже во имя освобождения гроба господня!.. Какая нелепость: гроб того, кто грехи людей искупал кровью своей, поливается кровью тех, кому он проповедовал любовь и мир!..

Современные формы войны имеют не менее дикий характер. Пусть кричат и славят войну европейские авторитеты, как Прудон, пусть доказывают они, подобно Прудону, с беззастенчивостью, достойною гаера, что война происхождения божественного, что «война не может быть несправедлива ни по природе, ни по идее, ни по мотивам, ни по цели, ни по своей строго юридической форме»,—мнение, что война пагубна, что она фактор деморализации и пауперизма, что она порождает всемирную взаимную ненависть, разжигает в людях самые порочные страсти, подавляя лучшие стремления,—будет крепнуть все более и более! Война есть к тому же источник вырождения расы. Требуя лучших сил народа в жертву в самом их расцвете, в возрасте их производительной способности, она их ведет на бойню и превращает их, как метко выразился тот же полубог войны Наполеон, в «пушечное мясо» («la viande de canons»). А это пушечное мясо только славословит и боготворит Наполеона!

У нас уже начинают приходить в себя и понимать все зло войны и «вооруженного мира».

Симптомы такого отрадного грядущего сказываются довольно ясно и в нашей печати.

Вот что, например, мы читаем в одной из передовых наших газет («Неделя, № 52 л. г.): «России в недалеком будущем предстоит сыграть крупную руководящую международную роль, которая, по-видимому, должна склониться к всеобщему замирению и, в конце концов, разоружению народов».

И в этих немногих словах видно убеждение во вреде войны. Но в более энергичных выражениях восстает против войны знаток и наблюдатель ее, Немирович-Данченко в своем романе «Вперед» (ч. 2, стр. 498).

Привожу эти характерные слова:

«Существует почему-то уверенность, что армия с восторгом

пойдет умирать за чужое дело!.. Где наблюдалась такая армия—я не знаю... Я видел солдат, гибнущих по обязанности, видел офицеров, смело глядевших в лицо смерти, потому что на их ответственности были их войска, их батальоны, их роты, их взводы... Энтузиасты—исключение,—неужели по ним-то и судить?!.»

«Кровавый призрак войны не раз еще подымет свою голову... Из царства смерти, из полного ужасов ада его вызовут опять маги и волшебники, для которых война—арена славы и честолюбия...

Это гладиаторы, привыкшие наносить удары, поливающие свое счастие чужою кровью, чтобы оно росло обильнее и выше... И опять найдутся восторженные кабинетные стратеги, идеалисты, народники—все, что хотите, которые с восторгом начнут говорить о призвании России и о нашей обязанности идти и умирать...

Идти—куда?.. Умирать—за что?..

«Глупа эта армия честолюбия, вся эта пылкая вакханалия, где осатанелые блудницы выкрикивают свои девизы, думая увлечь ими толпу!.. Предостерегающие голоса смолкают мало-помалу в этом одуряющем шуме: вихрь уносит их куда-то далеко-далеко... И опять война, и опять боевая легенда выступают вперед. Плодятся нищета и преступления... Робость духа и подлость сердца разливаются по стране безграничным морем зла и кривды...

Глупо или подло?.. Я думаю,—и то и другое»

Глупо и подло!..

Такой взгляд на войну стал вырабатываться у нас в последнее время в беллетристике.

Читатель помнит, несомненно, и прекрасный рассказ Гаршина «Четыре дня». В этом маленьком рассказе автор выразил столько чувства огня и в таких рельефных красках привел анализ души покинутого раненого рядом с разлагающимся трупом убитого турка, что невольно в душе читателя вспыхивает чувство глубокой жалости к этому невинно убитому человеку, у которого «тоже» есть старушка-мать, поджидающая дня его возвращения со слезами у убогой хаты. У читателя невольно при описании этой картины выступают слезы, и он невольно думает: «Какой ужасный источник бедствий и горя эта война!» Золя не более этого выразил в своем объемистом романе «Разгром», где батальные картины вызывают чувство глубокого отвращения к следствиям войны своей поразительной реальностью, чем особенно отличается перо этого романиста...

Антимилитаризм появился и в художестве; на Западе дав-

но выработалась школа баталистов, хотя картины их и не носят такого оригинального, своеобразного характера, какой имеют картины нашего художника Верещагина.

В последних особенный эффект резко выраженных идей в этом направлении, так что его картины—единственные в своем роде и в нашей батальной живописи. «Ужас» войны является в них ярко и рельефно, производит глубокое, потрясающее впечатление, которое желает вызвать художник... Поэтому-то выставка его картин в этом роде имела вполне заслуженный успех не только в России, но и в Париже, Вене, Берлине. В Берлине успех был просто колоссальный. Картины Верещагина производили настолько сильное впечатление на немецкий военный элемент, посещавший выставку вначале толпами, что фельдмаршал Мольтке, наслышавшийся об этом и осматривавший лично эти картины, воспретил посещать выставку офицерам, дабы не ослабить в них своеобразный дух того милитаризма, который составлял гордость германской армии под руководством своего великого учителя...

Мне не пришлось видеть оригиналов верещагинских картин, я видел их снимки, но и в таком виде они вызывают глубокие чувства.

Но ни одна картина не производила на меня такого сильного впечатления в этом направлении, как одна какого-то иностранного художника. Поле битвы... Среди обломков лафетов и «тел» орудий распростерты в разных положениях трупы героев... Высоко в небе над этими трупами кружатся зловеще коршуны и вороны... Там вдали, на фоне картины, виднеется горка, а на ней кладбище деревенское с ветхими, покосившимися деревянными надмогильными крестами. Далее горизонт замыкается черным столбом дыма, поднимающегося от горящей деревни и города. Там витает смерть. Сейчас враг был здесь и оставил царство смерти, а там, по пути, сеет ту же смерть, там раздается скрежет зубовный, проклятья, плач, рыданья, молитвы... А над этой картиной, на обломке знаменного древка с крестом на конце виден кроткий образ Христа. Приложив левую руку к едва прикрытой груди, другою же закрыв очи, он с понурой головой тихо, тихо плачет!..

Миру недостаточно было пролитой крови Христа,—за озверелого человека льются теперь Христовы слезы!..

Пусть же человечество шире и глубже сознает позорный «грех» войны и отстранится от него!

Пусть это новое сознание окрепнет и вырастет в людях в одну общую идею и исцелит своею живительною силою язвы прошлого и настоящего!

Тогда, только тогда человечество сделается достойным своего великого учителя...

VI

«О мире мира сего»

Прошлогодние читатели, вероятно, помнят мои очерки («Антимилитаризм»), в которых мне приходилось говорить о любопытнейшем новом явлении в современной жизни цивилизованных народов—о движении против войны. Объявляется мирная война, опирающаяся на лучших проповедников нравственных догматов, на религиозные заповеди против резни народов во имя тщеславия и приобретений. Кроткий голос мира раздается все громче и громче, и обаяние, которое до сих пор имела война даже на лучшие умы, теряет свою прежнюю силу, ореол славы, который так ярко сиял над Атиллами, Наполеонами, Тамерланами и современными «знатоками искусства поражать неприятеля», нанося ему возможно больший ущерб.

Теперь мы в октябрьской книжке «Русской мысли» снова встречаем интересную статью Л. Комаровского «Современные общества мира». В этой статье изложена история развития этих обществ, и с ней-то вкратце мы и познакомим наших читателей. Мысли, изложенные в этой статье, дополняют то, что нами уже было высказано в прошлом году в очерках об «антимилитаризме».

Общества мира с особенною энергией стали проявлять свою деятельность в последние десять лет в Западной Европе. «Люди всех национальностей,—говорит автор,—без различия их верований, сословного и общественного положения, входят в состав этих обществ, которые составляются как из мужчин, так и из женщин, как известных деятелей на том или другом поприще человеческой жизни, так и из юношей, не покинувших еще школы. Никогда приверженцы мира не подымали так смело свою голову, как в наш век; никогда не было столько проповедников этой идеи, которые с такой верою и с таким огнем упорствовали бы в своей тяжкой борьбе против самой войны; ни в какое другое время и ни по какому иному делу мы не видим, чтобы сыны церкви протягивали столь радушно руку последователям французской революции. Демократы, радикалы, консерваторы, люди всех политических или религиозных партий и оттенков озабочены вопросом о замирении общества и трудятся над его разрешением. Общества мира основываются

и католиками, и протестантами, и евреями, и свободомыслящими».

Начало возникновения обществ мира относится чуть ли не к XI веку, но проповедь никогда еще не достигала той силы убежденности, как в нашем веке.

В наше время пропаганда мира прошла последовательно через три фазиса: 1) отдельных *частных обществ*, 2) *общих съездов* их представителей и 3) *объединение* всей их деятельности в особых органах (правильные съезды, центральное бюро мира в Берне, международно-парламентские конференции). Первые общества в нашем столетии появились после наполеоновских войн, когда Европа была залита человеческою кровью, в которой люди собирались совсем захлебнуться, утомилась настолько этими войнами, что обратила к миру очи, «полные скорбной мольбы». И движение в этом направлении одновременно отозвалось в Англии и Соединенных Штатах. В 1815 году основалось в Нью-Йорке первое общество при участии нескольких квакеров. Одновременно с ним появилось такое же общество и в Лондоне. Общества эти имели свои органы печати. Затем, после пятнадцатилетнего промежутка времени, в Женеве гр. Селлон, «посвятивший неприкосновенности человеческой жизни свое сердце и перо», основал первое общество в Швейцарии. Он видел тогда уже в войне организованное избиение людей и полагал, что христианство призвано установить мир во всех видах. Особенною неутомимостью в своих проповедях прославился американский кузнец Эму Беррит, который с целью пропаганды побывал даже в Европе и хлопотал особенно об общих съездах миролюбцев, что ему и удалось достигнуть в 40-х годах.

Эти общие съезды характеризуют второй фазис мирных обществ. Этим съездам много способствовал продолжительный мир после 1815 года. Первый съезд мира состоялся в Брюсселе в сентябре 1848 года стараниями Беррита. Второй съезд был 22—24 августа 1849 года в Париже по почину Лондонского общества и стараниями того же Беррита. Заключительное заседание Парижского общества происходило под председательством поэта Виктора Гюго, противника войны, в годовщинный день Варфоломеевской ночи (24 августа). «Сегодня,— произнес В. Гюго,—в этот самый день и в том же самом городе бог повелел встретиться всем ненавистям и превратиться им в любовь. Он отнял у этой скорбной годовщины ее мрачное значение: на место пятен крови он возжег лучи света, идеи мщения, фанатизма и войны он заменил заповедями примирения, терпимости и мира—и его волею, посредством прогресса, кото-

рый он вызывает и предписывает, ровно в этот роковой день 24 августа и, так сказать, почти под сенью этой еще возвышающейся башни, с которой раздался набат к убийствам в Варфаломеевскую ночь, не только англичане, французы, итальянцы, немцы, европейцы и американцы, но и так называвшиеся прежде, паписты. и гугеноты признают друг друга братьями и соединяются в тесном и отныне нерасторжимом объятии».

Третий съезд общества мира состоялся во Франкфурте-на-Майне в 1850 г., в церкви св. Павла в тех же числах августа. На этом съезде был провозглашен принцип невмешательства и осуждения дуэлей, кровавый призрак которых в наш просвещенный век поднимает свою голову. Заявлено на том же съезде о всеобщем и одновременном разоружении, а один из членов съезда (раввин) подал голос за упразднение постоянного войска без всяких оговорок. В случае бессилия дипломатий в деле улажения мира между воюющими сторонами признана целесообразность третейских судов.

Четвертый съезд совпал с всемирной выставкою в Лондоне в 1851 году, в 22—24 числах июля месяца. На этом съезде Пальмерстон сказал: «Я согласен с Кобденом в том, что не было времени более благоприятного для такой демонстрации в пользу мира, как настоящее, когда мы превратили страну, можно сказать, в храм мира для всего мира». Затем еще съезд был в Эдинбурге (1853), после чего они уже прекращаются вплоть до 80-х годов, когда вновь разрастаются в более широких размерах под именем «универсальных конгрессов мира». Тем не менее, и за это время затишья съездов бывали примеры отдельных манифестаций в пользу мира, из которых любопытнейшею можно считать тот случай, когда в 1867 году при открытии северо-германского рейхстага Вильгельм I заявил, что «сообразно с национальным духом Германии, вообще направленным к миру, племена ее объединились для обороны, а не для нападения».

В 1870—1871 гг., во время войны, рабочие в Берлине заявляют: «Ненавидя войну вообще, мы считаем ее между Германией и Францией особенно пагубною для интересов цивилизации и свободы». Немцы же, жившие в Париже, пишут в своем адресе: «Всякое решение настоящего столкновения должно быть предпочтено варварству войны между французами и немцами». Парижские студенты тоже заявляют своим немецким сотоварищам: «Ни Франция, ни Германия не должны стремиться к расширению своих границ. Никогда доблестный муж не боится войны, но каждый честный человек должен ее ненавидеть. Будем же и мы питать к ней ненависть из-за нищеты, которая

за нею следует, из-за деспотизма, ею порождаемого». Таков был характер отдельных манифестаций. Несколько иной характер имела «Международная лига мира и свободы», основанная в Женеве, на собраниях которой произносились крайне запальчивые речи, которые скорее отдавали запахом крови и пороха, чем миром. К этой лиге принадлежал, между прочим, и известный русский эмигрант Бакунин, который высказывался против привилегированных сословий и за принцип децентрализации.

Третий фазис развития обществ мира—*общие съезды,* план совместного действия с особыми органами, которые служили бы постоянными звеньями между обществами мира. При этом современным съездам миролюбцев особенно содействуют всемирные выставки. Первый из универсальных конгрессов мира состоялся в Париже во время всемирной выставки 23 июня 1889 г., в столетнюю годовщину Французской революции. Конгрессом выбрано в почетные члены много выдающихся поборников мира. «Все народы,—говорится в циркулярном приглашении,—ненавидят войну и тяготятся вооруженным миром, под бременем которого они изнывают. Такой порядок вещей объясняется только одним: его считают временно необходимым для обеспечения безопасности, независимости и во многих местах—свободы народов. Отыскать способ, который мог бы непосредственно на практике обеспечить безопасность, без ущерба свободе,—таков идеал, к которому мы все стремимся. Нас соединяют три слова: *третейский суд, свобода и мир*. Вот почему проведение на практике идеи третейского суда мы считаем самою существенною задачей нашего конгресса; по той же причине мы поставили во главе предлагаемой программы принцип постоянного третейского суда... Соединимся же все, мужчины и женщины, чтобы во имя отечества положить первые основы к общему миру («la paix du monde»). Затем были съезды в Лондоне (14 июля 1890 г.), в Риме (11 ноября 1891 г.), в Берне (1892), в Чикаго (1893 г.) и в Антверпене (1 сентября 1894 г.). Ввиду китайско-японской войны, тогда еще продолжавшейся, съезд поручил бюро мира передать правительствам его желание, чтобы «вся Европа во имя человеколюбия и цивилизации употребила все зависящие от нее средства с целью прекращения этой войны и побуждения воюющих предоставить вопрос о Корее на решение третейского суда. Ввиду же этой войны съезд протестует против употребления на нее европейских и американских капиталов, в интересах того или другого из воюющих».

Таков вкратце общий характер съездов мира. Связью между этими периодическими собраниями служит постоянный орган—*Международное бюро мира,* признанное швейцарским пра-

вительством юридическим лицом. Первоначально мысль об учреждении бюро родилась у нескольких частных тружеников, проникнутых глубоким сознанием пользы предпринимаемого дела. Фридерик Байер на Лондонском съезде открыто выразил эту мысль в 1890 г., а в 1891 г. ее рассмотрел и одобрил римский съезд. Два первых пожертвования в пользу бюро в том же месяце были: от Пратта 5 ф. стер. и от Берты Суттнер 1500 фр., вырученных продажею ее романа. Бюро состоит из 15 членов комиссии, в состав которой входят представители разных обществ мира. Оно составляет центр всяких справок по вопросам войны и мира. При крайне трудной и сложной работе бюро ведет обширную переписку, не оставляя ни одного письма без ответа. Краткие сведения о письмах и получаемых сочинениях отмечаются в его органе «Correspondence autographiée», выходящем 2 раза в месяц. Собирается все, что пишется о мире—от газетной заметки до научных исследований.

Естественно, что при такой трудной и сложной работе потребны и соответствующие материальные средства, а между тем средства эти оказываются более чем скромны. За первые 4 года содержание бюро обошлось только в 20 т. фр., взносами оно получило до 24 т. фр., причем швейцарское правительство ассигновало от себя по 1000 фр. в 1894 и 1895 гг.

Такова вкратце история возникновения обществ мира и их деятельность в Западной Европе и Америке, где существование их получает правительственную санкцию и даже, как в Швейцарии, субсидируется самим правительством. Но нельзя по сравнительной ограниченности обществ мира заключать, что самая пропаганда мира идет безуспешно и что район ее действий ограничен. Напротив, современный просвещенный человек, который с большой ясностью и глубиною доходит до познавания принципов непротивления злу и идей братского единения народов, как единственного и верного стимула прогресса,—больше, чем когда-либо, проникнут сознанием необходимости в мире—царства мира... Мир начинает вглядываться пытливее и пристальнее в тот ореол, который окружал героев минувшей истории, и различает с ужасом, что то сияние, которое его так ослепляло тогда, теперь светит кровавым светом и что путь, по которому шли эти герои к громкой славе под девизом: «за религию и братство», усеян костями невинных жертв, которые своею смертью не оправдают перед судом потомства властолюбивых вожделений людей, водивших их на бойню... Были времена, когда мир захлебывался и пьянел от человеческой крови и в лице не только монархов, для которых нужны эти войны, но и лучших умов народа поклонялся богу войны, от которого

ожидал спасения мира и успехов цивилизации. И это последнее мнение еще не только не делается, даже теперь, анахронизмом, но проходит яркою полосою в учебниках истории, которые войну почитают еще проводницею цивилизации... Но tempora mutantur et nos mutamur in illis. Против кровавой войны ополчаются лиги мира с девизом братской любви, единения, мира... И хотя их фактическое существование в виде правильно организованных обществ отмечено еще мало, тем не менее, отвращение к войне и симпатия к миру больше и больше проникает в сознание человека...

※※※

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание вошли прозаические произведения И. Д. Канукова, большая часть которых впервые предлагается вниманию советского читателя.

Книга состоит из трех разделов: 1) Рассказы, очерки, фельетоны; 2) Статьи и корреспонденции; 3) Библиографические заметки и обзоры.

В каждом разделе материал расположен хронологически—в основном по времени первых публикаций. Очерки «Из летописи города Ориенвилля», написанные в разные годы, собраны в единый сатирический цикл, внутри которого также соблюден хронологический принцип.

Все тексты сверены по первым публикациям, а очерки «По Востоку» и статья «Положение женщины у северных осетин»—по автографам. Статья подвергнута легкой стилистической правке.

Источники текста

«Материалы по осетинским народным сказаниям, пословицам, обычаям и проч. Г. Шанаева, Гатиева, И. Канукова...», хранящиеся в фонде Вс. Миллера,—Архив Института Востоковедения АН СССР (сектор восточных рукописей), ф. 38, оп. 1, № 35, с. 54—64. Содержит автограф статьи «Положение женщины у северных осетин», датированный 23 мая 1875 года.

Черновой автограф путевых заметок И. Д. Канукова, сделанных им во время путешествия по странам Дальнего Востока. Датирован январем—февралем 1897 г.—Отдел рукописных фондов Северо-Осетинского научно-исследовательского института, ф. 4 (л.), оп. 1, д. 12.

«Северная звезда»—журнал литературы, наук, искусств, политики и общественной жизни, изд. в Петербурге в 1877—1878 г.

«Сборник сведений о кавказских горцах»—ежегодник Кавказского горского управления, издававшийся в Тифлисе с 1868 по 1876 гг. с целью ознакомления русской царской администрации с жизнью и бытом подчиненных ей горских племен. Вышло 9 выпусков. В 1881 г. был издан под № 10 сборник под тем же названием в издании Кавказского военно-народного управления.

«Кавказ» — газета, выходила в Тифлисе с 1846 по 1918 гг.

«Владивосток»—еженедельная газета, выходила во Владивостоке с 1883 по 1906 гг.

«Сибирский вестник»—сначала еженедельная, затем ежедневная газета, выходила в Томске с 1885 по 1905 гг.

«Дальний Восток»—газета, издавалась во Владивостоке с 1892 по 1918 гг. Большую часть своих статей и фельетонов И. Канукови подписывал псевдонимами: Странник, И. Восточный, Восточный летописец, И. Алдаров, М. Иронов, Ирон, Тагаурец—и криптонимами: И. К., И. К-ков, И. К-в, -алъовъ, -лъ-въ, лъ-ъ. Цикл об Ориенвилле подписан псевдонимами: Маркиз Зет, Неизвестный, Аз, Муха, Немо. Обоснование псевдонимов писателя дано в нашей статье: «Новые материалы об Инале Кануковс».—В кн.: Известия СОНИИ, т. XXVI (литература), Орджоникидзе, 1966, с. 32—33.

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ

В осетинском ауле (с. 20)

Печатается по тексту «Сборника сведений о кавказских горцах», вып. VIII, 1875 г., где впервые опубликовано с подписью: «Инал Кануков». Очерк написан в 1870 году.

сайд ус (ос.)—обманутая чертом женщина, сумасшедшая.

берекет (ос. бæркад)—изобилие.

бичо (груз.)—мальчик.

хуыцауы хорзæх дæ уæд (ос.)—да снизойдет на тебя милость божья.

æмбисонд (ос.)— пословица, поговорка, басня, притча.

Улисс—римское имя Одиссея, героя одноименной поэмы древнегреческого поэта Гомера.

братья Гримм, Яков и Вильгельм—немецкие писатели XIX в., авторы популярных сказок для детей.

уæлибæх (ос.)—пирог с сыром, творогом.

хуын (ос.)—подарок, гостинец, приношение.

залиаг (ос.)—ядовитый.

Реком—древнее святилище возле села Цей в Алагирском ущелье Северо-Осетинской АССР.

Грубе, Август Вильгельм (1816 — 1884)—немецкий педагог, автор популярных книг для юношества: «Жанровые картины из истории и преданий», «Географические жанровые картины» и др.

фатиха (араб.)—здесь: начало мусульманской молитвы за упокой.

Кааба—мусульманский храм в Мекке (Саудовская Аравия)—одно из святилищ древних арабов, место паломничества мусульман.

уырдыджыстæг (ос.)—прислуживающий на пиру, за столом.

паддзах (ос.)—царь.

Горцы-переселенцы (с. 61)

Печатается по тексту «Сборника сведений о кавказских горцах», вып. IX, 1876 г., где впервые опубликовано. Очерк датирован: «Сентябрь, 8 дня 1875 года. Гор. Владикавказ». Первоначальный вариант очерка—«Заметки горца» относится к июлю 1873 г. (см. Инал Кануков. Сочинения. Сев.-Осет. книжное издательство, Орджоникидзе, 1963, с. 309—332).

Шамиль (1799—1871) — руководитель борьбы кавказских горцев против царских колонизаторов и местных феодалов под лозунгом мюридизма.

Стамбул (турец.—Истанбул, греч.—Константинополь, древнерусск.—Царьград)—крупнейший город, порт и торгово-промышленный центр Турции. До 1923 года—столица страны.

memento mori (лат.) — напоминание о смерти.

«...мой дядя... Эльдзарыко...»—самый старший из пяти сыновей Тараса Канукова, умер в дороге, в г. Кагызмане (Турция), где и похоронен.

«...одну из кавказских гимназий...»—Инал был определен в старейшее на Кавказе учебное заведение—Ставропольскую гимназию.

Владикавказ—город на реке Терек, ныне Орджоникидзе, Северо-Осетинской АССР.

Ардон —селение, ныне город в Северной Осетии.

Кутаис—один из древнейших городов на Кавказе, расположенный на реке Рион.

Батум—порт на юго-восточном берегу Черного моря в 12 км к востоку от турецкой границы.

валлах, чох яхши! (тур.)—ей-богу, очень хорошо!

рухсаг у (ос.)—будь блаженным в загробной жизни.

sit tibi terra levis (лат.) — да будет земля тебе легка!

Как будто белый караван.

Залетных птиц из дальних стран—строки из поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри».

Алхамдулилльях (араб.)—часть клятвенной формулы, примерно соответствующей русскому: «Един бог».

кафыр (араб.)—неверный, гяур (у исповедующих ислам презрительное прозвище всех немусульман).

Тарас, Остап — запорожские казаки, герои повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».

Наливайко, Северин (год рожд. неизв.—ум. в 1597 г.)— руководитель крупного крестьянско-казацкого восстания на Украине в 1594—1596 гг. против польских и украинских магнатов-землевладельцев и шляхты.

реноме (фр.)—слава, известность.

шайтан (араб.)—фантастический образ сатаны, «злого духа» в исламе.

Из осетинской жизни (с. 87)

(Отрывок из повести)

Печатается по тексту газеты «Кавказ», где впервые опубликовано в №№ 91 от 6 августа и 92 от 8 августа 1876 года с подписью: «А. Конуков». Фамилия и инициал явно искажены.

От Александрополя до Эрзерума (с. 96).

(Путевые наброски)

Печатается по тексту газеты «Кавказ», № 267 от 26 ноября 1878 года и № 275 от 6 декабря 1878 года, где впервые опубликовано с подписью: «И. Кануков». После текста путевых очерков в № 275 газеты «Кавказ» имеется примечание в скобках: «Продолжение будет», однако ни в 1878, ни в 1879 гг. продолжение не появилось.

Эрзерум—административный центр вилайета Эрзерум в Турции.

Александрополь—город в Армении, ныне Ленинакан.

вилайет (тур.)—крупная административно-территориальная единица в Турции, делится на казы (округа).

чичероне (итал.) — проводник, дающий объяснения при осмотре каких-либо достопримечательностей.

осман—яман, урус—якши (тур).—турок—плохой, русский—хороший.

ахча (тур.)—деньги.

урус ахча коп (тур.)—у русского денег много.

фуражир—кладовщик, принимающий и выдающий фураж воинской части.

саман—здесь: мелко нарубленная солома.

юзбаш (тур.)— капитан, сотник.

Аладжа-Даг...—Аладжинское сражение, решившее исход русско-турецкой войны 1877—1878 гг. на Кавказском театре, произошло в октябре 1877 года в районе высот отрогов Карадага—в южной чости Карской равнины (Турция).

минарет (араб.)—высокая башня при мечети, с которой муэдзин сзывает мусульман на молитву.

ротонда (ит.)—круглая постройка, перекрытая куполом.

«...смесь одежд и лиц, племен и состояний...»—измененная фраза из поэмы А. С. Пушкина «Братья-разбойники». У Пушкина:

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!

«...под командою Инала Кусова...»—Капитан Инал Тегоевич Кусов командовал 4 эскадроном 16 драгунского Нижегородского полка. О его мужестве и храбрости в сражении с турками сказано в его наградном листе: «С командуемым им эскадроном в ночь с 17 на 18 мая при Беглн-Ахмете первый ударил на главную массу сил Кондухова и после самого отчаяниого боя с превосходными силами овладел орудием и значком Кондухова, изрубив прислугу и знаменосца, а равно и четырьмя зарядными ящиками...» За участие

в этом сражении Кусов был награжден золотым оружием и представлен к чину майора (ЦГВИА, ф. 400, оп. 131/753, д. 220, лл. 7, 7об., 27).

Две смерти (с. 106)

(Недавняя быль из осетинской жизни)

Печатается по тексту газеты «Кавказ», где впервые опубликовано в 1878 году в №№ 290 от 24 декабря с подписью: «И. К.» и 292 от 29 декабря с подписью: «И. Кануков».

хуыцау (ос.)—бог.

налат (ос.)—нахал; дерзкий, наглый, бесстыдный.

Из общественной жизни на Востоке (с. 115)

(Стряпчий)

Под общим заголовком «Штрихи» напечатаны три очерка: «Стряпчий», «Ревизия» и «Черномор»—в газете «Владивосток», № 1 от 6 января 1885 года с подписью: «Ирон».

стряпчий — в дореволюционной России — ходатай по делам, частный повереный.

«...a la Наяда...»—как Наяда. В древнегреческой мифологии наяды—нимфы рек, стоячих вод и источников.

стукалка—азартная картежная игра.

«...юпитеровское» «quos ego» (лат.)—я вас! Употребляется как выражение гневной угрозы. Юпитер—древне-италийский верховный бог небесного света, дождя и грозы (громовержец), глава римского пантеона.

Продулся (с. 120)

(Набросок с натуры)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 3 от 20 января 1885 года, где впервые опубликоваио с подписью: «Тагаурец».

«...вихри снежные крутя...»—цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер».

архиштосист—заядлый игрок в штос (штосс), старинную азартную карточную игру.

кошевка—широкие и глубокие сани, обитые кошмою (войлоком), рогожей и т. п.

«...есть такие вещи, друг Горацио...» —измененная фраза героя трагедии В. Шекспира «Гамлет» (д. 1, сц. 5): «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».

homo sum (лат.)—я—человек. Часть латинского афоризма:«Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо».

Калейдоскоп (с. 123)

(Рефлексы лета)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 33 от 13 августа 1889 года, где впервые опубликовано с подписью: «Аз».

аттическая соль—тонкая острота, насмешка.

решпект (фр.)—почтение, уважение.

Кавелин, Константин Дмитриевич (1818—1885)—русский юрист, историк, буржуазно-либеральный публицист.

«Свадьба Кречинского»—комедия русского драматурга А. В. Сухово-Кобылина (1817 — 1903), написана в 1852—54 гг.

престидижитатор (ит.)—фокусник, проделывающий номера, основанные на быстроте движений и ловкости рук.

«...на параличном россинанте...»—Россинантом назвал свою старую, исхудавшую лошадь герой романа Сервантеса «Дон-Кихот». Имя это стало нарицательным для заезженной лошади, старой клячи.

грум (англ.)—слуга, сопровождающий верхом всадника или едущий на козлах или задке экипажа; также—мальчик-лакей.

«...феникс из пепла...»—Феникс—священная птица древних египтян, символ вечного возрождения.

перифраза (фр.)—передача смысла какого-либо оборота речи другими словами.

Полежаев, Александр Иванович (1804—1838)—русский поэт. Кануков ссылается на его стихотворение «Вечерняя заря» (1826). У Полежаева:

Не расцвел — и отцвел
В утре пасмурных дней;
Что любил, в том нашел
Гибель жизни моей.

Кореец-носильщик и лошадь (с. 128)

(Уличные картинки)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 37 от 16 сентября 1890 года, где впервые опубликовано с подписью: «М. Иронов».

«Блаженны милующие и скотину»—цитата из Евангелия.

На шхуне «Алеут» до Тюленьего острова и обратно (с. 132)

(Беглые штрихи)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», где впервые опубликовано с подписью: «И. К.» в № 43 от 28 октября 1890 г. и № 44 от 4 ноября 1890 года.

фанза (кит.)—небольшой китайский дом.

манза — в прошлом название китайцев и манчжур в Уссурийском крае.

Тюлений остров (с. 138)

(Очерк)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», где впервые опубликоваио с подписью: «И. К.» в №№ 46 от 18 ноября, 47 от 25 ноября и 48 от 2 декабря 1890 года.

дивиденд (лат.)—доход, получаемый владельцем акции.

Промысел котиков (с. 146)

(Рассказ)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 7 от 17 февраля 1891 года, где впервые опубликовано с подписью: «И. К.»

Захолустье (с. 149)

(Страиичка из дневника)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 46 от 17 ноября 1891 года, где впервые опубликовано с подписью: «-лъ -ъ».

флер (ием.)—покров таинственности, окутывающий что-либо.

Il faut donner (с. 154)

(Обыкиовеиный случай)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», № 1 от 25 октября 1892 года, где впервые опубликовано с подписью: «Комар» под общим заголовком «Штрихи».

Il faut donner (фр.)—надо дать.

Дуэлисты (с. 157)

(Бытовая картиика)

Печатается по тексту газеты «Дальний восток», № 9 от 22 ноября 1892 года, где впервые опубликовано с подписью: «Комар».

S'il vous plait (фр.) — пожалуйста.

в кураже — навеселе, под хмельком.

Незевай (с. 161)

(Из истории иравов)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», № 17 от 20 декабря 1892 года, где впервые опубликоваио с подписью: «Комар».

личарда — в старииной русской сказке о Бове-королевиче Личарда — верный слуга короля Гвидона. Имя его стало синонимом верного слуги. Здесь: в смысле—верный подчииеииый.

Из прошлого (с. 164)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», где впервые опубликовано с подписью «Nemo» в №№ 23 от 25 марта и 25 от 4 апреля 1983 года.

O tempora, o mores! (лат.)—о времена, о нравы!

mesdames (фр.) — мн. число от madame—замужняя женщина; в обращении — сударыня.

au courant (фр.)—*в* курсе, на уровне.

Казнь (с. 169)

(Очерк с натуры)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», где впервые опубликовано в №№ 51 от 19 декабря и 52 от 25 декабря 1893 года с подписью: «И. Кануков». Датировано 31 октября 1891 г.

«...*цель френологическая*...»—от «френология»—ложное, реакционное учение о связи между наружной формой черепа и умственными, моральными качествами человека.

фордек (нем.)—складной подъемный верх у экипажа.

O, sancta simplicitas! (лат.)—О святая простота!

Oh, Mon Dieu! (фр.)—О мой бог!

Очерк из зоологии Уссурийского края (с. 176)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», № 9 от 23 января 1894 года, где впервые опубликовано с подписью: «Случайный натуралист».

атавизм (лат.)—проявление у организмов свойств и признаков, характерных для далеких предков.

Homo sapiens ussuriensis (лат.)—человек мыслящий, уссурийский.

частный поверенный—адвокат в дореволюционной России, не состоящий на государственной службе.

волапюк — искуственный международный язык, изобретенный в 1980 г. И. Шлейером; распространения не получил.

эсперанто—искусственный международный язык, созданный в 70-х годах XIX века варшавским врачом Заменгофом.

хунхузы (кит.)— в прошлом вооруженные отряды бандитов в Северном Китае.

Страшный сон (с. 180)

(Фантазия)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 27 от 3 июля 1894 года, где впервые опубликовано с подписью: «И. Кануков». Датировано 15 июня 1894 года.

В пасмурный день (с. 182)

(Рассказ)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», где впервые опубликовано в № 101 от 11 сентября 1894 года с подписью: «И. Кануков».

фиаско (ит.)—неуспех, неудача, провал.

alma mater (лат.) — место, где кто-либо воспитался, развился, приобрел профессиональные навыки и т. д.

Обед с прелюдией (с. 187)

(Из прошлого)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», № 79 от 28 июля 1895 года, где впервые опубликовано с подписью: «И. К-ков».

Муки Тантала (с. 192)

(Сон в летнюю ночь)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», где впервые опубликовано с подписью: «Комар» в № 41 от 16 апреля 1895 года.

Тантал (гр.)—по древнегреческому мифу—лидийский царь, осужденный Зевсом на вечные муки голода и жажды; он стоял по горло в воде под деревом с плодами, но ему не доставались ни вода, ни плоды; отсюда выражение «муки Тантала».

Из летописи города Ориенвилля (с. 199)

(Рассказ Jean d'Arm'a. Из франц. журнала «Rire», 1890)

Первый сатирический очерк из цикла «Из летописи города Ориенвилля» печатается по тексту газеты «Владивосток», № 18 от 5 мая 1891 года, где впервые опубликован с подписью: «Цэцэ». Несмотря на подзаголовки: «Вольный перевод с французского», «Из французского журнала «Rire» и т. п., описанные факты, события, географические названия, упоминаемые в очерках об Ориенвилле, достаточно прозрачно намекали читателю на то, что речь в них шла о городе Владивостоке.

Rire (фр.)—смех.

Ориенвилль—от фр. *orient* (восток) и *vill* (город)—Восточный город.

«Messagerie Maritime» (фр.)—«Морское сообщение»—французская пароходная компания, совершавшая рейсы из Японии в Америку, Австралию, береговые порты Европы, Африку и восток Азии (см. очерки «По Востоку»).

гривуазный (фр.) —игривый, легкомысленный.

Ви-Эзе (фр.) vie aisee — раздольная жизнь.

ферлакурствовать—от фр. faire la cour—ухаживать, волочиться.

мэр—в Англии, Франции, США и некоторых других странах должностное лицо, возглавляющее местные органы самоуправления—муниципалитеты.

«...иллюстратор Библии Доре...»—Доре, Гюстав (1832— 1883)—французский рисовальщик, автор иллюстраций к произведениям Рабле, Данте, Сервантеса и др.

ареопаг (гр.) —высший суд и контролирующий орган в Древних Афинах. Здесь: в ироническом смысле.

Морфей—в древнегреческой мифологии бог сновидений.

<II> (с. 202)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», № 4 от 14 января 1893 года, где впервые опубликовано с подписью: «Комар» и подзаголовком «с французского».

Пределямер—от фр. prés de la mer (около моря)—Приморский. Владивосток с 1890 года был центром Приморской области.

far niente (ит.)—безделье, праздность, ничегонеделание.

cholera asiatica (лат.)—азиатская холера.

Après moi le déluge! (фр.)—После меня хоть потоп!

«Regardez-içi» (фр.)—«Взгляните-ка!».

Grand Opéra (фр.) — оперный театр в Париже.

<III> (с. 205)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», № 47 от 20 июня 1893 года, где впервые опубликовано с подписью: «Комар» и подзаголовком: «с французского».

Table d'or (фр.)—золотой стол.

Сцилла и Харибда — по древнегреческому мифу — два чудовища, якобы обитавшие на прибрежных скалах по обе стороны Мессинского пролива и поглощавшие мореплавателей; между Сциллой и Харибдой—положение, когда опасность угрожает и с той, и с другой стороны.

<IV> (с. 208)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», № 53 от 11 июля 1893 года, где впервые опубликовано с подписью: «Комар» и подзаголовком: «с французского».

<V> (с. 212)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 42 от 17 октября 1893 года, где впервые опубликовано с подписью: «Неизвестный» и подзаголовком: «Вольный перевод с французского».

pour la bonne bouche (фр.)—на закуску.

tournée (фр.)—круговое путешествие, гастрольная поездка.

En-poche (фр.)—в карман.

«Au bon marehée»—«Магазин дешевых товаров».

<VI> (с. 218)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 26 от 26 июня 1894 года, где впервые опубликовано с подписью: «Маркиз Зет» и подзаголовком: «Вольный перевод с французского».

coup d'état (фр.)—переворот, государственный или политический.

<VII> (с. 222)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», № 28 от 10 июля 1894 года, где впервые опубликовано с подписью: «Маркиз Зет» и подзаголовком: «Вольный перевод с французского».

Hôtel de l'Europe (фр.) — гостиница «Европа».

Hôtel de l'Moscou (фр.) — гостиница «Москва».

<VIII> (с. 225)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», № 60 от 9 июня 1895 года, где впервые опубликовано с подписью: «Перевел: Все он же» и подзаголовком: «Вольный перевод с французского».

гешефтмахер (нем.) —делец.

каннибализм (фр). —людоедство; в переносном смысле—жестокость, бесчеловечность, варварство.

альфа и омега (гр.)—первая и последняя буквы греческого алфавита; начало и конец чего-либо.

...мефистофельский хохот...—Мефистофель—злой дух, дух отрицания, выведенный немецким поэтом И. В. Гете в трагедии «Фауст».

гризетка (фр.)—в буржуазной французской литературе тип городской девушки: швеи, модистки, приказчицы, хористки и т. д.

фимиам (гр.)—благовонное вещество для курения, ладан; в переносном смысле: курить фимиам—льстить, восхвалять.

Аполлон Бельведерский—в древнегреческой мифологии Аполлон — бог солнца, покровитель искусств, бог предсказаний. Изображался как идеал мужской красоты.

вакханалия (лат.)—здесь: дикий разгул, оргия.

«...лермонтовских стихов...»—неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта». У Лермонтова:

> **Но есть и божий суд, наперсники разврата!**
> **Есть грозный судия: он ждет;**
> **Он не доступен звону злата...**

Vivat!.. Vivat Pierre! Vivat Jean! (фр.) — да здравствует!.. Да здравствует Пьер! Да здравствует Жан!

Бахус—бог вина и веселья в античной мифологии.

фленсбургское пиво—Фленсбург—город в Германии, у границы с Данией, который славился своими винокуренными и пивоваренными заводами.

homo novus (лат.)—новый человек, выскочка.

diable! (фр.)— черт, дьявол.

«Жрать!.. Жрать!.. Жрать!..»—лозунг «ташкентцев» из романа «Господа ташкентцы» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

<IX> (с. 231)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», № 63 от 18 июня 1895 года, где впервые опубликовано с подписью: «Перевел: Все он же» и подзаголовком: «Вольный перевод с французского».

«Framboise» (фр.)—малина. Намек на владивостокский кабачок «Калинка».

Tempora mutantur et nos mutamur in illis (лат.)—времена меняются, и мы меняемся с ними.

Рюрик, Синеус и Трувор—по русским летописным преданиям, три брата, предводители варяжских дружин, якобы призванные «из-за моря» новгородскими славянами с целью прекращения междоусобиц в Новгороде и основавшие древнерусское государство.

«Вот взошла луна златая...»—строфа из стихотворения А. С. Пушкина «Ночной зефир».

Oh, mon Dieu! Où est mon droit?! Ma liberté, ma égalité, et fraternité?! (фр.)—О мой бог! Где мое право?! Моя свобода, мое равенство и братство?!

Je vous prie, monsieur le citoyen! (фр.)—Пожалуйста, господин «гражданин»!

Lasciate ogni speranza voi ch'entrate! (лат.)—Оставьте надежду, входящие сюда!

homo sapiens (лат.)—человек мыслящий.

homo quadrupedus (лат.)—четвероногий.

Плутон—в древнегреческой мифологии бог земных недр.

Зевс—в древнегреческой мифологии верховный бог.

«...сад Семирамиды...»—Семирамида —легендарная ассирийская царица. По рассказам греческих историков, ею были построены «висячие сады» в Вавилоне, которые в древности считались одним из «семи чудес света».

Мотивы осени (с. 237)

(Из заметок хроникера)

Печатается по тексту газеты «Дальний восток», где впервые опубликовано с подписью: «Странник» в № 105 от 9 октября 1896 г.

В качестве эпиграфа—строфа из стихотворения Н. А. Некрасова «Несжатая полоса».

С. Я. Надсон (1862—1887)—русский поэт. Цитируется его стихотворение «Похороны».

«Укажи мне такую обитель...»—цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда».

«...разверзлись хляби небесные...»—Хлябь—водные глубины, потоки бурлящей воды, низвергающиеся с неба, проливной дождь, ливень. Выражение взято из библейского описания потопа.

partie de plaisir in's Grune (фр.)—увеселительные прогулки на лоно природы.

Кортома—аренда, арендные деньги.

bête noire (фр.)—страшилище, пугало.

Ирбо (с. 242)

(Рассказ)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», где впервые опубликовано в № 1 от 1 января и № 2 от 3 января 1897 года с подписью: «И. Кануков».

По Востоку (с. 251)

Печатается с сокращениями по черновому автографу, хранящемуся в ОРФ СОНИИ. ф. 4 (лит.), оп. 1, д. 12. Рукопись датирована январем—февралем 1897 года. Заглавие условное. Путевые заметки, сделанные писателем во время его путешествия по странам Дальнего Востока: Японии, Сингапуру, Коломбо и др.,—он предполагал обработать и опубликовать под заглавием «По портам Азии». Замысел этот осуществлен не был.

фиорд (норв.)—узкий и сильно вытянутый (на десятки километров) в длину, глубокий, часто разветвленный морской залив с крутыми берегами.

Добровольный флот—пароходное предприятие, организованное в России в 1878 году в целях содействия развитию отечественной торговли и торгового флота. Пароходы Добрфлота установили регулярные рейсы между портами Тихого океана и Европейской России, что сыграло значительную роль в освоении и развитии Дальневосточного края («Владивосток. Сборник исторических документов (1860—1907)», Владивосток, 1960, с. 35, 197).

дженерикча—(от японского «дзинрикися»: дзин—человек, рики—сила, ся—повозка)—легкая двухколесная коляска для перевозки пассажиров и грузов, которую везет человек, держась за две оглобли. То же—рикша.

багульник—род вечнозеленых кустарников семейства вересковых.

Езаки—черепаховых дел мастер, приезжавший на короткое время из Нагасаки во Владивосток. В сентябре—декабре 1896 года в газете «Дальний Восток» печатались его объявления о продаже черепаховых и слоновокостяных изделий.

киримон—японский халат.

фрегат «Паллада»—военный фрегат, совершивший в 1852—54 годах под командованием адмирала Е. В. Путятина экспедицию в Англию, Южную Африку, Малайю, Китай, Японию.

...сыны Альбиона...—Альбион (кельт.)—древнейшее название Англии.

à la Boulange (фр.) — как у Буланже (французский генерал и политический деятель, 1837—1891).

«Hôtel de l'Europe» (фр.) — гостиница «Европа».

Магабгарата (или Махабхарата)—«великое повествование о битве потомков Бхараты»—знаменитый эпос древней Индии, получивший свое окончательное оформление примерно между IV в. до н. э. и IV в. н. э.

Наль и Дамаянти—главные действующие лица «эпизода о Нале», включенного в третью книгу Махабхараты.

инсургент (лат.)—повстанец, участник восстания.

визави (фр).)—друг против друга.

— *Russe?* (фр.)—русский?

— *Mark* (фр.)—марку?

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Положение женщины у северных осетин (с. 272)

Печатается впервые по автографу, хранящемуся в Архиве Института Востоковедения АН СССР (сектор восточных рукописей), ф. 38, оп. 1, № 35, с. 54—64. Рукопись датирована: «1875 года 23 мая, станица Лысогорская». Подпись: «И. Кануков». На титуле дела имеется надпись: «Материалы по осетинским народным сказаниям, пословицам, обычаям и проч. Г. Шанаева, Гатиева, И. Канукова, доставленные мне Е. Г. Вейденбаумом в мае 1894 года из Тифлиса (Хранились раньше в бумагах редакции бывшего «Сборника сведений о кавказских горцах»). Вс. Миллер».

vis-á-vis (фр.)—напротив, лицом к лицу.

mauvais ton (фр.)—дурная манера.

Слово «кæвдæсард» правильнее буквально перевести так: «рожденный в яслях».

Кровный стол (с. 287)

(Из горских обрядов)

Печатается по тексту газеты «Кавказ», № 56 от 16 (28) мая 1876 года, где впервые опубликовано с подписью: «И Кануков».

Характерные обычаи у осетин, кабардинцев и чеченцев (с. 290)

Печатается по тексту газеты «Кавказ», № 148 от 17 (29) декабря 1876 года, где впервые опубликовано с подписью: «И. К.» Писатель ссылается на очерк «Характерные обычаи персиан», опубликованный за подписью «Галуст Шармазан» в №№ 131, 134 газеты «Кавказ» за 1876 год.

Танцы и мода у кавказских горцев (с. 296)

Печатается по тексту журнала «Северная Звезда», № 26 за 1877 год, с. 445—447, где впервые опубликовано с подписью: «И. Кануков».

К вопросу об уничтожении вредных обычаев среди кавказских горцев (с. 300)

Печатается по тексту газеты «Кавказ», где впервые опубликовано в №№ 48 от 2 марта и 54 от 9 марта 1879 года с подписью: «И. Кануков». Первая часть статьи датирована 28 февраля 1879 г.

К вопросу о колонизации Южно-Уссурийского края (с. 305)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», где впервые опубликовано с подписью: «М. Иронов» в №№ 16 от 15 апреля и 20 от 13 мая 1884 года.

Максимов, Сергей Васильевич (1831—1901)—русский писатель-этнограф, автор очерков и рассказов «Год на Севере» (1859), «Сибирь и каторга» (1871) и др.

Шашков, Серафим Серафимович (1841—1882)—русский публицист и этнограф, исследователь Сибири.

Марков, Евгений Львович (1835—1903)—русский писатель, журналист.

«...по выражению поэта...»—речь идет о Н. А. Некрасове и его стихотворении «Сеятелям» (1877).

Благовещенский, Николай Александрович (1837—1889)—русский беллетрист и статистик.

Наумов, Николай Иванович (1838—1901)—русский писатель. Его очерки и рассказы рисуют жизнь пореформенной, главным образом сибирской деревни, рост кулачества. В произведениях Наумова проявились народнические взгляды.

Ядринцев, Николай Михайлович (1842—1894)—русский этнограф, археолог и писатель, исследователь Сибири, публицист и общественный деятель, издатель газеты «Восточное Обозрение».

Мечников, Лев Ильич (1838—1888)—русский географ и публицист-социолог.

Васильчиков, Александр Илларионович (1818—1881)—русский общественный деятель и писатель («О самоуправлении», «Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах»).

«...из Северной Пальмиры...»—Пальмира—город в Сирии (I тысячелетие до н. э.), славившийся великолепием своих сооружений. «Северная Пальмира»—образное название Петербурга.

Modus vivendi (лат.)—образ жизни, порядок, уклад.

К вопросу об алкоголизме в Камчатской епархии (с. 31[illegible])

Печатается по тексту газеты «Владивосток», где впервые опубликовано в № 13 от 27 марта 1888 года с подписью: «-алъ-овъ».

епархия (греч.)—церковно-административный округ во главе с архиереем (епископом).

...перуны небесные...—Перун—главное божество древневосточных славян, бог грома и молнии, покровитель воинов; стрела, молния, извергаемая богом грома и войны.

Мессалина—здесь: распутная женщина.

паллиатив (фр.)— мера, не обеспечивающая полного решения какой-либо задачи; полумера.

Краткий очерк экономического состояния Забайкальского края в связи с проведением чрез него железной дороги (с. 321)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», где впервые опубликовано с подписью: «М. Иронов» в следующих номерах: № 26 от 25 июня (статья первая), № 27 от 2 июля (статья вторая), № 28 от 9 июля (статья третья), № 29 от 16 июля (статья четвертая) и № 31 от 30 июля 1889 года (статья пятая).

«*...Его луга необозримы...*»—цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (песнь первая).

номады (греч.)—кочевники.

кунктатор (лат.)—медлительный, нерешительный человек.

Nous arrivons toujours trop tard (фр.)—Мы всегда приходим слишком поздно!

Дильк, Чарльз-Вентворт (1843—?)—английский политический деятель.

Чжили—название (до 1928 г.) китайской провинции Хэбэй.

casus belli (лат.)—повод к войне.

О положении ссыльно-поселенцев на острове Сахалин (с. 340)

Печатается по тексту газеты «Владивосток» за 1889 год, где впервые опубликовано с подписью: «М. Иронов» в следующих номерах: № 37 от 10 сентября (письмо первое) под заглавием «Слово об экономическом состоянии ссыльно-поселенцев», № 44 от 29 октября (письмо второе), № 45 от 5 ноября (письмо третье), № 47 от 19 ноября (письмо четвертое), № 50 от 10 декабря (письмо пятое).

Аркадия—в идиллической поэзии «счастливая страна».

Авгиева конюшня — нечто чрезвычайно загрязненное, запущенное. В древнегреческой мифологии: конюшни легендарного царя Авгия не чистились много лет и, согласно мифу, были вычищены в один день Гераклом, направившим туда воду реки.

кантонисты (нем.)—в России XIX в.—сыновья солдат, числившиеся с рождения за военным ведомством.

de facto (лат.)—фактически.

обскурант (лат.)— враг науки и просвещения, реакционер.

terra incognita (лат.) — неизведанная земля.

сфинкс (греч.)—загадочное существо.

аборигены (лат.)— коренные жители страны или какой-либо местности, обитающие в ней с давних пор.

1889 год в Приамурском крае (с. 358)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 53 от 31 декабря 1889 года, где впервые опубликовано с подписью: «М. Иронов».

«...юдоли плача и горя...» — выражение из библии; употребляется в значении: земная жизнь с ее горестями и страданиями (церковно-славянское «юдоль»—долина).

Во Владивостоке (с. 362)

Печатается по тексту газеты «Сибирский Вестник», № 13 от 28 января 1890 года, где впервые опубликовано с подписью: «И. Алдаров».

Пальмерстон, Генри Джон Темпл (1784—1865)—английский государственный деятель.

Бисмарк, Отто (1815—1898)—германский государственный деятель и дипломат.

под сурдинку (фр.)— тайком, втихомолку.

«...цимис общества...»—от евр. «цимис»—традиционное блюдо из фасоли. В переносном, ироническом значении: «сливки общества».

под эгидой (греч.) — под покровительством, под защитой.

принципал (лат.) — глава, хозяин.

синклит (греч.)— собрание, сборище.

pour la bonne bouche (фр.)—на закуску.

<Корреспонденция из Владивостока> (с. 367)

Печатается по тексту газеты «Сибирский Вестник», № 26 от 2 марта 1890 года, где впервые опубликовано с подписью: «И. Алдаров» и пометкой: «Владивосток, 9 ноября».

аргонавты — ироническое название китайских шлюпок. В древнегреческой мифологии «Арго»—корабль, на котором древнегреческие герои совершили плавание к берегам Колхиды.

«...Лес обнажился, поля опустели...» — строка из стихотворения Н. А. Некрасова «Несжатая полоса».

нирвана (санскр.)—в буддийской религии—мистическое состояние высшего «блаженства», «слияния» с божеством.

кейф (ар.) —послеобеденный отдых; приятное безделье.

Во Владивостоке (с. 369)

Печатается по тексту газеты «Сибирский Вестник», № 38 от 1 апреля 1890 года, где впервые опубликовано с подписью: «И. Алдаров». Печатается в сокращении.

...автор «Итогов Амурской деятельности...»—речь идет о «Чтениях» на научные темы, которые регулярно проводились в Морском собрании г. Владивостока.

рангоут (гол., мор.)—рангоутные деревья—совокупность круглых деревянных или стальных частей оснащения судна.

Из крепости Владивосток (с. 370)

(Очерк местной жизни)

Печатается по тексту газеты «Сибирский Вестник», № 53 от 13 мая 1890 года, где впервые опубликовано с подписью: «И. Алдаров».

Несколько слов о положении школ и учителей в Южно-Уссурийском крае (с. 375)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 30 от 29 июля 1890 года, где впервые опубликовано с подписью: «М. Иронов».

Песталоцци, Иоганн Генрих (1746—1827)—швейцарский педагог-демократ.

Кое-что о сибирских минеральных источниках (с. 379)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», где впервые опубликовано с подписью: «М. Иронов» в №№ 32 от 12 августа и 34 от 19 августа 1890 года.

Лукка, Паулина (1841—1908)—итальянская певица. Пела на оперных сценах Европы.

Патти, Аделина (1843—1919)—итальянская певица. Пела на сцене оперных театров Америки и Европы.

Росси, Эрнесто (1827—1896)—итальянский актер. В 1877, 1878, 1890, 1895—96 гг. гастролировал в России.

Литературная беседа (с. 384)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 50 от 16 декабря 1890 года, где впервые опубликовано с подписью: «И. К.».

Колупаев, Разуваев—типы кулаков, созданные М. Е. Салтыковым-Щедриным («Убежище Монрепо», «За рубежом», «Письма к тетеньке»).

...Ташкентец приготовительного класса...—В образе «ташкентства» Щедрин воплотил разнузданное хищничество и рвачество, любую готовность

служить самой зверской реакции, жестокость и дикость господствующих классов в пореформенное время. В главе «Ташкентцы приготовительного класса» Щедрин показал, как из различных слоев господствующих классов растут будущие ташкентцы. (Я. Эльсберг).

Торгово-промышленный вопрос восточных окраин Сибири (с. 388)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», где впервые опубликовано с подписью: «И. К.» в № 3 от 3 февраля 1891 года.

О положении русского рабочего на Дальнем Востоке (с. 391)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», где впервые опубликовано с подписью: «И. К.» в следующих номерах: № 31 от 4 августа, № 34 от 25 августа и №35 от 1 сентября 1891 года.

Всеволод Гаршин (с. 399)

(Очерк)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», где впервые опубликовано в № 4 от 26 января 1892 года с подписью: «И.» и № 9 от 1 марта 1892 года с подписью: «И.К-ков».

Гаршин, Всеволод Михайлович (1855—1888)—русский писатель. В рассказах «Четыре дня» (1877), «Трус» (1879), «Из воспоминаний рядового Иванова» (1883) выражен протест против войны. В рассказах «Художники» (1879), «Красный цветок» (1883), «Надежда Николаевна» (1885), «Сигнал» (1887) и др. Гаршин изображает борьбу с общественным злом, трагедию личности в условиях политической реакции и краха народнических иллюзий, призывает искусство служить народу.

Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910)—русский литературный критик и историк литературы.

феллах (ар.)—оседлый земледелец, крестьянин в странах арабского Востока.

«...*Жалкий человек!..*»—цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Валерик».

Есть ли у нас голод или нет, и если есть, то в каких размерах?(с. 404)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 13 от 29 марта 1892 года, где впервые опубликовано с подписью: «И. К-в».

И. Кануков цитирует «Песню убогого странника» из поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники». У Некрасова:

«...Уж я в третью: мужик, что ты бабу бьешь?
С холоду, странничек, с холоду,
С холоду, родименький, с холоду!
Я в четверту: мужик! Что в кабак ты идешь?
С голоду, странничек, с голоду,
С голоду, родименький, с голоду!»

Приводится рассказ Л. Н. Толстого «Много ли человеку земли нужно?»

О современных факторах сибирской жизни (с. 408)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток», где впервые опубликовано в № 115 от 16 октября 1894 года с подписью: «И. Кануков».

князь Мещерский Владимир Петрович (1839—1914)—идеолог дворянской реакции, крайний монархист, «самый консервативный», по выражению В. И. Ленина, публицист и беллетрист. Издавал и редактировал газету-журнал «Гражданин».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ И ОБЗОРЫ

«Что читать народу?» (с. 413)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», где впервые опубликовано в № 21 от 21 мая 1889 года с подписью: «И. Кануков».

порто-франко (ит.)—порт, город или приморская область, в пределах которых разрешается свободный, беспошлинный ввоз и вывоз иностранных товаров.

«Школьное обозрение» (с. 417)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», где впервые опубликовано с подписью: «М. Иронов» в № 43 от 22 октября 1889 года.

profession de foi (фр.)—«исповедание веры». Совокупность взглядов, представлений и убеждений, выражающих чье-либо мировоззрение.

Календари на 1891 год (с. 418)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 7 от 17 февраля 1891 года, где впервые опубликовано с подписью: «И. К.».

Кроль Николай Иванович (1823—1871)—русский поэт, драматург и публицист, один из представителей поэзии «чистого искусства».

Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878)—русский писатель, близкий к революционной демократии. В очерках и рассказах изображал тяжелую

жизнь деревни. Повесть «Трудное время» —о борьбе разночинцев и крестьянства с помещиками и либералами в 60-е годы.

Розенгейм Михаил Павлович (1820—1887)—русский поэт и публицист. Поверхностная прогрессивность сочеталась в его стихах с нравственно-религиозной дидактикой.

Карабанов Петр Матвеевич (1765—1829)—член российской академии и реакционного литературного общества «Беседа любителей русского слова», автор напыщенных од.

Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1769)—русский поэт и ученый. В работе «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735) сформулировал принцип русского силлабо-тонического стихосложения Автор поэмы «Тилемахида».

Надсон Семен Яковлевич (1862—1887) — русский поэт. Лучшие стихи проникнуты демократическими мотивами. Политическая реакция 80-х годов и кризис революционного народничества вызвали у Надсона настроения скорби и обреченности.

Хемницер Иван Иванович (1745—1784)—русский поэт-баснописец. Лучшие его басни направлены против корыстных чиновников, злоиравных помещиков, кичливых дворян.

Успенский Николай Васильевич (1837—1889)—русский писатель. В его очерках и рассказах из народного быта правдиво изображеио бесправие и забитость крестьянства.

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864)—русский литературный критик и поэт. Представитель критики, враждебиой революционным демократам. Стихи в жанре цыганского романса.

Миллер Орест Федорович (1833—1889)—русский фольклорист, литературовед. В работе «Опыт исторического обозрения русской словесности» (1863) впервые в России предпринял систематическое изучение народного творчества.

Губер Эдуард Иванович (1814—1847)—русский поэт, эпигон романтизма. Впервые перевел на русский язык «Фауста» В. Гёте.

«Стихотворения И. С. Тургенева» (с. 420)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 28 от 14 июля 1891 года, где впервые опубликовано с подписью: «И. К.».

«Сибирский сборник» (с. 420)

Печатается по тексту газеты «Владивосток», № 46 от 7 ноября 1891 года, где впервые опубликовано с подписью: «И. К-в».

Потанин Григорий Николаевич (1835—1920)—русский путешественник, исследователь Центральной Азии.

Мачтет Григорий Александрович (1852—1901)—русский писатель. Рассказы его проникнуты идеями народничества 1870-х годов.

Михеев Василий Михайлович (1859—1908)—русский писатель, представитель революционно-народнической литературы 80-х годов.

Леконт де-Лиль Шарль Мари (1818—1894)—французский поэт и общественный деятель-республиканец.

Арнольд, Эдвин (1832—1904)—английский поэт, журналист. Темы для своей поэзии черпал главным образом в жизни и культуре народов Востока.

Эхо журналов (с. 425)

Печатается по тексту газеты «Дальний Восток»; где впервые опубликовано с подписью: «И. Кануков» в следующих номерах: № 13 от 4 февраля, № 14 от 7 февраля, № 22 от 25 февраля, № 25 от 3 марта, № 51 от 31 мая 1896 года; № 8 от 17 января 1897 года.

Разделы I, IV, V и VI цикла проникнуты идеями пацифизма, идеалистичны в понимании сущности войн и объяснении причин их возникновения, однако мысли автора о пагубности войн, критика им милитаризма представляют несомненный интерес для современного читателя.

«Русское богатство»—литературный, научный и политический журнал, издававшийся в 1876—1918 гг. С 1892 г. журнал возглавляли Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко. Центр легального народничества.

«Русская мысль»—научный, литературный и политический журнал, издававшийся ежемесячно в Москве в 1880—1918 гг. С 1885 г. умеренно-либеральное издание, сочувственно относившееся к народничеству.

Ардашев Павел Николаевич (1865—1923)—русский историк, специалист по истории Западной Европы.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900)—русский философ-идеалист, публицист, поэт и критик.

«Мир устанет от мук...»—цитата из стихотворения С. Я. Надсона «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...» (1881).

Станюкович Константин Михайлович (1843—1903) русский писатель. Был связан с революционным народничеством 70-х годов, находился в ссылке (1885—1888). Лучшее у Станюковича—«Морские рассказы» (1886—1902), рисующие жизнь русских моряков.

...пред лицо Фемиды...—Фемида (гр.)—в древнегреческой мифологии богиня правосудия, изображавшаяся с завязанными глазами, с весами в одной руке и мечом в другой; правосудие.

impero (лат.)—Я повелеваю».

...«полицейским синедрионом»...—Синедрион (греч.)— в 3—1 вв. до н. э. совет старейшин г .Иерусалима; при римском господстве (I в. до н. э.—I в. н. э.)—верховный суд Иудеи. Здесь: в ироническом смысле.

IV. Антимилитаризм (с. 435)

В журнале «Русская мысль» (№№ 11 и 12 за 1895 год) была помещена статья И. Н. К. «Война у разных народов», в которой излагалась сущность книги «La querre dans les diverses rases humaines («Война в различных человеческих расах») французского буржуазного социолога и этнографа Шарля Жана Мари Летурно (1831—1902). И. Кануков в своем обзоре использует статью И. Н. К. для того, чтобы высказать свои взгляды на войну и на современные ему политические и международные события.

Марс —в древнеримской мифологии бог войны.

Молох—бог солнца, огня и воды в религии древней Финикии и Карфагена, ему приносились человеческие жертвы. Имя Молоха получило символическое значение: свирепая, всепоглощающая сила, требующая новых и новых человеческих жертв.

Де Местр, Жозеф (1753—1821)—один из идеологов феодально-монархической контрреволюции периода Французской буржуазной революции конца XVIII века, католик-иезуит. Призывая к кровавой террористической расправе с республиканцами, оправдывал и превозносил идею войны. В России наиболее известны были произведния де Местра: «О папе» и «Санкт-Петербургские вечера».

Прудон, Пьер Жозеф (1809—1865)—французский мелкобуржуазный публицист и социолог, вульгарный экономист, один из основателей анархизма. В своих сочинениях осуждал национально-освободительное движение народов, оправдывал несправедливые войны.

«...ожесточенная резня...»—речь идет об Итало-Абиссинской войне 1895—1896 гг., колониальной, захватнической войне Италии против Абиссинии (Эфиопии).

шоанцы—жители Шоа, провинции Эфиопии.

in litera (лат.)—буквально, дословно.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1848—1927)—русский писатель. Перу его принадлежит огромное количество романов, повестей, путевых очерков, характеризующихся невысоким художественным уровнем. Роман «Вперед», цитируемый здесь, написан в 1883 г.

Золя, Эмиль (1840—1902)—французский писатель. Основные произведения—20-томная серия романов «Ругон-Маккары» (1871—1893). В лучших романах серии с большой реалистической силой разоблачены социальные противоречия буржуазного мира. Роман «Разгром» написан в 1892 году.

Верещагин Василий Васильевич (1842—1904)—знаменитый русский живописец-баталист, близкий по своему творчеству реалистическому искусству передвижников. Он видел основную задачу своего творчества в борьбе с захватническими войнами, вызывающими огромные страдания народа. В ряде случаев отразил влияние пацифизма.

Мольтке, Хельмут Карл Вернхард (1800—1891)—русский фелдмаршал

и реакционный военный писатель, один из главных военных идеологов прусского юнкерства и германской буржуазии во второй половине XIX века.

VI. «О мире мира сего» (с. 439)

Гюго, Виктор Мари (1802—1885)—французский писатель, прогрессивный романтик. Был председателем международных конгрессов друзей мира в Париже (1849) и Лозанне *(1869).*

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876)—русский революционер, идеолог анархизма; один из идеологов народничества.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, ФЕЛЬЕТОНЫ

СТАТЬИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ И ОБЗОРЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

ИНАЛ ДУДАРОВИЧ КАНУКОВ

В осетинском ауле

Рецензенты: **А. К. Хачиров** и
Ш. Ф. Джикаев.
Редактор
К. И. Бойцова.
Художник
У. К. Кануков.
Художественный редактор
Х. Т. Сабанов.
Технический редактор
А. В. Ядыкина.
Корректоры
И. Х. Джанаева,
А. Х. Агасян.

ИБ № 1113

Сдано в набор 28.05.85. Подписано к печати 06.08.85. ЕИ 01931. Формат бумаги 60х84 1/16. Бум. тип. № 1. Гарн. шрифта литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 27,43+0,05 вкл. Усл. кр.-отт. 27,58. Учетно-изд. листов 29,11+0,03 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ № 304
Цена 2 руб. 90 коп.

Издательство «Ир» Государственного комитета Северо-Осетинской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 362040, г. Орджоникидзе, ул. Димитрова, 2.
Книжная типография Государственного комитета Северо-Осетинской АССР по делам издательств, полиграфии и кнчжной торговли, 362011, г. Орджоникидзе, ул. Тельмана, 16.

